

СЕМЕН КИРСАНОВ



СЕМЕН КИРСАНОВ



НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

*Гуманитарное агентство
«Академический Проект»*

СЕМЕН КИРСАНОВ

**СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ**

**Санкт-Петербург
2006**

Редакционная коллегия

А. С. Кушнер (*главный редактор*),
К. М. Азадовский, Н. А. Богомолов, М. Л. Гаспаров,
А. К. Жолковский, А. Л. Зорин, А. В. Лавров,
И. Н. Сухих, Р. Д. Тименчик

Вступительная статья М. Л. ГАСПАРОВА
Составление, подготовка текста и примечания
Э. М. ШНЕЙДЕРМАНА

Издание выпущено при поддержке
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации Санкт-Петербурга

Издательство благодарит Российское авторское общество
за помощь в осуществлении издания

ISBN 5-7331-0323-X



- © С. И. Кирсанов, *тексты, наследники*, 2006
- © М. Л. Гаспаров, *вступ. статья*, 2006
- © Э. М. Шнейдерман, *состав, примеч.*, 2006
- © Гуманитарное агентство «Академический проект», 2006

СЕМЕН КИРСАНОВ, ЗНАМЕНОСЕЦ СОВЕТСКОГО ФОРМАЛИЗМА

1

Есть поэты с биографией и поэты без биографии. Семен Кирсанов был скорее поэтом без внешней биографии. Как вся поэтика его стихов сводилась к раскрытию художественных возможностей слова, так вся его жизнь сводилась к работе над этими стихами — вещь за вещью, книга за книгой. В поэзии он работал пятьдесят лет, это были очень разные годы, и им откликались очень разные книги.

Семен Исаакович Кирсанов родился в Одессе 18 (5) сентября 1906 г., в семье портного. Первые стихи, по его словам, написал в десять лет. Революцию увидел из третьего класса гимназии. Подростком бросился в жизнь одесской литературной богемы. Диктатура вкуса Багрицкого и Катаева казалась ему слишком неоклассической, он предпочитал бравировать полуребяческим футуризмом. В 1922 г. (как написано в автобиографии) он читает стихи приехавшему в Одессу Маяковскому, в 1923 г. организует эфемерную группу и журнал «ЮгоЛЕФ», в 1924 г. Маяковский печатает два его стихотворения в настоящем «ЛЕФе», московском. В 1925 г. он едет завоевывать Москву, ему 19 лет.

Маяковский его поддерживает, привлекает к работе над агитками, берет в поездки по Союзу — рослому Маяковскому нравилось выходить на эстраду рядом с маленьким Кирсановым, ЛЕФу было важно показать, что у него есть свой «молодняк». Первые книги — брошюра «Прицел» (1926), сразу замеченные «Опыты» (1927), поэма «Моя именнинная» (1928 — перед этим ей был отдан почти целый номер «Нового ЛЕФа»), «Слово предоставляется Кирсанову» (1930, в замечательном книжном оформлении). Кирсанов этих книг навсегда запомнился читателям именно таким, молодым и веселым. А между тем в 1930 г. застрелился Маяковский, и это стало для Кирсанова первым ударом на всю жизнь; а в 1935 г. Маяковский был национализирован и объявлен «лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи», и это оказалось для Кирсанова вторым таким же ударом, потому что он чувствовал себя учеником совсем не такого универсального Маяковского.

Кирсанов, как многие, зарабатывает газетными стихами, а исподволь работает над большими вещами. Газетные стихи — это маленькие сборники «Строки стройки» (1930), «Ударный квартал» (1931), «Перед поэмой» (1931), «Стихи в строю» (1932), «Актив» (1934). Большие вещи — это, прежде всего, поэма «Пятилетка» (1932): Маяковский перед смертью объявил, будто пишет поэму о пятилетке, Кирсанов выполняет это обещание. За поэмой о пятилетке — еще более

исполинская поэма о коммунизме: из нее получилось две, «Золотой век» (1932, отдельно не издавалась) и «Товарищ Маркс» (1933). Первая из них была написана в стиле сказки, это дало толчок настоящим поэмам-сказкам: «Поэма о Роботе» (1935) сочетала сказочность и публицистичность, потом они раздвоились, «Золушка» (1935) вылилась в чистую сказочность, «Война — чуме!» (1937) — в чистую публицистичность. Новый жанр был признан приемлемым, «Золушка» запомнилась, Кирсанов пишет много, и о нем пишут много. Когда писателям начнут раздавать ордена, он в 1939 г. получит орден Трудового Красного Знамени.

В середине 1930-х гг. литературная атмосфера меняется: рядом с поэтической публицистикой разрешение на существование получает лирика. Переходным для Кирсанова был сборник «Новое» (1935), за ним — «Дорога по радуге» (1935, здесь впервые перепечатаны некоторые ранние стихи) и «Мыс Желания» (1938). Кирсанову тридцать лет. Но здесь личная его жизнь жестоко вторгается в творческую. В 1937 г. умирает от туберкулеза Клава, жена Кирсанова; для него это страшный удар. Он спасается тем, что пишет поэму об ее смерти. «Твоя поэма» (1937) — человеческий документ исключительной силы, в русской поэзии мало таких стихов, а в советской поэзии — тем более. К ней примыкают поэма «Последнее мая» (1939) и лирика из «Четырех тетрадей» (1940). Поэма не нашла отклика: советская литература не знала, что делать с таким трагизмом. В то же время все чувствовали, и Кирсанов первый, что после этого писать по-старому уже нельзя. Он пробует обходный путь: пишет не от себя, а от лица вымышленных авторов, под заглавием «Поэма поэтов» (1939). Это вызывает только недоумение.

Началась война. Кирсанов работал во фронтовых газетах, дважды был контужен, писал агитационные листовки «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата» (1942—1944), выпустил «Поэму фронта» (1942) и «Стихи войны» (1945). После войны вышел «Александр Матросов» (1946) — поэма от лица погибшего героя: опять не от себя, как и в «Поэме поэтов». Эта работа его не удовлетворяла. Он дважды пробовал написать о войне в космическом, мифологическом масштабе; но поэму «Эдем» нельзя было и пытаться печатать, а поэму-мистерию «Война и небо» (под обесцвеченным названием «Небо над Родиной», 1947) критика встретила шумным осуждением за отход от социалистического реализма.

Это значило: в послевоенные годы больше, чем когда-нибудь, требовалось быть как все, и писать как все. Кирсанов отодвинут из первого ряда советской поэзии во второй. В сорок лет он как будто отслужил свое: начинаются переиздания избранных стихов в одно-томниках и двухтомниках с однообразно-безличным подбором (1948, 1949, 1951, 1954), начинаются заработки переводами по подстрочникам из П. Неруды, В. Броневского, Н. Хикмета и др. Новые книги стихов выходят под заглавиями «Советская жизнь» (1948), «Чувство нового» (1948), «Время — наше!» (1950), в лучшем случае «Товарищи стихи» (1953). Новые поэмы — это «Макар Мазай» (1950), пересказ биографии героя-сталевара (оценена Сталинской премией 3 степени), и патетическая аллегория «Вершина» (1954).

Хрущевская оттепель не многое изменила в положении Кирсанова. Стало возможным напечатать «Эдем» и кончить «Поэму поэтов», стало возможным включать больше ранних вещей в избранные одно-томники (1961, 1962, 1966, 1967, последний назывался «Искания»), но ни сказочно-публицистическая поэма «Семь дней недели» (1956), ни сборники «Этот мир» (1958), «Ленинградская тетрадь» (1960), и все более экспериментаторские «Однажды завтра» (1964, здесь впервые — «Сказание про царя Макса-Емельяна...») и «Зеркала» (1972) не привлекли внимания. Между тем Кирсанову уже за шестьдесят, в стихах его все чаще звучат болезнь, смерть и преодоление смерти. Он составляет собрание сочинений (четыре тома: лирика, фантастика, публицистика и, как бы довеском, «поэтические поиски и произведения последних лет») и очень старается выдвинуть в нем большое и серьезное, чтобы остаться в памяти не только легкомысленным фокусником стиха. Издание стало посмертным: Семен Кирсанов умер 10 декабря 1972 г.

2

В советской поэзии было хорошо расписанное распределение ролей. Все должны были быть и публицистами, и лириками, все должны были хранить высокие традиции классики и в то же время быть новаторами, все должны были писать просто, но выражать всю сложность чувств советского человека. При этом, однако, было известно, что такого-то поэта следует упоминать прежде всего по части родных полей, другого по безбрежной романтике, а третьего по гармонической строгости. У Кирсанова в этой системе было место необычное и неудобное: место хронически подозреваемого в формализме. Когда прокатывалась очередная волна борьбы с формализмом, то в первом ряду критикуемых непременно оказывалось последнее произведение Кирсанова. А когда погода в критике прояснялась, то Кирсанова похваливали, всякий раз отмечая его отход от старых формалистических ошибок. Ему относительно повезло: жертвой номер один в таких критических кампаниях ему не пришлось побывать. И ему относительно не повезло: когда в 1960-х гг. утвердилось новое амплуа «поэта на экспорт» — чтобы хвастаться его новаторством перед Западом и бранить его за это новаторство у себя дома, — то Кирсанова было уже поздно назначать на этот пост, и должность заняли Евтушенко и Вознесенский.

Номинально он считался наследником Маяковского и сам всячески подчеркивал эту преемственность. Но по официальному счету наследниками Маяковского были все советские поэты, и если Кирсанов выделялся, то лишь тем, что был похож на него не только духом, но и формой стихов. А это сводилось к тому же формализму.

Но что такое был формализм в советском официозном понимании?

Поэтическое произведение многослойно: в нем есть образы и мысли, язык и стиль, стих и звукопись. Отношения между этими тремя уровнями всегда слегка натянуты: они борются за внимание читателя, и стих всегда немного отвлекает от смысла. Для этой отвлекающей роли ритма и рифмы в поэзии есть психологический тер-

мин: «фасцинация», как бы завораживание. Это никоим образом не во вред смыслу, наоборот: оттого что стих затуманивает смысл, читателю кажется, что этот смысл особенно велик и глубок, — в самом деле, если некоторые классические стихотворения пересказать прозой, мы удивимся бедности их содержания. Но читатель не всегда это понимает. Когда форма в стихах привычная, ему кажется, что ее нет, что она естественно порождается смыслом, и он называет это единством формы и содержания. В советское время это было главным требованием и высшей похвалой.

А формализм — это просто когда форма обращает на себя слишком много внимания. Неприязнь к формализму очень живуча, потому что она опирается на предрассудок очень давней, еще сентименталистской эпохи: в стихах сердце с сердцем говорит, а язык сердца прост и общепонятен, поэтому искренняя поэзия рождается сама собой, и всякая сложность или необычность вызывает подозрение в неискренности. Даже Марина Цветаева, лучше всех знавшая, каких трудов стоит находить слова для голоса сердца, признавалась, как приковывали ее простейшие, полуграмотные строчки, как люди живы на свете одною круговою порукой добра («Искусство при свете совести»). Даже у Пастернака, когда мы читаем в его стихах о войне изысканные рифмы «циркуля — фыркали, Гомеля — сэкономили», нам кажется, что это отвлекает от такой серьезной и общенародно важной темы: можно бы и попроще. Применительно к Кирсанову такое подозрение возникло всегда: о чем бы он ни писал, казалось, что такими необычными образами, словами, ритмами и созвучиями, как у него, можно писать только в шутку или неискренне. А это не была неискренность, это был новый поэтический язык. Искренность путали с простотой, а это не одно и то же. Так детям кажется, что на иностранном языке нельзя сказать правду, только ложь.

В основе этого нового поэтического языка — нового исповедания слова — лежало романтическое убеждение, что слова и подавно словосочетания в поэзии должны быть необычны, потому что они предназначены для выражения необычных душевных состояний. Одна из этих необычностей — в том, что «созвучья слова не случайны» (Брюсов): если в словах перекликаются звуки, это значит, что они таинственно связаны и смыслом и имеют право в стихах стоять рядом. Поэты давно признавались, как подыскивание слова, удобного для рифмы, дает иногда неожиданный поворот всей теме стихотворения. Звуковое сходство слов как бы притворяется смысловым родством слов и скрепляет неожиданные сочетания фраз и строк. Это не новое изобретение, в поэзии так было всегда: своим студентам в Литинституте Кирсанов показывал, что в пушкинском сонете о сонете строки о Вордсворте — «Когда вдали от суетного света Природы он рисует идеал» — совсем не случайно связаны незаметным повтором «сует... — ... сует». В XX в. такие звуковые повторы стали более частыми, броскими и рассчитанными.

Это новое ощущение поэтического языка осмыслилось и осозналось в русской поэзии начала XX в., от символистов до футуристов. Символисты больше работали с необычными смыслами, футуристы — с необычными звуками. Кирсанов застал лишь самый конец этого

процесса — у Маяковского и Асеева в ЛЕФе. Романтическая идеология, стоявшая за этим языком, уже выветрилась, а набор приемов остался: что стихи с необычными словами и звуками сильней поражают внимание и крепче остаются в памяти, было для русских авангардистов самоочевидно. Однако восприятие такого языка требовало квалифицированного читателя. «Читатель стиха — артист», писал И. Сельвинский. Таких читателей в России, только что вышедшей из безграмотности, было исчезающе мало. Маяковский старался их вырастить, но с очень медленным успехом. А критика, рассуждавшая: «ваш стих прекрасен, но он непонятен широкой массе», постоянно держала передовых поэтов под подозрением в пережитках буржуазного эстетства.

Николай Асеев в 1928 г. был у Горького в Сорренто и рассказывал ему о поэзии в ЛЕФе. Горький был человек старых вкусов, ему такая поэзия не нравилась и казалась недолговечной модой. Асеев стал читать ему вслух стихи молодого Кирсанова. Горький не мог спорить, что это хорошо, но говорил: «Это оттого, что вы так читаете». На самом деле просто стихи были так написаны: переключки слов и звуков при чтении вслух выступали отчетливее, чем при чтении глазами. Это было не особенное чтение, а особенный поэтический язык — тот, который сложился в начале века. Носители этого языка могли быть очень разными поэтами, — Кирсанов, хоть и ученик футуристов, умел ценить и Блока, и Гумилева, и Клюева, и в свою очередь бережно помнил, как его стихи хвалили и Мандельштам, и Цветаева. (Несмотря на насмешку над Мандельштамом в «Поэме о Роботе»). Но с теми поэтами, которые писали так, словно этого нового языка никогда не было, — а именно такая установка все больше крепла в советской критике с 1930-х гг., — с такими поэтами Кирсанов и его товарищи не желали иметь ничего общего. Ни Твардовский, ни Исаковский для них не существовали. Поэты младшего, военного поколения удивлялись, что Асеев и Кирсанов не могут оценить «Василия Теркина», — но это неприятие было для них органичным.

Что именно Асеев выступает пропагандистом молодого Кирсанова — не случайно. Новый поэтический язык имел много индивидуальных диалектов. Кирсанов считался в критике продолжателем и подражателем Маяковского. Такое суждение — близорукость. Кирсанов гораздо ближе именно к Асееву — поэту замечательного таланта, сознательно ушедшему на подчиненную роль при Маяковском, а потом быстро обессилевшему в языковом бесчувствии новой эпохи. Поэзия Маяковского вся звучала как борьба с языком, как будто исполинские чувства громоздко перебарывают и переламаывают недостаточный для них язык. Поэзия Асеева и Кирсанова, наоборот, выростала из языка легко и естественно, как песня или песенка. Это видно даже по внешнему признаку: самый характерный стихотворный размер Маяковского, громоздкий акцентный стих, остался у его товарищей неиспользованным, Асеев и Кирсанов гораздо чаще писали складными силлабо-тоническими и дольниковыми строчками, — конечно, только на слух, потому что «ямбы» оставались для них ругательным словом. Кирсанов клялся именем Маяковского, но чем дальше, тем больше тосковал о том, что в нем видят только сходное с Маяковским и не видят

несходного, своего, — тосковал тем горше, что Маяковского он по-настоящему любил и отречься от него не хотел. Маяковский был в советской культуре как бы заместителем всей поэзии начала XX в., а Кирсанов оказывался как бы заместителем заместителя. «Кирсанов — поэт вторичный», — чувствовалось в самых снисходительных отзывах советской критики; между тем, ни один критик не спутал бы стихов Кирсанова со стихами Маяковского или Асеева.

Когда Кирсанов вошел в поэзию, поэтический язык XX в. был только что выработан, закончен и даже — из снисхождения к революционности Маяковского — как бы разрешен к существованию. Кирсанов пришел на готовое: в его распоряжении оказался огромный арсенал поэтических приемов, ожидающих применения к любым темам. Пафос его первых книг — веселое ликование в сознании своей власти над этим богатством. Веселость — не очень традиционное качество большой поэзии. Когда Маяковский создавал свою поэтику, то и необыкновенным словам, и составным рифмам он учился в юмористической поэзии, а применял их в трагической; теперь, казалось, Кирсанов возвращает их к веселому первоисточнику. Заглавие «Опыты» читается как «эксперименты»: это демонстрация возможностей языка и стиха, серийное производство на серьезном материале будет потом. Ранние стихи Кирсанова выглядят как сборник упражнений по фонетике, грамматике и лексике нового поэтического языка. Содержательности в них не больше, чем в букварной фразе «Мама мыла раму». (Кстати, очень фонетически связная фраза, показавшая свою пригодность для поэтического языка). Но с «мама мыла раму» начиналась грамотность многих советских поколений — как со стихов Кирсанова их поэтическая грамотность.

Роль такого демонстратора-экспериментатора близка его душевному складу. «Меня влекли к себе не только подмостки митинговых аудиторий, но и арена цирка», писал он потом в предисловии к книге «Искания». В программном сборнике «Слово предоставляется Кирсанову» самое вызывающее стихотворение — фигурное, в виде канатоходца, — начиналось: «Номер стиха на экзамен цирку...», а кончалось: «... Алле! Циркач стиха!» Образ фокусника навсегда прирос к имени Кирсанова, «Фокусник» называлось одно из последних его стихотворений, не очень веселое. Фокусник — это заведомый мастер, но мастер пустяков; таким и воспринимали Кирсанова. Иногда это было справедливо, иногда нет.

Главную особенность такой поэтики Кирсанова лучше всего уловил один простодушный критик 1933 года. В этом году Кирсанов выпустил поэму «Товарищ Маркс» — к 50-летию со дня смерти своего героя. В конце поэмы Маркс ждал в Брюсселе известий о парижской революции 1848 г., а поезд вез эти известия через ночь: «Едет, едет паровоз, паровоз едет. С неба светит пара звезд, пара звезд светит... Паровоз едет слепо, пара звезд светит с неба. Паровоз слепо светит, пара звезд с неба едет... До Брюсселя сорок верст, сорок, сорок... Поскорее бы довез — скоро, скоро!» Критик огорчился: казалось бы, и тема у Кирсанова актуальная, и идея на месте, и эмоции правильные, а почему-то из всей поэмы в памяти только и остается «Едет, едет паровоз...» Это и есть лучшее свидетельство fascinирующей

роли ритма и созвучий в стихе. Понятно, что такое отвлечение от таких высоких тем советской идеологией не приветствовалось. А именно так была построена вся поэзия Кирсанова — в каждом стихотворении работали приемы, крепящие и подчеркивающие самостоятельность стиха, они-то и оставались в памяти.

Страдало от этого содержание или нет? Смотря какое содержание. Одно из самых броских стихотворений Кирсанова — «Буква М», на пуск московского метро в 1935 г., все слова начинаются с буквы М, вплоть до «мимо Моздвиженки к Моголевскому мульвару! Можалуйста!» Такие стихи были у Велимира Хлебникова, там за ними лежала идея всечеловеческого языка, в котором у каждого звука свой единый для всех смысл. У Кирсанова ничего подобного, только шутка; ценители Хлебникова вправе смотреть на эту вульгаризацию свысока. Но вот другое, очень непохожее произведение Кирсанова — огромная поэма «Вершина» (1952—1954, два года работы): борьба с природой, торжество человеческого духа, дружбы и веры в коммунизм, ничего, кроме пафоса общих мест советской поэзии. Представим себе ее написанной обычным советским 4-стопным или 5-стопным ямбом, и нам будет трудно даже подступить к ее 70 страницам. Но Кирсанов пишет ее 2-стопным ямбом — короткие, по-разному срастающиеся строчки, сверхчастые, по-разному переплетающиеся рифмы, и следить за ее текстом становится интереснее и легче. Формальный эксперимент спасает для читателей и тему, и идею. Советская критика снисходительно похвалила поэму, но никто не заметил и не сказал доброго слова ее 2-стопному ямбу.

Стихи Кирсанова выглядели как сухой осадок поэтической техники, выработанной началом XX в. Как словарь приемов, набор упражнений. Конечно, он не собирался этим ограничиваться. Студентам Литинститута он говорил: «Задача поэта заключается не в том, чтобы приобрести, найти навыки, а в том, чтобы их преодолеть». И: «Мастерство — это ставшее автоматическим стихотворное умение и умение преодоления этого автоматизма». Он приводил им в пример, как он писал «Четыре сонета». Душевное состояние стало складываться в строчки, строчки оказывались 5-стопными ямбами, связность чувств сращивала их в форму сонета, очень строгую и законченную. Текст разрастался, сонетов стало четыре, и тут он догадался, как сделать, чтобы они не лежали рядом друг с другом четырьмя изолированными, самодостаточными стихотворениями. Он перекинул последние фразы — единообразно-контрастные «и все-таки...» — из сонета в сонет, и четыре стихотворения срослись в одно целое вопреки всем традиционным правилам законченности сонетной формы. И только тогда определилась общая мысль произведения. Так и должны, говорил он, сочиняться настоящие стихи. А «излагать (готовые) мысли в стихотворной форме (значило бы) делать вещи, которые противостественны для искусства»: у начала поэтической работы стоит душевное состояние, мыслью оно становится, только превращаясь в слова, как соленый раствор в кристаллы. «Слово и есть мысль». Советская критика, для которой «идейность» была краеугольным понятием, в таком отношении к мысли как раз и видела самый опасный формализм.

Преодолевать навыки труднее, чем использовать навыки: обновляться в каждом стихотворении нелегко. Кирсанову далеко не всегда это удавалось — тогда в стихотворении оставались радостно-складные слова и (иногда) заранее готовая мысль. Кирсанов рвался преодолеть эту дробную малоформенность хотя бы простейшим образом — большим объемом. Отсюда его постоянное стремление к крупным масштабам, к большим поэмам. Мы видели в обзоре книг Кирсанова, как преобладали у него поэмы над лирикой — а ведь перечислены были далеко не все его поэмы. Хотя в памяти читателей неизменно оставались не эти большие вещи, а короткие стихотворения, а еще чаще — отдельные строфы и строки. Но разве это не судьба любой поэзии?

3

Звуковой образ и смысловой образ — два ключевых понятия поэтики Семена Кирсанова. В своих занятиях с молодыми поэтами он обращался к ним вновь и вновь, «Моросит на Маросейке...» — началось раннее стихотворение. Смысловый образ здесь — Маросейка, московская улица, название ее для современного москвича ничего не значит, а для историка значит «Малороссийка», от старинного малороссийского подворья. Звуковой образ здесь — созвучие со словом «моросит», эта морось притворяется корнем слова «Маросейка» (по крайней мере — сиюминутным корнем, пока идет дождь). Возникает ложное, но выразительное переосмысление, которое называется «народной этимологией» или «поэтической этимологией». Оно подкрепляется через строчку подключением еще одного звукового образа — «осень-хмаросейка», сеющая дождь из хмар (по-украински — помалороссийски! — туч). Здесь же присутствует и личное речательство: читателю уже сообщено, что Кирсанов приехал в Москву из Одессы и украинский язык для него не чужой. Вот такое умножение смысла от несовпадения границ звукового и смыслового образа и становится источником образного богатства современной поэзии. Конечно, не единственным источником. Необычно описать вид облаков или чувства асфальтируемого бульжника («Поэма поэтов»), построить целый небывалый мир из подземных овощей в «Поэме поэтов» или из химических отрав в антивоенной поэме «Герань — миндаль — фиалка» Кирсанов умеет и без игры словами, работая только зрительными образами вещей. Монументальное начало поэмы «Эдем», картина единой для всех времен войны добра и зла, тоже построена без звуковых образов — только смысловые. Однако обычно звуковые образы для обогащения смысловых образов возникают у Кирсанова на каждой странице.

Его любовь к игре слов часто воспринималась как легкомыслие, мельчащее большие темы. Это недальновидно. Маяковский когда-то напоминал, что нежность часто лучше всего выражается грубым словом, и в предсмертной записке без всякого ерничества писал: «Как говорят, инцидент исперчен...» Такое обращение со словом сохранил Кирсанов. Его «Больничная тетрадь» — действительно больничная и действительно написанная в многолетнем предвидении смерти: «С тихим смехом: «навсегданица!» — никударики летят...» «Боль боль-

ше, чем бог», которой «болишься, держась за болову, шепча болит-вы»: «на кого ты оставил мя, Госпиталь?» Больничный сон — «стоит полнейшая Спишь» «в спокойную теплую Сплю», «со спущенною рукою в Снись». «Умиравший сном забывается» — и еще «забывается» в другом значении, и еще «забывается» в четырех значениях, от «в уголок забывается» до «мясником забывается». Перед больным — «Окно, оно мое единственное око...» — и нанизываются 28 слов на «ок... ок...», включая (но не подчеркнуто!) «околевать на пустырях окраин». Здесь, где умирающий из последних сил держится за живое слово, вряд ли кто почувствует легкомыслие и фокусничество. Если помнить об этом, оглядываясь на ранние его стихи — «Моросит на Маросейке», «коллоквиум колоколов», «дирижабль ночь на туче пролежабль», «чудесаблями брови, чудесахаром губы», «люботаника», «тебетанье», «да-былицы», «зеленограмма», «с ничегонеделанья, с никуданебеганья... с ниокомнедуманья», — то такая игра самопростающими значениями слов перестанет казаться пустяками. А когда она укрупняется с лексики до фразеологии, то даже стилистические ошибки вроде «масло масляное» становятся источником новых смыслов и оттенков смысла: «Еле солнечное солнце... входит в сумеречный сумрак...» («Двойное эхо»). А когда она утончается с лексики до морфологии, то мы начинаем чувствовать опасные сдвиги смысловых границ даже внутри слова: в начале стихотворения («Новое «нео») — радостное «нео-фит», «нео-лит», в середине — нейтральное «Борнео», а в конце предосудительная «не-обдуманная не-осторожность». А когда она перекидывается с морфологии на синтаксис, и Война говорит «Меня не начинают?..» («Герань — миндаль — фиалка»), а лирический герой задумывается, как обращаться к себе на «вы», а к ближним на «я», и можно ли быть самим собой и не выйти из себя, если по твоим сказуемым ты то спящий, то бодрствующий, то пешеход, то пассажир («Поэма поэтов», цикл называется «Из себя»), — то такая быстрая смена перспектив заставляет по-новому почувствовать странное место человека в мире.

Каким стихотворным размером написана «Твоя поэма»: «Сегодня июня первый день, рожденья твоего число. Сдираю я с календаря ожогом ранящий листок... О, раньше! Нам с тобой везло...»? Это 4-стопный ямб, героический размер русской поэзии. Более того, он — со сплошными мужскими окончаниями, это трагический размер «Шильонского узника» и «Мцыри». Более того, в нем то и дело 4-стопные строчки разламываются на короткие 2-стопные, «срываю я — с календаря», как будто прерывается ровное дыхание. Более того, ожидаемые рифмы в ней то и дело ускользают: нам кажется, что рифмой к слову «число» должно быть слово «листок», а ею оказывается слово «везло», «листок» же остается без рифмы, ожидание обмануто. Или наоборот: рифма к слову «день» не откладывается до ожидаемого места, а спешит по пятам и возникает в слове «рожденья», как будто для ожидания не остается времени; а от этого, перекидываясь через запятую, на стыке строк срастается словосочетание, которое как будто ищет поэт и не может найти разорванными мыслями: «день рожденья». Так стихотворная форма участвует в создании взволнованной интонации, трагической атмосферы, ощущения зыбкости ускольза-

ющей жизни и распадающегося мира. Считать это отвлекающим формализмом можно только от крайнего невнимания. Это — лишь первые пять строк; мы могли бы так проследить до самого конца поэмы, как стих доносит до читателя то душевное состояние поэта, из которого (настаивает Кирсанов) рождаются одновременно слова и мысли. Конечно, при чтении нет надобности вникать умом в эти тонкости, но именно благодаря им всякий чуткий читатель услышит то, для чего даже у поэта нет слов.

Ради этого — все стиховые эксперименты, возникающие в собрании сочинений Кирсанова буквально на каждом шагу. Выбор размера никогда для него не случаен. Как 4-стопный ямб «Твоей поэмы» углубляет ее смысловую перспективу, так в «Небе над Родиной» несколько раз возникает ритм из «Колоколов» Эдгара По — «Только луч, луч, луч ищет летчик в мире туч...», «Это плеск, плеск, плеск щедро льющихся небес...» — и, конечно, это отсылка не только к Эдгару По, а ко всему романтическому ощущению единства мироздания. Или наоборот, подчеркивается не связь, а отталкивание от традиции: «Под одним небом, на Земном Шаре мы с тобой жили...» — этот ритм легко и естественно возникает в пяти стихотворениях подряд, и мало кто вспоминает, что он называется греческим словом «ионик», употреблялся в торжественных трагедиях и считался почти невыносимым для передачи по-русски. После этого не приходится говорить о том, как в начале и конце «Моей именинной» (сон и прощание) размер «... И на лапки, как котенок, встал будильник мой» тотчас напоминает о лермонтовской «Колыбельной», и о том, с какой легкостью складываются у Кирсанова слова на музыкальные мотивы («Усатые, мундирные...» в «Тамбове», вальс в «Золушке», полонез в «Опытах») — а это не так легко, как кажется.

Рифмы у Кирсанова, конечно, всегда звучные, «не бывшие в употреблении» (как говорилось в ЛЕФе) — здесь уроки Маяковского и Асеева были выучены на всю жизнь. Но ни Маяковский, ни Асеев не увлекались такой неброской вещью, как рифмовка одинаково выглядящих слов, а Кирсанов возвращался к ней вновь и вновь. В стихотворении «Птичий клин» рифмуется: «на мартовских полях — пометки на полях», «мое перо — журавлиное перо», «птичий клин — город Клин», «в гости пожаловал — перо пожаловал» (это называется: омонимические и тавтологические рифмы). Все это ради концовки: «смысл — не в буквальном смысле слов, а в превращеньях слова». Вот ради такого умножения смысла и работала вся большая машина кирсановского поэтического арсенала. Как в ней тавтологические рифмы служили и личной, и общественной теме, читатель увидит в «Одной встрече» и в «Семи днях недели» («Шторы опускаются, руки опускаются...»).

Как стихотворные размеры у Кирсанова помнят о своих прежних смыслах, так простейшие буквы азбуки прорастают новыми смыслами: эти незаметные атомы, из которых в конечном счете складывается в поэзии все и вся, — предмет особой его любви от первых до последних лет. Буквы превращаются в образы на глазах у читателя: «И эль, и Ю, и Бэ, и эль, и Ю, и ель у дюн, и белый день в июнь», а за ними и вся остальная природа вырастает именно из букв («Следы на песке»). У него не только есть стихотворения «Буква М» и «Буква

Р», — в ранних стихах у него осмысленными становятся строчки машинописных литер и слоги по складам разбираемых писем («Ундервудное», «С письмецом!»), а в поздних из этого получаются «Смыслодвойники» Глеба Насущного («Поэма поэтов»): «Вторых значений смысл мне видится во мгле...» Палиндромы («Лесной перевертень» с откликом Хлебникову) и фигурные стихи, этот апофеоз формализма, привлекали Кирсанова едва ли не тем, что строились именно из букв, а не из звуков, и воспринимались глазом, а не слухом: и это была не только шуточная картинка «Мой номер», но и расписанная стихами карта в «Пятилетке», через которую протягивались строчки «Вот — эмба-самаркандский нефтепровод», и уже в самых последних стихах — совсем не забавный вороночный «Ад». А для тех, кто протестовал бы, что поэзия — все-таки искусство слышимого звука, а не графики, у него было редко вспоминаемое стихотворение «Осень», первые строки которого — фонетический перевод из Верлена: знаменитое «Les sanglots longs des violons de l'automne...» стало: «Лес открыт, веером — клен. Дело в том, что носится стон в лесу густом золотом...» В самом деле, если обычный перевод передает смысл, не оставляя и следа от звуков подлинника, то почему бы не быть такому переводу, который сохраняет звук и заменяет смысл подлинника? «Вторых значений смысл» от этого не бывало расширяется. Такая игра с звучанием иностранных языков обнаруживается у Кирсанова и позже, в том числе в таких не шуточных стихах, как антивоенная «Герань — миндаль — фиалка».

Вершиной стиховых изобретений Кирсанова стал «высокий раек». Порой поэту случается открыть новый стихотворный размер, но почти невозможно открыть новую систему стихосложения. Кирсанову это удалось. Первая проба была едва ли не случайной — это были рифмы, почти незаметно мелькнувшие в прозаической ремарке, вставленной в поэму «Золотой век» (1932). Потом была «Герань — миндаль — фиалка» (1936) — свободный стих, по правилам — нерифмованный, но Кирсанову это было скучно, и он рассеял по нему немногочисленные рифмы, в незаметных и неожиданных местах. Потом — «Ночь под Новый Век» (1940), тоже свободный стих, но рифмы вышли из подполья и разбросались по строчкам в нарочито причудливых переплетениях. Потом фронтное «Заветное слово Фомы Смыслова», оно для экономии места печаталось на листовках как проза, прорифмованная уже насквозь. В «Александре Матросове» (1946) куски такой рифмованной прозы стали упорядоченно чередоваться, противопоставляясь, с кусками, написанными правильным тоническим стихом и еще более правильным 5-ст. ямбом. Наконец, в «Поэме поэтов» появляется цикл 12 стихотворений, от шуточных до патетических, над ними — заглавие «Высокий раек» и псевдоним «Хрисанф Семенов» — единственный из шести псевдонимов этой поэмы, напоминающий о настоящем ее авторе. А потом, в «Сказании про царя Макса-Емельяна...» (1962—1964), этот стих становится основой самого большого произведения Кирсанова, вставками принимая в себя вкрапления других размеров.

В науке такая система стихосложения называется, парадоксальным образом, «рифмованная проза». «Рифмованная» — потому что от трети до половины всех слов оказываются рифмованными (в два с

лишним раз больше, чем, например, в «Евгении Онегине»). «Проза» — потому что эти рифмы не членят текст на стихотворные строчки, не подчеркивают в нем ни ритмических, ни синтаксических пауз, а возникают неожиданно и непредсказуемо — не как структура, а как украшение. Вот маленький отрывок — картинка будущего — из «Ночи под Новый Век» (в подлиннике он напечатан как фигурное стихотворение в виде новогодней елки): «Добрый вечер! Добрый век! До бровей — поседелая шапка. Снега — охапка до век. Щеки с холода — ну и алы же! Лыжи поставьте, пьексы снимите и подымайтесь греться наверх. Тут растрещался камин искусственных дров: Живые деревья лет сорок не рубят! Любят, что просто растут. Воздух здоров, и исчезло древнее прозвище «дровосек». Заходите сюда, добрый век!» Читатель, конечно, заметит рифмы «век — до век — дровосек» (но, наверное, не заметит «наверх»), «дров — здоров», даже «шапка — охапка» и «алы же — лыжи», но, наверное, не заметит «добрый век — до бровей» и, может быть, даже «тут — растут»; и уж никак не угадает, как разбил эту прозу на строки Кирсанов. Это и есть рифмованная проза, поток переплетающихся созвучий, экзамен на чуткость читательского слуха. Она дорога поэту своей гибкостью: рифмы в ней могут появляться то упорядоченней, то беспорядочней, ритмы то отвердевают, то расплываются, она может то уподобляться правильному стиху, записанному в строчку, то противопоставляться ему.

Слово «раек» плохо подходит для обозначения новой поэтической формы: «раешный стих» балаганных дедов как раз был очень четко расчленен на строчки, подчеркнутые синтаксисом и размеченные рифмами. Но Кирсанову была важна многозначность этого слова: низовой раек балаганных картинок — высокий раек театральной галерки — и большой рай настоящей поэзии. Предшественников у него не было: в европейской поэзии рифмовка такой степени аморфности не употреблялась никогда, а в России мелькнула несколько раз только у неутомного новатора Андрея Белого и осталась никем не замеченной. Для Кирсанова эта форма была хороша не традициями, идущими из прошлого, а возможностями, распаивающимися в будущее, — возможностями соединить большие темы и идеи с веселой, неторжественной интонацией; а мы знаем, что именно это было главной его заботой и, можно сказать, главной чертой его характера от первых лет до последних. («Истину с улыбкой говорить», — неожиданно вспомнит русский читатель слова державинского «Памятника»).

Новая система стихосложения — подарок, который дарят поэзии не каждый день. Но открытие осталось незамеченным. Все решили, что это индивидуальный поэтический прием Кирсанова — еще один из его формалистических изысков. Подражателей и продолжателей не нашлось. Причин было две. Во-первых, многим попросту не хватало мастерства: пропитать прозу созвучиями так, чтобы они не опирались ни на ритм, ни на синтаксис, — это очень, очень трудно. А во-вторых, независимо от этого, интерес к рифме шел на спад: приближалась мода на свободный стих, аскетически отказывающийся от рифмы и оперирующий обнаженными смыслами. Открытие Кирсанова, не востребовавшее, легло в запасники русского стихосложения и ждет новой смены литературных вкусов.

Можно сказать, что это символично: вот так и весь Кирсанов остался в поэзии XX в. не востребовавшимся поэтом. Или, точнее: невоспринятым поэтом, непрочитанным поэтом. По его стихам скользили слухом — иногда с удовольствием, иногда с раздражением, — но редко останавливались, чтобы расслышать в его словах мысль. Именно ту мысль, что в словах, а не ту, что за словами: мы помним, «слово и есть мысль». Чтобы уловить ее, не нужно ни учености, ни природной чувствительности, — нужна только внимательность и готовность к новому и непривычному. А именно такой внимательности читателям не хватало больше всего — и притом чем дальше, тем больше.

Почему? Слишком раздвоилась читательская культура, разделившись на массовую и катакомбную. Те, кто не сумел или не захотел выучить поэтический язык XX в. (как Горький, как унифицированная советская поэзия), — тем Кирсанов слишком сложен. («Слишком сложная форма при слишком простом содержании», — так ведь говорилось и о советском Маяковском). Те немногие, кто чувствовал себя хранителями старой культуры, и для кого этот поэтический язык застыл в творчестве его первых творцов и стал не орудием, а предметом почитания (прекрасное должно быть только величаво) — тем Кирсанов слишком прост. Он не годился ни для казенного журнала, ни для самиздата. Скрещиваясь, эти два отношения и порождали привычный образ Кирсанова — фокусника и формалиста.

А этот образ, утвержденный критикой, в свою очередь мешал прочесть в Кирсанове внимательнее то, что заслуживало и чтения, и перечтения. Вероятно, заслуживало: Кирсанов не раз получал письма от простых читателей, которым «Твоя поэма» помогала жить в трудные минуты, а из Чехословакии ему прислали немецкий перевод «Четырех сонетов», сделанный в 1943 г. в Дахау и ходивший по рукам среди узников. Кирсанов был тщеславен, как всякий поэт, но когда он обижался на суждения критики, то это была обида не на суровость и даже не на несправедливость, а на предвзятость.

Из современников больше всего приближался к нему Мартынов (которого Кирсанов очень ценил). Из младшего поколения в его литинститутском семинаре занимались и Слуцкий, и Глазков, и Ксения Некрасова (которую Кирсанов считал гениальной). У Кирсанова они учились чувству слова, но внешняя манера его поэзии осталась им чужда. Глашатаем его наследия был Андрей Вознесенский, писавший о Кирсанове восторженно и нежно; собственные стихи Вознесенского тоже ведь, как у Кирсанова, напоминают поэтическую лабораторию, только не с веселостью, а с трагической истерикой. После этих похвал о Кирсанове совсем перестали вспоминать. Это значит, что он стал уже достоянием историков. Это хорошо: история часто бывает более справедливой, чем современность.

Мы попробовали определить место Кирсанова в русской поэзии XX века. Мы не пытались его оценивать — говорить о его стихах, хорошие они или плохие. Это скажет сам читатель, соотнеся эти его стихи со своим меняющимся читательским опытом. Тот поэтический язык, сложившийся в начале XX в., грамматику которого сохранил в

своих стихах Кирсанов, — конечно, не вечен. Уже сложился или складывается новый, или даже несколько новых. Носители их, может быть, тоже будут смотреть на Кирсанова свысока — не за то, что он формалист, а за то, что он не такой формалист, как они. Не будем гадать. Составители этой книги сделали все, что могли, чтобы отобрать то, что через тридцать лет после смерти поэта ощущалось как лучшее. Теперь слово за следующими поколениями читателей.

М. Л. Гаспаров.

ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА СЕМЕНА КИРСАНОВА

- 1906 18 сентября (по новому стилю) у одесского портного Исаака Иосифовича Кортчика и его жены Анны Самойловны Фельдман родился сын Семен. Исаак Кортчик был известным и преуспевающим модельером женской одежды в Одессе, незадолго до рождения сына он приобрел для своей мастерской часть особняка на Гаванной улице в центре города (дом замыкал Городской сад между Дерibasовской и Ланжероновской). В советское время она была переименована в улицу Халтурина. Квартира Кортчиков помещалась в том же доме на втором этаже. После смерти поэта на доме была установлена мемориальная доска.
- 1914—1923 Поступает во Вторую одесскую классическую гимназию. Закончив среднюю школу, образованную после революции на основе этой гимназии, учился на филологическом факультете Одесского Института народного образования.
- 1916 Как свидетельствует сам Кирсанов в автобиографии 1947 г., написано первое стихотворение (в Одесском литературном музее есть, впрочем, рукопись, относящаяся к 1915 г.).
- 1920—1922 Вступает в одесский «Коллектив поэтов», среди членов которого были Э. Багрицкий, Ю. Олеша, В. Катаев, В. Инбер. В противовес господствовавшему в «Коллективе» неоклассическому направлению «исповедывал Хлебникова и словотворчество» — пишет он в своей автобиографии. В 1922 г. создает собственную литературную группу — ОАФ (Одесскую ассоциацию футуристов), начинает печататься в газетах «Станок», «Одесские известия», «Моряк». Выбирает себе литературный псевдоним: вначале он было составил его из первых слогов фамилии и имени: «Корсемов», но потом заменил на более благозвучный «Кирсанов». В том же 1922 г. участвует — как автор пьес и как актер — в организации левого молодежного театра
- 1922 Знакомство с приехавшим в Одессу Маяковским (по данным автобиографии 1947 г.). Кирсанов читает ему свои стихи и получает одобрение.

- 1924 По образу и подобию московского ЛЕФа в Одессе основывается Юго-ЛЕФ (Левый фронт искусств Юга). Кирсанов становится ответственным секретарем журнала, печатает там свои стихи. В город снова приезжает Маяковский. Знакомство с ним получает дальнейшее развитие: Маяковский берет стихи Кирсанова для публикации в журнале «ЛЕФ». Вскоре там были напечатаны стихотворения «Красноармейская — буденновцам» и «Ликбез». В том же году Кирсанов впервые едет в Москву для участия в конференции ЛЕФа, побывал он также и на 1 Съезде пролетарских писателей.
- 1925 Окончательный переезд в Москву. «В Москве тепло принят левовцами. Начинаю печататься в прессе. Живу плохо, голодаю, сплю под кремлевской стеной на скамье. Приезжает из Америки Маяковский. Дела улучшаются. Пишем вместе рекламные стихи и агитки», — сообщает поэт в своей автобиографии.
- 1926 В Государственном издательстве выходит первая книга стихов «Прицел».
- 1927 В Государственном издательстве выходит книга стихов «Опыты» — одна из лучших книг поэта. Имя Кирсанова приобретает известность. Грузинские поэты приглашают его приехать в Тифлис, где он проводит четыре месяца.
- 1928 Женитьба на Клавдии Карповне Бесклебных (1908—1937). Это событие обозначило новый этап в жизни поэта, его обрастание московскими друзьями, налаживание нового быта. Клава Кирсанова обладала способностью притягивать к себе людей: среди ее ближайших друзей оказались Оксана Асеева, Асаф и Суламифь Мессерер, Анель Судакевич, Михаил Кольцов, Александр Тышлер, Михаил Ботвинник. С нежностью относились к ней Маяковский и Брики. Жизнь с Клавой была наиболее счастливым временем для поэта как с личной, так и с творческой точки зрения. В это время выходят поэтические сборники, составившие его довоенную славу.
- 1928 В издательстве «Земля и фабрика» напечатана поэма «Моя именная». Стихи очень нравятся Маяковскому (еще до выхода книги он печатает поэму в своем журнале «Новый ЛЕФ»), по свидетельству Лили Юрьевны Брик Маяковский любил напевать отрывки из поэмы, особенно из первой и последней главы.
- 1930 Самоубийство Маяковского Кирсанов переживает как большое личное горе, которое ставит его перед проблемой: как жить и как писать дальше. Он видит себя его

поэтическим наследником и пытается вначале продолжить начатое им дело в буквальном смысле слова: написать задуманную Маяковским поэму («Здесь, в крематории, пред пепеловой горсткой / присягу воинскую я даю / в том, что поэму выстрою твою, / как начал строить ты, товарищ Маяковский»).

1931—1935 Выходит в свет поэма «Пятилетка» (1931), в которой отражена искренняя вера поэта в торжество коммунистических идеалов, стремление стать в один ряд с реальными творцами социалистической индустриализации. Это стремление следовать агитационной стороне творчества Маяковского отражено и в других книгах Кирсанова начала 30-х годов: «Строки стройки» (1930), «Ударный квартал» (1931), «Стихи в строю» (1932), «Товарищ Маркс» (1933). Одновременно, в этот период формируется и другое направление поэзии Кирсанова, не связанное с ученичеством и в наибольшей степени отражающее его собственные поэтические вкусы и возможности. Среди книг, находящихся в русле этого направления: «Слово предоставляется Кирсанову» (1930) в уникальном оформлении Телингатера (до сих пор эта книга экспонируется как образец книжного дизайна на выставке в Музее книги Российской государственной библиотеки), «Последний современник» (1930) в обложке работы Родченко, «Тетрадь» (1933) «Поэма о Роботе» (1935) и, наконец, «Золушка» (1935) с рисунками Тышлера. Поэзия Кирсанова приобретает всесоюзную известность.

1934 В начале 1934 г. семья Кирсановых переехала в новую квартиру недалеко от Гоголевского бульвара (Нашокинский переулок, дом 5, кв. 10). В надстройке верхнего этажа этого дома квартиру получили многие писатели; через стену соседом Кирсанова был Осип Мандельштам, живший в другом подъезде. Между ними установились добрые отношения, они часто выходили на плоскую крышу дома прочитать друг другу стихи. Соседство двух поэтов впоследствии дало повод Ахматовой отметить, что «когда арестовывали Мандельштама, за стеной у Кирсанова играла гавайская гитара». Однако это никоим образом не должно бросить тень на отношение к Мандельштаму Кирсанова, который не только восхищался его поэзией, но и был одним из немногих, кто в то время помогал ему материально. (В брежневские времена дом снесли, построив на его месте трансформаторную станцию для близлежащего генеральского дома).

1934 1-й Всесоюзный съезд писателей, образование Союза писателей СССР. На съезде Кирсанов — в числе выступающих.

- 1935 Поездка за границу вместе с Безыменским, Луговским и Сельвинским. В Праге и Париже — публичные выступления. «Мои стихи переведены на чешский язык и на французский — Луи Арагоном. На обратном пути проезжаю Берлин. Ощущение близкой схватки. Это выражено в «Поэме о Роботе» и в поэме «Война — Чуме!» (из автобиографии).
- 1936 Рождение сына Владимира совпало с переездом в новый кооперативный дом писателей в Лаврушинском переулке.
- 1937 Смерть Клавды Кирсановой от туберкулеза горла, обострившегося в результате беременности. Выходит в свет «Твоя Поэма».
- 1937—1940 Период активной общественной деятельности: руководство организацией клуба писателей, который становится центром литературной жизни Москвы. Выступления в «Комсомольской правде» и «Литературной газете» со статьями о современных тенденциях в литературе («Урок поэтам», «Разговор о безвкусице», «О молодых поэтах», «О чувстве нового» и др.). Преподавание в Литературном институте; среди участников его семинара М. Кульчицкий, Б. Слуцкий, Н. Глазков, К. Некрасова. Публикуются книги: «Дорога по Радуге» (1938), «Мыс Желания» (1938), «Четыре тетради» (1940). В 1939—1940 гг. в журнале «Молодая гвардия» опубликованы первые главы «Поэмы поэтов», которая целиком была напечатана только через двадцать пять лет; в конце года «Комсомольская правда» отдает целую страницу годового номера для новой поэмы «Ночь под Новый Век».
- 1939 Награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Избран депутатом Моссовета.
- 1941 Женитьба на Раисе Дмитриевне Беляевой (1923—1986). В июне Кирсанов уезжает вместе с женой в Ригу, и там его застает война. Ему чудом удается остаться в живых: в последнюю минуту пришлось поменять билет, а поезд, на котором он должен был возвращаться в Москву, был расстрелян немецкими истребителями.
- 1941—1945 В первые недели войны по инициативе Кирсанова организованы Окна ТАСС, где он руководит литбригадой. В конце июня добровольцем вступает в армию. В качестве военного корреспондента «Красной Звезды» едет на Северо-Западный фронт в район Новгорода, где идут жесткие бои. Затем Кирсанова переводят во фронтовую газету Центрального фронта в район Гомеля, где при отступлении его часть попадает в окружение. Выйдя после

долгих мытарств из окружения, Кирсанов на несколько дней попадает в Москву, после чего — снова на фронт, сначала Карельский, а затем Калининский. Пишет «Поэму фронта», которая издается отдельной книжкой. Лирическим дневником первого года войны стала поэма «Эдем», напечатанная в сильно искаженном виде много лет спустя. С 1942-го начинает работать над «Заветным словом Фомы Смыслова, русского бывалого солдата» — лубочными рассказами о фронтовой жизни. «Слово» издается миллионными тиражами (в виде листовок и брошюр), печатается во всей фронтовой прессе и получает в армии огромный резонанс. Поэт получил тысячи писем от своих читателей-солдат, которые считали, что «бывалый Фома» в действительности существует. В 1944 г. вместе с частями Красной Армии участвовал в освобождении Севастополя и Риги. Был дважды контужен. В июне 1945 г. демобилизован. В конце года заканчивает поэму «Война и Небо» (опубликована два года спустя под названием «Небо над Родиной»). Как корреспондент газеты «Труд» отправляется в Нюрнберг на процесс главных военных преступников.

- 1946 В журнале «Октябрь» опубликована поэма «Александр Матросов» об одном из героев Отечественной войны. В конце года она выходит отдельной книгой.
- 1947 Журнал «Октябрь» печатает полный текст поэмы «Небо над Родиной».
- 1950—1954 Закончена работа над драмой в стихах «Макар Мазай» о сталеваре-стахановце, убитом немцами (начата в конце 1946 г.). Поэма выходит отдельной книжкой в издательстве «Молодая гвардия», а затем и в сборнике «Выдающиеся произведения советской литературы, 1950 г.». За нее автор был удостоен Сталинской премии 3-й степени (за 1950 г.). Звание лауреата широко открывает перед ним двери издательств, и в 1954 г. выходит в свет двухтомник его сочинений в Гослитиздате. Начало 50-х годов в творчестве Кирсанова связано также с активной переводческой работой: он переводит Неруду, Хикмета, Кубу, Брехта, Гейне, польских и чешских поэтов. Неруда и Арагон, часто приезжающие в Москву, гостят в его доме.
- 1955 В журнале «Октябрь» (№ 12 за 1954 г.), а затем и отдельной книжкой в издательстве «Советский писатель» выходит поэма «Вершина». В биографической «Справке о себе», написанной в 1958 г., Кирсанов так оценивал свое тогдашнее к ней отношение: «Главной своей вещью последних лет я считаю поэму «Вершина», в которой я сказал то, что я думаю о смысле человеческого труда и что думаю о себе как поэте».

- 1956 После XX съезда партии во время хрущевской оттепели открывается возможность поездок за рубеж. Кирсанов едет в Лондон, а затем в Италию. Творческим результатом этих поездок становится цикл стихов о заграничье, опубликованный в журналах «Октябрь» (1956) и «Нева» (1957). В это же время он пишет лирико-публицистическую поэму «Семь дней недели», в которой, воодушевленный докладом Хрущева на XX съезде, осуждает преступления партийных чиновников и выступает за либерализацию политики партии. Поэма печатается в «Новом мире» одновременно с романом Дудинцева «Не хлебом единым» (1956). Она вызывает крайне отрицательную реакцию со стороны властей, и в последующие два года книги Кирсанова вычеркиваются из редакционных планов издательств.
- 1957 Кирсанов подолгу живет в Ленинграде, работая там над стихами об этом городе. Цикл стихотворений «Ленинградская тетрадь» публикуется в журнале «Знамя». В связи с пятидесятилетием награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени.
- 1958 В личной жизни поэта происходят нелегкие перемены: разрыв с женой, Раисой Дмитриевной Кирсановой, который он тяжело переживает.
- 1959 В сентябре 1959 г. принимает участие в поэтическом биеннале в Кнокке ле Зут (Бельгия). Встреча с Изабель Базс. Под влиянием знакомства с ней написана поэма «Следы на песке» (опубликована в альманахе «День поэзии» в 1960 г.).
- 1960 Женитьба на Людмиле Михайловне Лукиной (р. 1935). Переезд в новую квартиру на Смоленской улице. Рождение сына Алексея (1960—1996). Отдельной книгой в издательстве «Советский писатель» опубликована «Ленинградская тетрадь».
- 1961 В Гослитиздате выходят в свет «Избранные произведения» в 2-х томах.
- 1962 В «Библиотеке "Огонек"» опубликован цикл новых стихотворений «Этот мир», который несет на себе черты личной трагедии, пережитой несколькими годами раньше. В конце 1962 г. издательство «Советский писатель» выпускает книгу «Лирика», где помещены лучшие стихи, написанные поэтом с 1925 г. по 1962 г. Сюда же вошли многие вещи, до той поры не опубликованные, в том числе «Эдем», написанный в первые годы войны, а также стихотворения последних лет.

- 1963—1964 Первые признаки надвигающейся смертельной болезни: врачи обнаруживают опухоль в гайморовой полости. В Московском госпитале челюстно-лицевой хирургии Кирсанову сделана операция по ее удалению, при этом нарушена нёбная перегородка между носоглоткой и ротовой полостью — чтобы пить или курить, приходится зажимать нос. Первоначально болезненные ощущения возникли после перелетов на самолете; поэт в это время был увлечен астрономией и часто летал в Крым, в тамошнюю астрофизическую обсерваторию. Стихи о звездах впервые напечатаны в декабрьском номере журнала «Наука и Жизнь» под общим заглавием «Год спокойного Солнца». Позднее расширенный цикл стихотворений был опубликован под названием «На былинных холмах». В 1964 издательство «Советский писатель» выпустило книгу стихотворений и поэм «Однажды завтра», где было опубликовано едва ли не самое замечательное его произведение последних лет — фантастическое «Сказание про царя Макса-Емельяна».
- 1965 Летом находится на лечении в Центральной клинической больнице, где проходит курс лучевой терапии. В ноябре для продолжения лечения вместе с женой уезжает во Францию.
- 1966 В издательстве «Советский писатель» выходит «Книга лирики», в которой впервые полностью напечатана «Поэма поэтов». В связи с шестидесятилетием награжден Орденом Ленина.
- 1966—1969 Несмотря на болезнь много путешествует. В 1966 г. едет в Польшу на встречу бывших корреспондентов на Нюрнбергском процессе, в 1967-м — во Францию на поэтическую конференцию, в затем — в Чехословакию на выставку международной книги. Летом 1968 г. снова приезжает в Чехословакию (его пригласил посетить Прагу вместе с женой чешский Союз писателей), а в ноябре едет на международную конференцию переводчиков в Венгрию. Наконец, в июле 1969 г. прилетает в Чили на празднование юбилея Пабло Неруды. В 1967 г. Кирсанову в издательстве «Художественная литература» удается опубликовать книгу стихов «Искания», куда вошли его наиболее спорные, с точки зрения официальной критики, произведения.
- 1970 В издательстве «Советский писатель» выходит книга «Зеркала», где собраны стихи, написанные за последние несколько лет. Это прежде всего новая поэма «Зеркала», цикл стихотворений «Больничная тетрадь», воспоминание о юности и последняя дань памяти старому другу

(«Двадцатые годы»), мысли о приближающейся смерти («Перед затмением», «Смерть лося», «Северный ветер»).

- 1971—1972 Годы проходят в напряженной работе: Кирсанов пишет новую поэму «Дельфиниада», подготавливает новое издание книги стихов «Зеркала», причем принимает участие в художественном оформлении книги — придумывает дизайн обложки и титульного листа, а главное — завершает подготовку четырехтомного собрания сочинений и сдает рукопись в издательство «Художественная литература». В 24-м номере за 1972 г. журнал «Огонек» печатает большую подборку не публиковавшихся прежде стихов «От самых ранних до самых поздних» за пятьдесят лет (1922—1972). Среди них — перевод «Лорелей» Гейне, стихи о начале войны, «Долгий дождь» и «Реквием». В 1972 г. Кирсанов переезжает в новую квартиру на Большой Грузинской улице. В июне 1972 г. едет в Варшаву на празднование юбилея Броневского; в ноябре болезнь внезапно обостряется.
- 1972 Умер 10 декабря. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

СТИХОТВОРЕНИЯ и ПОЭМЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ

1

Скоро в снег побегут струйки,
скоро будут поля в хлебе.
Не хочу я синицу в руки,
а хочу журавля в небе.

1923

2. ПОГУДКА О ПОГОДКЕ

Теплотой меня пой,
поле юга — родина.
Губы нежные твои —
красная смородина!

Погляжу в твои глаза —
голубой крыжовник!
В них лазурь и бирюза,
ясно, хорошо в них!

Скоро, скоро, как ни жаль,
летняя долина,
вновь ударится в печаль
дождик-мандолина.

Листья леса сложет медь,
станут звезды тонкими,
щеки станут розоветь —
яблоки антоновки.

А когда за синью утр
лес качнется в золоте,
дуб покажет веткой: тут
клад рассыпан — желуди.

Лягут белые поля
снегом на все стороны,
налетят на купола
сарацины-вороны...

Станешь, милая, сесть,
цвет волос изменится.
Затоскует по воде
водяная мельница.

И начнут метели выть
снежные — повсюду!
Только я тебя любить
и седою буду!

1923

3. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ РАЗГОВОРНАЯ

Шли мы полем,
шли мы лугом,
шли мы полком,
шли мы взводом.

Белых колем,
гоним кру́гом,
в общем, толком
страх наводим.

Разузнать велел комбриг нам,
где беляк засел в полях:
— На разведку, Сенька, двигай,
винт за плечи, и на шлях!

Вот, брат,
иду, брат,
в куст, брат,
в овраг, брат,
лег, брат,
в кусты, брат,
идет, брат,
враг, гад!..

С ружьем, гад,
с ножом, гад,
и тут, брат,
встаешь:
— Стой, гад,
ни с места,
даешь!..

А он, гад,
слышь, брат,
четыреглазый.

Брит, брат,
крыт, брат,
круглой папахой.
Водкой воняет —
шаг до заразы.
А грудь, брат,
крыта желтой рубахой.

Был, грю, бритый,
будешь битый!
Резал наших,
кажись, довольно!
А он, грит, биттэ,
гэрр, грит, биттэ...
— Бить так бить, —
кулакам не больно!.

Бил я, бил, а потом — бабахнул;
падал он — мертвым на брюхо бахнул.
Я, брат, вижу — чуднá папаха,
глядь, а в папахе, кажись, бумага.

Стал я с папахой ходить к комбригу,
стал я под честь отдавать бумагу.
Бумагу читал комбриг, что книгу,
потом, брат, орден дал за отвагу!

Как стали мы с планом бить Петлюру,
в петлю Петлюру загнали точно.
Махно смахнули, задрали Шкуру,
и вот затюкан Тютюник прочно.

Давай тютюн завернуть сигарку!
Теперь, брат, видишь, — крепки Советы.
А если тронут — так будет жарко,
пойдут гудеть реввоенсоветы!..

Нынче учим,
отдых нынче.
Что ж до бучи —
штык привинчен.

Марш сыграют, —
сварим кашу.
Враг узнает
хватку нашу!

4. С ПИСЬМЕЦОМ

1

Мы —
в окопах.
Темь — аж ну!
Аж в комок затып.
Не дрефозь,
браток, —
нажму,
закреплю Октябрь!

Собралися мы
в кружок,
тот —
об этом,
тот —
об том...
— Эх,
еще
один
прыжок, —
всех бандитов
перебьем!

Посередке
я сидю:
— Докатились до беды.
Из деревни
ни тю-тю,
ни туды
и ни сюды!

— Эх, Тимошка,
ну, да ну...
— Перебьемся, ничего, —
взводный к нам.
— Ну-ну,
загнул!
Погляди,
а ну-ка
в-во:

— Тимофею Елеву,
— Ермолаю Пудову,
— Родиону Семенцову —

письмецо.
— Скелева?
— Скудова?
— А с деревни,
от жены...
Письмецо —
налицо!

Стой, моя штыковина,
ружьецо!
Вот так, брат, штуковина,
письмецо!..

2

Письмецо — мне:
 эн и е —
 не...

Прочитай — на:
 эн и а —
 на... —
 не-на.

Тимофей — глянь:
 гэ и ля —
 гля... —
 не-на-гля.

Тимохвей, розумий:
 дэ и эн,
 ы и ий —
 дный...

На махры, покрути:
 те и и,
 будет —
 ти...

Да не лезь,
 дай письмо:
 эм и о
 значить —
 мо...

Ха и ве —
 хве...
 хвей...

Ого-
 го-
 эй:
Не-на-гля-дный Ти-мо-хве-й...

С этого подхода
 забрала охота,
 пальцы тянутся к перу,
 а глаза — к бумаге.
 Прорубили мы дыру
 в белые ватаги:
 в банды —
 клин,
 в Деникина —
 кол!
 Белым —
 вата блин,
 наши —
 в комсомол!

4

Эх, кому бы,
 кому
 Научить меня
 уму?
 И хожу
 середь полей
 без памяти.
 Обучи меня,
 Михей,
 грамоте!
 В школе —
 стены бе-елые,
 белю-сенькие,
 в книжках —
 буковки малю-у...
 малюсенькие.
 Глаз неймет,
 зуб неймет —
 хвостики
 да усики.
 Поучусь,
 будет впрок, —
 задавай,
 Михей,
 урок!

5

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж...
 (буквы ходят в полосе) —

вот и азбука уже
у меня на голосе.
И, К, Л, М, Н, О, П...
После П
 ударит Р,
запишуся
 в РКП,
надо двигать
 СССР!

С политграмотой
 живей,
айда,
 братец Тимофей!
Стал Тимошка
 грамотеем, —
значит,
 братцы,
 не робей:
если
 дружно
 пропотеем,
каждый
 будет
 грамотей!

1923

5. ДВА ВОСТОКА

Для песен смуглой у шатра
я с фонарем не обернулся.
Фатима, жди — спадет чадра
у черной радуги бурнуса.

В чье сердце рай, Селим, вселим?
Где солнце — сон? И степи сини?
Где сонмом ангелов висим
на перезрелом апельсине?

Где сок точили?
 На углу...
Как подойти к луне?
 С поклоном...
Горам — Коран
 как Иль-ля-У,
мой берег желт,
 он за Ливаном.

Багдад!
Корабль!!
Шелка!!!
Любовь!!!

О, бедуин, беда и пена!
И морда взмылена его,
и пеньем вскинуты колена.

О, над зурной виси, Гафиз,
концы зазубрин струн развеяв,
речей,

ручей,
в зурну
катись
и лезвий
речь
точи
быстрее...

Но как
взлетит
на минарет
фонарь
как брошенный
окуроч...

С огнем восстанья и ракет
подкрался рослый младотурок.

Но в тьму ночную — не спеша...
Такая мгла!

За полумесяц
отряд ведет Кемаль-паша,
штыками острыми развесясь.

И что же, ты оторопел?
Нет!

Видно, струн не перебросить,
покуда

в горле
Дарданелл
торчит
английский
броненосец.

1923

6. КРЕСТЬЯНСКАЯ — БУДЕНОВЦАМ

Проси-дел в хá-лодной Архип-коммунар,
Осип за-перт в кутузку — ни стать, ни сесть.
А придет пá-ляк — на спине пá-жар,
и гуля-ет плеть па спи-не в объ-езд.

В испол-коме Архи-пу не быть со-всем,
гала-бой па-ляк там от бе-лых войск.
«Я те в зём-би дам, вписци земби на зёмь,
шпеда-ва́й пше-пицу да кланяйся в пояс».

Из опуш-ки в село заглянули свои.
Говорят мне — в один, Клим, клин колоти.
Эх, будёнцы-бойцы, засвистали соловьи,
из-под топота копыт пуля по полю летит.

Словно бе-лый бык, нале-тел паляк,
гала-ва́ в поту, и грозит гу-ба.
Налетел кá-зак, разрубил па-палам
(у быка бела губа была тупа).

Перед главной избóю народ голо-сит:
«Эх, пришла наша вла́сть, саби-райся, народ!»
Што-што Осип ахрип, а Архип о-сип,
если каждый нарó-ду о новом орет.

К мужи-кам подошла́ каза-ков брат-ва:
«Где, тава-ришши, на́м прикорнуть, лечь?» —
«На дворе дрó-ва́, на дро-вах тра-ва,
Накор-ми ко-ня, зато-пи печь!»

И стоит Мас-квá, Савнар-ком гу-дит,
и грозит ру-жьем Реввоён-совет.
Девятна-цатый год ата-бьет в груди
нашей конь-нице сла́ву на ты-щи лет!.

1924

7. ЛЮБОВЬ ЛИНГВИСТА

Я надел в сентябре ученический герб,
и от ветра деревьев, от веток и верб
я носил за собою клеенчатый горб —
словарей и учебников разговор.

Для меня математика стала бузой,
я бежал от ответов быстрее борзой...

Но зато занимали мои вечера:
«иже», «аще», «понеже» et cetera...¹

Ничего не поделаешь с языком,
когда слово цветет, как цветами газон.
Я бросал этот тон и бросался потом
на французский язык:
Nous étions... vous étiez... ils ont...²

Я уже принимал глаза за латунь
и бежал глазами по вечерам,
когда стаей синиц налетела латынь:
«Lauro cinge volens, Melpomene, comam!»³

Ах, такими словами не говорят,
мне поэмы такой никогда не создать!
«Meine liebe Mari»⁴, — повторяю подряд
и хочу по-немецки о ней написать.

Все слова на моей ошалелой губе —
от нежнейшего «ах!» до плевков «улюлю!».
Потому я сегодня раскрою тебе
сразу все:

«апо»,

«j'ame»,

«liebe dich»⁵

и «люблю!»

1924

8. МОЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Грифельные доски,
парты в ряд,
сидят подростки,
сидят — зубрят:

«Четырежды восемь —
тридцать два».

(Улица — осень,
жива едва...)

¹ И так далее (лат.).

² Мы были... вы были... они имеют...(фр.).

³ «Лавром увенчай благосклонно, Мельпомена, главу мою» (лат.).

⁴ «Моя любимая Мария» (нем.).

⁵ «Люблю» (ит., фр., нем.).

«Дети, молчите.
Кирсанов, цыц!..» —
сыплет учитель
в изгородь лиц.

Сыплются рокотом
дни подряда.
Вырасту доктором
я (говорят).

Будет нарисовано
золотом букв:
«ДОКТОР КИРСАНОВ,
прием до двух».

Плача и ноя,
придет больной,
держась за больное
место: «Ой!»

Пощупаю вену,
задам вопрос,
скажу: «Несомненно,
туберкулез.

Но будьте стойки.
Вот вам приказ:
стакан касторки
через каждый час!»

Ах, вышло иначе,
мечты — пустяки.
Я вырос и начал
писать стихи.

Отец голосил:
«Судьба сама —
единственный сын
сошел с ума!..»

Что мне семейка —
пускай поют.
Бульварная скамейка —
мой приют.

Хожу, мостовым
обминая бока,
вдыхаю дым
табака.

Ничего не кушаю
и не пью —
слушаю
стихи
и пою.

Греми, мандолина,
под уличный гам...
Не жизнь, а малина —
дай
бог
вам!

1925

9. ОСЕНЬ

Les sanglots longs...
*Paul Verlaine*¹

Лес окрылен,
веером — клен.
Дело в том,
что носится стон
в лесу густом
золотом...

Это — сентябрь,
вихри взвинтя,
бросился в дебрь, —
то злобен, то добр
лиственных допр
осенний тембр.

Ливня гульба
топит бульвар,
льет с крыш...
Ночная скамья,
и с зонтиком я —
летучая мышь.

Жду не дождусь...
Чей на дождю
след?..
Много скамей,

¹ Долгие рыдания... *Поль Верлен (фр.)*.

но милой моей
нет!..

1925

10. СЕНТЯБРЬСКОЕ

Моросит на Маросейке,
на Никольской колется...
Осень, осень-хмаросейка,
дождь ползет околицей.

Ходят конки до Таганки
то смычком, то скрипкою..
У Горшанова цыганки
в бубны бьют и вскрикивают!..

Вот и вечер. Сколько слякоти
ваши туфли отпили!
Заболейте, милый, слягте —
до ближайшей оттепели!

1925

11. БОЙ БЫКОВ

В. В. Маяковскому

Бой быков!
Бой быков!
Бой!
Бой!

Прошибайте
проходы
головой!

Сквозь плакаты,
билеты,
номера —
веера,
эполеты,
веера!..

Бой быков!
Бой быков!
Бой!
Бой!

А в соседстве
с оркестровой трубой,
поворачивая
 черный
 бок,
поворачивался
 черный
 бык.

Он томился, стеная:
 «Ммм-у!..
Я бы шею отдал
 ярму,
у меня перетяжки
 мышц,
что твои рычаги,
 тверды, —
я хочу для твоих
 домищ
рыть поля и таскать
 пуды-ы...»

Но в оркестре гудит
 труба,
и заводит печаль
 скрипач,
и не слышит уже
 толпа
придушённый бычачий
 плач.

И толпе нипочем!
 Голубым плащом
сам торреро укрыл плечо.
 Надо брови ему
подчернить еще
и взмахнуть
 голубым
 плащом.

Ведь недаром улыбка
 на губках той,
и награда ему
 за то,
чтобы, ярче розы
 перевитой,
разгорался
 его задор:

«Тор
реа
дор,
веди
смелее
в бой!

Торреадор!
Торреадор!»

Пускай грохочет в груди задор,
песок и кровь — твоя дорога,
взмахни плащом, торреадор,
плащом, распахнутым широко!..

Рокот кастаньетный — цок-там и так-там,
донны в ладоши подхлопывают тактам.
Встал торреадор, поклонился с тактом, —
бык!
бык!!
бык!!!

Свинцовая муть повеяла.
— Пунцовое!
— Ммм-у!
— Охейло!

А ну-ка ему, скорей — раз!
Бык бросился.
— Ммм-у!
— Торрейрос.

Арена в дыму. Парад — ах!
Бросается!
— Ммм-у!
— Торрада!

Беснуется галерея,
Торреро на...
— Ммм-у!
— Оррейа!

Развеялась, растаяла
галерея и вся Севилья,
и в самое бычье хайло
впивается бандерилья.

И — раз,
и шпагой
в затылок
влез.
И красного черный ток, —
и птичьей стаей
с окружных мест
за белым платком
полетел платок.

Это:
— Ура!
— Bravo!!
— Герой!!!
— Слава ему!
— Роза ему!

А бык
даже крикнуть не может:
ой!

Он
давится хриплым:
«Ммм-уу...

Я шею
хотел отдать
ярму,
ворочать
мышц
шатуны,
чтоб жить
на прелом
его корму...

Мммм...
нет
у меня
во рту
слюны,
чтоб
плюнуть
в глаза
ему!..»

1925

12. МОЙ НОМЕР

Номер
стиха
на экзамен
цирку
ареной чувств моих и дум —
уверенных ног
расставляя
к
р у
и л
ц ь
по проволоке строчки,
качаясь,
иду.
Зонт Звон,
золот. зонт.
Круг Рук
мертв. вёрт.
Шаг... Флаг.
Сталь. Стал.
Взвизг! Вниз!
Жизнь, вскрик! Мышц скрип, стон! Мир скрыт, лишь
крик стогн!
Всю жизнь
глядеть
в провал
пока
в аорте
кровь дика!
Всю жизнь —
антрэ,
игра,
показ!
Алле!
Циркач стиха!

1925

13. МЕРИ-НАЕЗДНИЦА

Мери-красавица
у крыльца.
С лошадей справится —
ца-ца!

Мери-наездница
до конца.
С лошади треснется —
ца-ца!

Водит конторщица
в цирк отца.
Лошади морщатся —
фырк, ца-ца!

Ваньки да Петьки в галерки прут,
Титам Иванычам ложу подавай!
Только уселись — начало тут как тут:
— Первый выход — Рыжий! Помогай!

Мери на бок навязывала бант,
подводила черным глаз,
а на арене — уже — джаз-банд
Рыжий заводит — раззз:

Зумбай квиль-миль
толь-миль-надзе...
Зумбай-кви!..
Зумбай-ква!..

Вычищен в лоск,
становится конь.
Мери хлыст
зажимает в ладонь.
— Боб, винца!

Белой перчаткой
откинут лоб.
Мери вска-
кивает в седло:
— Гоп, ца-ца!

Цца!
По полю круглому. Гоп!
Конь под подпругами. Гоп!
Плашмя навытяжку. Гоп!

Стойка на выдержку. Гоп!
Публика в хлопанье. Гоп!
Гонит галопом. Гоп!
Мери под крупом. Гоп!
Мери на крупе. Гоп!
Сальто с седла.
Раз — ап, два — гоп!
Мери в галоп.

Публика вертится.
Гоп...
Гоп...
Гоп...
Екнуло сердце.
Кровь...
Стоп!..
Крик —
от галерки до плюшевых дамб,
публика двинулась к выходам.

Все по местам! Уселись опять.
Вышел хозяин. Сказал: «Убрать!»

Зумбай квиль-миль
толь-миль-надзе...
Зумбай-кви!..
Зумбай-ква!..

1925

14. НАБРОСОК

Под кирпичною стеною
сплю я ночью ветряною
(тут и гордость,
тут и риск!).

Что мне надо спозаранок?
Пара чая, да баранок,
да конфетка —
«барбарис».

Каждый утренний трактир
хрупким сахаром кряхтит,
в каждой чайной
(обычайно!)
чайка чайника летит...

Это зрелость? Или это
только первая примета?

Обхожу я скверики,
подхожу к Москве-реке —
по замерзшей по реке
я гуляю, распеваю
на одесском языке!..

Это юность? Или это
свойство каждого поэта?

Всё, что было, — за плечом,
всё, что было — молния!
Нет! Не вспомню ни о чем, —
на губах безмолвие...

Я родился, как и вы,
был веселым мальчиком,
у садовой у травы
забавлялся мячиком...

Это детство? Или это
промелькнувшая комета?

Так живи, живи, поя,
в сердце звон выковывая,
дорогая жизнь моя,
дудочка ольховая!

1925

15. УЛИЦЫ

Худые улицы
замоскворечные,
скворцы — лоточники,
дома — скворечни,
где мостовые
копытом пытаны,
где камни
возятся под копытами.

О, как задумались
и нависли вы,
как замечтались
вы завистливо

о свежих вывесок
 позументе,
торцах, булыжнике
 и цементе.

Сквозь прорву мусора
 и трубы гарные
глядите в звонкое
 кольцо бульварное, —
туда, где улицы
 легли торцовые,
где скачут лошади,
 пританцовывая,
где, свистом
 площади обволакивая,
несутся мягкие
 «паккарды» лаковые,
где каждый дом
 галунами вышит,
где этажи —
 колоколен выше.

От вала Крымского
 до Земляного —
туман от варева
 от смоляного.
Вот черный ворох
 лопатой подняли...
Скажи — тут город ли,
 преисподня ли?
Тут кроют город,
 тут варят кровь его —
от вала Крымского
 до Коровьего.

Худые улицы
 замоскворечные,
скворцы — лоточники,
 дома — скворечни,
сияя поглядами
 квартирными,
вы асфальтированы
 и цементированы.

Торцы копытами
 разгрызаючи,
несется конь
 на закат рябиновый,

автомобили
 стремглаз по-заячьи,
аэропланы —
 по-воробьиному.

Спешат
 по улице омоложенной
направо — девица,
 налево — молодец,
и всех милее,
 всего моложе нам
московских улиц
 вторая молодость!

<1926>

16. МАЯКОВСКОМУ

Быстроходная яхта продрала бока,
растянула последние жилки
и влетела в открытое море, пока
от волненья тряслись пассажирки.

У бортов по бокам отросла борода,
бакенбардами пены бушуя,
и сидел, наклонясь над водой, у борта
человек, о котором пишу я.

Это море дрожит полосой теневой,
берегами янтарными брезжит...
О, я знаю другое, и нет у него
ни пристаней, ни побережий.

Там рифы — сплошное бурление рифм,
и, черные волны прорезывая,
несется, бушприт в бесконечность вперед,
тень парохода «Поэзия».

Я вижу — у мачты стоит капитан,
лебедкой рука поднята,
и голос, как в бурю вызывающий трос,
и гордый, как дерево, рост.

Вот вцепится яро, зубами грызя
борта парохода, прибой, —
он судно проводит, прибою грозя
выдвинутою губой!

Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
я радостью скручен, как вьюгой,
что мне с командиром таким довелось
шаландаться по морю юнгой.

Пускай прокомандует! Слово одно —
готов, подчиняясь приказам,
бросаться с утеса метафор на дно
за жемчугом слов водолазом!

Всю жизнь, до седины у виска,
мечтаю я о потайном.
Как мачта, мечта моя высока:
стать, как и он, капитаном!

И стану! Смелее, на дальний маяк!
Терпи, добивайся, надейся, моряк,
высокую песню вызванивая,
добыть капитанское звание!

1926

17. В ЧЕРНОМОРСКОЙ КОФЕЙНЕ

О, город родимый!
Приморская улица,
где я выросал
босяком голоштанным,
где ночью
одним фонарем караулятся
дома и акации,
сны и каштаны.

О, детство,
бегущее в памяти промельком!
В огне камелька
откипевший кофейник...
О, тихо качающиеся
за домиком
прохладные пальмы
кофейни!

Войдите!
И там,
где, столетье не бѣлены,
висят потолки,
табаками продымленные,
играют в очко
худощавые элины,

жестикулируют
черные римляне...

Вы можете встретить
в углу Аристотеля,
играющего
в домино с Демосфеном.
Они свою мудрость
давненько растратили
по битвам,
по книгам,
по сценам...

Вы можете встретить
за чашкою «черного» —
глаза Архимеда,
вступить в разговоры:
— Ну как, многодумный,
земля перевернута?
Что?
Найдена точка опоры?

Тоскливый скрипач
смычком обрабатывает
на плачущей скрипке
глухое анданте,
и часто —
старухой,
крючковой,
горбатою,
в дверях появляется
Данте...

Дела у поэта
не так ослепительны
(друг дома Вергилий
увез Беатриче)...
Он перцем торгует
в базарной обители,
забыты
сонеты и притчи...

Но чудится — вот-вот
навяжется тема,
а мысль налетит
на другую — погонщица, —
за чашкою кофе
начнется поэма,

за чашкою кофе
 окончится...

Костяшками игр
 скликаются столики;
крива
 потолка дымовая парабола.
Скрипач на подмостках
 трясется от коликов;
Философы шепчут:
 — Какая пора была!..

О, детство,
 бегущее в памяти промельком!
В огне камелька
 откипевший кофейник...
О, тихо качающиеся
 за домиком
прохладные пальмы
 кофейни.

Стоят и не валятся
 дымные,
 старые
лачуги,
 которым свалиться пристало...
А люди восходят
 и сходят, усталые, —
о, жизнь! —
 с твоего пьедестала!

1926

18. ГУЛЯЩАЯ

Завладела
 киноварь
молодыми
 ртами,
поцелуя
 хинного
горечь
 на гортани.

Черны очи —
 прóпасти,
беленькая
 челка...

— Ты куда
 торопишься,
шустрая
 девчонка?

Видно,
 что еще тебе
бедовать
 нетрудно,
что бежишь,
 как оттепель,
ручейком
 по Трубной.

Всё тебе,
 душа моя,
ровная
 дорожка,
кликни
 у Горшанова
пива
 да горошка.

Станет тесно
 в номере,
свяжет руки
 круто,
выглянет
 из кофточки
молодая
 грудка.

Я скажу те,
 кралечка,
отлетает
 лето,
глянет осень
 краешком
желтого
 билета.

Не замолишь
 господа
никакою
 платой —
песня спета:
 госпиталь,
женская
 палата.

Завернешься,
 милая,
под землей
 в калачик.
Над сырой
 могилою
дети
 не заплачут.

Туфельки
 лядащие,
беленькая
 челка...
Шустрая,
 пропащая,
милая
 девчонка!

1926

19. ДЕВУШКА И МАНЕКЕН

С папироскою
 «Дюшес» —
девушка
 проносится.
Лет примерно
 двадцать шесть,
пенсне
 на переносице.

Не любимая
 никем
(места нет
 надежде!),
вдруг увидит —
 манекен
в «Ленинградодежде».

Дрогнет ноготь
 (в полусне)
лайкового
 пальца.
Вот он
 девушке в пенсне
тайно
 улыбается.

Ногу под ногу
 поджав,
и такой
 хорошенький!
Брючки в елочку,
 спинжак,
галстушек
 в горошинку.

А каштановая
 прядь
так спадает
 на лоб,
что невинность
 потерять
за такого
 мало!

Вот откинет
 серый плащ
(«Выйди,
 обними меня!»).
Подплывает
 к горлу плач.
«Милый мой!
 Любименький!»

И ее
 со всей
 Москвой
затрясет
 от судорог.
Девушка!
 Он восковой.
Уходи
 отсюдова!

1926

20. ПОЛОНЕЗ

(Музыкальный ящик с марионетками)

Панна Юля,
панна Юля,
Юля, Юля Пшевская!
Двадцать пятого
июля
 день рожденья чествуя, —
цокнут шпоры,

очи глянут,
сабля крикнет:
«Звяк!»
— Подойду
да прошу панну
на тур
краковьяк!

Дзанг
да зизі, —
гремит музыка
па-па, —
хрипит
труба.
По паркету
ножка-зыбка
вензелем
выписывает па!..

Вот вкруговую скрутились танцы
левою ножкой
в такт.

И у диванов — случайных станций —
вдруг поцелуй
не в такт.

И в промежутках любовные стансы, —
Юля направо,
так?
— Юля, в беседке, в десять, останься! —
Словно пожатые:
— Так!

Бьют куранты десять часов.
— Юля, открой засов!

Полнится звоном плафона склон:
лунь
всклянь.
Лень,
клянь
клен...

Вот расступились усадьбы колонны,
парк забелелся, луной обеленный.
Вот расступились деревья-драгуны,
ты в содроганье — страх перед другими.
Вот расступились деревья-уланы
(«Где мой любимый, где мой желанный?»).
То побледнеет, то вдруг зардеется,

вот расступились деревья-гвардейцы.
Месяц блистает шитьем эполета,
Юлька-полячка встречает поэта.

Плащ, как воскрылье воронье,
шпагу сквозь пальцы струит;
справа — с бичами Ирония,
Лирика слева стоит.

— Здравствуй, коханный! —
Взглянула в лицо:
— Цо?

Цо не снимает
черный жупан
пан?

С Юлею коханому не грустно ли?
Пальчики сухариками хрустнули.

За́ руки
 коханую,
 за руки,
 за талию,
сердце-часы
 звон перекрути!
За руки,
 за талию
 милую,
 хватай ее,
шелковые груди
 к суконной груди!

Выгнув пружинный затылок,
я на груди разрываю
рук, словно винных бутылок,
цепкость, — огнем назреваю.

Руки, плечи, губы...
Ярость коня —
астма и стенанье
в пластах тел...
— Пан версификатор,
оставьте меня,
я вас ненавижу!
Оставь-те!..

— Юлька, Юлия, что же вы чудите?
Сами же, сами же по шелковой груди и

дальше моею рукою, как учитель
чистописания, — водили, водили...

Вам бы, касатка, касаться да кусаться,
всамделе, подумаешь? Чем удивили!
Взглядом, целомудрием? Может показаться,
будто это в фарсе, будто в водевиле,
будто это в плохоньком пустом кинематографе,
будто опереточный танцор да балерина,
руку раскусили, посмотрите, до крови,
спрячьте лиф за платье, вот вам пелерина!..

Встала, пошатнулась.
Пошла, пошатнулась.
Растрепанные волосы,
надорванный голос и
у самого крылечка
странная сутулость...

— Кралечка, Юлечка,
дай мне колечко,
может, мы еще раз
перейдем крылечко,
может быть, все-таки
в этой вот беседке,
если не любовники,
то просто, как соседки
встречаются на рынке —
как старые знакомые,
по чести, по старинке!

Тихо повертела на пальце кольцо,
подняла носок, но обратно отставила.
Трудно, как зачатое, перейти крыльцо,
трудно, как от сладкого, отойти от старого?
Трудно, как от... Краля! Белая, растрепанная,
что же ты придумала? Кинулась и плюхнулась
на шею, до слез растроганная:
— Любишь? Неужели! — Милая! Люблю!..

Беседка наклоняется ниже, ниже,
темнота и шепот в беседковой нише.

А из дому куранты склянками в склон:
лунь

всклянь.

Плен,

склеп,

клен...

21. БАЛЛАДА С АККОМПАНИМЕНТОМ

Черной тучей вечер крыт,
стынет ночь — гора.
Ждет милого Маргарита,
ри,
 та-ри,
 та-ра.

Он высок, румян и прям,
он алей зари,
он сопраничал с утрами,
трам,
 та-ра,
 та-ри.

Не придет он, не придет
(слышен скрип пера), —
спят тюремные ворота,
ро,
 та-ро,
 та-ра.

Темной ночью зол и хмур:
«Казни ночь — пора!» —
приказал король Готура,
ту,
 ру-ру,
 та-ра.

Сотни зорь алей рубаха,
блеск от топора,
не сдержать бровей от страха:
трах!..
 Ти-ри,
 та-ра.

...Звезды в круг. Свеча горит.
В двери стук. Пора!
(Плохо спалось Маргарите.)
Ри,
 ти-ри,
 та-ра.

1926

Были ива да Иван,
 древа, люди.
 Были выше — деревья,
 люди — люты.

Упирались в бел туман
 поднебесный
 деревянные дома,
 церкви, кнесы...

За кремлевскою стеной
 Грозный топал,
 головою костяной
 бился об пол.

Звал, шатая бородой:
 — Эй, Малюта!
 Помолися за убой,
 смерть-малюток.

Под кремлевскою стеной
 скрипы, сани,
 деготь крут берестяной
 варят сами.

Плачет в избяном чаду
 молодуха,
 будто в свадебном меду —
 мало духа.

И под ребрами саней
 плачет полоз,
 что опричнины пьяней
 хриплый голос.

Бирюками полон бор,
 площадь — людом.
 По потылице топор
 хлещет люто.

Баба на ухо туга,
 крутобока.
 И храпят, храпят снега,
 спят глубоко.

Были ива да Иван,
 были — вышли.

Стали ниже дерева,
избы — выше!

А на пахотах земли
стало вдвое.
То столетья полегли
перегномом.

1926

23. ЛЕГЕНДА

После битвы на Згло —
месяц побагрел.
Мертвецы без голов
спали на бугре.

— Ой, Петро, ой, Хома,
голова нема!
Ой, Вакула Русачук,
где мой русский чуб?

Ой, боюсь я, боюсь —
срежут сивый ус,
будут водку пить, ей-ей,
из башки моей!

— Чи вставать, чи лежать,
батько атаман?
Чи лежать, чи бежать
к жинкам, по домам?

...Подняло, повело
по полю туман...
— Подымайся, Павло! —
гаркнул атаман.

— Подымайсь, шантрапа!
В поле ни беса!
Подбирай черепа,
целься в небеса!

В небесах широко
тучи свист разнес.
Сколько было черепов,
столько стало звезд.

Гололоба, глупа,
добела бледна —

атаманья голова
поплыла — луна...

Хлопцам спать,
звездам тлеть,
ну, а мне как быть?
Брагу пить,
песни петь,
девушек любить!

Песня мной не выдумана,
хоть затейна видом она;
песню пели слепцы
под селом Селебцы.

1926

24. 'АЛЕКСАНДР III

Шлагбаум.

Пост.

Санкт-Петербург.

— Ваше императорское величество,
лошади поданы! —

В ответ — бурк...

(С холопами болтать не приличествует!)
Лошадь на жар.

Пара шпор —

Звяк!

(Убрать подозрительного субъекта!)

Запахнута шинель.

Пара, шпарь

шибко

по шири

Невского проспекта!

Под конвоем

мраморных колоннад —

Российская империя.

Суд.

Сенат.

Эй, поберегись!

Шапки наперебой.

Едет августейший

городовой.

А что, если спросит:

— Пропишан пашпóрт?

Нет? В учашток! —

хлюпнет бородой.

Цокают копыта,
звякает пара шпор,
едет августейший
городовой.
Александр III
по Невскому цокал,
стражники с шашками
вдоль и поперек.
И вдруг перед вокзалом
лошадь на цоколь
встала,
уперлась —
и ни шагу вперед.
Век ему стоять
и не сдвинуться с места, —
бронзовое сердце
жжет, говорят,
вывеска напротив
какого-то треста
и новое прозвище —
Ленин-град.

1926

25. ГЕРМАНИЯ

(1914—1919)

Уплыл четырнадцатый год
в столетья — лодкою подводной,
печальных похорон фагот
поет взамен трубы походной.

Как в бурю дуб, война шумит.
Но взмаху стали ствол покорен,
и отшумели ветви битв,
подрублен ствол войны под корень.

Фридрих Великий,
подводная лодка,
пуля дум-дум,
цепелин...
Унтер-ден-Линден,
пружинной походкой
полк оставляет
Берлин.

Горчичный газ,
разрыв дум-дум.

Прощай, Берлин,
и — в рай!..
Играй, флейтист,
играй в дуду:
«Die Wacht, die Wacht
am Rhein...»¹

Стены Вердена
в зареве утр...
Пуля в груди —
костеней!
Дома, где Гретхен
и старая Mutter, —
кайзер Вильгельм
на стене...

Военный штаб.
Военный штамп.
Всё тот же
Фриц и Ганс,
всё та же цепь:
— В обход, на степь! —
В бинокле
дым и газ.

Хмурый старик,
седина подбородка —
Людендорф:
— Испелим! —
...Фридрих Великий,
подводная лодка,
пуля дум-дум,
цешелин...

Пуля дум-дум...
Горчичный газ...
Но вот:
— Ружье бросай! —
И вот,
как тормоз Вестингауз,
рванул —
конец —
Версаль!..

Книгопечатня! Не найти
шрифта для перечня событий.

¹ «Стража, стража на Рейне...» (нем.).

Вставайте, трупы, на пути,
ноздрями синими сопите!

Устали бомбы землю рвать,
штыки — в кишечниках копать,
и снова проросла трава
в кольце блокад и оккупаций.

Спят монументы
на Зигес-аллее,
полночь Берлина —
стара...
И герр капельмейстер,
перчаткой белея,
на службу идет
в ресторан.

Там залу на части
рвет джаз-банд,
табачная
веет вуаль,
а шибер глядит,
обнимая жбан,
на пляшущую
этуаль...

Дождик-художник,
плохая погодка,
лужи то там,
то тут...
Унтер-ден-Линден,
пружинной походкой
красные сотни
идут...

Дуют флейтисты
в горла флейт,
к брови
прижата бровь,
и клятвой
на старых флагах алеет
Карла и Розы
кровь!

26. ОТХОДНАЯ

Птица Сирин
 (Гамаюн,
 Гюлистан)
пролетает
 по яблонным листам.
Пролетай,
 Иван-царевич,
 веселись,
добрым глазом
 нынче смотрит василиск,
а под сенью
 василисковых крыл
император всероссийский
 Кирилл!

Верещит по-человечьи
 Гамаюн:
«Полечу я поглазеть
 на мою,
полечу,
 долечу,
 заберусь
на мою
 императорскую Русь».
Как ни щурят
 старушечье бельмо
Мережковский,
 Гиппиус,
 Бальмонт, —
старой шпорой
 забряцати слабó
у советских деревень
 и слобод.
У советских деревень
 и слобод
веют ветры
 октябрьских свобод,
да с былой
 с православной
 с кабалой
облетает
 позолота с куполов!
Не закрутит вновь
 фельдфебельский ус
православно-заграничная
 Русь.

<1927>

27. МОРСКАЯ ПЕСНЯ

Мы — юнги,
морюем
на юге,
рыбачим
у башен
турецких,
о дальних
свиданьях
горюем,
и непогодь резкую
любим,
и Черного
моря девчонок —
никчемных
девчонок —
голубим.
И мы их,
немилых,
целуем,
судачим
у дачных
цирулен,
и к нам
не плыла
с кабалою —
кефаль, скумбрия
с камбалою!
Но, близкая,
пещет и блещет
в обводах
скалистых
свобода!
Подводный
мерещится
камень,
и рыбы
скользят
на кукане,
и рыбий
малюсенький
правнук
рывками
тире
телеграфных
о счастье
ловца
сообщает,

и смрадная муха
 смарагдом
над кучей наживки
 летает.

Я вырос
 меж рыб
 и амфибий
и горло
 имею
 немое.

О, песня рыбацкая!
Выпей
 дельфинье
 одесское
 море!

Ко мне прилетают
на отдых
птицы дымков
пароходных.

<1927>

28. УНДЕРВУДНОЕ

Я слов таких
не изрекал, —
могу и ямбом
двинуть шибко
тебе
любовный мадригал,
о, ундервудная машинка!

Мое перо,
старинный друг,
слети,
воробушком чирикнув,
с моих
невьпачканных рук
чернил
рембрандтовой черникой.

И мне милей,
чем лучший стих
(поэзия
нудна, как пролежень!),
порядок звуков
Й І У К Е Н Г Ш Щ З Х,

порядок звуков
Ф Ы В А П Р О Л Ы Д Ж.

Я осторожно
в клавиш бью,
сизу не чванно,
не спесиво,
и говорит мне,
как «спасибо»,
моя машинка:
Я Ч С М И Т Ь Б Ю.

Чернильный образ жизни
стар.
Живем
ЦАГИ и Автодором.
И если я —
поэт-кустарь,
то все-таки
кустарь с мотором!

<1927>

29

Куда мне
хвастать
избранным?
Живу
в своих
гуденьях.
И голос мой
невыспренен,
и я
не академик.
Еще мне жить
и вырасти
башкой
до поднебесья.
Звени ж,
не консервируйся,
неизбранная
песня!

1927

30. РАЗГОВОРЪ СЪ ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ

— Столица стала есть сия
надъ сномъ тишайшихъ бухтъ
гербомъ и знаменемъ сиять
во мгле — Санктъ-Петербургъ!

Насъ охраняетъ райский скитъ
за то, что сей рукой
Адмиралтейства светлый скипетръ
былъ поднять надъ рекой.

Колико азъ не спалъ ночей,
дабы воздвигнуть градъ?
Но титулъ Нашъ слепая чернь
сорвала съ оныхъ вратъ.

Кого сей градъ теперь поить?
где правнуки мои?
Кому ты льепъ теперь, пить,
кастальския струи?

— Правнуки ваши
лежат в земле,
остатки — за рубежом
существуют
подачками богачей
и мелким грабежом.
Зачем вы волнуетесь,
гражданин,
и спать не даете мне?
Вас Фальконет
на коня посадил,
и сидите себе на коне.
Гражданин,
попирайте свою змею
и помните — ваших нет!

— Не Нами ль реями овить
Балтъ, Волга и Азовъ?
Не Мы ль сменили альфа-битъ
отъ ижиць до азовъ?

Календаремъ Мы стали жить,
изъ юфти обувь шить.
Фортификация и флотъ —
Петровой длани плодъ.

Мы приказали брить брады,
кафтаны шить до бёдръ.
Сии тяжелые труды
свели на смертный одръ...

— Я не собираюсь вашу роль,
снизить,
Романов Петр!

О ваших заслугах,
как герольд,
Кирсанов Семен поет.

Была для России
ваша смерть —
тяжелый, большой урон.

Реакция, верно,
Петр Второй,
Елизавета, Бирон.

Но вспомните,
разве это вы
тащили гранит для Невы?

Конечно,
никто вас и не бранит,
но подчеркиваю — не вы!

— То академикъ, то герой,
от хладныхъ финскихъ скалъ
Азь поднялъ росский тронъ горой
на медный пье-де-сталь.

Дабы съ Россией градъ нашъ росъ,
быль Нами изгнанъ шведъ.
Увы! Где шель победный россъ,
гуляетъ смердъ и шкетъ!..

Да оный градъ сожретъ пожаръ,
да сгинетъ, аки обръ,
да сгинетъ, аки Февруаръ,
низвергнутый въ Октябрь!

— Смысл ваших речей
разжужа,
за бравадою
вижу я
замаскированное
хитро
монархическое
нутро.

И если будете вы
 грубить —
мы иначе
 поговорим
и сыщем новую,
 может быть,
столицу для вас —
 Нарым!

1927

31. ПЕСНЯ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКЕ

Расцветала снежная,
белая акация.
Утренняя спешная
шла эвакуация.

Разгоняли приставы
беспортошных с пристани.
В припортовой церкви
молились офицерики.

Умолили боженьку
службою и верою
железнодорожника
удавить на дереве.

«Вешал прокламацию?
Будешь проклинать ее.
За таку оказию
украшай акацию.

Красному воробушку
надевай веревочку
за царя и родину,
ваше сковородие!»

И суда военные
зашумели пеною,
задымили хрупкими
трубами и трубками.

Днем и ночью целою
ждали власти граждане.
В городе — ни белые,
в городе — ни красные.

Но до утра серого
у сырого дерева,
темного, сторукого,
плакала старуха:

«Вырос ты удаленек,
стал теперь удушенник.
Ноги обняла бы я,
не достану — слабая...

Обняла бы ноги я,
да они высокие.
Ох, я, одинокая,
старая да ссохляя!..»

А в ворота города
залетали красные,
раскрывали ворота,
от походов грязные...

И от ветров дальних
тронулся удушенник,
будто думал тронуться
навстречу к буденновцам.

1927

32. ЯРМАРОЧНАЯ

1

С песнею гуляю
от Москвы до Баку,
сумочку ременную
ношу на боку.

Старую ли песню
по-новому петь?
Новую ли песню
струне одолеть?

«Ехал на ярмарку
ухарь купец,
ухарь купец,
молодой удалец...»

Ехали купцы
да из Астрахани,

водкой с икоркой
позавтракали...

Чайники фаянсовые,
рокоты кобзы.
Рубахи распоясывая,
сели купцы.

Грай-играй, машина!
Савва, гогочи!
Мы-ста купецкие,
мы-ста богачи!..

— Руб с полтиной, никак не меньше,
Панфил Парамоныч, да как же можно?..

Ярмарка, ярмарка,
шляпинский бас,
Ярмарка-боярынька,
полный лабаз!

Фатит смекалки
да хитрости —
обмерить, обвесить
да вытрясти.

Гармозы яровчатые
душу веселят,
мужики сноровчатые
пишут векселя.

Водка Ерофеича
споласкивает рот,
купец не робеючи
векселя берет...

Город неприветливый,
жесткий хлеб,
Александра Третьего
черный герб.

Сброшен он, грудастый, —
не разыскивай
того государства
Российского!..

Новые легли
перед ним рубежи,

новая песня,
звени, не дребезжи.

2

В халатах, тюбетейках
приехал Восток,
дело — не потеха,
здравствуй, Мосторг!

Мертвые Морозовы
сюда не придут,
а Продасиликат
и Хлебопродукт.

Не ради наживы
да кóрысти,
а ради —
 стране
чтоб легко расти!

Сеялки, веялки,
 плуги, лемеха,
у баяна тульского
тугие меха.

Тракторная музыка,
ах, как хороша,
у завода русского
чудо-душа!

Песня моя,
как расписка твоя,
лети, зазвеня
да посвистывая.

Старое, темное
сотри в порошок,
стало чтоб легко нам
да жить
 хорошо!

1927

33. ТАМБОВ

1

Усатые,
мундирные,
вращая
крупы жирные,
въезжают
уланы
в какой-нибудь
Тамбов.
Глядят глаза
лорнетные
на клапаны
кларнетные,
и медный
кишечник
вывалил
тромбон.

Из-за кастрюль
и чайников
медлительных
начальников
кокарды
кухарки
увидят
с этажей.
У булочных,
у будочек
закинут
нити удочек, —
письмовник
и сонник
прочитаны
уже.

«В кофточке
оранжевой
я приду
на рандевой,
с бравым
уланом
пойду
на променад.
Ты меня
лишь вызови, —

выйду,
стану визави,
но так,
чтоб хозяйка
не узнала
про меня».

И скинет
белый фартучек,
на стенке
веер карточек,
и пудра
«Леда» —
на шкафчике
ночном.
Он снимет
пашку вескую,
окошко —
занавескою...
Мы же
песню
новую
начнем!

2

Гремят возы
обозные,
проходят
шапки звездные,
и топот
копытный
трогает
панель.
Идем
с тутими нервами,
работой
и маневрами
покажем,
покажем
защитную
шинель.

Не с пашнями,
а с пашками,
с потными
рубашками

едем
по этим
тамбовским
мостовым.
Не вертимся
пижонами
с чиновничьими
женами, —
обходим
дозоры
и на часах
стоим.

Вымерли
усатые,
позеленели
статуи,
а степи
качают
султанов
ковыли.
Гордимся
Первой Конною
и с выправкой
спокойною
внимаем
зарубежному
бряцанию
вдали!..

1927

34. РАЗГОВОР С ДМИТРИЕМ ФУРМАНОВЫМ

За разговорами
гуманными
с литературными
гурманами
я встретил
Дмитрия Фурманова,
ладонь его пожал.
И вот
спросил Фурманов
деликатно:
— Вы из Одессы
делегатом? —
И я ответил
элегантно:

— Я одессит
 и патриот!
 Одесса,
 город мам и пап,
 лежит,
 в волне замлев, —
 туда вступить
 не смеет ВАПП,
 там правит
 Юголеф!
 — Кирсанов,
 хвастать перестаньте,
 вы одессит,
 и это кстати!.
 Сюда вот,
 в уголочек,
 станьте,
 где лозунг
 «На посту!»
 висит.
 Не будем даром
 зубрить сабель,
 не важно,
 в Лефе ли вы,
 в ВАППе ль, —
 меня интересует
 Бабель,
 ваш знаменитый
 одессит!
 Он долго ль фабулу
 вынашивал,
 писал ли он
 сначала начерно
 и уж потом
 переиначивал,
 слова расцвечивая
 в лоск?
 А может, просто
 шпарил набело,
 когда ему
 являлась фабула?
 В чем,
 черт возьми,
 загадка Бабея?..
 Орешек
 крепонек зело!

— Сказать по правде,
Бабель
мне
почти что
незнаком.
Я восхищался
в тишине
цветистым
языком.
Но я читал
и ваш «Мятеж»,
читал
и ликовал!..
Но — посмотрите:
темы те ж,
а пропасть
какова!
У вас
простейшие слова,
а за сердце
берет!
Глядишь —
метафора слаба,
неважный
оборот...
А он
то тушью проведет
по гляncу
полосу,
то легкой кистью
наведет
берлинскую
лазурь.
Вы защищали
жизнь мою,
он —
издали следил,
и рану
павшего в бою
строкою
золотил,
и лошади
усталый пар,
и пот
из грязных пор —
он облакал
под гром фанфар
то в пурпур,
то в фарфор.

Вы шли
 в шинели
 и звезде
чапаевским
 ловцом,
а он
 у армии
 в хвосте
припаивал
 словцо.
Патронов
 не было стрелку,
нехватка
 фуража...
А он
 отделявал строку,
чтоб вышла
 хороша!
Под марш
 военных похорон,
треск
 разрывных цикад
он красил
 щеки трупа
 в крон
и в киноварь —
 закат.
Теперь
 спокойны небеса,
громов особых
 нет,
с него
 Воронский написал
критический
 портрет.
А вам тогда
 не до кистей,
не до гусиных
 крыл, —
и ввинчен
 орден
 до костей
и сердце
 просверлил!
...А что касается
 меня —
то в дни
 боев и бед

я на лазурь
 не променял бы
ваш
 защитный цвет!.

Тень маяка,
 отливом смытая,
отходит
 выправка Дмитрия;
воспоминаний этих
 вытравить
нельзя из памяти
 навек!
Когда был поднят гроб
 наверх —
увитый в траур
 гроб Дмитрия, —
горячий орден
 рвался в грудь,
чтоб вместо сердца
 заструиться,
чтоб дописать,
 перевернуть
хотя б
 еще одну страницу...

20 февраля 1928
Москва

35. ЗАКАВКАЗЬЕ

Если б я был
 пароходом
быстроходным
 и роста красивого,
я всю жизнь
 черноморскими водами
от Батума б до Сочи
 курсировал.
«Принимаю груз,
 отдаю концы,
молодые борта
 показываю».
И гудят гудки,
 пристаней гонцы,
от Аджарии
 до Абхазии.
Если б я был
 самолетом

двухмоторным
дюралюминиевым,
я взлетел бы
с моим пилотом
на 2000 метров
минимум.
«А отсюда видна
золотая страна,
виноградная,
нефтяная.
И звенит во мне
не мотор — струна,
крик пропеллера
оттеняя».
Если был бы я
нефтепроводом
от фонтанов Баку
до Батума,
ух, и славно ж бы я
поработал
и об лучшей работе б
не думал.
«Молодая кровь,
золотая нефть,
мы родили тебя
и выходили.
Так теки ж по мне,
заставляй звенеть
и дрожать
нефтяные двигатели!»
Если был бы я
не поэтом,
а Тифлисом,
грузинским городом,
я стоял бы
на месте вот этом,
упираясь в долину
гордо.
Я бы вместо сукна
одевался в цемент
и под солнцем,
в июль накаленным,
задевал бы хвосты
проходящих комет
звездной лапою
фуникулера!

1928
Тифлис

36. БОЙ СПАССКИХ

Колокола. Коллоквиум
колоколов.
Зарево их далекое
оволокло.

Гром. И далекая молния.
Сводит земля
красные и крамольные
границы Кремля.

Спасские распружило —
каменный звон:
Мозер ли он? Лонжин ли он?
Или «Омега» он?

Дальним гудкам у слагбаумов
в унисон —
он
до района
Баумана
донесен.

«Бил я у Иоанна, —
ан, —
звону иной регламент
дан.

Бил я на казнях Лобного
под барабан,
медь грудная не лопнула, —
ан, —

буду тебе звенеть я
ночью, в грозу.
Новгород
и Венеция
кнесов и амбразур!»

Била молчат хвалебные,
медь полегла.
Как колыбели, колеблемы
колокола.

Башня в облако ввинчена —
и она
пробует вызвонить «Интерна-
ционал».

Дальним гудкам у шлагбаумов
в унисон —
он
до района
Баумана
донесен.

1928

37. БАЛЛАДА О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ

Огремлите, гарматы,
закордонный сумрак,
заиграйте зорю
на серебряных сурмах!
Та седые жемчуги,
слезы Запада-края,
утри, мать божья,
галицийская краля.

Да что тебе, мать,
это гиблое войско?
Подавай тебе, мать, хоругвь
да мерцание воска!
Предпочла же ты, мать,
и не дрогнувши бровью,
истеканию воском —
истекание кровью.

Окровавился месяц,
потемнело солнце
по-над Марною, Березиною,
по-над Изонцо.
Люди шли под изволок
перемогой похода —
на Перемышль конница,
по Карпаты пехота...

Пела пуля-певунья:
«Я серденько нежу!
Напою песню-жужелицу
солдату-жолнежу».
(Под шинелью ратника,
что по-польски «жолнеж»,
тихий корень-ладанка,
зашитая в полночь.)

Винтовка линейная
у тебя, солдате,
во всех позициях
умей совладать ей.
Котелок голодовки,
шинель холодовки
да глоток монопошки
у корчмарки-жидовки.

Была война-доля!
Флаги радужней радуг.
По солдату ходило
пять сестер лихорадок.
Сестрица чахотка
да сестрица чесотка,
милосердный платок
трясовицей соткан...

У тебя в селе матка
да невесто-младо
(а в полях палатка,
лазарет-палата).
Лазаретное утро,
госпитальный вечер.
Аспирин да касторка,
сукин сын — фельдшер!

А кто ты есть, жолнеж,
имя свое поведай?
Слово матки исполнишь —
обернешься победой.
А тебе за победу
або крест на пригорке,
або костыль инвалидный,
або медный «Георгий».

О, шумите, рушницы,
невелика потеря.
Артиллерия, вздрогни!
Упади, инфантерия!
Пролети, пуля-пчелка,
попади, золотая,
в лошадиную челку,
в человечье темя.

Покачнись, брате жолнеж,
умирая рано.
Под могилкой репейною
затянется рана.

А слезы матки с невестой,
 позолотой играя,
утрет божия матерь,
 галицийская краля.

1928

38. АСЕЕВУ

Какая прекрасная легкость
меня подымает наверх?
Я — друг, проведенный за локоть
и вкованный в песню навек.

Как песня меня принимала,
неся к соловьиным боям!
Как слушало ухо Лимана
речную твою Обоянь!

Не ты ли, сверканьем омытый, —
на люди! на землю! на синь! —
Оксаны своей оксамиты,
как звезды, в руках проносил?

И можно глазища раззари́ть —
что словом губа сведена,
что может сверкнуть и ударить
как молния в ночь — седина.

В меня залетевшая искра,
бледнея и тлея, светись,
как изморозь речи, как избрань
защелканных песнями птиц!

1928

39. РОСТ ЛИНГВИСТА

Сегодня окончена
 юность моя.
Я утром проснулся
 в халате и туфлях,
увидел: взрослеют
 мои сыновья —
деревья-слова,
 в корневищах и дуплах.

И стала гербарием
высохших слов
тетрадь молодого
языковеда,
но сколько прекрасных
корней проросло,
но сколько запенилось
листьями веток!

Сады словарей
посетили дожди,
цветут деревья,
рукава подымая,
грузинское ЦХ
и молдавское ШТИ,
российское ОВ.
украинское АЕ.

К зеленым ветвям,
закипая внизу,
ползут
небывало зеленые лозы —
китайское ЧЬЕН,
и татарское ЗУ,
и мхи диалектов
эхоголосых.

Я слышал:
на ветке птенец тосковал,
кукушка, как песня,
в лесу куковала, —
и понял:
страна моя такова!
А лес подымался,
а речь ликовала...

Весною раскроется
сад словарей,
таившийся в промхах
кореньев сыновних,
и то, что лелеял
еще в январе,
тяжелым и спелым
увидит садовник.

1928

40. НАЩОТ ШУБЫ

У тебя
 пальцецо
худоватенькое:
отвернешь
 подлицо —
бито ватенкою.

А глядишь
 со двора —
не мои
 не юга́,
а твои
 северá,
где снега
 да вьюга́!..

Я за тайной
 тайги,
если ты
 пожелашь,
поведу
 сапоги
в самоежий
 шалаш.

А у них
 соболей —
что от них
 заболей!
А бобров,
 а куниц —
хоть по бровь
 окунись!

На ведмедя белá
выйду вылазкою.
Чтобы шуба была,
шкуру выласкаю.

Я ведмедя того
свистом выворожу,
я ведмедю тому
морду выворочу.

Не в чулках
 джерси,

подпирая
 джемпр, —
ты гуляй
 в шерсти
кенгуров
 и зебр,

чтобы ныл
 мороз,
по домам
 трубя,
чтоб не мог
 мороз
ущипнуть
 тебя.

1928

41. СЕЛЬСКАЯ ГРАВЮРА

Мы работаем в краю
 кос,
 вил,
 сена,
желто-пепельных гравюр,
 где
 туч
 пена.

Мы, как кисти, рожь несем,
 наш
 холст —
 лето.

Хорошо нести жнецом
 сноп,
 сноп
 света.

От долин, долин, долин
 туч,
 туч
 туши.
Косари бредут вдали,
 свет
 звезд
 тушат.

Кубы хижин, куб бугай,
сто-
гов
кубы.

Скот уходит на луга
же-
вать
губы.

Где коровы плоский лоб,
ка-
дык
в зобе,
гонят медленных волов:
«Цоб
цоб,
цобе!..»

Проса желтую струю
на-
земь
сыпя,
кормят птицу пеструю:
— Цип,
цип,
ципа!..

Косу к утру отклепав,
жнец,
жнец,
жнища
ждут, пока взойдут хлеба,
им
рожь
снится.

И ребячий ровен сон:
ку-
ку-
рузой,
к ним приходит Робинзон,
зон,
зон
Крузо.

Чтоб под утро дождь босой
не
смял
злаки, —

ПОД КОСОЙ, КОСОЙ, КОСОЙ
ЛЯГ,
злак
сладкий!

1928

42. БУКВА Р

Если
были
 вы картавы —
значит,
знали
 муки рта вы!
Я был
в юности
 картав,
ныла
бедная
 гортань.
Шарахались
 красавицы
прославленной
 картавости.
Не раскрываю
 рта я,
и исхудал,
 картавя!

Писал стихи:
«О, Русь! О, Русь!»
Произносил:
— О, Гусь, о, Гусь! —
И приходил на зов —
 о, грусть! —
соседский гусь,
 картавый гусь...

От соклассников —
 свист:
— Медное пузо,
 гимназист,
 гимназист,
скажи:
 кукуруза!

Вместо «Карл, офицер» —
 ныло «Кагл, офицер».
Перерыл
 медицинские книги,
я ищу тебя, эР,
 я зову тебя, эР,
в обессиленной глотке
 возникни!

И актер из театрिका
 «Гамаюн»
изливал над картавостью
 ругань,
заставлял повторять:
 — Теде-дюм, теде-дюм,
теде-дюм, деде-дюм —
 ррюмка!

Рамка
 Коррунд!
 Карборунд!
 Боррона!
Как горошинка,
 буква забилаьсь,
виноградною косточкой
 силилась вылезть,
и горела на небе она.

Хорохорилась буква
 жемчужиной черной,
по гортани
 рассыпанный перл...
Я ходил, прополаскивал
 горло, как борной,
изумительной буквою
 эР.

И, гортань растворивши
 расщелиной трубной,
я провыл над столицей
 трикрат:
«На горе
 Арарат
 растет
 красный
 и крупный
виноград,
 ВИНОГРАД,
 ВИНОГРАД!»

1929

43. ЕЙ

Я покинул знамена
неба волости узкой,
за истоками Дона,
коло Трбстенки Русской.

И увез не синицу,
не подарок почтовый,
а девицу-зеницу
за глухие трущобы.

И не поезд раскинул
дыма синие руки —
я, закинув на спину,
вынес тело подруги.

Волк пронесит дитяню
мимо логов сыновних,
мимо леса, где дятел —
телеграфный чиновник.

То проточит звереныш
ржи заржавленный волос,
то качнется Воронеж,
то — Репьевская волость!

Хорошо ему, волку,
что она, мимо гая,
на звериную холку
никнет, изнемогая.

1929

44. ЗИМНЯЯ ВОСТОРЖЕННАЯ

Снега! Снега!
Меха! Меха!
Снежинок блеск!
Пушинок свет!
Бела Москва,
тиха, мягка,
подостлан пух мехов
Москве.

Тяжел, колюч
кожух-тулуп,

но верхних нот
нежней елот.
Тулуп бредет
в рабочий клуб,
елот с бобром:
«Куда?» — «В кино!»

Синей, синей
полет саней,
в морозном дыме
мчит рысак,
и дом синей,
и дым синей,
и ты синей,
моя краса!

Снега — сверкнут,
меха куснут,
свернется барс,
вернется рысь!
Прилег сугроб
на снег уснуть,
но снова бег,
но снова рысь!

Мороз, мороз!
Кусни, щипни,
рвани за ухо,
за нос хватъ!
Пусть нарасхват
снежков щибни
тебе залепят рот,
Москва.

Чтоб ты была
тиха, бела,
чтоб день скрипел,
снежон и бел,
чтоб мерзли в ночь
колокола,
чтоб звезды тронул
школьный мел.

Пускай блеснут
снега, меха
на зимний свет,
на белый цвет.
Бела Москва,
тиха, мягка,

подостлан пух мехов
Москве.

<1930>

45. ДЕВИЧИЙ ИМЕННИК

Ты искал
имен девичьих,
календарный
чтил обычай,

но, опутан
тьмой привычек,
не нашел
своей добычи.

И сегодня
в рифмы бросишь
небывалой
горстью прозвищ!

Легкой выправкой
олений
мчатся гласные
к Елене.

В темном лике —
Анастасья —
лепота
иконостасья.

Тронь, и вздрогнет
имя — Анна —
камертон, струна,
мембрана.

И потянет с клочки
Фекла —
кухня, лук,
тоска и свекла.

Встань под взмахом
чародея —
добродетель —
Доротея!

Жди хозяйского
совета,
о модистка
Лизавета!

Мармеладно-
шоколадна
Ориадна
Николавна...

Отмахнись
от них рукою,
зазвени
струной другою.

Не тебе —
звучали эти
имена
тысячелетий.

Тишина!
Silence! и Ruhig!¹
Собери,
пронумеруй их, —

календарь
истрепан серый, —
собери их
в буквы серий,

чтобы люди
умирали,
как аэро,
с номерами!

«Я хотела
вам признаться,
что люблю вас,
R-13!»

Отвечаю,
умилен:
«Я люблю вас,
У-1 000 000!»

<1930>

¹ Тише! (фр., нем.).

46. РАЗГОВОР С БЫВШЕЙ

— Не деньга ли у тебя
завелась,
что подстриглась ты
и завилась?
Вот и ходишь
вся завитая,
и висок у тебя —
запятая!

— Будь любезен,
ты меня не критикуй,
у меня полон денег
ридикуль.
Я Петровкой анадьсь
проходила
и купила ридикуль
из крокодила.

— Будь любезна, расскажи
про это мне:
не стипендию ли класть
в портмоне?
Или стала ты,
повыострив норов,
получать гонорар
от ухажеров?

— Подозрительный ты стал,
дорогой!
Он мне нужен
для надоби другой —
а для пудреницы,
хны и помады
и платочки чтобы
не были помяты.

— Ты не прежним
говоришь языком,
да мое тебе слово —
не закон,
этих дней не оборвать,
не побороть их!
Разойдемся ж, как трамваи
в повороте!

Белофетровой
кивнула головой,
помахала ручкой—замшей
голубой,
отдала кондуктору
монету
и по рельсам заскользила —
и нету!

<1930>

47. ТБЦ

Роза, сиделка и росыпь румянца.
Тихой гвоздики в стакане цвет.
Дальний полет фортепьянных романсов.
Туберкулезный рассвет.

Россыпь румянца, сиделка, роза,
крашенной в осень палаты куб.
Белые бабочки туберкулеза
с вялых тычинок-губ.

Роза, сиделка, румянец... Втайне:
«Вот приподняться б и "Чайку" спеть!...»
Вспышки, мигания, затуханья
жизни, которой смерть.

Россыпь румянца, роза, сиделка,
в списках больничных которой нет!
(Тот посетитель, взглянув, поседел, как
зимний седой рассвет!)

Роза. Румянец. Сиделка. Ох, как
в затхлых легких твоих легко
бронхам, чахотке, палочкам Коха.
Док-тора. Кох-ха. Коха. Кохх...

<1930>

48. ЛЮБОВЬ МАТЕМАТИКА'

Расчлененные в скобках подробно,
эти формулы явно мертвы.
Узнаю: эта линия — вы!
Это вы, Катерина Петровна!

Жизнь прочерчена острым углом,
в тридцать градусов пущен уклон,

и разрезан надвое я
вами, о, биссектриса моя!

Знаки смерти на тайном лице,
угол рта, хорды глаз — рассеки!
Это ж имя мое — АВС —
Александр Борисыч Сухих!

И когда я изогнут дугой,
неизвестною точкой маня,
вы проходите дальней такой
по касательной мимо меня.

Вот бок о бок поставлены мы
над попитрами школьных недель, —
только двум параллельным прямым
не сойтись никогда и нигде!

<1930>

49. ПОЕЗД В БЕЛОРУССИЮ

Предутренный воздух и сумрак...
Но луч!

И в кустарную грусть
на сурмах,
на сурмах,
на сурмах
играет зарю Беларусь.

А поезд проносится мимо,
и из паровозной трубы —
лиловые лошади дыма
взлетают, заржав, на дыбы.

Поляны еще снеговиты,
еще сановиты снега,
и полузатоплены квиты
за толпами березняка.

Но скоро под солнцем тяжелым
и жестким, как шерсть кожухов, —
на квітень нанижутся бжолы
и усики июльских жуков.

Тогда, напыхтевшись у Минска,
приветит избу паровоз:
тепла деревянная миска,
хрустит лошадиный овес.

И тут же мне снится и чувствуется
конницы топот и гик,
и скоро десницу и шуйцу
мы сблизим у рек дорогих.

Чудесный топор дровосека,
паненка в рядне и лаптях...
Прекрасная!

Акай и дзекай,
за дымом и свистом летя!

<1930>

50. ДОРОГА ПО РАДУТЕ

По шоссе,
 мимо скал,
 шла дорога моря пóверх.
Лил ливень,
 ливень лил,
 был бурливым пад вод.
Был извилистым путь,
 и шофер машину повер-
нул (нул-повер)
 и нырнул в поворот.

Ехали мы пó Крыму
 мокрому.
Грел обвалом на бегу
 гром.
Проступал икрою гуд-
 рон.
Завивался путь в дугу,
 вбок.
Два рефлектора и гу-
 док.

Дождь был кос.
 Дождь бил вкось.
Дождь проходил
 через плащ
 в кость.
Шагал
 на огромных ходулях
 дождь,
высок
 и в ниточку тощ.

А между ходулями
 шло авто.

И в то
 авто
 я вто-
птан меж
двух дам
 цвета беж.

Капли мельче.
 Лучей веера
махнули,
 и вдруг от Чаира до Аира
в нагорье уперлась
 такая ра...
такая!
 такая!
 такая
 радуга дугатая! —
как шоссе,
 покатая!

Скала перед радугой
 торчит, загораживая.
Уже в лихорадке
 авто и шофер.
Газу подбавил
 и вымчал на оранжевое —
гладкая дорожка
 по радуге вверх!

Лети,
 забирай
на спектры!
Просвечивает
 Ай-
Петри!

Синим едем,
 желтым едем,
 белым едем,
 красным едем.
По дуге покатой едем,
 да не нравится соседям, —
недовольны
 дамы беж:
«Наш маршрут
 не по дуге ж!

Радуга,
но все ж
еду
на грязи я.
Куда ты
везешь?
Это
безобразие.
Это
непорядки,
везите
не по радуге!

Но я на всем пути
молчу на эти речи:
с той радуги сойти —
не может быть и речи!

*Лето 1932
Ялта*

51. МОРСКАЯ-СЕВЕРНАЯ

К морю Белому, к морю бурному,
к полуострову, к порту Мурману
Двиной Северной, рекой пасмурной,
братьев — семеро, плыть опасно вам.

Рыбакам, кам-кам,
наплывала сельдь,
наплывал вал-вал
голубой,
по бортам, там-там,
распластали сеть,
нам висеть, сеть-сеть,
над водой.

Молодым, дым-дым,
хорошо, скользья
на челнах, ах-ах,
в глубину, —
я синей, ей-ей,
загляну в глаза,
на волну, льну-льну,
ледяну.

Ты не морщь, морж-морж,
золотых бровей,

подползи, лзи-лзи,
к кораблю.
Эти льды-льды-льды
широко проверь,
где тюлень, лень-лень,
белобрюх.

Гуды, охните, птицы, каркните-ка:
это Арктика, наша Арктика.
Небо веером, пышут полосы:
мы на полюсе, нашем полюсе!

Отошел шелк-шелк
ледяных пород
и на лед лег-лег,
поалев,
возведем дом-дом
и пойдем вперед,
где флажок жег-жег
параллель.

Надо влезть, «есть, есть!» —
закричать шумней
и за ним дым-дым
потянуть,
отплывет флот от
голубых камней,
чтоб дымок мог-мог
утонуть...

1932

52. МЕЛКИЕ ОГОРЧЕНИЯ

Почему
я не «Линкольн»?
Ни колес,
ни стекол!
Не под силу
далеко
километрить
столько!
Он огромный,
дорогой,
мнет дорогу
в сборки.
Сразу видно:
я —
другой,

не фабричной
 сборки.
 Мне б
 такой гудок сюда,
 в горло, —
 низкий,
 долгий,
 чтоб от слова
 в два ряда
 расступались
 толпы.
 Мне бы шины
 в зимний шлях,
 если скользко
 едется,
 чтоб от шага
 в змеях шла
 злая
 гололедица.
 Мне бы
 ярких глаза два,
 два
 зеленоватых,
 чтобы капель
 не знавать
 двух
 солоноватых.
 Я внизу,
 я гужу
 в никельные
 грани,
 я тебя
 разбужу
 утром зимним
 ранним.
 Чтоб меня
 завести,
 хватит
 лишь нажима...
 Ну, нажми,
 ну, пусти,
 я
 твоя машина!

1932

53. КЛУХОР

Что ни глыба, что ни камень —
все в знакомстве с ледниками.
Что ни струйка, ни родник —
все из ледяной родни.

Гор сияющие мамы
в белых шалях с бахромами, —
мол, теки, поток, теки
к ширине семьи-реки!

Я хочу, чтоб самолет
залетал на самый лед,
самолет такой системы,
чтобы править стали все мы,

чтоб, увидя дом-кристалл,
самолет к нему пристал.
(Для шахтеров из Донбасса
отдыхательная база).

Это жизнь из лучших сказок,
но как те — не оболгу.
Горы вынут из-за пазух
летчикам по облаку.

В жаркий день летучий транспорт,
навинцовив им бока,
забуксирит сквозь пространство
на Поволжье облака.

Их сгустя и распыля,
спустят ливнем на поля.
Дайте мне на июль путевку
к ледниковому потоку!

Снеговое брызнет утро,
мы пойдем в жилье ключей
в голубой одежде ультра-
фиолетовых лучей.

1932

54. КРАТКО О ПРОЖЕКТОРЕ

Из-за улиц, бросив яркость
из-за города-плеча,

протянулись, стали накрест
два прожекторных луча.

Разошлись и снова стали
на Большой Медведице;
двум полоскам белой стали
надо в небе встретиться.

Двух лучей светлы пути.
Я бы всем пожертвовал,
если б мог хоть раз пройти
по лучу прожектора!

Это так... вообще... поэзия...
А на самом деле
для того ли эти лезвия,
чтоб по ним ходили?

Я сказал бы: спишь ночами,
а зенитчик в ночь глядит,
чтоб схватить двумя лучами
птицу с бомбой на груди!

1932

55. ЛЕГЕНДА О МЕРТВОМ СОЛДАТЕ

<Из Б. Брехта>

1

Четыре года длился бой,
А мир не наступал.
Солдат махнул на все рукой
И смертью героя пал.

2

Однако шла война еще.
Был кайзер огорчен:
Солдат расстроил весь расчет,
Не вовремя умер он.

3

Над кладбищем стелилась мгла.
Он спал в тиши ночей.
Но как-то раз к нему пришла
Комиссия врачей.

4

Вошла в могилу сталь лопат,
Прервала смертный сон.
И обнаружен был солдат
И, мертвый, извлечен.

5

Врач осмотрел, простучал труп
И вывод сделал свой:
Хотя солдат на речи скуп,
Но в общем годен в строй.

6

И взяли солдата с собой они.
Ночь была голубой.
И, если б не каски, были б видны
Звезды над головой.

7

В прогнившую глотку влит шнапс,
Качается голова.
Ведут его сестры по сторонам,
И впереди — вдова.

8

А так как солдат изрядно вонял —
Шел впереди поп,
Который кадилом вокруг махал,
Солдат не вонял чтоб.

9

Трубы играют чиндра-ра-ра,
Реет имперский флаг...
И выправку снова солдат обрел,
И бравый гусиный шаг.

10

Два санитары шагали за ним.
Зорко следили они:
Как бы мертвец не рассыпался в прах —
Боже сохрани!

11

Они черно-бело-красный стяг
 Несли, чтоб сквозь дым и пыль
 Никто из людей не смог рассмотреть
 За флагом эту гниль.

12

Некто во фраке шел впереди,
 Выпятив белый крахмал.
 Как истый немецкий господин,
 Дело свое он знал.

13

Оркестра военного треск и гром,
 Литавры и флейты трель...
 И ветер солдата несет вперед,
 Как снежный пух в метель.

14

И следом кролики свистят,
 Собак и кошек хор —
 Они французами быть не хотят.
 Еще бы! Какой позор!

15

И женщины в селах встречали его
 У каждого двора.
 Деревья кланялись, месяц сиял,
 И все орало «Ура!»

16

Трубы рычат и литавры гремят,
 И кот, и поп, и флаг,
 И посредине мертвый солдат
 Как пьяный орангутанг.

17

Когда деревнями солдат проходил,
 Никто его видеть не мог —

Так много было вокруг него
Чиндра-ра-ра и хох!

18

Шумливой толпою прикрыт его путь.
Кругом загорожен солдат.
Вы сверху могли б на солдата взглянуть,
Но сверху лишь звезды глядят.

19

Но звезды не вечно над головой.
Окрашено небо зарей —
И снова солдат, как учили его,
Умер, как герой.

1932

56. НОВАЯ СКОРОСТЬ

Медленная, едва поворачивающаяся, гиппопотамья жизнь, стопудовую ногу с трудом из болота вытаскивая, знала свое на обсиженном месте тупое топтанье, двигалась, как подвигалась столетняя стена китайская. Ее придерживал кучер — медальный царь-император, грузный комод в упряжке гремел дорожную утварью, столетний сип самовара, единственного аппарата из вида машин паровых, царил от утра до утра.

Как медленно, невыносимо, замедленной долгой съемкой на час повисая в воздухе, прохожий делает шаг! И воздух густ как варенье, тяжелый, липкий и емкий, и медленно раздувается суконный его пиджак. Жизнь! Млекопитающее, еще допотопной медленности! Ужас — с тобой равняться, секундами дольше лет. Ногу тянуть за ногой, из патоки вязкой след донести, медленно ногу вытаскивая, всасывается след...

Ракеты!

Сюда —
дрожа и рыча,
молнией вытянутого следá —
скорость света,
скорость луча,
скорее, скорее,
скорей сюда!

Я опоздаю
(секунда одна),

Отступал от гондолы
закон тяготения,
не кабину,
а нас на земле затрясло.
Вся Москва
и Воздушная академия
отступала,
мелькала,
а небо росло.
Им казалось,
что зелень —
это трава еще,
это сделался травкой
Сокольничий парк.
Это был не Пикар —
это наши товарищи
по совместной учебе,
по тысячам парт.

Мы все
с замирающим сердцем
фуражки
задрали наверх
и тянемся
к стратосферцам,
к втянувшей их
синеве.

В том небе
никто еще не был,
еще ни один
аппарат,
и вот
в девятнадцатом небе
советские люди
парят.

И в это
синейшее утро
ко мне
на ворот плаща
упала
дробинка оттуда,
как первая
капля дождя.

Взлет стратостата
и бег шаропоезда,
финиш машин,
перешедших черту, —

всё это нами
ведется и строится
в век,
набирающий быстроту.

Нам
не до стылого,
нам
не до старого.
Шар
растопырявай!
Небо
распарывай!
Юность
сквозная,
жизнь
раззадоривай, —
черт его
знает,
как это
здорово!

Как я завидую
взвившейся радости!
Я
как прибор
пригодился бы тут,
взяли б меня
как радостеградусник.
Чем я не спирт?
Чем я не ртуть?
Эту глубокую,
темную ширь
я б,
как фиалку,
для вас засушил.

Где ж это
виделось?
Где
хороводилось?
Нам это
выдалась
быстрая
молодость!
Молодость
вылета
в шумное
поле то,

в семьдесят
градусов
верхнего
холода!

Чтобы повсюду
росли и сияли
нашей эпохи
инициалы,
будет написано
сверху небес
здесь
и на блеске
заоблачных сфер —
смелости С
свежести С
скорости С
и радости Р.

Октябрь 1933

58. ВЕТЕР

Скорый поезд, скорый поезд, скорый поезд!
Тамбур в тамбур, буфер в буфер, дым об дым!
В тихий шелест, в южный город, в теплый пояс,
к пассажирским, грузовым и наливным!

Мчится поезд в серонебную просторность.
Всё как надо, и колеса на мази!
И сегодня никакой на свете тормоз
не сумеет мою жизнь затормозить.

Вот и ветер! Дуй сильнее! Дуй оттуда,
с волнореза, мимо теплой воркотни!
Слишком долго я терпел и горло кутал
в слишком теплый, в слишком добрый воротник.

Мы недаром то на льдине, то к Эльбрусу,
то к высотам стратосферы, то в метро!
Чтобы мысли, чтобы щеки не обрюзгли
за окошком, защищенным от ветров!

Мне кричат: «Поосторожней! Захолонешь!
Застегнись! Не простудись! Свежо к утру!»
Но не зябкий инкубаторский холениш
я, живущий у эпохи на ветру.

Мои руки, в холодах не костенеют!
Так и надо — на окраине страны,
на оконченном у моря континенте,
жить с подветренной, открытой стороны.

Так и надо — то полетами, то песней,
то врезаю в бурноводье ледакол, —
чтобы ветер наш, не теплый и не пресный,
всех тревожил, долетая далеко.

1933

59. ОСАДА АТОМА

Как долго раздробляют атом!
Конца нет!
Как медлят с атомным распадом!
Как тянут!

Что вспыхнет? Вырвется. Коснется
глаз, стекло,
как динамит! как взрыв! как солнце!
Как? Сколько?

О, ядрышко мое земное,
соль жизни,
какою силою взрывною
ты брызнешь?

Быть может, это соль земного, —
вблизи губы, —
меня опять любовью новой
в жизнь влюбит!

1933

60. ЛЮБОТАНИКА

Индустриальный поэт! —
и вдруг
о ботанике тренькать?
Обиды твои:

незабудкою все поросло вот,
а ты об железе:
все шахта, да блюминг, да крекинг,
а вот о ромашке,
а вот о любви —
ни полслова!

Опять за букварь,
по складам,
и могут поставить в угол.
Как низко я пал:
кузнечиков шапкой ловлю!

Хожу
и по буквам срываю
с весеннего луга
так долго не цветшее слово:
люблю.

Приходится, милая,
возиться с зеленым стеблем.
Сорвал голубую люблилию
и скромный кукушкин люблен.

Болтаем о всяческих глупостях,
букет распестрился уже,
ты против
тюльпанных люблуковиц;
любландыш тебе по душе.

Ты просишь:
вон ту оборви-ка,
пока не застукали люди, —
срываю
пучок любарвинков
и самый несчастный люблютик.

Ты жалуешься,
что я разрываю в куски
эти люблистья
и бедные люблепестки!

Да, я в индустрии
гораздо сильнее, чем в цветах,
и ладно,
и чудно —
натащим чертежников умных,
обдумаем план
без промашки,

и здесь,
на этом лугу
построим чудесный люблюминг
под сказочным
солнцем
ромашки.

1933

61. МЕКСИКАНСКАЯ ПЕСНЯ

Тегуантепек, Тегуантепек,
страна чужая!
Три тысячи рек, три тысячи рек
тебя окружают.

Так далеко, так далеко —
трудно доехать!
Три тысячи лет с гор кувырком
катится эхо.

Но реки те, но реки те
к нам притекут ли?
Не ждет теперь Попокатепетль
дней Тлатекутли.

Где конь топтал по темной тропе,
стрела жужжала, —
Тегуантепек, Тегуантепек,
страна чужая!

От скал Сиерры до глади плато —
кактус и юкка.
И так далеко, что поезд и то
слабая штука!

Так далеко, так далеко —
даже карьером
на звонком коне промчатъ нелегко
гребень Сиерры.

Но я бы сам свернулся в лассо,
цокнул копытом,
чтоб только тебя увидеть в лицо,
Сиерры чикита!

Я стал бы рекой, три тысячи рек
опережая, —

Тегуантепек, Тегуантепек,
страна чужая!

1933

62. ГЛЯДЯ В НЕБО

Серый жесткий дирижабль
ночь на туче пролежалъ,
плыл корабль
среди капель
и на север курс держалъ.

Гелий — легкая душа,
ты большая туча либо
сталь-пластинчатая рыба,
дирижабрами дыша.

Серый жесткий дирижабль,
где синица?
где журавль?

Он плывет в большом дыму
разных зарев перержавленных,
кричит Золушка ему:
— Диризяблик! Дирижаворонок!

Он, забравшись в небовысь,
дирижаблоком повис.

1934

63. РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Плюется на все стороны
поток-ворчун.
Стихи
потоку горному
прочеть хочу.

Он пену рвет, как кружевце,
катясь
в обрыв,
никак не хочет вслушаться
в кипенье рифм.

Я парень не из вежливых,
но тут,
не злясь,
поклон ему отвешиваю,
прошу:
«Сияянс!»

Он только буркнул взорванно
(спина бела):
«Ворвались вы
не во-время.
Дела! Дела!»

Ах, так? Заставлю наглого!
Иду на риск.
На мне, как шашки наголо,
скрещенья
брызг.

Как топну я:
«Не слушаться?
Назад струю!
Молчать! Лежи, как лужица!
Заткни свою...»

И вдруг от этой ругани
поток застыл,
и пены клок испуганный
махнул в кусты.

Как миленький, как шелковый,
пополз ручьем
и просит струйкой-шорохом:
«Еще, еще...»

А я ему без жалости
прочел стихи,
прочел, сказал:
«Пожалуйста,
теперь теки».

1934

64. СКЛОНЕНИЯ

— Именительный —
это ты,
собирающая
цветы,
а родительный —
для тебя
трель и щелканье
соловья.
Если дательный —
всё тебе,
счастьем названное
в судьбе,
то винительный —
нет, постой,
я в грамматике
не простой,
хочешь —
новые падежи
предложу тебе?
— Предложи!
— Повстречательный
есть падеж,
узнавательный
есть падеж,
полюбительный,
обнимательный,
целовательный
есть падеж.
Но они
не одни и те ж —
ожидательный
и томительный,
расставательный
и мучительный,
и ревнительный
есть падеж.
У меня их
сто тысяч есть,
а в грамматике
только шесть!

1934

65. СТИХИ НА СОН

Пусть тебе
 не бредится
ни в каком
 тифу,
пусть тебе
 не встретится
никакой
 тайфун!

Пусть тебе
 не кажется
ни во сне,
 ни въявь,
что ко дну
 от тяжести
устремляюсь
 я.

Даже если
 гибелью
буря
 наяву,
я, наверно,
 выплыву,
дальше
 поплыву.

Стерегу
 и помню я,
навек
 полюбя:
никакой
 Японии
не схватить
 тебя.

Утром
 время радоваться,
не ворчи,
не грусти
 без надобности —
нет причин.

Пусть тебе
 не бредится
ни в каком
 тифу,

пусть тебе
 не встретится
никакой
 тайфун!

1934

66. БАЛЛАДА О МЕРТВОМ КОМИССАРЕ

1

Снарядами белых рвало и кромсало
 защитную зону.
Уложила на месте шрапнель комиссара
 N-ского дивизиона.

2

Завалила земля, влажна и грязна,
 ни черта не видать круглым счетом.
«Умирать бы не жаль бы, лежал, кабы знал:
 чья берет, — что там?»

3

Раскопать бы курган, посмотреть суметь,
 чье правительство, чья свобода?
Комиссару неможется — смерть не в смерть! —
 так четыре года.

4

И еще протаяло, кто его знает,
 сколько лет?
Гимнастерка истлела — ряднина сквозная.
 Только скелет.

5

Слышит: лошадь копытами плюх да плюх,
 заскрипело, — кажись, пашут.
Неглубоко берет — по-бедняцки — плуг.
 «Кабы знать: чью землю пашут?
 чужую или нашу?..»

6

Надо лбом комиссара волк провыл, —
 ну и горе!
 Прямо в сердце ему заразили-травы
 опустился корень.

7

И не косит никто, и скота не пасет.
 Тихо... Недобро...
 Чернобыльник степной, полынь и осот
 просквозили белые ребра.

8

Корни пулю обвили у гладких костей,
 перепутались пальцы с осотом.
 Комиссару не спится. Выйти бы в степь!
 Посмотреть — что там?

9

Через несколько лет загрохало так,
 будто пушку тянут по тракту...
 «Може, снова британский движется танк?
 Нет, скорей — трактор...»

10

Стала светом проскваживать ночь черна́,
 голове просторней.
 Чует — рвут из земли когтистый сорняк,
 повылазали острые корни.

11

Стала тяжесть ложиться, будто камень кладут
 (сам был каменщик, из рабочих).
 Голоса наверху, как в двадцатом году,
 только смысл голосов неразборчив.

12

Примерещилось мертвому — кончился бой,
 с песней войско шагает просторами,
 будто сам он, из камня, встает над собой
 в каменной воинской форме!

И пшеничным дыханьем, отрадой степной
сон прополз по глазным пустотам.
Мысль, как шорох, прошла в белизне черепной:
«Знаю... что там...»

Он стоял, ладонь положив на бинокль,
как стоял в заварухе дымной.
И лежал у гранита красный венок
от завода его имени.

Вся округа у памятника собралась,
шапку снял участник похода.
«Кабы знал наш товарищ, какая власть:
чья победа и чья свобода!..»

1934

67. ИСПАНИЯ

Я не очень-то рвусь
в заграничный вояж
и не очень охоч
на разъезд.
Велика и обильна
страна моя,
и порядок в ней
должный есть.
Но посмотришь на глобус —
для школьников шар,
стран штриховка
и моря окраска, —
сразу тысячью рейсов
махнет по ушам
кругосветная качка
и тряска.
И чего приbedняться!
Хочу увидеть
то,
чего мое зреньё
не видело:

где коралловым рифом
 пухнет вода,
 Никарагуа,
 Монтевидео...
 Я мечтал,
 не скрываю,
 право мое —
 жадным ухом
 прислушаться кговору,
 стобульварный Париж,
 стозтажный Нью-Йорк,
 всё вобрать это
 полностью
 в голову!
 Но сегодня,
 газету глазами скребя,
 я забыл
 другие искания,
 все мечты о тебе,
 все слова для тебя —
 Испания!
 Вот махнуть бы сейчас
 через все этажи!
 (Там —
 окопы повстанцами роятся...)
 И октябрьское знамя
 на сердце
 зашить
 астурийцам
 от метростроевцев.
 Ты на карте показана
 желтым штрихом
 в субтропическом
 теплом покое,
 а взаправду твой зной
 проштрихован штыком,
 я сейчас тебя вижу
 такую!
 Не мерещатся мне
 улыбки Кармен
 и гостиничное кофе.
 Мне б хоть ночь пролежать,
 зажав карабин,
 с астурийским шахтером
 в окопе.
 Кстати,
 норму я сдал в позапрошлом году,
 ворошиловцы —
 надобны вам они,

даже цветом волос
за испанца сойду, —
породнимся
на красном
знамени!

1934

68. ЛЕГЕНДА О МУЗЕЙНОЙ ЦЕННОСТИ

1

В подземных пластах под новой Москвой,
в гнилом ископаемом срубе,
был найден холодный, совсем восковой
мужчина в боярской шубе.

Он весил без малого десять пудов,
упитанный, важного чину;
ни черви, ни почва, ни плесень годов
не тронули чудо-мужчину.

Врачи с удивлением мерили рост,
щупали мышцы тугие,
одни заявили: «Анабиоз!» —
другие: «Летаргия!»

2

Боярин лежал, бородатый по грудь,
в полном здоровье и силе,
и чтобы усопшего перевернуть,
грузчиков пригласили.

Натерли эфиром лоснящийся зад,
зажгли инфракрасную лампу,
и доктор боярину впрыснул лизат —
пятнадцать сияющих ампул.

Лизат в инструменте клокочет,
а тот просыпаться не хочет.

3

Боярин молчит, боярин ни в зуб, —
лежит, как положено сану.
Профессор вгоняет ему в железу
два литра гравидану.

Решили прием увеличить на литр,
уже гравиданом боярин налит,
но всё ж от чудовищной дозы
лежит, не меняя позы.

Гормонов ему втыкают в бедро,
рентген зашибают в брюхо,
и физики атомное ядро
дробят над боярским ухом.

4

Тут грузчик к нему проявил интерес:
«Профессор, да вы разиня!
Со мной при себе поллитровочка есть
из коммерческого магазина».

Нашли у боярина рот в бороде,
бутылка гулко забулькала, —
боярин светлел, наливался, рдел
и вдруг растарачил буркалы:

«Холопы! — боярин вскочил и оре. —
Замучу! — оряху спросонок. —
Кто, смерд, разбудиша мя на заре?
Гоняхом сюда закусону!»

5

Отъелся боярин, — вари да пеки!
От сытных хлебов беленится,
крадет у соседних больных пайки, —
вконец обнищала больница.

За ужином требует водки литр,
орет по-церковному в градусе.
И сдали его, как порядок велит,
в Коопхудмузлит,
а там обалдели от радости!

«Чистый боярин!» — Худмуз упоен,
ищут боярину место:
и грязен и груб, но все-таки он —
историческое наследство.

И дали жильцу подземных руин
гида из «Интуриста».
И тот объясняет: «Мосье боярин,
вы спали годочков триста.

Москвы не узнаете — долгий срок,
асфальт, фонари повсеместно.
Вот — телеграф, а вот — Мосторг,
а это вот — Лобное место».

Боярин припал к родимым камням,
ни слова не молвит, а только «мням-мням».
Упал на колени и замер,
и мох обливает слезами.

7

Боярин по родине начал грустить,
лишился обличия бодрого;
эксперты решили его поместить
в домик боярина Федорова.

Сидит он и жрет грязнущей рукой
свое древнерусское крошево.
Любители ахают: — Милый какой,
обломок проклятого прошлого! —

Славянский фольклор изучают на нем,
и даже в газете объявлено:
«В музее сегодня и ночью и днем
показ живого боярина».

8

Он как-то «жидом» обозвал одного
явного украинца.
Худмуз восхищается: «Выручка вó!
Боярин доходней зверинца».

Не раз посетитель наследством избит,
Худмуз восхищается очень:
«Какой полнокровный боярский быт,
живуч, симпатяга, сочен!»

А если доносится мат из ворот,
Худмуз снижается в шепот:

«Тише, боярин передает
свой творческий опыт...»

9

Но вскоре великодержавный душок
закрался в душевную мглу его:
он создал со скуки литкружок
в жанре Клычкова и Клюева.

Боярин скандалит в пивной вечерком,
цыгане волнуют боярина,
орет, нализавшись, тряся шашлыком:
«Тапёр, наяривай!»

Изящные девочки ходят к нему,
ревет патефон в боярском дому,
и, девочек глядя и тиская,
боярин гнусавит Вертинского.

10

В Коопхудмузе решили так:
«Конечно, у классиков учатся,
боярин вполне положительный факт
и мягко влияет на юношество.

Конечно, скажем без рапповских фраз:
трудно ему перестроиться, —
«Вечерку» читает, а все-таки раз
в церковь зашел на Троицу.

И водку пьет, и крест на груди,
и бабник, и матом лается,
а всё же боярин у нас один, —
бояре вот так не валяются!»

11

Он просто, как памятник, дорог для нас.
Музей для боярина чопорен.
Не лучше ль боярский использовать бас
в провинциальной опере?

Вот тут развернулся боярин вовсю,
обрел отечество снова
и сразу припомнил размах и красу
пиров царя Годунова.

Он входит в роль и, покуда поют,
статистов бьет по мордасам.
Театр включил в программу свою
пунктик: «Боярина — массам!»

12

Всё можно простить за редкий талант,
а выдался бас — на диво.
Что в морду бьет — прощает театр:
бьет, а зато правдиво.

Но случай один увлекательный был:
согласно буйному норову
боярин на сцене певцу отрубил
по-настоящему — голову.

Хоть это и подлинный был реализм, —
ну, витязи там, ну, рыцари! —
но тут за боярина крепко взялись
товарищи из милиции.

13

Худмуз о наследстве хотел закричать,
но, чуя, что доводы зыбки,
махнул отмежевываться в печать
и признавать ошибки.

Призвали профессора, дверь на засов,
и речи пошли другие:
«Вернуть боярина в восемь часов
в состояние летаргии!..»

Не знаю, помог ли тут гравидан?..
Лет тысяча пронесется,
но будьте уверены — никогда
боярин уже не проснется.

14

Я очень доволен. И «паркер» в ножны.
Я добрый ко всякой твари,
а вот бояре — нам не нужны
даже в одном экземпляре!

1934

69. НЕПОДВИЖНЫЕ ГРАЖДАНЕ

Кто не видал
чугунных граждан
города?
Степенный вид,
неяркие чины:
Пожарский,
Минин,
Пушкин,
Гоголь,
Федоров —
в большую жизнь Москвы
вовлечены.
Триумфы,
может,
памятникам снятся,
но в общем
смирный,
неплохой народ;
попросим —
слезут,
скажем —
потеснятся,
не споря,
у каких стоять ворот.
В других столицах
памятники злее,
куда нахальнее,
куда грозней!
Мосты обсели,
заняли аллеи,
пегасов дразнят,
скачут,
давят змей.
Наш памятник —
народ дисциплинированный,
он понимает,
что кипит страна,
что вся Москва
насквозь перепланирована,
что их,
чугунных,
дело — сторона.
Вы
с Мининым-Пожарским,
верно, виделись?
На постаменте
твердый знак и ять.

Что ж, отошли себе
и не обиделись, —
чем плохо
у Блаженного стоять?
Бывает так,
что и живой мужчина
на мостовой
чугунный примет вид.
«Эй, отойди!» —
ему гудит машина,
а он себе,
как памятник, стоит.
А монумент
не лезет в гущу улицы.
Островский
влез на креслице свое,
сидит,
в сторонке сторожем сутулится,
хотя репертуарчик
«не тоё».
Другая жизнь
у памятника бодрого,
в деснице свиток,
богатырский рост;
покинул пост
первопечатник Федоров
и занял
более высокий пост.
Он даже
свежим выглядеть старается,
метро под боком,
площадь — красота,
а в мае —
песни,
пляски,
демонстрации...
Нет, не ошибся,
что взошел сюда!
Ведь все-таки
профессия из родственных —
свинцом дышал
и нюхал плавки гарь,
и скажем прямо:
старый производственник,
а не какой-нибудь
кровавый царь.
Что до царей —
прописана им ижица.

Цари мне нравятся,
 когда они резвей,
когда они,
 цари,
 вниз головою движутся,
куда им полагается —
 в музей.

1935

70. РАБОТА В САДУ

Речь — зимостойкая семья.
Я, в сущности, мичуринец.
Над стебельками слов — моя
упорная прищуренность.

Другим — подарки сентября,
грибарий леса осени;
а мне — гербарий словаря.
лес говора разрозненный.

То стужа ветку серебрит,
то душит слякоть дряблая.
Дичок привит, и вот — гибрид!
Моягода, мояблоня!

Сто га словами поросло,
и после года первого —
уже несет плодыни слов
счастливовое дерево.

1935

71. БУКВА М

Малиновое М —
мое метро,
метро Москвы.
Май, музыка, много молодых москвичек,
метростроевцев,
мечутся, мнутяся:
— Мало местов?
— Милые, масса места,
мягко, мух мало!
Можете! Мерси... —
Мрамор, морской малахит, молочная мозаика —
мечта!

Михаил Максимыч молвит механику:
— Магарыч! Магарыч! —
Мотнулся мизинец манометра.
Минута молчания...
Метро мощно мычит
мотором.
Мелькает, мелькает, мелькает
магнием, метеорами, молнией.
Мать моя мамочка!
Мировó!
Мурлычет мотор — могучая музыка машины.
Моховая!
Митя моргнул мечтательной Марусе:
— Марь Михална, метро мы мастерили!
— Молодцы, мастерски! —
Мелькает, мелькает, мелькает...
Махонький мальчик маму молит:
— Мама, ма, можно мне, ма?.. —
Минута молчания...
Мучаюсь, мысли мну...
Слов не хватает на букву эту...
(Музыка... Муха... Мечта... Между тем...)
Мелочи механизма!

Внимайте поэту —

я заставляю

слова

начинаться

на букву эМ:

МЕТИ МОЕЗД МЕТРО МОД МОСТИНИЦЕЙ
МОССОВЕТА
МИМО МОЗДВИЖЕНКИ
К МОГОЛЕВСКОМУ МУЛЬВАРУ!
МОЖАЛУЙСТА!

1935

72. АЛАДИН У СОКРОВИЩНИЦЫ

Стоят ворота, глухие к молящим глазам и слезам.

Откройся, Сезам!

Я тебя очень прошу — откройся, Сезам!

Ну, что тебе стоит, — ну, откройся, Сезам!

Знаешь, я отвернусь,

а ты слегка приоткройся, Сезам.

Это я кому говорю — «откройся, Сезам»?

Откройся или я тебя сам открою!

Ну, что ты меня мучаешь, — ну,
откройся, Сезам, Сезам!
У меня к тебе огромная просьба: будь любезен,
не можешь ли ты
открыться, Сезам?
Сезам, откройся!
Раз, откройся, Сезам, два, откройся, Сезам, три...
Нельзя же так поступать с человеком, я опоздаю,
я очень спешу, Сезам, ну, Сезам, откройся!
Мне ненадолго, ты только откройся
и сразу закройся, Сезам...

Стоят ворота, глухие к молящим глазам и слезам.

1935

73. ТЕБЕРДА

Вдруг стукнуло, вдруг капнуло,
по листьям прошла дрожь.
Мир заново! Мир набело!
С солнца пошел дождь.

Вдруг грянуло. Вдруг брызнуло.
Бисером на лучах.
Жизнь заново! Мир сызнава,
схолода, сгоряча.

Весь вызолочен дом отдыха,
Вдруг потемнел свет.
Вдруг радуга. Вдруг облако.
Вдруг ничего нет.

Вся в ливне, когда схлынуло,
по-новому каждый раз
являлась гора, платком распавленным
закрывшись до самых глаз.

Сизым и красным навкозь бросается
то тот, то другой луч,
сопровождая выход красавицы
из будки в конце туч.

Вдруг сумерки, лучи умерли,
опять световой трюк:
все погасили, и что бы вы думали —
звезды! Вот так! Вдруг!

1935

74. НА КРУТОЗОРЕ

На снег-перевал
по кручам дорог
Кавказ-караван
взобрался и лег.

Я снег твой люблю
и в лед твой влюблюсь,
двугорый верблюд,
двугорбый Эльбрус.

Вот мордой в обрыв
нагорья лежат,
в сиянье горбы
твоих Эльбружат.

О, дай мне пройти
туда, где светло,
в приют Девяти,
к тебе на седло!

Пролей родники
в походный стакан.
Дай быстрой реки
черкесский чекан!

1935

75. НАД НАМИ

На паре крыл
(и мне бы! и мне бы!)
корабль отплыл
в открытое небо.

А тень видна
на рыжей равнине,
а крик винта —
как скрип журавлиный.

А в небе есть
и гавань, и флаги,
и штиль, и плеск,
и архипелаги.

Счастливый путь,
спокойного неба!

Когда-нибудь
и мне бы, и мне бы!..

1935

76. НА СЛУЧАЙ ОПАСНОСТИ

О, убережись трусости, если удар опустится —
газ или канонада —
больше, чем пули — трусости,
больше, чем газа — трусости
страхом страшиться надо.

Перед летящей пулею, о, убережись робости, —
пусть она в сердце вкружится,
лишь бы не захолонуть
дрожью колен над пропастью
и не дойти до ужаса.

Лучше уже тонуть, чем на волну коситься,
вспомнив, как тихо дома.
Лучше сгореть от молнии, чем на нее креститься,
вздрагивая от грома.

Пусть лучше входит в легкое
хлорных паров удушие,
тучи фосгена спустятся.
Маску противогазную — перед волною идущего
страшного газа трусости.

1935

77. СОН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Не спится мне
 и снится,
что я попал
 в беду,
что девочка
 в платье ситцевом
тонет
 в моем бреду.
Тянется
 рука беленькая
к соломинке
 на берегу,
но я
 с кроватного берега

руки́ протянуть
 не могу!
 Я мучаюсь,
 очень мучаюсь,
 хочу
 поднять глаза,
 но их
 ни в коем случае
 приоткрыть
 нельзя.
 Я сон этот
 точно выучил:
 он в полдень
 еще ясней...
 Как страшно,
 что я не выручил
 ту девочку
 во сне!

Январь 1936

78. ЕЛОЧНЫЙ СТИХ

Оделась в блеск,
 шары зажгла:
 «К вам в Новый год
 зайду-ка я!..»
 И в наши комнаты
 зашла
 подруга
 хвойнорукая.
 Стоят дома
 при свете дня,
 на крышах
 дым топорщится,
 но если
 крыши приподнять —
 весь город
 просто рощица!
 А в этой рощице —
 ребят!
 С игрушками!
 С подарками!
 Нам новогодие
 трубят,
 маша флажками
 яркими.
 И я иду
 смотреть на Кремль,

метель,
и брови в инее;
там башня Спасская,
как ель,
горит
звездой рубиновой.
Весь город
в елках зашуршал
в звон
новогодней полночи, —
фонарь качается,
как шар,
и уличный
и елочный.
Бывало,
в ночь под Рождество
прочтешь
в любом журнальчике
рассказ про елку,
барский стол
и о замерзшем
мальчике.
Теперь
таких журналов нет, —
мороз
хватает за уши,
но мальчиков
по всей стране
не видно
замерзающих.
Для них дрова
трещат в печах,
котлы и трубы
греются;
их жизнь
с оружием на плечах
среди елей,
в пасмурных ночах,
хранят
красноармейцы.
И я стихами
блеск зажег, —
входите,
ель-красавица,
на ветку
этот стих-флажок
подвесьте,
если нравится!

<1937>

79. БОЛЬ

Умоляют, просят:
— Полно,
выпей,
вытерпи,
позволь,
ничего,
не будет больно... —
Вдруг,
как молния, —
боль!
Больно ей,
и сразу мне,
больно стенам,
лампе,
крану.
Мир,
окаменев,
жалуется
на рану.
И болят болты
у рельс,
и у угла в топках
резь,
и кричат колеса:
«Больно!»
И на хлебе
ноет соль.
Больше —
мучается бойня,
прикусив
у плахи боль.
Болит всё,
болит всему,
и щипцам
домов родильных,
болят внутренности
у
снарядов орудийных,
моторы у машин,
закат
болит у неба,
дальние
болят
у времени века,
и звон часов —
страдание.

И это всё —
рука на грудь —
молит у товарищей:
— Пока не поздно,
что-нибудь
болеутоляющее!

1937

80. ПОСЛЕДНИЕ НОЧИ

Ингалятор,
синий спирт,
и она
не спит.

— Сядь поближе,
милый мой,
на постель мою,
сделай так,
чтоб вдруг зимой
засиял июль...

— Хорошо,
я попрошу,
сговорюсь
с сестрою,
я подумаю,
решу,
что-нибудь
устрою.

— Милый,
в горле моем
дрожь,
высохло,
прогоркло.
Ты
другое
мне найдешь
какое-нибудь
горло?

Синий отсвет
кинул спирт
на подушку
белую...

— Не тревожься,
лучше спи,
я найду,
я сделаю.

— Милый,
сделай для меня,
чтоб с такою болью
год один хотя бы
я
прожила с тобою.
Вместе
в будущем году
к золотому пляжу...

— Всё устрою,
всё найду... —
А сам плачу,
плачу...

1937

81. ЛОРЕЛЕЙ <Из Г. Гейне>

Что бы это такое?
Мне что ни ночь трудней.
Мне не дает покоя
Сказка минувших дней.

Холодно. И темнеет.
И движется Рейн во тьме.
В закатном пожаре тлеет
Скала на зеленом холме.

В платье из чистого золота
Девушка там видна.
Свои золотые волосы
Расчесывает она

Багряно горящим гребнем,
И песню она поет,
И, видно, творилась в небе
Мелодия для нее.

Юноша в лодке узкой
Не видит камней и вех.
Он, околдованный музыкой,
Смотрит только вверх.

Увы! Поглотит пучина
Гребца среди камней.
И этому причина
Песня Лорелей.

1937

82

Сказали мне,
 что я стонал
 во сне.
Но я не слышал,
 я не знал,
что я стонал
 во сне.
Я не видал
 ни снов,
 ни слов
я не слышал —
 я спал, —
без сновидений сон.
Товарищ утром
 мне сказал,
что слышал
 долгий стон,
как будто
 больно было мне —
так
 я стонал
 во сне.
Да,
 все, что сдерживалось днем,
затихшее
 в быту дневном,
уже давно
 не боль,
не рана,
 а спокойный шрам,
рубец,
 стянувшийся по швам, —
а что
 для шрама соль?
Да!
 Я забыл
 луга в цвету
и не стонал
 о ней, —

я стал считать
 ту,
 что любил,
почти
 любовью детских дней.
Но если б знали вы —
как это все
 взошло со дна,
очнулось
 смутной раной сна
и разошлось,
 как швы.
Но я
 не видел ничего
во сне.
 Я спал
 без снов.
Товарищ
 в доме ночевал,
и это
 я узнал
 со слов...
Как мог
 таким я скрытным стать
и спрятать от себя
боль,
 и бездумно спать?
Но боль живет,
 и как ни спишь,
и как ни крепок сон,
какую б ночь
 ни стлала тишь —
все слышит,
 знает стон,
все помнит стон,
 он не забыл
ту,
 что бессонно я любил
в далí
 ушедших дней,
стон
 мне
 напоминал о ней,
чтоб днем
 не больно было мне,
чтоб я стонал
 во сне.

<1938>

83. ПИСЬМО БЕЗ АДРЕСА

ПЕРВОЕ

Я всю ночь
 писал письмо,
все
 сказал
 в письме.
Не писать его
 не смог,
а послать —
 не смел.
Я писал письмо
 всю ночь,
в строки
 всматривался,
только
 нет на свете
 почт
для такого адреса.
Если б я
 письмо послал —
что слова
 на ветер.
Той,
 которой
 я писал,
нет
 на свете.

ВТОРОЕ

А я
 кораблик сделал
из письма,
листок
 бумаги белой
сложил, не смял.
И в уйму
 светлых капелек
пустил по реке:
«Плыви,
 плыви,
 кораблик,
к ее руке».
А вдруг
 она на пристани,

спеша домой,
заметит
 издали
бумажный мой...
Но я боюсь —
 бумажный
потонет, протечет,
и строки
 очень важные
она не прочтет.

ТРЕТЬЕ

А я
 письмо переписал,
и все
 сказал в письме я,
и сделал —
 бросил в небеса
воздушного змея.
«Лети, лети,
 почтовый змей,
пусть туча
 не догонит,
но где-то в мире
 встретится с ней
и дайся ей
 в ладони».
Но я боюсь —
 сверкнет гроза
зарницами
 и зорями, —
и где лежит,
 и что сказал
мой бедный змей
 изорванный?

ЧЕТВЕРТОЕ

А я,
 не смыкая глаз,
до рассвета сизого,
буду
 много, много раз
письмо переписывать.
По улицам,
 по шоссе,

у вокзальной башенки —
буду класть его
 во все
почтовые ящики,
вешать его
 на дубы,
клеить его
 на клены,
на стены
 и на столбы,
на окна
 и колонны.

ПОСЛЕДНЕЕ

Я пришел,
 и знать не знал,
ведать не ведал,
и во сне
 не видел сна,
и не ждал ответа.
А пришел,
 подумал только:
«Вот пришел бы ответ», —
лишь подумал
 и со столика
поднял конверт.
Я узнал
 любимый почерк,
ее руку около,
завитки
 знакомых строчек,
волосики с локона.
А написано
 в письме
голосом в тиши:
«Ты искать меня
 не смей,
писем не пиши.
Я ушла
 навек — на́долго
и не в близкий путь,
не пиши
 и не надо,
лучше забудь.
И не надо
 змеев по небу

и листков на столбы, —
я прошу тебя:
 кого-нибудь
найди, полюби...»
А страницы
 в пальцах тают,
не дочитан ответ,
я еще письмо
 читаю,
а письма уже нет.
Завитки
 любимых строчек
ищут глаза еще,
но меж пальцев
 только почерк,
и то — исчезающий.

<1938>

84. ЧЕТЫРЕ СОНЕТА

1

Сад, где б я жил, — я б расцвел тобой,
дом, где б я спал, — тобою бы обставил,
созвездия б сиять тобой заставил
и листьям дал бы дальний голос твой.

Твою походку вделал бы в прибор
и в крылья птиц твои б ладони вправил,
и в небо я б лицо твое оправил,
когда бы правил звездною судьбой.

И жил бы тут, где всюду ты и ты:
Ты — дом, ты — сад, ты — море, ты — кусты,
прибой и с неба машущая птица,

где слова нет, чтоб молвить: «Тебя нет», —
сомнения нет, что это может сбыться,
и все-таки — моей мечты сонет

2

не сбудется. Осенний голый сад
с ней очень мало общего имеет,
и воздух голосом ее не веет,
и звезды неба ею не блещут,

и листья ее слов не шелестят,
и море шагу сделать не посмеет,
крыло воронье у трубы чернеет,
и с неба клочья тусклые висят.

Тут осень мне пустынная дана,
где дом, и куст, и море — не она,
где сделалось утратой расставанье,

где даже нет следа от слова «ты»,
царапинки ее существования,
и все-таки — сонет моей мечты

3

опять звенит. Возможно, что не тут,
а где-нибудь — она в спокойной дреме,
ее слова, ее дыханье в доме,
и к ней руками — фикусы растут.

Она живет. Ее с обедом ждут.
Приходит в дом. И нет лица знакомей.
Рука лежит на лермонтовском томе,
глаза, как прежде карие, живут.

Тут знает тишь о голосе твоём,
и всякий день тебя встречает дом,
не дом — так лес, не лес — так вроде луга.

С тобою часто ходит вдоль полей —
не я — так он, не он — твоя подруга,
и все-таки — сонет мечты моей

4

лишь вымысел. Найди я правду в нем,
я б кинул все — и жизнь и славу эту,
и странником я б зашагал по свету,
обшарить каждый луг, и лес, и дом.

Прошел бы я по снегу босиком,
без шапки по тропическому лету,
у окон ждать от сумерек к рассвету,
под солнцем, градом, снегом и дождем.

И если есть похожий дом такой,
я к старости б достал его рукой:
«Узнай меня, любимая, по стучу!..»

Пусть мне ответят: «В доме ее нет!»
К дверям прижму иссеченную руку
и допишу моей мечты сонет.

<1938>

85. МОЯ ЖИЗНЬ

Я молод был, я голод был,
я ел глазами бытие,
я каждой девочке грубил:
«Отдайся!», — но не брал ее.

Я жрал глазами все цвета,
я слухом лопал плеск и свист,
и шелест каждого листа
я превращал в блокнотный лист.

Я был своим на площадях,
где воробьи справляли пир,
в киношки зайцем проходя,
я вышибал ногою мир.

Я думал — пан или пропал,
когда в раскатах майских гроз
на жизнь, как печенег, напал,
взвалил на лошадь и увез.

А жизнь, невольница моя,
глядит, усмешки не тая,
как я трублю, как я грублю,
как я беспомощно люблю...

1938

86. СТАНЦИЯ «МАЯКОВСКАЯ»

На новом
 радиусе
у рельс метро
я снова
 радуюсь:
здесь так светло!

Я будто
 еду
путем сквозным

В стихи
к поэту,
на встречу с ним!

Летит
живей еще
туннелем вдаль
слов
нержавеющих
литая сталь!

Слова
не замерли
его руки, —
прожилки
мрамора —
черновики!

Тут
в сводах каменных
лучами в тьму
подземный
памятник
стоит — ему!

Не склеп,
не статуя,
не истукан,
а слава
статная
его стихам!

Туннель
прорезывая,
увидим мы:
его
поэзия
живет с людьми.

Согретый
множеством
горячих щек,
он
не износится
и в долгий срок.

Он
не исплеснется!

Смотрите —
там
по строчкам-
лестницам
он сходит сам.

Идет,
задумавшись,
в подземный дом —
в ладонях
юноши
любимый том!

Пусть рельсы
тянутся
на сотни лет!
Товарищ
станция,
зеленый свет!

Землей
московскою
на все пути,
стих
Маяковского,
свети,
свети!

Сентябрь 1938

87. ПАВЛУ ВАСИЛЬЕВУ

«Я тебя тогда любила,
а теперь прощай,
на дорогу положила
махорку и чай.
А сейчас люблю другого,
прощай, не серчай».

«Ты меня тогда любила?
А теперь "прощай"?
На дорогу положила
махорку и чай?
Ну, так что ж, люби другого,
прощай, не серчай».

*Прочтено было мне П. Васильевым,
не напечатано, но запомнилось.*

Я вчера пришла к хорошему,
к золотому своему.
Пусть все будет по-хорошему —
так сказала я ему.

Я сказала: слезы видишь ли?
Горе видишь ли мое?
Он ответил: это, видишь ли,
дело, видишь ли, мое.

От свиданья до свидания
шло как будто ничего,
а теперь на «до свидания»
не ответил ничего.

1938

88. СЛУЧАЙ С ТЕЛЕФОНОМ

Жил да был
 Телефон
Телефонович.
Черномаз
 целиком,
вроде полночи.

От него
 провода
телефонные,
голосами
 всегда
переполненные.

То гудки,
 то слова
в проволоке узкой,
как моя голова —
то слова,
 то музыка.

Раз читал
 сам себе
новые стихи я
(у поэта
 в судьбе
есть дела такие).

Это лирика была,
мне скрывать
 ничего —
трубка
 вдруг
 подняла
ухо гуттаперчевое.

То ли
 ловкая трель
(это, впрочем, все равно), —
Телефон
 посмотрел
заинтересованно.

Если
 слово поет,
если
 рифмы лучшие,
трубка
 выше
 встает —
внимательней слушает.

А потом уж —
 дела,
разговоры
 длинные...
А не ты ли
 была
в те часы
 на линии?..

<1939>

89. НЕТ ЗОЛУШКИ

Я дома не был год.
 Я не был там сто лет.
Когда ж меня вернул
 железный круг колес —
записку от судьбы
 нашел я на столе,
что Золушку мою
 убил туберкулез.

Где волк? Пропал.
 Где принц? Исчез.

Где бал? Затих.
Кто к сказке звал врача?
Где Андерсен и Гримм?
Как было? Кто довел?
Хочу спросить у них.
Боятся мне сказать.
А всё известно им.

Я ж написал ее.
Свидетель есть — перо.
С ней знался до меня
во Франции Перро!
И Золушкина жизнь,
ее «жила-была» —
теперь не жизнь, а сон,
рассказа фабула.

А я ребенком был,
поверившим всерьез
в раскрашенный рассказ
для маленьких детей.
Всё выдуманно мной:
и волк, и дед-мороз...
Но туфелька-то вот
и по размеру ей!

Я тоже в сказке жил.
И мне встречался маг.
Я любоваться мог
хрустальной горой.
И Золушку нашел...
Ищу среди бумаг,
ищу, не разыщу,
не напишу второй.

<1939>

90. ВОСПОМИНАНИЕ

Тихое облако в комнате ожило,
тенью стены
свет заслоня.
Голос из дальнего, голос из прошлого
из-за спины
обнял меня.

Веки закрыл мне ладонями свежими,
розовым югом
дышат цветы...

Пальцы знакомые веками взвешены,
я узнаю:

да, это ты!

Горькая, краткая радость свидания;
наедине

и не вдвоем...

Начал спрашивать голос из дальнего:

— Помнишь меня

в доме своем?

С кем ты встречаешься? Как тебе дышится?

Куришь помногу?

Рано встаешь?

Чем увлекаешься? Как тебе пишется?

Кто тебя любит?

Как ты живешь?

Я бы ответил запрятанной правдою:

мысль о тебе

смыть не могу...

Но — не встревожу, лучше — обрадую.

— Мне хорошо, —

лучше солгу.

Всё как по-старому — чисто и вымыто,
вовремя завтрак,

в окнах зима.

Видишь — и сердце из траура вынуто,

я же веселый,

знаешь сама.

Руки сказали: — Поздно, прощаемся.

Пальцы от глаз

надо отнять.

Если мы любим — мы возвращаемся,

вспомнят о нас —

любят опять.

<1939>

91. ЭННАБЕЛ ЛИ

(Э. По)

Это было очень и очень давно
в государстве у моря вблизи —
я девушку знал, и вы бы могли
называть ее Эннабел Ли;

и жила эта девушка только мечтой
о своей и моей любви.

Я был дитя, и она — дитя,
в государстве у моря вблизи;
мы любили любовью, что больше любви,
я и Эннабел Ли,
так, что даже крылатые ангелы неба
мне и ей завидовали.

Это было причиной, что очень давно
в государстве у моря вблизи
хмурый ветер подул, простудил и убил
мою светлую Эннабел Ли,
и высокие люди знатной семьи
ее от меня унесли,
унесли, положили в гробницу ее
у открытого моря вблизи.

Ангелы в небе и части не знали
счастья такого, как мы, —
да! — зависть — причина (все это знают
в государстве у моря вблизи),
что подул хмурый вихрь из-за туч грозových,
простудил и убил мою Эннабел Ли.

Но любовь наша больше была, чем любовь
обитающих выше, чем мы, —
понимающих больше, чем мы, —
и никто — ни ангелы горних небес
и ни демоны низкой земли
разлучить не смогли мою душу с душой
сияющей Эннабел Ли.

И не выйдет луна, не навевши сна
о сияющей Эннабел Ли;
звезд увидеть нельзя, чтоб не вспомнить глаза,
да, сияющей Эннабел Ли;
ночью в шумный прибой я бессменно с тобой,
я с любимой, с любимой — с невестой, с судьбой,
и в гробнице у моря вблизи,
у звенящего моря вблизи.

<1939>

92. ПОИСК

Я, в сущности,
старый старатель,
искательский
жадный характер!
Тебя
я разглядывал пылко,
земли
потайная копилка!
Я вышел
на поиск богатства,
но буду
его домогаться
не в копиях,
разрытых однажды,
а в жилах
желанья и жажды.
Я выйду на поиск
и стану
искателем
ваших мечтаний,
я буду заглядывать
в души
к товарищам,
мимо идущим.
В глазах ваших,
карих и серых,
есть Новой Зеландии
берег,
вы всходите
поступью скорой
на Вообразильские
горы.
Вот изморозь
тает на розах,
вот низменность
в бархатных лозах,
вот
будущим нашим
запахло,
как первой
апрельскою каплей.
И мне эта капля
дороже
алмазной
дробящейся дрожи.
Коснитесь ее,
понесите,

в стихах
ее всем объясните!
Какие там,
к черту, дукаты?
Мы очень,
мы страшно богаты!
Мы ставим
дождевики
на кольца,
из гроз
добываем духи,
а золото —
взгляд комсомольца,
что смотрится
в наши стихи.

1939

93. ПРЕДЧУВСТВИЕ

К Земле подходит Марс,
планета красноватая.
Бубнит военный марш,
трезвонит медь набатная.

В узле золотой самовар
с хозяйкой бежит от войны:
на нем отражается Марс
и первые вспышки видны.

Обвалилась вторая стена,
от огня облака порыжели.
— Неужели это война?
— Прекрати повторять «неужели»!

Неопытны первые беженцы,
далекие гулы зловещи,
а им по дороге мерещатся
забытые нужные вещи.

Мать перепутала детей,
цепляются за юбку двое;
они пристали в темноте,
когда случилось роковое.

А может быть, надо проснуться?
Уходит на сбор человек,

он думает вскоре вернуться,
но знает жена, что навек.

На стыке государств
стоит дитя без мамы;
к нему подходит Марс
железными шагами.

1940

94. ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Наши части отошли
к лесу после боя;
дорогую горсть земли
я унес с собою.

Мина грохнулась, завыв,
чернозем вскопала;
горсть земли — в огонь и взрыв —
около упала.

Я залег за новый вал,
за стволы лесные,
горсть земли поцеловал
в очи земляные.

Положил в платок ее
холщевой, опрятный,
горстке слово дал свое,
что вернусь обратно,

что любую боль стерплю,
что обиду смою,
что ее опять слеплю
с остальной землею.

*Июнь 1941
Пог Гомелем*

95. АТАКА

1

Браточек, браточек, приказ — подыматься.
Пустили ракету, летит золотая.
Приказано встать, а фугасы германца
дымятся и рвутся, сюда залетая.

2

Приказ — подыматься, а руки не могут.
 Душа не пускает, не тянутся ноги.
 То мина немецкая взроет дорогу,
 то вздыбится взрыв у избы на пороге.

3

Сейчас подымусь, проползу полсажени.
 К земле прилипают магнитные руки.
 Сегодня сильнее у земли притяженье,
 прижала и держит — до боли, до муки.

4

Чего материшься, да я ж подымаюсь!
 Опять над ушанкою смерть просвистела.
 А то, что я к глине опять прижимаюсь, —
 так липнет к земле мое потное тело.

5

Браточек сержант, я секунду — и встану.
 Я только оправлю одежду в воронке,
 а если и ранит, а ну ее, рану,
 заткну и залягу от боя в сторонке.

6

Вот десять шагов пробежал от окопа,
 тут топкое место, мокредь и вода ведь.
 И воздух сегодня тяжелый особо,
 он голову под ноги клонит и давит.

7

Товарищ сержант, погоди, не качайся,
 я всех поведу, полежи среди кочек.
 Пойдем в штыковую, а ты не кончайся,
 придем, перевяжем, помедли, браточек.

8

Чего залегли? О присяге забыли?
 Уткнулись губами в нутро земляное.
 Вставайте, ребята, сержанта убили,
 кричите «ура» — и за мною, за мною.

Ну вот я иду не пригнуто, а стоя.
 Да это же вещь — поучаствовать в деле!
 Тут десять шагов, полминуты, пустое!
 На проволоку, братцы, кидайте шинели.

В траншею, давай, бей штыком и гранатой
 и по два поганца берите на брата...
 Опять меня тянет к земле непримятой.
 Письмо в гимнастерке... Отправьте, ребята...

1941

96. ОДЕССА

Я взглянул
 и задрожал:
 — Одесса! —

Опустел
 и обвалился дом...

Желтый камень
 солнечного детства

выщерблен
 фашистским сапогом.

Город-воля,
 штормовое лето,

порт,
 где бочек
 крупное лото,

где встречался
 с «Теодором Нетте»

Маяковский
 в рейде золотом.

Сердце
 этим городом не сыто, —

лихорадит
 и томит меня

долгий взгляд
 матроса-одессита,

ставшего
 на линию огня.

Красный бинт
 горит на свежей ране,

тело
 прижимается к земле...

Может быть,
я с ним встречался ране
там,
где свиток держит Ришелье.
Виден якорь
сквозь матросский ворот.
Он шагал
на орудийный вихрь,
умирал
за свой любимый город,
воскресал
в товарищах своих.
Верю я —
мы встретимся,
товарищ,
в летний день
на боевом борту,
у старинной пушки
на бульваре,
в разноцветном
праздничном порту.
Полдень будет
многолюдно ярок
на обломках свастик
и корон!
Город-Воля,
Город — Поднят Якорь
никогда
не будет
покорен!

1942

97. БОЕЦ

Жил да был боец один
в чине рядового,
нешутлив и нелюдим,
роста небольшого.

Очи серой синевы,
аккуратный, дельный.
А с бойцами был на «вы»,
ночевал отдельно.

Автомат тяжелый нес,
две гранаты, скатку,

светлый крендель желтых кос
убирал под каску.

А бойцы вослед глядят
и гадают в грусти:
скоро ль девушка-солдат
волосы распустит?

Но ни скатки, ни гранат
за нее не носят
и, пока идет война,
полюбить не просят.

Но бывает — вскинет бровь,
всех людей взволнует,
и ни слова про любовь, —
здесь Любовь воюет!

1942

98. «МЫ»

1

Боец умрет без некролога.
Бойца снегами замело.
Но песня, покружив немного,
подсадит душу на крыло.

Где будет нам спокойно житься,
и жито встанет у межи —
все будет песенка кружиться
и намекать, что он лежит,

и улетать, и возвращаться,
напоминая без конца,
что людям надо попрощаться
с душой погибшего бойца.

Однажды людям больно станет,
возникнет памятника медь.
Душа в литые буквы встанет,
и песня сможет улететь.

2

Большие, чистые глаза
открыла новая страница.

Я не обмолвился, сказав:
«Где будет нам спокойно житься».

Надежда жить после войны
так велика, так уверяет,
что все солдаты ей верны,
и с той надеждой умирают.

Мундир за двести лет истлел,
и сколько б ни сменялись травы —
мы говорим, как при Петре:
«Мы били шведов под Полтавой».

Как будто это свой рассказ
ведет вернувшийся с позиций,
отсутствующий среди нас
солдат с напудренной косицей.

Желтеют братские холмы,
но «мы» опять звучит, как ране.
Неумирающее мы
стоит привалом на кургане.

1942
Фронт

99. БОЛОТНЫЕ РУБЕЖИ

Болотные рубежи, холодные рубежи...
Уже не один ноябрь тут люди ведут войну.
Ужи не прошелестят, и заяц не пробежит,
лишь ветер наносит рябь на Западную Двину.

Как низко растет трава, как ягоды тут горьки!
Вода в желобах колеи, вода на следах подков.
Но люди ведут войну, зарылись под бугорки
у вешек минных полей, у проволочных витков.

В трясиину войдет снаряд и рвется внутри земли,
и бомбу тянет взасос угрюмая глубина,
а дзоты стоят в воде, как Ноевы корабли,
и всюду душа бойца, высокая, как сосна.

К болоту солдат привык, наводит порядок свой.
Живет он как на плоту, а думает о враге,
что враг особо злой, что места сухого нет,
что надо на кочке той стоять на одной ноге.

Заместо ступеньки пень я вижу перед избой,
старинный стоит светец, лучина трещит светло.
На лавке лежит боец с разбитою головой.
И как его довели в заброшенное село?

Он бредит, он говорит о пуле над головой:
«...Но если я слышу свист, то, значит, она не мне...»
А девушка-санитар приходит с живой водой,
с письмом от его сестры и с сумкою на ремне.

А прялка жужжит в избе, и сучит старуха нить.
И разве, чтоб умереть, добрался боец сюда?
А девушка перед ним, а раненый просит пить,
за окнами долгий гул, и в кружке стоит вода.

Он бредит, он говорит, что надо вперед, бегом,
что эта вода желта и рвотна, как рыбий жир,
что чавкает зыбкий грунт, как жаба, под сапогом,
что надо б скорей пройти болотные рubeжи...

Товарищ, приди в себя, ты ранен нетяжело!
Не пули свистят вокруг, а вздрагивают провода.
Тут госпиталь, тишина, калининское село.
Ты выживешь, мы пойдем в литовские города.

За окнами вспышки, блеск, артиллерийский гул,
тяжелый и влажный снег врывается за шинель...
Но разве хотя б один о теплой избе вздохнул
и разве в таких боях мечтают о тишине?

О, только не тишина! Скорее бы за порог!
А сколько осталось верст до Риги от кочки той,
до твердой земли полей, до камня сухих дорог,
до Каунаса, до небес Прибалтики золотой?

Нам каждый аршин земли считается в десять верст,
не реки, но и поля бойцы переходят вброд,
в туманах глаза бойцов отвыкли уже от звезд!
О чем же еще мечтать, как не о рывке вперед?!

Лучина горит в избе мечтанием о свече,
двух тлеющих папирос два движущихся уголька,
с затыжкой слегка зажглись три звездочки на плече
и поднятая, у губ помедлившая рука...

— Полковник! До нас дошло, что нашими взят Пропойск.
Когда же сквозь гниль болот прикажут и нам пройти?
— Умейте терпеть, майор! На картах у наших войск
помечены далеко проложенные пути.

Мы ближе, чем все войска, к границам врага стоим,
отсюда дороги вниз, отсюда дороги вверх,
и именно, может, нам придется огнем своим
пробить из воды болот дорогу на Кенигсберг.

Мы видели с вами Ржев, весь в кратерах, как луна.
Сквозь Белый прошел мой полк, а город порос травой.
Мы шли без дорог вперед, и нас привела война
за Велиж, где нет людей, изрытый и неживой.

Я с камнем беседу вел, имел разговор с золой,
допрашивал пепел изб, допытывал снег и лед,
я много сырых ночей впритирку провел с землей,
и всё отвечало мне: болотами лишь вперед!

Поймите меня, майор, что значит такой ответ:
вперед — по сплошной воде, засасывающей шаг.
Так, значит, края болот не бездорожье, — нет! —
а тем, кто решил идти, — широкий, прямой большак!

Дорога труднее всех, глухая мура и топь.
Попробуйте-ка ногой, как муторна и вязка!
Но как ее не избрать из тысяч дорог и троп,
когда напрямик она к победе ведет войска?

Когда-нибудь эта жизнь покажется вам во сне:
измученная земля, изодранная войной,
и ранняя седина, и ранний ноябрьский снег,
и раненый здесь, в избе, за Западною Двиной.

Я вспомню тяжелый путь, где с вами я шел и вяз,
где наши бойцы вошли по пояса в мокреть,
и в послевоенный день потянет душою вас
собраться в повторный путь, поехать и посмотреть:

на проволочные ряды, на взорванные горбы,
на старые блиндажи, зарытые среди ржи,
на памятные следы величественной борьбы —
болотные рубежи, болотные рубежи...

1943
Деревня под Витебском

100. ВОЛНА ВОЙНЫ

Включаю на волне войны
приемник свой...
И мне слышны, и мне видны

бои у Западной Двины,
гул над Москвой...

Войной изрытые поля
обожжены,
орудья тянутся, пыли,
и вся контужена земля
волной войны.

В моей душе — разряд, разряд!
Гром батарей...
Как поезд, близится снаряд,
гудит обвалом Сталинград
в душе моей...

Трясется в пальцах пулемет...
Разряд... разряд...
Гастелло огненный полет,
и крик Матросова: «Вперед!»,
и Зои взгляд,

Волна контузит, накренит,
отбросит в ров,
а если встанешь — распрямит,
в воронку боя, как магнит,
потянет вновь.

Не выключай! Всё улови!
Сумей вместить
и губы раненых в крови,
и шепот медсестры: — Живи! —
и просьбу: — Пить!

Но я тревожусь: слышу всё ль
в разрядах гроз,
персты свои влагая в боль,
губами осязая соль
прощальных слез?

В печах Майданека, в золе,
тел и берез,
в могилах с братьями в земле,
на хирургическом столе,
ловя наркоз?

И не приемник — вся душа
сама собой,
дыханием бойцов дыша,

волнуясь, падая, спеша, —
уходит в бой.

В селе за Западной Двиной,
в углу страны,
в воронке, от золы седой,
не молкнет принятая мной
волна войны...

1943

1-й Прибалтийский фронт

101. ФРОНТОВОЙ ВАЛЬС

Долго не спит фронтовое село,
небо черно, и тропу замело,
зареве запада,
школа не заперта,
в валенках вальс танцевать тяжело.

На топчане замечтал баянист
о перезвоне девичьих монист,
водочка выпита,
стеклышко выбито,
ветер сорвал маскировочный лист.

Кружится девушка — старший сержант,
трудно на холоде руки держать,
«юнкерсы» в туче
воют тягуче,
за горизонтом пожары лежат.

Битые окна лицо леденят,
девушку в танце ведет лейтенант,
истосковался,
хочется вальса
в мраморном глянце лепных колоннад.

(В мраморном зале у белых колонн,
в звоне хрустальном за белым столом,
в шелесте кружев
кружит и кружит,
голову кружит у школьницы он.

Десять учительниц смотрят на них,
розовый бант, кружевной воротник...)
Вдруг — не бывало
школьного бала —
парень с баяном замолк и поник.

Крепкие стены из грубых теснин,
за маскировкой — расцветная синь,
школа не топлена,
пили не допына,
в гильзе снарядной погас керосин.

Вот и расходимся темной тропой,
дым фиолетовый встал над трубой;
может, не сбудется
то, что почудится, —
но не забудется вальс фронтовой.

1943

102. ТВОРЧЕСТВО

Принесли к врачу солдата
только что из боя,
но уже в груди не бьется
сердце молодое.

В нем застрял стальной осколок,
обожженный, грубый.
И глаза бойца мутнеют,
и синеют губы.

Врач разрезал гимнастерку,
разорвал рубашку,
врач увидел злую рану —
сердце нараспашку!

Сердце скользкое, живое,
сине-кровяное,
а ему мешает биться
острие стальное...

Вынул врач живое сердце
из груди солдатской,
и глаза устлали слезы
от печали братской.

Это было невозможно,
было — безнадежно...
Врач держать его старался
бесконечно нежно.

Вынул он стальной осколок
нежною рукою

и зашил иглою рану,
тонкою такую...

И в ответ на нежность эту
под рукой забилося,
заходило в ребрах сердце,
оказало милость.

Посвежели губы брата,
очи пояснели,
и задвигались живые
руки на шинели.

Но когда товарищ лекарь
кончил это дело,
у него глаза закрылись,
сердце онемело.

И врача не оказалось
рядом, по соседству,
чтоб вернуть сердцебиенье
и второму сердцу.

И когда рассказ об этом
я услышал позже,
и мое в груди забилося
от великой дрожи.

Понял я, что нет на свете
выше, чем такое,
чем держать другое сердце
нежною рукою.

И пускай мое от боли
сердце разорвется —
это в жизни, это в песне
творчеством зовется.

1943

103. СТИХОТВОРЕНИЕ

Товарищи,
сердце стареет,
все глуше оно, все слабей.
И просит меня: «Поскорее
скажи кое-что о себе».

Мне ночь не страшна,
и, поверьте,
сейчас, на земле, наяву
я жив не тревогой о смерти,
я будущим вашим живу.

Я счастлив, что кончился ужас,
что мин уже нет на полях,
и, мертвый, я вновь нахожу вас
гуляющих там,
в тополях.

Прикинувшись деревом старым,
неузнанный,
я узнаю,
что бродите вы по бульварам,
любовь обнимая свою.

И знаю:
не быть повторенью
ни жизни моей, ни любви.
Так радуйтесь стихотворенью,
где живы и любите вы.

1946

104. ОТНОШЕНИЕ К ПОГОДЕ

Солнце
шло по небосводу,
синеву разглаживая.
Мы сказали
про погоду:
— Так себе...
Неважная... —
Ни дымкá
в небесном зале,
обыщи
всё небо хоть!
Отгорчившись,
мы сказали:
— Что ни день,
то непогодь! —
Но когда подуло
вроде
холодком
над улицею,

мы сказали
 о погоде:
— Ничего,
 разгуливается! —
А когда пошли
 в три яруса
облака,
 ворочаясь,
мы,
 как дети,
 рассмеялись:
— Наконец
 хорошая! —
Дождь ударил
 по растениям
яростно
 и рьяно,
дождь понесся
 с превышением
дождевого плана.
И, промокшая,
 без зонтика,
под навесом входа
говорила
 чья-то тетенька:
— Хороша погода! —
А хлебá
 вбирали капли,
думая:
 «Молчать ли нам?»
И такой
 отрадой пахли —
просто
 замечательно!
И во всем Союзе
 не было
взгляда недовольного,
когда взрезывала
 небо
магнийная молния.
Люди
 в южном санатории
под дождем
 на пляже
грома
 порции
 повторные
требовали даже!
Ветерки пришли
 и сдунули

все пушинки
 в небе,
стало ясно:
 все мы думали
о стране
 и хлебе.

Июнь 1947

105. ЛИРИКА

Человек
 стоял и плакал,
комкая конверт.
В сто ступенек
 эскалатор
вез его наверх.
К подымавшимся
 колоннам,
к залу,
 где светло,
люди
 разные
 наклонно
 плыли
 из метро.

Видел я:
 земля уходит
из-под его ног.
Рядом плыл
 на белом своде
мраморный венок.
Он уже
 не в силах видеть
движущийся зал.
Со слезами,
 чтоб не выдать,
борются глаза.
Подойти?
 Спросить:
 «Что с вами?» —
просто ни к чему.
Неподвижными
 словами
не помочь ему.
Может,
 именно ему-то
лирика нужна.

Скорой помощью,
 в минуту,
 подоспеть должна.
 Пусть она
 беду чужую,
 тяжесть всех забот,
 муку
 самую большую
 на себя возьмет.
 И поправит,
 и поставит
 ногу на порог,
 и подняться
 в жизнь
 заставит
 лестничками
 строк.

1947

106—108. <ИЗ ЦИКЛА «МЕСЯЦ ОТДЫХА.
 (Лирическая тетрадь)»>

1. ЖИВОПИСЬ

Художник пришел писать закат
 на скалу.
 Устроился чудненько
 на складном стульце
 со своим этюдником.
 Вынул краски и кисти.
 А небо измазано красным и сизым,
 пустынями и караванами,
 очертаньями засыпанных песком городов.
 Упитанно-толстые тюбики
 высунули свои цветные круглые языки.
 У кисточек топорщатся
 русые дошкольные чубики.
 А небо уже не такое,
 на нем разбросаны странные страны,
 гипсометрические тучи,
 голубые куски литографских морей.
 Художник целится кисточкой
 то в холст, то в закат,
 чтоб схватить эту жизнь.
 Но небо опять другое.
 На нем
 лежат огромные, длинные

сизые тучи
и смотрят на первые звезды.
Темно.
Пейзажист!
Пей за жизнь!
Завтра будет рассвет и закат
и ничего похожего на вчерашнее.
Природа придумает множество форм
для других облаков и погод.
Всё сначала!
Ныне и присно и во веки веков —
всё
всегда
сначала.

2. КИНО ОКНА

У каждого есть в доме отдыха
свое кино —
кино окнá.
Нельзя сказать, чтоб там показывали вечно
одно и то же...
Вчера там был цветной
художественный боевик весны
с голубизною неба,
с толпами зеленых сосен,
с рождением подснежников,
озвученный сопровожденьем птиц, —
цветное говорящее окно-кино.

А сегодня ставят в нем
серебряно-туманный день,
одноцветный черно-серый фильм похолодания.
На первом плане столпились мельхиоровые елки,
заиндевел герой окна —
молодцеватый кедр Ливанов
растительного мира.
Представление дается в серых, хмурых сукнах.
Но вечером —
анонс! —
дается видовая неба:
показан будет Орион, и Вега,
и Млечный Путь.
И ты, любимая, приснишься мне
в московских, добротных, теплых хлопьях снега,
смеющаяся в первой части сна
и исчезающая в вираже рассвета —
в кино окна.

3. ВОДОПАД

Водопад,
ты бесконечное вниз головой!
Ты бросаешься бешено
со скалы
(купальщиком с вышки),
и пока ты бросаешься —
ты снова бросаешься,
и сзади готовишься броситься снова,
и действительно бросаешься вновь —
без конца
вниз головой!
Я стою под ревущею пеной,
где грохот и вой,
где ты разбиваешься в белую пыль
и — еще разобьешься!
И сверху несешься разбиться опять,
и уже разбиваешься снова
в белую пыль,
в миллиард бриллиантов!
А новый поток позади
бешено рвется вперед
с призовой разноцветною лентой
радужной призмы
на мощно грохочущей,
удостоенной тысяч медалей
груди!

1952

109. О ПРОСТОТЕ

Желанье есть,
мечтанье есть —
быть проще, проще, проще.
Простым-простым,
как пить и есть,
простым, как тропка в роще,
простым,
как дудки голосок,
несложный и нестрогий,
простым,
как сена желтый стог,
как столбик у дороги,
простым,
как ровная черта,
как дважды два четыре...

— Но разве
 эта простота
тебя устроит в мире?

Нет,
 я желаю быть простым,
как прост комбайн,
 понятный
тому,
 кто вел его густым
и жарким полем жатвы,
как выбор
 в множестве дорог
одной — вполне надежной!
Простым,
 как прост
 простой итог
работы очень сложной.
Простым,
 как двинувшие нас
расчеты пятилеток,
простым,
 как прост мой карий глаз
с его миллиардом клеток...

Ведь простота,
 она не ждет,
не топчется на месте,
а в вузе учится,
 растет
со всем народом вместе.

1952

110. ПРОИСШЕСТВИЕ

Ах, каких нелепостей
в мире только нет!
Человек в троллейбусе
ехал,
 средних лет.

Горько так и пасмурно
глядя сквозь очки,
паспортную карточку
рвал он
 на клочки.

Улетали в стороны
из окна — назад
женский рот разорванный,
удивленный
взгляд...

Что ж такое сделано
ею или им?
Но какое дело нам,
гражданам
чужим?

С нас ведь и не спросится,
если даже он
выскочит и бросится
с горя
под вагон.

Дело это — личное.
Хоть под колесо!
Но как мне безразличное
сохранить
лицо?

Что же мы колеблемся
крикнуть ему: «Стой!»
Разве нам в троллейбусе
кто-нибудь —
не свой?

1952

111. СВИДАНЬЕ

Я пришел
двумя часами раньше
и прошел
двумя верстами больше.
Рядом были
сосны-великанши,
под ногами
снеговые толщи.
Ты пришла
двумя часами позже.
Всё замерзло.
Ждал я слишком долго.
Два часа
еще я в мире прожил.

Толстым льдом
уже покрылась Волга.
Наступал
период ледниковый.
Кислород твердел.
Белели пики.
В белый панцирь
был Земшар закован.
Ожиданье
было столь великим!
Но едва ты показалась —
сразу
первый шаг
стал таяньем апрельским.
Незабудка
потянулась к глазу.
Родники
закувыркались в плеске.
Стало снова
зелено,
цветочно
в нашем теплом,
разноцветном мире.
Лед —
как не был,
несмотря на то что
я тебя прождал
часа четыре.

1952

112. МЕСЯЦЫ ГОДА

Ты любишь
ледяной январь,
безветрье, стужу зверскую,
а я —
лютующий февраль,
метель, поземку дерзкую.

Ты любишь
ранний месяц март
с апрельскими проталинами,
а я —
молнирующий май
с дождями моментальными.

Ты любишь
 облачный июнь,
в просторе многоярусном,
а я —
 сжигающий июль
и август — солнце в ярости!

Ты любишь
 бархатный сентябрь
с его зеленым золотом,
а я —
 когда несет октябрь
штыки дождя по городу.

Ты любишь
 краски в ноябре,
свинцовые с лиловыми,
а я —
 декабрь,
 ведь в декабре
год переходит к новому.

Да,
 я любитель декабря
на снежно-белых улицах,
за то,
 что с первым января
он, чокаясь, целуется.

И бой
 на башенных часах,
и в полночь — утру здравица!
И каждый
 к будущему шаг
мне очень, очень нравится!

1953

113. ЦВЕТОК

Позволь мне подарить тебе
простой цветок —
 гвоздичку,
похожий в комнатном тепле
на вспыхнувшую спичку.

Уважаю тех,
кому досталось
больше,
чем осталось позади!

Уважаю
творческие муки,
нетерпенья взрывчатого тол,
Павлова
решительные руки,
брошенные яростно
на стол!

В мире,
молодом, как Маяковский,
седина
вполне хороший цвет!
Я не буду
жить по-стариковски —
даже
в девяносто девять лет!

1953

115. О НАШИХ КНИГАХ

По-моему,
пора кончать скучать,
по-моему,
пора начать звучать,
стучать в ворота,
мчать на поворотах,
на сто вопросов
строчкой отвечать!

По-моему,
пора стихи с зевотой,
с икотой,
рифмоваться неохотой
из наших альманахов
исключать,
кукушек хор
заставить замолчать
и квакушку
загнать в ее болото.

По-моему,
пора сдавать в печать
лишь книги,
что под кожей переплета
таят уменьше
радий излучать,
труд облегчать,
лечить и обучать,
и из беды
друг друга выручать,
и рану,
если нужно,
облучать,
и освещать
дорогу для полета!..

Вот такая нам предстоит гигантская работа.

1953

116. ЧЕРНОВИК

Это было написано начерно,
а потом уже переиначено
(пере-и, пере-на, пере-че, пере-но...) —
перечеркнуто и, как пятно, сведено;
это было — как мучаться начато,
за мгновенье — как судорогой сведено,
а потом
переписано заново, начисто
и к чему-то неглавному сведено.

Это было написано начерно,
где всё больше, чем начисто, значило.
Черновик — это словно знакомство случайное,
неоткрытое слово на «нео»,
когда вдруг начинается необычайное:
нео-день, нео-жизнь, нео-мир, нео-мы,
неожиданность встречи перед дверьми
незнакомых — Джульетты с Ромео.

Вдруг —
кончается будничность!
Начинается будущность
новых глаз, новых губ, новых рук, новых встреч,
вдруг губам возвращается нежность и речь,
сердцу — биться способность,

как новая область
вдруг открывшейся жизни самой,
вдруг не нужно по делу, не нужно домой,
вдруг конец отмиранию и остыванию,
нужно только, любви покоряясь самой,
удивляться всеобщему существованию
и держать
и сжимать эту встречу в руках,
все дела посторонние выронив...

Это было написано всё на листках,
рваных, разных размеров, откуда-то вырванных.

Отчего же так гладко в чистовике,
так подогнано всё и подобрано,
так уложено ровно в остывшей строке,
после правки и чтения подробного?
И когда я заканчивал буквы стирать
для полнейшего правдоподобия —
начинал, начинал, начинал он терять
всё свое, всё мое, всё особое,
умирала моя черновая тетрадь,
умирала небрежная правда помарок,
мир, который был так неожидан и ярко
и который увидеть сумели бы вы,
в этом сам я повинен, в словах не пришедших,
это было как встреча
двух — мимо прошедших,
как любовь, отвернувшаяся от любви.

<1956>

117. УВЕРЕННОСТЬ

Пришел
осторожный апрель.
Полградуса плюс или минус.
Но все-таки
мир потеплел.
Я словом с весной перекинусь.

Попробую
свистнуть дрозду,
чтоб он удивился и глянул.
Попробую
вызвать грозу,
чтоб гром покорился и грянул.

А если
я ночью умру,
весны не увидя в расцвете, —
что,
разве поля на пару
взойдут без меня на рассвете?

Я мир этот
страстно любил
и облик его не забуду —
я жизнью материи
был,
я жизнью энергии
буду!

Не дух
из долины теней,
не втуне тоскующий призрак, —
я буду
у вас на стене
дробиться в бесчисленных призмах.

Я буду
как клетка расти,
входить в сочетанья молекул
и даже
как пыль на пути
лежать, где автобус проехал!

Я буду
в значенье любом
менять свое имя и облик,
и в мире
нет атомных бомб,
меня уничтожить способных!

<1956>

118. РЕВНОСТЬ

О, чувство
«ревность» —
какая древность!

В нем жив донныне
кнут
над рабыней.

Оно — как скряга,
дрожит
от страха,
дукаты прячет,
рычит
и плачет.

В нем болью ноет
кольцо ножное.

Оно —
как выкрик
в пещере диких:
«Мое!
Не трогай!» —
рев над берлогой.

Я не позволю
ему
проснуться
и болью злою
меня
коснуться!

<1956>

119. ОДНА ВСТРЕЧА

1

Я утром проснулся.
Был воздух зимы — перламутр.
Тебя я увидел
глазами, смотревшими внутрь.
В себе я увидел тебя —
ты сияла внутри
и мне улыбалась,
и мне говорила:
«Смотри:
теперь не в себе я живу,
а в тебе —
я твоя...»
Но это, как видно,
в то утро ослышался я.

Тебя, тебя
 мне нужно до зарезу,
 чтоб приютить
 мое метеоритное железо,
 несущееся
 к молодой планете —
 к тебе, Земле,
 единственной на свете!
 Хладают
 и сжимаются светила,
 и луны образуются
 из звезд,
 так и любовь —
 она сейчас скатилась
 кометным небом,
 волоча свой хвост
 мимо Земли,
 прекрасной, нежной сушей,
 прильнувшей к Океану
 и уснувшей...

3

Позволь ты мне
 иметь воздушный замок,
 чтоб побродить
 в его воздушных залах,
 где будем мы,
 покинув город душный,
 сидеть вдвоем
 и есть пирог воздушный.
 Не в замке мы,
 не бродим, не пируем...
 Я разве сыт
 воздушным поцелуем,
 я разве рад,
 что в небо над бульваром
 любовь летит
 воздушным детским шаром?

4

Горы мрака
 и мокрого мела
 через душное небо таща,
 погрозились гроза,
 погромела

и ушла без дождя,
только молнией
ломкой и скорой
на ходу кое-где посветив...

Так и эта любовь,
у которой
никаких перспектив.

Дорогая,
мой милый читатель,
в этот день грозовой духоты,
о, как ливень
пришелся бы кстати, —
понимаешь ли ты?

5

Я просил
(так ведь было же!):
правду вынь да положи!
Ты смолчала
и выложила
ярко-желтую ложь.

Что положено —
принято.

Хорошо.
Я готов.
Но дарить ведь не принято
лживых,
желтых цветов?

6

Это было не мыслями,
это было не чувствами —
чувства
были немислимы,
мысли
были бесчувственны.

Это было не зрением,
а скорей — подозрением,
что теперь уже прошлое,
так сказать,
дело прошлое.

Ляжешь, сядешь, подумаешь:
ждать ответа?

Подумаешь!

Если даже останемся —
всё равно —

мы останемся
жить, друг другом забытые,
словно вещи забытые.

Это было сознание,
что душа без сознания.

7

Есть такое слово:

«заг^обилось».

Это значит:

боль, что была,
не прошла и не успокоилась,
а в привычку как-то вошла.

Рана вроде и безобидная,
можно долго терпеть, не крича.
Но привычка —

вещь незавидная, —
как курение по ночам.

8

Сердце

обрывается мое:

в поле —

порыжевшее жнивье,

в роще —

листья желтые летят,

их перед отлетом

золотят.

Солнце

начинает холодеть,

можно

его в золото одеть,

с ним уйти за горизонт,

туда —

в сумрак,

в остыванье,

в никогда.

Помню я
 светлеющий восток,
помню
 зеленеющий листок,
поле,
 где колосьями по грудь
заслонен
 теряющийся путь,
и вдали,
 у рожицы,
 ее...
Сердце
 обрывается мое.

<1956>

120. ПРОСТО

Нет проще рева львов
и шелеста песка.
Ты просто та любовь,
которую искал.

Ты — просто та,
которую искал,
святая простота
прибоя волн у скал.

Ты просто так
пришла и подошла,
сама — как простота
земли, воды, тепла.

Пришла и подошла,
и на песке — следы
горячих львиных лап
с вкраплениями слюды.

Нет проще рева львов
и тишины у скал.
Ты просто та любовь,
которую искал.

1956

1. ВЕЧЕР В ДОББИАКО

Холодный, зимний воздух
в звездах,

с вечерними горами
в раме,

с проложенною ближней
лыжней,

с негромким отдаленным
звоном.

Пусть будет этот вечер
вечен.

Не тронь его раскатом,
Атом.

1956

2. ТАНЦУЮТ ЛЫЖНИКИ

Танцуют лыжники,
танцуют танцуют странно,
танцуют
в узком холле ресторана,

сосредоточенно,
с серьезным видом
перед окном
с высокогорным видом,

танцуют,
выворачивая ноги,
как ходят вверх,
взбираясь на отроги,

и ставят грузно
лыжные ботинки
под резкую мелодию
пластинки.

Их девушки,
качаемые румбой,
прижались к свитерам
из шерсти грубой.

Они на мощных шеях
 повисают,
закрыв глаза,
 как будто их спасают,
как будто в лапах
 медленного танца
им на всю жизнь
 хотелось бы остаться,
но всё ж на шаг отходят,
 недотроги,
с лицом
 остерегающим и строгим.

В обтяжку брюки
 на прямых фигурках,
лежат их руки
 на альпийских куртках,
на их лежащие
 у стен рюкзаки
нашиты
 геральдические знаки

Канады, и Тироля, и Давоса...
Танцуют в городке
 среди заносов.

И на простой
 и пуританский танец
у стойки бара
 смотрит чужестранец,

из снеговой
 приехавший России.
Он с добротой взирает
 на простые

движенья и объятья,
 о которых
еще не знают
 в северных просторах.

Танцуют лыжники,
 танцуют в холле,
в Доббиако,
 в Доломитовом Тироле.

3. В КОРТИНА Д'АМПЕЦЦО

Маленькая американка
взбалмошными губами
тянется
 после танца
к розовому
 морозу.

Белый буйвол Канады,
в свитере,
 туго свитом,
в куртке,
 во рту с окурком,
держит ее за руку.

Маленькая американка
носит
 точеный носик
с дымчатыми очками
и родовой
 подбородок.

Белый буйвол имеет
бунгало в Виннипеге,
банковские билеты
и два кулака для бокса.

Вечером они смотрят
матч
 «США — Канада»;
маленькой американке
всё это
 очень надо.

Этот хоккей с коктейлем,
этот
 в машине лепет
в Соединенных Штатах
носит название:
 «Нарру»¹.

4. БОЛЬШОЙ КАНАЛ

И вот
 к гондолам нас ведут,
лагуною обглоданным.

Счастье (англ.).

Гондолы
называют тут
по-итальянски —
«ГОНДОЛЫ».

Мы сели в гондолу,
и вот
толчок, —
и по инерции
навстречу с двух сторон плывет
Большой
канал
Венеции.

Вздымает вверх
скрипичный гриф
ладья резного дерева;
держусь за бронзу
львиных грив —
беда для сердца нервного.

Наклонно
гондольер
стоит —
артист своей профессии.
Не декорации ль свои
театры
здесь развесили?

Плывет галерка
мимо нас
в три яруса
и ложи.
Как зал театра,
накренься,
плывет Палаццо дождей.

Все задники
известных пьес
и Гоцци и Гольдони
мы,
проплывая,
видим здесь,
качаясь на гондоле.

На этих пьесах
я бывал
как друг одной актрисы...

Вплываем
в боковой канал,
как ходят за кулисы.

А между двух старинных стен
объедки,
в кучу смятые;
на них торжественная тень
какой-то дивной статуи.

Затем
ступеньки лижет плеск,
и пристань волны облила, —
сюда бы шляпы, бархат, блеск
в глазах
надменных Нобилей.

Но там —
в беретах пареньки,
бровасты и румяны,
стоят,
засунув кулаки
в бездонные карманы.

Они б их вынули,
когда б
подобралась работа —
кули таскать бы
на корабль,
сгружать товары с борта.

И вдруг,
когда мы рядом шли,
к стене почти прижатые,
причину пареньки нашли,
чтоб вынуть
руки сжатые.

И мы увидели салют,
известный всем рабочим,
а дальше
новые встают
палаццо, между прочим.

1956

1. НОЧНЫЕ УЛИЦЫ

Когда
 перед звездой,
 мерцающею скупю,
 чернеет
 золотой
 Исаакиевский купол

и властвуют
 одни
 кронштейны с фонарями, —
 я выхожу
 к Неве,
 к дворцовой панораме...

Но
 пушкинской строфой
 тут всё уже воспето:
 громады
 темные
 вдоль Невского проспекта,

тень
 золотой иглы,
 секиры на ограде...
 И что
 сказать еще
 о спящем Ленинграде?

На Троицком мосту
 он виден в небе мгlistом,
 как прошлого
 корабль,
 как будущего
 пристань...

Что город думает?
 О чем его забота?
 Как сон?
 Как дышит грудь
 Балтийского завода?

О чем задумались
 четыре
 исполины,

что держат Эрмитаж
на онемевших
спинах?

О белой женщине
на набережной сонной,
сидящей
под ночной
ростральной колонной?

Что Невский говорит,
кварталы
удлинняя?
Не снится ли ему
Дорога
Ледяная?

Растаяла?..
Но сон
тревожит мостовую —
проспекту
не забыть
подругу фронтовую...

А не болят ли в ночь
под вывеской
нарядов
заделанные швы
пробоин
от снарядов?

Три раза
бьют часы
на каланче старинной.
Что чувствуют
сейчас
зеркальные витрины?

Опять
мешки с песком
блокадные им снятся,
хотя
у кренделей
пирожные теснятся...

А булки думают
о том,
что были б рады

испечься не теперь,
а в голый год
 блокады.

На набережной —
 тишь...
Не отрывая взора,
как набожный,
 стою
у крейсера «Аврора».

Что снится кораблю?
Да тема сна
 всё та же —
скучает о своем
октябрьском экипаже.

Пороховым нутром,
сердцами
 пушек старых
грустит
 о моряхах,
о красных комиссарах...

А как
 мои шаги?
Вокруг домов и мимо?
И рядом
 снова нет
шагов моей любимой?

Но город
 будто мне:
«Отчаиваться рано.
И у меня была
здесь
 на асфальте
 рана...»

Светлеешь,
 Ленинград?
Цветы росой намокли.
Я здесь
 не делегат,
и не турист с биноклем,

и не знаток стекла,
картин
 или жемчужин.

Я просто человек,
которому
ты нужен.

И ты —
как человек,
готовый и за полночь
всей
красотой своей
прийти ко мне на помощь,
великой
красотой
хлебнувших горя улиц,
светлеющих
от крыш,
где статуи проснулись.

1957

2. КАРИАТИДЫ

Есть статуи
среди
стоящих в Ленинграде:
извилистых
бород
мифические пряди,
русалочки тела
скульптурных
полуженщин.
За них отдать бы жизнь! —
так облик их
божествен.

Но это не Петры,
не Павлы
и не Анны.
Рабы дворцовых стен
безвластны,
безымянны.

Они стоят не в честь
заслуг или талантов —
тут
труд кариатид,
тут
каторга атлантов.

Незрячи
их глаза,
опущенные книзу.
Их служба —
подпирать
столичные карнизы.

Не смотрят на ступни
сих статуй
старожилы.
Но как напряжены
их мраморные
жилы!

Как давят этажи!
Как пот течет
по скулам!
В поэмах им бы жить —
Гераклам
и Микулам.

Но тут
они — ничто.
Никто о них не скажет.
На них —
искусствовед
и взглядом не покажет.

А что сказать?
Рабы,
чьи головы наклонны —
чтобы нести
столбы,
чтобы держать
балконы;

держать, держать, держать
колонны,
стены,
своды, —
без прав,
без слов,
без слез,
без будущей свободы;

поддерживать
дворцы
при бронзовой ограде,

любовников
 держать
на белой балюстраде;

паркетные полы
терпеть
 с толпой придворной,
удары каблуков
переносить
 покорно;

бессильные —
 хоть раз
пошевельнув плечами,
заколебать
 дворцы
с их белыми ночами!

Вот
 Памятник Труду,
который создал скульптор
так истинно,
 и так
безжалостно,
 так скупю! —

труду
 всех крепостных,
всех каторжников мира,
и только
 как деталь
модерна и ампира!

Сюда
 пригнали их
со всех каменоломен.
Как тяжело им
 стоять,
как груз домов огромен!

От муки
 вековой
обшелушились лица,
и дождь,
 как скользкий пот,
по животам струится.

Но так как не нужны
для этой службы
 ноги —

их скульптор завершил
витком
на поддороге.

Кто
милосердным был
к страдальце распятой?
Кто понял
боль фигур?
Кто слышал
стоны статуй?

Кто понял?
А живой
услышан был и понят?
Молчит
Санктъ-Петербургъ,
когда Россія стонет.

Но разве
по ночам
не изменялись позы
и в пасмурные
дни
не слышались угрозы?

И каменный атлант
не нарушал
наклона,
чтоб хоть лепной акант
упал
с угла балкона?

Да, страшно было вам
в метели
и в туманы —
о, медные Петры,
о, мраморные Анны!

1957

127. APRÈS NOUS LE DÉLUGE¹

Я не скажу: над нами пусть не каплет,
а после нас — хоть мировой потоп!

¹ После нас хоть потоп (фр.).

Нет, я хочу,
 чтоб тысяч через пять лет
вели следы вдоль непросохших троп;

чтоб босиком по лужам мчались дети
на свете
 без котомки и тюрьмы,
на свете, где за пять тысячелетий
шли под дождем и обнимались мы.

А если так считать: мол, безразлично,
что будет с нашей, лучшей из планет, —
не знаю,
 как кому,
 а мне вот лично
тогда и жить на свете смысла нет.

1957

128. ЭТОТ МИР

Счастье — быть
частью материи,
жить, где нить
нижут бактерии,

жить, где жизнь
выжить надеется,
жить, где слизь
ядрами делится,

где улит
липкие ижицы
к листьям лип
медленно движутся.

Счастье — жить
в мире осознанном,
воздух пить,
соснами созданный,

быть, стоять
около вечности,
знать, что я
часть человечества,

часть мольбы
голосом любящим,

часть любви
в прошлом и будущем,

часть страны,
леса и улицы,
часть страниц
о революции.

Счастье — дом,
снегом заваленный,
где вдвоем
рано вставали мы,

где среди
лисьих и заячьих
есть следы
лыж ускользящих...

Шар земной,
мчащийся по небу,
будет мной
в будущем кто-нибудь!

Дел и снов
многое множество
всё равно
не уничтожится!

Нет, не быть
Раю — Потерянным!
Счастье — быть
частью материи.

<1958>

129. ПЕРЕМЕНА

Переходя на белый цвет
волос,
 когда-то черных,
я избавляю белый свет
от детскостей повторных,

от всех причуд,
 что по плечу,
лишь молодым атлетам.

Я с ними
 больше не хочу
соревноваться цветом.

Пусть зеркала
 смеются: стар!
Нет,
 вы меня не старьте.
Я серебристо-белым стал,
но как и встарь —
 на старте!

<1958>

130. К ВЕЧЕРУ

Вторая половина жизни.
Мазнуло по вискам меня
миганием зеркальной призмы
идущего к закату дня.

А листья всё красней, осенней,
и станут зеленеть едва ль,
и встали на ходули тени,
всё дальше удлиняясь, вдаль.

Вторая половина жизни,
как короток твой к ночи путь, —
вот скоро и звезда повиснет,
чтоб перед темнотой блеснуть.

И гаснут в глубине пожара,
как толпы моих дней, тесны,
любимого Земного шара
дороги,

 облака
 и сны.

<1958>

131

Шла по улице девушка. Плакала.
Голубые глаза вытирала.
Мне понятно — кого потеряла.

Дорогие прохожие! Что же вы
проскользнули с сухими глазами?
Или вы не теряете сами?

Почему ж вы не плачете? Прячете
свои слезы, как прячут березы
горький сок под корю в морозы?..

<1958>

132. ОСЕННИЙ РИСУНОК

Обгорели
акварели
за лето.
Мы знали то.

Сад, где шел ты, —
красно-желтый.
Листьями
он выстелен.

Это жук ли?
Как пожухли
крыльшки!
Нет силушки!

Вот рисунок:
лес и сумрак
с пасмурными
пасмами.

Это осень,
это очень
старая
история.

Погостили.
Поостыли.
Съехали.
До смеха ли?

Не такими
у реки мы
в мае шли...
Ты знаешь ли?

Резкий ветер
ветки вертит
тополю
и — по полю!

Нет и птичек.
Их не кличьте.
Видите ли? —
вылетели.

<1958>

133. УШЕДШЕЕ

Вот Новодевичье кладбище,
прохлада сырой травы.
Не видно ни девочки плачущей,
ни траурной вдовы.

Опавшее золото луковиц,
венчающих мир мирской.
Твоей поэмы
рукопись —
за мраморной доской.

Урны кое-как слеплены,
и много цветов сухих.
Тут прошлое наше пепельное,
ушедшее в стихи.

Ушедшее,
чтоб нигде уже
не стать никогда, никак
смеющейся жизнью девушки
с охапкой цветов в руках.

<1958>

134—135. ИЗ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

1

Мальчишка любил девчонку,
был ею другой любим.
Другой любил другую,
и та обвенчалась с ним.

Девчонку заметил некий
солидный господин,
и та согласилась сдуру,
и мальчик теперь один.

Стара история эта,
ее повторяет любовь,
и рвет она сердце в клочья
тому, с кем случается вновь.

2

Жил старый король на свете,
утрюмый взгляд, седая прядь.
Да вздумалось седому
жену молодую взять.

Жил юный паж на свете,
веселый взгляд, огонь волос.
Он легкий шлейф из шелка
за королевой нес.

Ты знаешь, песня эта
легка как пух, сладка как мед,
но двое должны погибнуть —
их эта любовь убьет.

<1958>

136. ДВА СНА

Отчего чудится
старина мне?
Крыши изб грудятся
в смоляном сне.

И чадят зарева,
и кричат матери:
кровью чад залило
в теремах скатерти.

И лежат воины,
а на них вороны,
их зрачки склеваны
сквозь шелом кованый.

О, шатры пестрые
кочевых орд!
На Буян-острове
богатырь мертв...

А отцы крестные
без голов — голые.

Все чубы сбросили
на колах головы.

И, блестя перстнями
колдовских стран,
на ковре Персии
пьет шербет хан...

Почему ж кажется
этот сон мне?
Я ж сидел, кажется,
на сыром пне;

я дремал чуточку
у лесных плах,
я строгал дудочку,
чтоб манить птах.

Вел слепца за руку
вдоль речных волн
и смотрел на реку,
на крутой холм.

Там, как стол с утварью,
погружен в дремль
на заре утренней
золотой Кремль.

Калита, что ли, ты?
Ярослав-царь?
Что грозишь золотом,
как грозил встарь?

Царь Иван молится?
И опять головы,
как дрова, колются
по всему городу?

Или шел залами
государь Петр
принимать с карлами
шутовской смотр?

Он треух с пряжкой
натянул на ухо,
епанчу фряжскую
застегнул наглухо.

Снег лежит пологом.
Холода. Темь.
Врылся Царь-Колокол
в мать сыру земь.

Но собор кажется
пирогом сказочным,
расписным, пряничным
на столе праздничном.

На камнях хоженных
собрались голуби
и из крыл сложенных
тянут вниз головы.

Тишина в городе.
Бьют часы шесть.
Никогда воронам
не клевать здесь.

А теперь слушай:
как уснешь вновь,
береги душу
от дурных снов.

<1960>

137—141. ПОД ОДНИМ НЕБОМ

1. ПОД ОДНИМ НЕБОМ

Под одним небом, на Земном Шаре мы с тобой жили,
где в лучах солнца облака плыли и дожди лили,

где стоял воздух — голубой, горный, в ледяных звездах,
где цвели ветви, где птенцы жили в травяных гнездах.

На Земном Шаре под одним небом мы с тобой были,
и, делаясь хлебом, из одной чашки мы с тобой пили.

Помнишь день мрака, когда гул взрыва расколол счастье
чернотой трещин — жизнь на два мира, мир на две части?

И легла пропасть поперек дома, через стол с хлебом,
разделив стены, что росли рядом, грозovým небом...

Вот плывут рядом две больших глыбы, исходя паром,
а они были, да, одним домом, да, Земным Шаром...

Но на двух глыбах тоже жить можно, и живут люди,
лишь во сне помня о Земном Шаре, о былом чуде, —

там в лучах солнца облака плыли и дожди лили,
под одним небом, на одном свете мы с тобой жили.

2. ПУСТОЙ ДОМ

О, пустой дом, —
страшно жить в нем,

где скулят двери,
как в степи звери,

где глядит стол
от тоски в пол,

где сошлись в угол
тени злых пугал...

О, пустой дом,
дом с двойным дном, —

о былом помнят
пустыри комнат —

смех, любовь, речь,
свечи, свет встреч...

Как белы стены!
Где ж на них тени

бывших нас — тех?
Где он скрыт, смех

или крик боли?
Под полом, что ли?

О, пустой дом,
ни души в нем,

пустота в доме,
никого, кроме

злых, пустых фраз,
неживых глаз,
двух чужих — нас.

3. КАРУСЕЛЬ

На коне крашеном я скачу бешено — карусель вертится.
А вокруг музыка, и, вертясь звездами, фейерверк светится.

О, Пруды Чистые, звездопад елочный, Рождество в городе.
Наклонясь мордами, без конца кружатся скакуны гордые.

О, мой конь огненный, в голубых яблоках, с вороной гривой,
конь с седлом кожаным, с мундштуком кованым,
с гербовой гривною,

как мне вновь хочется обхватить шею ту и нестись в дальнюю
жизнь мою быструю, жизнь мою чистую, даль мою давнюю!

Что прошло — кончилось, но еще теплится одна мысль
дерзкая:
может быть, где-нибудь всё еще кружится карусель детская?

Да. в душе кружится, и, скрипя седлами, всё летят кони те...
Но к какой пропасти, о, мои серые, вы меня гоните?

4. ДОЖДЬ

Зашумел сад, и грибной дождь застучал в лист,
вскоре стал мир, как Эдем, свеж и опять чист.

И глядит луч из седых туч в зеркала луж —
как растет ель, как жужжит шмель, как блестит уж.

О, грибной дождь, протяни вниз хрустала нить,
все кусты ждут — дай ветвям жить, дай цветам пить.

Приложи к ним, световой луч, миллион линз,
загляни в грунт, в корешки трав, разгляди жизнь.

Загляни, луч, и в мою глубь, объясни — как
смыть с души пыль, напоить сушь, прояснить мрак?

Но прошел дождь, и ушел в лес гроыхать гром,
и, в слезах весь, из окна вдаль смотрит мой дом.

5. ВОЗВРАЩЕНЬЕ

Серебром крыл
самолет плыл
в облаках белых.

Перед ним встал,
как обвал скал,
грозовой берег.

Как хребет Анд,
громоздил пар
сизых туч гребень,

и путем в ад
шел дневной шар
в смоляном небе.

Я забыл жизнь
на один миг
в тесноте кресел

и смотрел вниз
на земной мир
и сквозь гул грезил:

будто нет их —
ни винтов двух,
ни рядов окон,

а, крутя вихрь,
мчится злой дух
с огненным оком.

Будто я взят
в паровой ад,
в лабиринт круга

и уже мне
ни в каком сне
не видать луга,

где в лучах дня
ты — среди трав,
и с тобой ветер,

и с тобой — я
на земле, въявь,
при дневном свете!

Только гул гор,
смоляной мрак,
барабан града,

и пути нет
на дневной свет
из кругов ада...

Но уже шел
самолет вниз
в облаках низких,

был бетон гол,
небосвод сиз,
в дождевых брызгах.

Был мой дом пуст,
пылевой слой,
на замках двери...

Я сказал: — Пусть!
Этот мир мой,
я в него верю.

1960

142. НА СТАДИОНЕ

Все исчезает, глухнет, тонет
в азартном реве: «Кто обгонит?»

Я ж изучал среди барьеров
паучью жизнь секундомеров.

Я наблюдал с трибуны людной
погоню Стрелки за Секундой.

Она стрелой без оперенья
гнала за жертвой по арене.

И понял я Секунды участь —
ее отчаянье и ужас

перед бегущим вдоль дороги
ее убийцей Одноногим.

Одно деление осталось.
Убийце недоступна жалость.

Толпа ревет железной гончей:
«Ударь, добей ее, прикончи!»

Все кончено. Она убита.
Черта рекордная побита.

И этот миг, и жизнь — химера:
деление секундомера.

1960

143. СНОВА

Снова с древа познания
зла и добра
нами сорвано яблоко —
тайна ядра.

Снова огненный меч
у захлопнутых врат,
смерч и взвившийся столп,
серный ливень и град.

Снова надпись гласит:
«Возвращения нет...»
Рай за раем теряли мы
тысячи лет

и теряем, теряем
попавший под вихрь
этот мир, и себя,
и любимых своих.

Но и маленький глобус,
как плод, разломив,
мы не в силах поверить,
что кончится миф

о не знающей смерти
о вечной земле
с синим небом и хлебом
на белом столе.

Было ж солнце как солнце,
луна как луна!
Ни плутоний, ни стронций
не трогали сна

новорожденных в яслях,
влюбленных в траве,

островов на реке,
облаков в синеве...

Разве мы не способны
всему вопреки
вырвать огненный меч
из грозящей руки?

Разве я и на боль
и на смерть не готов,
чтобы вырастить сад
из запретных плодов?

<1961>

144. ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ

Человек в космосе!
Человек в космосе!
Звездолет вырвался
с неземной скоростью!
У него в корпусе
каждый винт в целости.
Человек в космосе —
это Пик Смелости!

Не за звон золота,
а за мир истинный —
в пустоту холода
он глядит пристально,
он глядит молодо,
человек в космосе,
светит серп с молотом
на его компасе.

Больше нет робости
перед тьмой вечною,
больше нет пропасти
за тропой Млечною,
наверху ждут еще,
мир планет светится,
скоро им в будущем
человек встретится.

Из сопла — проблески
в свет слились полностью.
Как желты тропики!
Как белы полюсы!

Океан выложен
чешуей синею,
а Кавказ вылужен
вековым инеем.

Человек в космосе —
это смерть косности,
это жизнь каждому
с молодой жаждою,
это путь радугой
в голубой области,
это мир на́долго
на земном глобусе.

Это жизнь в будущем,
где нам жить велено,
это взгляд юноши
из страны Ленина!
Всех сердец сверенность
на его компасе,
это наш первенец,
человек в космосе!

12 апреля 1961

145. МИР

Мой родной, мой земной,
мой кружащийся шар!
Солнце в жарких руках,
наклонясь, как гончар,

вертит влажную глину,
с любовью лепя,
округляя, лаская,
рождая тебя.

Керамической печью
космических бурь
обжигает бока
и наводит глазурь,

наливает в тебя
голубые моря,
и где надо — закат,
и где надо — заря.

И когда ты отделан
и весь обожжен,
солнце чудо свое
обмывает дождем

и отходит за воздух
и за облака
посмотреть на творение
издалека.

Ни отнять, ни прибавить —
такая краса!
До чего ж этот шар
гончару удался!

Он, руками лучей
сквозь туманы света,
дарит нам свое чудо:
бери, мол, дитя!

Дорожи, не разбей:
на гончарном кругу
я удачи такой
повторить не смогу!

1961

146. ЯНВАРЬ

Снега нет, стужи нет,
хуже нет таких зим.
Календарь искажен
январем дождевым.

Солнца зимнего нет —
синева с белизной,
нет и лыжных следов
на опушке лесной.

Нет метелей, и нет
снеговой тишины,
нет взаимных снежков,
мы и их лишены.

Жалко лет, жалко дней,
жалко долгой любви;
больно мне, трудно ей —
как душой ни криви!

Не приходит мороз,
нет спящего дня,
чтобы он, как наркоз,
обезболил меня.

Где же он, где же он,
почему его нет,
запорошенных звезд
замороженный свет?

Всё туман да туман,
без зари на заре...
О, жестокий обман —
теплый дождь в январе!

<1962>

147. ХОЛОД

Начался снегопад,
будто небо в набат
стало бить — стало быть,
начался снегопад.

Опускаться, как занавес
белого сна,
кисеей без конца
начала белизна,

и последний, единственный
градус тепла
превратился в оконную
пальму стекла...

Вот и боль заморозилась,
полдень настал,
сердце в гранях застыло,
как горный хрусталь,

и не чувствует больше!
Морозный, дневной,
стал зеркален и бел
этот мир ледяной.

О, холодное солнце
февральских небес,
ты теперь — лишь глаза
ослепляющий блеск;

ты бессильно царишь,
золотишь купола,
а на иней в окне
не хватает тепла.

Солнце молча стоит
далеко от земли,
а теперь и метели
весь мир замели.

<1962>

148. АПРЕЛЬ

Наконец-то апрель,
наконец-то капель,
Наконец-то запел
хор весенних капелл;

наконец-то поплыл
по реке никуда
беспредметный рисунок
разбитого льда.

Громоздясь под железной
оградой моста,
он исчезнет, растает,
сотрется с листа,

растворится бесследно
в течение Оки,
станет слитной водою
спокойной реки.

Так и ты, моя боль,
грудой битого льда
оплываешь, уходишь
в свое никуда,

в половодье вливаешься,
в солнечный мир,
где плоты осмоленные
тянет буксир;

где размыто последнее
зеркальце льда,
где до нижней отметки
спадает вода...

<1962>

149. ТЕНЬ

Шел я долгие дни...
Рядом шли лишь одни,
без людей, без толпы,
верстовые столбы.

Шел я множество лет...
Как-то в солнечный день
увидал, что со мной
не идет моя тень.

Оглянулся назад:
на полоске земли
тень моя одиноко
осталась вдали.

Как затмение солнца,
осталась лежать,
и уже невозможно
мне к ней добежать.

Впереди уже нет
верстового столба,
далеко-далеко
я ушел от себя;

далеко я ушел
колеями колес
от сверкающих глаз,
от цыганских волос.

Далеко я ушел
среди шпал и камней
от лежащей в беспамятстве
тени моей.

<1962>

150. НАДЕЖДА

Этот мир! Не хочу
покидать этот мир —
мир садов и болот,
мир лачуг и Пальмир;

мир смерчей и миражей,
пустынь и морей,

мир потопов и засух —
мир жизни моей;

мир глухих переулков,
любви и беды,
мир больничной кровати,
мир просьбы воды;

мир обширных галактик,
мир тесных квартир...
Не хочу, не хочу
покидать этот мир!

Пусть погаснет мираж,
пусть рассыплется смерч,
усыпи меня, ночь,
погребь меня, смерть!

Но в орбитах частиц
среди звездных кривизн
разбуди меня, день,
воскреси меня, жизнь!

Чувство зла и добра,
чувство льда и тепла,
утоления и жажды,
воды и весла

отбери, и верни,
и опять отними,
и опять на рассвете
верни в этот мир —

мир прощанья для встречи,
мир близких имен,
мир надежды на завтра,
мир красных знамен;

мир реки для причала,
семян для полей,
мир конца для начала —
мир жизни моей!

<1962>

151. РОМАН

Сначала мы письма писали
и через перила свисали,

потом мы с тобой пересели
на детских коней карусели,

как дети, прощенья просили,
друг другу цветы приносили,

и вдруг на столе антресолей
рассыпали горсточку соли,

и — всё: отвернулись, остыли,
малейших обид не простили,

и даже «пока» не сказали,
как делают — на вокзале.

<1962>

152. ПТИЧИЙ КЛИН

Когда на мартовских полях
лежала толща белая,
сидел я с книгой,
на полях
свои пометки делая.

И в миг, когда мое перо
касалось
граф тетрадных,
вдруг журавлиное перо
с небес упало радужных.

И я его вписал в разряд
явлений атомистики,
как электрический разряд,
как божий дар
без мистики.

А в облаках летел журавль
и не один, а стаями,
крича скрипуче,
как журавль,
в колодезь опускаемый.

На север мчался птичий клин
и ставил птички в графике,
обыкновенный
 город Клин
предпочитая Африке.

Журавль был южный,
 но зато,
он в гости к нам пожаловал.
Благодарю его
 за то,
что мне перо пожаловал!

Я ставлю сущность
 выше слов,
но верьте мне на слóво:
смысл
 не в буквальном смысле слов,
а в превращеньях слова.

<1962>

153. ГАДАНЬЕ

Шестерки, семерки, восьмерки, девятки, десятки.
Опять невопад — затесались король и валет...
Пасьянс не выходит! Опять полколоды в остатке.
И всё это тянется дикое множество лет!

Что можно узнать во дворце костюмерной колоды?
Какие затмения Солнца, кометы и войны придут и пройдут?
Какие отлеты, какие на землю прилеты?
Какие новинки пилоты у звезд украсят?

Когда я уснул, как в гадании, с дамою рядом, —
вот только тогда стасовался и ожил пасьянс на столе
и тысяча лет пронеслась над упавшим снарядом,
над Вязьмою, Мюнхеном, Перу и Па-де-Кале.

Цветы раскрывались в минуту. По просекам бегали лани.
Дома улетали. Деревья за парами шли по следам.
На море качались киоски любых исполнений желаний.
Машины сидели в раздумье — что сделать хорошего нам?

Весь воздух был в аэростатах. Но не для воздушной тревоги.
Гуляние происходило. По звездам катали ребят.
Там девушка шла на свиданье по узкой канатной дороге,
и к ней через десять трапеций скользил и летел акробат.

На тучах работали люди. Они улучшали погоду.
Всё им удавалось — и ветер, и солнце, и дождик грибной.
Вдруг вышел поэт, он шатался без дела, тасуя колоду,
стихи перед ним танцевали, как дети, с гармошкой губной.

Пасьянс у него получался. Он, каждую карту снимая,
показывал очень далекий, за тысячелетием, день —
вдруг желтые стены Китая, вдруг пестрое Первое мая,
и вдруг из-за стекол трамвая — моя померещилась тень.

А мы? Где мы будем? Вам кажется — мы разложились?
Мы живы, мы теплые почвы с рябинками древней грозы.
Цветные пасьянсы лугов, и дворцов, и гуляний на нас
разложились,
и рядышком вышли — валеты, и дамы, и короли, и тузы.

<1962>

154. ЦИКЛОП

Горе одинокому,
горе одноокому
злому великану.

Что ему осталось?
Колотить под старость
кулаком по камню.

Катится с утесов
каменная осыпь,
завывает ветер.

Камни осыпаются,
в страхе просыпаются
маленькие дети.

Страшно, будто режет он
мальчиков со скрежетом.
Режет и хоронит.

А циклоп всю ночь
(чем ему помочь?)
охает и стонет.

Никого не режет он,
не хоронит.
Охает и стонет.

<1962>

155. ИЛЛЮЗИИ

Увлеченный похожестью слов
на журчания
 и шелестенья,
думал я, будто могут из них
создаваться
 ручьи и растенья...

Вот слова, словно горы песка,
я бреду среди них
 и поныне,
умирая от жажды в пустыне,
где ни капли воды,
 ни ростка!

Увлеченный похожестью снов
на явленья,
 поступки,
 событья,
думал я, что когда-нибудь их
в полный полдень
 смогу пережить я...

О, фантастика, о, пестрота,
сохраню ли я вас,
 просыпаясь?
Но сквозь пальцы, как пыль, просыпаясь,
остается в руках
 пустота.

Увлеченный похожестью глаз
на любви и надежды
 светила,
я хотел, чтобы в них наконец
ты тревогу мою
 приютила...

Мнимый свет!
 И во лжи этих глаз
я блуждаю, как нищий, по свету...
О, вкушая, вкусих
 мало меду,
и се аз умираю, се аз!..

<1962>

Жизнь моя,
ты прошла, ты прошла,
ты была не пуста, не пошла.

И сейчас еще ты,
точно след,
след ракетно светящихся лет.

Но сейчас ты не путь,
а пунктир
по дуге скоростного пути.

Самолет улетел,
но светла
в синеве меловая петля.

Но она расплылась и плывет...
Вот и всё,
что оставил полет.

<1962>

157. ДВОЙНОЕ ЭХО

Между льдами ледяными
есть земля
еще земней!
Деревянные деревья
среди каменных
камней.

Это северней,
чем Север,
и таежней,
чем тайга,
там олени по-оленьи
смотрят в снежные снега.

И нерыбы
точно рыбы
там на лежбищах лежат,
в глыбы
слившиеся глыбы
строго море сторожат.

Еле солнечное
 солнце
сновидением во сне
входит
 в сумеречный сумрак,
тонет
 в белой белизне.

Люди там
 живут как люди
с доброй детскостью детей,
горя горького
 не зная
в мире сетчатых сетей.

Под сияющим сияньем —
домовитые
 дома,
где сплетают кружевницы
кружевные
 кружева.

Это — именно вот это!
И со дна
 морского дна
эхолот приносит эхо:
глубока ли
 глубина?

И желает вниз вонзиться
острие
 на острогое,
и кричат по-птичьи птицы:
«Далеко ли вдалеке?»

О, отдаляться
 в отдаленье,
где эхо внемлет эху,
о, удивляться
 удивленью,
о, улыбаться смеху!

<1963>

158. ПРОЗРЕНИЕ

Я не хочу
 быть дервишем,
что пляшет
 перед фетишем
с веригами
 под вретисцем
и препоясан
 вервищем.

Ни — с облака
 сошедшим,
дабы глаголом
 жечь,
ни — древним
 сумасшедшим
провидцем
 из предтеч.

Хочу я только
 трезвости
отточенных
 остро́,
по-медицински
 режущих,
как в анатомке,
 строк.

И зренья,
 только зренья —
в глубинный
 жизни слой.

При этом всем —
 прозренье
придет
 само собой.

<1964>

159. ТРИ ВАРИАЦИИ

ЗЕМЛЯ

Земля вращается. Земля
вращается. Вращается
Земля. И вновь к себе Земля,
вращаясь, возвращается.

С платками мокрыми в руках
прощают и прощаются,
и возвращают праху прах,
и с кладбищ возвращаются.

На холмик брошена земля.
Что было — то прощается.
За стол садятся. А Земля
тем временем вращается.

МЕТЕЛЬ

Метет метелица. Метет
метелица, метелица.
Мутит, мятется, метит лед,
и мечется, и стелется.

И шали стаскивает с плеч.
Кто возразить осмелится?
В трубу влетает, гасит печь,
и это ей — безделица.

Пустует мягкая постель —
и тут мела метелица.
О, не безделица — метель,
когда в душе поселится!

ТЕРПЕНИЕ

Еще — терпение! Еще
терпение, терпение.
И трепетание не в счет,
и трение о тернии.

И римское копьё не в счет.
Скрипят креста крепления.
И губы уксусом печет.
Еще, еще терпение.

Зато в столетиях расчет
за всё! Молитвы, пение —
«Воскрес воистину»... Еще
терпение, терпение!

<1964>

160. РОЗЫ

Я начал
разбираться в розах,
в их настроениях,
в их позах.
Еще зимою,
в спальне темной
шепчась,
они вздыхают томно.
Им представляется
всё лето
как ателье
для туалетов,
где шелк
наброшен на прилавок
в сезон
примерок и булавок,
где розовеют
плечи, груди,
откуда их
вывозят в люди —
на выставки
и на смотрины,
на клумбы,
в вазы,
на витрины.
Перед прибытием
портнихи
куст полон
трепетной шумихи;
никто не вспомнит
о лопате, —
идет примерка
бальных платьев
невестам,
девственницам,
шляхам,
восточным неженкам,
толстухам,
здоровьем пышущим
матронам
и лебединым
примадоннам...
О, выход роз,
одетых к балу,
к театру,
к свадьбе,
к карнавалу!

Идут,
 шаля и бедокура,
 блестя шипами
 маникюра,
 Гертруды,
 Нелли,
 Бетти,
 Клары...
 Сад им раскрыл
 все кулуары.
 Духи, помада
 шелест платья,
 в беседках
 тайные объятия;
 им кажется,
 что будет вечно —
 банкетно,
 бально,
 подвенечно...
 Но только ночь
 пройдет одна лишь, —
 куст наклонившийся
 отвалишь,
 и где вчера
 головкой Грёза
 романс
 выслушивала роза, —
 осенний день
 тоскливо гаснет,
 деревья
 в рубище ненастья,
 и роза —
 бедная старуха —
 стоит,
 лишившаяся слуха,
 перед раскинутым
 у гроба
 былым богатством
 гардероба,
 стоит
 над мерзлую травую,
 тряся
 червивой головою.
 О, шелк!
 О, нежные муары!..

 Одна утеха —
 мемуары.

<1964>

161. БЕССТРАШЬЕ

Бессмертья нет —
и пусть!
На кой оно — «бессмертье»?
Короткий
жизни спуск
с задачей соразмерьте.

Признаём,
поумнев:
ветшает и железо!
Бесстрашье —
вот что мне
потребно до зареза.

Из всех известных чувств
сегодня,
ставши старше,
я главного хочу:
полнейшего
бесстрашья —

перед пустой доской
неведомого
завтра,
перед слепой тоской
внезапного
инфаркта;

перед тупым судьей,
который
лжи поверит,
и перед злой статьей
разносною,
и перед

фонтаном артогня,
громилою
с кастетом
и мчащим на меня
грузовиком
без света!

Встречать,
не задрожав,
как спуск аэроплана —

снижение
тиража
и высадку из плана.

Пусть рык
подымут львы!
Пусть под ногами пропасть!
(Но — в области
любви
я допускаю робость.)

Бессмертье —
мертвецам!
Им — медяки на веки.
Пусть прахом
без конца
блаженствуют вовеки.

О, жизнь,
светись, шути,
играй в граненых призмах,
забудь,
что на пути
возникнет некий призрак!

Кто сталкивался с ним
лицом к лицу,
тот знает:
бесстрашие
живым
бессмертье заменяет.

<1966>
Больница

162. СЛУЧАЙ

Садился старичок в такси,
держа пирог
в авоське,
и, улыбнувшись сквозь усы,
сказал:
«До Пироговской».

Он как бы смаковал приезд
и теплил умиление,
что внучка
пирога поест
и сядет на колени...

Три рослых парня
 у такси
рванули настежь дверцу
и стали
 старичка тащить
за отворот у сердца.

За борт
 авоську с пирогом
и старичка туда же,
и с трехэтажным матюгом:
«Жми, друг,
 куда покажем!»

Стоял свидетель
 у столба,
как очередь живая,
он что-то буркнул
 про себя,
сей факт переживая.

Прошло
 прохожих штуки три
в трех метрах от машины,
но что в них делалось
 внутри —
как знать? —
 они спешили.

Ждала их служба
 или флирт? —
гадать считаю лишним,
а может, в них
 бурлил конфликт
общественного с личным?

Про этот случай
 рассказал
мне продавец киоска:
он видел,
 как старик упал
и с пирогом авоська.

Он возмущался
 громко, вслух,
горел, как сердце Данко,
но не вмешался,
 так как лук
отвешивал гражданам.

Затем явился
 некий чин,
пост на углу несущий,
и молвил:
 «Стыдно, гражданин,
уже старик, а пьющий».

<1966>

163. ХОЧУ РОДИТЬСЯ

Хочу родиться дважды,
а если можно —
 трижды,
но жить
 не в стаде жвачных, —
такой не мыслю жизни.

Но кстати —
 если в стаде,
то в табуне степном,
где ржанье,
 топот,
 статы
и пыль под скакуном.

Кабы такие б лица,
где из ноздрей —
 огонь!
Где бой за кобылицу, —
в смерть загоню —
 не тронь!

Хочу родиться дважды,
чтоб пена на боках,
но ни за что —
 в упряжке
на скачках и бегах.

<1966>

164. ФОКУСНИК

Я бродячий фокусник,
я вошел во двор,
расстелил я
 с ловкостью
редкостный ковер.

Инвалиды,
школьники,
чем вас удивить?
Вот червонцы новенькие
начал я ловить.

Дворничихи в фартуках,
гляньте из окон:
вот я
прямо с факела
стал глотать огонь.

Вот обвился лентами
всех семи цветов,
вот у ног
по-летнему
вырос сад цветов.

Видите ли, видите ли —
сдернул с головы...
Из цилиндра вылетели
голуби —
лови!

Я взмахнул похожим на
веер голубой
и поднос
с пирожными
поднял над собой.

А богат я сказочно,
разодет,
как шах...
Но это только кажется, —
у меня в руках

никакого голубя,
никаких монет —
только пальцы
голые,
между ними — нет

ни ковра,
ни веера,
ни глотков огня...
Только мысль,
чтоб верила
публика — в меня!

<1966>

165. ЛЕСНОЙ ПЕРЕВЕРТЕНЬ

Летя, дятел,
ищи пйщи.
Ищи, пищй!
Веред дерев
ища, тащи
и чуть стучи
носом о сон.

Буди дуб,
ешь еще.
Не сук вкусен:
червь — в речь,
тебе — щебет.

Жук уж
не зело полезен.
Личинок кончил?
Ты — сыт?
Тепло ль петь?
Ешь еще
и дуди
о лесе весело.

Хорошо. Шорох.
Утро во рту,
и клей елки
течет.

<1966>

166

Эти летние дожди,
эти радуги и тучи, —
мне от них
 как будто лучше,
будто что-то впереди.

Будто будут острова,
необычные поездки,
на цветах —
 росы подвески,
вечно свежая трава.

Будто будет жизнь, как та,
где давно уже я не был,

на душе,
 как в синем небе
после ливня — чистота...

Но опомнись — рассуди,
как непрочны,
 как летучи
эти радуги и тучи,
эти летние дожди.

<1966>

167. ЦВЕТОК

О бьющихся на окнах бабочках
подумал я, что разобьются,
но долетят и сядут набожно
на голубую розу блюда.

Стучит в стекло.
 Не отступается,
но как бы молит, чтоб открыли.
И глаз павлиний осыпается
с печальных,
 врубелевских крыльев.

Она уверена воистину
с таинственностью чисто женской,
что только там — цветок, единственный,
способный подарить блаженство.

Храня бесстрашие свое,
цветок печатный безучастен
к ее обманчивому счастью,
к блаженству ложному ее.

<1966>

168—170. <ИЗ ЦИКЛА «МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ»>

1. КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ

Занесена по грудь
Россия снеговая —
царицын санный путь,
дорога столбовая

в леса, леса, леса
уходит, прорезаясь...
Лишь промелькнет лиса,
да вдруг присядет заяц,

а то — глаза протри —
из-за худых избенок
вдруг свистнет пальца в три
сам Соловей-разбойник,

а то — простой народ
начнет сгибаться в пояс, —
шлет вестовых вперед
императрицын поезд.

Она — при всем Дворе,
две гренадерских роты,
вот — вензеля карет
горят от позолоты.

На три версты — парча,
да соболя, да бархат,
тюрбаны арапчат,
флажки на алебардах.

Вот виден он с холма,
где путь уже проторен,
вот Матушка сама,
ее возок просторен,

салоп ее лилов,
лицо, как жар, румяно,
но это дар послов —
французские румяна...

За восемьдесят верст
она к любимцу едет,
с которым, полный звезд,
граф Воронцов соседит.

Вот первый поворот
у башен необычных —
баженовских ворот
два кружева кирпичных,

как два воротника
венецианских дождей,
но до конца — пока
дворец еще не дожил.

Царицу клонит спать,
ей нужен крепкий кофий,
до камелька — верст пять,
не то что в Петергофе!

А тут всё снег да снег,
сутробы да ухабы,
от изразцов — да в мех,
всё мужики да бабы...

Тут, будто о пенек,
споткнулся конь усталый,
и захрапел конек,
и вся шестерка стала.

Он мутно из-под шор
глядит, дрожат колени...
И облетело Двор
монаршее велье:

«Конь царский пал. Ему
воздвигнуть изваянье.
«Коньково» — дать сему
селению названье».

Повелено запрячь
в возок коня другого,
трубач несется вскачь —
и позади Коньково.

Темнеет путь лесной.
Не зябнет ли царица?
А может, за сосной
ей самозванец мнится?

То лес аль Третий Петр,
исчезнувший куда-то,
во мгле проводит смотр
своих солдат брадатых?..

Но вот и Теплый Стан,
где камелек теплится.
Поднять дородный стан
спешат помочь царице,

и — в кресло! Без гостей!
В тепле благоуханном
подносят кофий ей
в фарфоре богдыхана.

А крепок он — зело!
Арабским послан ханом.
Тепло — зане село
зовется Теплым Станом.

Царица в кресле спит,
да неспокоен отдых.
Раскрыла рот. Висит
монарший подбородок.

Казачья борода
ей снится, взгляд мужичий...
Вольтера бы сюда,
да не таков обычай.

А бабам в избах жуть —
ушли мужья и сваты,
угнали чистить путь,
велели взять лопаты,

боятся конюхов
в их чужеземных платьях,
скорей бы петухов
дождаться на полатях...

Лишь утро — и пошли
скрипеть возы и сани.
Вот и Десну прошли
овражными лесами,

вот и века прошли,
земной окутав глобус.
... Ну вот, и мы сошли,
покинув наш автобус.

Калужское шоссе,
волнистая равнина,
тебя — в иной красе
как не любить ревниво!

И вас — как не любить,
седые деревеньки!
Вы скоро, может быть,
исчезнете навеки...

Уже покрыл бетон
дороги подъездные,
снимаются с окон
наличники резные.

И сколько снято крыш
строителями — за год!
В былую глушь и тишь
ворвался Юго-Запад.

И жаль, и хорошо!
Пора прощаться с солнцем,
последний петушок
над слуховым оконцем,

прощай, ты никогда
навстречу к нам не выйдешь
и новые года
вовеки не увидишь!

Зарылся в давний снег
возок Екатерины,
иным идет к весне
калужский путь старинный.

И там, где Теплый Стан,
уже стоят пролеты
огромного моста
и реют вертолеты,

а правнучка тех баб —
с голубизной в ресницах —
врезается в ухаб
железную десницей.

По десять этажей
сюда, попарно строясь,
дома идут уже,
как в будущее — поезд!

И около леска
иного, молодого —
написано: «Москва».
Всё заново, всё ново!

<1961>

2. ТРУБА НАПОЛЕОНА

Еще не опален
пожаром близкой брани —
сидит
Наполеон
на белом барабане,

обводит лес и луг
и фронт
 перед собою
созданием наук —
подзорною трубою.

На корсиканский глаз
зачес
 спадает с плечи.
Он видит в первый раз
Багратиона флечи.

Пред ним театр войны,
а в глубине театра —
Раевского
 видны
редуты, пушки, ядра...

И, круглая, видна,
как сирота,
 Россия —
огромна и бедна,
богата и бессильна.

И, как всегда, одна
стоит,
 добра не зная,
села Бородина
крестьянка крепостная...

Далекие валы
обводит
 император,
а на древках — орлы
как маршалы
 пернатых,

и на квадратах карт
прочерчен путь победный.
Что ж видит
 Бонапарт
своей трубою медной?

Вот пики,
 вот флажок
усатых кирасиров...
В оптический кружок
вместилась ли
 Россия?

Вот, по избе скользая,
прошелся, дым увидев...
А видит он
 глаза,
что устремил Давыдов?

Верста,
 еще верста,
крест на часовне сирой...
А видит он
 сердца
сквозь русские мундиры?

Он водит не спеша
рукою в позументах...
И что ж?
 Ему душа
Кутузова — заметна?

Вот новый поворот
его трубы блестящей.
А с вилами
 народ
в лесной он видит чаще?

Сей окуляр таков,
что весь пейзаж усвоен!
А красных
 петухов
он видит над Москвою?

А березинский снег?
А котелки пустые?
А будущее
 всех
идущих на Россию
он видит?

Ничего
не видит император.
Он маршалов
 зовет
с улыбкой, им приятной.

Что, маршалы?
 В стогах
не разобрались?
 Слепы?

Запомните — в снегах
возникнут ваши склепы!

Биноклей ложный блеск —
в них не глаза,
а бельма!
Что мог поведать Цейс
фельдмаршалам Вильгельма?

О, ложь стереотруб!
Чем Гитлер
им обязан?
Что — он проникнул в глубь
России
трупным глазом?

Вот —
землю обхватив
орбитой потаенной,
глазеет
объектив
на спутнике-шпионе, —

но, как ни пяльтесь вы,
то, чем сильна Россия, —
к родной земле
любви
вы разглядеть не в силах!

Взгляните же назад:
предгрозем
день наполнен,
орлы взлететь грозят
над Бородинским полем.

С трубой Наполеон
сидит
на барабанах,
еще не опален
пожаром близкой брани.

<1962>

3. УТРЕННИЕ ГОДЫ

Молодой головой
русея,
над страницей стихов склоняясь,

был Асеев,
и будет Асеев
дверь держать открытой для нас.

Мне приснится,
и прояснится,
и сверкнет отраженным днем —
на дарьяльскую щель
Мясницкой
этот сверху глядящий дом.

Я взбегал
по крутейшей лестнице
мимо примусов и перин
на девятый этаж,
где свеситься
было страшно, держась перил.

У обрыва
лестничной пропасти
был на двери фанерный лист,
на котором
крупные подписи
открывавших ту дверь вились.

Я о том расскажу
при случае,
а за подписями щита —
знаменитые строки
слушали,
знаменитые — шли читать.

Был Каменский,
два пальца свиста
он закладывал в рот стиха,
был творец
«Лейтенанта Шмидта»,
и — чего уж таить греха —

за фанерой
дверного ребуса,
на партнера кося глаза, —
с Маяковским
Асеев резался,
выходя на него с туза.

Королями
четырёхкратными
отбиваясь с широких плеч,

Маяковский

острил за картами
(чтоб Коляду от карт отвлечь).

Но Коляда

лишь губы вытянет
и, на друга чуть-чуть косясь, —
вдруг из веера

даму вытянет
и на стол — козырей пасьянс!

Вот ночные птицы

закаркали,
вот каемка зари легла...
Только ночь
не всегда за картами,
не всегда здесь велась игра.

Стекла вздрагивали

от баса,
под ногами дрожал паркет,
так читался
«Советский паспорт» —
аж до трещин на потолке.

Над плакатами

майских шествий
в круглом почерке воскресал
и всходил на помост
Чернышевский,
мчались сани синих гусар.

Если только

тех лет коснуться —
выплывают из-под строки
мейерхольдовские
конструкции,
моссельпромовские ларьки;

тень «Потемкина»

на экране,
башня Татлина — в чертеже,
и Республики
воздух ранний,
пограничник настороже...

И еще не роман,

не повесть
здесь отлеживались на листе,

171. ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ

В ночь,
бессонницей обезглавленную,
перед казнью
моей любви
я к тебе простираю
главную
заповедь:
«Не убий!»

Не убий
ни словом,
ни взглядом!
Ни вдали,
ни когда мы рядом.

Беатриче,
Лаура,
Лючия, —
адам Данте
и всем, что мучило,
и дуэлью
среди снегов,
и шинелью,
снятой с него
секундантами
на опушке,
на могиле, —
Наталия Пушкина,
заклинаю,
ступни обвив:
не убий,
не убий любви!

Ни открыто,
ни мысленно
не убий!
Ни безжалостно,
ни милостыней
не убий!

Лаура моя,
дорогая моя,
целуемая
и ругаемая,
но под солнцем и звездами
лучшая,

Беатриче,
 Наталия,
 Лючия,
милосердная
 и жестокая,
еще столько я
претерпел
 в сей День седьмый,
умоляю тя:
 не убий!

Не сбивавшего
 цвет с растения,
не замешанного
 в растлениях
и в терзавших
 Спасителя
 терниях, —
не виновного —
 не убий!

Умоляю тя:
пощади
 во мне
 дитя!

Не казни
 своего дитяти —
сердца
 в люльке моей души,
не круши его,
 не убей,
как нельзя казнить
 голубей.

Не должна
 подлежать петле
белка,
 дремлющая в дупле,
и стучащий о дерево
 дятел,
и катающийся у ног
щенок,
кенгуренок,
 залегший в чрево,
и скользящий травую
 уж,
и дельфин,
 мореходец быстрый,

и червяк дождевой
 у луж
не должны
 подлежать убийству, —
пусть живут,
пусть летят,
 плывут...

А любовь —
 ведь твое дитя, —
не казни,
 умоляю тя!

В смертной камере
 одинокчества
и стена
 наедине —
при бессоннице,
 среди ночи встав,
я хожу
 от стены к стене,
на тюремном полу
 в персти
простираю к тебе
 персты...

Ни одной обиды
 не помнящий,
ожидающий
 скорой помощи,
если я позову —
 «приди»,
ты приди
 и коснись груди,
где любовь лепечет —
 «жива еще»,
и скажи:
 «Человек, гряди!»

Я гряду,
 почти умирающий,
подымая,
 как веки Вий,
руки слабые,
 умоляющие:
«Не убий любви,
 не убий!..»

<1967>

172. ХУДОЖНИК

Художник —
 этакий чудак,
но явно
 с дарованьем,
снимает нежилой чердак
в домишке деревянном.

Стропила ветхи и черны
в отрепьях паутины,
а поздней ночью
 у стены
шуршат его картины.

Картины странного письма
шуршат,
 не затихая:
— Ты кто такая?
 — Я сама
не знаю, кто такая...

Меня и даром не продашь,
как «Поле на рассвете».
Я не портрет,
 я не пейзаж,
но я живу на свете.

Другая застонала:
 — Нет,
ты всё же чем-то «Поле»,
а я абстрактна,
 я портрет
неутолимой боли...

А третья:
 — Это всё одно,
портреты или виды.
Вот я — пятно,
 но я пятно
на сердце, от обиды.

Четвертая:
 — Пусть обо мне
твердят, что безыдейна,
Но я пейзаж
 души во сне,
во сне без сновиденья.

И пятая:

— Кто любит сны,
меня же тянет к спектру,
и я —
любовь голубизны
к оранжевому цвету.

Шестая:

— Вряд ли мы пойдем,
что из-под кисти выйдет,
зато меня
в себе самом
всю ночь художник видит.

Я в нем живу,
я в нем свечусь,
мне то легко,
то трудно
от красками плывущих чувств,
хотя я холст без грунта.

Его задумчивых минут
ничем я не нарушу, —
пусть он сидит,
глазами внутрь
в свою цветную душу.

<1967>

173. ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ

Ко мне вызывает
периодика —
нет ли какого переводика?

Но я боюсь!
Переводить —
как в мир теней переводить.

И мнится мне, что переводчик —
Харон —
чья холодна рука.
Он скорбной тени перевозчик
на брег чужого языка.

Нет, нет —
я признаю заслуги!
Да, да —
мы подлинника слуги!

Но подлинник всегда один,
упрям и непереводем.

Ему на свете жить
 противно
поэмою переводной,
как не желает быть
 картина
картинкою переводной.

Вот на утесе Лорелея
в оригинале.
 А под ней
поддельной кисти галерея
позирующих Лорелей.

Мы сохранили точность
 смысла.
А вот поэта нет.
 Он смылся.

Сейчас я говорю от имени
оригиналов.
 На звонки
ответствую — люблю стихи
предельно
 не переводимые
ни на какие языки!

Вот их
 во славу переводчества
переводить
 мне очень хочется.

<1967>

174. ОЧКИ

Сновиденье
 явилось извне,
заложило
 две линзы в ресницы.
Но к чему
 эти призраки мне?
И могло ли
 такое присниться:

будто вышел
на улицу я,
оказался
в потоке прохожих.
Мимо двигалась
лиц толчея,
лиц,
одно на другое похожих.

Чем? —
Я понял.
Исчезли зрочки.
Ни единого взора
и взгляда.
Лишь очки,
и очки,
и очки...
Но зачем
и кому это надо?

У одних —
непрозрачно блестя,
нечто черное
было надето.
Им —
игравшее мило дитя
представлялось
досадным предметом.

Им казалось —
все лица грязны,
и на мрачные
их низколобья
чистый снег
молодой белизны
опускал
мутно-черные хлопья.

У других —
эти стекла могли
всё показывать
в розовом свете.
Даже окон подвальных
углы
красовались,
как розы в расцвете.

Их носивший
был всем умилен,
как немедленно
после получки.
Ящик с мусором
и утилем
превращался
в «Привет из Алушты».

Некто шел
и на каждом из лиц
останавливал
строгое зреньё:
вроде камеры
сдвоенных линз
он носил
два стекла подозренья.

А другой —
на тревожных глазах,
чтоб никто
не заглядывал в душу, —
в два овала
оправленный страх
перед каждым
навстречу идущим.

Шел один,
никакой не злодей,
и очки не казались
зловещи,
но он ими не видел
людей, —
только вещи,
витринные вещи!
Я потрогал свои —
и нашел
вместо яблочек
в орбитах скользящих
нечто вроде
оптических шор,
искажающий зрение
ящик.

Я же знаю,
что вижу и лгу
сам себе
и что все непохоже!

А вот шоры
 сорвать не могу, —
так сростись
 с моей собственной кожей.

О, товарищи,
 люди,
 друзья,
поскорей
 свои очи протрите,
отворите,
 разденьте глаза
и без стекол
 на мир посмотрите!

Этот мир
 не лишен красоты,
иллюзорны испуг
 и угрозы, —
может быть,
 мы добры и просты,
и под стеклами
 теплятся слезы?!

<1968>

175

Я ищу прозрачности,
а не призрачности,
я ищу признательности,
а не признанности.

<1968>

176. СЕРДЦЕ

На яблоне
 сердце повисло мое —
осеннее мерзлое яблоко,
сквозной червоточиной
 высверленное!..
Но может случиться немислимое:

раскинется
 райская ярмарка
с продажей всякого яркого.

В лотках —
 плодородье бесчисленное.
Все яблоки —
 с детскими ямками!

И вдруг ты заметишь
 на ярмарке
мое — ни одной червотчины,
румянец,
 не тронутый порчею...
И гладишь рукою утонченной.

И нет —
 не отбросила прочь его,
но яблоко в радужных капельках
на ветке, увешанной листьями, —
мое —
 выбираешь из прочего.

Но это же
 чудо немыслимое!
Окончилась райская ярмарка.
На яблоне
 сердце повисло мое —
осеннее мерзлое яблоко...

<1968>

177. КЛЕТКА

Щеглы попали в клетку.
Ко мне привел их путь.
Но я задумал —
 к лету
свободу им вернуть.

Грустят в тюремном быте
с приятелем щегол.
Я тоже
 не любитель
задвижек и щеколд.

И птицам нет расчета.
Неволя —
 не житье.
Решетка есть решетка,
хоть золоти ее.

Уже весной запахло,
ручьи
 по мостовой,
снежинка стала каплей
и стужа — теплотой.

Окно раскрыл я настезь,
и клетку я раскрыл.
Стою и жду.
 Так нате ж, —
не расправляют крыл!

Свобода, братцы!
 Солнце!
Природа так щедра!
Я взял
 и за оконце
подбросил вверх щегла.

Летите,
 мчитесь вместе
к друзьям своим лесным!
Смотрю —
 один на месте,
смотрю —
 второй за ним,

и ну, к кормушке —
 пичкать
зерном свои зобы.

...Привычка
 есть привычка
к превратностям судьбы.

<1968>

178. РУССКАЯ ПЕСНЯ

Как из клетки горлица,
 душенька-душа,
из высокой горницы
ты куда ушла?

Я брожу по городу
 в грусти и слезах
о голубых, голубых,
 голубых глазах.

С кем теперь неволишься?
Где, моя печаль,
распустила волосы
по белым плечам?

Хорошо ли без меня,
слову изменяя?
Аль, моя любезная,
вольно без меня?

Волком недостреленным
рыщу наугад
по зеленым, зеленым,
зеленым лугам.

Посвистом и покриком
я тебя зову,
ни ау, ни отклика
на мое ау.

Я гребу на ялике
с кровью на руках,
на далёких, далёких,
далеких реках...

Ни письма, ни весточки,
ни — чего-нибудь!
Ни зеленой веточки:
де, не позабудь.

И я, повесив голову,
плачу по ночам
по голубым, голубым,
голубым очам.

<1968>

179. ЧАСТУШКА

Нет, не то золото,
что звенит, как золото,
а вот то золото,
когда сердце — золото.

И не тот алмаз,
что лучист, как алмаз,
а кто чист, как алмаз,
мне милей, чем алмаз.

И не то дорого,
что ценой дорого, —
что душе дорого —
без цены дорого.

И не та красота,
что лицом красота, —
красота — только та,
что во всем красота.

И не тот милый мой,
кто на час милый мой, —
кто на век милый мой,
тот и милый, и мой.

И не то хорошо,
что себе хорошо, —
только то хорошо,
что для всех хорошо.

<1968>

180—186. <ИЗ ЦИКЛА «НА БЫЛИННЫХ ХОЛМАХ»>

1. ТУМАН В ОБСЕРВАТОРИИ

Весь день по Крыму валит пар
от Херсонеса

до Тамани.

Закрыт забралом полушар —
обсерватория в тумане.

Как грустно!

Телескоп ослеп,
на куполе капёль сырая;
он погружен в туман, как склеп
невольниц,

звезд Бахчисарая.

В коронографе,

на холме,

еще вчера я видел солнце,
жар хромосферы,

в бахrome,

в живых и ярких заусенцах.

Сегодня всё задул туман,
и вспоминаю прошлый день я
как странный зрительный обман,
мираж в пустыне сновиденья.

Туман,
а за туманом ночь,
где звезды
страшно одиноки.
Ничем не может им помочь
их собеседник одноокий.
Темно.
Не в силах он открыть
свой глаз шестнадцатидюймовый.
Созвездьям некому открыть
весть о судьбе звезды сверхновой.

Луну я видел
с той горы
в колодце
чистого стекольца:
лежали как в конце игры
по ней разбросанные кольца.
Исчезли горы и луна,
как фильм на гаснущем экране,
и мутно высится
одна
обсерватория в тумане.

Я к башням подходил не раз,
к их кругосветным поворотам.
Теперь —
молекулярный газ,
смесь кислорода с водородом,
во всё проник,
езде завяз,
живого места не осталось.
Туман вскарабкался на нас,
как Крабовидная туманность.

Вчера,
когда закат погас,
я с поднадзорным мирозданием
беседу вел
с глазу на глаз,
сферическим укрытый зданием.
Я чувствовал объем планет,
и в Мегамир сквозь светофильтры
мы двигались,
как следопыты.
И вдруг — меня на свете нет...

Я только пар,
 только туман,
плывущий вдаль,
 валящий валом,
вползающий в ночной лиман,
торчащий в зубьях перевалов,
опалесцентное пятно
вне фокуса,
 на заднем плане...
И исчезаю — заодно
с обсерваторией,
 в тумане...

1964

2. НА БЫЛИННЫХ ХОЛМАХ

В Южной астрофизической обсерватории
на былинных холмах
купола —
как славянские головы в древних шеломах
в чернобыль и татарник
погружены.

Эти головы медленно поворачиваются
от забытых курганов
к Весам и Стрельцу.
На гравюрах к поэме «Руслан и Людмила»
я их видел
в издании для детей.

Они думают
снимками фотографическими
и незримые звезды упорно рассматривают,
мыслят
линиями спектральных анализов,
чуют пятна спиральных галактик,
но в сущности —

это головы сказочных богатырей,
в незапамятных сечах
мечами отрубленные.
Пушкин их рисовал,
над стихами задумавшись,
на полях своих вещих черновиков.

Но и эти
пером испещренные рукописи

тоже снимки следов
нуклеарных частиц...
Черномор —
это черные клочья туманности,
где в сетях изнывает Людмила звезды.

Там за нею следят
и притворно прислуживают
голубые гиганты
и желтые карлики,
а сверхплотное тело, сидящее в центре,
тащит всю эту челядь к себе.

Это всё раскрывается после двенадцати
в сновидениях
спящих богатырей,
когда под заколдованным мирозданием
светят только карманные фонари,

чтобы нимбы вечернего освещения
не мешали
поэтам и наблюдателям
в Южной астрофизической обсерватории
на былинных холмах.

1964

3. СОЛНЦЕ ПЕРЕД СПОКОЙСТВИЕМ

Беспокойное было Солнце,
неспокойное.
Беспокойным таким не помнится
испокон веков.

Вылетали частицы гелия,
ядра стронция...
И чего оно не наделало,
это Солнце!

Прерывалось и глохло радио,
и бессовестно
врали компасы,
лихорадила
нас бессонница.

Гибли яблони, падал скот
от бескормицы.

Беспокойное
 в этот год
было Солнце.

Вихри огненно-белых масс
на безвинную Землю гневались.
Загоралась от них и в нас
ненависть.

Мы вставали не с той ноги,
полушалые...
Грипп валил
 одно за другим
полушарие.

Соляными столбами Библии
взрывы высились.
Убивали Лумумбу,
 гибли
в петлях виселиц.

Ползать начали допотопно
бронешаперы.
Государства менялись нотами
угрожающими.

Всё пятнистей вставало Солнце,
тыча вспышками,
окружаясь
 кольцами
 кóнцен-
 трическими.

Рванью пятен изборожденное
безжалостно —
в телескопах изображение
приближалось к нам.

Плыл над пропастью Шар Земной
в невесомости...
И казалось:
 всему виной
в небе Солнце.

Но однажды погожим днем
было выяснено,
что исчезло одно пятно
ненавистное.

Солнце грело косым лучом
тихо, просто,
отболевшее, как лицо
после оспы...

1964

4. ЗВЕЗДА

Звезда зажглась
в ночной вселенной,
нет, не зажглась, а родилась.
Звезда, не гасни,
сияй нетленно,
светись на небе ради нас!

Но лишь зажглась,
как уронилась
из мироздания навсегда...
Скажи на милость,
скажи на милость,
куда девалась ты, звезда?

Не оттого ль
так жарко сердцу,
что ты горишь в моей груди?
Звезда, погасни,
помилосердствуй,
твой жар убьет меня — уйди!

<1972>

5. СОЖАЛЕНИЕ

Меня оледенила жалость!
Над
потемневшею листвою
звезда-гигант внезапно сжалась
и стала
карлицей-звездой.

Она сжимается и стынет
и уплывает
в те миры,
где тускло носятся в пустыне,
как луны,
мертвые шары.

Но прелесть ведь
и красота ведь:
дрожат Весы, грозит Стрелец...
И это
должен ты оставить, —
Вселенной временный жилец.

<1968>

6. ПЕРЕД ЗАТМЕНИЕМ

Уже я вижу
времени конец,
начало бесконечного забвенья,
но я хочу
сквозь черный диск затмения
опять увидеть солнечный венец.

В последний раз
хочу я облететь
моей любви тускнеющее солнце
и обогреть
свои дубы и сосны
в болезненной и слабой теплоте.

В последний раз
хочу я повернуть
свои Сахары и свои Сибири
к тебе
и выкупать в сияющем сапфире
свой одинокий, свой прощальный путь.

Спокойного
не ведал Солнца я
ни в ледниковые века, ни позже.
Нет!
В волдырях,
в ожогах,
в сползшей коже
жил эту жизнь, летя вокруг тебя.

Так выгреби
из своего ядра
весь водород,
и докажи свой гений,
и преврати его
в горящий гелий,
и начинай меня сжигать с утра!

Дожди меня!
Я рад такой судьбе.
И пусть! И пусть я догорю на спуске,
рассыпавшись,
как метеорит тунгусский,
пылинки не оставив о себе.

<1965>

7. «ВОЗЬМИ СВОЙ ОДР!»

Шел дождик после четверга,
тумана,
ветра,
кавардака,
во тьме,
достойной чердака,
луна — круглей четвертака —
неслась над пиком Чатырдага.

Обсерватория,
с утра
раздвинув купол за работой,
атеистична
и мудра,
как утренний собор Петра,
сияла свежей позолотой.

Синели чистые холмы,
над ними
облако витало
в степных цветах из Хохломы,
и в том,
что созерцали мы,
Мадонны только не хватало.

Как божье око,
телескоп
плыл в облака навстречу зною,
следя из трав и лепестков,
обвалов,
оползней,
песков
за вифлеемскою звездой.

Здесь не хватало
и волхвов,
и кафедрального хора,

волов,
апостольских голов,
слепцов,
Христа,
и твердых слов:
«Возьми свой одр!» —
здесь не хватало.

<1969>

187—200. БОЛЬНИЧНАЯ ТЕТРАДЬ

1. БОЛЬНИЧНЫЙ СОН

Спи-
чка,
спи-
ртовка,
шприц
с па-
нтопоном...

Спи, усни,
плыви через песчано-пустынные Спи
в спокойную теплую Сплю.

И пусть за спи-
нкой кровати
стоит полнейшая Спишь.

Бессонница заперта на крючок
в бессонно урчащей уборной.

Сплю-
щив подушку, сплю
со спущенною рукою
в Снись.

Сон — слон, десять слонов, сто слонов, сон — складчато-
кожее, огромнокаменное многослоновье, сон — огромно-
окое глазоухощеконосодышащее

сплю
на подушечной отмели снов,
и глаза мои сонные спящерицы.

Сплю без просьбы,
сплю без просыпа,
сплю, как спит,
вздыхая, госпиталь,

и — кто дóктора,
кто гóспода...

Сплю, как чумные
селения
спят и видят
исцеление.
Сплю, как спят
дубы столетние

перед рубкой.
Как, по-заячьи,
никаких забот
не знающие,
спят в сугробах
замерзающие.

<1968>

2. «ПРИВЕТ!»

Человек
ест чебурек.
Ножа вонзает лезвице.
Чебурек разрезывается,
и чебурека нет.
«Привет!»

Человек
кричит о помощи!
Карета Скорой помощи.
Раз!
В живот вонзают лезвице,
и человек
раз-
резывается.
Два!
И человека нет.
«Привет!»

<1969>

3. В РАЗРЕЗЕ

Разрез по животу — живой разрез.
Рез — раз!
Раз! — улей, топором разрубленный,
судороги
обезглавленных и обескрыленных пчел.

Раз-
рушенный бомбардировкой дом,
где изразцы висят в разрезе.
Рез-
екция живого и дышащего мяса,
резинки мышц и нервов,
разгромленные витражи соборов,
разрезанные автогенном рельсы,
разбитые шпалы,
резкие визги разодранного железа,
развод, разрыв, разлад,
разрез.

<1969>

4. СОСЕДНЯЯ КОЙКА

Забывается всё,
забывается...
Мозг шумит
о пропаже и краже,
забывается,
даже
как гвоздь забивается.
Забывается,
где и когда?
И как мышь от кота
в уголок забивается,
и как пылью
часов механизм забивается,
забывается,
с кем и при ком?
И как стонущий вол
мясником забивается
для жарких и приправ...
Забывается всё —
и, к подушке припав,
умирающий
сном забывается.

<1969>

5. ОКНО

Окно.
Оно мое единственное око.
Окружность неба.
Окаймленность мира.

Оконной рамы окающий рот.
Околыш крыши над палатой.
Окраска охрой.
Оконченность всего.

Окно!
Открытое
на конечности материков!
На окороченности времени-пространства!
На окружную шоссеиную дорогу,
где около околиц
катятся на буквах О —
колонны грузовиков!

Окидывать их взором.
Окрашиваться цветом зарев.
Окапывать далекие деревья.
Окольцовывать летящих горлиц.
Падая лицом на подоконник,
околевать
на пустырях окраин.

Окно!
О, как величественно чудо
единственного для меня пейзажа!
Окраины окроплены туманом!
Об окна трутся клены!
О кроны их,
о корни!
Облака окатывает океан небес.
О, окно!
Пока ты около —
мне
не
одинок.

<1968>

6. БОЛЬ БОЛЕЙ

Боль больше, чем бог,
бог — не любовь, а боль.
Боль, созидающая боль
и воздвигающая боль на боль.
Боль болей — бог богов.
(Боль простит.)
(Боль подаст.)
(Боль — судья.)

Боль — божество божеств.
Ему, качаясь, болишься,
держась за болову,
шепча болитвы:
— Боже боли!
Или́ или́ ламá савахфанí?
(На кого ты оставил мя, Госпиталь?)

Да свершится боля Твоя.

<1969>

7. НИКУДАРИКИ

Время тянется
и тянется,
люди смерти
не хотят,
с тихим смехом
«Навсегданьица!»
никударики
летят.

Не висят на ветке
яблоки,
яблонь нет,
и веток нет,
нет ни Азии,
ни Африки,
ни молекул,
ни планет.

Нет ни солнышка,
ни облака,
ни снежинок,
ни травы,
ни холодного,
ни теплого,
ни измены,
ни любви.

Ни прямого,
ни треугольного,
ни дыханья,
ни лица,
ни квадратного,
ни круглого,
ни начала,
ни конца.

Никударики,
 куда же вы?
Мне за вами?
 В облака?
Усмехаются:
 — Пока живи,
пока есть еще
 «пока».

<1969>

8

Опять пуста скамья,
опять закат лиловат,
и перед всеми я
кругом-кругом виноват.

Опять пустует сад,
где осень ждет конца,
лишь два листка висят,
как высушенные сердца.

Одних — не так любил
и разобидел их,
одними — не понят был,
не понял сам — других.

А если — подход не тот?
И не велика вина?

Но жизнь —
 как этот вот
пустой стакан вина.

<1969>

9. ОТЕЦ

Мне снилось,
 что я — мой отец,
что я вошел ко мне в палату,
принес судок
 домашних щец,
лимон и плитку шоколаду.

Жалел меня
 и круглый час
внушал мне мужество и бодрость,

и оказалось,
что у нас
теперь один и тот же возраст.

Он — я
в моих ногах стоял,
ворча о методах леченья,
хотя уже —
что он, что я
утратило свое значение.

<1969>

10

Хоть бы эту зиму выжить,
пережить хоть бы год,
под наркозом, что ли, выждать
свист и вой непогод,

а очнуться в первых грозах,
в первых яблонь дыму,
в первых присланных мимозах
из совхоза в Крыму.

И в саду, который за год
выше вырос опять,
у куста, еще без ягод,
постоять, подышать.

А когда замрут навеки
оба бьющихся виска,
пусть положат мне на веки
два смородинных листка.

<1969>

11. СТРОКИ В СКОБКАХ

Жил-был — я.
(Стоит ли об этом?)
Шторм бил в мол.
(Молод был и мил...)
В порт плыл флот.
(С выигрышным билетом
жил — был я.)
Помнится, что жил.

Зной, дождь, гром.
(Мокрые бульвары...)
Ночь. Свет глаз.
(Локон у плеча...)
Шли всю ночь.
(Листья обрывали...)
«Мы», «ты», «я»
нежно лепеча.

Знал соль слез.
(Пустоту постели...)
Ночь без сна
(Сердце без тепла) —
гас как газ
город опустелый.
(Взгляд без глаз,
окна без стекла.)

Где ж тот снег?
(Как скользили лыжи!)
Где ж тот пляж?
(С золотым песком!)
Где тот лес?
(С шепотом — «поближе».)
Где тот дождь?
(«Вместе, босиком!»)

Встань. Сбрось сон.
(Не смотри, не надо...)
Сон не жизнь.
(Снилось и забыл.)
Сон как мох
в древних колоннадах.
(Жил-был я...)
Вспомнилось, что жил.

<1968>

Уже светает поздно,
холодноват рассвет.
Уже сентябрь опознан
в желтеющей листве.

Не молят о пощаде,
дрожа перед судьбой,

а шепчутся
«прощайте»
цветы между собой.

<1969>

13. ОТВЕТ

Хотя финал
не за вершиною —
да будет жизнь
незавершенною,
неконченной,
несовершенствою,
задачей,
в целом не решённою.

Пусть,
как ковер из маргариток,
без сорняков
и верняков —
ждет на столе
неразбериха
разрозненных
черновиков.

И стол мой письменный —
не дот,
и кто захочет —
пусть берет.
Он календарь
на нем найдет
с делами
на сто лет вперед.

Жить мне хотелось
на пределе —
с отчаяньем
в конце недели,
что вновь
чего-то недоделал,
что воскресенье —
день без дела.

И не спешил
сдавать в печать,
а снова —
новое начать.

Поэтому
 между поэтами
заметят:
 «Был богат проектами».

В числе
 лужаек недокошенных,
в числе
 дорожек незахоженных —
пусть я считаюсь
 незаконченным,
и в том не вижу
 незаконщины!

Я не желаю
 жить задами
воспоминаний
 дорогих,
но кучу планов
 и заданий
хочу оставить
 для других.

Беритесь —
 не страшась потерь.
А я —
 вне времени —
 теперь.

<1966>

14. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я год простоял в грозе
расшатанный,
 но не сломленный.
Рубанок, сверло, резец —
поэзия,
 ремесло мое!

Пила!
 На твоей струне
заржавели все зазубрины,
бездействовал инструмент
без мастера,
 в ящик убранный.

Слова,
 вы ушли в словарь,
на вас уже пыль трехслойная.
Рука еще так слаба —
поэзия,
 ремесло мое!

Невыстроенный чертог
как лес,
 разреженный рубкою,
желтеющий твой чертеж
забытою
 свернут трубкою.

Как гвозди размеров всех,
рассыпаны
 краесловия.
Но как же ты тянешь в цех —
поэзия,
 ремесло мое!

К усталым тебя причли,
на койках
 бока отлежаны,
но мысли уже пришли
с заказами
 неотложными.

Хоть пенсию пенсий дай —
какая судьба
 тебе с ней?
Нет, алчет душа труда
над будущей
 Песнью Песней!

Не так уже ночь мутна.
Как было
 всю жизнь условлено —
буди меня в шесть утра, —
поэзия,
 ремесло мое!

1966

201. ПРО БЕЛОГО ВОРОНА

Гнездо разворовано,
зимним ветром сорвано,

вот и белым вороном
сделался из черного.

С ним никто не водится,
ни зятя, ни девери,
и он сидит, как водится,
на отдельном дереве.

Вылететь из бора бы,
опуститься в городе,
где толпятся голуби
белоснежногорлые.

Посредине дворика
ходит пава гордая,
да не примет горлинка
ворона за голубя...

Всё переговорено,
всё переворошено,
зваться белым вороном —
ничего хорошего.

<1969>

202. СОН ВО СНЕ

1

Кричал я всю ночь.
Никто не услышал,
никто не пришел.
И я умер.

2

Я умер.
Никто не услышал,
никто не пришел.
И кричал я всю ночь.

3

«Я умер!» —
кричал я всю ночь.
Никто не услышал,
никто не пришел...

<1969>

203. СМЕРТЬ ЛОСЯ

Пораженный
пулей,
разбросал
свой мозг лось.

Смотрит на тропу
ель,
сердце с кровью
смерзлось.

Будто брат
умолк твой,
жжет слезами
жалость.

Плача мордой
мертвой,
на снегу
лежал лось.

Водкой бы
забыться,
лечь бы
и проспаться!

Спусковой скобы
сталь
прикипела
к пальцам.

Нелегко
в беде лгать.
Воздух тих
и снег тих.

Братцы,
что ж нам делать?
Как прожить
без смерти?

Ель молчит,
но ей ли
разгадать
мой возглас?

На снегу
у ели
разбросал
свой мозг лось.

<1969>

204. ИЮНЬСКАЯ БАЛЛАДА

День еще не самый длинный,
длинный день в году,
как кувшин
из белой глины,
свет стоит в саду.

А в кувшин
из белой глины
вставлена сирень
в день еще не самый длинный,
длинный
летний
день.

На реке
поют сирены,
и весь день в саду
держит лиру
куст сирени,
как Орфей в аду.

Ад заслушался,
он замер,
ад присел на пень,
спит
с открытыми глазами
Эвридики тень.

День кончается
не скоро,
вьется рой в саду
с комариной
Терпсихорой,
как балет на льду.

А в кувшин
из белой глины
сыплется сирень
в день еще не самый длинный,
длинный
летний
день.

<1969>

205. НАД КОРДИЛЬЕРАМИ

Водопадствуя,
водопад
низвергается,
как низверженный,
и потоки его
вопят —
почему они
не задержаны!

Темный хаос
земных пород
в глубочайших рубцах и трещинах.
Самолетствуя,
самолет
прорывается в тучи встречные.

И пока
самолет орет
турбодвигателями всеильными —
распластавшись внизу,
орел
кордильерствует над вершинами.

А по каменным
их краям,
скалы бурной водой окатывая,
океанствует
океан,
опоясав себя экватором.

Горизонтствует
горизонт,
паруса провожая стаями.
Гарнизон,
где жил Робинзон,
остаётся необитаемым.

И пока на аэропорт
по кругам
самолет снижается —
книга детства в душе поет
и, как сладкий сон,
продолжается.

1969

206. ВАЛЬПАРАИСО

Початок золота и маиса —
Вальпараисо, Вальпараисо,
спиною к Андам,
лицом к воде —
тебя я видел,
но где, но где?

Вальпараисо, Вальпараисо!
А может быть,
я здесь и родился? —
где пахнет устрица,
рыба,
краб,
где многотонный стоит корабль?

А может быть,
я родился дважды,
у Черноморья
(как знает каждый)
и также здесь,
у бегущих вниз
домов — карнизами на карниз?

Вальпараисо, Вальпараисо,
ты переулками вниз струишься,
за крышей крыша,
к морской воде,
тебя я видел
и помню — где.

Тюк подымает
десница крана —
Одесса Тихого океана.
Взбегает грузчик,
лицо в муке,
моряк за стойкою в кабаке.

Все так привычно,
все так знакомо,
а может, я не вдали,
а дома?
Пора рыбачить,
пора нырять,
и находить
и опять терять...

Но на таинственный
остров Пасхи
глядят покрытые медью маски,
и странно смотрит
сквозь океан
носатый каменный истукан.

И черноморский скалистый берег,
и побережия
двух Америк,
и берег Беринговый нагой —
все продолжают
один другой.

Вальпараисо, Вальпараисо!
О, пряность мидий
в тарелке риса,
о, рыб чешуйчатые бока,
о, танец
с девушкой рыбака!

И в загорелых руках гитара,
и общий танец
Земного шара,
и андалузско-индейский взор
в едином танце
морей и гор!

1969

207. В САМОЛЕТЕ

Никаких описаний,
никаких дневников!
Только плыть небесами
и не знать
никого.

И не думать, что где-то
видел это лицо —
коммерсантов,
 агентов,
дипломатов,
 дельцов.

Плыть
 простором ливийским
сквозь закат и рассвет,
пока пьет свое виски
полуспящий сосед.

Незнакомым простором
над песками пустынь
рядом с ревом моторов
плыть
 с карманом пустым.

И глядеть —
 без желаний,
в пустоте синевы
на пустыню,
 где ланей
ждут голодные львы.

А желать,
 только чтобы
шли быстрее часы
и к асфальтовым тропам
прикоснулось шасси.

И вернуться, вернуться
возвратиться
 скорей
к полосе среднерусской,
к новой
 песне своей.

1969

208. СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Подуло серым севером,
погнуло лес ветрами, —
прощайтесь, листья, с деревом,
прощайся, сад, с цветами!

Пришла пора прощания,
дождя и увяданья,
вокзальное, печальное
«прощай» без «до свиданья».

В траве, покрытой листьями,
всю истину узнавший,
цветет цветок единственный,
увянуть опоздавший.

Но ты увянешь все-таки,
поникший и белесый, —
все паутины сотканы,
запутались все осы...

Ты ж, паучок летающий,
циркач на тонком тросе, —
виси, вертись, пока еще
зимой не стала осень!

1969

209. АД

Иду
в аду.
Дороги —
в берлоги,
топи, ущелья
мзды, отмщенья.
Врыты в трясины
по шеи в терцинах,
губы резинно раздвинув,
одни умирают от жажды,
кровью опившись однажды.
Ужасны порезы, раны, увечья,
в трещинах жижица человечья.
Кричат, окалечась, увечные тени:
уймите, зажмите нам кровотечение,
мы тонем, вопим, в ущельях теснимся,
к вам, на земле, мы приходим и снимся.
Выше, спирально тела их, стеная, несутся,
моля передышки, напрасно, нет, не спасутся.
Огненный ветер любовников кружит и вертит,
пó двое слипшись, тщетно они просят о смерти.
За ними! Бросаюсь к их болью пронзенному кругу,
надеясь свою среди них дорогую заметить подругу.
Мелькнула. Она ли? Одна ли? Ее ли полузакрытые веки?
И с кем она, мучась, сплелась и, любя, слепилась навеки?
Франческа? Она? Да Римини? Теперь я узнал: обманула!
К другому, тоскуя, она поцелуем болящим прильнула.
Я вспомнил: он был моим другом, надежным слугою,
он шлейф с кружевами, как паж, носил за тобою.
Я вижу: мы двое в постели, а тайно он между.
Убить? Мы в аду. Оставьте у входа надежду!
О, пытки моей беспощадная ежедневность!
Слежу, осужденный на вечную ревность.
Ревную, лететь обреченный вплотную,
вдыхать их духи, внимать поцелую.
Безжалостный к грешнику ветер
за ними волчком меня вертит
и тащит к их темному ложу
и трет меня об их кожу,
прикосновенья — ожоги!
Нет обратной дороги
в кружащемся рое.
Ревнуй! Эти двое
наказаны тоже.
Больно, боже!
Мука, мука!
Где ход
назад?
Вот
ад.

О, Рифма,
 бедное дитя,
 у двери найденный подкидыш,
 лепечешь,
 будто бы хотя
 спросить:
 «И ты меня покинешь?»

Нет, не покину я тебя,
 а дам кормилице румяной,
 богине в блузе домотканой,
 и кружева взамен тряпья.

Играй, чем хочется тебе, —
 цветным мячом и погремушкой,
 поплакав, смейся,
 потому что
 смех после плача — А и Б.

Потом узнаешь весь букварь:
 ведро, звезда, ладонь, лошадка,
 деревья зимнего ландшафта
 и первый школьный календарь.

И поведет родная речь
 в лес по тургеневской цитате,
 а жизнь,
 как строгий воспитатель,
 поможет сердце оберечь.

И ты мою строфу найдешь,
 сверкая ясными глазами,
 перед народом,
 на экзамен
 под дождь,
 осенних листьев дождь...

И засижусь я до зари,
 над грустной мыслью пригорюнясь,
 а Рифма,
 свежая, как юность,
 в дверь постучится:
 «Отвори!»

<1971>

211. ВОЛШЕБНИК

Остыл мой детский пыл,
заброшены учебники, —
я фокусником был
и поступил
 в волшебники.

Волшебнику — трудней!
Теперь уже не детство ведь.
Он без воскресных дней
обязан
 чудодействовать.

В созвездиях до пят
он должен —
 делать нечего! —
как врач-гомеопат
буквально всё излечивать.

Он должен превращать
простую глину
 в золото,
он должен возвращать
согбенным старцам
 молодость.

Чтоб с духами стихий
устраивать свидания,
должны мои стихи
звучать,
 как заклинания.

Но раз я взял себе
волшебную обязанность, —
я должен,
 чтоб и бес
вдруг возникал под занавес.

И чтобы сатана
с пером
 над красной шляпою,
в хромых своих штанах
пел арию Шаляпина.

Свет адского огня
дымится, пляшет, искрится!

Но Гретхен
на меня
не смотрит даже искоса.

1971

212. ЗОЛОТЫЕ БЕРЕГА...

Золотые берега
дорогого детства
стали чуть виднеться...
Память их не берегла,
их закрыли годы,
как морские воды.

Не храним, не бережем.
А сейчас, попозже —
вещи нет дорожке
первой, струганной ножом
палочки сосновой
на полу, в столовой.

А за стружки на полу
сколько разговоров,
вздохов и укоров!
А еще стоять в углу,
но в углу не трудно:
представляешь — судно.

Мачту надо обстругать,
парус приспособить...
(Поплывет, должно быть?)
Где ж вы, где ж вы, острова
детства, моря, лета?
Потонули где-то?...

1971

213. КОНЦЕРТ

Казачок в бешметике
жонглирует кинжалами,
свои цветы-бессмертники
ты в ужасе прижала.
Но к жалобам безжалостны,
и казачок в бешметике
жонглирует кинжалами.

Партер молчит от ужаса,
кинжалы быстро кружатся,
зеркальные от рампы,
а между газырями
и пояском затянутым
праздничные раны
святого Себастьяна.
Ты в ужасе прижала
к себе цветы-бессмертники,
а казачок в бешметике
жонглирует кинжалами...
Антракт.

1971

214. ДОЛГИЙ ДОЖДЬ

Дождь идет, дождь идет.
Молодую догарессу
старый дож ведет.
Через душную Одессу,
полумертвый порт
молодую догарессу
старый дож ведет.

Через дымную завесу
(где разбитый дот)
в тыл, к расстрелянному лесу,
мокрый дождь идет,
парень держит пулемет,
дождь идет, дорога к лесу.
Молодую догарессу
старый дож ведет.

Он прижал к лицу ладони,
мокрые от слез.
Донна Лючия — в короне
солнечных волос!
По разбитым бомбой рельсам
пулковских высот
в гимнастёрке догаресса
через дождь идет.

Боже, свадебное ложе
тот же эшафот!
Дождь идет. В Палаццо Дожей
хлещет пулемет.

Парни в вымокшей одежде
дождь ведут на дот.
В золотой собор на мессу
молодую догарессу
старый дождь ведет.

Это с ними или с нами
долгий дождь идет,
беспорядочными снами
войн и непогод,
с Моста Вздохов по дороге,
оскользаясь об лед,
поседевший, одинокий,
старый дождь идет.

1971

215

Смерти больше нет.
Смерти больше нет.
Больше нет.
Больше нет.
Нет. Нет.
Нет.

Смерти больше нет.
Есть рассветный воздух.
Узкая заря.
Есть роса на розах.
Струйки янтаря
на коре сосновой.
Камень на песке.
Есть начало новой
клетки в лепестке.
Смерти больше нет.

Смерти больше нет.
Будет жарким полдень,
сено — чтоб уснуть.
Солнцем будет пройден
половинный путь.
Будет из волокон
скручен узелок, —
лопнет белый кокон,
вспыхнет василек.
Смерти больше нет.

Смерти больше нет!
Родился кузнечик
пять минут назад —
странный человечек,
зелен и носат;
у него, как зуммер,
песенка своя,
оттого что я
пять минут как умер...
Смерти больше нет!

Смерти больше нет!
Больше нет!
Нет!

1972

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ

216. СЛУЧИВШЕЕСЯ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Прибежал. Цветок на синем лацкане.
«Ой, любимая! Всё прежняя! Та самая!»
Губ недопитых и пальцев недоласканных
передержки, слабые касания...

Что дрожишь? Нежданно? Неожиданно?
Что глядишь, как в обмороке, замертво?
Время прожито. Отброшено. Лежит оно
фолиантом тягостным гексаметра.

Столько раз тебя уже голубили,
губы столько раз уже целованы,
что они слегка как будто убыли,
стали жесткими, сухими и лиловыми.

Только волосы — они акаций тénистей,
да глаза — лишь невзначай раскроешь их, —
они сиятельнее драгоценностей,
всех хранилищ, сейфов и сокровищниц.

Черный день! Узнал: не любит. Холодно.
Не сержусь. Я тихий. Я спокойненький.
Чтоб лицо не отвалилось — голову
подопру рукой на подоконнике.

Я, когда меня возьмет отчаянье,
я брожу, слезами щеки выпачкав,
в доме ж — воцаряется молчание,
мимо комнаты родня идет на цыпочках.

Бить посуду, рвать стихи и волосы,
рвать на полосы рубашку! И сплошную
руганью метаться! Черным голосом!
Волосы метать чертополошные!

И, устав, упасть на тихой отмели,
на скалистой зарыдать расщелине —
что тебя, мое сердечко, отняли,
не спросивши даже разрешения.

1923

217. ОСЕНЬ

Эту люстру винограду
ты относишь, как награду,
губкам-долькам корольковым,
зубкам, жадным до сластей.

Как бы косточки ни терпки, —
размельчишь — и это серьги,
это кольца, это бисер,
страшно любящий хрустеть.

Всё же, как ни говори,
лучше всяких наслаждений —
медь древесных насаждений
с легкой плесенью зари.

Пышность дымчатых волосьев
занесешь, блеснешь, как яхонт;
вся из фруктов, вся из ягод,
осень, как ты со́лода!

Косы тяжелей колосьев,
хлеб, дожди и золото.

Я недолго тешил взор
чудесами явленными, —
ты уходишь за озор
заревами яблонными.

Мчатся, осень, за тобой
(молотьбой за жатвою):
молодых снежинок бой,
ветры провожатые

и зима, дыша злобóй,
строй дубов расшатывая.

1924

218. РАССТРЕЛ

В осень пригоршней брошенные,
звезды слабли и узились,
листья падали брошами
с изумрудами гусениц,

осень лапами хлюпала
уток старых и сонных,
осень скрипнула клювами
журавлей, нарисованных

ветерком задувающим...
— Ну да что разговаривать? —
встало двое товарищей,
прислонились к заревам.

Первый: — Зимы ли, лета ли, —
похороненным — всё равно.
Ляжем в землю скелетами
на знаменах разорванных.

— Ржут коняги у Руенца,
ноги всажены в стремя.
— Дай, браток, поцелуемся
перед смертью расстрельной.

Верно, длинные-длинные
пули кинулись к целям.
Верно, синие-синие
были глаза у расстрелянных.

1924

219. СОНЕТ

У мертвой девы талия — амфора,
и руки свиты в тонкую лозу,
и на улыбке северского фарфора —
и киноварь, и умбра, и лазурь!

Сиятельная редкостная форма,
стонавшая двухструнной формой зурн,
теперь лежит, не чувствуя грозу,
под пасмурным дыханьем хлороформа.

«Она мертва, — заметил эскулап. —
Струны такой не вынесла скала б!»
Ее берет сюжетом для портрета,

мольберт уставя плоскостью в окно,
своей любви лелея полотно,
художник тихой кисти Тинторетто.

1925

220. БОЛЬНИЧНОЕ

Мери! Мери! На странице —
День и ночь — одно и то же,
Только белая больница,
На арену не похоже.

«Отчего меня попоной
Лошадиною прикрыли?
Конь мой ходит, непреклонный.
Это ты, мой конь, не ты ли?..»

Доктор! Мери не игрушка.
Рану жаркую зашей ей!
«Ночью кажется подушка
Лошадиной белой шеей...

Конь!
Ты — недруг, ты — изменник.
Сколько лгал и лицемерил!..»
...Не прислал хозяин денег,
Не отвез в больницу Мери...

Конь стоял подобно грыже.
Рыжий был суров и бледен.
Мери свез в больницу рыжий,
К Мери шел, смотрел и бредил...

Если год казался бредом,
То сегодня —
видишь —
двери!

Я иду,
За мною следом,
Опершись, выходит Мери.

1925(?)

Черное море. Зеленый залив
идет в голубых шароварах.
Греки в шаландах вчера привезли
колониальных товаров.

Грузинские вина, сухумский табак,
сельди и тихие песни
в ящиках, бочках и узких зобах
греками сложены тесно.

Город Одесса. Платоновский мол.
Чайки прохожих чурались.
Вот и прохожих покрыл и прошел
сладкий полдневный паралич.

Низких кофеен лицо сведено,
где, опрокинувши веки,
играют в узорчатое домино
старые, темные греки.

Серегина 1920-х

222. СВИСЛОЧЬ — БЕРЕЗИНА — ДНЕПР

Вёсел — двое, нас — один.
Вся команда — я!
Отсади, насади,
сила моя ладная...

Свислочь шепчет волне:
«Я к Березине льну;
через бузину мне,
и — в Березину...

Ой, Березина, плый!¹
Не подрежет нож вый.
С Украины — вий, вий²,
колдовская ночь Вий».

А Днепро, Днепро — зол,
он туманит взор утр:
«Разнесу добро сел,
если Несыть взорвут.

¹ Плыви! (укр.).

² Вей, вей (укр.).

Не хочу я грызть грусть,
не хочу я уз узд —
хочу целовать Новорусь
устьем голубых уст».

По реке плывет наш корабль,
водит мошкара маскарад.
Ветер, закружись поскорей,
чтобы легче жить мошкаре.

Середина 1920-х

223. НЕДОВОЛЬСТВО ВОЗРАСТОМ

Красавица касается витрины «Коммунара»,
кусает губку, пальцы жмет, и на глазах печаль!
Шелков! Шелков! Но в кошельке — последний руб, Гюльнара.
Ах, вам всего четырнадцать, и это очень жаль!

В таком прелестном возрасте нельзя иметь супруга
с окладом в двести сорок пять — живи и наряжай!
Но в кодексе о браке — параграф закорюка...
Ах, вам всего четырнадцать, и это очень жаль!

Вы носите на носике прохладную слезинку,
то шерстяною ножкой топ, то стиснув губок аль,
вы на чулочке щиплете пребольную резинку...
Ах, вам всего четырнадцать, и это очень жаль!

Поэт Кирсанов по Тверской проходит в брюках синих.
Ах! Познакомиться бы с ним, излить души печаль,
сказать ему: «Бандит, бандит, мальчишка, лгун, насильник...»
Но вам всего четырнадцать, и это очень жаль.

1927

224. ФАРФОР

Копенгагенский плавный фарфор,
лиловатое тело улитки, —
рядом с легкостью севрских амфор
даже больше чем легок. Оливков.

Голубая блестящая мышь,
поросенок, повесивший рыльце,
рядом с тонкой, как ейский камыш,
вазой, венецианской царицей.

Молчаливы литые тела;
не умея плясать и резвиться —
так легки на ладони стола!
Но — живут! Но боятся разбиться.

Конец 1920-х

225. ТАК ДАЛЕКО

Так надо было — за Полярный круг
меня швырнуть!
Из дорогих прощальных рук —
в сырую мать.

Прощальная моя, вокзальная,
иди, не плачь.
В расстрелянных ночных развалинах
пропал твой плащ.

Так надо было — взять и смять
все наши радости,
чтоб даже в уголок письма
любви не спрятаться.

А ветер — он визжит опять,
ополоумев...
Мечтающий тебя обнять,
я полуумер.

И ночью снишься ты одна
больному мне.
Я полуумер, как страна,
в кровавом сне.

Живой водой ее лица
не спрыснете, —
страна в предчувствии конца,
вся при смерти.

Где птица севера черна
взлетает, каркая,
моя последняя жена —
береза карликовая...

1941

226. СУМЕРКИ

Дни стоят и шатаются толпою топчущей,
а часы не считаются в степной тишине,
через Дон переправились немецкие полчища
и опять переставились флажки на стене.

Ох, сраженье обидное! С перебитыми пальцами,
там на дно глинобитное пустынной реки
молодые и грузные, влекомые панцирями,
очи вымочив грустные, идут Ермаки.

Солеварни и пристани, ночлежки и ярмарки
издырявлены пушками в крестоносной броне.
И завернуты в Пушкина кавказские яблоки,
и сомы серебристые читают «На дне».

Так прощай простоватая родная история,
замолкай хрестоматия в детских руках;
и предания связаны, и степи просторные
казнены, словно Разины в Средних веках.

Мне и больно и холодно — Россия в невольниках!
Ужас мертвого полудня, сдавленный крик.
Труп на станции Сербинка деревенского школьника
с тонким мятым учебником «Русский язык».

1941

227. ОБИДА

В доме электричество горит,
ужинают скоро и убого.
Театральный голос говорит:
«Граждане воздушная тревога!»

Так обидно и безмерно дико,
что тревогой нашей и бедой
занимается холодный диктор
с текстом на пластинке заводной.

Так берут страдание и кровь,
гул обвала и мертвящий ужас.
Поднимают деланную бровь,
кашлем декламаторским натужась.

А народ давно уже в обиде,
что слова, как «ненависть» и «мечь»,

бархатно-медово, как в «Аиде»,
преподносит некий Радомес.

Может, только в поле на Кубани
произносят слышные едва
сказанные жесткими губами
наши настоящие слова.

1941

228. НЕЛЬЗЯ

Войну замешавши на оде,
нельзя на народ походить,
нельзя, потолкавшись в народе,
народным себя находить.

Вы лучше б писали прошения,
не ваш это знак на груди,
вы лучше б просили прощенья,
что вы не в бою впереди.

Народ — это Петя Незнамов
без слов, без чинов, без петлиц,
себе не оставивший замов
и пусто-парадных страниц.

Уж лучше не выпреним словом,
а встать на солдатский паек
и душу с Фомою Смысловым
разлить поллитровкой в раёк.

Я вашу концертную лиру
с собой не возьму на пути,
я буду к далекому миру
с раешной винтовкой ползти.

1941 или 1942

229

О, Пушкин золотого леса, о, Тютчев грозового неба,
о, Лермонтов сосны и пальмы, Некрасов полевого хлеба,
о, Блок мечтания ночного, о, Пастернак вещей и века,
о, Хлебников числа и слова, о, Маяковский человека!

1943—1944

230. СИМФОНИЯ

Из музыки, из всех ее сокровищ,
из раковин природно-звуковых,
из всех громов, что мог бы Шостакович
взять от ударных, струнных, духовых,

из тысячи согласий и созвучий
бесчисленных симфоний и сюит —
в душе людей симфонией могучей
сегодня эта музыка стоит.

Сам Ленинград ее исполнил. Воздух
оцепенел. Эфир передавал,
как шел по небу, задевая звезды,
доледниковых ледников обвал.

Казанского собора колоннада
сошлась под свод — укрыться от грозы.
Как записать тебя, о канонада,
твои верхи и грозные низы?

Сама планета стала барабаном,
гранит и то литаврами крошат!
В симфонию вступил Ораниенбаум,
по Пулкову настроился Крнштадт.

Раскат к раскату и снаряд к снаряду
всё выше, громче, яростней, грозней!
О, музыка, прорвавшая осаду,
в атаку как не кинуться за ней?

О, вдохновенье бури наступленья!
Дрожание взволнованных торцов!
О, гром, в котором есть сердцебиенье
бойцов, великой музыки творцов!

Звучи, звучи, звучи невыносимо
для тех, кто окровавил нашу жизнь,
и в грудь врага, и ни на волос мимо,
железная мелодия, вжужжись!

Цепляйтесь, ноты бури, за канаты!
Пока не поздно — сесть и записать!
Мечтают у роялей музыканты
уметь так побеждать, так потрясать!

Январь 1944

Ленинград, дни прорыва блокады

Нельзя иметь имущества
и мучаться,

нельзя дрожать, что чашки и блюда
вдруг разобьются,

что ножи и ложки (хоть их и запрет) —
сопрут.

И жаловаться растерянно:
Все растаскано, растеряно!

Это обычные вещи,
но пока я в вас не увяз —
хватит копить на отрез!
Прочь с глаз, вещи,
я должен уйти от вас,
отказаться от вас наотрез,
отвязаться от вас наотвяз!

И тебя не хочу иметь своею.
Моей никогда не будь,
будь одной лишь своею.

Так и будет когда-нибудь
в обществе высшего сорта.

Прочь замок, прочь забор —
все мое — со мной,
*omnia tua tecum porto*¹,
а мое — только шар земной!

1956

232. СНЕГ НА ОКНАХ

Пошел спускаться с неба снег
и оседать на окнах всех.

Нельзя ли снег соединить
в одну протянутую нить,

и из окна на нить шагнуть
канатоходцем в скользкий путь,

¹ Всё мое ношу с собой (лат.).

и пробежать к тебе в окно,
и встать в мгновение одно

на острие конька, скользя?
Но, вероятно, так нельзя!

От слова «там» до слова «здесь»
все окна снегом занавесь!

1957

233

Л<югмил>е

Маленькую повесть о большом
я пишу рукою торопливой:
воробей был жалок и смешон,
куст — обыкновенною крапивой.

Если соблюдать соцреализм,
так бы и осталась повесть эта
до конца похожею на жизнь
без необычайного сюжета.

Не было б, наверно, у ветвей
темных роз, вздыхающих глубоко,
и не появился б соловей,
выселенный нами после Блока.

К счастью, двое мимо дома шли,
мимо неприветливого зданья;
именно вот там они нашли
место для счастливого признанья.

И казалось — не хватало рук,
чтоб сжимать прижавшееся тело,
и могла поэзия вокруг
превращать весь мир во что хотела!

И я знаю: цвел огромный куст,
несся в небо щекот соловьиный,
все стихи читались наизусть,
мчались водопады и лавины...

Остальное — дело воробья
и ветвей крапивы перед дверью.

Что ж меня касается — то я
в превращенья всяческие верю.

10 июля 1958

234. ЭДЕЛЬВЕЙСЫ

Под снегом вся горная твердь,
но ты не спеши и надейся —
не верь, будто снег это смерть, —
под ним прорастут эдельвейсы.

Когда мы уедем совсем,
померкнут все кольца неона,
и снимутся флаги со стен,
и смолкнет азарт стадиона, —

тогда на высотах луга
свой праздник начнут предвесенний,
начнут проступать сквозь снега
прозрачные пальцы растений.

Не верь, будто сердце замрет
и впредь — ни весны, ни желаний,
лишь сосны с наклоном вперед
на снегом укрытой поляне!

Ведь только он, белый, сошел —
и нет уже мыслей утрюмых!
Весь луг — точно праздничный стол
с миллионом расставленных рюмок!

И ты ничего не страшись
и вновь удивляйся и смейся, —
ты знаешь, что снег — это жизнь, —
под ним проросли эдельвейсы.

1958

235

Как раб галерный, к кораблю
прикованный на годы,
гребя веслом, тебя люблю,
как берега свободы.

Пускай железное кольцо
мою сжимает руку —

твои глаза, твое лицо
я вижу сквозь разлуку.

И пусть в невольничьей судьбе
мой каждый взмах — невольный,
я вольной мыслью о тебе
веслом врезаюсь в волны.

Что значат стиснутые рты
и злые плети белых,
когда живешь на свете ты
и есть Свободный Берег!

1958

236. ВРАГИ

У меня есть враги —
 это серые
молчаливые строки и строфы,
это слов трафаретные серии,
пира выдумок
 жалкие крохи.

Это злобные нищие рифмы,
и над заревом строчек морковных
это толпы
 утрюмых и скрытных,
исподлобья глядящих Хвостовых.

И пока
 я легко и насмешливо
прохожу мимо них,
раздвигая тягучее месиво
серой сирости сереньких книг, —
жмутся темы,
 которые немые,
мнутся мысли,
 чьи губы отвисли,
тупо смотрят, обросши рутиною,
растопырив книжонок труху,
на мою,
 на радиоактивную,
искры взбрасывающую строку.

1950-е

Пинаемый всеми и вся,
смешной, как паяц на арене,
презренный, как евнух в гареме,
я жил, попугайски вися.

Сносил и подачку и хлыст,
и смех и по клюву щекотку,
и пил вашу гнусную водку,
и брал поздравительный лист.

Но мысль начинает долбить,
что надо же и расплатиться,
что лучше быть явным убийцей,
чем жертвой потешною быть.

И мысль неотвязно живет —
где мука стоит против счастья,
там Пушкин спешит рассчитаться
не рифмой, а пулей в живот.

1950-е(?)

238. ВРЕМЕННЫЙ ДОМ

Это временный день, это временный дом,
где с утра говорят — через год перейдем,
а пока пусть идет все своим чередом.

Этот дом — перевал через мир нежилой,
где при окнах открытых дышать тяжело,

и в ушах кислородного голода гул,
дом, где временный стол, дом, где временный стул.

Где и руки, и взгляды, и мысли — займы,
где заемное время, где временны мы,

где цветов не заводят в оконных горшках,
где без платяев в передней качается шкаф.

Спят, как спят на вокзалах, а поезда нет.
Это временный дом, это временный свет.

Но входя без надежды в наш временный дом,
говорим — перетерпим, говорим — переждем.

1960(?)

Через тысячу лет в новой жизни земной
у любимой родится уродец немой.

Безволосый, двусердый, слепой, как Протей,
непохожий на прежних горластых детей.

Безголосого гнома отбросивши прочь,
из родильного дома мать бросится в ночь.

И по звездам, по спутникам, мимо планет
побежит, закричав, в нашу тысячу лет.

Обливаясь слезами, ворвется сюда —
в дни двадцатого века, в былые года.

«Это вы, — закричит, — это вы, это вы,
вами взвитые взрывы, вами рытые рвы,

ваш уран с водородом, ваш гибельный гриб.
Из-за вас мой ребенок, родившись, погиб!»

Вся земля искаженным потомством полна, —
это правда, смотрите, стучится она

в дверь военного штаба, в ворота дворца,
в затемненные окна, в пустые сердца.

1960-е

240. ЗА ЧТЕНИЕМ ДОСТОЕВСКОГО

Не заглядывала в сонник,
подымала локоток
и накидывала Соня
драдедамовый платок.

Локоточком задевала,
впрочем, умерла давно.
Паутина за диваном.
Сонька Мармеладова.

Деревянная скамейка
помнит, помнит до сих пор:
деньги в свертке, душегрейка,
окровавленный топор.

Спрятав резкий подбородок,
под бубенчика «дзилинь»
он качал на поворотах
циммермановский цилиндр.

«Денег, денег, денег, денег,
денег, денег, денег, де...
не дают ни в понедельник,
ни во вторник и нигде!»

И обшаривал жилетку
(звон брелоков, что монист)
проигравшийся в рулетку
уголовный романист.

Но, условию согласно,
в стуче счетов и подков
шлет пятьсот рублей заглазно
Достоевскому Катков.

1928, 1960-е

241. ОТРАЖЕНИЕ

после дождя
она
смотрит вниз
удивленная что видит себя
в весенней ослепительной луже
нагибается к себе
смеется таким же губам
мочит руку в такой же руке
становится немного волнистой
живая и водяная
она
во взволнованной луже после дождя
о, я хочу нырнуть в ее отражение
и до нитки промокнуть в ее руках и лице
я хочу нырнуть в ее отражение
она
живая и водяная
становится немного волнистой
мочит руку в такой же руке
смеется таким же губам
нагибается к себе
в весенней ослепительной луже
удивленная что видит себя
смотрит вниз
она
после дождя

ОТРАЖЕНИЕ

1938, 1971

Икар снов —
Кирсанов.
— Красив он?
— Рискован!
В крови нас,
вон — искра!
Новь риска,
и с кранов —
снов арки.
Кирсанов —
к — ни сорван,
к — ни совран,
Кирсанов —
вина́ срок,
ковра синь,
ор в санки,
ворсинка!
Он кривса —
с коварни!
Крас. Нови
ровесник.
Сан крови
рвани-кось,
Кирсанов!
Сравни-ко!

1971

ПОЭМЫ

243. МОЯ ИМЕНИННАЯ

1

*Вступление к повествованию,
составленное в тонких лирических тонах,
соответствующих позднему часу*

Дети,
 дети,
 спать пора!
Вьюги
 воют в рупора,
санки с лыжами
 озябли.
Спрячьте
 куклы,
 книжки,
 сабли,
спать,
 спать,
 спать пора,
по кроватям,
 детвора!

Львиная лапа —
замигала
 лампа.
Запорошил снег
 порог.
Сеня кончил
 свой урок.

Ах, какой он
 маленький!
Этажерки ниже.
Отстегнул
 от талийки
короткие штанишки.

Ветер хлопья
 с крыши сдул,
задымил туманно.
Села мама
 на стул,
и запела мама:

«Месяц выплыл, юн и тонок,
и поплыл домой,
и на лапки, как котенок,
стал будильник мой.

Опускай скорей ресницы,
крепче засыпай,
пусть тебе, сынок, приснится
пограничный край.

Нелегко в пургу согреться,
 снегом занесен,
твой отец залег в секрете,
 сжал винтовку он.

Снег кружётся. Ночь кренится.
 Вертится буран.
Злой шпион ползет к границе,
 затаив наган.

Но отец твой старый воин,
 закален в бою.
Спи малютка, будь спокоен,
 баюшки-баю.

Скоро, скоро, после школы,
 вырастешь большой,
и сожмешь приклад тяжелый
 сильною рукой.

Провожу бойца Семена,
 поцелую в ус,
положу в кошель ременный
 хлеба теплый кус.

А пока я только песню,
 песенку пою,
спи, сынок, в кровати тесной,
 баюшки-баю!»

Баю-баю,
 махонькой,
спи в кроватке
 мягонькой...

Темнота.
 Тишь.
Тени
 на полу...
— Спишь?
 — Сплю...

2

*Глава, для расшифровки которой
требуется, по крайней мере, сонник*

Сплю...
 сп-лю...
 В кух-не
 кран закапал —
 сп-лю,
 сс-п-лю.

За сугробом
 сжал винтовку папа...
 Т-сс...
 с-плю...

Па-
па
пе-
 ред вором,
 в уг-лу
 склад.

Делает шпион
 затвором:
Ку-
 клукс-
 клан.

Одеяла драп
 свис.
В доме спят.
 Храп.
 Свист.

Па-
па
падает,

па-
дает,
пада...
Испуг!
Сплю.

Поле. Синь.
На заре
парусинный лазарет.
Раненый охает,
пуля села
в легкое.
Из холодных палат
белый
движется халат.
Это врач,
это ясно —
облит струйками красными,
он кричит:
— Одевайся
поскорей,
за лекарствами! —
Ночь темна и густа.
До аптеки
верста.
...Кальций,
вата
и йод...
Мама
песню поет,
где-то каплет
в углу...
Сплю.

3

*Глава педагогическая
с замираньем под ложечкой,
посвящаемая учителям и карцеру
Одесской 2-й гимназии им. Николая II*

Грудой
башен заморских
снег,
сверкая, лепится.
Утренние
заморозки,
гололедица...

Холод
пальцы припекает,
вот бы
если варежки!
Мимо Сени
пробегают
школьные товарищи.

Закричали
Митя с Колей:
— Сенька,
ты чего не в школе?

— Я врачом
в аптеку послан
и вернусь оттуда
поздно.

— Раз, два, три, —
Сенечка,
не ври.
Зажимайте
живо рот!
Пацана —
за шиворот,
влазь
в класс!

Подтолкнули
валенками,
посадили
с маленькими.

Бел
мел.
Подтянись! —
За пюпитром
латинист.

Руки
что жерновы.
— Ну-ка,
за латынь! —
Скрыты
брови черные
пенсне золотым.

Раз, два, три, —
Сеня,

повтори:

«Dantebe, mater Rossia, iscus, essentia, quassa,
cicero, corpus, petit Isvesti, orator, tribuna,
radionositis centra declaratii: Urbi et orbi,
purpura parus namorae Respublica quetrus tremit»¹.

Бледен мальчик,
 обмер мальчик,
в класс
 вступает математик:

§ 000. Шли четыре мужика, говорили про крупу,
про покупку, про крупу да про подкрупку.
У меня полпуда с граммом, у тебя кило и пуд,
у Антипа пуд и гарнец, у Ивана четверик.
Сколько было в метромерах всей крупы на четверых?

Обмер Сеня,
 пьяный будто,
стал решать
 и перепутал,
и, издав
 военный крик,
через кафедру —
 прыг!
Прыгнул
 через падежи.
— Да держи его,
 держи! —
Тангенс, синус,
 плюс и минус,
взял разбег —
А + В...
Перепрыгнул
 Ваню и
Рисование,
Перепрыгнул
 Рафу и
Географию,
Перепрыгнул
 Саню и
Чистописание!

¹ «Дан тебе, мать Россия, искус, эссенция кваса, цицерио, корпус, петит "Известий", оратор, трибуна, радио носит из центра декларации: граду и миру, пурпура парус на море Республика к ветру стремит».

Надзиратель
 поднял вой,
прибежал городской, —
в воду канул
 гимназист,
невысок
 и неказист!

Встал учитель
 на порог:
— Повтори,
 лентяй,
 урок!

Что мальчишке
 до урока?
Перед ним
 легла дорога,
голуба и широка.
Сахарные берега...

4

*Глава сладостная,
посвященная деликатности,
полному собранию сочинений
П. С. Когана и зубоврачебному креслу*

Берег моря.
 Где я?
 Стоп!
Вкусный,
 сладкий запах сдоб...
Изменили
 мне силенки,
устаю,
 устаю!
В поле
 сахарной соломки
я стою.

Я ж
 не сладкого искал...
Сколько
 сахара-песка,
что за розовая ваза!
Ах, как пенится
 у скал
Море
 Клюквенного Кваса.

Золотятся пески —
самый лучший
 бисквит!

Горный
 тянется хребет —
чистый,
 радужный шербет!

А в долине,
 вдали,
но отсюда
 недалек —
разноцветный
 городок
в бонбоньерке
 залег.

Белосахарных палат
расцветают купола.
— Заходи,
 стар и млад,
хочешь,
 кушай мармелад,
хочешь,
 губы шоколадь,
наряжайся
 в маки, —
хорошо
 щеголять
в серебряной
 бумаге!

Посмотри
 на домик тот,
это — торт.
Ну, а это
 фортепьяно
сделано
 из марципана.

Гуляют
 ангелочки —
на плечах
 кулечки,
в обертках,
 как шейхи,
раковые
 шейки.

Прямо, прямо
 нет спасенья!

От соблазна
 плачет Сеня.
 Ах,
он бы съел
ну хотя бы
монпансье.

Посредине города,
неширок и короток,
домик
 из печеньица,
а оттуда
 голосок,
словно
 ананасный сок:
— Мое вам
 почтеньице!
В райские
 кущи
заходите,
 скушайте
абрикоску,
 сливку,
вишневую
 наливку.
Не стесняйтесь,
 заходите!..

Сеня,
 слюни вытерши,
видит:
 Главный Кондитер
 С Главною Кондитершей.

Сколько, сколько
 сладостей!
Где ж это
 кончается?
У Сенечки
 от слабости
все в глазах
 качается.

Время клонится
 к восьми.
И весь мир
 просит Сеню:
— Слушай,
 скушай
этих яств новизну!

Ну, возьми!
— Не возьму...

А мальчиковы
 пятки
вязнут, вязнут
 в патоке.
Па-атока тяну-чая,
ги-бель неми-нучая,
тя-анутся
 сладкие
 ли-ип-кие
 нити...

— На помощь,
на помощь,
спастите,
 вытя-
 ните!

То-
ну!
 То-
 ну! —

А хитрая
 Кондитерша
смеется:
 — Да ну?

Вот уже рубашка
 в патоке подмокла.
Но что это?
 Откуда это
 мчится подмога?

Кем это
 выслано
соленое
 и кислое?
Армия
 столобая —
мчится
 соль столовая,
а за нею
 мчится
перец
 и горчица...
Как ударила
 соль
в сахарную
 антресоль!
Как повылетел
 хрен —

шоколады
 дали крен!
А горчица
 горячится:
— Эх!
 Не грех —
бей в мускатный орех!

Кондитерша
 кубарем,
блещет
 нижним бельем.
Ну-ка,
 уксус откупорим,
обольем,
 обольем!
Налетают,
 налетают
стаи перца
 на туман,
тают,
 тают,
 тают,
 тают
шоколадные дома...

И сахарная жижица
льется
 и движется.

5

*Глава, написанная к сведению библиотекаря.
Что читали Пушкин и Чуковский?*

Странной силой ведомый, я вошел в гусиный домик.
За столом и чашей пунша, в свете карточной игры,
под тик-так часов-кукушки ждали Андерсен и Пушкин,
Гофман, Киплинг и Чуковский, Кот Мурлыка, Буш и Grimm.
И сказал Чуковский: «Сядьте! Мальчик Сеня, ты — читатель,
и, конечно, как читатель, без завистливых затей,
ты рассудишь, ты научишь, кто из нас, сидящих, лучше
пишет сказки для детей!»

Тихо
 и нерадостно
начал сказку
 Андерсен —

маленький,
ледащенький
седой старичок:

«Лежали вместе
в ящике
Мяч и Волчок.

— Души я
в вас не чаю,
люблю вас горячо...
Давайте повенчаемся... —
Мячу
жужжит Волчок.

Но,
гордостью наполненный,
Мячик говорит:
— Я с Соловьем
помолвлена,
он — мой фаворит.
Ему отдам
невинность я! —

Наутро
Мяч исчез,
Волчок
не в силах вынести...
Прощайте
жизнь и честь!

Прошло
немало времени,
но жег
любовный яд...

— Наверно,
забеременел

Мяч
от Соловья.

Я видел
на «ex-librise»
Соловья в очках... —
Тут мальчик
взял

и выбросил
через окно Волчка.
Истерзанный,
искусанный,
с обломанным плечом,
Волчок
в клоаке мусорной
встретился
с Мячом.

— Любимый мой!
Согласна я
стать
твоей женой!..
(Сама ж
ужасно грязная,
с дыркой
выжженной.)
Волчок
ответил,
сплюнувши:
— Я был
когда-то
юношей,
теперь же
поостыл, —
иная ситуация...
К тому ж
решил остаться я
навсегда
холостым!..»

Тих
и нерадостен,
кончил сказку
Андерсен,
и совсем
иначе
Афанасьев
начал:

«В дальнем
государстве,
в тридцатом
царстве,
у того
царя Додона,
у Великого Дона,
что и
моря синевей,
было
трое сыновей.
Вот идет
первый сын
мимо
черных лесин,
а ему навстречу —
ишь как! —

лезет мышка-норышка,
куковушка-кукушка,
и лягушка-кв́акушка
из озерных глубин:
ква-
кум-
бинь...

А за ними
кыш —
По-Лугу-Поскокиш,
а за ними
вишь? —
Я Всех-Вас-Давишь.
Лесиная
царевна
Лиса
Патрикевна,
из сосновых
капиц —
Михаил
Потапыч,
и фыркает
кофейником
Кот
Котофейников».

Тут промолвил Сеня нежно: «Это ж длится бесконечно,
это старо, длинно, скучно, ну, а я весьма спешу».
«Погодите! — крикнул Гофман. — Пусть на миг утихнет гомон,
я прочту, что я пишу:

«В тысяча восемьсот (звездочки) году
в Городке Aachenwinde
жил советник fon der Kinder,
ростом с Какаду.
Знали Жители
давно:
был der Kinder
Колдуном.
Ночью Дом
стоял вверх Дном,
и стоял
у Входа
Гном.
И была
у Колдуна
дочка малая
одна —

kleine Anchen,
kleine Anchen
kleine Tochter³
Колдуна.

И скажу я вам — она
в Виртуоза
влюблена.

Негг
Amandus Zappelbaum⁴,
вами
занята она.

Хочет
Anchen
под венец,
просит Папу
наконец:

— Негг
Коммерции Советник,
уважаемый Отец,
я люблю
Amandus'a
Zappelbaum'a.

Если я
не выйду замуж,
то лишу
себя Ума!

Как завоюет
Von der Kinder:

— Эти Глупости
откинь ты,

Ты уже
помолвлена
с грозным Духом
молнийным
Chogiambofax'ом!
Вытри Слезы,
Плакса! —

И себя он
хлопнул по Лбу,
взял, открыл
большую Колбу,
вынул Пробку —
Дым пошел,
синий,
складчатый,
как Шелк».

¹ Маленькая Анхен, маленькая Анхен, маленькая дочка (нем.).

— Погоди, товарищ Гофман, не довольно ли стихов нам? Нет ли здесь у вас «Известий»? Очень хочется прочесть. Не о том, что вы соврете, а статей и сводок вроде: «Рабселькор, возврат семсуды, резолюцию, протест...»

Врать постыдно и бестактно. Мы стоим на страже факта, здесь наш пост и наша вахта (что рабочим до Камен?). Пыль цветастой лжи рассейте, обоснуйте при газете, где (хотите — поглазейте!) что ни слово — документ.

Лишь раздался звук «газету» — дым пошел по кабинету, зашептали сказотворцы:

— Брик! Брик!

— Бог избавь! —

И во время речи Сени сквозь трубу исчезли тени, стало ровным сновиденье и растаяла изба.

6

*Глава хроматическая,
посвященная симфоническому воздуху
консерватории и радиопередатчикам (-цам)*

Зелено,
сыро
в тихой долине,
долине Лени,
и слабо звенит
в голубом отдаленье
звон мандолин.

В росной траве
стоят пианино,
домры и скрипки,
и пролетают
мимо и мимо
звоны и скрипы.

Все музыка занозила.
Сеня пьяный,
Заиграло сонатину
фортепиано.
Это ведь сентиментальность,
это ж Диккенс!
Я и слушать не останусь,
это ж дикость!
Ах, кончайся, ах кончайся,
сонатина,
ты семейной скуки Чарльза
паутина.

Мышь летучая летает
в пелеринке,
где-то мерзнет, холодая,
Пирибингль.
Кринолиновые ангелы
за лампою —
замерзающая Англия
сомнамбула.
Тише, тише, тише, тише, — домовые на педалях, сонатину оборви,
оборви же, расплети же, вот завыли, напевая — Копперфи-и-и...
Сон
сам
сел
в сонм
сов.
Синь.
До ре ми фа соль ля си.
Кринолиновые ангелы
за лампою,
замерзающая Англия
сомнамбула...
Ты семейной скуки Чарльза
паутина.
Ах, кончайся, ах, кончайся,
сонатина...
В этот тихий,
в этот зыбкий
ход музы́ки
нежной ленью
наплывает утомленье.
Сеня спит,
и, словно громы урагана,
набегает
грохот пальцев барабана...
Зашумели долы
свинцовой вьюгой,
выскользнула флейта
тонкой гадюкой.
Пулемет татакает,
то здесь, а то там он,
фортепьяно топчется
гиппопотамом.
А медные трубы
бросили игры —
желтые львы
и когтистые тигры.
И снова долина, и Сеня в долине,
бредет по долине по колени в глине.

*Молодым эlegantам со складочкой
эту неглаженую главу посвящает автор*

Щиплет, щиплет
ноги снег

(башмаков
у Сени нет!).

Сене слышен
тихий смех.

В снеговой белизне
качаются со смеху
елочки и сосенки,
сдерживают колики:
— Голенький,

голенький!

Как тебе не стыдно?
Все у тебя видно! —
Сеня сдерживает прыть
(Хоть листочками прикрыть!),
и мечты

башку роят,
мыслями выласканы,
вся Петровка
мимо в ряд
пролетает вывесками.

Вот на полках
легкий ситец.

Покупайте
и носите,

и колосья
чесучи

жните,
руки засучив.

Смотрит Сеня,
рот разинув,

на сатин
и парусину.

Издает
восторга стон,

поглядевши
на бостон.

А хозяин — чародей
не чета Мосторгу:

никаких очередей
и без торгу!

— Отдаю
без интереса,

одевай,
 галантерейся,
шалью шелковой
 шаля,
соболь,
 котик,
 шиншиля.
Надевай, малыш,
 корсет,
надевай
 белье жерсе! —
Тащат ловкие
 гарсоны
две сорочки
 и кальсоны.
Неглиже,
 дезабилье.
Сеня — в егерском белье,
на белье —
 четыре майки,
а на майке —
 две фуфайки.
— Мы сейчас
 увяжем вас
в фидешинный
 самовяз!
Денег нечего
 жалеть, —
сверху
 вязаный жилет,
цепь с брелоками
 на брюхе,
черный фрак,
 на шлейках брюки,
туфли лак,
 а сверху боты
изумительной работы. —
Тут хозяин
 лопнул —
 пафф!
Сеня стукнулся,
 упав.
Пуфф!.. —
 и магазин растаял,
в небесах
 платочков стая...
Сеня встал,
 едва дыша:
невозможно
 сделать шаг,

в тесноте
 суконных нут
несомненно,
 десять пуд.
И рукав
 нельзя поднять...
— Западня! —
Хлоп!
 И стукнулся об камень...
— Я в капкане! —
Сеня в плач
 (хгы-хгы).
 Сеня в рёв:
— С горя лягу я
 в темный ров.
И во рву,
 и во рву
волосы
 изорву.

По камням
 кап-кап,
легонький
 и тощий,
на цыплячьих
 лапках
загулял
 дождик.
Расцепил
 кнопки
Сениной
 обновки,
тихо
 и без шуму
распустил
 шубу.
— Сеня,
 не пугайся:
пусть цилиндр
 взмокнет,
развяжу
 галстук,
отнесу
 смокинг. —
Стало легче
 Сене
бежать
 по шоссеиной.

Сене

сны стали
сниться
яснее...
Голубы
дали,
широки
снеги.

8

*Глава игральная,
доказывающая преимущества
полезных и разумных развлечений*

«КТО НЕ РАБОТАЕТ,
ТОТ НЕ ЕСТ!» —

Однако
встал швейцар,
освещен подъезд
казино «Монако».
Сияющий зал.
От ламп круги.

Шарик летит...
Замирай...

Всю жизнь
сумасшедшие игроки
записывают номера.
Ползут морщины
по бледным лбам,
сидят,
толстовки горбя...

«N'est pas la comme за,
a dout la va banque,
chemin de fer,
йcartй,
пур-буар»¹.

Лицом
на граненой люстры
зенит
перевертывается валет,

¹ «Этого здесь нет, помаленьку,
итак, сомненья,
железка,
экарте,
чаевые» (фр., приблизит.).

и секунду лежит
и секунду звенит
баллада
валетовых лет:

«Я должен видеть даму пик
в атласе и плюще,
которой знак сидеть привык
вороной на плече.

Вниз головой, вверх головой
в колоде голубой,
минувших лет эквивалент,
— Monsieur, так вы — валет?!

В цепи нагрудной блеск камней,
берет студента — синь.
О дама пик, приди ко мне
и сердце принеси.

Но в дом развееренных карт
идет, идет король
и на десяток черных карк
с плеча глядит орел.

В кустах пиковых путь тернист.
Сердца горят в лесу.
Удар — бубновой пятерни
бумажному лицу».

П о с ы л к а

— Спасенья... Дама!.. А!.. — И вот
игрок, входя в азарт,
меня в клочки с досадой рвет...
Прощай, Колода Карт!

Сеню обступили:
— Сыграйте! Сыграйте! —
Мечется Семен
в человечесьей ограде.
В углу
китайки и англичанки
руки вымывают
в звенящем ма-жанге:
никакой пользы
от камня чужого —
выкинут бамбук,
объявлено чжоу.

Китаец быстр,
строит систр.
Янки — по-другому:
льнет к дракону,
ветер забракован,
поставит он к
дракону дракона,
объявит конг.

Думает Сеня:
вернуться назад?
Или окунуться
в игру, в азарт?
Сам крупье
по ковровой тропе
идет,
предлагает
место крупье.

— Не смей уходить!
Уходить не смей!
Или играть,
или смерть! —
Широк на крупье
костюм леопардий,
лица звериные вокруг.
(Убьют!)

Сеня предлагает
шахматную партию.
— Можно шахматную.
Ваш дебют! —

Черный крупье
глаз отверз,
восьми пехотинцев
желты контура:
Тура. Конь. Слон. Ферзь.
Король. Слон. Конь. Тура.
Друг на друга
смотрят четы их:

E2 — E4.

Крупье дорога
каждая пядь:

E7 — E5.

Сеня слоном.

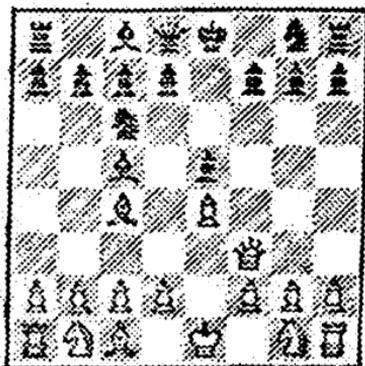
Двинул его
на C4 с F-одного.

Крупье — конем.

Ход есть:

B8 — C6.

Сеня — ферзем.
 Крупье, смотри:
 D1 — F3.
 Крупье — слонем
 идет, озверев,
 на C5 с 8F.



За шапку Семен
 взял ферзя,
 с F-трех
 идет, форся.
 Смотрят все,
 окурки дымят:
 F7
 + и ♚!
 Побледнел крупье
 обличьем,
 с языка
 течет слюна.
 Слон в размере
 увеличен,
 Сеня вполз
 на слона.
 Игроки теснятся.
 — Боже!
 Слон все больше,
 больше,
 больше,
 ширится,
 резиновый,
 дым идет
 бензиновый...

Распирает
стены слон,
стены рухнули —
на слом.
И Семен,
башкой к луне,
уезжает
на слоне.

9

*Глава, доказывающая пылкую любовь автора
к вдохновенным и отечественным лирикам*

Семен себя
торопит,
но вдруг —
сверкнувший луч,
и поперек дороги
журчит Кастальский ключ.

Воды все больше
прибыль,
волны — костяки,
плывут, плывут —
не рыбы,
плывут, плывут стихи:

«Постой, останься, Сеня,
будет злой конец.
Проглотишь, без сомненья,
трагический свинец.

Отец твой кровью брызнет,
и должен он сгореть.
А, кроме права жизни,
есть право умереть.

Он не придет к низине,
поверь мне, так же вот,
как летний лебедь к зимним
озерам не придет».

— Никогда, никогда
я не думал, не гадал,
чтоб могла, как В. Качалов,
декламировать вода! —
А вода как закачала,
как пошла певать с начала:

«Эх, калина, эх, рябина,
комсомольская судьбина.
Комсомольцы на лугу,
я Марусеньку люблю.
Дай, любимая, мне губки,
поцелую заново,
у тебя ведь вместо юбки
пятый том Плеханова».

Ах, восторг,
 ах, восторг!
(Пролетела
 тыща строк.)
Ну, а Сеня
 не к потехе,
надо ж быть
 ему в аптеке.
Город блещет
 впереди,
надо ж речку
 перейти.
Но мертвых стихов
 плывут костяки,
плывут, проплывают
 трупы-стихи.

«Отлетай, пропащее детство,
Алкоголь осыпает года,
Пусть умрет, как собака, отец твой,
Не умру я, мой друг, никогда!»

Стихи не стихают...
 — Тут мне погибель.
Как мне пройти
 сквозь стиховную кипень?

Аптека вблизи
 и город вблизи,
а мне помереть
 в стихотворной грязи!

В то время я жил
 на Рождественке, 2.
И слабо услышал,
 как плачется Сеня,
вскочил на трамвай,
 не свалился едва,
под грохот колес,
 на булыжник весенний.

И где ужас
Семена в оковы сковал,
через черные,
мертвые водоросли
перекинул строку Маяковского:
«год от года расти нашей богрости».

И канатным
 плясуном
по строке
 прошел Семен.

10

*Глава эта посвящается ядам и людям,
ядами управляющим*

В золотой
 блистают
 неге
над людскою
 массою —
буквы
 АРОТНЕКЕ,
буквы
 PHARMACIE.

Тихий воздух —
 валерьянка.
Аптечное царство,
где живут,
 стоят по рангам
 разные лекарства.

Ни фокстрота,
 ни джаз-банда,
все живут
 в стеклянных банках,
белых,
 как перлы.
И страну
 правит царь,
 Государь Скипидар,
Скипидар Первый.
А премьер —
 царевый брат
граф Бутилхлоралгидрат,
 старый,
 слабый...

И глядят на них
 с боков
 бюсты гипсовых богов,
 старых эскулапов.
 Вечера —
 в старинных танцах
 с фрейлинами-дурами,
 шлейфы
 старых фрейлин тянутся
 сигнатурами.

Был у них
 домашний скот,
 но и он
 не делал шкод,
 на свободу
 плюнули
 капсули
 с пилюлями.

— Кто идет?
 Кто идет? —
 грозно спрашивает
 йод.

Разевая
 пробку-рот,
 зашипел
 Нарзан-герольд.

— Царь! —
 орет нарзанный рот. —
 Мальчик Сеня
 у ворот!

Рассердился Скипидар:
 — Собирайтесь, господа!
 Собирайтесь, антисепты!
 Перепутайте рецепты!

Не госсиниум фератум —
 вазогенум йодатум,
 вместо йоди и рицини —
 лейте тинкти никотини!
 Ого-го, ого-го,
 будет страшная месть:
 лейте вместо H_2O
 H_2S !

Тут выходит
 фармацевт:

— Покажи-ка мне
 рецепт!..
Не волнуйся, мальчик,
 даром —
тут проделки
 Скипидара!
Я ему сейчас
 воздам.
Марш по местам!

Банки стали
 тихими,
скрежеща
 от муки,
тут часы
 затикали,
зажужжали
 мухи.

Добрый дядя
 фармацевт
проверяет
 рецепт,
ходит,
 ищет,
 спину горбит,
там возьмет он
 снежный корпий,
там по баночке
 колотит,
выбирает
 йод,
 коллодий,
завернул
 в бумагу
 бинт,
ни упреков,
 ни обид,
и на дядю
 Сеня
 глядя,
думал:
«Настоящий дядя!
Старый,
 а не робкий...»
Вот так счастье!
 Вот веселье!
Фармацевт подносит
 Сене
две больших коробки...

Глава главная

Может,
 утро проворонишь,
 минет час
 восьмой,
 и на лапки,
 как звереныш,
 стал
 будильник мой.
 Грудь часов
 пружинка давит,
 ход колесный тих.
 Сердце
 Рикки-Тикки-Тави
 у часов моих.
 На исходе
 сна и ночи
 к утру и концу
 с дорогой,
 пахучей ношей
 Сеня мчит к отцу.
 С синим звоном
 склянок дивных,
 обгоняя тень,
 но уже
 поет будильник,
 бьет будильник день.
 Но сквозь пальцы
 льется кальций,
 льется, льется йод,
 а будильник:
 — Просыпайся!
 Сеня!
 День! —
 поет.
 Пронести б
 коробки к дому!
 (Льется йод из дыр.)
 А будильник
 бьется громом,
 дробью, дрожью —
 ддрррр!
 Вот и завтра,
 вот и завтра,
 Сеня,
 вот и явь!
 Вот и чайник

паром задран,
медью засияв.
Вот у примуса
 мамаша,
снегом
 двор одет,
и яичницы
 ромашка
на сковороде.
И звенит,
 звенит будильник,
и мяучит кот:
— Ты сегодня
 именинник,
Двадцать Первый Год! —
Видит Сеня —
 та же сырость
в комнатной тиши,
Видит Сеня:
 — Я же вырос,
я же стал большим.
Все на том же,
 том же месте,
только я
 не тот,
стукнул мой
 красноармейский
Двадцать Первый Год. —
Сказка ложь,
 и ночь туманна,
ясен
 ствол ружья...
— Ну, пора!
 В дорогу, мама,
сына снаряжай!
Поцелуй
 бойца Семена
в моложавый ус,
положи
 в кошель ременный
хлеба
 теплый кус.
В хлопьях,
 в светлом снежном блеске —
ухожу в поход,
в молодой,
 красноармейский
Двадцать Первый Год!

1927

244. ПОЭМА О РОБОТЕ

Здравствуй, Робот, —
никельный хобот,
трубчатым горлом струящийся провод,
радиообод,
музыки ропот —
светлым ванадием блещущий Робот!

Уже на пижонов
не смотрят скромницы,
строгие жены
бегут — познакомиться.
У скромных монахинь
в глазах голубых
встает
многогранник его головы,
никто не мечтает
о губ куманике,
всех сводит с ума
металлический куб,
кольчуг — алюминий
и хромистый никель
и каучук
нелукавящих губ.
Уже Вертинский
томится пластинкой,
в мембране
голосом обомлев,
и в «His Maisters Voice»
под иголкой затинькал
Морис Шевалье
и Раккель Меллер:

— В антенном
мембранном
перегуде,
гуде,
катодом и анодом
замерцав,
железные
поют
и плачут люди,
хватаясь за сердца...

Электроды
в лад
поют о чудах
Робота,

свет наплечных
лат,
иголка,
пой:
«Блеск
магнитных рук,
игра
вольфрама с кобальтом,
фотофоно,
Друт,
о Робот
мой!»

И дочери пасторов
за рукодельем,
когда в деревне
гасятся огни,
мечтать о женихах
не захотели —
загадывают Робота
они:

рукою
ждушей
на блюде
тронуты
в кофейной
гуще
стальные
контуры...

Все журналы рисуют
углы и воронки
золотым меццо-тинто
в большой разворот:
эбонитный трохей
и стеклянные бронхи,
апланаты-глаза
и желающий рот.

Шум растет
топотом,
слышен плач
в ропоте
(пропади
пропадом!).

Все идут
к Роботу,

клином мир
в Роботе,
все живут
Роботом!

1

Весь в лучах,
игрой изломанных,
озаренный ясно —
тянет Робот
из соломинки
смазочное масло.

Отвалился, маслом сытенький,
карактицей,
в пальцах
шарики в подшипниках
перекатываются.

И окно
в лицо спокойное
от рождения —
бросило
тысячеоконное
отражение.

И светит медный мир в мозгу
катодно-ламповый,
стук-стук-тире
стекает с губ,
с холодных клапанов.

Берет газету Робот
с неслышным треском искр,
и буква
входит в хобот,
оттуда в фотодиск,
на пленку,
в хобот снова,
и узкий свет горит,
свет
переходит
в слово,
и Робот говорит:

Лон-
дон.

Лорд
Гор-
дон
Овз-
билль
внес
билль
о уууу...
о утверждении бюджета...

Гремит железная манжета,
и Робот
 в злых «аууу!...» стихий,
скрипя, садится за стихи.

По типу счетной машины
в Роботе скрепками тихими
всажены
 в зажимы
комплексные рифмы.

Элемент
 коснется слова
 «день» —
и высказывает
 «тьнь»,
электроды
 тронут слово
 «плит» —
и высказывает рифма
 «спит».

А слова остальные
проходят
 сквозь нитки стальные,
и на бумаге
 строчек линийка —
автоматическая
 лирика:

«Сегодня дурной
 день,
кузнечиков хор
 спит,
и сумрачных скал
 сень
мрачней гробовых
 плит».

И вдруг
ему взбредет уснуть —
в приемник
наплывает муть,
и ток
высокой частоты,
и сон
высокой чистоты.
И в ухо
чернотелефонное
и в телевизидящий
зрачок
вплывает
небо Калифорнии,
снег,
Чарли Чаплин
и еще —
киножурнал,
петух Пате
и пенье флейты
в слепоте.
Дождем
частя,
эфиром
пронесен
в шести
частях
полнометражный
сон.

И во сне
смеется Робот
механический,
грудь вздымая,
как кузнечный мех (анический),
с сонных губ
слетает в хобот
смех (анический).

Робот спит,
забыв стихи и книги,
Робот спит
бездумным сном щенка.
Только окна
отражает
нике-
лированная щека.

Приборы теплятся едва,
свет погасить в мозгу забыли...

И ноги
 задраны,
 как два
грузоавтомобиля.

2

Стальной паутиной —
 радиомачта.
Граммофоны.
 Пластинки.
Трансляция начата.

Роботу шлет
 приказания все
в синем шевьотовом
 умный monsieur.

Коробка
 лак-мороз,
где луч
 и звук
 синхронны,
нить
 фосфористой бронзы
в четырнадцать
 микрон.

И в аппаратную плывет,
то грянув,
 то стихая
продроглый гул
 норвежских вод,
стеклянный шум
 Сахары.

То провод
 искоркой кольнув,
то темнотой
 чернея —
любую
 примет он
 волну,
и Гамбург,
 и Борнео,
и SOS
 мертвящих глыб морских...
Планетным гулом
 обнят,

одной волны —
волны Москвы
принять
не смеет Робот.

Струится пленка
в аппарат —
читает Робот
реферат:

«Болезни металлов,
распад молекул,
идет эпидемия
внутренних раковин,
в больницах
лежат машины-калеки,
опухшие части торчат
раскоряками,
машин не щадит
металлический сифилис —
на Ниагаре
турбины рассыпались...»

Кончилась
лекция.
Monsieur
включает —
с трещинкой —
жанром полегче,
программу
в духе Лещенко.

И Робот идет,
напевая,
пальцы
как связка ключей:

«По улице,
пыль подыма-ая,
прохо-дил
полк гусар-усачей.

Марш вперед,
труба зовет,
чер-ные гу...»

Оборвут на полуслове
песенки тон,
и губами резиновыми
не шевелит он,

пораженный
 чудовищным энцефалитом,
Робот ждет приказаний
 с открытым ртом.

3

Ровно в 7
пунктуально
по Гринвичу,
руки сложной системы
от себя
 потягую
 ринувши,
когда стены коробок
полосой озаряются красной,
просыпается
Робот,
в суставах коленчатых хряснув.

Подымает
 скафандром
 сияющий череп,
на волнистом затылке узор, —
это
родинка фирмы,
фабричный герб
из геральдики Шнейдер-Крезю.

И
 с волны
 золотого собора
переливом колеблемых волн
в ухо Робота звоном отборным
 колокольнею
 вклинился
 Кельн.

Он встает,
 протирает
 мелом и замшей
электрический чайник щеки,
пылесос
рукавицею взявши,
выметает сор и стихи,
и на службу —
 в концерт,
к стеклянному дому
 в конце...

Слышит дом
шага четкого клац,
Робот лбом
отражает
Потсдаммерплац.

Несгибаем и прям,
конструктивно прост,
нержавеющий Робот
ртутною мордой
улыбается
во весь рост
подъяремным
Линкольнам
и Фордам.

По доспехам плывут
вверх ногами прохожие,
и рекламами,
окнами,
спятив с ума —
светлой комнатой смеха
на никельной роже
гримасничают дома.

И на заводе
у крыл машинных —
уже заводят
парней машинных.
В руках —
зазубрины,
поршнями
хрюкая,
впродоль
стены
стоят
безропотно —
кинжалозубые
молоткорукие
цельностальные
ребята — Роботы.

А Робот-люксус,
выпучив «цейсы»,
к воротам завода
прирос полицейским.
(Не оглянувшись
на ворохи дыма,



С. Кирсанов с сестрой Бертой.
Одесса, ок. 1914 г. (РГАЛИ)



С. Кирсанов. Одесса, 1921 г.



Родители С. Кирсанова. 1929 г.



Клавдия Кирсанова, жена поэта. Москва, конец 1920-х гг.
(Одесский лит. музей)



С. Кирсанов. 1930-е гг. (РГАЛИ)



Обложка книги «Слово предоставляется Кирсанову», художник С. Б. Телингатер (М., 1930)



65-летие П. Неруды. Сантьяго, Чили.
М. Луконин, С. Кирсанов, П. Неруда. 1968/69



На вечере к 60-летию С. Кирсанова в ЦДЛ. 1966 г.
Слева — А. Вознесенский



С. Кирсанов. Париж, Дом радио, 1965 г.



С. Кирсанов выступает перед бойцами на фронте. 1942.
(Одесский лит. музей)



Рисунок А. Тышлера из книги «Золушка» (М., 1936)

1872 ки в оди агура не става ги коцу
вурсован, интихти, аде хуче-старили. Во 20
то ки стаю сократи коб истост зетскоу,
вртелно-малчичесто, во всеки бескрестити
пристрастелии коб ведрасте. Не свидати
ки относте к хте или евожу, не ково-
лит себе старинского ревиджуи, праване
а тому го вел гради. Не радност себе брочно
ки повога „индесин“, наподои, заматова
от ие то ково, го она камгоу икоше-
не врешит в пледи. Интисоват в себе
индесе, икак урлоганоста, не белеку не-
вполнимоу желиши. Мошег гди и раскурт,
а ~~т~~ там буде, го буде.

в скорпи не оскорди
в горе не огорди
вруди не катуди

О монтоу спат не лопиет
с унаеом не сдручиче
теому не гедви
бога не боготвори
оуде не о гедки
мадеи не матеи

С сплетило на сплетив
Похота не похит

Затагане

у) зблока

з) винул ззблика

и) ззблика

пусти за облако

а) облако-

игант без облица

рукою из капелек

~~как~~ ~~к~~ ~~т~~ ~~и~~ ~~в~~ ~~и~~ ~~о~~ ~~з~~ ~~з~~ ~~б~~ ~~л~~ ~~и~~ ~~к~~ ~~а~~

1) где не зблоко?

~~Затагане~~

Спок ко!
M1-1-1-1-1-1-1-1-1
TUT кавакел



С. Кирсанов. Конец 1960-х гг. Фото Ал. Лесса

живой
 безработный
 проходит мимо.)

И приторно тянет
 ипритом оттуда,
стекляно-синий
 снят цилиндр,
заботливо
 в баллон
 укутан
нежнейший...
 нитроглицерин.
Им ничего,
 не дышат,
 не люди,
вуалится газ
 у лица
 на полуде.

А вечером
 синим апрелем
к Роботу
 входит
 тонная фрейлейн.

Шапочка —
 наискосок,
с фетра
 вуалинка,
тонкий
 носок
у туфельки
 маленькой.

На цыпочках
 тянется
 к блеску забрала,
и ниточкой-
 ручкой
 железо забрала.

И гуды
 в антеннах
тогда
 принимают
скрипичный
 оттенок
со склонностью
 к маю,
сияющий
 иссиня

доспехами,
 грубый,
он —
 пианиссимо
оркестрится
 румбой.

Пошли
 по трелям
стальные
 ботинки,
и пальцы
 фрейлейн
лежат
 на цинке:

— Пойдем
 глянцевитым путем,
пойдем-пойдем!

Губы
синеватым аргоном,
 румбу
отбивая ступией,
 Робот
танцует спокойно
 с фрейлейн,
травинкой
 степной...

Телевидящей
 синькою
 светит стекло,
и на инее
 цинка
 пальцев тепло...

4

Приемная зала стального картеля.
На глади паркета
ракета луча.
С официальностями не канителя,
сам Шнайдер
с портфелем проходит, ворча.

Напрягся мозг
микрофарад,
контакт механик пробует.

В ноль пять начнется
смотр-парад,
приемка
 новых Роботов.

Шпалером
 стоят орденастые
представители
 павшей династии.

Каски
 шпиц —
Генерал
 оф-Битц,
Генеральный
 штаб —
адмирал
 фон-Папф,
с рекою-лентой
 на груди
фельдмаршал
 граф де-Бомбарди.

Тряся лицо —
 чертеж машин
(проекты
 мин и ядер) —
сам Шнайдер
 примет строй машин,
шутливый,
 старый Шнайдер.

И мимо пиджаков
 пушка зимы светлей,
в Герленовых духах,
 и в золоте затылок, —
прошла украдкой
 леди Чатерлей
и у колонны жилистой
 застыла.

Забыв лесник
(они давно расстались),
ей нужен
Робот
первобытных эр —
орангутанг
несокрушимой стали,
чья сила:

Е,
деленное на Р.

Повернулись головы.
Лорнетки у глаз.
Об пол

 слитки
 олова,
по лестнице
 лязг...

Вдоль по рядам прокатился рокот,
дрогнули

 люстры
 в мелкую
 дробь.

В зал — маршируют — за Роботом — Робот —
паркет

 гололедицей —
 ромб в ромб.

Идут ребята
страшных служб,

в дверях
отдавши
 честь орлу.

А тени дам толпою луж
лежат на глянцевом полу.

— Рыцарской — — ротой — — железных сорок —
— Топорщась — — подагрой — кольчатых — лап, —
— Корпус — пружинит — на плотных — рессорах —
— Свет — — тиратронов — — кварцевых — ламп. —

— На каждом — — Роботе — надпись — «Проба», —
— Лбов — — цилиндрических — свет — — и сверк, —
— Панцири — — в глянце — — Робот — в Робот, —
— Радиоскопами — — смотрят — — — вверх. —

— Сто-ой! —
 (ударил тяжкой стопой).

А белая леди
 мечтает о встрече:
«Когда ж
 я увижусь,
 о Робот, с тобой,
чтоб тронуть железо
 и вздрогнуть,
 и лечь, и

щекой ощутить
ферросплавные плечи.

Захочу —
 заведу,
и нежный
 гагачий
в пастушью
 ДУАУ,
запоет,
 догадчив,
склонившись
 антенной,
он чудный,
 он тенор...»

Она видала видики,
но жить с живыми стало впроголодь,
и лапу
лучшей в мире выделки
рукою замшевой потрогала.

Каждый — — Робот — — проверен — — и вышколен,
Х-образная — — — — грудь — — — широка, — —
 № и серию
 вписывая
 в книжку,
Шнайдер
 обходит
 строй сорока.

— Мерцает — — утроба — — кишечником — — трубок,
— шарниры — — колесики — — — ролики — — стук.
— Напра — — во, ать — два — — повернулись — угрюмо
— светло-зеркальные — — — — сорок — — — — штук.

— Дайте-ка
 общий выдох и вдох! —
кинул механику
 роботов бог,
и разом
 сорок резиновых легких
охнули в хоботы:
 «Хайль! Гох!»

А леди мечтает:
 «Захочу — научу,
и Робот, грубый,
 жестокий такой,

повалит меня
 дивану в парчу
душить
 ревнующей рукой.
И после,
 блестя синевой под утро,
сентиментальный Робот
оперным тембром
 гудит в репродуктор:
«Твой
 до гроба...»

А Шнайдер,
 рукой оттопырив ухо:
«Вот этот вздохнул
 немножечко глухо!» —
сказал и обмер,
 дорожка по коже,
как будто паук
 пробежал рукавом, —
грустно стоит
 на других непохожий
Робот
 номер сороковой.

Пulsирует веною,
 странный что-то,
что-то неверное
 в низких частотах.
Сгорбился Робот,
 вымолвить силится,
не может ожить,
 и стрелка на «стоп»,
но около рта
 морщинка извилистая
(может — небрежность,
 а может — скорбь...).

Светится в прорезях
 лампа сквозная,
и чудится Шнайдеру —
 он по-людски
смотрит презрительно:
 «Я тебя знаю...» —
и тихо пульсируют
 сталью виски.

Завитковый
 соленоид

зеленеет
 локоном,
и лицо его
 стальное
худобою
 вогнуто.

По резине
 глянцевой
у него
 рта
тонко
 жилка тянется,
будто
 доброта.

И Шнайдеру страшно:
 — Выгнать!
 Испорчен! —
Отходит под стражей
к Роботам
 прочим...

Повернули тумблер
 в латах,
между глаз —
вынули
 аккумулятор,
свет погас.

Ни тепла,
 ни рокота,
ничего
 особенного:
вон выносят Робота
забракованного.

Уже —
 ни стихов,
 ни пенья,
 ни гуда, —
и, отражая мерцание звезд,
цельно стальное
 зеркальное чудо
«Бюссинг» повез.

Зал гремит от топота:
 что ни шаг —
 залп!
 Тридцать девять Роботов
 покидают
 зал.

Сплавом стали с кобальтом
 клещи
 свисли.
 Тридцать девять Роботов
 на работу
 вышли.

Чтоб парламент пеплом вытлел, —
 рейхстаг
 сжечь.
 В Спортпаласе черный Гитлер
 держит
 речь.

Блещут фоновугами
 никельного
 сверка,
 зашагали слугами
 Гуго —
 Гугенберга.

Пролетает морем синим
 пылью
 пар,
 облит синим керосином
 Филя —
 ппар.

Черной свастикой железом
 на
 щеке,
 страшной цепью танки лезут
 на
 Же-Хе.

Отливает маслом потным
 морды
 сталь —
 глядя дулом пулеметным,
 Робот
 встал.

Среди старья —
 развинчен
 и разверчен,
 развороченный,
 как труп,
 кошмар, —
 забракованный
 за нечто
 человечье,
 Робот,
 брошенный,
 лежит плашмя.

Робот мертв.
 Ржавеют валики.
 Ненужный Робот
 в грязном стоке
 под грудой жести
 спит на свалке.
 На нем цветет
 узором окись...

Кто б
 знал!..
 Вороны,
 каркая,
 над свалкой пролетали,
 и мимо —
 так как пицци не увидели.
 А мелкие,
 блестящие детали
 раскрасили
 юные радиолюбители.

Медь зеленеет
 и пятнится,
 как
 осенний мох
 под палую березою.
 И чудный панцирь
 разъедает рак,
 железный Cancer —
 трупная коррозия...

Осколки ламп
 раскинуты пинком,
 и руки врозь,
 забывшие о жесте...

Спи, Робот,
спи,
прикрытый,
как венком,
обрезками
консервной
жести!

7

Запахом пороха
воздух тронут.
У пулеметов
лежим по два.
Траншеями изморщивен фронт.
Высота 102.

Темнеет.
За спиной — Республика.
Шинель у ног.

Комрот молоденький
(три кубика)
глядит
в бинокль.

И в шестикратных
два круга
в деленьях накрест
вплыл курган.

Сначала
туманен и матов,
резче,
и вблизился в круг
рак
в защитных латах,
вытянув
лопасти рук.

Сумерки. Холм извилист...
Из-за пригорка
вылез,
сузив мерцанье линзы,
вытянув черный хобот,
глянув глазами слизней
стопочервячный
Робот.

— Встааа-вай!..
— К пулеметам!..
(А вы пока
телефонируйте в штаб полка:
у речки Суслонь замечен отряд
бронированных, страшного роста;
ждем приказаний...)

С кургана
 подряд
приподымались
 количеством дó ста
вооруженные
 до подошв,
лоб
 по графам размечен.

Птица упала
 с облака в рожь,
в обмороке
 кузнечик.

В атаку ли
 ринуться?
Ждать?..
 Наступать?..
— Прицел одиннадцать!
 Це-лик пять!..

Из-за кургана
вполоборота
выходят,
 баллонами
 плечи сутуля.

Очередь грохота...
 Не берет пуля...

Пружиня в рессорах,
 пулей не тронуты,
как ящеры
 в проволочном лесу,
пошли — гипнотически — двигаясь — роботы,
свинцовые
 лапы
 держа
 на весу.

— Орудия... огонь! —
 шарахнулся взвод.

Шепот цепочкой: «Лечь...»
Но и снаряд
отклоняется от
странно мерцающих плеч.

Идут,
расползается газовый запах,
идут
на гусеничном ходу.
Как паровозы на задних лапах,
идут,
несут беду.

Слизисто сиз люизит,
полполя
дыханием выжгли.
Маску сжимая, шепчет связист:
— Телефонограмма...
Держитесь...
Вышли...
Сейчас... (захрипел).

Из Бобриков
вылетели,
запрятавши в сталь
дизелей сердца,
из куска монолитного
будто вылитые,
топыря когти
хватательных цапф,
сто самолетов.

Беда!
На морде у Робота рупор,
пулеметною речью
орущий вокруг...
Ложится зарево
на лица трупов,
на крючья хватающих воздух рук.

Вытянув клещи чудесной закалки,
шагают
в рост колоколен.
Пунцовые!
В зареве!
Как при Калке!
Как на Куликовом!

Сквозь вихрь
напролом
аэро стремятся,
звезда
под крылом —
комсомольским румянцем.
Самолет
показался,
жужжа мириадами ос,
когти расправил,
полетом
бреющим снизьясь,
рванул одного,
схватил на лету
и понес
когтями железными —
Робота
в дымную сизость.

Ночь.
Забилась в кусты перепелка.
И Робот гудит
в железной руке,
как летучая мышь
вися в перепонках
в белизне
осветительных ракет.

А когти аэро
впиваются в латы,
как рука шахматиста
хватает ферзя, —
напрасно!
Идут и идут автоматы,
прожекторным светом
качая глаза.

Их ноги
хрустят
по мертвым и раненым,
уже показались
в горящем лесу,
ворочая тысячевольтными гранями,
свинцовые
лапы
держат
на весу.

Остановилось метро.
Воздушка повисла.
Стали автобусы.
Ни одного пассажира.
Город застыл, полумертв.
И только, вытянув дыма перо,
аэро над городом мчитя к сияющей пропасти
и на вокзале
татакает пулемет.

Уже
у магазина Смита и Верндта
висит афиша:
«Правительство свергнуто.
Исполнительный Комитет».

На площади Мира
четыре трамвая лежат.
Мимо витрины шляп
провели арестованных полицейских.

Ночь пришла.
По звездам
прожекторы тянутся,
и, гильзами выстреленными соря, —
уже! —
занимают радиостанцию
вооруженные слесаря.

Уже ревком
добивает войну
и, дулом лоб кольнув,
уже говорят радисту:
— А ну,
переведи волну.

«Маузера» у monsieur в висках:
— Давай-давай! —
Под надписью «Робот»
распределительная доска,
и тихо ворчит мотора утроба.

Товарищ
в доску ткнул сгоряча, —
monsieur под маузером залихорадило.
— Не мешкать! —
и вниз опущен рычаг,
управляющий Роботами по радио.

И на фронте,
оступившись в траншею,
Робот мотнул
пневматической шеей.

Широкие пальцы
из никеля
скрючились...
и сникли.

Будто кровь
подобралась под угли —
прожектора
потухли.

Заворчав
глухой утробой,
будто заспанный —
стал отваливаться Робот
на спину.

Замолчал на морде рупор,
замотались хоботы,
повалились
к лицам трупов Роботы.

Помутнела линза глаза,
искривились челюсти,
и последний
выдох газа
низом тонко стелется.

Их радиаторы стынут.
И стынут
с подбородками-ямочками винты.
И уже мы стоим
на сияющих спинах,
наворачиваем бинты.

Утро легло
лиловатою тенью,
и солнечный блик
по Роботу — вскользь...
И птица
села ему на антенну,
и суслик
в ухо вполз.

К цветастым клумбам и траве
песочком тропок
приходит с лейкой в голове
садовник Робот.

Доспехом света,
идет —
 быстрорукий,
на травку
 летят
распыленные струйки.

Подходят детишки, —
 Робот —
 добрый —
дает им потрогать
 и локоть
 и ребра.

По Москве
 в большом количестве —
ходят слуги
 металлические.

Вот —
 метлу держа в ладонях —
с тротуара ровного
пыль сосет
 высокий дворник,
весь никелированный.

Железный
 полон лоб забот —
пылицу
 вытянуть,
на лбу клеймо:
 «МОСРОБЗАВОД,
 511».

Гуднули машины,
 пахнули булочные,
и Робот
 другой —
в стекле
 управляет
 движением уличным,
блестя рукой.

— В Маяковский проезд
проехать как? —
Робот
слов не тратит.
Карта Москвы
на стеклянных руках,
и стрелка снует
по карте.

А вот и столовая.
Зайду, поем
после писания
трудных поэм.

Столы стеклянные стоят.
Блестя щеки полудой,
эмалевый
официант
несет
второе блюдо.

От него
не услышишь:
«Как-с и что-с,
сосисочки-сс,
слушаюсс,
уксус-с
нету-с...»

Безмолвный Робот
качает поднос,
уставленный
феерической снедью.

И в мраморе бань,
потеплев постепенно,
Робот исходит
мыльной пеной.

Ноготки
у Робота
острее
лезвий «Ротбарта».

Станьте вплотную —
Робот ручьистый
вытянет
бритвы ногтей,

он вас помоеет,
побреет чисто
и не порежет
нигде.

На вредных
 фабриках красок
хлопочут
 протертые насухо —
Роботы
 в светлых касках,
без всяких
 и всяческих масок.

Ни гарь,
 ни газ,
 ни свинцовая пыль
отныне
 людей не гробят.
Железной ногою
 в шахту вступил
чернорабочий Робот.

В вестибюле театра
 у синей гардины
ждет металлический
 капельдинер.

Светло-медные дяди
 торчат в коридорах,
и на водку
 дядям не платят —
человеческий труд —
 это слишком дорого
для метлы
 и хранения платья.

И куртку мою,
 и твою шубку,
когда
 в вестибюль мы входим оба,
снимает
 и вешает нежно на трубку
вежливый гардеробот.

А ночью,
 склоняясь над коляской —
нянька
 на тонкой смазке, —

Робот,
задумчив и ласков,
детям
баюкает сказки:

«Жил да был
среди людей —
берень-дерень
Берендей,
бородатый
чародей,
чародатый
бородей».

На нем колотушки
и бубны висят,
а если ребенок
орет —
пластмассовый палец
кладет пососать
с молочною струйкою
в рот!

На перекрестках
гуляющих
тысячи.
Сидит со щетками
Робот-
чистильщик.

— Почисть,
дружище,
да только
почище!

И чистит Робот,
и бархоткой
водит,
и щетку
по гляncу
торопит,
и даже мурлычет
по радио,
вроде:
— Ехал
на ярмарку
Робот...

Если дверь
откроет Робот
вам в семье —
это вас
не покоробит,
вовсе нет.
В дверь
спокойно
проходи-ка,
запах
смола, —
это
домороботиха
моет
пол.

Метлюю и бархоткой
шибче шурши нам,
ты моешь,
метешь
и варишь —
живая и добрая
наша машина,
стальной
человечий товарищ!

1933

245. ЗОЛУШКА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Золушка была бедна,
Золушка жила одна,
корка на воде горька...
Мачеха была карга,
отчим — скупой и злой.
Золушка была бледна,
платице из рядна,
выпачканное золой.

Золушкины сестры сводные
жили веселые, жили свободные.
Вороными качали челками,
шили платья — пчелиный пух,
и на плечиках плюшем шелковым
лопухом раздувался пуф.

А у Золушки
ни ниточки,
ни кутка, ни лоскутка,
из протертого в сито ситчика
светит яблоко локотка.

Ничего,
кроме глаз тепло-карих да рук,
ни кольца, ни серьги даровой,
ни иголки заштопать дыру,
ни чулка, хотя бы с дырой!

Ничего у нее:
ни червонца в платке,
ничегосподи нет в ларце,
ничевоблы у ней в лотке,
ничевоспинки на лице...

Только золото тянется вдоль ушка,
из сиянья плетеное кружевце...
На дорогу выходит Золушка,
кличет уток — и утки слушаются.

Воробьи по-немецки кричат: «Цурюк!» —
и находками мелкими делятся,
черный уголь от ласк Замарашкиных рук
самородком горящим делается.

И в саду на шесте
деревянный ларец,
и в ларце
чистит клюв
оловянный скворец.

Он личинок ловец, говорун и певец
и недолго живет на шесте, на гвозде;
как махнет за моря Замарашкин скворец,
навезет новостей, новостей, новостей!

Нарасскажет того, чего глаз не видал:
где какая земля, где какая вода...
Размечтается Зойка над жестью ведра,
и слезинка у карего глаза видна.

А из комнат высоких доносится зов,
будто грохнулась об пол вьюшка:
— Да огло... да оглохла ты, что ли, Зо-о...
запропастилась, дрянь... лу-ушка!

У шкафа дубовосводчатого,
у зеркала семистворчатого
примеряют сестры лифчики,
мажут кремами свои личики.

И, как шуба, распахнут тяжелый шкаф,
где качаются платья-весы,
сестры злятся и топают:
— Золушка!
Шпильку дай, булавку неси!
Положи на личико
ланолинчика!

Входит отчим,
осанистый очень,
в сюртуке — английский товар,
он усами усат,
любит волос кусать —
черновязкий фиксатуар.

Отчим шубу берет из дубовых берлог,
и перчатками лапищи сужены,
раззвенелся на белом жилете брелок,
на жене — разблестелись жемчужины.

А у Золушки
ни корсажа,
ни цветка в волосах,

только траурным крепом сажа
по лицу — к полосе полоса.

Глянет мачеха — сразу в пятки душа
(провинилась, ну что ж, приборей-ка!).
Ущипнула за щеку подкидыша:
— Тоже хочешь на бал,
плебейка!

Ну, чего засмотрелась? —
Зубов перебор
клавиатурой на падчерицу:
— Марш на сундук, пшла в коридор.
Осторожно,
можно запачкаться...

Разбери, говорит, чечевицы мешок!
И пошла, волоча оплывающий шелк,
сестры, плюшем шурша, отчим, палкой стуча...
Стеариновым шлейфом оплывает свеча.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Налетела копоть на́ волос,
тень
у щек,
а зерна и не убавилось —
тут
мешок.

Чечевицы — небо звездное,
в миске —
горсть,
прилетает ночью позднею
птица —
гость.

Тонкой струйкою крутится копоть свечи,
Замарашка устала — на корточках...
А скворец со двора осторожно стучит
коготком в кухонную форточку.

Он летал высоко в облаках дождевых
и обратно — дорогой привычной...
— Что за новости, скворка? — А он:
— Чив-чивик! —
голосок у него чечевичный.

Не видала Золушка ничего:
ни сияющих гор, ни воды ключевой —

ничего! —
ничевод ключевых, ничеволков лесных,
ничевоздуха дальних морей,
ничевольности,
ничеВолхова,
ничевольтовых дуг фонарей!

Он к Золушке никнет,
садится на руку,
крылами повиснув,
головкой ведет,

то флюгером скрипнет,
то мельницей стукнет,
то иволгой свистнет,
то речь заведет.

Картавит ласково
гортань скворца:
— Я летал до царского
дворца,
да не встретил царь
скворца.

Кипарис густой
в синь воздуха —
это будет твой
дом отдыха!

— Ты придумаешь, скворец,
сказки-странности,
от рассказа в горле резь,
сердце ранится...

— Я крылом лавировал,
видел
над страной
твоего
милого
на птице стальной.

— Эта выдумка, скворец,
в сказке скажется.
Если что со мною свяжется —
грязь да сажица...

А скворец в высоту
вновь торопится:
— Мне лететь на свету
по-над пропастью!

Коготком по плечу:
— Не забудь по́вести.
Ну, пора — лечу!
Привезу новости!

Через фортку прыгнул скворка
с песней-вымыслом...
Утомилась, — нету мыла
даже вымыться.

Два лица из рам недобрые —
это отчим и жена.

Сидит Золушка над ведрами,
чечевица вся разобрана
до последнего зерна.

Месяц выкатился мискою.
Ночь.
Черно.
Не разобрано бурмитское
звезд
зерно...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Чечевица скатилась — зернышко,
капля с крана упала в сон.
Ничего не видала Золушка,
а заснет и увидит всё!

Вся забава у ней — руки в сон потянуть,
утомиться, уснуть и во сне утонуть.

Ноги сонные вытянуть
на простынке из ситца...
Что вчера не довидено —
то сегодня приснится.

Смотрят синие ведра,
веник с вьюшкой беседует.
Сны у Зойки с досмотром,
с «продолжением следует».

Кружка шепчется с хлебною коркой,
печь заглядывает под ресницы.
Всё, что Зойке рассказано скворкой,
то и снится,

то и чудится,
то и кажется:

то Жар-птица, то карлики в дремлющей сказке,
то махнет самобранкой Шахразада-рассказчица.
Сны туманные, сны разноцветной раскраски!

Чудится
Золушке:
в красном
камзолишке
принц! Шелестит шлейф, газ!
Лайковой
лапою,
перистой
шляпою —
пусть закружит вальс вас!

Перьями,
павами,
первыми парами...
Из-под бровей жар глаз!
Зала-то!
Зала-то!
Золотом
залита.
Только с тобой весь вальс!

Кажется,
светится,
снится,
мерещится...
В снег серпантином занесена,
не просыпается;
и осыпаются,
сыплются,
сыплются
блестки
сна.

Возвращается с бала мачеха,
шубу меха морского сбрасывает;
лесным запахом руку смачивая.
— Кто понравился? — дочек спрашивает. —
Кто гляделся на вас?
Кто просился на вальс?

Как волны, взбегают по дочкам воланы.
— Нам нравится принц, загадали мечту.

— Ой, в ухе звенит! Исполнение желаний —
у принца мильон на текущем счету!

Сестры кружатся, а у отчима
вся манишка вином подмочена.

Много съедено ед,
расстегнулся жилет:
— Мне икается! — засутулился. —
Поскорее, жена,
мне пилюля нужна —
золочёная — доктора Юлиуса!

Пообвисли усы:
— Поскорее неси!
(Подбегает к аптечному улею.)
Нездоровится мне,
а пилюли-то нет!
Замарашку пошли за пилюлею!

Спится Золушке крепко
(а принц на пути
держит туфлю железными пальцами),
видит сон и боится, что будут будить,
так боится — не просыпается.

Спит,
упали на лоб золотинки,
улеглись ресницы в ряд,
прикорнули волосик к волосику,
на затылке спят.

Капля стукнуть боится,
а около мусора
сон тараканы обходят, ползя.
Струйка песчаная волоса русого
тихо,
часами течет на глаза.

Дверь гремит на петле,
половица скрипит,
злая мачеха туфлю хлопнула:
— Зойка, в город беги
да пилюлю купи! —
ткнула грошик в ладошку теплую.

Поднялась, не поймет,
на щеке сонный шрам,
сном ресницы в наметку зашиты,

и в мурашках рука — не удержит гроша.
Смотрит, ищет у ведер защиты:
— Я не знаю, куда...
Не была никогда...
— Ну, иди!
(Подтолкнула и вытолкала.)

Опустилась и щелкнула щеколда,
синим снегом осыпалась притолока.

Стало щеки снежинками щекотать,
бить в ресницы осколочками стекла.

Стала вьюга над Золушкой хохотать.
Ледяным стеарином стена затекла.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Холодно. Холодно!
В небе — дыра!
Сахаром колотым
хлещет буран.

В уханье, в хохоте
кружится кольцами,
сахаром с копотью,
звездами колется.

Что это?
Чудится?
Страшное!
Снится?
Больно
на стужище
в легоньком ситце!

Снегу-то! Снегу-то!
Валится, стынется...
Некуда, некуда
броситься, кинуться.

В Золушку дышучи
тучами ужаса,
кружится, кружится
мачеха-стужища!

Почему коленка стала
медленно белеть?

И мизинец, весь в кристаллах,
перестал болеть!

В хохоте холода
волчье ауканье:
— Голодно! Голодно!
Ногу мне! Руку мне! —

Блеском зубищей
скрипнет и лязгнет:
— Запахом пицци
кто меня дразнит? —

Серый волчище, бедный волчище,
в шкуре-дерюге старый волчище
по снегу ходит, по лесу рыщет,
вкусного, теплого, свежего ищет.

Золушка — к волку,
у ельника он.
Видно, что долго
не ел никого.

Просит у зверя
поласковой:
— Замер-мер-заю,
глотай скорей!

Зубом залязгав,
на цветики ситца
каторжным глазом
волчище косится.

Чем себя мучить
с мачехой злючей —
броситься лучше
в зубы колючие!

— Съешь меня, серенький! — волка зовет.
Как втянет волчище голодный живот:

— Какой с тебя толк?
Не такой уж я волк!

Сама ж голодна —
пушинка одна.

Что тебя есть?
Что в тебе есть?

Топнула тапочкой:
— Хуже тебе ж!
Красную Шапочку
съел же — ну, ешь!..

Скрипнул волчище,
зубы сцепя:
— Поищем почище,
не хóчу тебя!

Жалостно что-то,
грызть неохота!
Иди подобру-поздорову
лесом, через дорогу!..

Хлопнул хвостищем да прыг через пень, —
самая синяя, сонная, санная
зá полночь звездами тянется тень.

Увальнем в валенках, снег набекрень,
хлопьями, глыбами, пухлыми лапами
ночь обнимает края деревень.

Золотом брызнуло — луч на стекле!
Стало светлей, стало теплей.

Ветер махнул —
город пахнул,
в ворот жара —
город — гора!..

Уплыли верстовые кольшки,
приплыли мостовые к Золушке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Заблудилась Замаршка в городе.
Горит золото на бычьей морде,

то часы сияют шире месяца,
то очки, стеклом синяя, светятся,

то, прическами в окне увенчаны,
восковые парикмахерские женщины.

К окнам золото ползет сусальное,
завитые булки лезут нá стены,

мостовые, как рукав, засаленные, —
так колесами они залащены.

Башни к башням, стрелки циферблатятся.
Оборвали ей единственное платице,

затолкали ее локти драповые,
автобусы напугали, всхрапывая!

К старичку бежит она, к прохожему,
на хорошего, на доброго похожему:

— Где тут, дяденька, такая улица,
где пилюля продается — Юлиуса?

Шляпу дяденька снимает с проседи
и на улицу показывает тростью:

— Проходите по прямой,
вправо улицей Хромой,
влево площадью Победой,
параллельной этой,
перпендикулярной той,
а там спросите...

Затолкала Золушку
улица,
наступила на пальцы сотней подошв —
не нырнешь, не пройдешь!
Шины вздула, гудя и освистывая,
табачищем дунула,
обернулась — плюнула
на плечо Замарашкино ситцевое.

А за шумным углом —
удивительный дом,
и, грозу водопадную ринув,
проливным, водяным
засияла стеклом,
как тропический ливень, — витрина!

Потонула в окне
Замарашка.
Стекло донебесной длины
волнуется, мир омывая,
а вещи плывут под стеклом проливным
в шатры габардина и фая.

Перед блеском
год —
можно выстоять!
Книгой Сказок
вход
перелистывается.

И с прозрачных дверных страниц
сходят дамы, как чудеса,
черный грум кричит: — Сторонись! —
их покупки горой неся.

В мех серебряный вкутан смех,
туфли ящерицами скользят.
Губы мачехины у всех,
злые мачехины глаза...

Носят чуда кружев и прошв,
а у Золушки — только грош,
только грошик, и то не свой.
Хоть платочек бы носовой!

Духов
дыханье близкое,
ангорский
белый пух.
Стежарусом
обрызгивая,
бегут,
спешат в толпу
брезгливо
мимо Золушки
полою расшитой,
мимо
намозолившей
глаза им ницетой.

«Фи!
какая бедная,
Пфуй!
какая бледная,
ТЬфу!
какая нищая.
Конечно,
раса низшая.
Тоже ходят,
разные,
в оспе,
в тифу...»

Наверное,
 заразная!
Фи!
Пфуй!
Тьфу!!»

Мордой соболя злится мех,
туфли ящерицами скользят...

Губы мачехины у всех,
злые мачехины глаза.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

А в витрине проливной, где батистом плещет,
зашуршали, замечтали, зашептались вещи.

Молоточком динькая, анкером затикав,
часики с будильником секретничают тихо.

Будто в детском чтении, перед пудрой робкой
снял флакон с почтением радужную пробку.

Вещи стали множиться, побежали ножницы,
лента шелка выползла и свилась в венок.

Стали реять запахи, стали прыгать запонки,
сросшеюся двойней подковылял бинокль.

Первым в этой публике было слово туфельки:
— Видите ли Золушку там, у окна?

Пусть она без устали и возится с помоями —
красивая, по-моему, и славная она!..

— Да,
 да,
я это заметила! —
туфельке ответила
пахучая вода.

— Вы подумайте, сестры, —
сказал туалет, —
ведь на Золушке
 просто
ничего из нас нет!

— Это ясно,
дорогие,
мы ж такие
дорогие!
Как за нас платят? —
удивилось платье.

— Я вот стою,
например,
двести сорок долларов!

— Да, — сказала парфюмерия, —
это
очень дорого.

Туфля охнула всей грудью:
— Ох,
быть может,
никогда у нас не будет
Золушкиных ножек...

Стеклянное озеро —
циферблат, —
часики Мозера
затикали в лад:

— Хорошо бы так это
часовой пружинкой
перетики-такиваться
с Золушкиной жилкой!

Но корсет, шнуровку скривив,
заявил:
— Я к худым не привык;
мне нужна пошире,
а эта худа,
не в теле и не в жире,
куда, куда!

Вещи все,
услышав это,
отвернулись от корсета.

— Мы еще докажем, —
зашуршала шаль, —
не видать под сажей,
как она хороша!

И самое лучшее
банное мыло
обложку раскрыло
и заявило:

— А если
я еще
смою сажицу, —
самой сияющей
она вам покажется.

Рисунок суживая,
заговорило кружево.

Стали в круг
юнцы-флаконы
и меха поседелые
из почтенья
к такому
тонкому изделию:

— Еще ниткой я была, помню — спицами звеня,
кружевница Сандрильона выплетала меня.

В избах Чехии зимой, за труды полушка,
вам узоры вышивала девка Попелюшка.

Мелкий бисер-чернозвезд, чтобы шею обвить,
Чинерэнтала в углу нанизала на нить.

Ашенбрედель лен ткала, вышила рубашку,
кожу туфелькам дубила Чиндрелл-Замарашка.

Всё забеспокоилось,
всё заволновалось,
туфелька
расстроилась,
с чулком
расцеловалась,
перчатки из замши,
ботик
на резине:
— Как мы это раньше
не сообразили?!

Шелковое платье
шепнуло кольцу:
— Кольцо,
как вы считаете,

я Золушке
к лицу?

Сползают вещи
с полочки
с шелестом,
с гуденьем:
— Скорей
бежимте к Золушке,
умоем
и оденем!

И по витринной комнате
пошло гудеть:
— Идемте!
Идемте!
ее приодеть!

Кружево —
часы за ремешок
берет:
— Товарищи!
К Золушке!
В стекло!
Вперед!

Но только тронулись —
уже наготове
задвигжки,
замки,
засов на засове,
крючками сцепились:
— А ну, товар!
(Лязг зловещий.)
— Осади на тротуар!
В витрину,
вещи!

Ключей американских лязг и визг:
— Назад, пальто! —
Волнистое железо упало вниз.
— Заперто!

На двери и вещи решетка налезла,
оттиснули туфельку — не стало стекла,
конец водопаду —
висит из железа
гофрированная скала!

А улица туманом сглажена,
и небо всё в замочных скважинах.

Всё заперто ключами-звездами.
— Забыла, загляделась, поздно мне!

Полоска кровавая с запада.
— Что будет, если лавка заперта?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Микстурой синею шары наполнивши,
аптека, в инее, света до полночи.

В облатке золота, на ватке — вот она! —
пилюля желтая, пилюля йодная.

Змея рисуется над чашей площади,
лежит Пилюлиуса ценою в грош один.

А у Золушки в ладошке
только дрожь...
Вспомнила о грошике.
Где же грош?

Стынет синим светом
стеклянный шар,
грошика-то... нету!
Нет гроша.

Где ты? грошик? грошик-хорошик! —
ищет грошик в снежной пороше,

обтрогала платье,
за шагом шаг
шарит по асфальту —
нет гроша!

Был орел на гроше — гербовые крыла,
две змеиных главы, держит землю рука,
на ладошке оттиснулся след от орла,
побежала к реке, потемнела река.

Смахнула с ресницы соленую блестку.
Мост. А внизу
уносит река Замарашкину слезку
в море, в большую слезу.

Прибьют за грош, замучают,
вот так, ни за что...
— Домой ни в коем случае,
ни
за
что!

Как тилиснет плетки замах —
с глаз искра:
— Где пилюля? Сама
всю сгрызла?

— Я... шла... несла... вот... тут... в руках,
и вдруг... не зна... не знаю... как...

Вы не бейте меня,
не ругайте меня,
если я вам надоела,
так отдайте меня!

— Молчать, побирушка, глаз не мозоль,
в угол пошла!

Становись на соль!
(Промерзлой коленкой на острую соль,
крупная соль —
соленая боль.)

— Читай «Отче наш»! — Солона слеза,
Кристаллы колючки подкладывают.
В колено вгрызается злая сольца,
вприкуску коленку обгладывает.

— За медную мелочь,
за крошечный грош...
Ой, что же мне делать? —
А мачеха: — Врешь!..

— Домой не годится,
нет,
не домой!
Речная
водица,
боль мою
смой!

Не быть мне невестой,
не быть мне женой,
прощай ты,
железный
мост кружевной!

Услышав, раскрылся
мост разводной
и в ситец вцепился
рукою одной.

Рукою вразмаху
раскрывшийся мост
поднял Замарашку,
на снег перенес.

— Я жить не хочу,
я жить не могу!
Разрежь меня сталью,
трамвай, на бегу.

Начнут из меня
веревки вить,
нет мочи на свете
у мачехи жить.

Рельсы гудят,
стонет земля,
под фонарями
четыре нуля.

Вздогнули рельсы,
крикнула сталь,
трамвай раззвенелся:
— Встань,

встань,
встань!

Ручку
на «стоп»!

Тормоз
вбивай!

Задохся и как вкопанный
встал трамвай.

— Не хочется жить,
не можется жить,
за ядом в аптеку —
схватить, проглотить!

Аптечная улица,
шары стоят...
— Доктор!..

Юлиус!

Дайте...

яд...

Сейчас глотну
щепотку одну...

(Глотнет, и конец!
Упадет, и конец!..)

Но с крыши, картавя, слетел скворец,
слетел и щепотку смахнул скворец:

— Чур, чуррр...
я тебя научу
заговору железному
против оборотней.
Скажешь —
кожу лягушка сбросит,
молодцем обернется.
Скажешь —
камни по-птичьему запоют.

Скажешь —
хлебами румяными спустятся тучи.
Скажешь —
порохом брызнешь,
мачеха склизкой гадюкой забьется,
сестры выскользнут змеями,
орлом-коршуном отчим взлетит.

Слово-заговор скажешь —
пули обратно уйдут
в руду.
Медные грошики
в грязь,
в янтари отольются
отравы...

Высыхают у Зойки слезинки у глаз,
трется об щеку скворка, картавит.

И у Зойки на сердце спокойно:
отошло, отлегло.
Небо месяцем светит, большое такое,
черным-светло.

Так спокойно
Снегуркой пошла не спеша,
ни зверюга, ни вьюга не встретятся,
а где заговор вышептал скворка с плеча —
светом месяца
плечико светится.

Всё гуще светляки хрустальные,
снежинки на плече оттаивают.

Выходит Замарашка за город,
и в памяти не тает заговор.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Доведу ее до плача я! —
говорит сестрица младшая.

— Плеткой спину пощекочем! —
шевелит усами отчим.

— Уж замучаю, расспрашивая! —
говорит сестрица старшая.

— Я линейкой по рукам! —
шевелит губой карга.

— Без пилюли придет, уж мы-то ее —
так и сяк!..
Неодеванные, невытые,
ждут, глядят на дверной косяк.

Все нечесаные, ходят с оглядкою.
Утро в полный свет.
— Что-то долго нет...

А дорога хорошая, гладкая —
вьюги нет,
волка нет...

Как завидел Золушку
с крыши дым,
замахал платком дымовым,
соскользнул в дымоход
до горящего дна,
сообщил огоньку:
— Замарашка видна!

Дым, как лифт, поднялся в дымовом ходу,
а зола сквозь решетку мигнула коту.

Страдиварием-скрипкою выгнулся кот,
вымыл личико кот для приличия
и, подсев у окошка на черный ход,
заиграл большое мурлыччио.

Воробы построились в ряд,
утки вышли, как для парада,
флюгер вертится — страшно рад,
ходит форточка — просто рада!

Под босыми ногами расквасился лед,
ходит рядом весна с Замарашкой.
Замарашка пройдет — и ромашка цветет,
василек спешит за ромашкой.

Лишь в окне у карги два чертячьих рожка —
не цветы, а раки и крабы.
Кактус тянется к Золушке из горшка
бородавчатой лапою жабы.

Распахнулись настезь двери,
кошка выгнулась дугой,
зарычали, заревели
отчим с мачехой-каргой:

— Где лекарство?
Будешь бита, —
ждет посуда,
ждет корыто.
Стол не убран,
хлеб не спечен,
холст не соткан,
дочь не сыта,
пол не чищен,
грязь не смыта, —
бита будешь,
будешь бита!..

Лают болонки,
крысы теснятся...
Золушка стала
шагов за семнадцать,
взглядом окинула,
прядку откинула,
слово сказала,
как порохом кинула:

«Мачехи,
мучихи,
падайте
в муть!
Жилушки
Золушки
будя

тянуть!
Чур меня,
чур —
оборочу
пулю в пыль,
муку в муху,
деньги в льдинки,
жадность в жабу.
Ягу в уголь,
зло в золу,
сестер...»

Глянула Золушка на сестер:
скулят жалостно, по-сиротски,
кулачок слезу по щеке растер,
обернулись платочками розги:

— А нас-то зачем?
За дело за чье? —
Укрылись одним полушалком,
дрожат, растрепались, и слезы ручьем —
и Золушке сестер жалко.

— Ты же добренькая, разве тронешь кого,
наша Золушка, наша сестреночка...

Жалко... Чего поминать, что было?
— Кто зло помянет... (Зола... зло...
дай памяти... щель... Кощей... позабыла!)

Тут руку арапником как обожгло,
как свистнет над Золушкой розга карги,
как ухнет обухом отчимов окрик,
и сестры как... хват! за обе руки,
скрутили и Золушку — в погреб.

Втолкнули и замкнули в погребе,
веревки впились в руки до крови.

А скворка всё услышал издали,
помчался — Замарашку вызволить.

Сзывает он, теряя перышки,
товарищей на помощь к Золушке.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Темен погреб — ни окна,
плачет Золушка одна...

В сале вымазав усы,
засновали ноты «си»,
ноты «си» — рота крыс,
не свечное сало грызть —

шевелиятся усики,
лапками сучат,
мачеха науськала
Золушку помучить.

Тяжело железо входа,
цокнул в стену клювом кто-то:
— Это я, скворец, тут, тут!
А со мною мой приятель,
золотой зеленый дятел,
долбит щелочку: тук-тук.

Вышла рота пауков,
лапа длинная — укол,
к Золушке идут они
стрелками минутными.

В полосатом кителе
поручик паучий.
Головогруды вытянули
Золушку помучить.

— Потерпи еще немного, —
летит дятлу на подмогу
с длинным клювом журавель... —
Дятел щелку пробуравил,
а товарищ мой журавль
слово всовывает в щель.

Ногу вытянул паук.
Зажужжала стая мух.
Летят они, ползут они,
цеце и злыдни-зудни,
рыжие пуза, —
вылетели тучи,
завели игру —
Замарашку мучить.

Сыплют глиной кирпичи на
клюв журавки перочинный,
слово лезет в щель стены:
— Ухвати за запятую,
тяни букву завитую,
слово-заговор тяни!

Ухватилась крепко
за слово ногтями,
буковку, как репку,
тянет-потянет.

Вспомнила, глаза горят:
— Чур меня, чур... —
Чудесный голос заговора:
— Оборочу!

Раскрылись двери погреба,
и только слово молвила —
прошла сквозь тело оборотней
судорога-молния.

Кощей орлом-стервятником
по окнам захлопал,
гадюкой скользкой мачеха
ударилась об пол,

выскользнули змеи, орел в окно,
лежит одна чешуйка, перо одно.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Надо бросить пригоршню пороха.
Дверь открыта. Вокруг ни шороха.
Белой лестницей входит в комнаты.
Стены в сумраке, будто омуты.

Заклубился резьбою мачехин шкаф,
дунул снег нафталинового запашка,
крышка клепаная откидывается,
нараспашку душой прикидывается.

И из шкафа,
бока покачивая,
как танцую,
походкой шуточной
вышло медленно
платье мачехино,

золотистое,
чешуйчатое!

То у ног зашумит, то подымет к лицу,
то на Золушку ложится, ластится,
звонит блестками зелеными, что дерево в лесу,
то русалкой изгибается платьице.

Расшуршалась чешуя,
старым блеском шумя:
— Будешь блестками сиять,
станешь мачехой сама,

будешь в злате-серебре
жить-поживать,
будут Золушки тебе
шить-нашивать!

Будут Золушки тебе
косы плести,
будут Золушки тебе
подносы нести!..

Рожками залиловев,
к Золушке лепится
красный
с дыркой в голове
Мефистофель-пепельница:

— Мы устроим шумный бал,
шумный бал!
Будут вина и металл,
и металл...

Шкаф понатужился,
ящички выдвинул,
стал Замарашку вещами оплескивать:
брошками,
иглами,
блеском невиданным,
бусами,
брызгами,
лентами,
блестками.

— Будь у нас мачехой! — Золушку просят,
шелк навалили, лентой обвили.
Зойка запуталась — порохом бросить?
Или?

Или ветер по окнам ударил, крутя,
или фортка в петлях заходила —
отчим мучает скворку в орлиных когтях,
клювом бьет в серебристый затылок.

Тяжесть сонных ресниц подняла Замара —
шкаф закрыл ей дорогу зеркалом,
слышит скворушкин хрип — поняла, замерла,
порох бросила — спальня померкла, —

в пух и в грохот подушки разрыв,
перемешал и подбросил взрыв!..

Дом упал. Сровнялся с землею.
Дымок от пороха.
Поводит крылами над серой золою
раненый скворка.

— Не умре... не умрешь!
— Не надеяться мне,
 умирается мне...
— Милый Скворушка, не...
— Кровь на сером крыле...
— Я согрею в золе!
— Холодеется мне,
 леденеется, ле...
 де-не...

На Оке... на Океане,
на горе... горе Хрустальной,
на горю... горючем камне
золотой ларец поставлен.

Где мос... где мостов не ставили,
смерть Кощея в ларчик схована,
ты иди к горе Хрустальной,
отомкни ларец окованный!

— Не умрешь, нет, нет... —
Но в глазах смерк свет,
он раскрыл клюв, клюв,
а во рту ключ, ключ...

Покатился ключик к рученькам:
— Отомкни железным ключиком!
Отомсти железным ключиком!

Грудка скворки холодна.
В мире Золушка одна.

ЗАГАДКА ОДНА

Ряску скользкую болота слят,
перед Золушкой ворота стоят.

— Распахнуться мы хотим, да замки!
Не откроешь нас ключом никаким.

Не поверим ни глазам, ни слезам,
ни приказу, ни «откройся, Сезам!»

Как цепями и ключом ни греми,
заперты загадкою мы.

Если сможешь отгадать, не солгав, —
нас отгадкой отомкнешь по слогам.

Первый слог —
если ходишь по ломкому хворосту,
если пальцы ломаешь от хворости.

Слог второй
в землянике лесной затаен,
если палец уколешь — покажется он.

Третий слог —
если хлеба ковригу дают,
если эту ковригу на скатерть кладут.

А четвертым —
себя может каждый назвать.
Отгадаешь — вперед! Не сумеешь — назад!

Время Золушке теперь говорить:
— Я попробую шараду открыть!

Как до полночи поздней тянется грусть,
свои пальцы ломала от хворости — хруст...

Шьешь и шьешь, и уколешься, помню печаль,
из-под пальца кровинкой покажется — аль...

Третий слог, когда мачеха звала меня,
черствый ломоть бросала подкидышу — на...

Это я про себя: — Несчастливая я...
Распахнитесь, ворота, отгадка моя —

Хруст... аль... на... я...

Распахнулись широко ворота,
перед Золушкой — дорог широта.

ДРУГАЯ ЗАГАДКА

Мост железный через грохот реки,
перед Золушкой ворота крепки.

— Распахнуться мы хотим, да замки!
Не откроешь нас ключом никаким.

Ни цепями, ни ключом не греми —
заперты загадкою мы.

Если хочешь отпереть — отгадай,
а не сможешь — не пройдешь никуда:

Крылья есть, а не летит,
сам в зрачок, а не глядит.

Без него плохо,
а с ним не лучше.
Ростом кроха,
а может замучить.

Стар, а тебе новинка,
целый, а половинка.

Без колес, а в ходу.
Ни на что не гожд,
а всюду вхожд...

Думает Золушка,
думает, думает, думает, ду-
мает —
грош!

Как сказала — ни реки, ни ворот,
только ровная дорога вперед...

И ЕЩЕ ЗАГАДКА

Цепи тяжкие на скрепах скрипят,
перед Золушкой ворота опять.

— Распахнуться мы хотим, да замки!
Не откроешь нас ключом никаким.

Ты диковинным ключом не греми —
тайной кованую заперты мы.

Если хочешь отпереть — отгадай,
а не сможешь — не пройдешь никуда!

Три буквы у меня,
а нас двое,
что такое?

В скалах ты нас найдешь,
скатертью развернешь,
будешь искать — и скок —
чудо-конь скакунок.
С каменных круч сойдем,
скатимся в каждый дом.
Живем мы в слове — тоска,
жить будем в слове — ласкать.
Жар-птицы — огней каскад,
гусли — игры раскат.
Велели нас не пускать,
шли ночью в земле искать,
мы вырастем из песка
ковром одного куска!

Три буквы во мне,
а нас двое —
что такое?

Загадка трудна-трудна,
двое, тайна одна.

Мне снилось это во сне,
нашептывал это снег.

Скворушка говорил
о чудах Хрусталь-горы.

Пальцем трет у виска.
— Скажем три буквы — ска,
а двое —

ска и ска,

ах, поняла:

ска-ска,

всякой петле развязка,
откройте, ворота, —

Сказка!

Лишь сказала — что ключа оборот, —
перед нею ни замка, ни ворот!

Берег каменный, и синей стеной,
синью высинено море синё.

А за синим краем моря — скала,
белый-белый уголек хрусталя...

Волны пастями хватают песок
да отфыркивают пену с усов...

Запах свежей щелочи
прямо в губы Золушке.

— Там, наверно, крабики,
верно, рыбы в крапинку,

раки, клешни лаковые,
водоросли, раковины...

Но в волне —
ни признака рыбьего;
берег выбелен
сушью гибельной,
а по всему по берегу,
у темных гор-горынычей
на горячих камнях —
что ли, с горя
люди какие-то
сидят, пригорюнившись,
ждут погоды у моря.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Первый Иванушка
(рыжий, горшком стрижен)

— Ой, беда:
на два века горюшка хватит.
А была же, была
у меня
самобранная скатерть!
Крикнешь:
— Эй! —
Каравай хрустящие катят,
золотые цыплята взлетают
на скатерть, —
режь, ешь, пей!
Течет по усам вино горячо,
сладость переливается в горле.

Заснул маленько.
Проснулся —
а, черт!
Нема самобранки —
уперли...

Б р а т е ц И в а н у ш к а
(держит камешек, слезы льются)

— Ой,
привиделось яблочко с блюдцем..
Качнешь чуточку,
скажешь:
— Катись, катись, яблочко, по серебряному
блюдечку, показывай мне города и села,
гор высоту и небес красоту, —
и начнется:
Москва златоглавьем качнется,
то льды, то сады..
то туды, то сюды —
то четверкой летит,
то несется корабликом,
то луга, то песчаные берега..
Ой, беда!
Ни блюда, ни яблока,
ночью темною выкрала баба-карга.

В а н ю х а
(босой, стоит, скулит над слезою-росой)

— Эх, сирота!
Сапоги семимильные были.
Голенища чугунные —
красота!
Кожи чертовой,
силы аховой,
шагом враз за Урал перемахивал!
И нема.
Эхма!..

В а н ь к и
(сидят, вспоминают златые деньки)

— Ой, беда,
потерялась, приснилась живая вода..
Вновь придется богатому
кланяться —
нет меча, заповедного кладенца!

— Как был Иванушка сер да убог,
перстень упал,
укатился клубок...

— Перо жар-птицыно...
Що ж це таке?
Да только, вот только держал в руке!

Что пень — то Иван, попутал их леший,
что камень — Иван, и всех не обчесть, —
руками махнут да затылки почешут,
и нету сияющих сказок-волшебств.

Дерут чубы:
— Да вот те раз,
да был же, был
кошелек-самотряс!
Вырвал Кощей
прямо из рук
ковер-самолет,
топор-саморуб!

У р о д е ц И в а н у ш к а

— Как мне стать
на людей похожим?
Где найти
заговóры-слова?
Скинуть, сбросить
лягушечью кожу —
ква-ква...

Чинит невод на камне сыром старичина:
— У старухи разбилось корыто,
вот и жду у синего моря,
может, выплеснет море рыбку —
не простую, а золотую...

Льют ручьи по берегу с горя.
Замарашка у самого моря,
глядит —
гора Хрустальная
на океан поставлена.

Ей шумные брызги и бури охрана.
До солнечных граней
доплыть не посметь,
ларец на горе четырехгранный,
и в этом ларце — Кощеева смерть.

Как до ларчика мост перебросить?
Подбегает к Иванушкам,
просит:
— Подсобите, Иванушки, ларчик добыть,
подсобите
Кощея в волне утопить!

В седой океан, в крутую пучину
первый Иван вошел для почину.

По спинам Иванов — по мосту хрустя —
пошла через волны, взошла на Хрусталь.

Ступила на берег — ключом от скворца
распахивает двери ларца.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Закован в цепь
большой ларец,
в большом ларце
другой ларец.
В другом ларце
ларец-дворец,
царям дворец,
ларцам ларец!
Церквей ларцы,
ларцы в ларцах,
один в другом —
сверкать, мерцать!
Конец ларцам,
в конце ларцов
Кощеев смертный час — яйцо.

Золушку
тронула дрожь,
разломила яйцо —
грош.

Держит медный кружок ноготками —
тот грош,
посередке орел начеканен,
тот грош...

Был орел на гроше — гербовые крыла,
две змеиных главы, держит землю рука...

Размахнулась
и бросила
в море
орла,
закачалась гора, понеслись облака.

Моря разливаются,
гора расплывается,
алмазными гранями
передвигается,
замки раскрываются,
стена выдвигается,
и надвое делится,
и перекрывается.
Качается Золушка,
мачтой качается:
— Что это делается?
Как называется?

Стоит на глянце, как на воде,
вверху стеклянное решето,
стоит — сама не знаю где,
вокруг — сама не знаю что!

Что за ширь? что за гуд?
что за мир? что за люд?

Один — пилит,
другой — сталь пробивает навывлет,
сверлит —
серебристая пена бурлит.

Камень искристый
черпают руки чудес...

— Дяденька,
что здесь?

Отвечает дядя:
— Здрасте!
Я работ чудесных мастер.

Ну-ка, дверцу приоткрой,
вот какое чудо —
ящик с пеньем и игрой, —
гусли-самогуды.

А другой
управляет железною птичьей рукой.

Крылья ладит,
сияньем заиндевелые,
мастерит и поет.

— Ты что делаешь?
— Сказку делаю —
ковер-самолет!

Перед Золушкой — Золушек ряд,
ткань пшеничная тихо струится,
золотистые нити
в пальцах струят:

— Ты кто, сестрица?

Отвечает ей сестрица:
— Шить и ткать я мастерица.

Вот моток летит к мотку,
пальцы нитку схватят!
Я тку, тку, тку
самобранку-скатерть.

Золушка жила одна —
сколько милых подружек берут ее за руки!
Золушка была бедна,
к воротам распростертым полетели подарки!
Корка на воде горька,
стали Зойку румянцем одаривать яблони!
Мачеха была карга,
возвращаются сказки, Кощею награвленные!

Как махнула подруга синей хусткой широкой
да как крикнула в поле, расступился народ:

— К Золушке, сказки,
сказкам дорогу,
сказки, идите,
сказки, вперед!

Со столбов загудели самогудные трубы,
сапоги-самоходы,
топоры-саморубы,
самокатки-салазки,
самоплеска-весло,
всё, что снилось,
мерещилось,
виделось,
чудилось,

что мечталось,
казалось,
хотелось,
что ребятам на сон набаюкивалось,
что весной под Егорья дедами рассказывалось,
что слепцами на старых бандурах названивалось,
по мостам

к Замарашке

пошло.

На подвешенной нитке и вдаль и вблизи
золотые жар-птицыны перья зажглись.

— Несут, несут!
Что несут?
Ее несут —
самобранку несут,
расстеливши,
твою!
Рыжей рожью,
пшеницей, земляникой в лесу,
янтарем-ячменем дивно вышитую.

Шумит дерево, ветку набок оно:
— Познакомимся — Слива Яблоковна! —
Машет Золушке лист ладонями:
— Я капусты кочан, вырос до неба!

Разрыхляя черный ком,
бороздища — лентой,
самоплут пошел, о ком
баяно в легендах!

Всё правда одна, ничего не врем!
Над Золушкой, сказку листающей,
всё небо развернулось самолетом-ковром,
ковром-самолетом летающим.

Из сказочной рощи,
из сказочной чащи
поющий,
звенящий —
к Золушке ящик!

— Что за ящик?

— Самогуды то, Золушка,
вот они,
они, Золушка,
нами сработаны!

Друг-товарищ
меча-кладенца,
саморуб-топор
низко кланяется:

— Если брови Золушки
разлюблю,
все леса на кольшки
разрублю!

Катится к Золушке яблочко
по серебряному блюдечку:
— Ты ничего не видела,
вот тебе — Арктика, Индия! —
Яблочко удивительное,
яблочко — телевидение.

Посмотрела на блюде — там синие брызги,
нам несут Замарашку на серебряном диске.

С плеч упала тяжесть-глыба,
камень крикнул: — Как же так? —
Затянула песню рыба,
удивленно свистнул рак.

Стали реки все сляянны,
луч простерся полосой.
Рассмеялись Несмеяны,
смех рассыпался росой.

Смех до слез — земля в росе,
солнце глаз касается,
и очнулись разом все
спящие красавицы!

А за солнцем, в небе чистом —
синь стороной,
Замарашкин милый мчится
на птице стальной.

Мимо облачных дорог
издалёка,
как скворцовый говорок,
дальний рокот.

Прямо с неба светлого
зовет: «Люблю!» —
И вниз летит с рассветною
звездой на лбу.

— Не солгал тебе скворец,
помнишь, в сказке.
Садись, едем во дворец,
в бывший царский!

Кипарис густой
в синь воздуха,
это мой и твой
дом отдыха!..

Потянулись к Золушке чудеса,
дива дивные,
чуда чудные,
чудеса!
Чу, десанты летят парашютные,
чудесальто вертят самолеты,
развернулась небес бирюза!
Чудесаблями — брови,
чудесахаром — губы,
чудесамые смелые в мире глаза!

1934

246. ТВОЯ ПОЭМА

Клаве

Сегодня
 июня первый день,
 рожденья твоего
 число.
 Сдираю
 я
 с календаря
 ожогом ранящий
 листок...
 О, раньше!
 Нам с тобой везло.
 С цветами
 в тишь,
 пока
 ты спишь, —
 с охапкой лепестков
 и лент
 будить губами,
 тронуть лишь
 вопросом:
 «Сколько тебе лет?»
 И на руку
 надеть часы:
 «Красивые они,
 носи...»

 Не будет больше
 лет тебе!
 Часам
 над пульсом
 не ходить!
 Но я ж привык
 будить,
 дарить,
 вывязывая
 вензеля
 из букв:
 Ка, эЛ, А, Вэ, и А...
 Как быть?
 Что подарить теперь,
 чтоб ты взяла?..
 Стихи одни,
 где мы с тобой
 сквозь плач видны,
 где «ты!» —
 в слезах воскликну я, —

твоя поэма!
 В горький срок
я,
 как с ожога бинт,
 сорвал
с календаря
 листок,
 даря
запекшиеся в ночь
 слова.

Теперь ничто —
 стихи одни
меня
 мечтой
 вернут в те дни;
в стихах
 я возвращаюсь вновь
 в тревогу снов —
дорогой вспять
 опять в свою беду,
 опять
в бреду
 сведенных болью
 рифм
я в комнату
 к тебе
 бреду.
Опять
 твой столик,
 твой стакан
и столько
 склянок,
 ампул,
 игл!
И лампу
 доктор ловит лбом,
циклопа
 никелевый глаз
наводит блик
 на ужас язв,
о,
 в горлышке твоём
 больном.

Каких тут
 не было врачей!
Чей стетоскоп
 с тоской
 не лег

на клочья легких
у плеча?!
Едва стучит
в руке врача
твой
нитевидный пульс!
Твой бред.
Твой лоб
нагрет
ладонью проб.
— Как голова?
— Немного льда?
А как погода?
— Холода... —
Я лгал:
три дня,
как таял март,
лишь утром
лужи леденя.
Под сорок
жар
взбежал
с утра.
То капли каплил
невпопад
гомеопат.
Принес тебе
тибетский лекарь
пряных трав.
Рука профессора
прижгла
миндалины.
Пришла
старуха знахарка.
Настой
на травке
принесла простой...
Ты говорила мне:
— Лечи
чем хочешь —
каплями,
травой... —
И пахли
грозами лучи
от лампы дуговой.
А ты
уже ловила воздух ртом.
И я
себя
ловил на том,

что тоже
 воздух ртом
 ловлю
и словно за тебя
 дышу.

Как я тебя люблю!
 Спешу —
то причесать тебя,
 то прядь
 поправить,
то постель
 прибрать,
 гостей ввести,
то стих прочесть...
 Не может быть,
что ты
 не сможешь жить!
 Лежи!
Ни слова лжи:
 мы будем жить!
Я отстою
 тебя,
 свою...
И вытирал
 платочком рот,
и лгал —
 мне врач сказал:
 умрет.

А что я мог?
 Пойти в ЦК?
 Я был в ЦК.
Звонить в Париж?
 Звонил.
 Еще горловика
позвать?
 Я звал.
 (А ты горишь!)
Везти в Давос?
 О, я б довез
не то, что на Давос —
 до звезд,
где лечат!
 Где найти лекарств?
И соли золота,
 и кварц,
и пламя
 финзеневских дуг —

всё!
 Всё перебывало тут!
 А я надеялся:
 а вдруг?
 А вдруг изобретут?
 Вокруг
 сочувствовали мне.
 Звонки
 товарищей,
 подруг:
 — Ну как?.. —
 Как
 руки милые
 тонки!
 Как
 мало их
 в моих руках!

 Потом остался
 морфий.
 Я
 сам набирал
 из ампул яд.
 Сам впрыскивал.
 А ты несла
 такую чушь
 про «жить со мной,
 про юг
 и пляж со мной,
 про юж...
 и ляг со мной,
 родной...»
 И бредила:
 «Плечом
 к лучу,
 на башню Люсину
 лечу,
 к плечу жирафик
 и верблюдо.
 Родной,
 я так тебя люблю,
 так обожаю,
 всё терпя
 лишь для тебя!..»
 А морфий
 тащит
 в мертвый сон,
 и стон,
 и жар
 над головой,

и хрип
чахотки горловой.

Ты так дышала,
будто был
домашний воздух
страшно затхл,
и каждый вдох
тебя губил...

Покорность странная
в глазах.
Вдруг улыбалась,
пела вдруг,
звала подруг,
просила — мать,
потом
на весь остаток дня
всё перестала
понимать.

Под ночь
увидела меня
и издали уже,
из нет —
последним
шепотом любви:
— А ты смотри
живи,
еще Володька есть... —
И в бред,
в дыханье,
в хрип,
в — дышать всю ночь.

Помочь
никто уже не мог.
Врач говорит,
что он не бог.
Я бросился
на свой матрас,
и плечи плач
потряс.
Устал
и утонул
во сне.
Я спал
среди каких-то скал
с тобой,
еще живая ты!
Губой

ресницы трогаю,
пою:
ты мне нужна,
ты мне мила!..
Стук.
Просыпаюсь.
В дверь мою
мать постучалась:
— Умерла...

Прошло
лишь тридцать дней пустых,
как пульс утих,
как лоб остыл,
как твой
последний след
простыл, —
от того дня,
как не к тебе
пришли,
а к ней
друзья, родня,
лишь тридцать дней,
как вместо
«ты»
ты стала «та»,
как Тышлер
на квадрат листа
тушь наносил
и не просил
«не двигаться!» —
она сама
себя
как мертвая вела,
сама
не двигалась.
С ума
я не сходил,
а больше сам
мать
успокаивал;
снимать
ее с постели в гроб
пришел,
и платья
синий шелк
в цветах
оправил сам,
и к волосам
приладил с дрожью
косу ту,

Ну да,
я здесь,
а Клава где?

Вначале,
десять первых дней,
я позабыл
рыдать над ней.
Меня знобил
какой-то грипп
больного полузабытья.
Должно быть, я
не влип
еще
в топь
трудной жизни
без тебя.
Как прочно
всажен в ребра нож, —
должно ж
так сердце наболеть,
чтоб на балет
пойти в Большой.
С оглохшей
наглухо душой
шел
в «Метрополь»,
часов до трех
в ночь
на бульварную скамью,
в полужнакомую
семью, —
я стал тащиться
в те места,
куда б не стал
ходить при ней,
но только не домой,
где ждет,
где жжет меня
мой враг стальной...

Мыслишкой —
сразу кончить всё —
не слишком страшно
сжать висок.
Подумаешь!
В Москве ночной
при телефоне
эта мысль,
как ни томись,
была вполне

карманной,
 тихонькой,
 ручной.
 Но дома!
 Где лежит пятном —
 Да,
 на пол пролитый
 ментол
 и стул
 на коврике цветном,
 вся наша мебель,
 старый стол...
 Там эта мысль
 меня могла
 пугнуть из-за угла.

Но где-то ж надо спать!
 Всё та ж
 на третий
 лестница
 этаж.

Потопишься —
 в передней свет,
 а Клавы
 просто дома нет.

Нет...
 Клавы
 просто нет —
 всерьез!
 Ни роз,
 в каких лежала,
 ни
 косы,
 молчат ее часы,
 свернулся змейкой
 бус янтарь,
 и цепко
 держит календарь
 несорванные дни.

Тут старый
 с платъицами шкаф,
 доха в духах,
 белье ее,
 подаренные пустяки,
 мои стихи
 в тетрадке и
 две прядки
 русые
 твои.

Еще тогда
я срезал прядь,
в тетрадь
упрятал
и достал,
и на столе,
косясь
на них,
я стал
раскладывать пасьянс
из локонов твоих
льняных.
На счастье
клат их
так
и так,
гадал,
подглядывал
под масть
льняных,
соломенных,
витых.
Как я ни жулил,
ты —
не выходила!
Как ни старался,
ты —
не получалась!
Никак!

Глазами
в синяках бессонниц
я увидел свой
револьвер
с сизой синевой.
Он — маузер,
он вот такой:
попробуешь рукой
на вес —
он весь
как поезд броневой,
стреляться из него —
как лечь
под колесо.
Свое лицо
я трогал дулом.
К жару скул
примеривал,
ко рту,
к виску

и взвешивал
 в руке
 заряд,
где десять медных гильз
 горят.

Мне жизнь не в жизнь,
 а выход — вот.
Нигде,
 хоть всей землей кружись,
нигде —
 в воронежском селе
двойник любимой
 не живет.

А выход вот:
 в стальном стволе,
в сосновом
 письменном столе.

На!
 Прислонись
 к стене,
 и стань,

и оттяни
 замок к себе,
пусть маслянисто
 ходит сталь
в крупнокалиберной судьбе.
Тебя обстанет
 цепкий ад
рефлексов,
 сопряженных с ней,
во сне
 ее глаза стоят.
Скорей вложи обойму, на!
 Стихи?

 Она!
 Весь мир?
 Она!

Ты будешь плакать
 у окна
и помнить,
 помнить,
 помнить лоб
 с косою соломенной
 и рот —
у всех дверей,
у всех ворот,
 куда тебя
 ни привело б.

Но, знаете,
я думал жить.
И лучше,
что замкнул на ключ
свой стол
и в нем железный ствол.
И ключ —
стола на уголок,
и лег,
не зарыдав
в тот раз,
на свой матрас.
Не спал,
сквозь пальцы
видел я:
ключ сполз,
сам
ящик отпер,
щелк —
и выглянула из стола
насечка деревянных щек
и указательный
ствола.
Револьвер мой
вспорхнул,
поплыл
под потолком лепным,
кругом,
кривым когтем вися.
Вся
комната кружила с ним,
с патроном запасным.
Кружил
и у подушки
врылся в пух,
как друг,
что лучше новых двух
и издавна
со мной дружил.

Пока он ждал
бессильных рук,
я вспомнил:
у меня есть друг
на Трубниковском.
(Серый дом,
крутая лестница
и дверь...)
Не вспомни я о нем,
сейчас

я б не ходил
 среди живых.
Срываешь дождевик,
 бредешь
 в плеск —
 в дождь,
 тоску свою таща,
текут со щек —
 еще! еще! —
капельки плача
 и дождя.
Лишь я вошел к нему,
 лишь сел,
сказал,
 что заночую тут,
что дома моют,
 окна трут
 и куча дел, —
 как телефон
 вздрагнул,
 звоночком
 ночь дробя.
Друг
 трубку снял:
 — Кого? Его? —
и трубку протянул:
 — Тебя. —

Шел
 шепот
 медным волоском.
(Алло?
 Не Клава это, нет!)
То проволочным
 голоском
револьвер
 шепчет
 в ухо мне.
Внушает:
 «Я могу помочь,
ночь
 подходящая вполне
для наших с вами
 дел.
Предел
 я положу
 желанью жить.
Позвольте
 положить
 в висок

вам сплава
 узенький кусок.
 Вас Клава б
 не ругала
 за-
 глаза,
 что вы идете к ней.
 Вам
 дуло —
 выход из любви,
 из ада
 «нет ее»,
 из дней
 без глаз ее,
 без губ,
 без рук, —
 вы ж как без рук...»
 И я пошел
 к Большой Ордынке,
 к тупику,
 домой —
 где ждет меня,
 где жжет,
 маня,
 меня
 мой враг стальной...

Бульваром Гоголевским,
 где
 в наш старый дом,
 да,
 каждый день,
 мы шли вдвоем.
 Где ни пройдешь,
 весь грунт
 нас помнит от подошв
 до рифм
 прочитанных поэм,
 от Гоголя
 до буквы «М».
 Как пить —
 не пивши тридцать дней,
 как есть,
 не евши...
 Я — о ней!
 Как шарят папирос
 (курить!).
 Где тень
 ее
 среди берез?

Как повторить
пропавший день?..

...Я отпер
ящик.
Отпил
пыль
с губ
и сошел с ума уже.
И вынул маузер.
Он был
груб,
тут в ходу
и длиннорыл.
Открыл
сине-стальной
замок...

Мой сын
агукнул
за стеной,
пролепетал, замолк.
Как вор,
я сдвинул скобку,
снял затвор,
пружину вынул,
вырвал ствол,
стальную сволочь
мял и рвал,
развинчивал
и вынимал
из самой малой части
часть...
Сейчас
он сам умрет,
сочась
холеным маслом льна —
его слюна;
лишь лязг
да бряк,
разобранный добряк —
лишь грязь,
грозящий брак
кусков стальных...
О, убежать, уснуть от них!..
Да, лишь бы сон —
и я спасен!
Спит сын
и видит грудь во сне...

Голос любимой
пел
во мне.
«Смотри живи...» —
напоминал.
Вот беленький,
как школьный мел,
бай-бай, и спатки —
люминал...
Да...
Три таблетки
в три глотка...
Мне три годка...
Пополз щенком
под стол,
под свежую сосну.
Коснулся
наволоки щекой
и
камнем
вниз
пошел
ко сну.

На самом дне,
на травах снов,
я снова
рядом
шел с тобой
тропой
в цветы,
в дыханье сна.
И снова —
не «она»,
а «ты»!

Мы шли
в сплошной ромашкин луг,
луг был
как хоровод подруг,
как сбор
в «День белого цветка»
в пользу чахоточных больных.
Мир белых солнц!
Ты ходишь в них,
цветам не больно —
так легка.

И машет нам
ромашек луг.
Мы шли,
не размыкая рук,

и я тебя просил:
— Нет сил
мне жить, родная,
без тебя,
позволь с тобою
вдаль пойти,
нам по пути... —
Ее глаза
мне жалко бросили:
«Нельзя».

Мы вышли вдруг
на новый луг, —
луг незабудок
начал цвести;
трудоМ
голубоглазых швей
он в крестик шведский
вышит весь
и весь —

в цветочную пыльцу.
А синий цвет
тебе к лицу,
твой сарафан
из луга спит.
— Куда спешить?
Мы сядем здесь,
послушай,
взвесь,
мне трудно взрозь,
не брось
меня.

Обсудим всё:
я в сотый раз прошу —
пусти!

Один
бродить я не могу! —
Как жаль тебе меня,
прости,
но
«нет»
с твоих слетает губ.

Мы вышли
на жужжащий луг
жуков,
кузнечиков
и пчел.

С тобой
я локоть к локтю
шел

и терся о плечо
щекой.
Рой пчел
кружился у волос,
кололся колос,
рос щавель,
на камне
мох
ржавел
у ног.
Туберкулез —
он мог
отнять,
я ж
только мог тебя обнять
и так остаться,
обнявшись.
Выскальзывала
ты из рук.
Весь
в парашютах,
снялся луг
и —
одуванчиками —
ввысь!
Отсюда
вышли мы
к Тверской,
она спускалась
вниз, к Неве,
к нам
ветерок подул
морской,
плыл Севастополь
в синеве.
По Ленинградскому шоссе
прошли
Воронежем в село,
где снова луг
стоял в росе,
где детство
ситчиком цело.
Ордынкой
вышли
в Теберду,
Эльбрус
укутан
в снег-башлык,
по трещинам его,
по льду

мы к морю Черному
сошли.
Там сели в лодку мы
без слов,
на ней была
кровать
и гроб,
по улице Донской
веслом —
венком
с автомобиля гроб.
И я молил
твои глаза,
и все:
нельзя,
нельзя,
нельзя...

Не блажь
ведь то, что я прошу!
Куда-нибудь
еще
пойдем!
Был перед нами
желтый пляж,
и моря шум,
и волн подъем,
и край пути
с тобой вдвоем.
Ты просишься
проститься,
но
я обо всем
просил давно.
Уже дошли?
А мне куда?
Как
морем
прошагать года?
Чем без тебя
дожить до ста,
мне лучше,
тронув свой висок,
пустынной дюной
урны
стать,
к часам песочным
лечь в песок...

Как хочется
тебе со мной
играть
в наш милый
мяч земной!
Заплакать —
не расстаться нам:
что тут —
слеза,
то выстрел там.
Нельзя,
чтоб с глаз
сползла слеза!
Ты,
не заплавав,
от груди
ребенка отняла,
дала
и молвила:
— Один иди... —
И взгляд ее
на мне замерз,
и лоб ее,
прохладней льдин,
губами тронул
и один
пошел...
Я
ногу на волну
занес
и сразу
поднят был
волной,
Ступил,
качнулся,
как больной,
и соскользнул с волны,
и вновь
зеленой пеной
брошен вверх,
как смытый с верфи
мачты ствол,
я стоймя
с волн
сходил и шел
с щекою сына
на щеке.
А вдалеке —
да,
ты одна

видна
в песчаном пляже сна,
да,
как сквозь воду,
неясна...

О,
помыкало море мной!
Нас
Ной не взял
в ковчежный дом,
каюту
в чреве
не дал кит.
Моисей
сияющим жезлом
морской воды
не раздвоит.
Качаясь
на своих двоих,
я
это море
мыкал сам
то пеной вверх,
то — ух! —
к низам,
в бутылочно-соленый
пласт.
Шагать по ним,
да не упасть!
Мальчонку
я прижал
к пальто,
чтобы не то
что хлест воды,
а дым,
а капелек пыльца
не тронула
его лица.
Мой трудный шаг
в подъем и спад,
баланс
у гребня на горбе,
то бульканье
и бурю ту
он люлькой
представлял себе.
(«Качают,
ну и буду спать...»)

Сынишка,
 он сквозь сон:
 «Агу», —
а ты
 на берегу,
 не ждешь,
нет,
 наша встреча
 не близка,
ты только
 блётка
 солнца
 в дождь
в полоске узенькой
 песка.

Шаг —
 и того не отыскать.
И нет
 полоски
 позади.
И шторм
 затих.
Шуметь-то
 что?
Всё глаже
 водяные рвы,
а дальше
 завиднелась
 глядь
ниже воды,
 тише травы,
волна
 аж просится:
 «Погладь».
И я
 с волны
 ступил
 на зыбь,
вглубь
 стая рыб,
 и ил,
 и штиль
хвост солнца
 морем распустил...

Тут
 новый берег
 подан мне,
в ладонь
 камней

положен порт.
Я вытер
 пот
 воды и слез,
с подошв ракушки сбил
 и сквозь
шаганье улиц
 в жизнь прошел.
Куда я вышел?
 Стал,
 прочел
двух новых улиц имена.
 Припоминал...
Не я,
 а сын
смотрел
 впервые
 окнам в синь.
Проснувшись
 в мире
 первый раз,
трамвай,
 как погремушку,
 тряс.
«Уа!» —
 сказал трамваю «А».

И мне
 в новинку
 был Арбат.
Я здесь бывал
 и не бывал.
Тверской бульвар,
 где стынет мой
по ямбу
 бронзовый собрат.
В вагоне
 место на скамье
нам уступил старик.
 Я сел.
В трамвае,
 как в одной семье,
все точно знали,
 что со мной
и что за море
 за спиной.

На Мыс Желанья
 я хочу
лететь,
 лететь...

Маршрут
 себе
 я начерчу,
 меня пошлют
 навстречу,
 дующей судьбе.
 Что́ этот Мыс?
 Желанье?
 Жизнь?
 Поэзия?
 Социализм?
 Любовь?
 Москва? —
 все те слова,
 которыми
 нельзя солгать,
 которыми
 я буду, вам
 стихи
 о будущем
 слагать.

Куда себя мне деть?
 Лететь!
 Перелететь
 мой плач навзрыд
 желаньем —
 отстоять Мадрид!
 Желаньем,
 чтобы этот стих
 шагал за нею
 вслед
 и вслед,
 желаньем —
 сына
 в двадцать лет
 к присяге красной
 привести.
 Пусть помнится
 навек мне
 наш путь,
 мой плач,
 твой взгляд во сне,
 с тобой
 мы вымечтали
 Мыс,
 куда
 моя
 взметнется
 мысль.

Я встал,
и сразу —
рядом стол.
Обрубки маузера —
вот.
Боёк,
прицел,
пружина,
ствол.
Ему,
оставь его
в дому,
дай только волю, —
оживет.
Скорей на мост
к Москве-реке,
мой груз
в руке,
под мостом — синь.
Любовь
приказывает:
«Кинь!»
Вот здесь
конец
моей беде,
я маузер
с моста
бросил вниз:
— Кругами завернись
в воде,
войди в пески
реки Москвы
и вройся
дулом
в ил и слизь!
А ты
на берегу,
на том —
спасибо,
милая,
за жизнь.
Еще проплачу я
не раз,
не раз
приникну
к прядке ртом,
не раз
я вспомню
жалость глаз
и слабость
твоих бедных рук.

Не раз
я вскрикну:
«Клава!» —
вдруг.

Где б ни был я:
у южных пальм,
у скользких льдов,
у горных руд,
где я
палатку
ни развесь, —
кровать
твоя
была
вот тут,
и столик
твой стоял
вот здесь,
и тут
меня
любила
ты!

Какие б я
ни рвал цветы,
тот луг
начнет
в глазах кружить!
Когда мне будет
плохо жить, —
хотя б во сне,
не наяву, —
ресницы мне
раздвинь,
приснись,
коснись
хотя б во сне
рукой,
шепни:
«Живи...»
И я живу,
тебя,
как воздух,
ртом ловлю,
стихом,
последнею строкой
леплю
тебе
из губ:
люблю.

1 июня 1937

247. ПОСЛЕДНЕЕ МАЯ

ЕЩЕ РАНО

Коврик игрушек у белой стены,
деревянная лошадь
и сын,
где прозрачная память мерещит
стол
безнадежных стаканов и склянок.

А ему еще утро,
ему еще рано.

Раскладные деревни.
Составные зверьки.
Смотрит сын,
где туманная память ставит кровать
и из воздуха лепит
ее успокоенное лицо.

А ему еще рано,
ему еще не устроен
в комнате угол для горя.

Кустарную сказку про деда и бабу
слушает сын
в том углу, где, в марлевой маске, руками,
омытыми спиртом (маленького не заразить!),
волосики трогала, закрытая марлей до глаз.

А ему еще рано,
ему еще детство —
писать и читать.

Еще слишком хорошее рано —
перелистывает эту тетрадь.

ТЫ ЕЩЕ ДОМА

У меня есть ты,
у тебя есть всё.
И руки, которыми я столько набнят,
глаза, в которых
дважды я.
Боль в горле есть.
Есть русые смешным пучком.
Ну, в общем
всё...

Да, у тебя есть целый стол
лекарств.

Ты
есть
у комнаты.
Есть сын,
и есть у маленького
на постели мама.
Есть между нами разговор,
что в коммунизме
любимые болеть не будут.

Вот я и говорю:
«Лежи спокойно,
у тебя есть всё, чтоб вылечиться
(всё, кроме легких),
всё!»

ОНА И КАРТА

Она смотрела
на карту Испании,
потом на меня,
потом на Испанию.
Там был черным и красным вычерчен
фронт
рваной дугой, с ужасною раной
Университетского городка.

«Знаешь, — посмотрела она, —
это так похоже на мое горло».

(Измученный бомбежкой Мадрид,
где беженцы спят в сводчатой
глотке подвала.)

Вот уже четверо суток
ничего не глотает,
ее оцепили молодчики Тбц.

Четверо суток
она не смотрит
ни на карту,
ни на меня:

«Мне сегодня
очень плохо,
очень больно

(показывая на горло)
в Испании».

Я СТОЮ У КРОВАТИ

Уже температура
не в силах
подняться до нормы:
потянется лестничкой — упадет,
потянется —
упадет,
потянется...

А сердце
все еще трудится
сторожем забытого беженцами дома.
Окна разбиты,
нет никого!

А оно (сердце)
стучит по опустелому телу:
тут пульс,
тут
виски,
тук,
тук, —
старается — служба.
А в доме нет никого.
Ее
дома нет.

ЕЕ НЕУЗНАННЫЕ МЫСЛИ

Последние ночи
перед концом
она говорила:
«Пойди
пройди, проветришь, пройдишь».

Итожа жизнь,
я недосчитываюсь тех минут,
прикидываю в уме:
как много
минут, уйму минут
растратил я, плача по улицам.
Я уходил в свою комнату
что-то писать,
я смел спать, — а ты ожидала без сна,

с неузнанными мыслями,
с не сказанными
мне
словами!

Если подсчитать,
получится столько минут —
на целые сутки жизни с тобой!
Минуты! Минуты!
С ее покорным и нежным
лицом,
с неузнанными мыслями,
с глазами,
где тоже остались только минуты.

А в комнате рядом
ты
неузнанно думала:
«Он пошел, он пройдет,
на несколько пустяковых минут отдохнет,
по воздуху, бедный,
немного минуток походит,
пусть хотя бы
полночки поспит,
я еще за эти сутки не умру».

ВОЗВРАЩЕНИЯ

Я уношу из дому
то шкаф,
то платье,
то синие флаконы
твоих духов,
то голос: «Здравствуй, родненький!» —
все уношу из дому.
Приходит ночь, и память
все расставляет на прежние места.

Я уношу из памяти:
забыть!
Забыть глядящие в меня глаза,
глядящие меня ладони
и голос: «Здравствуй, родненький!»
Приходит ночь,
и сон
все расставляет на прежние места.

Я уношу себя из дому
на улицу,

но думаю:
«Ты там,
пришла
и удивилась:
Где шкаф?
Где платье?
Где синие флаконы
моих духов?
Где голос: «Здравствуй, родненький!»? —
и все расставляешь на прежние места».

ЭТО ПРОЙДЕТ

Умерла бы ты
позже лет на сто,
я б знал кропотливые возможности науки.
Я б знал,
что будущего фантастический хирург
из первой желающей девушки
сделал бы вновь тебя.

По точным приборам
высчитав
кожу и голос —
из института похожих
вышла бы
абсолютная ты.

Сначала не совпадут воспоминания —
и это исправит
будущего фантастический хирург.
Детство умершей
ей внушено,
а в легких сделан для полного сходства
небольшой, безопасный
туберкулез.

Уверен,
при таком состоянии
желающая девушка бы наплась,
вошла бы чужая,
а вышла бы абсолютная ты.

И, может быть, вправду
в фантастическом будущем
не за меня — за другого
выйдет
абсолютная ты.

Я не такой себялюбец —
лишь бы ты.

НАШ СЫН

Медсестра говорит:
«Ваш сын похож
на вас,
вылитый вы».

Медсестра не знает,
что ею заколеблен мостик надежды
через десять лет
узнавать
в мальчишеских бровях, усмешке,
в чем-то еще — во всем!
ее,
ее,
потерянную ее;
мостик надежды,
на котором готов простоять десять лет
вылитый я.

СЫН СО МНОЙ

Папироса бяка,
не бери!
Спичка бяка, ножницы бяка,
это еще не очень страшные бяки,
но не бери.

Я еще живу
среди жадных и себялюбивых бяк.
Пока ты вырастешь,
самые страшные бяки вымрут
и, кроме папирос и спичек,
останется очень мало бяк.

СЫН И ВОКРУГ

Ты племянник всего.
Вчера я гордился,
что ты меня
назвал
«дядя».
Сегодня ты дядей назвал карандаш.
Сказал очкам
«дядя».

У тебя оказалось множество дядь:
дядя Лампа,
дядя Лошадь,
дядя Няня,
дядя Каша
и даже дядя Музыка Граммофона.

Ничего, ничего,
это неплохой мир,
где окружают тебя многочисленные
и разнообразные дяди.

БЕЗ НЕЕ

Когда ребенок
умеет
сделать «ма»
и потом еще одно «ма» —
это не значит,
что он обращается к матери.
Просто так сложилось губам,
просто из внезапно открытых губ у детей
получается
«ма!»

И это не требование,
не вопрос,
не укор
мне,
не умеющему привести к нему «ма»
и второе «ма»,
обнимающее его, как мама.

ЭТО ОСТАНЕТСЯ

Но ведь та вода,
что она подымала в ладонях умыться, —
сейчас
или в круглом облаке,
или в подпочвенных каплях,
или в травинках.

И ведь та земля,
где она ступала,
и любила
первомайскую площадь,
та земля
или сверкает в росе,

или подернута
смолистым гудроном,
или у тети Мани в цветочном окне,
где герань и алоэ.

Но ведь и воздух,
надыпанный ею,
тоже где-нибудь служит
нуждающимся травинкам!

Я точно знаю —
ее
нет.
Но мир-то как-то ею затронут?

Я целую твой розовый пропуск
с гербом
на трибуну
нашего
1-го,
твоего последнего
Мая.

1937

248. НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ

1

Был
такой рубль
неразменный
у мальчика:
купил он
четыре мячика,
гармошку
для губ,
себе ружье,
сестре куклу,
подюжины
звонких труб,
сунул
в карман руку,
а там
опять рубль.

Зашел в магазин,
истратил
на карандаши
и тетради,
пошел
на картину в клуб,
наелся конфет
(полтинник за штуку),
сунул
в карман руку,
а там
опять рубль.

2

Со мной
такая ж история:
я
счастья набрал
до губ,
мне
ничего не стоило
ловить его
на бегу,
братъ его
с плеч,
снимать
с глаз,

перебирать
 русскими прядями,
обнимать
 любое множество раз,
разговаривать с ним
 по радио!

Была елка,
 снег,
 хаживали
 гости.
Был пляж.
 Шел дождь.
 На ней был плащ,
и как мы
 за ней ухаживали!
Утром,
 часов в девять,
гордый —
 ее одевать!
я не знал,
 что со счастьем делать,
куда его девать?
И были
 губы — губы!
Глаза — глаза!
И вот я,
 мальчик глупый,
любви
 сказал:
«Не иди
 на убыль,
не кончайся,
 не мельчай,
будь нескончаемой
у плеча моего
 и ее плеча».

3

Плечо умерло.
 Губы умерли.
Похоронили глаза.
Погоревали,
 подумали,
вспомнили
 два разá.
И сорвано
 много дней,

с листвою,
 в расчет,
в итог
 всех трауров по ней,
а я еще...

Я выдумал
 кучу игр,
раскрасил дверь
 под дуб,
заболел
 для забавы гриппом,
лечил
 здоровый зуб.
Уже вокруг
 другие
и дела
 и лица.
Другие бы мне
 в дорогие, —
а та —
 еще длится.

Наплачешься,
 навспоминаешься,
набродишься,
 находишься
по городу
 вдоль и наискось,
не знаешь,
 где находишься!

Дома
 на улице Горького
переместились.
 Мосты
распластались
 над Москвой-рекой,
места,
 где ходила ты,
другие совсем!
 Их нету!
Вернись ты
 на землю вновь —
нашла бы
 не ту планету,
но ту,
 что была,
 любовь...

кажется
 бесконечною —
опять полна.

Опрокинул зубами,
 дна
не вижу,
 понял я —
опять она
полная.

А «паркер»,
 каким пишу —
чернил внутри
 с наперсток.
Пишу —
 дописать спешу,
чернил не хватает
 просто!

Перу б иссякнуть
 пора
от стольких
 строк отчаяния,
а всё
 бегут
 с пера
чернила
 нескончаемые.

6

Я курю,
 в доме
 дым,
не видно
 мебели.
Я уже
 по колено
 в пепле.
Дом
 стал седым.
Потолок
 седым затянулся.
А папироса —
 как была,
затянулся —
 опять цела.

и скинул куртку
с карманом
и рублем.
Руки сжал,
домой побежал,
остановился,
пятится:
к мальчику —
рубль,
серебрян и кругл,
катится,
катится,
катится...

1939

249. <ИЗ ЦИКЛА «ЗАВЕТНОЕ СЛОВО ФОМЫ СМЫСЛОВА,
РУССКОГО БЫВАЛОГО СОЛДАТА»>

<ВСТУПЛЕНИЕ>

В некоторой роте, в некотором взводе, на советско-германском фронте, неотлучно в бою, в походе, будь то лето или зима, — всю войну в героической пехоте верно служит Смыслов Фома.

А о нем говорят в народе, что хорош солдат!

Росту Фома невысокого, карий взгляд, говорит он, маленько окая, на вологодский лад.

Первый в роте по части доблести, очень сведущ в военной области. И в бою не жалеет крови и германца разит огнем. А еще есть молва о нем, о Фоме Лукиче Смыслове, о солдатском «Заветном слове».

Вот сидит он в лесу на пне — автомат на тугом ремне, гимнастерка на нем опрятная и заправочка аккуратная. Глаза хитроватые, зубы красивые, и усы седоватые, сивые. Козью ножку курит, говорит всерьез. А когда балагурит, то смех до слез.

А боец он и впрямь бывалый, и в бою — Фома запевала, героических дел затевала. Удалой солдатской рукой наш Фома отправил немало гитлерья на полный покой. Говорят, и у Волги был, и у Дона-то немца бил, и за Курском его видали, — на груди ордена и медали. Говорят, за бой у Орла и Фоме была похвала. Стал сержантом из красноармейцев, потому что храбр и душою чист. А еще сыновья у него имеются... Супруга Фомы — на патронном заводе, а дочь санитаркою служит в роте. Так о Фоме говорят в народе.

Ладно Фома говорит с бойцами, связывает концы с концами. Вдали пулемет постукивает — немец лесок прощупывает. То пушка ухнет, то пуля юркнет, да это бойцам не ново.

А ново — заветное слово Фомы Смыслова.

<1943>

1. СМОТРИ В ОБА!

Наварил нам повар окопных щей, положил туда овощей, капусты по вкусу, соли по воле, перцу по сердцу и других занятных вещей. Повар у нас, видать, не кощей!

Ну, жми на щи, сухарем за ушами трещи, не бросай объедки! А то, смотри, побудешь в разведке денька три, а от щей от тех — только «эх»! Ешь, милоч, очищай котелок, а после обеда пойдет и беседа.

Шел я вчера из штаба, справил наряд. Гляжу — по тропинке баба. Не молода, не стара, а глазами больно хитра.

— Боец, а боец!

— Тебе чего?

— А ничего. Не желаете ли съесть огурец? Вы хотя человек пожилой, а давно не видались с женой. Огурчик-то съесть не худо...

— А ты откуда?

— Иду, боец, из немецкого плена. Споткнулась о полено, ушибла колено, вишь, какая ссадина, разболелась за день она. Хочу сесть, пирожок съесть и выпить по-дружески с тобой по кружечке. Возьми расстегайчик с маком — больно лаком.

Думаю я: откуда столько еды набрала, паскуда? А она трещит, балаболит, что немец никого не неволит; кто немцу служит, тот не тужит, а что под немцем родная страна, то ни хрена, и дело ее сторона. Говорит, что войною сыта, что зря пропадает ее красота, что я мужик пригожий, на мужа ее похожий.

Нет, я думаю, врешь, нас не проведешь. Сколько тебе, гадина, за измену дадено? Пролезла хвостом крутить, людей мутить! Нет, пирогом не купишь, — кукиш! И повел я бабу к штабу. Пирожок-то хорош на вид, а внутри ядовит. Мешок-то вроде добром набит, а внутри — динамит. Бабенка-то шпионка! Вон какие дела случаются, какие стервы встречаются!

Часто так получается, что обходит шпион простака у самого штыка. Спросит простака пароль, а шпион отвечает: «Изволь! Знаю! Хорошо проверяешь». А простака ему так: «Ну, проходи, коли знаешь!»

От таких простаков великий вред, шпион наделает много бед. Пройдет на завод — машину взорвет, выйдет на рельсы — устроит крушение, многих народных трудов разрушение.

Трудно прощупать гада с первого взгляда. Бродят шпионы всяческой масти — вроде боец, отставший от части. Ехали, мол, куда-то, на вокзале забыли солдата. Сядет, закурит, забалагурит: «Который час? Которая часть? Да много ли вас?» Слова подхватывает, на ус наматывает. Ловит, как щука, тебя, карася, — вот и наука вся!

А ты, брат, будь не карасем, а щукой. Ощупай врага и застукай!

Шпион матерый и ловкий, едет будто в командировку, рад с бойцом распить поллитровку. А мы народ сердечный, часто беспечный. Как-то стеснительно смотреть подозрительно, искать в человеке шпиона, особенно если слаб в отношении баб или на предмет выпивона.

А ты, как твердый солдат, требуй мандат! Умей прочитать, не забывая, чтобы печать была гербовая, семь раз проверь — тогда поверь.

Бывают шпионы и в нашей форме, ходят у нас под заборами, охотятся за разговорами. Тут услышит — запишет, там ответят — заметит, донесенье составит, немцам отправит, а немец на слабое место надавит.

Так вот мое, товарищи, мнение: стеснительность брось, смотри насквозь — на рожу и одежду! А если взяло тебя сомнение, много не говори, а бери под стражу. Спасибо скажут, ежели на крючок попала крупная фашистская рыба. Ежели держишь пост, охраняешь мост, стоишь у склада, — бдительным быть обязательно надо! Умей молчать — на губы печать!

Великая сила в знании. Кто разгадает планы заранее, тот, без спору, имеет фору. Враг притаился, всюду тишь, будто не фронт, а пустошь. Ежели ты проспичь, проглядишь — важный момент упустишь. Кинется гадина неожиданно-негаданно. Запомни особо — гляди в оба! Враг глядит — и ты смотри, враг хитрит — перехитри!

А как пойдешь в разведку, каждую мелочь бери на заметку!

Наша разведка — почетное дело. Разведывай тонко и смело. Если войдешь во вкус, станут тебе рассказчиком каждая кочка и куст. Спрячут тебя леса и болота, покажет дорогу темная ночь. Эх, разведка — та же охота!

Русский боец до разведки охоч!

Азартна охота за серым зверем, — у красного разведчика глаз остер, ум хитер, тонкий слух, охотничий нюх. Легки у нашего разведчика ноги — пройдет невидимкой у вражьей дороги, заметит, какие берлоги, узнает, какая кочка — пулеметная точка, зайдет за немецкие спины, разведает доты и мины. Придет — командиру расскажет да по карте покажет.

А завтра — заварится каша. Как даст артиллерия наша по кочкам, кустам, по выведенным местам! Вот результат охоты: взлетают немецкие дзоты, падают наземь враги — кто без руки, кто без ноги! Огонь фашистов проймает — отдельно летит пулемет, отдельно голова, отдельно рукава. Попробуй теперь, сдержи — пошли отбирать рубежи! Знаем точно, где у врага непрочно, а где слабей — туда и бей!

Добыл «языка» при помощи хитрости — можно ценные сведения вытрясти. Тридцать фрицев насмерть уложи, а одного свяжи. Свяжи и поведи впереди. Иди, фриц, иди, егорлык твою в ярлык, а то наткнешься на штык! Немцы пленные — очень ценные. Уж поверь, небольшая стойкость у фрица — зверь поскулит и разговорится.

Разведывай немцев умеючи, разглядывай всякие мелочи, ходи не шурша, лежи не дыша, умело ползай — вернешься с пользой.

А сейчас, ребятки, послушай загадки для зарядки! Кто разгадает Фому — горсть табаку тому:

«Девушка ходит, песню заводит, немец услышит — и сразу не дышит».

Не легка загадка, а вот и отгадка; всякий поймет — «катуша» поет.

«Не пуля, не штык, а крик. В дружбе с пулей и штыком расправляется с врагом».

Это наше русское «ура».

Ну, ребята, пора — пошли на охоту, на боевую работу. Чем можем — поможем, а немцу свинью подложим. Зададим фашистскому гадищу такую загадищу, чтоб разобрался в ответе на том свете! Ну, пошли выполнять боевые задания! До свидания!

Октябрь 1942

2. СОВЕТЫ ФОМЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗИМЫ

Добрый день, паренек! Садись у костра на пенек, на вон тот, сосновый. Боец ты, я вижу, новый. Прибыл сюда, говоришь, из Читы? Видно, еще необстрелянный ты. Прошлую зиму не зимовал, не воевал? Малость в окопах прохладно? Ну да ладно, в нашем котле поваришься — в каждом найдешь товарища.

Наша порода не нежная — ей по нутру погодушка снежная. А для уральца, сибиряка зима, что реке — свои берега. Помню, дед и родитель мой брали меня на охоту зимой, в облаву на волчью свору. Зимний воздух студен, в лесу оставались по восемь ден в самую лютую пору. Силу отцовской двустволки чуяли серые волки...

Лютотога волка лютей — серый фашистский злодей. А дело советской пехоты вроде зимней охоты: надо с умением и толком драться с фашистским волком. Самое время охоте — зима, да не думай только, что зима за нас повоюет сама. Мало, что вьюга клубится, — надо еще добиться, чтоб германец в сугробе завяз, чтоб и зима воевала за нас.

Ты, паренек, заучи: нам зимой не лежать на печи. Не будем ждать потепления — будем вести наступление. Наше дело не ждать, а воевать, наступать!

Запомни советы Фомы, полезные для зимы.

Летом в наших местах проезжих дорог немного, а тому, кто на лыжах ходить мастак, — зимою везде дорога. Оденься тепло да легко, чтоб заходить далеко. Мало проку шлепать по снегу, — ты научись скольжению и бегу. Знай, чем смазать в какую погоду, учись, паренек, разному ходу: двухшажному и одношажному, — это полезно солдату отважному. Лыжник славен не единой ходьбой, главное — это бой! Мчись на лыжах, как вихрь, стреляй, не снимая их. Немца увидел — лыжи врозь, размахнись и гранату брось! Бросайся на врага нагло, как снег на голову! Заходи ему смело в тыл, где не ждет он советских сил, налетай на врага бураном, прорывай его фронт тараном, атакуй его на ходу, на снегу и на льду! С пулеметом на волокуше лезь на гору, скользи с горы, отправляй вражьи души в тартарары!

Зимою нужна сноровка — важна маскировка. Достань краску, окрась каску, а если налипнет грязь, еще раз покрась. Если халат хороший и чистый, тебя на снегу не заметят фашисты. Ты и сольешься со снегом пушистым.

Одели тебя, товарищ, знатно. Ты в шинели и куртке ватной. Хороши и валенки — не велики, не маленькие. Чтоб ного-то не быть потертой, много на ноги не наворачивай, меж портянок клади бумагу, только чтоб не мешала шагу.

А ежели что отморозишь — сразу не при в костры. Побелевшее место три минуты три, покуда кожа не станет сама на костер похожа.

Война зимою трудна. Надо дорогу очистить от снега, место бойцам найти для ночлега. Зима легка для одних ворон, а трудна для обеих сторон. Враг учел прошлогодний урок, прячется в норы, как крот аль сурок. Холод ему, конечно, помеха, но он понаградил шерсти да меха, тысячи шкур с народа содрал, даже у баб кацавейки забрал. Ставит в землянках печи, наде-лал и лыж и саней.

А все-таки нам зимою полегче, — мы сильнее! К примеру, ты из морозной Читы, а я из холодной Вологды. Мы привыч-нее к холоду.

Климат у нас неудобный для фрица. Он в кацавейке храб-рится, а хватит мороз за нос, завалит его занос, и пожалуйста бриться. Вишь, как уже прихватило гада — сильно подуло у Сталинграда, только ветер подул из орудийных дул. Трясет лихорадка фон-барона, трещит фашистская оборона, гоним врага от тихого Дона. Дело не столько в стуже, сколько в со-ветском оружьи. Битый немец погоду не хвалит. В Африке бьет — на жарыщу свалит, а если в России штыками исколот — валит на холод.

А ты наноси удар за ударом, швыряй германца из холода в жар, бей его с хода, с разбега, шей ему саван из русского снега!

Ты, паренек, молодой, а я уже малость седой. Переваляло за сорок, а всё выносил и зорок. Но я молодых люблю, ежели трудно — я подсоблю. Ты ко мне держись-ка поближе — на-учу прилаживать лыжи, бить по врагу на снегу с колена, и лежа, и стоя. Это дело простое!

Эх, зима немчуре не кума! Поле белое, небо синее, и усы от дыхания в инее. Эх, люблю я, когда сутроб глубок и торчит из него немецкий сапог!.. Хорошо, когда, от холода сизые, в плен сдаются вражьи дивизии! Эх, и люблю я в походе скором первым войти в отбитый город! Люблю я советское знамя под-нять и первого встречного крепко обнять. Дите ли, женщину ли пожилую, — всё равно, давай расцелую!

Вот бы скорее победа! Помню я слово старого деда, был он, охотник, толков: «Ты, внучонок, не бойся волков. Смело иди на зверя, в силу охотничью веря. Когда человек наступает, зверь от него отступает. А ежели зверь отступил на шаг, значит, охота твоя хороша. Зверю уже тревожно — бить его должно и можно. Вбей ему в череп русский свинец, зверю — конец, и делу венец!»

Декабрь 1942

3. В БОЮ

То не тучами небо кроется, не туман идет пеленой, а бойцы к атаке готовятся — проверяют затвор стальной, перематывают портянки, надевают плотнее ушанки, чтоб не больно жалил мороз...

Не сугробы навалены у берез — на исходной позиции танки. Командиры собрались в землянке. Наступил долгожданный день наступления. Уж расплатится враг за свои преступления! Эх, бойцы! Будет праздник сегодня! Сколько женщин, детей, стариков скинут тяжесть фашистских оков и вздохнут легко и свободно!

Командиром приказано взять село и прорвать немецкую линию. А дороги-то набело замело. Побелели деревья в инее. Небо зимнее сизо-синее. А когда посветлело и рассвело — понеслась не звезда падучая, а ракета зажглась под тучею.

Загляделись на запад люди. Вдалеке — деревенька серая. Ударяет семьсот орудий. Эх ты, матушка артиллерия! Пригляделась ты к каждой кочке, пристрелялась ты к каждой точке. Мы дивимся твоей работе: противнику гибель в дырявом дзоте — расчищается путь пехоте. С одного да второго залпа разгорается темный запад. А над бурей огня и снега — наши дали по немцам с неба!

То не валом седым повалил буран, а пошло несмолкаемое «ура!» Подымается серошинельная цепь по сугробам снегов наваленных, покрывается белометельная степь за бойцами следами валенок. Вперед, бойцы! На весу — винтовки. Вперед без оглядки, без остановки!

Гудит степь, идет цепь. Крепчает морозом зима. В первом ряду — Фома с верным своим автоматом пример подает солдатам. Идет в атаку русский народ, идет, повторяя слово: «Вперед!» Какие бы ни были мины расставлены, какие б заборы врагом ни поставлены, идет он на подвиг на воинский свой, и сердце солдата, душа солдата — с Москвой. Так и Фома во честном бою. Пуля ему говорит: «Убью!» Грохот да шип осколка, а он идет, да и только!

Немецкая линия вроде уснула, а только поближе цепь подошла — ожили немцы в избах села, пулеметом полоснуло. Из деревни вспышки мелькнули, засвистели юркие пули.

Головы наши пригнули, кое-кто залег. А немецкий рубеж недалек. Только б сделать последний бросок — и оторван у немцев важный кусок! Дорога в наступленье минута: кто помедлит — приходится круто. Вот и высунул враг железный клык и бойцам продвигаться мешает. Участок хотя невелик, да судьбу атаки решает.

Слышит Фома стон отдаленный — ранен его командир отдельный. Ранен товарищ сержант — не в силах винтовку держать... За секунду на поле сражения принимает Фома решение. Подымает он голову выше плеч, говорит он бойцам заветную речь:

— Опозорим ли наше знамя? Вся Россия следит за нами. Сводку ждут на родной земле, ждут известий о нас в Кремле. Слушай меня, отделение! Продолжается наступление.

Подымает Фома боевых ребят:

— Принимаю командование на себя. Слушай меня, Смыслова Фому, — залпом бей по окну по тому!

Великая сила советский залп — против нашего залпа германец слаб. Как ударили залпом плотным по команде Смыслова — «пли!» — оборвался стук пулеметный. Поднялись бойцы и пошли в снежной замяти и пыли.

Вперед, бойцы, за своим командиром — несдобровать зеленым мундирам. Железный крест не во всю-то грудь — много мест, где штыком проткнуть! Свой автомат неразлучный бойцу Фома отдает, а себе винтовку берет, — со штыком-то сподручней пробиваться вперед. Подхватил трехлинейку-подругу в правую руку да как ворвется во вражье логово! Час настал для возмездия строгого. Если враг сдается — жить остается, а если нет — на тот свет.

Получай за голодных сирот, фашистский ирод! Получай за бездомных вдов, за сожженный селянский кров!

Добивай проклятого фона, гитлеровского барона, разорви его глаз ворона!

Вот и прорвана оборона. Не такая она диковина, если правильно атакована! Вражских трупов лежит гора, нами взяты под стражу пленные — продолжается наступление. Во всё небо гремит «ура».

А навстречу родным бойцам вышли люди освобожденные, на смерть гитлеровцами осужденные. Из подвалов детей выводят, глаз горячих с бойцов не сводят.

Снова жизнь вернулась в хаты села. Залилась гармоника весела. Обнимают бойцов благодарные руки, вспоминают жители прошлые муки.

— Дальше гоните врага! — говорят, за жизнь и свободу благодарят.

...Опускаются тучи сизые. Бой затих. Только искры ракет цветных. Извещают Фому о вызове: приказал командир дивизии — генерал-майор. Сам выходит к Фоме навстречу, обращается с краткой речью — у полковников на виду. Обнимает Фому, как брата, и привинчивает звезду — красный орден к груди солдата. Обнимает Смыслова в оба плеча, называет сержантом Фому Лукича. Не находит сержант Смыслов подходящих ответных слов. Только держит ладонь на ордене, видно, делом ответит Родине, оправдает высокую честь.

...Так оно и есть. Ночь за ночью, за боем бой — продолжается наступление. И ведет Фома за собой свое дружное отделение. И встретиться можно с Фомой Лукичом там, где особенно горячо. А бойцы у него, что сыны родные, носят знаки гвардейские нагрудные и имеют отличия наградные. Загоняют врага головой в сугроб, атакуют его во фланг и в лоб, окружают слева и справа. И звенит об отважных бойцах молва, и на вечные годы звучат слова:

«Красному воину — слава!»

Январь 1943

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ты, если болен, положишься на бред.
Не охлаждай свой жар литературой.
Горишь? — гори и, если лоб нагрет,
живи с высокою температурой.

Уверен будь, что бред не подведет,
ни слова лжи горячка не прибавит,
и здравый смысл в палату не войдет
и не поправит сбившийся алфавит.

Болеет одной горячкою души
с Землею, воспаленной и недужной?
Так не спеши с упреком, а реши:
переболеть, чтоб выздороветь, нужно.

Ты, плача, расстаешься, но идешь,
познав, что несть из мертвых воскресенья;
ты чувствуешь не собственную дрожь,
а зыбь всемирного землетрясения.

Все кратеры растрескались, дымя,
дома стоят с контуженными лбами,
когда вулкан поблизости — земля
и та не может жить без колебаний!

Ты врезывался словом и мечом
в стальные груди панцирного Ада?
Ты ощущал болезненным плечом
удары в сердце, как толчки приклада?

Ты на передней линии полей,
твоя душа изрыта и кровава?
Так погружайся в обморок, болей!
Боец на боль приобретает право.

Не охлаждай свой жар, горишь — гори!
Вот так оставь нетронутыми строки,
а если есть табак — перекури
рецензии, намеки и упреки.

Поберегись резинкою стирать
и подчищать своей души тетрадь.

И губ мы еще не успели, не отняли,
и будущность не загадали свою,
и мы еще не были вместе на отмели,
где место себе присмотрели в Раю.

Еще я смотрелся в два утренних глаза,
семь дней от Начала еще не прошли,
еще мы не слышали Трубного Гласа
и первую сводку еще не прочли.

Еще не по карточкам куплено яблоко,
еще мы острым о библейском Уже,
еще продолжается райская ярмарка —
мгновение между «еще» и «уже».

Газеты еще довоенные изданы,
мы в поезде знать не могли ни о чем —
что мир раздвоился, что мы уже изгнаны,
что нас уже огненным гонят мечом.

Мы точно к бомбежке в гостиницу прибыли,
в начищенный бархатный Бронзовый Век,
и стены задвигались, окна запрыгали,
увидя Железного Века набег.

Без отдыха в небе, на бреющем бешенстве,
до Вязьмы нас гнал ополчившийся Ад.
Так мир, начинавшийся мифом о беженцах,
за темой изгнания вернулся назад.

Взвывая, носился бензиновый двигатель
за локомотивом на полных парах, —
но изгнанных — Еву с Адамом — при выходе,
как нас, не бомбил Человеческий Враг.

Всё на белом свете разъезжаться стало.
Поднялись и едут. Встали и идут.
Пастухи уводят золотое стадо,
потому что надо воевать и тут.

Мы еще не видим ни крестов, ни свастик,
духотой вокзалов задышал июль.
Темнотой летит фугасный головастик
в розовый фонтан трассирующих пуль.

Племя пулеметов странно и треного.
Небо тяжело дышит голосом чужим.

Говорит домам воздушная тревога,
что не мы на тучах дышим и жужжим.

К зареву состав подвозит новобранцев.
Появились ночи из других планет.
По краям Москвы стоят протуберанцы.
Погреб ждет рассвета, а рассвета нет.

Крыша бьет багром термических тритонов,
с чувством отвращения отшвырнув в ведро.
Сына в одеяле понесла Мадонна
в первый Дантов круг по лестнице метро.

Я записан тоже в легион защитных.
Наискось по сердцу боевой ремень.
И в кармане слева в ладанку зашитый
лепесток на память и про черный день.

Спрятан и засушен лепесток Эдема.
Говорят, спасает от немецких пуль.
Но в теплушке, здесь, любовь уже не тема,
как уже не лето — фронтовой июль.

3

Этот страшный август — отче наш, прости! —
я сравню с началом светопреставленья.
В небе появились желтые кресты
с черными крестами — в лето отступления.

Только мы входили в незнакомый лес,
в затемнение сосен, жаром обагранных,
сразу рыли щели, чтобы гнев небес
не настиг бы смертью нас, непогрешенных.

Август, я поверил в воплощенный Ад,
в свист нечистой силы, медленный и тонкий,
и в геенне взрыва умирал снаряд,
нам высвобождая логово воронки.

Я узнал за август зыблемость земли,
и во время этой восьмибальной тряски —
среднеевропейские медные шмели —
сплющивались пули, ударяясь в каски.

Но когда взрывчаткой в воющей трубе
вероятность смерти в нашу щель летела, —
я узнал, что можно — к мысли о тебе
в миг землетрясения прижиматься телом.

И когда, казалось, смерть уже велит
минному огню распорядиться мною, —
я решил взмолиться, но из всех молитв
имя вспоминал не божье, а земное.

И поверил я: на просьбу «отзовись» —
издали еще — при имени любимой
от меня мгновенно отклонялся свист,
повинуясь слепо приказанью: — Мимо!

4

Войска Геенны и Эдема на середину мира прибыли.
Уже страдания и раны в обоях выгнутых готовы.
Подвозят ящики с пожарами, землетрясения и гибели,
вдали столбами соляными стоят заплаканные вдовы.

По пояс в глине первозданной, стальные, серые и серные,
возникли рати за плечами других, форсирующих Неман,
отрезают отступающим моря спасительные Чермные,
по сто вулканов ставя рядом, теснят геенняне эдемян.

Штыком проткнуто милосердие, в своей крови лежит добро,
любовь в разорванной рубахе ведут к пылающему кратеру,
на дыбе нежность, жизнь на плахе, подвешен разум за ребро,
на колесо четвертованья дитя привязывают с матерью.

Дрожит Вселенная от топота, народы на полях распяты,
лежат с разрезанными выями и обожженными глазами,
сын человеческий растоптан, кровоточат его стигматы,
бегут Иосифы с Мариями, Петры уходят в партизаны.

Чтоб лучше видеть схватку эту, я встал за северным сиянием,
где низкорослые березы и марсианский красный мох,
оттуда открывалась сфера и простирались расстояния,
каких в скитаньях неоконченных и Агасфер обнять не мог.

Я видел, как в Тавриду тычется таран неистовый осадный,
к источникам огнепоклонников, к запасам адского огня,
я видел дальше — ты в опасности, вот-вот и новые десанты
отрежут часть Земного Шара, с тобой, навеки, от меня!

5

Испуганный ангел бежал по изрытой дороге.
Под топот погони он сбрасывал рваные перья.
В глазах его были — драконы и единороги,
фугасные птицы и кинжалозубые звери.

Он мне рассказал, задыхаясь, о жерлах железных,
о пальцах с шипами, о непробиваемых масках,
о тщетных винтовках, о саблях уже бесполезных,
о дотах разбитых и о продырявленных касках.

Он видел врага, что явился из Дантова цикла,
Ассурбанипал, или нет, возрожденный Аттила,
за ним — на летучих мышах, или нет, мотоциклах, —
бензином дымя, проносилась нечистая сила.

И он побежал, обдирая кровавые ноги,
по ржавым колючкам, по брошенным каскам, по ямам,
а рядом за лесом, по параллельной дороге,
навстречу врагу — шли с винтовками дети Адама.

Обрубками рук встречали столбы верстовые
людей, что не видели даже окраины Рая,
имевших не крылья — а только мешки вещевые,
винтовку и мысль: врага задержать, умирая.

6

На снежную землю меня опустило создание
с ревущей утробой и вдаль покатило по тропам.
Когда я увидел ночные погасшие здания,
я понял, что прибыл к началу второго Потопа.

Тяжелые взрывы до сорванных крыш закоптили их.
Ночная тревога взывала от залпа до залпа.
Одни лишь машины светились еще — как рептилии,
они проползали, мигая глазами, к вокзалам.

Леса под Москвой закишели уже бронтозаврами,
убит у заставы один бронированный ящер,
не все еще дети в теплушки скрипучие забраны,
не все еще знают о бедствии, им предстоящем.

Но семьи толпились, с пожитками двигались новые,
одни — относились к своим очагам, как утратам...
По рельсам тянулись ковчеги резервные Ноевы
с дымками печурок, кто знает, к каким Араратам?

И я заблудился в путях между Адом и Муромом,
меня две недели водил и запутывал демон;
локтями толкаемый, раненный взглядами хмурыми,
в лесу, на разъезде я встретил стоянку Эдема.

Мой бедный Эдем! Бесплацкартный, холодный, неубранный,
с водою в жестянках, с лиловым огнем керосинки...

Но радуга встречи! Какой семицветностью утренней
из неба в ресницы, блестя, проступают росинки!

И мы оторвали еще трое суток у вечности
на полках с тюками, на жалких лежанках ночлега.
Сирена кричит. Уже сдвинулось всё человечество.
У пристани волжской качается чрево ковчега.

7

Я встретился с чудом, с могучей, сплошной белизной,
лепные снега возлежат, тяжелы и пологи.
Стучит телеграф, что, дойдя до опушки лесной,
потоки потопа замерзли еще по дороге.

Угрюмые ящеры вязнут в снегу, говорят,
воители Ада торчат сапогами из снега.
Россия стоит, как надежный седой Арарат,
с вершиной Кремля, с защитной звездой ковчега.

Космический пух накопился в осях колесниц,
застыла вода в небесах кристаллической пылью.
И хлопьями сбилась, и медленно падала вниз,
и всё тяжелели слепых птеродактилей крылья.

И снова остался в живых человеческий род,
вступивший в союз с величавой морозною твердью.
Закат и Восход превратились в Охват и Обход,
и жизнь осмелела и стала командовать смертью.

И выпустил голубя утром бумажного я,
связного любви с треугольной печатью на бланке,
но он не вернулся, письма не принес от тебя:
лежат океаны снегов от Земли до землянки.

8

В оранжевом воздухе зимних и мраморных зарев,
где в мир изваяний себя поместила природа,
я мог под Москвою увидеть своими глазами
убитого нами Врага Человечьего Рода.

Валялись отдельно угрюмые зубья и клещи,
тела самоходов в неизлечимых увечьях,
и, вынутый взрывом из бронедоспехов зловещих,
лежит человек из династии бесчеловечных.

Так вот нашу землю дрожать заставлявшая сила,
и сила ли это — в руках безбородого гнома,

которая руки любимых разъединила,
которая вырвала окна из нашего дома?

Чего не хватает в лице для обычного трупа?
И в смерти, как перед начальством, он вытянут в струнку.
А может, не труп, а, рожденный ретортами Круппа,
по детям стрелял не имеющий сердца гомункул?

У танка еще выдувало огонь из отдушин,
спокойно за лесом стояла заря золотая,
а розовый снег остался к нему равнодушен
и холодно около тела его не оттаял.

Торжественный вечер уже перекрашивал воздух,
развешивал звезды и развозил сновиденья.
Впервые в войну я увидел на нескольких звездах
сиянье, какое бывало до грехопаденья.

9

Передней линии окопов, о Елисейские поля!
Мы как на облаке блаженном живем и ходим только в белом.
Скрипят сугробы кучевые, недосыгаема земля,
а наши кельи дровяные закрыты в небе огрубелом...

Барашек белых полушубков, святой апостольский кожух,
рязанский отрок с автоматом на маскировочном хитоне.
Я с ним по грядам снежно-белым на послушанье прихожу,
меж пулеметных курьих ножек мы по колено в тучах тонем.

Отсюда в розовом сиянье из-за кустов по Аду бьют
в сетях и мантиях из снега машины молнии и грома.
Во время утренних налетов, как звуки благовеста, тут
стоит святая канонада на небесах аэродрома.

Иным кладут на лоб кровавый благословение бинта,
несут на белый стол хирурга, покрыв забвением и болью.
На полпути Земли и Неба лежит запретная черта —
контрольный пункт между Войною и человеческой Любовью.

А нас на полупоцелуе разъединил мечами бой,
мы сна вдвоем недосмотрели, когда ворвался грохот грубый.
Следи за картой, слушай сводку — мой крик далекий:

«Я с тобой».

И пусть твой шепот телефонный примчат архангеловы трубы.

Со всеми, кто живет и любит в бою, у Ада на краю,
я буду ждать, я буду верить, я вымолю тебя у неба...
Я предъявлю дежурным стражам свое, с печатями, «люблю»
с котомкой веры за плечами, с буханкой фронтового хлеба.

Не за жизнь цепляюсь — за тебя.
 Я вернусь через неделю к бою.
 Ждет меня старинная изба,
 синие наличники с резьбою.

Солью слез не растравляй рубец,
 грустным взором не встречай, не надо.
 В двери приоткрытые небес
 вижу свет потерянного сада.

Я иду в мерцающую мглу,
 светом озаренную неясным.
 Золотой иконостас в углу,
 полотенце, вышитое красным.

Боже, ты ворот не отворяй.
 Я не верю в твой престол небесный,
 в облачный, с угодниками, рай,
 с титлами славянскими над бездной.

Встреча там? Но я уже познал
 силы атома и тайны клетки,
 я отведал плод добра и зла
 человеком выращенной ветки.

Почему же я к тебе пришел?
 Что мне твои лики, твои свечи?
 Я не верю, боже, в твой престол!
 Но молюсь, как набожный, о встрече.

Так я выпросил встречу, молясь и кощунствуя,
 и меня в грузовик посадила мольба,
 ангел холода пел надо мной до бесчувствия,
 опахалом касаясь усталого лба.

И когда я совсем потерял осязание
 у знакомых дверей, у земного огня, —
 чьи-то пальцы, как пальмы, расцветшие заново,
 прикоснулись и к жизни вернули меня.

И три ночи мы видели сон одинаковый,
 и три дня мы делили вино и еду,
 и не ведали неба, покрытого знаками,
 по ночам предвещавшего людям беду.

Мы ходили во сне только вместе и об руку,
как корабль сновидений стояла кровать.
Было дело — высокому темному облаку
от воздушных налетов наш дом прикрывать.

Там борьба продолжалась — огромная, трудная,
поединок не кончился, бой не затих,
но ворочались в просинях панцири трубные,
легионы выстраивал Архистратиг.

И когда я вернулся, неся твою заповедь,
в наши темные щели, лишённые дня, —
Человеческий Враг, показавшись на западе,
беспользную молнию бросил в меня.

12

Как в книге Бытия, всё есть: и гром и трубы.
Есть первая строка: «В начале слово бе».
Тем словом я дышу и, отдаляя губы,
библейское «люблю» я приношу тебе.

Груба скрижаль судьбы: «Даем и отбираем».
Так сказано и встарь: «Я создал — я изгнал».
Но без изгнания Рай нам не казался б раем,
но без потопа мир о радуге б не знал.

Недаром из ребра творилась Ева богом,
а не из дерева познания добра, —
так пусто ощущать отсутствие под боком
моей ее руки, как моего ребра.

Не я один, а все не могут жить отдельно,
и каждая душа тоскует о своем.
Как ни жесток был тот, кто нас лишил Эдема,
но, изгоняя двух, он изгонял вдвоем.

Не для того ли, чтоб под топот волн потопа
переплывать с тобой, вдвоем, совместный путь,
или, на сушу став, с тобой ступать по тропам,
или в твоих руках навеки утонуть?

Не я один, а все — и на земле и в небе,
воюя, молят жизнь о самом дорогом,
и целый фронт стоит в мечтаниях о Еве,
и думая: «Люблю», — командует: «Огонь!»

Уже привыкли руки срастаться с пулеметом,
уже лицо притерлось к поле шинели рваной.
Мы дорожим в апреле — не молоком и медом,
а мерзлотой и мраком земли обетованной.

Уже переменялся цвет глаз детей Адама,
они — сердцебиенья перестают стыдиться,
и научились жизни с промокшими ногами
они, что в годы мира боялись простудиться.

И нас не укоряют обидой отступленья,
к таким тяжелым ношам привыкли наши плечи,
любовь нашла такое огромное терпенье,
что научилась мысли о невозможной встрече.

Солдатскою лопатой мы столько ям нарыли
и столько черных взрывов спокойно отмечали,
что, может, в самом деле у нас хранятся крылья
для будущего рая — в котомках за плечами.

Когда подросток подснежник под серую шинелью,
когда запахи паром окопы на рассвете,
когда ручей апрельский пополз траншейной щелью, —
большие перемены произошли на свете.

А теперь уже это типичного Ада окраина.
Мы спокойно живем на цветном от ракет рубеже,
где дивизия Авелей бьется с дивизией Каинов
и Адам наклонился над картой в своем блиндаже.

Белый шар опускался на землю затмением солнечным,
как, наверное, было за час до рожденья Земли.
Хаос был, вероятно, таким же фугасным, осколочным,
и бризантные брызги, такие же, землю мели.

Я попал в катастрофы, имевшие место до Библии,
в суету элементов, в распад, в огневую метель,
в битву Альфы с Омегой, в ритмичное уханье гибели
гордых твердых металлов и редкостных редких земель.

У начальника штаба имелись железные данные,
чтобы адскую бездну сводить методично на нет,
и опять начиналось вторичной Земли созидание,
с непрерывной подачей снарядов, ракет и комет.

Я, когда подо мною дрожала болотная почва,
сейсмографией сердца вычерчивал эти бои,
а хотел одного: чтоб исправно работала почта,
чтобы шли аккуратно короткие письма твои.

15

На адрес боя, наугад
пришло письмо из Рая в Ад.

Исписанный клочок лазури,
святая весть — что небо есть.
И можно в свете амбразуры
«Люблю» неясное прочесть.

Пусть возвращению не срок
и слышен близко вой снаряда —
целую свежий лепесток
нам возвращаемого сада.

А пулемет стучится в ночь,
мелькающую блеском смерти.
Ракета хочет мне помочь
найти твой адрес на конверте...

Твой адрес? Это целый свет!
Все руки, ждущие свиданья!
И все глаза, где столько лет
сияют слезы ожиданья.

16

О, большак наступления — долгий и пыльный!
Всё несется на запад, как сплав по реке,
небо ночью гудит, как завод лесопильный,
от тяжелых машин, в облаках, вдалеке.

Колеями изрыты степные просторы,
пятитонки торопят холм обогнуть,
за бугры переваливают транспортеры,
пехотинцы проходят в колосьях по грудь.

На плечах перетащены тонны железа,
перехожены вброд океаны огня,
на землянки нарублено дó неба леса —
ради чистого неба и мирного дня.

Ураганами пороха, бурей тротила
перебиты уже легионы Аттил,

и смешались понятия фронта и тыла,
когда ветер на запад поворотил.

Я воды пограничной сегодня напился,
сросся взорванный мост, и опять я иду,
а за нами, как голуби, гонятся письма,
мы теперь их читаем спеша, на ходу.

И солдат не успеет в пути пообедать,
только б свежей воды зачерпнуть впопыхах!
Так негаданно быстро несется победа
ради детского смеха и жатвы в полях.

Чтобы впредь, как сейчас, в голубые просветы
не швырялись куски чугуна и свинца,
чтоб краснели закаты, синели рассветы
и вставали колосья по плечи жнецам!

17

Мы теперь еще не вместе спим.
Это временно, моя подруга.
Ты не видишь серогорбых спин,
подползающих к отрогам юга.

Но у нас одни и те же сны:
мир настал, и мы остались в мире,
окна дома не затемнены,
семьи возвратились из Сибири.

Белый свет горит на площадях,
ночи — с удивительными снами,
и судьба, бессмертие щадя,
дорожит оставшимися нами.

Стол накрыт, и белоснежна соль,
всё забыто — взрывы и ознобы,
медленная ноющая боль,
скоростные воюющие бомбы.

Женщина не хочет жить вдовой,
зарастает поле боевое,
у окопов с новой травой
обнимаются и бродят двое.

Пишет Данте, ищет Эдисон,
любит Вертер и тоскует Лиза,
новый Кампанелла потрясен
красотой порталов коммунизма.

В это завтра хочется смотреть
нам, забывшим жалость и усталость,
и уже не страшно умереть,
чтоб оно кому-нибудь досталось.

Так и будет, мы придем в Эдем,
обоженный до небес Геенной!
В ночь войны я вижу новый день —
радужный, земной, послевоенный.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Война не вмещалась в оду,
и многое в ней не для книг.
Я верю, что нужен народу
души откровенный дневник.

Но это дается не сразу,
душа ли еще не строга?
Но часто в газетную фразу
уходит живая строка.

Куда ты уходишь? Куда ты?
Тебя я с дороги верну!
Строка отвечает: «В солдаты!»
Душа говорит: «На войну».

Писать — или с полной дрожью,
какую ты вытерпел сам,
когда ты бродил бездорожьем
по белорусским лесам,

о Рае потерянном. Или —
писать, чтоб, как огненный штык,
бойцы твою строчку всадили
в бою под фашистский кадык.

В дыму обожженного мира
я честно смотрю в облака.
Со мной и походная лира,
и твердая рифма штыка.

1945

251. ВЕСТЬ О МИРЕ

1

Еще нет вести о начале мира.
В госпиталях — карболовая мгла.
Нетерпеливо ждут ориентира
приборы орудийного ствола.

Невидимое облако эфира
витает у стерильного стола,
кипит пила, и к телу командира
зеркальная протянута игла.

И пальцы долго моются у крана,
и клочья пены корчатся на дне,
и боль прикрыта марлею экрана.

Кричит сирена в солнечном окне.
Идет бомбежка, лихорадит рана.
Но раненый лежит спиной к войне.

2

Да, раненый лежит спиной к войне,
затылком к аду и глазами к раю,
а мозг уже искрит: «Не разбираю
сигналов, поступающих извне...»

С метеоритом в ноющей спине,
с мелькающей мыслью «умираю»
вчера он полз по кратерному краю
беспомощно, как люди на Луне.

И от потери крови видит он
необычайный, разноцветный сон:
весенний парк, ракеты, праздник мира,

себя с любимой в глубине аллей,
и между сине-красных тополей
шумит фонтан, цветной, как птица лира.

3

Шумит фонтан, цветной, как птица лира,
плеща, подходит пристань к кораблю.
Входной билет получен у кассира,
всё хорошо — я к веслам, ты к рулю.

Нас веселит эстрадная сатира.
Я через фразу думая: «Люблю».
Потом стрельба по пехотинцам тира,
потом я мяч из рук твоих ловлю.

Рука обвила нежную одежду,
в ней тело, предназначенное мне.
Но это было прежде — где-то между

реальностью и видимым во сне.
«Ты не умрешь...» — еще твердит надежда,
а смерть уже дежурит в стороне.

4

А смерть уже дежурит в стороне.
Но меж лепных и карнавальных зданий
мир полон новых радужных созданий,
недавно зародившихся на дне.

Мир полон новых радужных сознаний
с прозрачными крылами на спине,
свиданий утренних и досвиданий,
встреч и разлук ночных наедине.

И циркуль чертит стадиона круг,
и глаз следит за каплей нивелира,
и над плитою — голубятня рук,

там кренделя готовятся для пира.
Картинки клеят школьники. И вдруг
сирена воет в синеве эфира!

5

Сирена воет в синеве эфира.
И в миг, когда накладывают шов,
меня несет над пиками Памира
к кораллам Каролинских островов.

И рыбы меч зеленая рапира
насквозь пронизывает свой улов,
и смотрит на меня из-за стволов
резиновая мордочка тапира.

Линкоры собираются в проливе,
где мины пульс считают в глубине,
киль судна ощущая в перспективе.

Так сделали наркозы: в этом сне
колеблются дома, как на обрыве,
и стекол нет в расстрелянном окне.

6

И стекол нет в расстрелянном окне,
и много звезд — бризантных и паучих.
Кресты ежей и ржавчина колючек
на обожженной взрывами стерне.

И появлеенье призраков ползучих
и шарящих руками по стене,
озноб падучей, будто ног паучьих
касанье на холодной простыне.

Слепящий свет сдирает кожу с век,
взрыв заглушает возглас командира,
и в душу гул вселяется навек!

Короткой мордой дергает мортира,
и падает на землю человек...
Кричит земля: «Немедленного мира!»

7

Кричит земля: «Немедленного мира!»
А женщина тоскует у окна.
Печалью запечатана квартира
и черной тишиной окаймлена.

В чернильнице кристаллики сапфира,
и скатерть ожиданием полна.
На ней коробка черствого зефира,
торт и бутылка пыльного вина.

Всё ждет меня. Чертежный стол на месте.
Все родственники в рамках на стене.
А от меня ни отклика, ни вести.

Ждут циркуля в иссохшей тишине
бумаги белой ватманские дести.
Но враг и мертвый бредит обо мне.

8

О, враг и мертвый бредит обо мне!
Убийцы с жертвой состоялась встреча:

он хочет поболтать наедине,
культю протягивает из предплечья,

показывает раны и увечья,
мной нанесенные ему в войне,
и шепотом неясного наречья
дает понять, что истина в вине,

что он знакомства этого искал,
и черен рта смеющийся оскал,
а под столом нет-нет и звякнет шпора.

Но не мундир, а курточка на нем
и шапочка баварская с пером...
Он говорит: «Нет повода для спора!»

9

Он говорит: «Нет повода для спора!»
Но, черт возьми, мне дьявольски знаком
зачес на лоб по линии пробора,
болтающийся пояс с тесаком.

И синева приятельского взора
потрескивает странным огоньком,
всё вкось да вбок от темы разговора —
мол, пуля у него за позвонком.

Показывает дыры на шинели:
«Давай за дружбу выпьем, старина!» —
Припоминаю гетевские трели

и те зрачки лжеца и хвастуна,
которые на Фауста смотрели.
И кровь сочится с бульканьем вина.

10

И кровь сочится с бульканьем вина.
По скальным грудам хлещут мониторы,
и вот руда в песок раскрошена,
и тускл уран, и серебрится торий.

Рожденный в тишине лабораторий,
встает вулкан, и слепнет вышина,
второе солнце закипает в море,
и участь Хиросимы решена.

А сестры наклонились надо мной
и держат пульс — он оборвется скоро.
И лоб томит неумолимый зной.

В бреду идет развитие разговора:
«Забыта ссора... Конечно с войной...» —
Проели черви яблоко раздора.

11

Проели черви яблоко раздора,
шумят хвосты зелено-красных лир,
трехцветное трехглазье семафора
встречает приближающийся мир.

К мозаикам старинного собора
все голуби слетаются на пир.
И простыни, развернутые скоро,
из безобразных высунутся дыр.

Затянет кожей красноту пореза,
забудется причина и вина.
И свалкой беспризорного железа

покажется далекая война.
Заменит ногу дерево протеза,
утихнет боль, утешится жена.

12

Утихнет боль, утешится жена.
Смерть прекращает странные виденья,
смерть выключает внутреннее зренья
и фильмы неоконченного сна.

Разъединяет чувства и сцепленья
и гасит свет на дне глазного дна,
сжимает сердце, вводит затемненье
и лоб желтит умершему она.

Лежит на койке павший командир,
прикрытый флагом с золотом узора.
Проносится по госпиталю: «Мир!»

Луч солнца побежал вдоль коридора,
и, заглушая выстрелы мортир,
эфир дрожит от радостного хора.

Эфир дрожит от радостного хора,
раздергивает занавес рассвет,
рубильники включают полный свет,
лучи во всю арену кругозора.

Тройной зрачок циклопа-светофора
машины красит в изумрудный цвет,
голубизной младенческого взора
обводят новорожденные свет.

Вновь девушка идет к своей надежде,
законам лета яблоня верна,
и облака несут дожди, как прежде.

И в бочках бродят гении вина.
Весь мир очнулся в розовой одежде.
Но — грохотом чревата тишина.

Но — грохотом чревата тишина.
Костыль отброшен, вылечена рана.
Стучит, пищит короткая волна
в магнитной атмосфере океана.

Пищит волна, и вдалеке видна
сиреневая дымка урагана.
Тяжелая вода освящена
для верной службы атому урана.

И как ни пахнут новые духи,
из розового созданные мирра,
как ни звонки вокальные верхи,

как ни сияют Орион и Лира,
как ни звучат великие стихи —
еще нет вести о начале мира!

Еще нет вести о начале мира,
и раненый лежит спиной к войне.
Шумит фонтан, цветной, как птица лира,
а смерть уже дежурит в стороне.

Сирена воеет в синеве эфира,
и стекло нет в расстрелянном окне.

Кричит земля: «Немедленного мира!»
Но враг и мертвый бредит обо мне.

Он говорит: «Нет повода для спора!»
(А кровь сочится с бульканьем вина.)
Проели черви яблоко раздора,

утихла боль, утешилась жена,
эфир дрожит от радостного хора,
но — грохотом чревата тишина!

1945

252. НЕБО НАД РОДИНОЙ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Я с вами, Небо и Земля,
вас никогда не брошу я.

Пусть изменюсь, пусть растворюсь,
но с вами вечен мой союз.

Пусть я золой лежу в земле —
мое тепло в ее тепле,

и счастье частью мира быть
мне никогда не разлюбить!

Я в ливне жил, я каплей был,
не мрак — я радугу любил.

На брызгах граней дождевых
я семицветный строил стих.

В мельканье грозовой воды
мои спектральные следы.

Умру — вернусь игрою призм
туда, где мир, сюда, где жизнь.

И в синем небе Шар Земной
опять со мной, всегда со мной.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

З е м л я

Громады пара
плывут по выси
Земного Шара.

Они повисли
в дыму пожара —
и вот их мысли.

О б л а к а

Меня война застала в море. — Я шло в Карпатское предгорье.
Я видело явленье ада у пригородов Ленинграда.

- Я шло над полюсом холодным. —
 Был подо мной тревожный Лондон.
 — А я прошло над пленной Прагой,
 вспухая пасмурною влагой.
 — Я увидало дым Варшавы! Как шрамы, улицы кровавы!
 — А я — Акрополя колонны, где шли немецкие колонны...
 — Я прикрывало дымный Мурман,
 бой кораблей на море бурном.
 — Я — Севастополь обгаренный, над панорамой обороны...

Н и з к и е о б р ы в к и о б л а к о в

Колкой проволоки ряд,
 ужас загнанной толпы,
 трупы после их тропы.

И за группами солдат —
 перебитые мосты,
 деревянные кресты.

З е м л я

И гром орудий,
 и лом, и люди
 в недвижимой гряде.

О б л а к а

Мы услышали хрип народов, сирену паники кричащей.
 Там синий свет тревожных лестниц. И город в зареве багровом.
 И гибель мирных пароходов. И труп, на улице лежащий...
 Проломы крыши и мутный месяц под черноугольным покровом.

О д н о о б л а к о

Из обожженных смертью гетто —
 их привезли с детьми и женами.
 Там небо низкое согрето ужасной сажей и золою.
 Там странного посева цвета. Там пахнет дым костями жженными.
 Там очертания скелетов под свежевспаханной землею.

З е м л я

Во мне — миллионы
 испепеленных,
 тел истребленных.

Но кто в ответе
за дело смерти
на этом свете?

О б л а к а

Он шел брезгливый и помятый. Солдат повернуты квадраты
железных касок дробью крупной к его протянутой руке.
Клеймо на этом человеке. Припухшие от власти веки.
Натянутые губы труппа. Железный крест на сюртуке.

З е м л я

Да будет проклят
орудий Круппа
столетний грохот!

К а п л я

В туче капельной летела
я, прозрачна и кругла.
Я с дождем упасть хотела
на сосну, но не смогла:
слишком легкою была!
Я с туманом опустилась
и повисла на весу,
как стемнело — превратилась
в тельце сырости, в росу.
Не нашла болотной ряски...
На звезде солдатской каски
ночевала я в лесу.

О б л а к а

Нам ночь ракеты осветили, мы тоже видели бойца:
как капли крупные катились с его бессонного лица,
как перебитыми ногами он врвался в обожженный прах,
в обломки и колючий камень, к своей судьбе теряя жалость.
Бесчувственный к землетрясению, свой автомат держа в руках,
всю ночь держался он за землю, и за него земля держалась.

З е м л я

Так он держался,
так он сражался,
мой сын любимый.

Я есмь Россия,
кровь оросила
мои ложбины.

Н и з к и е о б р ы в к и о б л а к о в

Задеваем кровли изб,
задуваем в ветки ив,
серый ветер гонит вниз.

По земле — свинцовый визг,
нас качнул тяжелый взрыв,
понеслись осколки ввысь...

О б л а к а

- Я вижу взрывы! Вижу танки! Я вижу в поле цепь пехоты.
- На первобытные стоянки вот так неслись единороги.
- Как злобно лают пулеметы! Я вижу раненых и мертвых...
- Шатаясь, как орангутанги, враги проходят вдоль дороги.

З е м л я

Летят гранаты,
снаряды воют,
воронки ноют!

Впились лопаты,
во мне — солдаты
окопы роют...

О б л а к а

Нас обшарили до нитки в темноте прожекторами,
от пожаров и разрывов мы рябы и полосаты,
нас уродуют зенитки, нас глушат радиogramмы,
как стада гиппопотамов, к нам вошли аэростаты.

К а п л я

Низкий звук наполнил небо.
Кто летит на нашу мель?
Разузнать скорее мне бы —
это шершень или шмель?
Ближе! Громче! Мир закрыли
паром обданные крылья.
Приближаются! Ревет
винтовой ветроворот!

Облака

На нас дождило быстрым ветром, в пустынном небе гулко стало!
Не ветер! Голос человека среди кружащихся кристаллов!

Капля

Из-за толщи плексигласа
на меня — два карих глаза.
Я прижалась! Потекла
вниз по трещине стекла.

Голос

В бурю капель и кристаллов,
в мутном небе — мой полет.
Стая злобная отстала!
Сердце смелое, вперед!
Слышу снизу хрип убитых,
хруст коленей перебитых,
в пыль лицом упал ребенок,
возглас матери в степи,
язвы желтые воронок,
гетто ржавые шипы...
Вон туда моя дорога!
Я на город с облаков
пленным людям сброшу много
ободряющих листков.
С облаков я сброшу весть,
что Москва на свете есть...

Вихрь

Что за лодка в мире туч,
в мире туч?
Пар зароеет и закроет,
ветер вынесет на луч.
Мимо — визги, визги, визги
вырывающихся пуль,
и мотора рокот низкий,
и мелькающие брызги
нити кинули на руль.
Только — луч, луч, луч
ищет летчик в мире туч.
Рана кровью красит марлю,
но мотор его могуч!
Прорывает море хмари,
горы туч, туч, туч
Ниагары и Сахары серых туч!

П т и ц ы

Чьи вы? Кто вы? Как зарницы,
вспышки брызнули вдали.
Показались в небе птицы —
журавли или орлы?
Слабокрылым нет опоры,
гибель в воздухе рябит!
Наш вожак золотоперый
свистом издали убит!

Н и з к и е о б р ы в к и о б л а к о в

Самолет спешит сюда,
ищет воздух голубой
в массе сумрачно-рябой.

Волокнистые стада,
уходите! Будет бой!

З е м л я

Тяжелым гулом,
взрывной волною
меня качнуло.

Вновь надо мною
снаряд метнуло
стальное дуло.

Я В Л Е Н И Е В Т О Р О Е

В е т е р

Вею и вою
в пыль паровую.
Перед собою
в облако дую.

Кто же дорогу
мне перерезал?
Скрежет и рокот,
гарь и железо —

в пар непролазный
рвется и вертит
кругообразный
бешеный ветер!

Облака

Смотрите в сумрачные ямы: пересекая верхний ветер,
в туман врезаясь плоскостями, аэроплан мелькнул в просвете.
В пары зарыв акульи рыла, задрал короткие хвосты,
за ним — семерка желтокрылых, на них — драконы и кресты!
Смотрите: рвутся, гонят, травят, ревут и пулями бурвят
ладью с багряной пентаграммой...

Но где найдет защиту летчик? Он вдаль ведет рукой упрямой.
Ему погоня смерть пророчит. На лбу его кровавый бинт.
Куда он правит? Что он хочет? Что говорит, вращаясь, винт?

Голос мотора

Раненое, затравленное, продырявленное тело мое,
дрожащее и кружащееся, простреленное, пропеллерное,
просятя броситься в пропасти мои лопасти,
не выбраться, не выровняться, не выпрямиться, а вырониться...

Летчик

Винт надежный, винт могучий,
не слабей, кружись, кружись!
Надо нам пробиться в жизнь,
надо вынырнуть из тучи!
Нас с тобою затравили,
нет дороги кораблю!
Скажем жизни: или — или!
Вскинем мертвую петлю.
Будь неистов, будь прозрачен,
ореол воздушной тяги!
Белым следом обозначим
в вышине дугу атаки!
Мы на круглый лоб акулий
опрокинем смерти куль!
На свободу пустим улей
узкотельных тульских пуль...

Голос мотора

Сталкивающиеся, и скрежещущие, и соскакивающие части,
чавкающие, и не лезущие, и выскакивающие все чаще,
вспыхивающие и трущиеся, масляные и резиновые,
кашляющие и плюющиеся лужицами бензиновыми...

Летчик

Не сдавайся, мой мотор!

М о т о р

Не могу...
 много ран...
 у меня...
 на капоте...

Л е т ч и к

Будь, как прежде, смел и скор!

М о т о р

Не могу...
 маслянистыми...
 крупными каплями
 потен...

Л е т ч и к

Ты умел дружить со мной,
обогнал бы шар земной!...
Бросим смерти новый вызов,
с вышиной затеем спор!
Мимо вспышек, мимо визгов,
мимо белых, сизых гор,
мимо визгов, мимо вспышек,
к небу,
 к небу,
 выше,
 выше
поднимайся,
 мой мотор!..

М о т о р

Я попробую,
 я попробую...
 заворочаюсь всей утробой...
Вот захлопало...
 вот захлопало...
 загудело!
 За дело!
 Трогаю...

Л е т ч и к

Нити капель на капоте...
Как ты яростен в полете!
Не догнать тебя врагу!
Мы припомним смелый навик,
самолет поставим боком,
повернем всё небо набок,
запад сделаем востоком,
и земля уже вверху.
Рельсы, травы, сеть канавок,
надо мной — простор земной,
подо мною — свод небесный,
горизонт стоит отвесный
рядом с серой глубиной!
Не стучи, прости, что мучу,
выше,
 выше,
 в тучу,
 в тучу!..

Т у ч а

В тело пара — пули! пули! — в водяную впились пыль,
ослепили и кольнули, и ушли в пустынный штиль.
Впились с пеньем и кипеньем, с нетерпеньем вьются к судну,
ударяются в ладью...

П у л и

Вьюсь!
 Сную!
 Убью
 в сию
 секунду!..

Т у ч а

Вот от издали до близко протянулась трасса визга,
под крылом дымок повис...

П у л я

Вниз...

Л е т ч и к

Мимо, линии косые!
Сгинь, трассирующий след!
Сколько воздуха в России!
Разве мне дороги нет?
По виску сочтется кровь,
сзади рокот недалекий!
Солнце, в тучах приоткрой
голубой клочок дороги!
Выше,
 выше,
 горы,
 гряды,
вот они — недалеки —
перевалы, Арараты,
паровые ледники!..

О б л а к а

Семь летят зловецим роем, мы его собой закроем!..
К нам лети, мы не обманем, не сдавайся, будь героем!
Семь грозят ему пожаром, мы его затащим паром,
мы в спасительном тумане самолет его зароем!..

В р а г и

— Hetzen! Treiben! Spucken! Speien! Beißen! Reißen! Nagen!
— Stechen! Morden! Schießen! Schleißен! Töten! Schlagen! Jagen!
— Крыть! Грызть! Бить! Мять! Взять! Сбить! Гнать! Гнать!

Г о л о с а п у л ь

— Вьюсь!
 Сную!
 Убью
 в сию
 секунду!..

Л е т ч и к

Слышу, слышу, мой мотор,
пулеметов хрипый хор,
говор черных и когтистых,
марки Круппа, с костью трупа,
вижу знаки на фашистах...

¹ Травить! Гнать! Плевать! Харкать! Кусать! Рвать! Грызть!
Резать! Убивать! Стрелять! Колоть! Умертвлять! Бить! Преследовать! (нем.).

с черепами — Schwarze Kor...
Слышу, слышу, мой мотор!..

Облака

Он бледен бледностью небесной над бездной бешеного боя,
сомкнулись брови, струйки крови ползут на лоб из-под бинта.
На нем дымится вся одежда, он видит нас перед собою,
мы — облака — его надежда, мы цель гудящего винта!..

Летчик

...Вот мы слились с облаками,
мы в пещерах влажных гор,
мы окутались клоками
мутных, ватных и пушистых,
самых верных, самых чистых...
Как легко на небе мне!
Океан паров плавучих,
ты на нашей стороне!
Вы за нас, дневные тучи!
Мой мотор, в удачу верь,
нас не видно, а теперь —
вкось от солнца понесемся
вниз — к драконам и крестам,
пулеметом —
по капотам,
по кабинам
и хвостам!..

Облака

С неба — огненный прыжок! Он их пулями прожег!

Его пули

В бок, в бок,
в бак, в бак!

Облака

Их было семь, их стало шесть, но он пикирует опять,
опять крыла жестокий жест, их было шесть, их стало пять!..

Мотор

Рассыпающееся надвое... пресмыкающееся адовое...
пламя жжет его... черно-желтого... задымилось отродье чертово!

Облака

Вот под крылом возник дымок. Зловещий угольный комок.
Вот новый дым, вот новый ком — он разорвался под крылом!

Голоса зенитных орудий

Дул
жуть.
Гул —
в путь!
В муть!

Медь,
лезь!
Смерть
здесь!
Есть!

Мотор

Ударило и прорезало — угарное и железное,
обрызгивает осколками, нет скорости, и скользко мне...

Летчик

Мой мотор, ты ранен? Ранен!
Пламя пляшет по крылу.
Дай же снова протараним
неба сумрачную мглу.
Надо спрятаться от вспышек!
Задыхаешься? Дыши!
В глубине мелькнули крыши,
церкви, трубы, этажи...
Жизнь земная, жизнь простая
так отчетливо близка!..
Нет, не бомбы! Свысока
вниз лети, листовок стая,
разлетаясь, исчезая
до последнего листка...
А теперь прощаться будем
с небом, раненый корабль...

Облака

Он миновал дымки орудий, ушел за огненную рябь.
Сквозь нас плывут листки сырые в туманной капельной пыли.
Листки коснулись камня улиц. Смотрите, люди подошли,
к листкам опасно нагнулись. Смотрите, подняли с земли....

Х о р о б л а к о в

Он, пыланием одет,
тянет к туче дымный след.
Пламя лижет кожу рук.

Дотянись скорее вверх
сквозь смертельный фейерверк,
мира облачного друг!

З е м л я

Он в туче тонет,
его догонят.
Во мне все стонет.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

З е м л я

Стучат колеса.
Свист паровоза
сюда донесся.

О б л а к а

Смотрите вниз. В тумане лес. Там обнялись восьмерки рельс.
Вот паровоз! Могуч и скор, он держит курс на семафор.

З е м л я

Вот он пронесся.
Сорвать колеса!
Спустить с откоса.

О б л а к а

На нем орудия и танки с печатью черного орла.
Зеленый свет на полустанке. «На Сталинград» — гласит стрела.
Великий город в буре дыма. Ему и Волге нет спасенья!

З е м л я

Несется мимо.
Необходимо
землетрясенье!

Д о м в С т а л и н г р а д е

Седая пыль кипит в проломе, но я держусь — разбитый дом.
Один солдат остался в доме, он с пулеметом за окном.
Пусть три стены, и печь, и трубы фугасной бомбой снесены, —
он не оставит, не уступит моей единственной стены!

В и х р ь

Сотрясает землю стук,
 дробный стук.
На болты, винты и стыки
наступает черный круг.
На площадке — пушки, танки,
минометов мрачный ряд,
стук колес, и стук морзянки,
и свисток на полустанке —
путь открыт на Сталинград.
 Это враг, враг, враг
мчится вдаль на всех парах.
 На платформе —
 люди в форме,
с автоматами в руках,
с черепами и костями
на воротниках.
Не отводят машинисты
 маслянисто-черных рук.
Ближе, стук, стук, стук,
 стук, стук —
к Сталинграду приближающийся стук.

О б л а к а

Смотрите вниз! Тоннель пронзает! Змеей под землю ускользает.
Но где же летчик? Он не знает! Ему закрыла землю муть.
Спешим наверх! Его попросим. Туманный занавес отбросим,
раскроем вширь большую просинь, — пусть он сумеет заглянуть!

Л е т ч и к

Нелюдимо небо-море,
над пучиной — я один.
В замирающем моторе
 пляшет каплями бензин.
Фронт грозы на кругозоре,
 сумрак гибельных низин...

Облака

Окно в тумане вырой, ветер! Рванулся дым из подземелья.
Он не взглянул, он не заметил состав, ползущий из тоннеля.

Летчик

В мутном небе никого нет,
кто бы мне в беде помог.
Ни спасательного круга,
ни товарища, ни друга!
Не примчится, не догонит
«скорой помощи» гудок!
Ветер гонит, книзу клонит,
вот подбросит и уронит,
разобьет и похоронит...
Тонет, тонет мой челнок...

Облака

Ему глаза туманят слезы, он не увидит паровоза!

Летчик

Распахнулся воздух мутный.
Вот — любимая земля!
О, вобрать ее глазами,
растворить ее слезами...
Что могу за полминуты,
погибая, сделать я?

Земля

Ты можешь много!
Смотри — дорога.
Вглядись — тревога!

Летчик

Может, купол парашютный
к жизни вынесет меня?

Облака

Вот он отстегивает пояс. Он самолет покинет! Нет.
Он увидал ползущий поезд. Глядит в клубящийся просвет.
Мы отплыли. Мы застыли. Он решает: или — или...

Л е т ч и к

Или выпрыгнуть и вырвать
из-за пазухи кольцо?

С т р а х

Прыгай вниз!

Л е т ч и к

Или вынырнуть и выбрать
цель себе перед концом?

С т р а х

Лучше жизнь!

Л е т ч и к

Вижу — длинные составы
проползают под ногами.
Их членистые суставы
переполнены врагами.
Танки, ящики гранат.
На восток? На Сталинград?

С т р а х

Пламя бьет
в самолет!
О, спасись,
опустись,
прыгай вниз!
О, раскрой,
я прошу,
белый свой
парашют, —
лучше жизнь!

З е м л я

Тут горе плена,
Стать на колена —
Земле измена.

Облака

Туман ползет в окно провала, едва видны вагонов звенья.
Еще секунда — и пропало! Они покинут поле зренья!

Летчик

Значит, надо в тьму провала?
Значит, кинуться в пике?
Но еще кольцо штурвала
верит раненой руке...
Еще вверх не завертелся
винтовой воронкой мир!..
Кто приказывает: «К рельсам!» —
Воздух? Эхо? Командир?

Дом в Сталинграде

Я кирпича и щебня россыпь. Я исковеркан. Я исколот.
Но я прикрыт солдатской грудью — спина к спине, стена к стене.
Так уступи великой просьбе: не дай врагу ворваться в город,
его пятнистому орудью не дай приблизиться ко мне!

Летчик

Вижу город, слышу грохот
осыпающихся стен...
Всё быстрее колесный рокот,
паровоз вперед торопит
хвост бензиновых цистерн.
Цепь трясущихся прицепов
тянет вдаль локомотив.
Ускоряет ход, забыв!
Две секунды — для прицела,
и одна еще — на взрыв!..

Земля

Я — мать живого —
принять готова
твое паденье,
как принимала,
как обнимала
твой день рожденья!

Летчик

Это голос? Или это
моего решенья эхо?

Я сказал? Или оттуда
мне почудилось: «Иди!»? —
Может быть, взовьется чудо
парашютом позади?
Облака, скажите вы хоть:
взрыв — обязанность моя?
Неужели верный выход
указала мне Земля?

Облака

Он ждет ответа. Ждет совета. Спешите летчику помочь!
Мы тоже любим небо это. Оно — сияющий наш дом.
Но вот горячий луч рассвета и нам приказывает: «Прочь!»
И на сухую почву лета мы крупным падаем дождем...

Летчик

Это голос? Или это
вздохом облачное эхо
возвратилось с высоты?
Возвратилось... Но откуда?
О, последняя секунда,
как протяжно длишься ты!
Что я вижу? Мир плавучий
поборол рассветный мрак...
Из багряной дальней тучи
подымается маяк...
Не маяк... Другое что-то...
Вот на линии полета
туч раздвинулись пласты.
Пять лучей встают оттуда...
О, последняя секунда,
слишком кратко мчишься ты!
Там, заполнив мирозданье
очертаньями колонн,
циферблатом сквозь лавину
вот уже наполовину
башни стрельчатое зданье
входит в хмурый небосклон...
Зренье мне, бензин, не выжги!
Жизнь, еще со мной побудь!
Пять лучей на стройной вышке,
раздвигая мрак и муть,
сквозь мелькание крупинок —
в бой, в огонь, на поединок
озаряют жизни путь.
Глаз горячих не закрою!

Вижу, вижу с высоты
путеводною звездой
озаренные мосты!
Ждут часы на башне чудной.
Стой, последняя секунда,
не спеши за стрелкой ты!
Вижу домик в переулке,
мать качает сына в люльке
в тишине тревожной ночи
и поет ему, поет,
что в далеких тучах летчик
продолжает свой полет.
Ждет секунда — дольше жизни,
самолет, как неподвижный.
Неподвижно море туч.
На крыле багряный луч.
Это стрелка Спасской башни
показала мне, светя,
как на будущее наше,
вдаль на спящее дитя...
О, как близко бомбы воют!
Слышу шепот: «Защити!..»
Глаз горячих не закрою,
мне другого нет пути!
Выбираю самый трудный
путь — атаки с высоты!
Стрелка, скинь мою секунду
с позолоченной черты!
Сквозь воздушные сугробы,
принимая смерть такую,
бинт сорвав кроваволобый,
я
 собою
 атакую!
Цель, как метка, между глаз!
Прорываюсь, умирая,
для тебя, Земля родная,
дети Родины, для вас!
Облака земного рая,
вижу вас в последний раз.

О б л а к а

Смотрите! Плоскость накренилась! Он оттолкнул от сердца руль!
Над ним с тревогой наклонилось все полушарие простора.
Он пронизал свистящий воздух пунктиром вырвавшихся пуль!
И вниз понесся — к паровозу, — обвитый пламенем мотора.

В и х р ь

Самолет понесся вниз,
сверху вниз!
В путь Икара дым пожара,
вырывающийся из
продырявленного бака
и из огненного знака
на расстрелянном крыле.
Приближается атака
к паровозу на земле.
Снизу крик, крик, крик!
Ускоряют машинисты
маслянистый паровик.
Приближается крылатый
к стуку мчащихся колес.
Скатываются солдаты
на мелькающий откос.
В гул смертельного удара,
в бурю взрыва мчится жизнь,
мчится вниз, вниз, вниз,
вниз, вниз —
в гул удара, в путь Икара
мчится жизнь!

И к а р

Несусь на землю. Крылья тают. Воск разжижает грозный жар.
Меня убьет земля Элады. Меня казнит скала сырая.
Пусть облака мне уступают. За мной — победа! Я — Икар.
Я вырвал право быть крылатым! В жизнь возвращаюсь, умирая.

В ó р о н ы

Смельчаку за дерзость — кара!
Гибель в тлеющей золе.
Что осталось от Икара?
Брызги воска на скале.
Мраком крыл его покройте,
рвите мясо на клочки!
С хриплым криком вroyте когти
в незакрытые зрачки!

С о к о л ы

Врете, черные! Не смейте!
Прочь от опаленных век!
В схватке мужества и смерти
победитель — человек!

От постели, от полевой,
прочь! Не пустим никого!
Мы охраной соколиной
сядем на руки его!..

Облака

Горят железные цистерны. Удар был гибельный и верный.
Взлетают мины. Запах серный. Вагоны гнутся и горят.
Исчез навеки в бурном дыме товарищ, вечностью любимый.
Сдвигайтесь, тучи, плотным фронтом!
Плывем, прикроем Сталинград.

Хороблаков

Славу павшему в века
донести издалика —
мы клянемся, облака!

Земля

До самой цели
вперед смотрели
глаза героя.

Открыты веки.
Таким укрою
его навеки.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Ветер

Вею и вою
струей вихревою,
тучи толкаю
к сибирскому краю.

О, тучи России,
спешите к равнине!
Поля золотые
молят о ливне.

Земля

Скорее, туча,
верни обратно
живую воду!

Довольно пучить
туманов пятна
по небосводу!

Облака

Идем. Наш переход огромен. Пропали степи. Встали ели.
Уральские под нами горы. Багровы зарева плавилен.
Насыщенные гарью горя, мы тяжело переболели,
сливаясь с жарким дымом домен, мы за Урал перевалили.

Хоробаков

Дождевой суровый слой
небо полностью закрыл.
Ветер выбился из сил.

Фронт оставив за собой,
многокапельной толпой
мы пришли в глубокий тыл.

Облака

Вот группы женщин смотрят в небо, земля,
растрескавшись, нагрелась.
Исшептаны шуршаньем хлеба волнистые поля Сибири.
И тяжесть капель, скорби опыт — вот наша грозовая зрелость.
Мы в каплях накопили копоть, мы к жизни причастились в мире.

Капля

Я зимой была кристаллом —
шестигранник кружевной!
В марте чистой каплей стала,
подружилась с вышиной.
В яркой радуге стояла,
уходила в океан,
изменялась год от года, —
вдруг трубой водопровода
в медный выскользнула кран.
И росой в цветок ложилась,
испарялась и кружилась
над травой, пока туман.
Лишь с Землею прощаюсь,
та зовет меня: «Вернись!»
Я в дождинку превращаюсь
и соскальзываю вниз!

З е м л я

Не медли, капля,
вернись на землю,
тянись по стеблю!

О б л а к о

Цветы свои раскрыли рыльца, шипы пшеницы молят — влаги!
Брюхатым тыквам ливень снится, я яблоням необходимо!
О грозовом прохладном благе зеленые вздыхают злаки,
от зноя пыльные станицы нас просят не промчатся мимо.

К а п л я

В быстроте полета наземь
вся моя душа и суть.
Смело, капли, рухнем разом!
Мне знаком на землю путь.
Там — за глыбами Урала
я дорогу проверяла!
Я узнала речь мотора
и, плеснув на плексиглас,
в громе пушечного хора
вместе с летчиком неслась.
В бурю взрыва, в лаву жара
вместе с летчиком вошла
и с кипящим клубом пара
к облакам Земного Шара
с точкой угольной ушла...

Т у ч а

Во мне живут пылинки угля, я их несла по всей России.
Водою радужной набухла. Иду на хлебные массивы.
Во мне плывут миллионы точек, поднявшихся в секунду взрыва.
Моей души коснулся летчик, и я, счастливая, дождлива.

З е м л я

Сюда, на землю,
дождинка жизни,
скорее брызни!

О б л а к а с з а п а д а

— Мы видели на танках звезды. — За Одер тянутся обозы.
— Дивизии подходят к Вене. — Над миром — мира дуновенье.

— Всё реже в тучах бомбы воют. — В Берлине грянули раскаты.
— Взлетают над ночной Москвою красно-зеленые каскады.

Х о р о б л а к о в

Цветок на острие штыка.
Бойца обнявшая рука.
Победы первая строка.

Она, как небо, глубока,
ее страницы — облака,
героя ждавшие века...

З е м л я

Героя имя,
его зовут как,
я не забыла.

Вся в незабудках,
всеми любима
его могила.

Т у ч а

Я проплывала над могилой. Вокруг лежат поля пшеницы.
День долгожданной жатвы начат. Гудит машина полевая.
В холме зеленом спрятан милый. Его письма держа страницы,
там девушка сидит и плачет, своей любви не забывая.

Д е в у ш к а (поет)

Смелый летчик жил на свете,
путь-дорога далека.
Им гордился быстрый ветер,
любовались облака.
И садились дождевые
часто капли на крыло
и смотрели, как живые,
в очи карие его.

О б л а к а

Июльский воздух так чудесен! Лучи от солнца — шире, шире!
Звенят часы на башне Спасской.
Мы только что прошли над ней.

До нас донесся отзвук песен, что правда побеждает в мире.
А девушка с печальной лаской глядит на праздничных людей.

Д е в у ш к а
(поет)

В облаках дождя и града
путь-дорога далека.
Ради нас и Сталинграда
в бой вела его рука.
Он пожертвовал собою,
и не выдернул кольца,
и погиб, своей судьбою
управляя до конца.

О б л а к а

Мы видели Дворец Советов. Он только что в Москве построен.
Там Ленин в зареве рассвета указывает людям путь.
Внизу из бронзы облик отлит — открыты в жизнь глаза героя.
И он в глаза любимой смотрит и молча просит: «Не забудь!..»

Д е в у ш к а
(поет)

Над широким полем хлеба
путь-дорога далека.
Здесь его большое небо,
путевые облака,
неуслышанное слово,
неувиденный полет.
Только с неба грозового
вот-вот капля упадет.

Т у ч а

Я все запомнила, как было. И мне по силам жизнь живая.
Поэт мне дал понятный голос и наделил душою в небе.
Я человека полюбила. И я, как он, упасть желаю,
разбиться каплями об колос и возродиться в новом хлебе.

В и х р ь

С неба рухнул крупный дождь,
крупный дождь.
Косо режет, влагой нежит
созревающую рожь.

Это капли, капли, капли
мчатся в жаждущую сушь,
листьям ляпнули на лапы,
и развернутые хляби
отразились в блеске луж.
Это плеск, плеск, плеск
щедро льющихся небес,
это капли поскакали
пузырьками в гущу рош.
Это дождь, дождь, дождь,
дождь, дождь, дождь —
серебристый и лучистый
летний дождь!

М о л н и я

Белый блеск!
С нами бой!
Меч небес,
я с тобой!

К а п л я

Свет
призм,
вслед
брызнь,
дождь,
вниз,
в рожь,
в жизнь!

З е м л я

Вбираю, славлю
простую каплю,
что век от века

несется с неба
вниз — ради хлеба
для человека.

1943—1947

253. СЕМЬ ДНЕЙ НЕДЕЛИ

ВСТУПЛЕНИЕ

Все двери настежь,
если в доме душно!
Страна Советов,
ты великодушна,
всей своей сутью
ты сама Свобода,
так встань сама,
без вахтеров, у входа,
и жалобу
на тех,
чье сердце — камень,
прими своими добрыми руками.

И так скажи:
«Я не отвергну просьбы,
хоть все "Дела"
пересмотреть пришлось бы.
Пусть пьедестал
без статуи побудет,
но и гранит
допрошен строго будет!
Я разыщу пропавшего без вести
и честь верну
терпевшему бесчестье.

Нет,
человек не будет обесценен.
В стране,
где председательствует
Ленин,
пусть правят
человечность и законность.
Я с вашей болью
лично познакомлюсь.

Мне, как и вам,
бездушие ненавистно.
Чтобы оно,
как прежде,
не нависло —
я никому не откажу в защите!
Задумывайте,
мыслите,
ищите,
я вас не встречу запертою дверью.

И как мандат —
 вот вам мое доверье!
Да будет день ваш
 будущим оправдан!»

Так скажешь ты, Страна,
 и это правда.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В пасмурность осеннюю,
в слякоть и усталость,
после
 воскресения
все это писалось —

когда нужно думать, как
не проспать бы
 службу,
когда в ранних сумерках
просыпаться нужно,

когда странно морщатся
стены
 в институте
и бредет уборщица
в коридорной мути...

И в такой-то муторной
скуке на рассвете —
захотелось
 утренней
новизны на свете,

захотелось врезаться
в дело,
 как ракета,
захотелось дерзости
мысли, звука, света.

И хотя про будничность
сказано не мало,
что
 «большая будущность
кроется и в малом», —

захотелось
 замысла
с преувеличением,

чтобы все казалось нам
первым
увлечением.

Чтобы нас
насытили
верой и доверьем,
чтоб не жить
просителем
за высокой дверью.

Захотелось солнечной,
наконец-то,
встречи,
редкостной, до полночи,
долгой-долгой речи.

Захотелось цельности
мнений
неподдельных, —
Днем Высокой Ценности
стал бы
понедельник,

и в работе будничной
не пришло б
и мысли
день недели будущей
несчастливым
числить.

Захотелось,
может быть,
тех, кто сердцем замер, —
наделять
надежными
новыми сердцами,

потому что старые
глухо стали биться,
угрожая,
стало быть,
вдруг остановиться...

Но секунды двигались
в медленной минуте,
люди
тоже двигались
медленно до жути,

будто дела не было
никому
до сердца,
будто только с мебелью
близкое соседство.

А от недоверия
леденели стены,
где с портрета —
Берия
наблюдал за всеми...

Речь казалась деланной,
слов
не много
дельных.
Мало было сделано
в этот Понедельник.

Между тем
Страна была
на подъеме трудном
и не останавливала
дня
ни на секунду.

Ведь она
Октябрьское
продолжала время,
на леса
карабкаясь
с болью в то же время.

Но в минуты поздние
среди снов недобрых
перебои
грозные
отдавались в ребрах.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Мой друг
лежал уже семь дней.
Ему с трудом дышалось.
Все суше губы и синей.
Давление
повышалось.

Режим сторожайший
схем и смет —
начальника заслуга!
Но —
без живого сердца нет
спасения для друга.

Скорее в партию, в райком,
пусть только скажут —
«можно», —
стоять я буду за станком
без денег,
денно,
ночно!

Я верю —
Партия решит!
Ей эта мысль знакома...
Но ведь и Вторников
спешит
к инструктору райкома.

Он знает,
что кому шепнуть,
чье самолюбие щипнуть:
мол,
их, как «аппаратчиков»,
конструктор опорачивал...

Бессонных мыслей долгий гул
спешит за мной
по следу,
и я из Вторника бегу
по звездам ночи —
в Среду.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

И вот Среда,
одна из сред,
когда так занят белый свет.
Дается не легко
подъем
Стране, занявшейся трудом.
Нельзя отстать,
опасен спад —
за Океаном-то
не спят!

и разбираться в людях стал:
кто слаб,
 кто болен,
 кто устал,
кто, надорвавшись, стал таким,
а кто прикинулся
 таким,
кому — как донор — руку дать,
кому руки нельзя подать.
Вот сердце —

 я люблюсь им,
стучащим вымыслом своим.
Его не затрясет от игр,
которым радуется тигр,
и не иметь

 таких сердец,
тебе — хитрец или гордец!

Скорее дальше,
 в завтра, вверх,
теперь я знаю, что в Четверг
закончу
 начатое мной.
Ты будешь счастлив,
 Шар Земной!

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Настал Четверг,
 и мной в начале дела
безжалостная трезвость овладела.

Еще когда часы звенели девять —
уже я знал:
 все надо переделать.

Ошибки обнаружил в этот день я
в модели
 аппарата для биенья.

Что трепетом волненья
 мне казалось —
то просто дребезжаньем оказалось.

И то, что кровью в жилах
 мне казалось, —
то соляным раствором оказалось.

И не живая сила,
 как у сердца,
а двигательных клапанов усердство,
что выражали
 каждой своей частью
лишь видимость сердечного участия.

И тот, который
 другу верно предан,
был, оказалось,
 другом верным предан.

И оказалось,
 было «чувство локтя»
искусством
 ловко спрятанного когтя.

Изделье это
 под сукном и кожей
скорее было на замок похоже.

Оно молчало,
 когда боль кричала,
когда рука в стальную дверь стучала...

Теперь я должен
 все начать сначала.

И не муляжем опытной модели —
Нет! —
 сердцем
 стать оно должно на деле.

И все детали,
 каждый красный клапан
горячей кровью должен быть окапан!

Тогда оно,
 надежное, —
 быть может,
и моему товарищу поможет.

Итак, за дело!
 За три дня недели
прибор мы новым качеством наделим.

Весь институт работает со мною,
все ищут,
 чертят,
 спрят за стеною.

с билетом,
с пригласительным,
веселый, хитрый, с лысинкой,
с какой-то лисьей
крысинкой.

Не Вторников ли?
Вроде.
Он не один в природе.

Держа в руках записки
с галочками
в списке —
явились Безразличные,
держа
анкеты личные,
потом вошли Двуличные,
надев пальто
приличные.
Явились Лжесвидетели —
строчили ложь

не эти ли?
Все входят с пропусками.
Посмей
не отойди!
В руках все держат камень,
что был у них в груди.

И говорят заботливо:
«А ну давай,
за борт его!»

Таких —
попробуй оттереть,
попробуй —
вставь их в очередь!
Сейчас же вам дадут статью,
сейчас же вам найдут «судью».
К ним надо
робко семенить,
по блату камни заменить...

Подите вы
отсюда
прочь!

Но, слава богу, это — ночь.
И не действительность,
а сон.
Я просыпаюсь. Я спасен.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

И вот —
настала Пятница,
когда не время пятиться.

Детальями
завален стол,
колеблется от пульса пол,
пульсирует
наш институт,
теперь уж не остынем мы,
работаем мы
вместе тут —
партийцы с беспартийными.

Без партбилета
или с ним —
одной мы дышим правдой.
Нам это
Ленин объяснил,
склонившийся над «Правдой».

Как эта Пятница тесна!
В труде
без канители —
теперь бы
пригодились нам
семь пятниц на неделе!

Теперь уж это не игра
эффектными идеями —
две тысячи
кардиограмм
сердцам уже мы сделали.

Теперь —
отменим пропуска,
бездушью
нет прощения!
Мы через сердце
пропускать
сумеем все прошения.

Такое сердце ждут везде,
ждут в исполкоме и в суде.
Без сердца
ведь нельзя же нам
сидеть в ряду присяжном.

Оно не подведет теперь,
и не соврет оно,
и злобу, как пещерный зверь,
на слабом
не сорвет оно.

Мы пробуем давление,
оно
(вот удивление!) —
спокойно стало нарастать
и затихать, как реостат,
и не разрушит
клапана
эмоция внезапная.

На боль,
на горе,
на разрыв,
испытываем, темп развив:
живому
легче втрое —
ведь борется *второе!*

Но почему запел гудок
и ход замедлил
привод?
Ведь утром дали мы зарок
стоять
без перерыва!

Случилось, видно, что-то,
и сбились мы
со счета.
И молоточки замерли,
и, как вчера во сне,
в наш цех
вошли *те самые*,
что ночью снились мне.

Идут
большой комиссией
с какой-то важной миссией.
Я узнаю
Двуличного —
не скажет слова лишнего.

Как строго и уверенно
шагает
Безразличный,

а рядом — строг умеренно
его помощник личный.

Сопротивляться глупо!
Суют персты
 в артерию.
Сердца подходят щупать,
как на штаны
 материю.

Уже составлен краткий акт.
— Неподходяще.

— Точно.

— Факт.

Для ширпотреба —
 таких сердец не треба.
И вообще — новинок
не требует
 наш рынок.

Нужны сердца
 полезные,
как замки — железные,
несложные,
 удобные,
лишь повторять способные:

«Чернить? Чернить!
 Ценить? Ценить!
Громить? Громить!
 Кормить? Кормить!
Рычать? Рычать!
 Молчать? Молчать!
Губить? Губить!
 Любить? Любить!» —
и никаких кардиограмм,
а для порядка —
 двести грамм!
В дальнейшем за «искания» —
налагать
 взыскания!

Подписано —
 и с плеч долой!
Сотрудникам приказ — домой.

Мы с этим актом
 как без рук.
Что ж? Разойтись по улицам?

А через улицу
 мой друг
лежит с умолкшим пульсом.

Вот так —
 ударом ножевым
подстерегают сзади...
Но, может,
 снова оживим?
Успеем, может, за день?

Уборщицы согнулась тень,
и все в цеху
 разгромлено.
Еще один в неделе день,
а дело ведь
 огромное!

Я ухожу, и по пятам
выходят лаборантки,
держась за сердце,
 будто там
 зияющие ранки.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Грядет Суббота —
 День Шестый,
день завершенья
 всех стихий.
Все создано:
 Земля и Свет.
Но Человека только нет.
Но вот
 и человек возник,
в свирель он превратил
 тростник,
и не хватает лишь Любви,
но вот он с нежностью обвил
ту,
 первозданную свою —
под первой яблоней в Раю.

В одном
 пока не повезло —
не познано Добро и Зло...
Но вот
 и яблоня дала
понять нам, что Земля кругла,

и тщетно убеждал
Нейтрон:
«Не раскрывай меня, не тронь...»

Прочитаны пути планет,
и все ж конца желаньям нет,
и человека тянет
ввысь,
к отгадке мировых крутизн,
как нож,
он погружает мысль
в ядро и клетку, в смерть и жизнь,
не брать он хочет,
а давать!
Он хочет дальше создавать,
он должен,
должен
биться в дверь,
кричать своей стране:
«Поверь!
Без равнодушных
нас проверь.
Наш институт закрыли зря.
Сними
сургучную печать.
Ведь ты-то знаешь,
что нельзя
биенье сердца запрещать.
Вернуться в институт позволь,
поверь,
такое сердце есть,
что на себя возьмет всю боль...»

По коридорам
министерств
бегу, в приемные стучусь.
Вот Комитет
Высоких Чувств,
вот Сектор
Неотложных Дел,
вот Человечности Отдел.
«Пустите нас обратно,
в цех,
мы ж там работали для всех.
Товарищ Вторников
неправ —
мы просим правды,
просим прав...»

И вдруг
в незыблемой стене
окошко приоткрыли мне.
Так значит,
не везде — стена!
Мой стук слышала Страна.
И вот

в две бережных руки
размером в два материка
берет Страна
мои листки
и вверх уносит, в облака,
и в лупу солнца,
где просвет,
рассматривает мой проект.
Вот улыбается Страна,
нет,
стала хмуриться она,
нет,
снова из-за хмурых туч
мелькнул ее улыбки луч,
сейчас напишет
«да» свое,
согласье на лице ее!..

Но снова туча среди дня
Страну
закрыла от меня...

Не туча — это часть лица
из тех —
служебного лица,
какие рады от Страны
сердца живые
отстранить.

И так я ждал за часом час,
пока не пробил
поздний час
и стали дребезжать звонки
по комнатам вперегонки:
«Работа кончена!
Шабаш!
Окончен день субботний наш.
Резец, перо, топор, строка —
до Понедельника — пока!»
И это правильно:
пора
прилечь — работавшим с утра,

но как с сердцами быть,
ведь в них
толчки и боль без выходящих?!

Несутся шторы
сверху вниз.
Завертывают крышки линз.
Понятно —
все работники.
Но были ж и субботники?
И память есть об Ильиче
с тяжелой балкой
на плече.

Так как же с другом быть с моим?
Тромб подступает,
худо с ним!
Друзей ведь познают
в беде?
Дотянет ли до Понеде...
Ведь сердце мается,
сочась...

Я должен в цех войти сейчас
и сверхурочно там
всю ночь
работать, чтоб ему помочь...

Все дела закончились.
Рифмы тоже —
кончились.
Шторы опускаются.
Руки —
опускаются.
Я шепчу:
«Товарищи...»

Но мои товарищи
по домам расходятся,
потому что,
может быть,
в мнениях расходятся,
в том, что чудо
может быть:

«Вновь отложит
Вторников
дело на сто вторников!..»

о Понедельнике!
Скорей, неделя,
кончай невыносимое безделье!

Как можно жить таким благополучьем,
когда ответ в портфеле!
Он получен!

Как захотелось до станка дорваться,
ворваться в цех,
ведь надо ж «доругаться»!

В поток, в котел событий настоящих!
К столбцам газет!
Открыть почтовый ящик!

Воскресную я выхватил газету
и, развернув, ее приблизил к свету.

Там я увидел
Вторникова фото,
он умиленно поздравлял кого-то,
что улыбался
как-то хитровато
под буквами — «Прославленный новатор».

И тут же объявление на бумаге
о выставке сердец
в Универмаге...

Я понял их улыбок косоглазье:
Страной,
Страной мне данное согласие
использовал со Вторниковым некто,
изображенный
автором проекта!

Я выбежал, и — грудью о прилавок —
к шкатулкам
и подушкам для булавок,
которые светились и мерцали,
вращаясь
разноцветными сердцами.

Повсюду предлагали магазины
сердца из жести
или из резины,
и надувные, с кнопкою пищащей,
и набивные,
с надписью «На Счастье».

Сердца-флаконы с сладкими духами,
сердца-альбомы

с гладкими стихами,
сердца-копилки, чтобы тратить скупо,
сердечки макаронные

для супа
и рамочки для дамочек умильных,
для праздников

и личных, и фамильных...

Мой замысел стал бархатным уродцем,
и с ним —

за жизнь товарища бороться?
Так и детей

когда-то акробаты
изламывали в карликов горбатых...

Ложь в виде сердца нагло продавалась,
а публика

обману поддавалась,
и бессердечный там подружке бедной
дарил сердечко

в виде брошки медной.

Сверкал киоск вещей удешевленных,
и столько глаз вокруг

одушевленных,
поверивших в душевность сих изделий.
Они так привлекательно

блестели!

«Не покупайте!

Это все подделка!»

Но так кричать не принято и мелко,
и могут в личных счетах

заподозрить...

И, гражданин, не раздувайте ноздри,
вам не на что пожаловаться даже —
сердца ж

везде имеются в продаже!

Так что ж?

Поэме — точка?

И так повиснет строчка,
и только и останется,
что Вторников

останется
заведовать Главсердцем
с холодным

камнем-сердцем?

в глухом шкафу, как Золушку в чулане.
Я не позволю

замысел и мненье
отказом приводить в окаменение.
И подменять цветы на майском поле
бумажными цветами

не позволю!
Я на земле, как оспу или рожу,
мертвящее бездушье
уничтожу.

Во мне ведь
все сердца живые бьются,
и мне ведь больно,
если разобьются.

Иди спокойно
в Новую Неделю
и покажи, чем ты живешь на деле,
и день твой будет
будущим оправдан!» —

Так скажешь ты, Страна,
и это правда.

Май-июль 1956

254. СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ

В НАЧАЛЕ

В начале не было
ни мира,
ни тебя.
Ни моря.
Ни песка.

Дышал туман, толпились облака.

Кто ж создал нас?
Как появился мир?
Кто океан раскрыл?
Откуда ты взялась?

Наверное,
тебя
принес Морской Конек.
Ты,
сидя между крыл,
держалась за шипы, за рыбы острия
колючей гривы.
Ты —
раскрыв свои глаза
размером в горизонт —
рассматривала мир, и море, и песок.

А я
был создан для того,
чтоб здесь, на берегу,
вдруг увидеть тебя.

И океан
был создан для того,
чтоб, множеством зеркал
перед тобой рябя,
путь устилать тебе
подводною травой.

И самолет
был создан для того,
чтоб, четырьмя моторами трубя,
нести меня
и опустить в тот мир,
где только-только создали тебя.

А до тебя,
быть может, —
никого.

И мир был создан только для того,
чтоб сотворить
и показать тебя.

У ТЕБЯ ТАКИЕ ГЛАЗА

У тебя такие глаза,
будто в каждом по два зрачка,
как у самых новых машин.
По ночам из шоссе в шоссе
пролетают машины,
шумя,
двумя парами фар.
У тебя двойные глаза,
их хватило б на два лица,
и сияет весь океан
от помноженных на два
глаз.
Понимаешь,
твои глаза —
двух земных полушарий карта.
Ты когда закрываешь их —
погружается в ночь Экватор,
а когда их прошу открыть я —
в них
два Полюса голубых
в миг
Открытия.

Я БЕЛ, ЛЮБИМАЯ

Я бел,
любимая.
Я — мел,
который морем был,
и рыб и птиц имел,
и побелел.
Я — меловой период.
В глубине
есть отпечатки раковин на мне.
Моя ладонь,
и та
лишь оттиск допотопного листа.
А ты — начало.
Ты полет стрекоз.

Ты всплеск летучих рыб.
Ты небо первых гроз.
Ты только что начавшаяся жизнь.
Ты радуга.
Ты первая из призм.
Ты только что открытые глаза.
Ты водопад из золота волос.
Ты вылет первых ос.
А я — глубинный мел,
в моей душе
былых стрекоз, и рыб, и птиц клише.
Рукой веселой камни разгребя,
на белом
мне
прочти:
«Любил тебя».

ВДРУГ

Вдруг
мне столько же лет,
как тебе:

ловок я и в езде на велосипеде,
и в игре,
и в ходьбе,
и — везде.

Оставляя босые следы на песке
археологам и векам,
мы бежим на прилив.
Вплавь бросаемся в Океан.
Переплыть мы решили Пролив.
С нами рядом плывет вертикально
морской вопросительный знак
или шахматный конь,
на котором ты прибыла в мир.
Ты, в одежде одних пузырьков и волос,
узким телом идешь в глубину.
Я, надев акваланг,
поражаю акул —
и к тебе, к разноцветному дну.

О, как ново иметь
столько ж лет, как тебе!

Мы тут наедине,
подводная любовь

среди кораллов и неясных глыб.
Нырнем вновь!
Плывем среди медуз, и рыб,
и игл, и звезд!
И розовые руки в глубине,
как водоросли,
тянутся ко мне.

Вдруг
мне столько же лет,
как тебе.

И ЗА БЕЛОЙ СКАТЕРТЬЮ

И за белой скатертью,
и за белой книгою
есть и «ты»,
есть и «я».

Не пройдет и дня —

ни за белой скатертью,
ни за белой книгою —
ни тебя,
ни меня.

ПРИЕЗЖАЙ

Приезжай
ко мне
во сне.

Покажись наверху, в окне.

Напиши письмо
на песчаном дне.

Позвони в прилив, —
может быть,
в отлив
дозвониться удастся мне
к трубке раковины
на дне?

Я прошу,
приезжай во сне
ко мне.

ОТКУДА-ТО

Откуда-то
вытянула нити круглых букв,
намотала и бросила их на страницы.

Я запутался в кольцах слов,
я запутался в солнцах снов,
я иду
из кольца в кольцо
твоих букв
круглолицых.

БУКВЫ

И эль,
и ю,
и Бэ,
и эль,
и ю.
И ель у дюн, и белый день в июнь.
Весенний ландыш,
осенний гриб,
река,
и белка на сосне,
и эль,
и ю,
и Бэ,
и эль
и ю — во сне.

И твердые ноги лесных стволов,
и лоси пугливые,
и рога,
и скатерти снеговых стволов,
и лыжи,
и снежные берега —
все ты:
и придуманные цветы,
и утро, и сумерки —
все ты,
пустынная дюна,
юная ель,
и птичьи следы на морском песке,
и эль,
и ю,
и Бэ,
и эль,
и ю —
теряющиеся вдалеке.

НО Я УЙДУ

Но я уйду
за горизонт.

И ты уйдешь
за горизонт.

Но ты уйдешь за горизонт,
как день.

А я уйду за горизонт,
как тень,
когда уходит в дюны
день.

ТВОИ РИСУНКИ

Твои рисунки,
неземные
твои холсты.
Они как ты.
На них — нигде не росшие цветы.
Их нет нигде,
лишь под твоей рукой,
вот тут —
на голубом холсте они растут.
И ты нигде.
Где океан?
Нигде.
Ни в тропиках, ни в Ботаническом саду
таких цветов, как эти,
не найду —
нигде на свете.
Но они растут
на синей нарисованной воде,
как ты и я —
вот рядом,
вот нигде!

ГРАНИЦЫ

Границы,
вы —
пустые пропасти, слепые бездны, рвы
отвесных замков.
А любви
нужны дороги, улицы, шоссе,
ворота, сквозь какие

могут все
пройти и встретиться.
И если не шоссе и не пути —
то, может быть, леса, поля, холмы,
чтоб спотыкались мы,
и всё ж могли найтись и встретиться.
Но тут ограды.
Тут посты.

Стой, отвечай же:
где к тебе мосты
через пустые бездны, реки, рвы?
Что, разве недостаточно любви,
чтоб перед нею
подымались все
шлагбаумы, закрывшие шоссе?
Чтоб часовые козыряли ей,
как визе с государственным гербом,
где красной лентой
шар земной обвит...

О, будущий,
о, безграничный мир,
там надо б этой
встретиться любви!

И ТОРОПИТ МЕНЯ

И торопит меня
реактивный гул.

Взмах кольца!

И — ни моря, ни смеха на берегу.
И размыты следы под слоями воды.

Два крыла распростерлись
на два конца.

Опускается занавес облаков
на прибрежное солнце,
на мир —
твоего лица.

НО, ИСЧЕЗАЯ...

Но,
исчезая,
ты кричишь в окно:

«Пока!»

Автомобиль уже дрожит,
он жжет бензин, он ждет,
рывок — и вот шлагбаум упадет
ниц,
полосатый каторжник границ!
О ты, кричащая: «Пока!»,
ты понимаешь,
что «пока» — река
без перевоза,
пропасть без моста,
что нам уже закрыты все места
возможных встреч.

И никогда,
ни — вдруг,
не положить мне рук
на море, на песок, на дюны
твоих плеч.

1959—1960

255. СКАЗАНИЕ
ПРО ЦАРЯ МАКСА-ЕМЕЛЬЯНА,
БЕСПЛОДНЫХ ЦАРИЦ, ЖЕНУ ЕГО
НАСТЮ, ДВЕСТИ ТЫСЯЧ ЦАРЕЙ —
ЕГО СЫНОВЕЙ, ГРАФА АГРИППА,
ПУСТЫННИКА ВЛАСА, ВОИНА АНИКУ,
ЦАРЕВНУ АЛЕНУ, МАСТЕРА-
НА-ВСЕ-РУКИ
И ПРОЧИХ ЛИЦ
ИЗ БЫЛЫХ НЕБЫЛИЦ

Сочинил
Симеон, сын Хрисанфов

СКАЗ ПЕРВЫЙ

Начинаю сей сказ, грешный аз.

В некотором царстве, нэктаром текущем государстве, на самом краю света, в лето не то в это, не то в то, в некогда сущем Онтоне-граде, при свите, при полном параде жил царь.

Было сие встарь, во время оно.

Ликом царь до груди бородат, на сивых кудрях корона, золотом шит камзол, на державе алмазы да перлы.

Ну, вроде король бубён.

Не зол, не бурбон, не турок, не перс.

А только один как перст царь Макс-Емельян Первый.

Царю уже под сто лет. И колышется их величество, как пылинка на былинке. А сыночка наследного нет.

Вот и числят царя как последнего, хоть Первым и числится.

Роду Максову лет, поди, тысяча, а выбыли все из царской фамилии. Вымерли, точно их под метелочку вымели.

Был сын Адольф — принц двадцати годов, в вере истов и стоек душой. Вот о нем повествует историк Черпий Виний Младшóй: вздумал царь на царице жениться религии идоловой, только дело не выгорело — сынок был упрям, не хотел поклониться поганым богам. Связали его по рукам, по ногам — и в темницу. Царь еще раз ему: «Не перечь! Поклонись истукану!» Принц: «Не стану!» Ну и снес ему голову с плеч палача Брамбеуса меч, пострадал он ни за́ что, ни прó что.

И с тех пор государство непрочно.

Не осталось в нем и иных особ, династии родственников, ни косвенных, ни прямых. Эта ли, та ли причина? Но факт, что особы разного чина — три ряда князей и княгинь — чинно лежат во гранитных гробницах, держат кресты во костлявых десницах.

Аминь.

А царю Емельяну-то Максу ребеночек снится.

Много лет до глубокой полночи на перинах из пуха павлиньего он ворочается, охает. Блох нет, а чешется то тут, то там.

Ко вторым петухам лишь забудется. И царю во дремоте мальчоночки чуждятся, пухлые, точно куклы. Перетянуты ниткой ручончки, с вихорьками головки, как луковки, земляничные ротики, и животики, ровно тыковки.

Умиляется знатное общество, как агукают их высочества, как ножонками тыкают во льняные брабантские вышивки.

И коронка у всех на волосиках золотой молоточечной выковки.

Колыбельки везут на колесиках няньки в белых чепцах. Утирают ротки полотенцами с заглавными красными буквами. Королевы идут за младенцами при борзых заливистых псах, по лужайкам гуляючи. Именами названы разными, а по отчеству — Макс-Емельянычи. Вот и едут во сне через просеки их высочества.

А из кружев — орлиные носики.

И под самую зарю
снится старому царю,
что приходит в спальни
побаюкать маленьких.
Царь качает колыбель,
словно море корабель:
— Тихо, курочка, цыц —
спит Карлушенька-принц.
Баю, принц Кириллупшко,
спи, усни, Атилушка,
клюй орлиным носиком,
Фридрих Барбаросынька.
Отчего у́чет
грозный Иоанчик?
Хочешь? Батюшку ударь! —
Кличет нянюшку с наколкой,
чтоб подтерла под Николкой.

Ай да царь!

В поздний час государь как очухается — ничего не пищит, не агукается. Старец ждет его, статс-секретарь, лыс, как крыса. Со двойною седой бородой — две метлы под отвисшей губищей — одевает царя камергер. Собрались старичища министры, сто дворцовых фрейлин-мегер. От винища носища набухли, всё седые косища да букли, бородавки что пауки. Тальком сыплются парики, на паркет напылили. Вон — сенатор, с докладом в руке, десять лет лежал в нафталине. Паралитика в кресле везут, а в портфеле его — вся политика. Вот, одною ногою разут, генерал на двух костылищах. Их бы всех да в гробы! Лбы краснеют от шишек, кадыки да горбы. Приседают и пятятся из-за фалд золотого шитья. Ни штанишек, ни платьца...

Эх, кабы хоть одно, да дитя!
А откуда?
Ку-ку.
Одиноко царю-старiku.
Худо.

А народ осмеливается — посмеивается. Как народу — без смеха? Только фыркнет кто в кумачовый платок — и пойдет хохоток-грохоток и раскатится хохотом эхо. Так давно заведено — у одних куний мех, у иных ум и смех. Озорного словца не искать скоморохам — говорят, будто царь обрстет скоро мохом, хоть избу конопать! И хохочут опять. С поговоркой портрет намалюют шутя. Хоть на это запрет и в законе статья. Мало штук ли? Ан — на рынке возрос балаган, завертелись вертепные куклы. Удивляется младь и старь: «Да, никак, наш царь из тряпок состряпанный? Борода из пакли, на носу красные крапины»:

— Здравствуйте, господа!
Вот и я к вам явился сюда.
За кого вы меня признаете:
за короля прусьского
или за прынца хрянцюзьского?
Я не есть король прусьский,
ни прынец хрянцюзьский,
а есть царь Максемьян.

Тут Петрушка как вскочит да как загопочет:

— Га-га-га,
Максемьян без семян!

И народ, конечно, хохочет.

А зайдешь в заведение питейное, и оттуда доносится пенье шутейное. Усмехнулся хмельной шутикарь:

— Исполать тебе, ненадёжа-царь,
на полатях, знать, залежался ты
и о деле забыл о благодном,
именинной чаркой не жалуешь,
не вангажно царишь, не балуешь
государство медовым благовестом
о рожденье сыночка Максыча.
И чего нам ждать от тебя, сыча,
от хрыча, в бороде утопшего?
Коли стал не муж, коли сам не дюж
постараться для блага общего —
ты б из спаленки убирался уж,
допустил бы к постеле свадебной,

кого девкам здоровым надобно, —
кузнеца, удальца пригожего.
Поработает он, играючи,
ударяючи добрым молотом.
Понесет она с того вечера
в семь кило дитя, королевича,
вороного крыла, кузнечьего.
А что цвет не твой и портрет не твой,
не казни за то — делать нечего,
царь наш батюшка, если нет чего.

А то, чего нет, в государственной тайне содержится. Государство, оно ведь на тайне и держится. Царь-то царь, а правителем — статс-секретарь. Как бы нет его, а доносится скрип из угла кабинетного. От сиденья сутул и от прищура крив. У него лишь конторка да стул, а в шкафу под замком — весь архив. Вот таков граф Агрипп, с гусиным пером за ухом. Ах и хитрый старик! Обучён всем наукам, и на нем государство стоит — и война, и финансы, и иные дела, какие неясны.

Кому-кому, а ему-то следует знать, у кого бы наследничка подзанять.

Так или сяк, а род Максов иссяк, и сыночек ему не дан ни от каких дам. А спрос-то ведь не с царя, а с графа Агриппа, с секретаря, бди и ночью и дённо.

Разбирает Агрипп архив — что ни лист, то другая корона. Тридцать было жен у царя, и всё зря.

В королевах ходила испанская донна, лицом хоть куда! Звать Терёза, тверёза и молода. А нет плода!

За Терёзою — польская краля Ядвига, молоко да клубника, захмелеешь, узря. И зря.

А за ней австриячка была — Фредерика, станом оса. Русская царевна Федора, в два кулака коса. Итальянская Леонора, что твоя лоза, персиянка Гюрза, Кунигунда была, Розалинда — инда счет потерял Емельянушка-Макс.

Так-с.

А ни дочки, ни сына.

Абиссинская даже была негусыня, чернее всех саж да вакс. А за ней англичанка Виктория — родовита, бледна. И со всеми такая ж история: умом тонки, породой чисты, а внутри пусты.

Куда уж дальше ходить — из Парижа выписал Антуанетту, уж и модница, и любовница, только дитя бы родить!

Ан того и нету.

Разослал государь по родителям жен, и не вемо, что деять должен? И не в том возрасте, чтобы ждать бодрости. И не так стар стал, чтобы сдать царство. И снедает царя тоска-с.

А за сим новый сказ.

СКАЗ ВТОРОЙ

Посредине града Онтона есть фонтан, а на нем Нептун, белый флаг свисает с фронтона, и гуляет вокруг топтун.

Дом воздвигнут на месте возвышенном, у дверей — с алебардой вратарь.

А внутри, за конторкою, — статс-секретарь. Мыслит он о предмете возвышенном среди умственных книг.

Сокрушается граф Агрипп — смертны суть человеки. Жисть есть миг. И царям не навеки дана сия. Догорела династия. Род великий погиб.

Чуть что — государство без власти очутится. Ни узды, ни стремян. Как скапунтятся Макс-Емельян, тут и смута!

И Агриппу как быть самому-то? В сердце — нож!

Ведь оно, государство, ему — вроде няни грудастой: пососешь и соснешь. Чтоб давало со щедростью дар свой — изощрайся хитрее, чем уж.

И к тому ж — граф Агрипп был учейший муж. Знал он уж и Историю, и Астрономию, и где север, где юг, где поля и где пущи, только пуще прочих наук уважал Гастрономию — всякий глянс или фарш. Царский харч — не тарель баланды. Царедворцу даны привилегии превеликие! Чем-чем, а печеньем граф обеспечен на сто лет.

На столе черепаховый суп, пуп фазана, да печень сазана, и шипучий нарзана сосуд, если пучит.

Попроси — и несут на салфетке суфле Сан-Сузи, фрикандо соус рюсс, и для свежести жюс — сквозь соломку соси. И вино, под названьем «Помар» — точно кровь, аж садится комар.

А на сладкое — с сахарной пудрой сухарное лакомство.

Благостно.

Мудро.

Все начищено, гладко наглажено.

При царе государство налажено, есть и власть и ядение всласть.

А как каркнет Смерть, одинако кося и царя и псаря, — выкуси, на-кося! Хоть зубами стучи, хоть кричи — где ты, Макся?.. Забушуют кругом кумачи, Гришки, Стеньки пойдут, Пугачи... Весь архив разгребут — и на ветер. И тогда — не филе на тарель, — самого — на вертел, чтоб шипел, как филе натюрель. Может статься! Мясо графское — сочное. Чует статс-секретарь — дело срочное. И решать сей же час. Догорает же царь, как свеча-с!

Вдохновенье на графа находит. Он спасительный выход находит. Призывает к себе судью Адыю — гроссмейстера в мантии, в маске. Лицо доверенное, проверенное. Сочиняют они решение о Максе — высочайший вердикт. И пускай его Тайный Совет утвердит. А кто повредит — привет с того света. Заседают вдвоем до рассвета.

Так что царская песенка спета.

Утренним чаем согрет, граф назначает Тайный Совет. Но — секрет. Сам вручает билет пригласительный. По чину, по сану, как приличествует: во-первых, Их Величеству Макс-Емельяну, во-вторых, барону Ван-Брону, графу Джерафу, князю Освинясю, герцогу Герцику, судье Адье, отцу Питириму и еще пятерым.

Чуть свет на Тайный Совет едет двенадцать коронных карет. Но — строжайший секрет. Членам — двенадцать поставлено кресел, царю — трон. На креслах — двенадцать двуглавых ворон. Мантии к мантиям, парики к парикам. Седую главу повесил царь-старикан. Нутром свое положение чувствует. Но члены царю для блезира сочувствуют.

Граф Джераф советует в Карловы Вары, барон Ван-Брон полечиться бобром, герцог твердит, мол, полезны отвары, князь Освинясь — медийскую мазь... Молчит лишь судья Адья.

На столе ни еды, ни питья, ни варенья. Одни говоренья.

И пускай говорят! Как говорится, надо дать голове поварить, поговорить, выговориться, да не проговориться. А кто вперекор проговаривается — тот судьейю к статье приговаривается: бери узелок и — адье! Говорить — не пироги варить. А всего не переговорить.

Наговорились кто сколько хочет. Пора и кончать. Граф Агрипп звонит в колокольчик, кладет на бумагу печать.

Так сказать, начинается вынос:

— Вы нас, мы вас, Ваше Величество, любим. Вы наш отец, мы ваши люди. А роду конец. И где тот птенец, что наденет отцовский венец? Как ни сетуйте — нетути. А раз так, надо звать на царствие Рюриха из города Цюриха. Он-то плодиться мастак. И мы, холопья вернейшие ваши, припадаем к стопам августейше-монаршим, спину гнем под меч или бич, верноподданно молим подписать отречение, браду постричь, корону сдать под квитанцию и, того опричь, отбывать на дожитие в страну Иностранцию, инкогнито, как никто. Вот — наш нижайший совет. Но — что скажет Тайный Совет? Мы — человек служащий, ваши указы слушающий.

А судья-то ключом бренчит, от тюрьмы. За дверьми — стража. Страшно. Пики. Пищали. В башне темно, кромешно. И, конечно, графья закричали:

— Ваше Сиятельство! Вы — что мы! Из одного из приятельства, кого — прикажите — низложим. На кого — укажите — корону возложим. Попрем старика.

Плавит Агрипп для печати сургуч, горяч да тягуч. Поелику царь малограмотен, пишет Ван-Брон за него на пергаменте: мы, мол, велим Рюриха звать и всю его знать.

Членам уже охота зевать, тянет к ужину тайную дюжину.

Перо из гуся судья очинил, Питирим освящает склянку чернил, как вдруг затряслось помещенье от стука.

Что за штука?

А штука-то вот такая.

Верь не верь — распахнулась дубовая, с вензелем, дверь. Ведомо богу, какими путями, а в залу бежит мужик, следит по паркету лаптями. Два гренадера с пищалями кричат позади:

— Осади! Сказано, чтоб не пуцали мы! Стой!

Да поздно.

А бежит мужичонка простой, в шапчонке из собачонки. Нос тычком, волоса торчком. Кем зван? Кем послан?

Судья Адья аж выронил ключ, граф обжег персты об сургуч, ляпнул барон на пергаменту кляксу.

А мужик-то бежит, рван и нищ, бить челом эксвельчеству Максу.

Вот уже бухнулся у голенищ!

Ван-Брон его за зипун, а мужик обернись да плюнь, Питирим его за портки, а тот его пяткой ткни, Освинясь бы схватил за лапоть, да боится мундир заляпать. Факт — срывает торжественный акт.

Челобитье не чаепитье — верноподданный раз настаивает, значит, важное дело есть. Хочет душу царю отвести, лобызает подол горностаевый.

А царь-то пока еще царь. Не вошло еще в силу решение, только держит перо от гуся. Под указом имеются все подписи, а вот крестик царя не стоит. Подождет отречение. Встать велит мужику:

— А какое твое мужиково прошение? В чем оно состоит?

Встал мужик, перед величеством стоит. Из очей он слезы слезные струит. Из-за пазухи он вынул инструмент, быстро пальцами забренькал по струне:

— Эх ты гой еси, великий государь,
сапогом меня по темени ударь,
в кандалы меня железные закуй,
заточи меня в далекий Верхотуй,
только, царь, не отправляйся на покой,
не подписывай бумаги никакой,
а послушай ты холопьяго гонца,
не сдавай злодею Рюриху венца.
Мы при нем, твои холопы, перемрем,
никакого нет житьишка нам при нем,
и ни хлебушка, ни редьки натереть,
и тебе нет интереса помереть.
Снаряжай-ка ты карету и коня,
посади ты вместо кучера меня,
мы жену тебе красавицу найдем,
ребятишек народится полон дом.
Есть такая во Камаринском селе,
груди — во, что караваи на столе,
очи — во, и руки — во, и щеки — во,
и доселе не водила никого.

Тут пошел мужик плясать перед царем, бросил царь свою пергаменту с пером. Топнул об пол да и вышел из хором, стал он снова, как бывало, царь царем. Грозно крикнул он: «Карету подавать! Да коней поаккуратней подковать!» Рот разинул их сиятельство Агрипп, крикнуть силится, а голосом охрип. Царь по лестнице по мраморной идет, мужичонку рядом за руку ведет.

— Эх ты, сукин сын, камаринский мужик,
кровь по жилочкам, как смолоду, бежит, —
груди — во, и руки — во, и щеки — во,
и доселе не водила никого!
Эх, невесту посмотреть бы поскорей,
народить от ней царевичей-царей.

Сел в карету грозный Макс-Емельян. Моложав и румян. На запятках арапчата, в красных туфлях и перчатках, а на козлах Фадей. «Гей!» — кричит на лошадей. Понеслись терема, и дворец, и тюрьма, и поля зашелестели, засвистели свистели, кулики, перепела, в речке рыба поплыла, удят рыбу рыбаки, замычали быки, стали козы блекотать, — и такую благодать, что ли, Рюриху отдать?

За какой интерес?

Дудки!

И въезжают в темный лес на вторые сутки.

Магарыч за это с вас.

А за сим — третий сказ.

СКАЗ ТРЕТИЙ

Есть бор, да еще бор, яр, да еще яр, река, да еще река, а по-за тем яром, тем бором, той рекой — есть лес ельник, ольшаник, осинник.

И есть там пустынный покой, и есть в том покое пустынный, веры незнамо какой.

Имя есть ему Влас, имеет над тварью кудесную власть, над чем помавает рукой — то родится и дивно плодится, хоть гусь, хоть лось, хоть карась. А вчерась исцелил он корову яловую.

Плачет баба, исходит жалобою — давно бы дитятку дала бы, а лоно — оно не полно. Кручинится мученица.

А пустытника если попросят, приведут, подведут — стань, болезная, тут, — он перстами бесплодного лона коснется, глянь — она и на сносях, скоро нянчить дитя разлюбозное.

Тварь порожней пройдет перед Власовой хатою, а уйдет сужеребой, суягней, брюхатою.

Влас сидит на пеньке у окошка, лукошко вьет.

А у пят толпятся опята, ребята грибные, сынки — подосиновики, внуки — боровики, здоровьяки. Глянет — и новенький гриб, круглоголовенький, встанет.

Бросит Влас полосатое зернышко, а наутро подсолнух, как полное солнышко, привстает из низи́, и утыкано семенем донышко, выбирай и грызи!

Пальцем тыкнет — брюхатятся тыквы аль арбузы.

Лишь моргнет, и стрельнет горошком стручок — ровный, как жемчуг перебранный.

А собою простой старичок. Бородою струится серебряной и смеется губами.

Так и живет. Хлеб жует, щи хлебает с грибами.

Было присел у крыльца — прутья вить. А на ветках вить-викает певчая тварь: «Царь, царь, удивить, удивить!»

И жук-золотарь жужжит: «Женим, женим, со всем уваженьем».

И верно, — возраст помеха ли?

Вот и приехали царь и мужик. Тот шапчонку сорвал, тот корону, что ли, в ноги упасть?

Только Власу поклоны не всласть, ни к чему ему власть. Усадил он царя на колоду, зачерпнул ему ковшиком квас, угостил его коржиком из крупитчатой ржи и изрек вроде так:

— Ты, брат, царь Макс, не тужи, не снимай венца с темени раньше времени. Ходили ко мне и постарше. А как ты с дороги уставши, ложись-ка сюда поспать под ольху. Тут у нас не расставлена мебель. На своей бороде, что на птичьем пуху...

И растаял, как небыль.

Только пень посреди, весь во мху.

А сам — невидимкой стоит у сосны, насылает на Макса летучие сны. Зелье поваривает, заговаривает:

Вы летите, соничи,
на глаза на старичьи,
сонники, заспатаи,
крепкоспай, снаатаи,
развевайте царичьи
худосны и суесны.
Сонири, соневичи,
навевайте любосны,
досыпа, до просыпа
сните сны-молодосны.
Снавсья, Сонышко Всеснявин,
от уснявин до проснявин!
Сны-всеснайки, сонари,
соноумы, сонодумы,
усьпатели спросонья,
снитесь, сонные снири.
Снамо дело, снопыри,
вы подсоннечную сонню
спать успите до зари.
Красно-сон, зелено-сон,
желто-сон, голубо-сон!

Царь-сонница, дева-снарь
пусть тебе приснится, царь!
Дан сон,
сон дан!

Радужным сном одолен Макс, государь Емельян. Хорошо под ольхою. И занятие сон не плохое. Ах, как мягко!

Спит, ладонь под щеку подложа. И не дряхл! Ликом стал моложав, будто отрок в снежных кудрях, бородатый, хороший, другой.

А рядом — бугор, весь травкою заросший.

Видит царский внутренний взор, как травинки в земле раскручиваются, учатся, как расти. Трутся о камешки корешками — воду, соль запasti. Выбрались в воздух зеленые прутьца. Глядь — надулся росток и расправился и устоялся в ясный восток. И хотя у ростка невысокий росток, а статный на зависть!

Показалась из чашечки завязь. Там платочков сложено пять. Глядь — и пошел отгибать то один, то другой завиток, солнечен, желт, как бархат.

Солнце жжет, травы пахнут.

А цветок лепестками распахнут, весь раскрылся невестой к венцу, а к нему зажужжали шмелиные крыльца, вскопошилось глазастое жадное рыльце, сел цветочный жених на пыльцу. Ох ты бог! Да как всадит до дна хоботок!

Диковинно!

А стрекоз, а жуковин! Со всех слетелись лугов. Но бугор — он уже не бугор. Дышит, желтым подсолнухом вышит...

Эва — чья? Не шея ли девичья? И из ситца плечо. И еще — будто в печке выпекалась грудь, и такая прозрачная выпуклость — прямо грудь.

Точно! Девка лежит в сарафане цветочном, и лицом — точно солнце весной. Поросла колокольцами сверху и снизу, синевеется сизой фиалкой лесной. Ой, царь! Одолей, целина! Но уж больно лежит велика и сильна. Стан тяжелый, руки белые в тонком пушку, перепархивают от ушка к ушку полосатые пчелы — от серьги к серьге, от руки к ноге. Телом светится сквозь сарафан, так бы всю пере-рас-целовал! И под силу.

С жару, с пылу — сон не сон, голова от счастья кружна. Ох и сладко целует, притянешь как. И крепка, и нежна. В губы дышит она: «Хорошо, Максемьянушка, я твоя Анастасья, жена».

А мужик Фадей, нос тычком, волоса торчком, коней-лебедей запрягает, пару гнедых. Из ноздрей у них огненный дых, бьют копытами, свадьбу почуяли. Двойная дача овса! И карета цветами разубрана вся. Ну не чудо ли? Пара какая — царь и девка-подсолнух. На рессорах двойных, на колесах фасонных! Вихорьком завивается след.

С Анастасьей своей отдыхает царь, успокаивается.

А пустынный глядит, усмехаючись, вслед.

И чему это он усмехается?

В небе — синь, скачут версты.
А за сим — сказ четвертый.

СКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ

Шили Насте приданое, чтоб ходила прибранная. Набран тую на фату, не видать на свету — так тонок.

Положили в сто картонок и парчу, и тафту, и цветного бархату, и на туфли сафьян, и сатин на сарафан, кружева к фартуку, ленты, гребни, всяческую сласть — девкам на деревне. И сейчас же слать!

Даже осерчала.

А сама — у зеркала. Приноравливается к царскому величию, к важности, к приличию.

Ресницами померцала — себе нравится.

Пять портних на полу златом вышиту полу сборили. Меж собою спорили — выше ту али ту? Сметывали рюши — поросьячи уши. Искололи пальцы все о парчовое плиссе. Выдернули ниточки на груди из вытачки. Пригляделись, — воротник требует поправок, а у них, у портних, полон рот булавок. Скалывают, колют, повернуться молят. Затянули груди в лиф на китовом усе, в венецейском вкусе...

Какова Настя! Вот царям счастье!

Платье вышло — диво див! Юбка в десять ярусов, вся горит стеклярусом, шлейф — парчовая верста, и на плечи два хвоста, жаркие, соболю.

Хороша собой ли?

Ну и свадьба ж была!
Золотили купола,
горницы красили,
по коврам дубасили,

пыль выбивали,
сор выметали,
да выбивали
медные медали.

Перед банями
барабанили,
чтобы барыни
тело парили,

чтоб они
вышли —
сдобные,
пышные.

Столяры-мастера позабыли про сон —
смастерили три стола на три тысячи персон,

с резьбами игривыми,
с крышками дубовыми,
с ножками тигриными,
львиными, слоновыми.

Били ночью в колокол,
ночь не ночевали,
золотым подсолнухом
скатерть вышивали.

А на кухне-то
в тесто ухнуто
сколько масла-то!

По махровым коврам
сам царь к поварам
вышел засветло.

Перцем перчили плов, салили, солили,
перья перепелов на плите палили.

На крюках мясники туши свесили,
пекаря в три руки тесто мѣсили,

и ножи об ножи повара точилѣ,
у костра вертела поворачивали,

зашивали, чтоб жарить на жарком огне,
глухаря в каплуне, каплуна в кабане,

кабана в быке...
Царь сказал: «Добре».
Посоветовал в муке
обвалять ребра.

Подошел к колбасе,
поглядел на лóсей,
чуть отведал карасей,
похвалил лосóсей.

На слоеное тесто сметана текла,
сама Настя-невеста пирог испекла.

От начала стола до конца стола
она полной хозяйкой зацарствовала!

Зашипели в чаду
сковородочки,
и Фадею дадут
скоро водочки!

На двор холоуи
выкатили бочки,
солоны валуи,
хороши грибочки.

Отомкнули погреба —
угощать по-царски:
каждому по полгриба,
каждому полчарки.

Каждому мужику
кинуто по медяку —
не ворованному,
а дарованному.

Налетай, кто рьян,
подбирай на счастье.
На орле — Макс-Емельян,
а на решке — Настя.

Вот и гости проходят под арками,
под венцами — с дарами, с подарками:

от барона Ван-Брона подушка для трона, от герцога Герцика ларчик для жемчуга, спальная ваза от князя Освиняся, поваренная книга от графа Агриппа, от отца Питирима средство для гриппа, от судьи Ады с кандалами две бадьи, от графа Джерафа горжет из жирафа, от купцов первой гильдии шимпанзе из Индии, персики из Мексики, мокко из Марокко, настурции из Турции, специи из Греции, от народных старшин лиха тысяча аршин и сто возов недобимок за коров недоеных.

Граф Агрипп меж гостями похаживает,
он за стол по чинам их усаживает.

На руках гайдуки
понесли пироги!
Загремели трубы,
заходили желваки,
заскрипели зубы.

Вот стол так стол — аж гнется пол! Сиги, угри, пуды икры, в укусе устрицы, в соусе лосося, филе в желе, крепки грибки, не плоха и уха, добрая вобла!

— Вобла, говорите?
Вот благодать!
Собла-говолите
воблу подать!

Несут быка — в жиру бока. Какое жаркое! Пошел десерт — в сиропе рис! Царь милосерд — пирог «Сюрприз»! Рахат-лукум, шоколад «Лукулл», кавуны, грозди, — кабы мы гости!

По чинам сели,
«Отче наш» спели.
В зале знатные мужи
взяли вилки и ножи.

Шуты, горбы, щиты, гербы, бакенбарды, усы, аксельбанты, носы, из жабо — жабы, ничего бабы, животы, борода, в позументе ворота, епанчи из парчи, сюртуки, старики, лысины, парики, чиновники, сановники, первые любовники, резвые барыни, цензоры, Булгарины, тайные советники, дипломаты, Меттернихи, вицмундиры, фраки, нагрудные знаки — чавкнули, чмякнули, чарками звякнули.

Кто кость гуся взасос сося, кто хвост леща в себя тащя, посол впился в мосол лося, рыгает граф, быка сожрав, надрался дьяк, обняв коньяк, в зубах отца трещит овца —

вот жир так жир,
вот пир так пир,
вот царь так царь!

Царь ест, царь пьет, царь губы трет, — уж как царю пируется, с царицею целуется. Ему, царю, не до гостей — в опочивальне ждет постель — красуется, дубовая, принять чету готовая, —

подушки в пуд пуховые,
сто тысяч птиц оципано,
пружинами пищит она.

Пора, уж ночь, и ждать невмочь. Браду на грудь повесил он, устал, зеваает хрычу.

А вот царице весело: «Гулять хочу, плясать хочу!»

Дан знак скрипачам,
чтоб расправили усы
и приставили к плечам
Страдивариусы.

Пианисты
забрэнчали,
тромбонисты

заурчали,
шестеро
капельмейстеров
палочками
постучали,
чтобы трубы
помолчали.

Что играть —
назначили,
начали!

Вышла Настя на круг, вынула платочек, настучал каблук
сотню многоточек:

— Чтоб пеклись на печи
новые царевичи,
эх, дайте почин,
скрипачи гуревичи!

Ты не кукси, кума,
лучше Макса нема,
я царей нарожу
выше максимума!

Поздравляй, народ,
с коронацией,
станет Настин род
скоро нацией!

Эх, тех-тех-тех,
девка Настя я,
у меня в животе
вся династия!

Отплясалась, села, часто дышучи. «Царь, пора нам отсель.
Вишь, гостей окосело уже больше тысячи. А пойдём мы с то-
бой не в постель, а на стог духовитого сена. Я-то знаю, что
ценно. Айда на сеновал, да чтоб крепко там целовал. Эй, дев-
чата, подать сарафан! Да чтоб был к утру самовар».

За ночь оба утомилися.
В баньке доброй утром мылися.

В новой спальне двери заперли.
Может, спали, может, чай пили.

СКАЗ ПЯТЫЙ

А с того сеновала восемь с четвертью лун миновало.

И приносит Настасья к Максому трону первую тройню царевичей — пузанов, крикунов, ревмя-ревичей, пухлых, как куклы.

С вихорьками головки, как луковки, земляничные ротики, и животики, точно тыковки. «Носы тычком, волоса торчком!» — зашептались чевой-то вельможи. — «Цыц! Пасть ниц! Говорить, что похожи!»

Нету края радости царской, сам трещит перед ними бубенчатой цацкой, перстами щелкает, устами чмокает, назначает Фадея к царевичам дядькой. Награждает медалью. Доволен.

И чтоб бить с колоколен четырнадцать дён. Первый колокол с дом и с червонец последние.

Бей, звонарь Спиридон, в громовые, медовые, медные.

Ранним утром до зари
влезли наверх звонари.
Спиридон, Мартын, Антон
начали перезвон.

День и ночь деньги вниз
с колоколен тренькались,
падали как миленькие
гривенники, шиллинги,
стерлинги, пфенниги, —
деньги, деньги, где ни кинь.

В била бил звонарь Мартын —
медный сыпался алтын,
а за ним полтинники
и пятиалтынники.
Тонко тинькали за ними
центы, пенсы и сантимы,
форинты и крейцеры,
чтоб росли скорей цари.

Зазвонил звонарь Антон,
гудом полон град Онтон,
забубнили гульдены
золотыми бульбами,
в колыбели на перины
дробно сыплются флорины,
колокольня — ходуном,
звон — серебряным рублем.

Рукавицей дубленой —
ан — ударил Спиридон!

За рублем дан дублон,
ливнем хлынули дублоны,
потонул в дублонах трон,
балдахины и колонны
в гругах гульденов и крон,
и повсюду — где ни стань —
на рождение платят дань,
что ни день, что ни день —
дань течет из деревень...

Отзвонили праздничный благовест, накричались принцы, наплакались, дело их. Отбаюкали первых троих, молоком из грудей отпоили, из Царь-пушек про них отпалили, слышь — вторые пищат, заагукали. Только год, и опять же — приплод. Вот какой переплет. Настя к трону приносит тройню вторую — двух сыночков и дочь.

И опять же пируют.

Что ни день, что ни день —
дань течет из деревень,
за дорогу, за корову
деньги сыплются в корону.

Год еще прочь, и Настасья царю-государю к столетию третию тройню везет. Государю везет! Только стал он тревожиться очень. Озабочен, потерял и сон и покой. И понуро глядит, не осанисто. Полюбил он сыночков любовью такой — всех желает устроить в цари. Вдруг какой без престола останется? Межусобья начнутся да мести. Пусть царят себе вместе! Ступльев хватит на всех. В государстве-то, эх, всё на царские плечи. Всем семейством-то легче.

Как четвертую тройню жена зачала — стал, болезный, слабеть и хиреть. Не подымет с подушки чела. Так он с этой работой состарился. От лекарств не окреп и ослеп на один глаз.

И зовет он писца да нотариуса, чтоб писали последний указ. Что ж! Проществовал за сто.

Вот он, этот указ-то:

Мы,
царь Макс-Емельян,
венчанный
самим богом на царство,
завещаем на веки вечные
верноподданному народу,
дабы
не свершилося бы
прекращения нашему роду,
отныне и присно
и во веки веков —

каждого нашего принца,
счетом бы ни был каков,
сына,
и внука,
и правнука всякого,
только родится, —
на царство
венчать.
И купно на трон всем садиться.

Крест поставил, подвесил печать восковую, с монаршим гербом.

Плачем, значит, исполнился дом. Попросил еще царь, чтобы подали квасу со льдом, самолично проверил указ, руки сложил на бороду, посмотрел на свою жену молодую в левый глаз и угас на сто первом году.

А за сим новый сказ.

СКАЗ ШЕСТОЙ

Ветх Онтон-град, а немало в нем ровов да крепких оград от своих же воров, не свершилась бы кража.

У онтонской стены на часах стоит стража. Арбалеты в руках, скорострелки. А на башенных звонных часах стрелки ходят что медные раки в тарелке и клешнями ведут — час да час. День взошел, день погас. Вместо чисел мудреные знаки. И на солнечных ходит часах треугольная тень — часовым при воротах. Указует на срок в поворотах. И песок из сосуда в сосуд просыпается. Засыпает дворец, просыпается.

Что ни день — полдень бьет Спиридон, что ни ночь — бьет он полночь. Помер он — бьет часы Спиридонич. И клешнею своей рак ведет. Так что время идет.

Лет прошло эдак двести.

Не имелось бы вести о тех временах, кабы около колокола в тайной келье не сидел бы ученый монах и не вел бы свой временник. На бараньих лощенных пергаментях — буквы разные в дивных орнаментах. Звери, змеи глазют из них грозноглавые. И творение озаглавлено:

СОЧИНИХ СИЮ ВЕКОВИСЬ ПАМЯТНЫХ КНИГ СМИРЕННЫЙ МНИХ НЕКТОР НЕТОПИСЕЦ

И всему свое время проставлено:

В Лето Семь Тысяч.

Царь Макс-Емельян заболел и почил. В народе стон и несчастье.

Царенье вручил королеве Настасье и сынов своих дюжине.
Сыны выросли дюжие

В Лето Семь Тысяч Пять.

Стон опять. Порядки Настасьины строги. На столах недосол. Судью Адью посадила в острог и Агриппа на постный стол. Дни грозны. Барон Ван-Брон при публике высечен, три тысячи взял из казны. Герцог Герцик за козни уволен. Двор недоволен, и прав. Народ в печали.

В Лето Семь Тысяч Пятнадцать.

Веселие велие. Дюжину скопом на царство венчали. Царскую службу дабы нести, сидят на престолах двенадцати в грановитом покое.

Про них описанье такое:

царь Андрей пребывал в хандре,
царь Василий глядел, чтобы яйца носили,
царь Касьян составлял пасьянс,
царь Лазарь на него мазал,
царь Пров ел плов,
царевна Фелица помогала коровам телиться,
царь Герасим был несогласен,
царь Пахом баловался стихом,
царь Цезарь был цензор,
царь Савва вкушал сало,
царь Ерофей на дуде корифей,
царь Федор был лодырь,
а царь Кирил всех корил.

Всем правителям выданы титулы — о народе радетели,
народа родители.

В Лета Семь Тысяч Двадцатые.

Брюхаты двенадцать цариц. Все принесли по тройне, и каждому быть на троне. Дел золотых мастера пали ниц, в дар принесли по короне. Стало царей полста, в лавках не стало холста, пошел царям на подстилки. Баб сгоняют для стирки.

В Лето Семь Тысяч Семьдесят Семь.

Худо совсем. В небе огненный хвост, летящий и реющий. В народе пост. От цариц родилось пять сотен царевичей. К купели хвост. А Максом завещано: что родилось — долженствует на царство быть венчано. Стало пятьсот царей. Забили всех наличных зверей, а мантии справили. Срубили на троны рощу дубов. Престолы поставили в двадцать рядов. По три сажают на трон, дабы уселась династия.

Лето еще.

Померла всеблаженная Настя. В народе стон. Воцарилось молчанье и страх. Сообщают о новых царях:

царь Ираклий затеял спектакли,
царь Аким был не таким,
царь Констанций устраивал танцы,
царь Альфред наложил запрет,
царь Георгий был пьяница горький,
царь Нил не курил и не пил,
царь Тарас полказны растряс,
царь Павел это поправил,
царь Юрий завел райских гурий,
царь Даниил сие отменил,
царь Евлахий постригся в монахи,
а царь Федот оказался не тот.

Лето новое.

Вновь пять тысяч царей короновано. Корон уже нету. А каждый велит чеканить монету, чтоб имя и лик. Гнев монарший велик. Как царить без венца и жезла? Ищут корень зла.

Пять тысяч строжайших указов объявлено, а всё же корон не прибавлено — нету их. Дальше — хуже, с царской службы дел мастера золотых — будто в воду бултых. С ними и злато. Град Онтон дрожит от набата.

В некое Лето.

О, великое бедствие — из града Онтон всеобщее бедствие: пропали пирожники и ткачи, сапожники и ковахи, некому печь калачи. В полдень вчера огласилось известие: со двора убежали все повара с бочкой икры из Астрахани. Ни цари, ни царицы не завтракали. Пламень на кухне погас. Издан был августейший указ — звать из трактира Парашу. Цари ели пшеничную кашу. О, печаль! Царский род осерчал. Порешили — Фадея прогнать, ти-

тул отнять. А порядок дабы не погиб, согласилось собранье всецарское — возвращается граф Агрипп на сиденье статс-секретарское. О, юдоль бытия! Истинно писано — всё возвернется на круги своя.

Таково сообщение Нékторово. То ли после бедствия некоторого — червь ли, жук ли, — а листы остальные пожухли, источены оченно, и ни буквы на них не прочесть. Ну, что есть!

А смиренному Нектору честь.

Кому сказ, кому сказка, а мне бубликов связка.

СКАЗ СЕДЬМОЙ

Кроме грамот и указов, Симеоновых сказов о былом той земли, в том ли, в этом ли веке в приходской библиотеке люди книжки нашли.

Начитаешься вдосталь — псалтыри, Библии, «Руководство — куроводство как вести с прибылью», водевиль «Муж-любовник», календарь и письмовник, том насчет борщей и щец госпожи Молоховец, альманах «В час досуга», книга «Божий завет» и «Что делает супруга, когда мужа дома нет».

Между прочим, там имелась сказка детская одна. Историческая ценность в ней содержится. Она с сокращениями дана:

За высокими горами,
за далекими морями,
без обмана говоря,
удивительное было
государство, где царило
двести тысяч три царя.
Двести тысяч непорочных,
три сомнительных, побочных.

В результате поздней страсти
к молодой царице Насте
некий царь Макс-Емельян,
то ли спятив, то ли пьян,
повелел беспрекословно
всё потомство поголовно
воцарять, короновать,
никого не миновать.

У фамильного палатца,
как горох цари толпятся.
Кто успел и поседеть,
ожидая, чтобы дали
час на троне посидеть.

Каждый жаждет на медали
свой в короне видеть лик,
с указанием, что велик.
А медаль попробуй высечь,
ежли ликов двести тысяч,
хоть чекань на медный грош —
всем грошей не наберешь.

Стольный град кипит царями,
вьется за город черёд,
Александры за Петрами,
Николаи прут вперед.
Тесно в очереди к трону.
Если новые встают —
мелом метят им корону.
Спорят, метрики суют.
У иных к груди подвешен
личный титул — понимай,
кто стоит, — Доддон Мудрейший,
Миротворец — царь Мамай.

Тут же в очереди — торг.
Тайно шепчет царь Георг:
— За посидку на престоле
отдаю полфунта соли. —
Предлагается елей,
чтобы лить на королей.
— Продается, не хотите ль,
Титул «Царь Освободитель»,
по дешевке уступлю. —
Шепот: — Очередь куплю. —
Покупает царь Малюта,
у него нашлась валюта,
и по этому сему
раньше царствовать ему.

А ведь каждый алчет власти,
алчет мантию надеть,
каждый бесится от страсти
хоть на час, а володеть.
Каждый в очередь входящий
жаждет жить верховодяще,
приказать и указать,
подпись царскую поставить,
на раба сапог поставить,
непослушных наказать.
Но — фамилия громоздка,
двести тысяч — вот загвоздка!
Впрочем, трудность решена:

чтобы все достигли цели,
власть по типу карусели
в той стране учреждена.

Карусель на площади.
Только вместо лошади
мчится там за тронем трон.
Тут же выдача корон —
позолоченный картон.
Карусель несется быстро,
наблюдает два министра.
Царь садится и царит,
речи с трона говорит.
Дату ставит летописец,
лик рисует живописец,
сочиняет стих пиит,
и покуда царь царит —
говорит он сколько влезет,
только слезет — новый лезет,
и опять такой же вид —
полчаса монарх царит,
дату ставит летописец,
лик рисует живописец,
сочиняет стих пиит.
Граммфон играет гимн,
поцарил и дай другим.
Сдал бразды и тут же сходит,
новый царь на трон восходит,
речь народу говорит,
дату ставит летописец,
лик рисует живописец,
сочиняет стих пиит.
Карусель несется быстро,
наблюдает два министра,
нет и крикнут на царей:
— Не тяни! Цари скорей!

За наследником наследник!
И уже во граде том
лишь один остался медник —
бьет медали молотком.
На весь Двор один аптекарь,
он же лекарь, он же пекарь,
один ткач, и тот портач,
один кучер, пара кляч,
один знахарь, он же пахарь,
сохранился и палач,
он же царский парикмахер,
один кравец, один швец,
так что дело неважнец.

В силу памятных традиций —
им, царям, запрет трудиться,
дело их — держать бразды,
хоть порфиры не без дыр,
и лишились всех излишеств
двести тысяч их величеств,
потому что в некий год
от царей сбежал народ,
и от сеющих и жнущих,
шьющих, ткущих и пекущих
не осталось и следа.
За два века — кто куда!

Оттого и недоволен
грозный царь Аника-воин.
Что ему картонный трон,
летописец, живописец,
рифмоплет и граммофон?
Над царишками хохочет,
власти хочет, саблю точит,
но ни слова никому,
а себе лишь одному:
— Сам себя царем поставлю,
лобызать сапог заставлю,
встречу если Смерть саму —
черепушку ей сыму!

А пока во граде оном
шла такая карусель —
сирота жила Алена
полкилометра отсель.
Весть хозяйство ежедневно
приходилось ей самой,
хоть была она царевой
от Настасьи по прямой.
Не гнушалась ни мотыги,
ни иглы, ни помела,
хоть ее в гербовой книге
родословная была.
Нравом вышла непохожей
ни на мать, ни на отца,
а была она пригожей —
ровно солнышко с лица!
И кругла, как то светило,
и душой теплым-тепла,
и сама собой светила,
когда ночь темным-темна.
А идет, как чудо носит
коромыслом два ведра,

подгулял маленько носик,
но Алена им горда.
А какая недотрога!
Подступиться и не смей.
И хранила тайну строго
о прабабке о своей.
У нее была бумажка,
и не сказка, и не ложь,
что цари — не все от Макса,
от Фадея были тож —
у кого носы тычком
и вихры стоят торчком.
А цари иные все
были с римскими носами
и с такими волосами,
как смола на колесе.

Уж и сватались к Алене!
Свахи шли, цена дана,
предлагали ей на троне
прокатиться, но она...
Но она, — тут запятая.
Тщились многие умы
разузнать, тома листая:
что Алена? Но увы,
неизвестно, где хранится
окончанье сказки той.
Кто-то вырвал все страницы
после этой запятой.

Ах вы, титлы, запятые, алфавиты завитые, буквы-змеи и орлы на листах раскрашенных, вязью разукрашенных, — вы мне дороги, милы! Ах вы, сказки-присказки о любовях рыцарских, драгоценные ларцы — буква Ферт, буква Рцы, — о Францыле с Ренцивеной, о Дружневке, о любви королевича Бовы, Василиски, Сирины с очесами синими! Сколько раз из-за вас мучилсѝ, томилсѝ, из-за вас один раз чуть не утопилсѝ. Сколько нас в полон ушли из-за той Аленушки, что по травам шла босой с распустившейся косой! Ах, глаза — два озера, ах, любовь без отзыва, может, помнит адрес он — сын Хрисанфов Симеон?

СКАЗ ВОСЬМОЙ

Говорит Симеон, сын Хрисанфов:
— А ведь сказка — ложь не всегда.
Препожалте сюда, господа хорошие.

Вот местечко, плетнем огороженное, ранним овощем ров-
но поросшее, вот сарай, закрома.

И живет тут царевна Алена, не румянена, не белёна — хороша сама.

И Аленин домок что скворешник, и растет там, конечно, орешник, и орешек на нем золотой. Он для белки, вон той.

Убедитесь, пожалуйста, сударь, — дом как дом, есть буфет, в нем посуда. И зайдет если царь победней обогреться — есть наперсток винца, огурец, найдется и мисочка щец, слово милое, отдых.

А бывали у ней три царя худородных — до седых дотерпели волос, но царить им не довелось. «Прочь иди!» — гнали из очереди. Царь Гаврило — Не Суй Свое Рыло, царь Ераст — Бог Подаст, и царь Родион — Поди Вон.

И царить-то им ни к чему! Каруселищу как чуму невзлюбили. Три царя пристрастившись были кто к чему: царь Ераст был горазд пилить и строгать, Родион — вроде он — мастер песни слагать, а Гаврило — царь худородный — выше ставил труд огородный. А нельзя, раз высокое звание. Остается одно звание.

Цари тихие, битые, в очах печаль, хлебца просят немывтые чада, жены тряпки стирают в ушатах, а поесть-то ведь надо? И царевне Алене их жаль. Все на свете — соседи! Вечерок скоротают в беседе, о косьбе, о себе, о судьбе говорят. Выйдут гости из дому, и Алена для малых несытых царят хлеб сует — то тому, то другому. Вот какая была!

А себя блюла.

А блюсти себя не легко — есть корова, дает молоко, а как пахнет слоеным тестом! Как-никак, а невеста.

И повадился к ней знаменитый герой, воин Аника. Попробуй его прогони-ка! Грудь горой, усища чернейшие вьются кольцом. И в глазах по черной черешне. Ходит к Алене с венчальным кольцом.

Саблей грохочет — свататься хочет: «Замуж иди! Любовь, мол, клокочет в груди. Растопчу, кого захочу, государство тебе отхвачу».

Но Алена ему — на порог, не тебе, мол, печется пирог, заложила калитку на палку — и за прялку. Тянет нить, чтобы кружево тонкое вить. Час садиться и солнцу. Вечер долог, а дорог. И поет своему веретенцу:

Расскажи-ка ты,
веретенце, мне,
кто мне чудится
по ночам во сне?

Веретенце жужжит, ничего не рассказывает, у Алены слезинка на щеку соскальзывает, и она, погрузив да помедливши, напевает о том же, об этом же:

Где его найти
и в какой стране,

расскажи-ка ты,
веретенце, мне.

Веретенце жужжит, ничего не рассказывает, и царица обрванный связывает с концом конец, прикрывает ставнем оконце. И снимает венец с золотого чела, вяжет лентою косу ржаную, гасит жаркий светец, разбирает постель кружевную — сама плела. И как будто в ладье поплыла.

И как будто глядят на нее в глазок молодецких два глаза. Посмотреть бы на них хоть разок!

Да они из десятого сказа.

СКАЗ ДЕВЯТЫЙ

Скоро сказка сказывается,
не скоро дело делается.
В домах Онтон-города
на ложах с балдахинами
без простыней и наволок
уснули их величества,
уснули, не поужинав,
проснутся, не позавтракав,
и, сим обеспокоенный,
в казенной канцелярии
не спит его сиятельство
вельможный граф Агрипп, —

подбородком к конторке прилип, хрипло дышит в халате наваченном шелковом, цифры грифелем пишет да костяшки на счетах отщелкивает — сколько лакомой снеди осталось? Малость самая! Залежалась еще шамая, да ее не приемлет душа моя. Стар стал, и катар. И вести королевство не просто. Чем прокормишь царей двести тысяч? И пшена-то в амбаре не сыщешь. Сводит лоб от сего вопроса. Околела свинья, что была супороса, по незнанью поев купороса. Пахарь-знахарь опять не привез ни овса, ни проса. Огород лебедею порос. Пустота на столе и в стойле. Голод грядет, бескормица! Что ли, в другое царство оформиться? Да оформят ли? Ой ли!

Папку с делами открыв, граф Агрипп разбирает архив.

Дай памяти бог, — кто помог Емельяну? А не бог! Глянул — к чертежному плану приколот старинный листок. А на нем адресок пустычника некоего.

Двести лет — долгий срок! Может, нету его?

Он-то, он может выручить город Онтон! Может, в гроб еще не положен?

Граф Агрипп-то раз пять уже омоложен, заморожен и вновь заморожен. И живет. Только пучит живот от дурного меню.

Вот и план расчертежен — луга, стога, полей триста га, пустырь, монастырь, дорога. Круто, полого, справа — канава,

слева — дубрава, в сосенках — просека, к старому пню, посреди рощи. Чего проще?

Подойду и ответить вменю:

— Ваше Пустынничество! В чем причинность того, что ни сена коню, ни нюансов в меню, спаржа даже гниет на корню и крапива? Роста нет ячменю, нет и пива.

И пустынник, может, постигнет — как добыть провиант. И предложит какой вероянт.

Разработан проект и доложен. Заложен возок, пара кляч, едет граф, едет врач, со своим инструментом палач (если старец упрямитесь станет), и айда к тому самому месту, где нашел себе Макс Анастасью-невесту.

Не скоро графу ездится,
недели едет, месяцы,
каретой слякоть месится,
то гать, то окоlesiца.
Тут царские окраины,
луга неубираемы,
грибы несобираемы,
накинута шлагбаумы,
и каждый под замком.

Пошла земля ничейная,
а чья ничья — неведомо,
какого назначения —
незнамо, не разведано.
Но где ж дубравы цельные?
Где сосны корабельные?
Где рощи? Все порублены,
невемо кем погублены,
и всюду пни да пни.

А между пней растреснутых,
колючками обнизаны,
хвощи царят в окрестности,
на них коронки сизые,
в шипах-прыщах, как ящеры,
их чертовыми тещами
прозвали еще пращурь,
а завладели рощами
давно, видать, они.

Был бор, а весь обуглился.
И всё же граф любитесь:
дубы и те не выжили,
хвощи их силой выжили,
березы были — вымерли,
хвощи хвостами вымели,

езде торчат их заросли.
Подпрыгнул граф от зависти:
— Вот сила! Как взялась!

Со страху клячи пятятся.
А где ж пустынный прячется?
Ни пчелки, ни подсолнуха!
И словно сон из сонника,
пенек оброс опятами,
а под хвощами сочными,
за паутиной спрятанный,
ну, меньше пальца, сморщенный
сидит пустынный Влас,

махонек, тощ, как заморенный, поздний опенок. Чертов Хвощ из прыщавых своих перепонок, зубаст и остер, распростер свои жирные пилы. До пустынного только аршин. Дорастет — и конец несчастному Власу, как себя ни морщинь, как ни прячься.

Врач сам разглядеть его лупою хочет, старец тихое что-то лопочет, а никак не слышать голоска, тоньше он волоска паутинового, глуше утинового пуха. Только это врачу не в диковину — вынул он слуховую слуховину, воткнул в оба уха, и слышалось глухо, но внятно и даже понятно:

Людичи, людичи,
внучичи и отчичи,
хвощичей колючичи
вылуцат вам очи-чи.

Оттащите вы меня
от Шипа Шипочича,
обрубите корни пня
Дубача Дубочича.

А уж я вас выручу,
чуру-чуду выучу.

Есть река, за ней река,
за рекой еще река,
а за самую рекастой
рукавистою рекой
есть такой невесть какой,
и глазастый и рукастый,
Мастер-Нá-Все-Нá-Руки,
целый дом одной рукой
подымает нá руки.

Он и мастер
кожу мять,

он и масло
отжимать,
всякий злак
сеять, жать,
сайки с маком
в печь сажать,
лес рубить,
рыб ловить,
пуд железа
выплавить.
Вам его бы
полюбить —
всем помог бы,
стало быть.

Только чур — не тово!
Силой мастера того
на работу не поставить,
и плетями не заставить,
и цепями не связать,
и обманами не взять,
и себя погубите,
если не полюбите.

Людичи, людичи,
будьте — людо-любичи,
пропадете, будучи
людо-люто-губичи.

Оттащите вы меня
от Шипа Шипочича,
обрубите корни пня
Дубача Дубочича.

Обе клячи сгоряча
в дом доскачут до ночи,
там отдайте старича
в ручичи Аленьчы.

Тут зовет граф Агрипп палача с топором-секачом у плеча.
И палач оказался полезен, поднял он свой железен топор, а
топор у него не тупой — в пень как врезался с маху, срезал
ровно двенадцать корней.

Ну и поднял дубовую плаху да пустынного Власа на ней.

Завернули его аккуратно в бумагу — так-то будет верней, —
чтоб пустынный в пути не пылился, чтобы дождь на него не
полился.

Только кучер выхватил кнут — жеребцами вздыбились
клячи, и Аленин домок тут как тут. И в оконце ее тук да тук.

Та от радости плачет.
Волшебство, не иначе!

И пошел в столице слух: за рекой есть такой — и кузнец, и пастух, и строитель, и кормитель, и солений всех солитель, как сапожник славится, и на всех управится, напечет пироги, всем сошьет сапоги, как кому понравится, всем кареты золотые, начеканит золотые, накует всем корон, надоит всем коров, вина запечатает, указы напечатает, рыб наловит для ухи, изготовит всем кафтаны, будут статуи, фонтаны, пудра, кружево, духи, и стихи, и романы, блюда дичи и грибов! Говорят, нужна любовь? Ерундистика! Блеф! Беллетристика! Бред! Надо взять, и связать, и схватить, и скрутить, строго Мастера наставить, выдавать царям заставить полное довольствие. Вот тогда зацарствуем в наше удовольствие!

Звать Анику-воина, накормить удвоенно, дать аркан и ятаган, ястреба клювастого, кобеля зубастого и коня как ураган — пусть изловит наскоро работягу Мастера да накажет на строго!

Взбарабанил барабан, псы грызутся лаево, трубы воют во-ево, царь Аника: «Я его!»

Только б знать — кого его?

СКАЗ ДЕСЯТЫЙ

Продолжаю свой сказ, грешный аз, да всё об том.

Далек град Онтон, ходьбы к нему дней двести, а что до езды касемо — выходит то самое. Нет туда ни карет, ни саней, ни живых, ни железных коней.

А летел гусь на святую Русь и принес прёвеселые вести о том королевстве в град Москву.

Повезло гусаку — попал не в пирог, не во щи, а к тому шутнику, что держит раек в Марьиной роще. Прочитал шутник, что намарано.

А в роще во Марьиной гулялось гуляние — Троицин день. Колпак набекрень — зазывалы вопят балаганные, продает коробейник свою дребедень — кольца да зеркальца, голосит лотерейщик: «В копейку билет — золотой браслет, — счастье-то вытащи-ка!»

Собрались ребятишки около сбитенщика, рядом бой с ученой блохой, а кого завлекают мороженники, а кого пироги с требухой и творожники, и качели, и карусель, и печеных кому карасей — всё, что любо!

И гулял между прочего люда гость, приезжий из Тулы — прямой, не сутулый, молодой мастеровой, с той кудрявой головой и с очами горячими теми, что девицами ценятся всеми, — подмастерье Левши того самого тульского, что потом блоху подкова.

Шел Иван, подсолнух полужгивал и без пары себе тосковал.

Был он статен, во многих ремеслах умел, а невесты пока не имел. Дело, что ли, в Москве за невестами?

А у ящика с занавесками, с петухом на треновом тузе — отставной солдат в картузе, с бородой из мочала, зазывает раек глядеть:

— Кому деньги некуда деть, подходи, начинаю с начала. Знаменитая панорама, двухголовая дама, мадам Сюрту!

А за ней перемена — два феномена в спирту. Султан подарил государю Петру.

А вот андерманир-штук — Бонапарт на тулуп меняет сюртук со стужи да кушак подтянул потуже.

А вот анонс: Макс-Емельяния — гусь принес в Москву на гуляние. Нашей программы гвоздь. Подходи, молодец, будь гость.

Двести тысяч правителей-кесарей, а ни косарей, ни слесарей. Царь у царя по карманам шуруют, что своруют, на то и пируют.

А вот град Онтон, благородство в нем и бонтон. Вон там дворцовый фонтан, на нем морской бог Нептун, а позади топтун, стережет серебряных рыб, ест их один граф Агрипп. Граф — монарший слуга, ему и тельное и уха из осетров да шук.

А вот андерманир-штук — онтонский герой Аника-воин. Ста крестов за войну удостоен. Кого хошь пополам сечет, за то ему и почет. В шуйце сабля, в деснице палица. Смерть самою уकोшить хвалится, а царевну Алену в жены забрать. Есть и пословица кстати — не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати.

А вот — онтонская царевна Алена, не румянена, не белёна, бела и румяна сама. Не гляди — соскочишь с ума. Что Милена пред ней? Что Пленира? Обойди хоть полмира, хоть мир — нет красавицы краше. Вот глаза — с бирюзой две чаши. А уста — цвет весенний с куста. Брови — райские перья.

Подходи, подмастерье, погляди. До груди — с натуры картина. И цена за помотр не полтина, а всего пятачок, чуть побольше алтына.

Тут Иван как почувствовал в сердце толчок, как вручил он солдату с орлом пятачок да взгляделся в раешное око. «О!» — сказал он и охнул глубоко. Стало в сердце Ивановом голубоко. Вздохнул и любовь из картины вдохнул.

Что живая, Алена глядит, оживая, будто в гости Ивана к себе ожидая. И уста — цвет весенний с куста. Брови — райские перья. Замутилась душа подмастерья, оторваться нельзя. Хороши наши Параша, да Алена всех краше! И глаза — две глубокие чаши, словно зовут: «Отыщи!»

Подмастерье от ящика хоть оттащи, сзади очередь, каждый хочет ведь! Но Иван пятаками солдата задабривает, а солдат его даже подбадривает — стой, охота пока!

И нашла на Ивана злодейка-тоска, без Алены милей гробовая доска. Отошел он от шутника, от райка, спотыкается о колдобины, околдованный. Поспешает, решает.

Раз пришлось полюбить — так и быть. Хоть тонуть, хоть пылать в присподней, хоть пузыриться в царстве морском, хоть ходить по каленым гвоздям босиком, а царевну Алену добыть.

Сим решеньем Иван преисполнен.

Соскочил с него всякий страх — вышел парень на тульский тракт, где столбы, стало быть, верстовые, где кареты летят почтовые, а на них свистуны вестовые. Ехали и фельдъегери на горячих конях, кучер их кнутом полосует.

Подмастерье стоит, голосует.

В одной руке — французский коньяк, в другой целковые держит сверкучие, всем они по душе.

Это дело понравилось кучеру, и погнал он без отдыха в Тулу, к Левше.

А Левша за обедом — ложка в лапше. Заедает мосол соленой капустою — свой посол. Мыслит — как англичанам соделать конфузию. Был он первым умельцем — подковывал мух. Но блоха — куда мельче...

Тут Иван — в ноги бух!

Излагает ему всю печаль.

Осерчал Левша:

— Не проси попусту, нынче время не к отпуску. Бог видит — не выйдет! Я ль не тебя ото всех отличал, всем прехитростям обучал? Дело есть — превзойти англичан. Не потрафим коли Николаю-то Пальчу, как поставит он нас под спицручную палочку — нашей тульской чести конец. Для меня ты кузнец, а не в разные страны гонец. Ишь вы нынче — давай вам девиц заграничных! Нечего космы пылить, что Иван непомнящий. Не быть моей помощи, не проси. А невесту найдем на Руси. Охо-хо-хоньки.

Но Иван — жив, не жив — не вздымается с ножек, а приставил к ребру вострехонький ножик и залился слезой, не дыша.

Удивился Левша, поднял рваную бровь:

— Да, никак, у тебя и взаправду любовь. Дело плохое. Ладно, сами сладим с блохою. Помню, помню — говаривал дьякон: «Любовь яко бог. Христа не гневи, не ходи противу любви». Энтот закон Христов. Вот те штоф с вином искрометным, а еще сундучок с инструментом, тут и чиркуль, и водерпас, и шурупчики про запас, самоходки-подковки на сапоги, и — господь тебе помоги.

А подковки те были Левшиной ковки. Только шагом на них маханись — и завертится в них заводной механизм. За Иваном тогда не гонись! Вот умели-то! Что Германия? Что Америка? Потому как душа у Левши, а умения нет без души.

Лишь набил Иван на подборы подковки — раз шагнул — очутился в Москве на Петровке, в чепчиках барыни загляделись на окна с товарами. На коне бы и то не поспеть. Два шагнул — да, никак, уже Невский проспект, щеголяют гусары усами, да подковки торопятса сами, глазеть не пора. Поднял

мóлодец ногу повыше — не где-нибудь он, а в Париже у Гранд-Опера! Булевардами ходят гуляки, на них шапокляки да фраки, зафранцузило даже в ушах. Сделал шаг подмастерье от берега к берегу и попал через море на крышу в Америку, этажей — не берись, не считай. Расшагался — и сразу в Китай, змеев стая летит над Пекином, богдыхан отдыхает под балдахинном. Чуть Ивана не слопал дракон, стаи змей на него засвистели, чуть подковки с сапог не слетели, и Иван опускается в город Отон и стоит у Алены под самым окном, и выходит к нему невеста, будто всё уже ей известно, и целует в уста сахарные, начались разговоры разазанные, так что дело к венцу, а сказка к концу.

Но Аника-то воин едет, вдруг Ивана он заприметит? Только б не сглаз!

А за сим новый сказ.

СКАЗ ОДИННАДЦАТЫЙ

В некий час Аника-царь въехал в степь полынную, полуднем палимую, ищет-рыщет Мастера, посылает ястреба:

— Как увидишь с высоты мужика рукастого — возвращайся ты.

Ястреб возвращается, в клюве только ящерица:

— Так и так, Аника-во, не увидел никого.

— Ах, вот так и никого? — ятаганом его, разрубил пополам, только перья по полям.

Едет ночь, едет день — нету Мастера нигде.

Десять дней Аника-царь ищет-рыщет Мастера, посылает он гонца, кобеля зубастого:

— Как унюхаешь дух — мчись обратно во весь дух.

Мчится с розыска кобель, с языка его капель:

— Так и так, Аника-во, не унюхал никого.

— А-а, и ты никого? — и арканом его, задушил, потащил, дальше в поле поспешил.

Едет ночь, едет день — всё такая ж невезень.

Тридцать дней Аника-царь ищет-рыщет Мастера. А планиде нет конца — всю туманом застило. Конь устал, сбоить стал, слушать повод перестал.

Пред Аникою курган — в небо упирается. Уходилса Ураган, взмылен, упирается. И ни взад, ни вперед. Плеть его не берет, хоть она и хлесткая, острая, двуххвостая. Царь глазами завращал да зубами затрещал, двухзарядную пищаль всунул в ухо конское, —

пуля — раз,
пуля — два,
разлетелась голова,
окровавилась трава.

Уж не мчаться Урагану. Царь Аника по кургану подымается пешком, с тем петельчатым арканом, ятаганом и мешком.

Мастер ли показывается?

Царь на то надеется.

Скоро сказка сказывается, да не скоро деется. День идет, ночь идет, крутовато вверх ведет распроклятая тропа.

Всюду кости, черепа.

Солнце каску печет, на ушища пот течет, о доспехи бьются камни, а на самой вышине

то ли Мастер,
то ли не —
машет длинными руками,
голова не голова,
то красна, то голубá.

Влез Аника на курган, вырвал острый ятаган, завертел своим арканом, крикнул криком окаянным:

— А-а, попался мне, холоп, посажу клеймо на лоб, на цепи будешь жить, мне единому служить!

Светит солнце, полный день, а холопа — хоть бы тень.

Только смотрит на восток одинокий Цветок, на зыбучих песках, о шести лепестках —

желтый лист,
красный лист,
сизый лист
и синий лист,
голубой,
оранжевый,
стебель зелен,
волокнист,

а в короне радужной смотрит милое дитя, жалость вымолить хотя:

— Не губи меня, царь, не руби меня, царь. Я без боя покорюсь. Я не жгусь, не колюсь, я — Цветок — не гожусь ни в огонь, ни в еду. Я всего только цвету. Пожалей красоту. Дай пожить на свету хоть три месяца. На планиде мы вместе уместимся.

Затянул Аника-царь свой аркан вокруг венца:

— А не дам и месяца. Даром, что ль, охотился? Только разохотился!

— Пожалей ты, царь, меня. Дай прожить еще три дня — подлетела бы пчела, золотую пыль взяла, чтобы выросли другие, разноцветные такие.

— А и часа жить не дам, и ни людям, ни цветам, повстречаю Смерть саму — Смерти голову съму!

Ятаганом раз по стеблю, повалил Цветок на землю да втоптал лепестки в те зыбучие пески.

Потемнело от тоски само солнышко.

Небо черное, в звезде. Где ж он, Мастер? А нигде.

Закричал Аника-воин, и не криком — волчьим воем:

— Зря ты, Мастер, прячешься, погоди, наплачешься. Поздно, рано — изловлю, ятаганом изрублю, всю планиду загублю, изувечу, искалечу, встречу если Смерть саму — черепушку ей сыму!

А слова-то не пустяк!

И на трубчатых костях,
на хрящах и косточках,
с копчиком как тросточка,
малость пританцовывая
бедренной, берцовой, —
а попробуй-ка, возьми! —
как цыганочка, костями
плечевыми, локтевыми,
и с косою у плеча
(ча-ча-ча, ча-ча-ча),
сцеплена железными
скрепками протезными,
щелкая старыми,
вспухшими суставами,
развороченная вся,
позвоночником тряся,
и верча ключицами,
и стуча ступицами
(до сих пор остеомиит
эти косточки томит),
ставит пятки — фу-ты ну-ты,
и лопатки вывихнуты,
и опять-таки стуча:
ча-ча-ча, ча-ча-ча,

желтый зуб в челюсти, две свечи в черепе полыхают вместо глаз, звезды светят через таз, вот те раз! Смерть на зов отозвалась, свои кости волоча, ча-ча-ча, ча-ча-ча. За ключицами — коса, Смерти-матушки краса, с лезвием жердь.

Говорит Смерть:

— Подойди поближе, воине Аниче, поклонись понизче. Я твоя матка. Помирать сладко?

Закричал Аника-воин, и не криком — дробным воем:

— Смерть, моя матка, помирать не сладко, дай прожить три года, будет тебе выгода, я тебе на выгоду своих братьев выведу. Убери жердь.

Говорит Смерть:

— Воине Аниче, поклонись понизче. Я и месяца не дам — вызывал-то матку сам? Выйди-тко, дитятко.

Закричал Аника-воин, и не криком — смертным воем:

— Матка Смерть, моя родня! Дай прожить еще три дня. Я Алену молодую на замену приведу. Убери жердь.

Говорит Смерть:

— Воине Аниче, поклонись понизче. Уж давала, годувала. А не дам и три часа. Вот те острая коса.

Ох, косы касание!

Сказано в Писании:

«Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет. Яфет власть имеет, всеми Смерть владеет».

И с косою на плече,
и в глазницах по свече,
и назад поглядывая,
подгибая лядвия,
мосолыжками треща,
узкоробра и тоща,
и качая черепком
по-над шейным позвонком,
с выломанной полностью
гайморовой полостью,
с трещинами лобными,
с выпавшими пломбами,

щелью челюсти ворча, что зубного нет врача, Смерть уходит, что ли, в гости, свои кости волоча, ча-ча-ча, ча-ча-ча, пальцами потряхивая, камфарой попахивая.

...Во степи стоит курган. На Анике — черный вран. Пьет он кровь струящуюся. Рядом острый ятаган и петельчатый аркан. И на каске — ящерица. Царь Аника — бездыхан. Не добился Мастера. А ведь ждет династия — все потомство Настино!

Поздно — час двенадцатый. Завтра — сказ двенадцатый.

СКАЗ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Во своей канцелярии, за дубовым столом с канделябрами, граф Агрипп, покоен и бодр.

Вишь, брат, — полный порядок.

Выбрит, гладок, сюртук округлился у бедр.

Как же! Экий размах-с!

Мирно спи, Емельянушка-Макс. И тебе-то в могилке приятнее. Королевство во славе, в красе. И питает его предприятие —

«Мастер-На-Руки-Все».

Может сеять, и веять, и печь он. Всё умеет, шельмец. Двести тысяч царей обеспечено и столом, и престолом. И с безрыбьем конец, с недосолом.

Дело только за малым — за тем добрым малым.

Уж Аника-то не подведет, на аркане его подведет. Но — гляди в оба у гардероба. Лишь возникнет Аника, войдя, — тут

же с цепью и стражей — судья. И в Бастилию, за насилие. Мысль не напрасная — личность Аника опасная. И любовь тому Мастеру дать, чтобы Власов наказ соблюдать, — есть блудница у нас Мессалинка, что поет «Эх, калинка-малинка». Не учить — как любить — ее. А покуда прибытия ждать, надо события упреждать, учреждать Учреждение. Граф во всем ценил упреждение.

Первым делом — перст направляющий. Управляющий, ши сметаной себе заправляющий. Должность сия, перста, для его сиятельства. Обувь шить ли, пластроны стирать ли — в каждом деле нужны надзиратели, чтобы вроде спиц в колесе

Нá-Все-Руки
работали все:
месили и квасили,
солили и красили,
пекли, волокли,
клепали, трепали,
переливали, вертели,
полировали.

Их артели место в подвале.

А над ними бдительный взор, ревизор, чтобы Мастер, тово, не припрятал товара, со стерляжьей ухи не снял бы навара — рук-то целых аж две у него!

Вот как раз сюда и царей.

Царь Кирей различает, что лук, что пырей.

Царь Ерема не плох для приема сапог.

Царь Тит за валяньем сукна приглядит.

Царь Касим, пожалуй, кассир.

Святополк в рыбе ведает толк.

Царь Георг знает масляный торг.

Царь Онуфрий — ботинки да туфли.

Царь Федот — счетовод, но по линии соков и вод.

Царь Антип — неприемлемый тип, он спиртное приемлет.

Царь Тарас — чтобы Мастера тряс, если задремлет.

Царь Евграф — налагать на работника штраф.

А цари ведь шиты не лыком. Норовят и украсть. Не ударить бы ликом в грязь в предприятии столь великом. Да присмотрит за ними князь Освинясь. А чтоб князь не соделал чего с добром, да присмотрит за ним барон Ван-Брон. А чтоб их уберечь от соблазна — да взирают в четыре глаза герцог Герцик и граф Джераф, поощрения возжелав.

А дабы соблюдать проформ — надо Мастеру дать прокорм, чтоб помои не кисли. И про что его мысли? Несгораемый нужен ларец, никакими ключами не отворец, для особых бумаг помещения. И нужны для царей помещения. А для этого годен

Макс-Емельянов дворец — двести лет как свободен. Был забит и фанерой забит.

Так что дело ясно до йот. Граф Агрипп указ издает — звать врача, палача, живописца, пиита, открывать помещение, какое забито, отрывать от дверей фанеру, занавесить брезентом богиню Венеру, красить в сурик полы, тронный зал разделить вроде улья да расставить столы и конторские стулья, перья выдать, которые чинятся, наливать чернила в чернильницы, вешать на стены Максины лики и Настины, и — покуда — терпение. Делать вид, как бы Мастер на месте.

Во дворце только перьев скрипение.

А вот Мастера как бы и нет. От Аники ни слуха, ни вести. Уж царями разграфлены пухлые дести. Ходит граф аккуратно к себе в кабинет. И сидит, как бы Мастер на месте. А вот Мастера как бы и нет. Граф Джераф изгибается — предан без лести и глядит, как бы Мастер на месте. А ведь Мастера нет!

Как зеленый огурец
цельно-малахитовый —
с утра до ночи дворец
занят волокитой.

От зари до зари
дело делают цари.

Ставят крестики и птички,
заполняют рапортчики —
что обязан Мастер дать,
что принять и что продать.

И зевают с одури
Карлы, Павлы, Федоры,
а Людовики с Петрами
чешут спины скипетрами,

Антиохи и Титы
охают от скукоты.

От безделья окосев,
говорят величества:
— Мастер-На-Руки-На-Все
номинально числится,

как бы есть и как бы нет, —
в этих обстоятельствах
зря на службу в кабинет
ходит их сиятельство.

А еще, роняя кляксы
и окурками соря,

говорят, что не от Макса
худородных три царя.

Мол, нашел Агрипп премудрый
в армуаре под замком
мемуары про амуры
королевы с мужиком.

Те мастарды, говорят,
стали грядки ковырять,
и уже у них растет
даже спаржа — первый сорт!

От речей дворец гудит:
— Самого судьи Адьи
это юрисдикция!
Три монарха — фикция!

И какого мы рожна тут скучаем от пшена? Сатисфакция нужна, конфискация нужна, строго доискаться и — применить все санкции, и не очень цацкаться с теми самозванцами, а поправших принципы, ставших псевдопринцами — затравить зверинцами, исколоть трезубцами и внести презумпцию: спаржу их продукции отобрать и сожрать до последней унции. Это в нашей функции.

Никуда не денутся! Есть юриспруденция! Хоть Фемида и стара, зверь — не старушенция!

И доходит роптание оное через ухо всегда бессонное к самому, наверх, что на стыд, на грех — три царя незаконно-рожденные завели дома огороженные, и неведомо, по чьёму почину, извлекают рыб из реки, шьют овчину, стреляют дичину, сеют злак и муку толкут, из муки пироги пекут, волокут не в казну Агриппову, а к столу, для гостей открытому. А кто гость у них? Говорят, жених, молодой, из земли отдаленной. А за кем? За царевной Аленой! А у ней, у молодой, с двух буренушек удой, значит — сыр и творог, со сметаной пирог, есть и редька, и лук, и укроп, и урюк, чего быть не могло у Агриппа самого. Раздувают сапогом в новой кузнице огонь, искры кверху кружатся, жаром пышет кузница, а жених промеж них из мехов пофукивает, молотком постукивает, по гвоздочкам цокает, неизвестно, что кует, улетают искры вверх, говорят, на четверг свадебку назначили, так ли всё, иначе ли? Молодых венчает Влас, лысоват и седовлас, на цветы благословясь! Так ли всё, иначе ли, молодые веселы и в саду развесили пестрые фонарики.

Это он, это он, что Аленой утаен, — Мастер-На-Все-На-Руки! Так что дело первое: приготовить вервие и колодки на глотки, на́ ноги и на́ руки, да сильнее завертывай, пусть как дерево трещит! К делу Мастера тащить. Ишь какой увертли-

вый! Дом Аленин разобрать, а Алену разыграть в кости, что ли, в карты ли! Так цари закаркали.

Срочная получена
от Агриппа санкция,
палачу поручено
сторожить у карцера.

Но еще от канцлера
к Мастеру — дистанция.

СКАЗ ТРИНАДЦАТЫЙ

Завершаю свой сказ, грешный аз.

Идут толпою цесари
с дубинками в процессии,
с кривляками принцессами,
с поклонами, с присестами.
Аттилы и Людовики
несут цепей пудовики.
а Николаи Первые
шпицрутены и вервия,
чтоб Мастера вязать.

Ликуют их величества,
шпы корон кольшутся,
несметное количество
колючек в небо тычется.
То — ящерами крючатся,
то — как паук с пауцицей
шагают их колючества.
Что из того получится —
еще нельзя сказать.

Три царя спешили, шилом в кожу тыкали, шили, шили, шили сапоги бутылками. На открытом воздухе шили пару пятаю, забивали гвоздики, прошивали дратвою, кончики откусывали, луковкой закусывали. Где царевна проживала — с огорода луковицы. А Алена пришивала на кафтаны пуговицы. А Власседовлас собирал травы на дорогу про запас от любой отравы.

А Иван всё клевал молотком по наковальне. Самоходки он ковал, видом одинаковые. Две подковы беговые, номера сороковые мужикам на сапоги, а Алене на сапожки две с узорами дуги — тридцать пятый номер. Ножки в самой норме! Уж Иван заканчивал, силу в них накачивал. Заправляя в колесики медные волосики. Циркулю не верил, в две ресницы мерил. Пять карат на оси, аккурат как часы! Получилось мирово, за год не испортятся.

А Алена на него смотрит не посмотрится.

Вот она, любовь-то!

Остается только пришруупить с толком, чтобы каждый сапог ровно шел, не кособок, и — летите, ноги, вихрем без дороги! Да успеют ли? Гляди — пыль до неба впереди!

Пылища поле застила
от царских ног топочущих,
идут грабастать Мастера
хвощей колючих полчища,
уже заметны издали
на них коронки сизые,
веревки вьются петлями...
Обуться-то успеют ли?
Валом валят — беда!

Два шурупа, два винта вёрткою отверткою — и как будто все обуты в беговые сапоги, разгоняйся и беги! Вот какая быстрота — мимо только пестрота! Все двенадцать каблучков поднялись до облаков, даже искры из подков! Сто ветров заговорило, что архангеловый глас. Раз — на радугу Гаврила, а за ним пустынный Влас.

Мир под радугою той — точно блюдо расписное, с океанскою, лесною и земною красотой!

Глаз не верит — удивлен и Ераст и Родион всей планиды облику.

И с Аленой об руку мчит Иван по облаку, как по зимнему ледку, и целует на лету! Это что — летание! Фигурное катание. Пять соделали колец, и расписались под конец, и встали солнцу под венец. И на веки вечные вот уж и повенчаны!

На землю сверху глянули:
в стране Макс-Емельянии
хвощи едва мерещатся,
с собою сами хлещутся.
Пускай! А ну их, иродов,
придет пора — их вырубят,
придет пора — их выполют,
и может, сами выгорят.
А нам уж не до них.

Ведет жених Аленушку в сторонушку свою. Полетели вокруг света, без заката, без рассвета, и напротив месяца солнце сутки светится. Опустились в Индии. Их слоны увидели, удивились чеботам, кланяются с топотом и, добрым хоботом трубя, подарили им себя. А слоны — на счастье, белые, ушастые.

Вот так путешествие! Над Китаем шестеро со слонятами летят и уже домой хотят. Это дело легкое — близко всё далекое!

Распугались сапоги, и у всех из-под ноги выскочнули искорки, больно горы высоки, города и выселки. Наконец-то и место искомое, но Ивану оно незнакомое. И не те дома и растения, и былых уже просто нет!

А не ведал Иван-подмастерье, что не год прошел, а сто лет или все полтора. И глядит Родион на Ераста, на Гаврилу пустынный Влас, и глядят они в дюжину глаз, над невиданным градом кружатся и понять, что за город, тужатся.

Тут Иван-подмастерье с Аленой заприметили рощу зеленую. И все шестеро начинают во град сошествие, а внизу хорошо известно, что явились жених с невестой, нарядились в цветы дома, их встречает бывалый солдат Фома, и в нарядном уборе Золушка — не состарилась ни вот столечко, и встречает их сталевар Макар, что железную ложку в огонь макал, школьник Сеня из «Именинной», из поэмы не именитой, и ребята голубоглазые, что на горы-вершины лазают, и Сметанников из ботаников, и Варвара Хохлова, его жена, за пчелю ухаживает она, и поэт Богдан, себе на уме, Ваня с Машей из сказки «Война — чуме», летчик, с облаком разговаривающий, и еще другие товарищи, и несут молодым хлеб-соль и ведут их за белый стол.

Что за город, что за град без замков и без оград? Что за царство-государство, где ни рабства, где ни барства и, серьезно говоря, ни единого царя, ни единого купца, ни единого скупца, ни единого монарха, ни единого монаха, а какие водятся — день за днем выводятся? Что за славная семья! На столе пирог подовый, пышной выпечен подковой с вензелями «И» и «А»! Все расселись по местам, и подарочки готовы разлюбезнейшим гостям — выбирай, что любо, сам!

Вот — граненные каменья, что цари ценили встарь, а вот — на всякое уменье инструментов полный ларь!

Взял Гаврила, бывший царь, и не яхонт, не янтарь, а для градки плодородной огородный инвентарь, вот он наконец-то, снился с малолетства!

Взял Ераст не рубин, а топор, чтоб рубил, и не розовый топаз, а пилу и ватерпас — плотник по призванию, по его признанию.

Взял царь Родион не сапфир-лабрадорит, а в сто ладов аккордеон и народ благодарит. Очень гармоничный, и не заграничный!

Взял Влас не алмаз, им не соблазнишь его! А растить дубовый бор — головной взял убор старшего лесничего.

Будто знал уже народ, кто какое выберет — град Онтон наоборот, град Онтон навыворот, где не слышно: Ваша честь, Ваше благородие, где встречают-величают: Ваше Плодородие, Ваше Мужество, Ваше Качество, Ваше Дружество, Ваше Ткачество, Ваше Слесарство, Ваше Пекарство, Ваше Лёкарство, Ваше Певчество, Ваша Скорость, Ваша Смелость. Ваше Человечество!

И живет во всех домах, на земле и на́ реке — сведущий во всех делах Мастер-На-Все-На́-Руки! Всё ему удается, в злые руки не дается, он — за свадебным столом, со звездой над челом, поздравляет молодых, пьет до доньшка за них.

И я там был, самолично «Столичную» пил, и по úсу текло, и в рот попало, стало в душе тепло, лбызался я с кем попало, от жены мне за то попало, влез я потом на стул, думал, да вдруг уснул, сижу верхом на сазане я, надели на меня колпак, стали в бока толкать, но снилось мне всё «Сказание», и Макс-Емельян, и Настя, и Влас, и Левша, и Мастер, и все, кто имел касание и кто принимал участие.

Ивану с Аленой — счастье!

Счастье, и нас не минь!

Аминь.

1962—1964

ПРЕДИСЛОВИЕ

В обыкновенный августовский день,
в день, когда зной кладет ладонь на лист
и не дает зарифмоваться строчке,
в обыкновенный августовский день
раздался стук. Я отпер. Как обычно,
вошел мой ежедневный посетитель,
обремененный кожаную сумкой
с повестками, газетами и прочим, —
всем этажам знакомый почтальон.
На этот раз он вытащил из сумки
прошитую шнурком с сургучной кляксой
большую заказную бандероль.
Я бережно обрезал край пакета,
слегка потряс и очень удивился!
Из бандероли выпали на стол
два-три арбузных семечка. За ними
упал на стол засушенный цветок,
прозрачный, легкий, в жилках стрекозиных.
Я очень удивился, повторяю,
и вынул из пакета шесть тетрадей,
линейных, клетчатых, контокоррентных,
и с интересом их перелистал.
Страницы перелистывая беголо,
я увидел шесть почерков различных.
Был первый почерк острым и прямым,
он рос на разлинованной странице,
как лук на грядках в южном огороде;
другой — округло буковки катил,
как девочка колеса подгонялкой;
был третий неуверенным таким,
словно его рассеянный владелец
водил пером по счетоводной книге,
взгляд отвернув или закрыв глаза;
четвертый — на бумаге неграфленой
уже не почерк был, а ровный шрифт,
отстуканный на пишущей машинке.
Он показался прозой. Нет, не так!
Я заметил рифмы в гуще прозы.
Взглянул на пятый почерк. Почему
нигде не видно знаков препинанья?
Он отличался точностью нажима,
каллиграфической красотой,
и все слова, как подписи, стояли,
взлетая росчерками вверх и вниз.

Тетрадь шестая — сплошь, как черновик,
чернела вороньём чернильных клякс,
исчерканная множеством помарок,
приписок, исправлений, вариантов
горизонтально, наискось и вдоль...
Пять лет они лежали в кипе книг,
пять лет ничья рука их не листала...
Быть может, Вари фронтовой дневник
изорван злостью минного металла?
Быть может, и Сметанников ушел
сапером в багровеющие дали?
Не знаю... Я писал, но из Козловска
мое письмо вернулось: никого!
Я шесть тетрадок отдал машинистке,
она их тщательно переписала.
Я выправил, не изменив ни строчки,
особенности слога сохранив.
И я назвал «Поэмою поэтов»
стихи моих неизвестных друзей.

Клим Сметанников

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ

1. Родословное древо

Из ботаников я — Клим Никитич Сметанников.
Мой отец — огородник, и дед из баптанников,
вся семья — от дядей до внучатых племянников —
из потомственных, из родовитых ботаников.

Из босых академиков, сведущих в ягодах,
прочитавших ботву, как старинную книжицу,
я ботаник, имеющий званье от прадеда,
мне под снегом потуги растения слышатся.

Я в поэты пришел с земляными ручищами,
с образцами картошки, с бугристой морковищей,
хоть на выставку ставьте — на грядках расчищенных
не цветы, а капуста, добротные овощи.

Я пеленат, баюкан бахчами казацкими,
комсомолец, колхозник селенья Клинцовское,
в институте познаний сельскохозяйственных
дополняю латынью наследье отцовское.

Я Есенина чту, но запоем не баливал,
и в родне у нас нет разудалых тальянников.
Вырастай же сам-семьдесят, песнь небывалая,
как прикажет тебе Клим Никитич Сметанников!

2. Цвет волос

Я рыж, как луг, пожаром выжженный,
хожу, горю — сплошною рыжиной!
Копна волос — дикарской хижиной,
лицо — веснушками сплошь засижено.

С копною ржи меня кони путают,
с рывком пожара в тревогу лютую,
с кленовой желтью, как листья падают,
и с лисьей шкурою конопатою.

Бегут ручьи за Клим Никитичем.
Кричат: «Никитич! Мы скоро вытечем!»
Поют ростки в весенней сырости:
«Мы очень крепкие, мы скоро вырастем!»

Навоз ворочайте, стальные лопасти,
расти, растущее, теки, текущее!
Мне вся природа сдана по описи —
вести явлений дела текущие.

Рыжейте жарче, лесяща красные!
Ты, желтый колос, до жатвы выживи!
Одной природы явления разные,
мы с вами в родственниках — мы рыжие!

3. Никита Флорыч

Я приезжаю, берусь за поручень.
Отходит поезд. Дорога санная.
С моим родителем — Никитой Флорычем —
целуюсь кратко в усы овсяные.

Сын крепостного, а выбрит начисто,
лицо из меди татарской выковки,
диплом отличия на стенке значитса
за экспонаты в Москве на выставке.

Родная хата — на полке вербонька,
портрет Некрасова, собрание Надсона,
но здесь читают работы Бербанка
и календарь за год Двенадцатый.

Вот мой родитель — в теплице на зиму
таблицы разных семян натканы.
Он — аналитик арбузных разумов,
дынных инстинктов, сознаний тыквенных.

Он им внушает: налиться сахаром,
полней созреть еще, набраться запаху.
При виде Флорыча подсолнух аховый
лицо ворочает с востока к западу.

Меня с Павлушей не прочил в гении,
растил — не мамоньке для потехоньки,
он в нас выращивал любовь к растению,
понятье в почве и тягу к технике.

Сказал он как-то: «В плоде и в ягоде —
запомни — косточка важнее мякоти».
Сказал он как-то: «Два века кабы мне,
и дыня тоже росла б на яблоне».

Сказал он как-то: «И тыква мысляща,
да человеки гораздо рáзвитей!»
За все, что понял я, вобрал и выслушал, —
многая лета, папаша, здравствуйте!

4. Морковь

Морковь — в земле увязший палец,
и, верно, кажется кротам —
те руки, чем в земле копались,
попались и остались там.

Мизинцы овощниц багровых
разбухли от дождей и вод;
рук, отмороженных до крови,
под почвой полон огород.

Пора полоть морковь, подруги!
Махровый занялся рассвет,
цепляются за землю руки,
когда их руки тащат в свет.

5. Овес

Овсянку мы едим в молочной.
Минута — и тарелка вся.
И вот рождается заочно
стихотворенье в честь овса!

Овес! Склони свои подвески,
и я хвалу тебе воздам.
Виктория, отборный шведский, —
ты нужен нам и лошадям!

Ты любишь мягкость почв пуховых,
уход, и дождик, и навоз...
Вот вы стихов хотите новых,
а знаете, почему овес?

6. Тыква

У нас в теплице есть обнова:
тыква созрела! Шум какой!
Как в клинике врача зубного
чудак с раздутою щекой!

Ой, как раздуло! Вспухла кожа,
и тыквин облик стал таков:
всю своротило набок рожу,
ввинтованную в шесть платков.

И тыква в кресле. Тыкве круто
придется от ножа и рук,
от нас — студентов института
сельскохозяйственных наук.

7. Колумбов плод

Лукошко я трясу, как бубен,
и гул объемлет огород.
Картошка! Здравствуй, серый клубень,
Колумбом выявленный плод!

Ты лезешь внутрь земной утробы,
индейскому навстречу дню, —
как будто хочешь из Европы
взглянуть на древнюю родню.

Под нож попался ты поэту,
Колумбов плод, растение-крот!
И песнь торжественную эту
тебе Сметанников поет.

8. Дипломная

Я понял: студенчество — это станица
в больших огородах. Станица в столице.

Казачество умных и сочных наук
с плетнем из колонн и дорогой на юг.

Тут циркуля шаг осторожный, цаплиный,
посадка в седло молодой дисциплины,
в чернильный колодец — журавль пера,
и скоро в совхозы нам ехать пора.

Мы кончим — и колос подымется втрое,
мы кончим — и пчелы в невиданном рое,
капуста как облако, дыня как дом, —
когда мы окончим и в дело пойдем!

9. Энтомология любви

По своей к насекомым таинственной страсти —
рассмотрела, узнала, и вот тебе здрасти!
Ты словила меня на прожилках ботвы,
я сдыхаю, как жук, на булавке любви.

Не ползти мне по травам к тычинковым тварям,
я ворочаюсь. Варюшка, Варя, Варвара!
Не заглядывать в рыльце родного цветка,
хоботочком не рыться, не ведать медка!

Вы, ребята, мечтаете: вот полюбить бы!
Вот я рыцарь, заколотый на поле битвы,
я, убитый бессонной мечтой про нее,
нежным варваром, в сердце воткнувшим копьё.

Всем видна твоя в сердце булавка, Варвара,
и сижу я, и жду на скамейке бульвара.
В шесть часов ты покажешься из-за стола,
и застряла во мне часовая стрела.

Называешь: «жучок», издеваешься: «рыжий»
и смеешься, меня подвигая поближе,
так что даже профессор в зеленых очках
говорит тебе: «Варя, не мучьте жучка!»

Мучь! Не слушай профессора! Мучь и домучай!
И коли меня глубже булавкой колючей,
если ж вырву из сердца занозу любви —
легкой сеткой ресниц, о Варвара, лови!

10. На Волге

Рыба отдана солнцу в засолку.
Подкатаем порты́ — и на Волгу!

И река же у нас, и жара ж —
свой Египет у кранов и барж.

Волга — Нил, Жигули — пирамиды!
На пшеницу отменные виды!
Что ни парень — то копт и феллах,
почерневшие в летних делах.

Берег волжского Нила. На оном
я районным хожу фараоном,
и одна из приволжских Изид
мне сушеною рыбой грозит.

Аллигаторов тут не богато, —
с нивелиром тут есть ирригатор,
что ж касается нашего Ра —
есть заря, и гора, и жара!

Эй, ребята, снимайте портянки!
Рыть каналы для ржи-египтянки!
Время — климат на Волге менять!
Это надо суметь и понять!

11. Практическая степь

Я — поэт и ботаник, хожу по степи,
приминая колючки, цветы и шипы,
я не степью хожу, я хожу по аптеке,
разбираясь в зеленой фармакоотеке.

Беспредельная степь, бесконечная степь,
ты — природой написанный длинный рецепт!
За полоской слабительных резко запахла
удивительно сильные мятные капли.

Масса детской присыпки качается тут,
и добротные рвотные дико растут,
дозирована точно, вспухая и спея,
летним солнцем отвешенная фармакопея.

И мне видится: тонкие корешки
превращаются в сладкие порошки,
и качаются склянки с ромашкой на пробке,
и пилюли слагаются с веток в коробки.

Вы горячкой больны — вам накапали степь,
вы в жару — нате степь на горчичном листе!
Шприц шипа тут растет с одуванчиком зонда.
Пациент — я вхожу в кабинет горизонта!

Солнце начало сразу, склонясь у плеча,
операцию глаз инструментом луча.

12. Достопримечательности

Я был в Москве. Она — добротный город.
Маленько Волга дует ей за ворот.
Легонько пахнет нефтью и тайгой,
Донбасс чуть-чуть задел ее рукой.

Московия, ты цареград плодовый,
пунцовых башен грозные моркови,
под куполами зрелыми лежишь
зеленолистою ботвою крыш.

Малина, тыква, ананас и дыня
с бутылкою анисовки в середине —
Василия Блаженного собор,
на поставце стоящий с давних пор.

Я б засадил Москву рядами елей,
рядами кедров по длине панелей,
кристаллы зданий я бы окаймлял
ветвями пихт до самого Кремля.

Мичурин-Время скрещивает избы
со стройною архитектурой призмы,
гибрид ампира с блеском Корбюзье,
прожектор при естественной грозе!

Москва — несметно редкостная друза
столиц, колхозов, сел и дач Союза,
в ней всех провинций руки сплетены,
она — большая выставка страны.

Москва одна — при зное и морозе,
в стихах и в прозе, в хвое и в мимозе.
Поэт, ботаник и провинциал,
я понял вдруг Москву и просиял:

Москва — Москвица, а моя сторонка,
мой городок — приветная Москвенка!
И то село, откуда я и вы,
лежит родимым пятнышком Москвы!

Всех породнила, всех переженила —
грузина, чуваша и волжанина,
всех подружила общностью одной,
как сто плодов от косточки родной.

Вот я брожу, еще никем не признан
в многознаменном граде коммунизма,
и тыща верст от Волги — ни при чем!
Я и себя считаю москвичом!

И этих звезд полночные рубины
у нас есть тоже — в ягоде рябины,
и этих стен кумачных кирпичи
есть и в избе родительской — в печи!

Пусть стерегут мою Москву большую
дозоры одесную и ощую,
и семена отборные Москвы
по всей земле пускай дают ростки!

13. Дума об ананасе

О, плод головастый из племени инков,
что странно возник у Загорского рынка,
с воинственно-диким зеленым пучком!
Растение-идол. А впрочем — почему?

Я взял за вихор этот плод Монтецуму
и понял его мексиканскую думу:
что он бы безропотно рос и не чах
ацтеком на наших советских бахчах.

Он жил бы не вчуже и зрел бы не втуне
с антоновкой, русской простой хохотуньей.
На пляж отдыхающих тыквенных пуз
привел новичка бы херсонец арбуз.

Разрежь его, Варя, он пахнет на славу,
запьем его влагой совхоза Абрау,
два запаха эти докажут как раз,
что Мексике очень подходит Кавказ.

О, скрецивать разных — в моих это вкусах.
Чудесные дети — от черных и русых!
Возьми за вихор меня — скажут про нас:
ты яблоко-девушка, он — ананас!

А я не индеец, я только похожий.
Но пусть приживется и плод краснокожий,
пусть песню затянет наш девичий хор
про твой, ананасе, зеленый вихор!

14. Ода русской земле

Стихи о России — стихи не простые:
Христа и березку вы мне б не простили,
прочти я псалом про цветы и скиты —
сказали б: «Сметанников! Это не ты».

В проспект Интуриста зачислены: тройка,
икона, трактир, каравай и попойка,
молодка, мужик, сарафан, самовар,
и «эх», и «чаво», и подобный товар.

Я это отбросил. За время Советов
показано ясно — Россия не это!
Россия — смекалка, ухватка, размах,
и недруги помнят о наших Косьмах!

У русских не знали немецкого счета,
расплата за всех — это стоит почета!
Не брали за выпивку с гостя в дому,
а всё без остатка в тарелку ему.

Японская вежливость нам не по нраву,
с поклонцем, с присестом не каплем отраву,
чинили расправу — не маслили глаз,
и слов двозначных нет в речи у нас.

Душа у народа, как небо и солнце,
раскрытая путнику дверь хлебосольства,
рубашка — с товарищем — напополам,
и есть чем похвастаться нам — москалям!

Есть качества русские — знаете сами —
недавно сказались они на Хасане,
и эти вот качества русской души
в приход коммунизму — возьми и впиши!

Есть качества русские — мастеровые!
Наш Яблочков выдумал лампу впервые,
и радиозвук родился на Руси,
и это в приход коммунизму внеси.

Ста дружным народам — Россия старшая,
кнутом не грозя и тюрьмой не стращая,
а делится хлебом, любовью, душой —
с дехканом, с казахом, с кавказским мушой.

Так ярче румянцу и больше красы ей!
Французы и негры, гордитесь Россией,

что завтра за якорь, и полюс за ось,
и счастье за хвост нам поймать довелось!

На русской земле есть красавица Варя,
второй не найдете, всю землю обшаря,
вторая — другая, не этих примет,
красивей — возможно, любимее — нет!

Так высья и ширься, все рати осия,
всесветная мать коммунизма — Россия,
багряные стяги над миром вия,
и да расточатся врази твоя!

15. Что надо поэту

Что надо поэту? Для полной удачи —
ни злата в сберкассе, ни каменной дачи,
ни дяди с наследством, ни сада в Крыму,
ни чина, ни сана не надо ему.

Я начал писать на плодах и колосьях,
на шкурке крота, на чешуйках лосося,
я строки веслом расплескал на пруде,
я вилами даже писал по воде!

Чудесно — писать на березовом лыке,
пером журавля и чернилом черники.
Кто сызмальства песню любить научён —
умеет ничем сочинять на ничём!

Поэты — мы рифмы кладем в изголовье,
проснемся — и голубя ловим на слове!
За словом подледным на прорубь идем,
погоню за сободем-словом ведем!

Мы — практики — в курсе высоких материй,
и всё, что мне надо, — любить до потери
сознания, ума, аппетита и сна,
чтоб вывеской всюду сверкало: она!

Любовь — это двигатель нашего дела!
Любить — облеченное в облако тело,
таинственной жилки подкожную нить,
песок под ногами любимой любить.

Мосты перекидывать, строить столицы,
врагу отвечать пулеметной сторицей,
и, путь пробивая во льдах кораблю
к Сухуми от Арктики, кинуть: «Люблю»

планету мою, — как любимой подножье, —
природу, погоду, творение божье,
явление лета, весны и зимы
и сено, где ляжем в объятия мы!»

Что надо поэту? До клеток распада —
любить, и ты будешь поэтом что надо,
и та, что любима, поймет, стало быть,
что надо такого поэта любить!

ВАРВАРА ХОХЛОВА

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

1. В поэзию

Всё, что увидено мной,
взвешиваю и отрезаю
и всё тащу домой,
к себе домой — в поэзию.

Как с рынка хозяйка — кринку,
как рыба — растить икринку,
как птица — червя в дупло,
как хворост — печам в тепло,

как белка — запас в лесу,
как бабка — траву полезную, —
всё я домой несу,
к себе домой — в поэзию.

Наснила, навоображала
милого — всех милей,
дочку ему рожала,
придумала сказок ей.
На полюс летала я,
на фронт воевать ездила,
и всё это — будто въявь,
правда, а не поэзия.

Как дарят подружке платье,
как нищенке просто хлеб,
как с елки подарок — нате!
Как руку тому, кто слеп!
Было бы дать кому,

только бы не побрезговали!
До ниточки всё сниму
с самой себя, с поэзии!

2. Зависть

Я завидую вам — трем
над тайгой пролетевшим летчицам.
Как апрельский цветной гром,
с парашютом слететь хочется.

Я завидую всем вам,
дорогие подруги хасановцев,
что в бою не моим рукам
перевязывать раны достанется.

Я завидую, что не я
каталонская пулеметчица.
Переводчицей хоть меня
отослали бы — так хочется!

Мне снится, что я лечу
бомбить высоту намеченную,
мне снится, что я лечу
раненых и вылечиваю!

Луне приказала: стой!
Открыла комету взвигую!
А утром — себе самой,
сбившейся мне, завидую!

3. Школьное

Глаза мои узкие-узкие,
слова мои — русские-русские,
и за что я рукой ни берусь,
ко всему прикасается Русь.

Хуже всяческой прочей нагрузки
иностранных языков азы,
ведь когда я учусь по-французски,
это русский французский язык!

Вот — протерла за партою локоть!
Родилась я на волжской земле,
и мне очень трудно не окать
во французском глаголе «парле»!

4. После школы

Этот вечер кончится,
и я уже не школьница.

Все учебники отставила,
детский стол в чулан поставила,
сжечь подумала дневник,
подумала — оставила.

Стала взрослой дэвицей,
как же это делается?

Платье школьное отставила,
покороче спать заставила,
срезать косы захотела,
подумала — оставила.

Получила два письма,
романтичные весьма.

Первое — отставила,
счастья не доставило,
думала порвать второе,
подумала — оставила.

5. В воскресенье

С ничегонеделанья,
с никуданебеганья
портится цвет лица,
делаешься бледная.

Села рукодельничать
с никогоневиденья,
посмотреть — типичная
девушка на выданье.

Недорукодельничала:
вполовину вышивка,
недокончен крестик,
недошита вишенка.

У меня до полудня
в комнате не убрано
с ни о ком недуманья,
с ни в кого невлюбленья.

<1940>

6. Без адреса

Эти стихи — не знаю, кому
написаны. Не пойму —
они и не этому, и не тому,
и, может быть, никому.

Эти стихи не знаю о ком,
он еще не знаком,
может, стихи пишет тайком,
не думая ни о ком.

Может, любимый, придуманный мной,
только пришел домой,
ищет меня и бредит мной,
тоже придуманной.

И эти стихи — только ему!
Муку люблю приму,
только б попасться на очи ему —
придуманному моему.

7. Ему же

Не верь никаким сплетницам
и не впадай в грусть.
Высматривай, и мы встретимся,
ищи меня — я найдусь.

Рассматривай всех встречающихся,
заглядывай в каждый глаз,
жемчужину как редчайшую
ищи, чтобы я нашлась.

Уверенным будь заранее,
что я на твоём пути.
Молю, не теряй желания
искать меня — и найти!

Ищи, как поэт созвучие,
как трель в перекличке птиц!
Счастливая я и везучая,
ищи — я должна найтись.

Обдумывай все знакомства,
глаза внимательно щурь,
надейся — и мы найдемся!
Я ж тоже тебя ищу.

8. Приметы

Какая я? Не такая,
чтоб встретить и удивиться.
Вовсе не царь-девица —
дочь приволжского края.

Раскосая или глазастая,
приземиста или тонка я?
Вообрази, представь себе,
придумай меня — какая?

Болтушка или умница?
Классична или курноса?
Встретишь меня на улице, —
спору — не обернешься!

Не смóтрите? Ну и шпарьте
по вашим делам, прохожий!
Город — и то на карте
кружочек, на все похожий.

А надо пройтись по улицам,
окна понять по гляnciaм,
прижаться к нему, придуматься,
приблизиться, пришагаться.

Вот обернешься, — спору:
я, возле тебя шагая,
начну хорошеть, и вскоре
выяснится — какая!

9. Письмо

Твои стихи по сердцу мне,
«Твою поэму» выучила,
твою любимую во сне
вылечила
и мальчика ее к весне
вынянчила.

Ох, как жестокая судьба
тебя, товарищ, вымучила,
а мне казалось, — я б тебя
выручила,
вылечила бы, любя,
и новой жизни выучила.

Так от душевной полноты
я эти рифмы вышила,
в страницах я тебе цветы
высушила...

Простите, что пишу на «ты», —
так вышло.

10. Вдогонку

Слышала — он уехал
в дом отдыха, на юг.
Это сказало эхо
железнодорожных вьюг.

С птичьими в небе стаями
слала ему: «Спеши!»
Скорей начинайся, таянье
оледенелой души!

От Волги до сада южного
буду следить за ним:
как он встает, как ужинает,
видит какие сны.

А только дожди нагрянут,
по зарослям заплескав,
пришлет он зеленограмму
магнолиевого листка.

Пиши — я в тиши рассветной
склонюсь к твоему плечу,
на адрес поэмы этой
пиши, — я получу!

11. Перед вузом

Я буду учительницей,
или нет — укротительницей!
Или лучше по снайпингу
стать победительницей?
Я сумела бы выделиться
пионероводительницей.
Или стать многодетной
женой — прародительницей?

Поступить на химический
или на исторический?

Делать вычитки, выписки
в диком количестве?
Или сделать из трудностей
вывод логический
и затворницей — жизнь
провести по-девически?

Стать радисткою в Арктике?
Или рыскать по Африке?
Или мужу редиску
готовить на завтраки?
Стать портнихой? Ткачихой?
Зубною врачихой?
Или так и остаться
проворной пловчихой?

Стать Вербицкой? Жорж Занд?
Усиевич Еленой?
Верой Инбер — сердца приводить
в умиление?
Или, мир удивляя
шедеврами жареными,
совершить поварихой
подъем в кулинарии?

Нет! Желанней всего
(я решила заранее) —
стать министром
по Личным делам
и Желаниям!
С Управлением радостью,
с Бюро самочувствий,
с Консультацией горя
и Сектором грусти!

Там я всех принимала бы,
отвечала б на жалобы,
посылала б грустящих
на волжские палубы!
Отменила б унынье,
хандру и старенье,
научила б людей
исправлять настроенье!

Все бы встречи устроила,
всех по-майски б настроила
и беседок сиреневых
людям настроила б.
Министерство такое
недорого б стоило,

а меня бы такое
занятье устроило!

12. «Поэтесса»

Поэтессой назвали, обрадовали!
Я обрадовалась? — Наверяд ли...

Не к моей это прозвище выгоде,
По-э-те-с-са? Как это выглядит?

В черном платье, строгая, важная...
(А я просто пловчиха отважная!)

Строки скорбные губками цедаются...
(А я просто друзьям собеседница!)

Чуть не с арфой, такая нервная...
(А я в тире снайперка первая!)

Я, ребята, на вас в обиде, —
«поэтессой» меня не зовите!

Ну пришла же такая идеишка:
я — поэт, несмотря что девушка!

13. Желанье

Наутро после ночи
чернейшей черноты,
что исказила в клочья
у спящих все черты,
наутро после злобы:
«Еще ругнуть кого бы?» —
жизнь просит доброты.

Простой доброты: помочь
пройти с фонарем сквозь ночь,
не выругаться, не пнуть,
но тем, кому хочется пить,
воды от души черпнуть,
тому, кому хочется жить,
«доброе утро» шепнуть.

Поднять, кто споткнулся, того,
подать, кто чего обронил,
не требовать ни для кого
железного яда чернил.

Выслушать — просит о чем,
заметить чужую слезу,
пешему, с костылем,
крикнуть: «Дай, подвезу!»

Общая ведь судьба,
разве это нельзя —
видеть вокруг себя
дружеские глаза?

Но злость стоит и корчит
гримасы злобных рож,
и злобствует, и точит
из Золингена нож.
Так что ж? Прикажешь доброй
стоять, пока беда
не врежет нож под ребра?
И струсить перед злобой?
Не струшу! Никогда!

14. Не жди меня

Не жди меня, я говорю,
ни через две недели,
ни к январю, ни к февралю,
ни в марте, ни в апреле.

Пока гуляет по стране
кровавый дым пожарищ,
пока страна моя в огне,
не жди меня, товарищ.

Не жди, пока еще не сбит
зенитной канонадой
последний в небе «мессершмитт»,
не жди меня, не надо.

И если распахнется дверь
и я приду до срока,
что это я, ты не поверь,
ты отвернись жестоко.

Но я пишу — не жди меня,
прости, я не приеду,
пока все радио, звеня,
не возвестят победу!

Глаза не надо утруждать
тоскою ожиданья,

ты привыкай меня не ждать —
тем радостней свиданье.

А если я приду, скрепя
свою победу кровью, —
ты вскрикни: «Я не ждал тебя!» —
и обними с любовью.

АНДРЕЙ ПРИХОДЬКО

СВЕТ ВО ТЬМЕ

1. Воспоминанье

Был в детстве ранний свет. Как рано он утрачен —
сияющий, цветной!
«Сияющий»? «Цветной»? — в младенчестве незрячем
смысл этих слов покрылся пеленой.

Как эту темноту значением заполнить?
Свет в раннем детстве был...
Мучительно — забыть, мучительно — запомнить.
Я не запомнил. Нет! Я не забыл!

2. Слепой товарищ

Приемник радио — товарищ аккуратный,
чтец, гость и поводырь, и собеседник мой,
ты даришь по утрам кремлевские куранты
и по вселенной странствуешь со мной.

С тобой не страшно мне жить в невидимке-мире, —
мир звучен, слышен мне, объемен и широк!
С тобой не трудно мне сумерничать в квартире,
пускай один, зато — уже не одинок.

Неловкой жалостью не можешь ты обидеть!
Мой всеволновый друг, в тебе звучанье дня,
всё, чтобы слышать, есть, и ничего, чтоб видеть, —
незрячею судьбой похожий на меня.

3. Сказка

Вчера о шапке-невидимке
ты прочитала сказку мне,

о мальчике и поединке
с драконом в сказочной стране.

Стрела впиалась дракону в тело,
и шапка мальчика спасла...
Но ты зачем ее надела
вот здесь, у нашего стола?

Тебя не видеть — больно, трудно!
И я шепчу тебе: «Сними,
хоть на минуту, на секунду,
на миг ее приподними

и покажи полоску света!»
Но ты печально молвишь: «Друг!
Я не могу: она надета
лишь для тебя — на все вокруг...»

4. Из Брэма

Мне хорошо, я тосковать не смею,
когда звучит твой голос молодой...
Прочти из Брэма о слепом протее,
играющем в пещерке под водой.

Как весел он в жилище игл и слизи.
Потом прочти о земляном кроте.
Мне нужно знать, что есть слепые жизни,
не жаждущие света в слепоте.

Я разве плачу? Видишь — я спокоен.
От этих слов расплакаться нельзя.
Я б рад услышать что-нибудь такое,
чтоб хоть слезой почувствовать глаза.

5. Тишина

Они боятся темноты. Не помню.
Мы этих зримых страхов лишены.
Но есть боязнь, доступная слепому, —
страх полной, неподвижной тишины.

Нет ничего. Нет пенья. Нет звучанья.
Нет расстоянья от меня до слов.
Но, заблудившись в темноте молчанья,
цепляюсь я за тиканье часов.

Соломинка в неопутимом море,
ниточка звука, я тебя держу,

по еле слышной звуковой опоре
секунда за секундой дохожу

до капель в кухне, до шипенья жира,
лая в саду и всплеска над листвой,
до стука в дверь, до чудных шумов мира,
до тишины — где только голос твой.

6. Пространство

Все вещи в комнате со мною дружат.
Ложбинки, выступы, шероховатый стол
мне дружно шепчут: «Не споткнись, Андрюша!
Ступай спокойно. Повернись. Постоить.

Я — дверь направо. Я — комод налево.
Ни шагу, я — картина на стене...»
У пальцев реет, легкая, на нервах,
душа вещей, привыкшая ко мне.

Меня однажды повели на вечер.
Оставили. В буфет пошла жена.
Вдруг захотелось мне забыть увечье.
Пошел и понял пальцами — стена.

Я шел вперед, но странно, что не прямо.
Скользкий пол плыл на моем пути.
У пальцев справа не кончался мрамор,
шел и не мог к чему-нибудь прийти.

И вот остановился, утомленный,
жалей неудачника-себя.
«Андрюшенька! Ты шел вокруг колонны.
Ты здесь, где я оставила тебя!»

Возможно, был тот мрамор драгоценным, —
мне не хотелось оставаться тут,
хотелось мне вернуться к честным стенам,
что головы не кружат и не лгут.

7. Земля

О, ветка-спутница, о, палка-поводырка,
всю жизнь стучащая о шар земной!
Ты шаг к врагу в начале поединка,
посредница между землей и мной.

Земных дорог ты выучила шорох
и стала чуткой, слышащей, живой —

не для опоры, нет, для разговора
с травинкой, с камнем, с лужей дождевой.

Мне от земли приносит прямо в руки
депешки ям, булыжника и трав
без опоздания, в тихом, срочном стуке
мой верный деревянный телеграф.

8. Капля

Как горячо прикосновение солнца!
Сажу в саду, за теплотой следя.
И вдруг ладони холодком коснется
жилица неба — капелька дождя.

И я боюсь ее случайно сбросить —
пускай живет, теплея, на руке!
Она дрожит, она пощады просит,
и жизнь ее висит на волоске.

Так нежно коже доверяет влага,
похожая на чистую росу.
Раз дождь слепой принес такое благо,
неужто людям я не принесу?

9. Желание

У аппаратов чутких и ушастых,
где каждый куст насторожен и тих,
поставят нас — внимательных слепых —
точнейшим слухом охранять участок.

Пусть боль моя войдет в солдатский ряд!
Сличая звук с гудением в приборах,
я раньше всех услышу грозный шорох
и прежде зрячих донесу: летят!

Я распознал опасность в звуке этом,
подам сигнал — сирена запоет,
на встречный гул взлетает самолет,
и гасят то, что называют светом.

Слепой солдат готов на подвиг свой.
Впишите в книжку — «к обороне годен».
И есть мечта — на сердце тронуть орден,
металл звезды с эмалью боевой.

10. Прозренье

Твои стихи я прочитал в газете.
Да! Я прочел! Глазами — каждый стих!
Не для меня — для множества слепых
надеждой просияли строки эти.

А я не слеп. Уж год прошел, как врач
свет и цвета вложил в мои глазницы.
Я вижу всё! Но изредка мне снится,
что вижу сон, что ночь, что я незряч.

Лишь иногда привычка воздух трогать
мою ладонь вытягивает вдруг
и навсегда — желанье взять за локоть
тебя, жена, мой озаренный друг.

Как вижу я! Как утоляю голод
всем блеском разноцветной кутерьмы!
Так в первый раз выходит узник в город
из сумрака пожизненной тюрьмы!

Зачем стихи? Я чувствую — не выйдет!
Затмило песню зрением во мне.
Нет! Не писать! Нет, только видеть, видеть
тебя, и жизнь, и солнце в глубине.

И счастлив я, что не руками шарю,
а вижу, вижу, как другим нельзя, —
твои, как карту карих полушарий,
два новых мира — милые глаза!

Богдан Гринберг

ЭКСТРАКТЫ

1. «Аки обре...»

При чтении летописи
врезалось
беспощадное:
«Погибоша, аки обре».
Обры!..
Почему и когда погибоша
эти обры?
Может быть, обры были прекрасные люди —

пастухи, хлебопашцы, охотники?..
Именно обры, может, чурались
набегов, поджогов, сдирания скальпов
и воинственных плясок на мертвецах?
Может, именно они потому погибоша?
Или, может быть, где-нибудь
ходит единственный сохранившийся обр?
Какая чудесная мысль:
найти и оживить погибшее племя!
Дать ему письменность и язык,
вышивки, резьбы и сразу современные нравы
и взгляды!
О! Я приехал в Обрскую область!
Здравствуйте, обры!
Как прекрасно, что вы существуете,
из пепла возникшее племя!
Теперь уже никто не «погибоша, аки обре»,
ибо сами обры не погибоша!

2. Русь

Ни в одном из еврейских погромов
ты не замешана, Русь.
Ни пушинки из местечковых подушек,
ни кровинки
на твоей домотканой совести
нет.

Сошла с молодого лица
черной сотни черная оспа.

Ты есть и была
снеговая
сестра милосердья
раненых и пропавших без вести
народов.

3. Оттепель

Опять, опять задышало
прощальными морозами
и первыми мимозами,
и не можем мы
не ступать
каблуками в павлинью грязь,
и не можем мы
не влипать
в паутину лиловых глаз,
и не можем мы быть вельможами,

потому что весенний пар
одинок без весенних пар,
потому что Арбат мне брат,
и у стен есть тень,
и надо прижаться нам
в подворотнях к своим теням,
за которыми мы, как тени,
ходим в день весенний.

4. Увлечение

Девочка из сверхуральских редкостей
в десятом классе учит
тригонометрию.
Счастливая тригонометрия
ее рукою ежедневно трогается.
Напрасно я прошу:
«Читай меня, решай,
немедленно возьми себе в учебники!
Я буду очень верная тригонометрия».

5. Увеличение увлечения

Передо мной ребро вопроса:
выбрать меньшее из зол —
мысль о тебе
или зубную боль.

Зубную боль окапlesh мятной ваткой,
нерв утихает отдыхать.
Зубную боль заговоришь ночью сказкой,
а мысль о тебе
даже за чтением Дюма
и то царапается, копается в себе.
О, никакой гудящей болью
не успокоишь мысли о тебе,
а мысль о тебе
рукой снимает самую чудовищную боль!

Как несовершенная медицина —
не могут человеку устроить порядочную боль,
чтоб высверлить из жизни
мысль о тебе.

6. Еще больше

О, телефонные монтеры!
Невыносимо!

Снимите аппарат за неуплату в срок,
сорвите все щебечущие провода,
и пусть не будет этого убийцы встреч.

Все дни мои нанизаны
на проволочку золотого голоса.
Жизнь начинается у трубки тут,
кончается у трубки там.
Тащу ее к себе зеленою косичкою шнура,
никак не вытащу все остальное к голосу.

Так оно и будет.
Явлюсь в милицию с охапкой проводов
отрезанных,
где в каждом миллиметре проволочки
есть мое:
«Иди ко мне!»

Вяжите.

7. Другая любовь

Если были у меня увлечения
среди бреда болезни «никогонелюбить» —
было одно исключение,
исцелительными письмами лечение
сумасшедшей и любящей девушки,
письмами,
которых никогда не забыть,
лечение.

Из Ленинграда в казенных конвертах
со сноской на мост Грибоедова
они приезжают ко мне...
Я ее не «люблю», она слишком высокая,
кареокая,
большая лицом и глазами,
а хочет казаться мне по плечо.

И еще,
она подгибает колени и голову набок,
и живет в Ленинграде, чтоб не мучиться
близко около злого меня.

Письма на бумаге для денег
(она служит на Гознаке, где печатают
деньги).
Я ни разу ей не дарил ничего,
ни духов, ни чулок,

не был с нею в кино и в театре,
яблок не приносил из буфета
в торжественный зал.

Два чудовищных года любит меня,
а могла бы любить Владислава
(это жених,
инженер,
двадцать восемь лет,
на пять сантиметров выше меня).
Когда она пишет, мне кажется,
я душою похож на ее слова.

А любить —
нет и нет
наотрез.
Она слишком высокая,
и мне неудобно с нею стоять в антракте.
Я не тот человек, я ломаю две жизни,
две любви, две семьи
из-за восьми сантиметров разницы в росте.

Но письма! В целительных письмах
я нахожу целебный экстракт,
я пользуюсь ею,
пользуюсь больше, чем можно.

Она, вероятно, умрет,
как девушка-донор во время переливания
крови
больному
в письмах
из Ленинграда в Козловск.

8. Когда...

Когда я делюсь желаньем
с товарищем,
а он отдаряет меня исполнением желанья;
когда «воскресенье» похоже
на «понедельник»
и работают шесть воскресений в неделю
подряд;
когда все уступают друг другу дорогу
и поэтому нет толкотни;
когда не остается в городе ни одной
желающей стать домашней работницей;
когда
никто не говорит «никогда»;

когда исчезает взгляд на вещи
как взгляд покупателей;
когда крикнуть «люблю тебя»
можно при многих прохожих,
не опасаясь усмешек;
когда «человеку грустно»
звучит,
как «человек заболел»,
и имеется скорая помощь для несчастливых;
и когда еще и еще
другое, о чем я еще напишу, —
это мой взгляд на вещи.
С глаз долой, базарные жадные вещи,
не на вас мой взгляд.

9. «До сих пор»

Мы обязательно будем
старинными.
Даже и я,
новый, как металлическая деталь
в целлофане,
буду древним,
как кладбищенский римлянин.

Жил я в годы грубых машин,
первобытного радио,
примитивно-сложных моторов,
на заре примененья атомных сил.
Будущее не похоже
на настоящее будущее,
как гороскоп на биографию.
Прошлое —
крошечное, как дверная щель.

Мы — урок,
отмеченный крестиком школьника:
дсп
(до сих пор).
И это так далеко —
в глубине веков!

Обнимитесь
и поцелуйтесь,
и усните —
щекой на плече.
Так придумала
молодая глубокая древность

и дсп —
до сих пор,
до сорок пятого века,
не изменила человеческая мысль.

10. Забытое слово

Война во Франции приносит
много новых рифм.
Особенно на слово «умер».
Когда уже и рот
от смерти сиз —
лежит у провода связист,
а буквы всё выстукивает зуммер.
Как только
немцы применили миномет,
поэты кинулись записывать в блокноты
неполный ассонанс на слово «мертв».
Везет на рифмы
смерти —
их сбрасывают вниз десантами
в Бизерте.
Безрезультатно я сижу ночами
над новой рифмой к слову «жизнь».
На оккупированной территории
из словарей исчезло
это слово,
замаранное черным:
жизнь.

11. Начало войны

Когда птицы летели,
этого не было.
Птицы только садились на шпили,
птицы пили
фонтанную воду,
клевали кленовые пропеллеры.
Побудут на карнизах,
дождь переждут,
исполнят чириканье на бульваре —
и дальше, расшаркиваясь серым крылом,
летят,
не сделав больно городу.

А эти
пролетели —
не стало города.
Флюгерные вышки

упали в фонтаны.
Рукотворною молнией
расщеплены клены,
залетные птицы прибиты к карнизам,
а карнизы обрызгали штукатуркой асфальт.
Кстати,
нет бульвара —
есть четыре воронки
с обгорелыми скамьями по краям.

Идет черный угольный дождь.
Тяжелыми
нефтяными
каплями.
Это траур неба по городу.
Дождь, почерневший от взрывов,
из черного крепа скорбящих туч.
Черное
течет по фаянсовой ванне,
повисшей на обрушенной стене.
А ниже висит березовая спальня
и к зеркалу прислонился телеграфный столб.
Зачем, зачем разбитому зеркалу
висеть на водостоке вниз головой?
Зачем платяному шкафу
прикрываться вывеской «Кафе»?
К чему это — рваться надвое
комнате, где жили влюбленные двое?

Не понимаю,
не понимают даже птицы,
крича, улетающие оттуда,
куда прилетают тяжело дышащие,
беспощадные убийцы,
лишь издали похожие на птиц.

12. Неизмена

Я пою,
о чем никогда не пели поэты.
Я пою твою неизмену.
Об этом нет романсов, нет романов,
нет картин.
Измена и ревность,
вздувшиеся кровеносные сосуды
бешеных глаз:
«Изменила! Змея!»
Я же хочу воспеть твою неизмену.

Ухожу —
твои глаза без меня не ищут чужого
осторожного взгляда.
Руки не боятся обнять хорошего парня —
друга по школьной парте.
Измена боится тебя
и ходит другим переулком.
Я пою твою неизмену,
которую ты привозишь ко мне
и с сочинских пляжей,
и со спортивной площадки,
и с кружка диамата,
и отовсюду,
всегда
верна себе неизменно!

13. Упрек

Упрек:
Ты ни разу мне не сказал:
«Люблю тебя!»
— Верно.
Я не сказал.
А разве земля говорит:
«Я верчусь»?
Нет, она просто вертится,
не подкрепляя это словами
и голову нам не кружа.
Вертится так же точно, верно,
ежедневно и неустанно,
как я
люблю тебя.

ГЛЕБ НАСУЩНЫЙ

ИЗ СЕБЯ

1. Приказ № 7

Вооруженный ландышем
стоящий на башне танка
я — стихами командующий
поэт 1-го ранга

приказываю явиться
и в половине первого

в новые строфы влиться
метафорам и гиперболам

выправку строк проверив
ждать моего решения
тайно держать в резерве
силы воображения

силы воображения
взять на вооружение

эпос в бою основа
лирика мной испытана
пленных не брать ни слова
ни одного эпитета

к приступу строчки лестницы
рифму сажать проколом
если же сердце встретится
немедленно жечь глаголом

оказывать помощь падающим
кратче быть и посуше
так говорит командующий
поэзией — Глеб Насущный

на море воде и суше

2. Не по пословице

Если слово врет в глаза
ни секунды ждать нельзя
пусть написано пером —
вырубить топором

если слово гадина
лести служит если
если слово крадено —
выкинуть из песни

3. Протест

Меня насильно выдают за ложку
а я не вилка — я часы
придется мне соваться с ней в окрошку
и тыкаться в капустные усы

а я часы — на моем сердце стрелки
мне вовсе делать нечего в тарелке

меня не свяжет с ложкой ничего
я вообще другое существо

4. Облако

Сегодня есть на небе облако
оно то ляжет то потянется
имея рядом солнце об руку
внутри него электростанция

а на реке грохочет мельница
имея лопасти упрямые
и в ней внутри нее имеется
именно это то же самое

там куча пара — тут колесиков
в них электричество найдете
у атмосферы и колхозников
река и туча на учете

пора еще не мукомольная
и хорошо что ливень грянул
когда спускают с неба молнию
не бойтесь — молния по плану

5. Анти-Я

Меня и мной и мне и я
я мну в губах местоимения

я б отошел от я на ярд
я б выменял на вы меня

но я нельзя изъять как ять
из азбуки души и имени

я к выканью себе привыкнув
привычки яческие выкину

6. Смысловойники

Тут люди входят в М стремятся сесть на А
бросают письма в П и Р ногами давят
и в зданье МГУ я чувствую себя
одежным номерком покинувшим алфавит

по улицам Москвы с портфелем семени
я вижу что НН солгал бесцеремонно

формально шриффт гласит мол «Воды. Семена»
в действительности он кричит «Воды! Семёна!»

я ночью спящим был и опоздавшим встал
я не был в этот день самим собой ни разу
я пассажиром был я пешеходом стал
вошел в салон бритвы и стал клиентом сразу

вторых значений смысл мне видится во мгле
так рыбы моря гладь считают главным небом
фамилия моя Насущный имя Глеб
любимая считай меня насущным хлебом

7. О любви

Любовь бывает дудочкой
любовь бывает удочкой
картинкой акварельной
и песенкой свирельной
любовь бывает верная
как пуля револьверная

8. Памятник

Я бедный
медный
я гордый
твердый
сто лет
не севший
сто лет
не евший
я потерпевший
я тут стоящий
ненастоящий
в бульварных липах
в дождях и зимах
в фонарных нимбах
я вымок вымок
поверь прохожий —
я непохожий
умытый гладкий
в чужой крылатке
я встал на цоколь
я Гоголь —
Гоголь?

9. Руки

Неразгибаемые кожаные руки
лежат на дне торговых ящиков
бессильные и неупругие
в них есть какая то ненастоящница

палец о палец как бок о бок
лежат и даже не колышутся
но в щелканье перчатных кнопок
перчаточные мысли слышатся

у вас есть ногти у вас есть жилки
у вас есть ножницы и пилки
у вас есть пальцы и суставы
крем и пахучие составы

вы будете ласковыми а мы будем лайковыми
вы будете сложенными а мы будем сношенными
но вы умрете а мы останемся
на пальцы новые мы натянемся

10. Новые ощущения

Асфальтируют старую улицу
для нее это просто загадка
ее гладят ей делают гладко
как по русым волосикам умницу

ей приятно — смола что-то черное
поливают водою из крана
получилась большая просторная
без булыжника жить как-то странно

полированной стала и длинную
оказалось автобус не тряский
вовсе нет — непонятную линию
провели белой масляной краской

людям нравится новая улица
а она погрузила украдкой
но подумала — стерпится слюбится
и привыкла к поверхности гладкой

11. Табакокурение

Табачные изделия
это дыма коконы

они в коробке целые
пока еще не троганы

когда их зажигают
вырастают локоны
у них растет из рылец дым
и крылья прирастают к ним

нам остаются долго памятные
их серо-синие орнаменты
и в дыме девушки растут
до пят закрытые волосами
и в полночь стоя на мосту
в дым превращаемся мы сами

я мог бы сделать дом из дыма
из дыма целую страну
я прикурю и прикорну
к колоннам дымчатого Рима

и книги дымные прочту
из дыма созданных писателей
и выдохну из труб дыхательных
дымоподобную мечту

и я найду из дыма друга
он будет в дымном пиджаке
и с одуванчиком в руке
мы с ним пойдем дымками луга

и будем пить старинный дым
который пить необходимо
и брать в подруги будем с ним
летучих барышень из дыма

12. Соседям

Вы пишете пьесы
вы мечете песни
к вам дачи и деньги
и зисы плывут
а мне в летний ливень
куда интересней
смотреть как на стеклах
дождевики живут

вы в ваши квартиры
несете картины
пейзажи плюмажи
жу-жу для бе-бе

уютен и розов
мирок меркантильный
а ну вас живите —
я сам по себе

13. Тебетанье

Ты боярышня моярышня
мне щебечешь — я твоярышня
но сказала — ни за что
не рассказывать товарищам

убежала как змея
или ящерица
ты не ты и не моя
ты не настоящерица

ты щебечешь я тебэчу
я земляк воробичу
птиц летящих нам навстречу
тебетанью обучу

14. Как быть

Стихи стихами а в сущности
вопрос не решен о важном
как быть а) облакам несущимся
б) неподвижным башням

у облак свои особенности
у башен другие данные
там легкие пара области
тут каменные создания

у башен нет плавучести
у них постоянная форма
облако ж может вспучиться
текуче оно и спорно

напрашивается вывод
к чему все эти искания
так вот я туча — а вы вот
башня и вся из камня

каменная вы барышня
и я проплываю мимо
но все-таки туча башне
в пейзаже необходима

15. Комментарий к закату

Сегодня был закат особенно багров
весь день из облаков черт знает что лепили
и вот из-за бесформенных бугров
как на подушках головы поплыли

носами вверх в небесный океан
качая в зареве свой лоб неимоверный
запятнанным челом проплыл Иоканан
над красной бородою Олоферна

плыла Антуанетты голова
была к лицу ей розовая сфера
а в метрах сорока увила синева
забрызганные букли Робеспьера

на голове одной был золотой веночек
но юное лицо сокрыто было в тайне
а снизу виден был лишь шейный позвонок
и раковинка нежная гортани

вот Кочубея глаз мигнул исподтишка
мол и для вас топор и плаха наготове
и Разина чубатая башка
усы макала в солнце цвета крови

все это не к добру и думаю не зря
взгляд этих облаков меня приводит в трепет
что за ночь начудит и что под утро слепит
из новых облаков кровавая заря

16. Уравнение с двумя неизвестными

Я бедный солдат
я серый на сером
я грубо обруган
своим офицером
с Георгием медным
поручик
лежит у железных колючек

теперь мы равны
мы оба обрубки
у нас отекли
бронхиальные трубки

тупея от пота и скуки
до нитки обшарили нас
потаскухи

тут замок стоит
поместье магната
покорно пасутся
быки и ягнята

и пахнет накопленным сеном
и полдень стоит
золотым воскресеньем
и колокол бьет
и ни тучки ни ветра

но если копнуть
на неполных полметра
два серых скелета
два серых на сером
один был солдатом
другой офицером

17. Зоосадное

Я тучный зверь я носорог
и у меня есть добрый бог
он только маленькая птица
она мне на спину садится

бог в феврале летит на юг
бог ищет друга носорога
в чьей коже есть личинки мух
чтобы позавтракать немного

пусть чистит перья пусть пищит
я завтрака не потревожу
я буду для него тащить
из ила сморщенную кожу

и лишь умчится — взреву
и взрою воду костью рога
я носорог что наяву
бываю островом для бога

18. Второе зоосадное

Где веток ивы низкий ливень
при австралийской странной фауне
я ухожу на шхуне в плаванье
для встречи с птицей киви-киви

свой свайный дом с заботой строя
словами буду петь понятными

вот мой язык для встреч с пернатыми
кого — кого?
с чем — с чем?
кто я — кто я?

и утконос как на рисунке
со мной уедет в лодке тонущей
и хитрые глаза детенышей
у кенгуру в пушистой сумке

19. И последнее

И так воображенья чудо
я вел на поводу
как одногорбого верблюда
в зоологическом саду

но что с того что одногорбый —
он чудо все равно
он золотою шерстью морды
гляделся мне в окно

он положил глаза участия
мне молча на плечо
но чудо может превращаться
во что-нибудь еще

то в длиннохвостого фазана
то в сказку из Перро
то в дверь с заклятием Сезама
то в вечное перо

ХРИСАНФ СЕМЕНОВ

ВЫСОКИЙ РАЁК

1. Встреча с прозой

Проза становится в позу и говорит: — Я стихи! — Хи-хи, — ухмыляются рифмы. — Хи-хи! А мы совсем не стихи! — Проза откидывает прядь, заворачивается в плащ, изображает плач, морщит бровь для серьеза, а рифмы хихикают: — Ты не стихи, ты проза! Ты пошлая, нудная проза, у тебя линованная бумага внутри, прочерниленная целлюлоза. А ну, посмотри: в распахнутой куртке стоит слово и курит. Пепел растет на окурке. Слово видит коралловый риф, огоньком прорастающий в

пепел. Вулкан и вокруг океан. Вулкан — Попокатепетль. Нет, опять коралловый риф! Полипы рифм подымают обрубки рук, как в Помпее в день извержения. Это поэзия ищет и ждет выражения и не чувствует, что пальцы окурков жжет. Слово смотрит и ждет, просто, как пассажир паровоза. Ни плаща, ни пряди, ни строф. Эх ты, проза!..

2. Всё в прошлом

Жила в усадьбе помещица: ложечкой чай помешивается, сирень у оконца свешивается. У каждой двери свой скрип, на стенке сушится гриб, в банке стоит варенье, засахаривается и жижится. Фета стихотворение заложено лентой в книжице. А у помещицы нет детей. Навощены паркеты холеные, нету в передней ни шуб, ни шляп, ни тростей. Сто лет стоят перед домом колонны и ждут гостей. Ждут, а гости всё не идут. И дом всё пустей и пустей. Уже придумано радио, автомобиль обтекаемый. В небе полосы от скоростных ракет. А в доме пыль покрывает паркет. Никого нет. Ни тень, ни слово не помещатся — хоть ходи от угла до угла. А я не сказал, что живет помещица... Когда-то жила...

3. В небе

Мне приснились аэростаты. Огромное стадо аэростатов. Серые, тесно столпившись на отмели снов, смотрели вниз на слонов зоосада. Большинство из них было носато. Легко поворачивались и терлись боком о бок. Оборачивались на солнце. От облаков отворачивались. Аэростаты! В серебряных стеганках серой толпой бредут по двору. Нет. Это подобия туловищ мамонтовых машут ушами. Нет. Это на снежной вершине Тянь-Шаня облаку памятник. Нет. Кто же они? На айсбергах туч китообразные проводят однообразные дни, ко дну привязанные тонкой струною. Чего они ждут над огромной лесистой страной? Складчатожие, в розовой утренности, их гигантские внутренности пучатся, резиново-белые, им хочется гелия, гелия, гелия! Вероятно, они животные нужные, если люди на ужин им дают такую редкую и легкую пищу?

4. Отдельно

Вот, например, метафора. Существует она отдельно от автора, где-то «это» похоже на «то». И встретиться очень не просто. Вот, например, глаза у тебя на что-то похожи. А на что? Мелькнет что-то пестрое и ускользнет. И мороз по коже. И опять неизвестно, на что они похожи? Инфузории, что ли, в капле воды? Или нефти следы на воде? Где сравнение несрав-

ненное? И с людьми получается так: человек проживает в Новой Зеландии, а девушка — в Чили. Надо, чтоб их сердцами сличили — подходит одно к одному? Подходит! Надо, чтобы немедленно их обручили. Можно ли встретиться ей и ему? И не выходит! И время проходит, на встречу положенное. О, возможное невозможное!

5. Новое «нео»

В поисках рифмы на «небо» я набрел в словаре на «нео» — «неофит», «неолит», «неодим»... Наверное, я не один, удивившийся этому «нео». Может быть, так с корабля открыватель земель увидел и остров Борнео. И мне захотелось, чтоб мир начинался на «нео»: неомир, неодень, неोजизнь! Неолит — со следами костей и улиток, неофит — от пещерных камней до калиток. Неосвет, неодом, неомир! Пусть он будет всегда неоткрытым, необычным и необжитым. Только — нов, как природа весной — не новинкой, не новостью, а новизной!

О, мое новое «нео»! Мое озаренье мгновенное — небо мира необыкновенное. Так у речи на дне мне, как капитану Немо, открылись подробности будущих слов и их необъятнейшие неовозможности.

Почему же опять упрекают меня в необдуманной неосторожности?

6. Райский стих

Обидное слово «раёшник». Вроде как «трешница» или «старьевщик». Термин — гармошечный, тальянистый. «Сонет» — благороднее, итальянистей. Стансы — это придворные танцы. А раёк — это пляшет простой паренек. Но мне в райке — как попугаю у шарманщика в вещей руке. Я так полагаю. Мне — в райке — как в старинке зазывале в зверинец на рынке. Мне в райке запестрели колпаки скоморохов и менестрелей.

Раёк — это райский стих разных птиц и цветных шутих. Ничего, что он шире и тише, что нету в нем слоговых часовых, дисциплинированных четверостиший.

Стих райка — как в праздник река с фонариками и флажками, как в кольцах старинных рука, как топоток казачка сафьяновыми сапожками.

Пойдем с тобой по райку на прогулку, как по московскому старому переулку. Хорошо? Так давай посошок!

7. Потолочная шутка

Паучок — ног пучок — выткал и поволок нитку под потолок. И там прилег. У лепного витка его высотка — там север-

ный полюс старательно соткан. Но к потолку, к лепному витку тянется потолочная щетка — беда пауку. Пока паук набирался скульптурных наук, пауку и каюк! И конец паутине в щеточной жесткой щетине. Мысль паука: «Боже! Как я одинок! До чего же щетка меня многоножей! До чего относительно количество ног!»

8. Болезнь

Вот я и болен! Я простыней заневолен, обязан не двигать рукою, не смеяться, не плакать! Вложен в кроватную мягкость. Врачами прописан покой. Белизна занавешенных окон... Человек в починке — забинтованный кокон, — я пришел к состоянию личинки! А на улице строят дома, от весны все растения сходят с ума, даже птицы уже прилетели. Вы продумайте только глагол «бюллетенить»! Люблю ли я тень? Температурной кривой канитель? О, когда же я вылечусь, о, когда же я вылечу жужжать по весенней Москве, в ботанической пышной листве? Там у меня все знакомые — и соцветья, и листья, и насекомые!

9. Несовершенство

На крыльшках бабочки — сепия, охра и сажа. Ее окрасили без фиксажа. Остается на пальцах пыльца с ее пыльноцветного тела. Ах, какой неустойчивый цвет лица! Как природа недоглядела, почему не одела бабочку в игольчатый панцирь, не предусмотрела, что бабочку будут ловить такие жесткие, твердые пальцы?

10. Слова

Слова — торжественные, слова как пироги рождественские, слова как медленные шаги, как лакированные сапоги — с царственными жемами, протягиваемые жезлами. Слова уважения, почитания, умиления: жертвоприношение, бракосочетание, благословение, — соединившие руки, как августейшие царствующие супруги.

Слова простейшие: есть, пить, небо, хлеб, день, ночь, сын, дочь, нет, да, свет, стон, сон, я, он, ты, быть, жить. Это слова-однолетки, ядрышки, клетки. Вполне годится обходиться ими одними.

Слова — служащие, услужливо слушающие: что? как? так? так! — они подаются к другим, как пальто и шинели, незаметны на слух. Они вроде слуг стоят у фраз за плечами, придаются словам, как ложки и вилки, затыкают слова, как пробки бутылки.

А есть слова деловые, мастеровые, как наждак, верстак, паковать, шпаклевать, поковка, ножовка, — обстоятельные, самостоятельные.

Есть слова, разящие и грозящие, обрывающие и убивающие, ждущие и жгущие, пирующие и целующие, губящие и любящие, злые и добрые; слова как лекарственная трава, слова как еще не открытые острова, как в пустыне приснившаяся листва...

О, слова!

11. Перемены

В детстве я обожал калейдоскоп: скоп колотых стеклышек. Нравилось встряхивать и смотреть — особенно в скуку кори и коклюша. Калейдоскоп — колодца глубокое дно, конец удивительного коридора, цветное окно готического собора... Встряхивал, прикладывал к глазу, и было только обидно одно — что не удалось ни разу снова увидеть такое ж окно...

Как-то вытряхнул рыцарский орден. Очень был горд им. Но недолго смотрел на орден в глазок. На один волосок переменял позу, стеклышко синее скок — и орден превратился в разноцветную розу ветров.

С тех пор я очень люблю всяческую метаморфозу.

И поэзией ставшую прозу.

12. Надежда

Угадай: как он выглядит — коммунизм? Как он выглядит наши морщины? Говорят, что на вершины гор подымутся грани радужных призм... Говорят, что машины будут нам чистить платья... Говорят, что исчезнет понятие «в поте лица своего»... Люди забудут о плате... Нет! Больше того!.. Это будет знакомство людей на весь мир! Дружба с каждым и всяким, далеким и близким. Нет! Не стрижка под общий ранжир! Миллиардноразличные спектры и искры душ и лиц. Превращенье провинций и деревень в сотни тысяч столиц! И глаза людей — микроскопами в каждую встречную мысль. А мысли — телескопами ввысь. Понимание с полувзгляда шевеленья ресниц. Превращение слова «работать» в слово «дышать». Исчезновение слов, как «ложь» или «грязь», или «дрожь» или «мразь». Появление слов, а каких, я еще не могу угадать. Люди будут больше любить выражение «дать», чем «забрать». И обращение к людям на «я». И возможность сказать о планете — «моя». Никому не дадут заблудиться или пропасть. И воздух сквозной новизною пронизан. Да, я бесконечно люблю коммунизм! И имею надежду попасть. Стоит жить — с надеждой попасть в коммунизм.

257. ЗЕРКАЛА

Зеркала —
на стене.
Зеркала —
на столе.
У тебя в портмоне,
в антикварном старье.

Не гляди!
Отвернись!
это мир под ключом.
В блеск граненых границ
кто вошел — заключен.

Койка с кучей тряпья,
тронный зал короля —
всё в себя,
всё в себя
занесли зеркала.

Руку
ты подняла,
косу
ты заплела —
навсегда,
навсегда
скрыли их зеркала.

Смотрят два близнеца,
друг за другом следя.
По ночам —
без лица,
помутнев как слюда,

смутно чувствуют:
дверь,
кресла,
угол стола, —
пустота!
Но не верь:
не пусты зеркала!

Никакой ретушер
не подменит лица,
кто вошел —
тот вошел
жить в стекле без конца.

Жизни
 точный двойник,
верно преданный ей,
крепко держит
 тайник
наших подлинных дней.

Кто ушел —
 тот ушел.
Время в раму втекло.
Прячет ключ хорошо
это злое стекло.

Даже взгляд,
 и кивок,
и бровей два крыла —
ничего!
 Никого
не вернут зеркала! —

Сколько раз я тебя убеждал: не смотри в зеркала так часто! Ведь оно, это злое зеркало, отнимает часть твоих глаз и снимает с тебя тонкий слой драгоценных молекул розовой кожи. И опять всё то же. Ты всё тоньше. Пять ничтожных секунд протекло, и бескровно какая-то доля микрона перешла с тебя на стекло и легла в его радужной толще. А стекло — незаметно, но толще. День за днем оно отнимает что-то у личика, и зато увеличиваются его семицветные грани. Но, может, в стекле ты сохраненней? И оно как хрустальный альбом с миллионом незримо напластанных снимков, где то в голубом, то в зеленом приближаешься или отдаляешься ты? Там хранятся все твои рты, улыбающиеся или удивляющиеся. Все твои пальцы и плечи — разные утром и вечером, когда свет от лампы кладет на тебя свои желтые лапы... И всё же начала ты убывать. Зачем же себя убивать? Не сразу, не быстро, но верь: отражения — это убийства, похищения нас. Как в кино, каждый час ты всё больше в зеркальном своем медальоне и всё меньше во мне, отдаленней... Но —

в зеркалах не исчезают
ничи глаза,
 ничи черты.
Они не могут знать,
 не знают
неотраженной пустоты.

На амальгаме
 от рожденья
хранят тончайшие слои

бесчисленные отраженья
как наблюдения свои.

Так
хлорвиниловая лента
и намагниченная нить
беседы наши,
 споры,
 сплетни,
подслушав,
 может сохранить.

И с зеркалами
 так бывает...
(Как бы свидетель не возник!)
Их где-то, может, разбивают,
чтоб правду выкрошить из них?

Метет история осколки
и крошки битого стекла,
чтоб в галереях
 в позах стольких
ложь фигурировать могла.

Но живопись —
 и та свидетель.
Сорвать со стен ее,
 стащить!

Вдруг,
 как у Гоголя в «Портрете»,
из рамы взглянет ростовщик?

...В серебряной овальной раме
висит старинное одно, —
на свадьбе
 и в дальнейшей драме
присутствовало и оно.

За пестрой и случайной сменой
сцен и картин
 не уследить.
Но за историей семейной
оно не может
 не следить.

Каренина —
 или другая,
Дориан Грей —
 или иной, —

свидетель в раме,
наблюдая,
всегда стоял за их спиной.

Гостям казалось:
всё на месте,
стол с серебром на шесть персон.
Десятилетия
в том семействе
шли, как счастливый, легкий сон.

Но дело в том,
что эта чинность
в глаза бесстыдно нам лгала.
Жизнь
притворяется
наловчилась,
а правду
знали зеркала.

К гостям —
в обычной милой роли,
к нему —
с улыбкой,
как жена,
но к зеркалу —
гримаса боли
не раз была обращена.

К итогу замкнутого быта
в час панихиды мы придем.
Но умерла
или убита —
кто выяснит —
каким путем?

И как он выглядит,
преступник
(с платком на время похорон),
кто знает,
чем он вас пристукнет:
обидой,
лаской,
топором?

Но трещина,
изломом призмы
рассекшая овал стекла,

как подпись
 очевидца жизни,
минувшее пересекла.

И тускло отражались веки
в двуглавых зеркальцах монет.
Всё это

 спрятано навеки...
Навеки, думаете?

Нет! —

Всё это в прошлом, прочно забытом. Время его истекло. И зеркало гаснет в чулане забытом. Но вот что: тебя у меня отнимает стекло. Нас подло крадут отражения. Разве в этой витрине не ты? Разве вон в том витраже не я? Разве окно не украло твои черты, не вложило в прозрачную книгу? Довольно мелькнуть секунде, ничтожному мигу — и вновь слистали тебя. Окна моют в апрельскую оттепель, — переплеты прозрачных книг. Что в них хранится? И дома — это ведь библиотеки, где двойник на каждой странице: то идет, то поник. Это страшно, поверь! Каждая дверь смеет иметь свою тень. Тысячи стен обладают тобою. Оркестр на концерте тебя отражает каждую медной и никелевой трубою. Столовый нож, как сабля наголо, нагло сечет твой рот! Всё тебя здесь берет — и когда-нибудь отберет навеки. И такую, как ты, уже не найдешь ни на одной из планет. Как это было мною сказано? —

«И тускло отражались веки
в двуглавых зеркальцах монет.
Всё это

 спрятано навеки...
Навеки, думает?

Нет!»

Всё в нашей власти,
 в нашей власти.

И в антикварный магазин
войдет магнитофонный мастер,
себя при входе отразив.

Он изучал строенье трещин,
он догадался,

 как постичь
мир отражений,
 засекреченный
в слоях невидимых частиц.

Там —
 среди редкостей витрины,

живущий в вечном эдисонстве
и одиночестве —
фантаст. —

Но путь испытателя крут, особенно если беретесь за еще не изведанный труд. Сначала — гипотеза, нить... Но не бойтесь гипотез! Лучше жить в постоянных ушибах, спотыкаясь, ища... Но однажды сквозь мусор ошибок выглянет ключ. Возможно, что луч, ложась на стекло под углом, придает составным особый уклон, и частицы встают, как иглы ежа: каждая — снимок, колючий начес световых невидимок. Верно ли? Спорно ли? Просто, как в формуле:

$$n^2 = 1 + \frac{4\pi Ne^2}{K}$$

(эн квадрат равняется единице плюс дробь, где числитель четыре пи эн е квадрат, а знаменатель некое К?)

Но цель еще далека, а стекло безответно и гладко. Но уже шевелится догадка! Что, если выпрямить иглы частиц, вернуть, воскресить отражение? Я на верном пути! Так идти — от решения к решению, ни за что не назад! Нити лазеров скрещиваются и скользят. Вот уже что-то мерещится! —

Покроет
серебристый иней
поверхность света и теней,
пучки
могущественных линий
заставит он скользить по ней.

Еще туманно,
непонятно,
но калька первая снята,
сейчас начнут
смещаться пятна,
возникнут тени и цвета.

И — неудачами
не сломлен,
в таинственной темноте
он осторожно,
слой за слоем,
начнет снимать виденья те,
которым не было возврата,
и, зеркало
зачаровав,
заставит возвращаться к завтра
давно прошедшее вчера!

Границы тайны расступаются,
как в сказке «Отворись, Сезам!»
Смотрите, видите?

Вот — пальцы,
к глазам прижатые,
к слезам.

Вот — женское лицо померкло
измученностью бледных щек,
а зеркало —
мгновенно, мельком
взгляд ненавидящий обжег.

Спиною к зеркалу
вас любят,
вас чтут,
а к зеркалу лицом
ждут вашей гибели,
и губят,
и душат золотым кольцом.

Он видит мальчика в овале,
себя он вспомнил самого,
как с ним возились,
целовали
спиною к зеркалу — его.

Лицом к нему —
во всем помеха,
но как избавиться,
как сбыть?

И вновь видение померкло.
Рука с постели просит пить...

Но мы не будем увлекаться
сюжетом детективных книг,
а что дадут
вместо лекарства —
овал покажет через миг...

И вдруг на воскрешенной ртути
мольба уже ослабших рук
и стон:

— Убейте, четвертуйте,
дитя оставьте жить! —

И вдруг,

как будто нет другого средства —
не отражать! —

сорвется вниз,

ударится звенящим сердцем
об угол зеркало...

И жизнь

в бесчисленных зловещих сценах
себя

недаром заперла!

Тут был не дом,

тут был застенок, —

и это знали зеркала.

Всё вышло!

С неизбежной смертью

угроз, усмешек, слез, зевот —

ушло

всё прежнее столетье!

А отраженья —

вот —

живет...

На улице темно,

ненастно,

нет солнца в тусклой вышине.

Отвозят

бедного фантаста

в дом на Матросской Тишине. —

А тебя давно почему-то нет. Но разве жалоба зеркало тронет? В какой же витрине тонет твой медленный шаг, твои серьги в ушах, твой платочек, брошенный на голову? И экрану киношному, наглому, дано право и власть тебя отобразить из других и вобрать. А меня обобразить, обокрасть. И у блеска гранитных камней есть такое же право. Право, нет, ты уже не вернешься ко мне, как прежде, любя. Безнадежная бездна, какой ты подверглась! Фары машин, как желтые половцы, взяли тебя в полон. Полированная поверхность колонн обвела тебя вокруг себя. Не судьба мне с тобою встретиться. Но осталось еще на столе карманное зеркальце, где твоё сверкало лицо, где клубилась волос твоих путаница. Зеркальный кружок из-под пудреницы меньше кофейного блюдца. В нем еще твои губы смеются, мутный еще от дыханья, пахнет твоими духами, руками твоими согрет!

Но секрет отражений ведь найден. Тот фантаст оказался прав: сколько вынута было зеркал из оправ и разгадано! Значит, можно по слобку на день тебя себе возвращать, хоть по глазу, по рту, по витку со лба, какой перед зеркальцем свесился. Слоик снял — и ты смотришь так весело! Снял еще — слезы льются со щек. Что случилось тогда, когда слезы? Серьезное что-то? Ты угрюма — с чего? Вдруг взглянула задумчиво. Снял еще — ты меня будто любишь. А сейчас выжимает

из тубы белую пасту на щетку. Вот рисуешь себе сердцевидные губы и лицо освежаешь пушком. Можно жить и с зеркальным кружком, если полностью нету. Так, возьмешь безделицу эту — и она с тобой *может быть*... —

А может быть,
 пещеры,
 скалы,
дворцы Венеций и Гренад,
жизнь,
 что историки искали,
в себе,
 как стенопись,
 хранят?

Быть может,
 сохранили стены
для нас,
 для будущих времен,
на острове Святой Елены
как умирал Наполеон?

И в крепости Петра и Павла,
где смертник ночь провел без сна,
ничто для правды
 не пропало,
и расшифровки ждет стена?

А «Искры» ленинской
 страница
засняла между строк своих
над ней
 склонившиеся лица
в их выражениях живых?

Как знать?
 Окно дворца Растрелли
еще свидетелем стоит
январским утром
 при расстреле?

А может быть,
 как сцены битв
вокруг Траяновой колонны —
картины стачек и труда
и Красной гвардии колонны
несет
 фабричная труба?

И может быть,
в одной из комнат
не в силах потолок забыть,
что Маяковский в пальцах комкал,
что повторял?...

И может быть,

валун в пустыне каменистой,
куда под стражей шли долбить, —
партсбор барачных коммунистов
запечатлел?..

И может быть,

на стеклах дачи подмосковной
свой френч застегивает тень
того,
чей взгляд беспрекословный
тревожит память
по сей день?

Но, может,

и подземный митинг
прочнее росписей стенных
еще живет под гром зениток
на арках мраморно-стальных?

Всё может быть!..

Пора открытий
не кончилась.

Хотите скрыть
от отражений суть событий, —
зеркал побойтесь,

не смотрите:
они способны всё открыть. —

Стой, застынь, не сходи со стекла, умоляю! Как ты стала мала и тускла! Часть лица начинает коверкаться. Кончились отражения зеркальца — оно прочтено до конца. Пустая вещьца! Появилась на ней продавщица ларька, наклонясь над вещами... И в перчатке — твоя, на прощанье, рука... —

Зеркала —
на стене.

Зеркала —
на столе.

Мир погасших теней
в равнодушном стекле.

В равнодушном?..

О, нет!

**ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ
И ВАРИАНТЫ**

3

Оп.
66—69

Шашкой съездим
вострой, шаткой,
мир зазвездим
звездной шапкой!

4

5

Шквал. 1924, № 7
3—4

Всех врагов возьмем за «ЖЕ» —
(буква в нашем голосе!)

Между 11 и 12

эС, и Те, и У, и эФ,
развернем шеренгой ЛЕФ, -
только
дело сварено —
к азбуке
Бухарина!

13

Альманах
«Красная новь»
Между 16 и 17

Рыжий — ура! Начинается игра!
Труба трубой перевита...
Пора, и сигнал разрывается — ура!
Прба тара-та-та-та-та!

Оп.
Между 24 и 25

Ззззўмбай-кви́ль-миль
то́ль-миль-надзе...
Зўмбай-кви!..
Зўмбай-ква!

Анэ́ка-дэма...
Аше́р-вер — вўмба...
Аше́р-вер
вер
вер
вер
вўмба
вўмба
вўмба..

Зумбай-квиль-миль
толь-миль-надзе...
Зумбай-кви!..
Зумбай-ква!..

16

*Первоначальная рег.
Черновой автограф
ЛА*

Никогда не забыть
черноморской волны!
Ветер моря —
то нежен, то хлесток...
Янтари побережий
и волн валуны,
а в полуночь
пльвущей, как пава, луны
черный шлейф
с избытком блесток...

Никогда не забыть
горизонта кольцо
в облаках умирающих —
яхонта!..
Не забыть, как неслась,
обдавая пылью,
раздуваясь полотнами —
яхта!..

Здесь, на борту,
он молчал, чтоб облечь
море —
стихов канонадой, —
выбритый череп
на портике плеч,
каменных ног
колоннада...

Быть может, тогда,
бессловесен и прям,
он плыл
по чудесным морям,
где рифы —
бурление рифм,
где пгиль —
лирический стиль,
где надо,
подзорку в пространство вперив,
бессильное слово
спасти!..

Новый ЛЕФ.
1927, № 3
Между
строфами
4 и 5

Тай-тара, тарай-ра...
Нынче ничего нет.
К завтраму у фраера
выману червонец.

Между
строфами
7 и 8

Повылазят волосы,
пожелтеют щеки,
с жизнью покончатся
все дела и счеты.

НМ. 1927. № 3
Между 8 и 9

На тихом смертном рубеже
Страна шатается и слепнет.
Никто из прошлых дней уже
Былой Германии не слепит.
Уже цветет мещанский рай
там, где убитых подбирали
Под пенье марша «Wacht am Rhein».
Под крики «Deutschland über alles»...

Между 64 и 65

Берлин! Ты снова забурился,
Ты снова весел и бесстрашен.
На ассигнациях орлы,
Как щуцманá на Фридрихштрассе!
Кронштейны выстроены в ряд,
Огни вливаются в туманы,
А в чад и грохот ресторанный
Два нищих пфеннига горят.

После
окончания

Громко пел я и шумно
Вызвенел клавиши губ и рта!
Слушай же, родина Шумана,
Моцарта и Шуберта.

Германия, ты — фортепиано
Великолепных зыбей.
Струны натянуты. Прямо,
прямо по струнам бей.

Зала огней не зажгла еще.
Ждем. Сыграй на финал,
вплавивши
пальцы
в клавиши,

Интернационал!

ЯРМОРОШНАЯ ПЕСНЯ

1

Вм. строфы 4

Волга широкая,
 Волга-река,
 Нижегородская
 яр-мар-ка.
 Тройка-таратайка,
 тройка, таракти.
 Тузы заезжают
 в купеческий трактир.

2

Между
 строфами 1 и 2

Флаги ты поднял уже
 и враз войти.
 — Товарищ Малышев,
 здрав-ствуй-ти!

Между
 строфами 2 и 3

Синдикат не выдаст,
 трест не оберет,
 Сто миллионов
 будет оборот.
 Ярмарка, ярмарка,
 ось да колесо,
 Бумага, керамика,
 сахар и соль!
 на наших векселях
 не царский герб —
 Фабричный молоток
 да крестьянский серп.

33

2

Труг. 1927, 4 окт.
 Загл.

МАНЕВРОВАЯ ПЕСНЯ

Вм. 11—48

одесскими
 маневрами —
 покажем,
 покажем
 защитную шинель.

И гул
 у лавок овощных
 тачанок
 маскировочных,

и смотрят
 лукаво
 сверхметкие стрелки.

Вперед
 шляхами топкими
идут стрелки
 с винтовками,
и зная
 победу,
 смеются остряки.

Набегам
 неприятельским
ответим
 дружным натиском,
и в небе
 крутые
 завертим штопора.

Труба
 трубит военная —
хриплая,
 медная —
кратко,
 как рапорт:
 «Пора, пора, пора!»

Коробки
 магазинные
набили
 пулей «синие».
А с моря
 синеют
 десантные суда.

Когда ж
 огонь открыли мы,
вскрутились
 эскадрильями —
и дымной
 завесой
 отвели удар, -
глаза
 запорошило нам,
но вместе
 с Ворошиловым
отбросим
 за город
 враждебные войска.

Шагами
 пропыленными
за пролетбатальонами —

бликнет
и дрогнет
по берегу раскат.

Мы никого
не трогаем,
мы только
силы пробуем,
мы встали
защитой
фабрикам своим.

Но если
взрывом радужным —
вспыхнет
бой взаправдашний,
мы смело
и славно
Советы отстоим!

34

*Окт. 1928. № 2
Перег 1*

Покинув милые, простецкие
дома и улицы одесские,
стихи и мысли полудетские
рассортировав в мозг, —

Я, декламируя «Про это»,
примчал с простреленным билетом
на Всесоюзный съезд пролетов
в обетованную Москву!

42

*Смена.
1929. № 18
Вм. 44—55*

Без тебя,
дорогая,
весь мир сероват,
он — бескостней
осеннего ливня.

Осовелый язык
газ-дге-сиге-вать:
ти-ди-дди, ди-дди-ри-
ррифма!

Рифма!
Рррадость!
Уррра!
Рррреволюция!
Грррром!

я тропинку выищу.
для больших путей.

99

*ВнВ. 1943, 3 дек.
Между
строфами 8 и 9*

Атака в его глазах,
траншеи врага — вот-вот,
но взрывы перед лицом
взвиваются и слепят.
А молния точно так
влетает в громоотвод,
как судорога в него —
от головы до пят.

*Между
строфами 13 и 14*

А тут, где по самый край
воронку. наполнил дождь,
где лед затянул чуть-чуть,
где пешим не прошагать,
где, что ни прогон, в кювет
проваливается «дождь»,
где вывернула кишки
шоферам кривая гать, —

143

*Л-62
После окончания*

Одного не теряем —
надежды! — опять
из-под лавы и пепла
подняться и встать

у. распахнутых настужь
над болью утрат
Возвращенного Рая
сияющих врат!

193

*ДП-1969
Между
строфами 4 и 5*

Ни разлуки,
ни прощания,
ни проступка,
ни суда,
ни смешного,
ни печального,
ни «откуда»,
ни «куда».

197

*Зн. 1968. № 12
Между
строфами 2 и 3*

Знал визг пуль
(жженный прах воронок...),
пепел изб
(пыль угасших тел...).

Кровь брал в клюв
жадный вороненок!
(А над ним
жаворонок пел.)

243

ГЛ. 1

*Новый ЛЕФ. 1927.
№ 8/9
Вместо 40—47.*

Опусти скорее, Сеня,
веки карих глаз,
завтра первый день весенний,
завтра — в первый класс.
Сеня, спи. У грани польской,
логом низовым,
встал отец твой красным войском,
красным часовым.

Вместо 56—59

Скоро, скоро стукнет время,
задрожит звонок,
ты, ружья накинув бремя,
в бой пойдешь, сынок.

ГЛ. 3

После окончания

И только четыре
мальчика в школе:
Володя,
Сережа,
Ося
и Коля
и девочки:
Ксана,
Оля
и Лиля
за это дело
Сеню хвалили.

ГЛ. 6

Между 59 и 60

Смерч-марш
арш-
арш,
марш-ерш,
барабанщик-морж,
кинь морщь,
скуку к матерям.
«Старый барабанщик перевернулся,
три копейки потерял!..»

ГЛ. 11

Между 14 и 15

Муравей
попал к секундам

(клип-клип-клип-кляп-клип).
Не уйти ему
 отсюда,
он в круженье влип.

244

ГЛ. 1

*«Альманах с
Маяковским»
Между 78 и 79*

Скушны автомату
 газеты и книги,
берет
 дощечку фанеровую,
и рыцарских рук
 многокольчатый никель
врезается пилкой
 в дерево,

ГЛ. 2

Между 42 и 43

Свист соловья
 отослан
 ввысь,
и трель,
 и звонкий крик,
и Робот льет
 синхронный свист
за километра три.

Месье включает
 сытый смех,
и в хорду
 входит хор,
и автомат
 вдали от всех
смеется:
 «Хо-хо-хо».

Месье надавит
 кнопку «грусть»
(скрип похоронных дрог) —
и слышен
 пальцев скорбный хруст
и горестное:
 «Охх..»

ГЛ. 3

Между 77 и 78

Один,
 со спиною,
 подобной танку,
имея на лице острие,

хватает крюками
железную штангу
и клювом
прокусывает ее.
Другой
вставляет
железную пробку,
широкая морда
висячим замком,
а третий
вылизывает
заклепку
напильником-языком.

ГЛ. 7

ТТ
Вм. 149—162

и корчатся
поднятые автоматы,
разбитым стеклом
рассыпая глаза.
Но этого мало!
Сосновыми вышками
лес закачал,
и, мерцаньем пыля,
заколосились
холодными вспышками
советские магнитные поля.

И глохнут роботы,
слепнут,
и, выбившись из сил, —
не гром,
а осечек лепет
из пулеметных рыл.

Железные —
слепо
к траншеям тычатыся,
резиной приторною
дымят...
В кругах концентрических
электричества
вздрагивает автомат.

А под землю
сосен пониже
спокойны
советские воен-инжи.
Приборами
бегают
стрелки скорые,
и голос
по-вологодски пропел:

«Последний робот
на территории
у точки Эл».

Взять сюда!
И где кустик щуплится —
раскрылся в земле
бетонный раструб
и вытянулись
коленчатосерые щупальца
и робота тащат
под землю,
вглубь.

Уже произносится
слово:
Победа!

Над лесом пронесся
сияющий АНТ,
и песня победы
мотором пропета.
«Пожалуй,
успеем еще
пообедать!..» —
смеется
безусый лейтенант.

ГЛ. 8

*«Альманах
с Маяковским»
После окончания*

Аэро шло
со звездой на гондоле,
нимбом пропеллера
луч обогнав,
и сотнями
машущих
с неба
ладоней
летучки
с аэро
спустились
к нам.

И бережно-бережно
с песней,
со знаменем
мы в город несем
на носилках двойных —
больших
и больших,
потерявших сознание,
стальных
инвалидов войны.

ГЛ. 2

КН. 1934. № 11
Между 43 и 44

Среди фрейлин, дам
пухленьких
я твои видал
туфельки!

Вм. 52—54

Я крылами бью —
порх,
порх!
Воду моря пью,
вижу город Нью-
Нью-
Йорк.

Я глазами выловил
в ладье жестяной

Между 57 и 58

Бью в обшивку медную,
клювом
долблю,
а он летит с рассветною
звездой
на лбу.

ГЛ. 3

Вм. 111—114

Под хлопьями стена старинная
запыла белизною стеариновой.
На Золушку слетают хлопья те
снежинковою белой копотью...

ГЛ. 4

Между 8 и 9

Вью... бью... ю... вьюга...
вью... забаякала люльку свою,
юркнула,
зау-лю-люкав:
«Юбку твою завью...»

Вм. 16—35

Громче хохот холода,
льдом лицо исколото,

стали руки сини-ние,
вихрь свистит в дугу,
кожа гу-гусина-ная,
не дойду-ду-ду.

Посине-не-нели губы-бы,
холо-ло-лод остр.

«Дó-до гóрода-да-да-да
де-де-дéсять верст». —

Дернул платъице рывок,
ду-ду-дудкою звеня...
«Лучше б во-во-во-во-во́лк
за-загрыз бы-бы́ меня...»

Ветер по лésу заухал,
нет в бору никого.
«Гложет меня голодуха!» —
глухо аукнулся волк.

ГЛ. 7

Между 118 и 119 — Я три ночи летел кряду!
— Грош потеряла.
— Ты откуда взяла яду?
— Грош потеряла.
— Что с тобой от гроша станется?
— Грош потеряла.
— Захотела смерти цианистой?
— Грош потеряла.

Между 122 и 123 Горы и звезды, камень и зверя,
и жизнь Несмеяной
заколдовал
отчим-оборотень-Кощей.

Между 143 и 144 Чурр, чурррр!
Чур тебя — горе!
Чур тебя, гарь!
Чур тебя, чур,
от Кощеевых чарр!..

ГЛ. 9

<i>Между 51 и 52</i>	оборочу —	Ягу
	пулю	в уголь,
	в пыль,	каргу
	мúку	в курган,
	в муху,	зло
	деньги	в золу,
	в льдинки,	ужас
	слезы	в сажу.
	в слизь,	Кощей —
	жадность	коршун,
	в жабу,	сестры —
	горе	в змей,
	в гарь,	корысть
	яд	в крысу,
	в иод,	жалость

в шелест,	чур —
згарь	гарь!
в юрь,	чур —
марь	червь!
<в> гурь.	чур —
Чур —	чар!..
горе,	

ГЛ. 11

Соч-54. Т. 1
Между 104 и 105

Отвечают Иванушки:
— Рады мы
расплатиться с Кощеями-гадами!

Засветились глаза у них ясным умом:
— Всё, что кровное наше, —
назад отберем!

ГЛ. 12

КН. 1934. № 11
Между 12 и 13

Тюрьма в тюрьме,
где кровь-багрец
шкатулка-сейф
ларцам конец.

Между 188 и 189

Под прорытой землей, где дорога светла,
слово милого ясно услышала...
Распахнулась земля,
из-под мать-сыра-метра́
Золушка вышла!

Между 196 и 197

(Только раз за рúки взялись,
снег растаял до земли.
Только раз поцеловались —
все цветочки расцвели!)

246

Соч-54. Т. 1
Вм. 171—179

Как увести ее
от них —
уже нависших
черных крыл?
Быть может,
химик
в этот миг
состав спасительный открыл?

Зн. 1937. № 7
Между 790 и 791

Молю,
врыдавши в пальцы плач,

как брился,
что горячего хватило б
до Аргентины,
родным, знакомым, дочке
привет,
фото по бильд-аппарату,
благодарность Кремлю.

Кроме того, просил передать Кирсанову (это мне):
в толпе встречавших, среди
фермерских курток, подтяжек,
репортерских блокнотов,
там —
в ситцевом платье Воронежа,
стройным столбиком света,
радуясь незамерзающей улыбкой,
стояла
его Клава.
Так и передайте Кирсанову (это мне) —
его Клава.

О, это чудо!
(возможное только в стихах.)

250

КВ-2

ПОСВЯЩЕНИЕ

Я не знаю — сегодня где мы.
Гриффы черные пролетели.
Очень мало я жил в Эдеме —
восемь месяцев, две недели.

Под архангеловою трубою
наши руки война разняла.
Жил бы тысячу лет с тобою —
умирая, сказал бы: «Мало».

Имя твое — имя рая,
им я причащусь, умирая.

Июнь 1941

2

КВ-1

ИЮЛЬ

Загл

Строфа 2

И мое за Волгу уезжает счастье,
духотой вокзалов задымил июль,
темнотой летит фугасный головастик
в разноцветный путь прожекторов и пуль.

Загл.

АВГУСТ

*Между ст.
12 и 13*

В паузах, на дрожи взорванных полей
люди выползали медленно и слепо,
ждали, как скелеты, у своих щелей
отправленья в небо из семейных склепов.

Загл.

СЕНТЯБРЬ

*Между ст.
8 и 9*

С планет соскакивают демоны,
вдувая крыльев полусферы,
держа стволы дурного глаза,
пересекают отступление,
видны за терниями лагеря
столбы и дымы Люцифера,
в крутых котлах смолы и злобы
кипят и мучаются пленные.

*Между ст.
20 и 21*

В котле тринитротолуола
душа моя была испытана,
я мог под воем миномета
себя ловить на новом слове,
я мог метафорою меряться
с воображеньем Джона Мильтона,
и только в этом, только в этом —
моя броня и хладнокровье.

КВ-2

ОКТЯБРЬ

Не дать! И в секунду прорыва у Вязьмы
узнал обнаженных коснувшийся плеч
меж сложенных крыльев — тяжелый и властный
в солдаты меня посвящающий меч.

Но враг мой не вышел — он был невидимкой.
Он был в облаках, появлялся не раз,
и все уклонялся от поединка
как зверь от прямых человеческих глаз.

И мой поединок был тайный и скрытый.
Меня пододвинули плотно к столу,
вручили одну — с наконечником рифмы
ручную, единственную стрелу.

И вся моя битва — клониться над сводкой.
не выпуская стрелы из руки,
и с завистью к бьющим прямою наводкой
смотреть на взлетающие дымки.

Врага не палящий, но сам опаленный,
я взвешивал силы, я знал, что смогу
не только стихи [забыть о стихах,] —
перестроить колонны
и загородить все дороги врагу.

6

КВ-1

Загл.

ОКТАБРЬ

Ст. 3

когда я увидел московские странные здания,

Ст. 20—28

дорогой кружной я пробился к воротам Эдема.

Мой бедный Эдем, паутинный, немый, неубранный,
с обмылками стирки, с жужжащим огнем керосинки...
Но очи подруги! Какой семицветностью утренней
из неба в ресницы, блестя, проступают росинки!

И мы оторвали еще трое суток у вечности.
Любимая, слушай, я месяц живу без ночлега.
Идем, поскорей, уже сдвинулось все человечество!
На пасмурной Волге качается чрево ковчега.

НОЯБРЬ

Так закончилась книга «Исход»,
переправились люди и скот,
две пустыни прошли, перевьючились,
перемаялись, перемучались.

Увидали в пыли и тоске
глинобитный библейский Ташкент,
но не видно спасительной радуги,
не для них разрослись виноградники.

Краткий рокот последнего дня,
тополиный уставленный полдень,
на снегу ожидает меня
алюминьевый ангел Господень.

Два крыла неподвижно тверды,
снеговое летит бездорожье;
ослепительный снег Кзыл-Орды,
как подножье небесное божье.

Не прощайся, тебя я верну
на крылах двоесердого ангела
в допотопного мира страну
сквозь мечи, занесенные наголо.

Обниму, бесконечно любя,
школьным мелом завьюженный глобус;
я раздвину, войду для тебя
в дантов круг, как в Московскую область.

Крылья вспышек стоят над страной,
снова — поезда скрежет и топот.
Без тебя возвращается Ной
к наводнению мира, к потопу.

1941
В горах

7

Загл.

ДЕКАБРЬ

Строфы 4—5

Зачем я оставил тебя, не понес, не обвил
руками полета, а отдал библейскому зною?
Законы войны заслонивший губами любви,
зачем я позволил тебе разлучиться со мною?

Но мне говорят: не конец, подожди и внемли!
Холодное небо еще не по-мирному немо.
Еще неизвестно, что это — кончина Земли,
предсмертная изморозь или начало Эдема?

1941
Москва

9

Загл.

ЯНВАРЬ

Строфа 5 О, цвет войны, — на белом цвете —
горячей крови Красный Крест,
скажи — приму, скажи, что надо
с тобой проститься силой смерти!
Но только раз коснись рукою меня на отмелях небес,
любовь, склонись над головою сестрой земного милосердья!

11

Загл.

МАРТ

Между ст. и замолк и лишился сияния дня —
5 и 9 пальцы рая, как пальмы, возросшие заново,
прикоснулись и к жизни вернули меня.

Я вошел, как живой, в красно-синюю комнату,

я тебя, как живую, понес на руках;
под бомбежкой, ночью, влюбленным и обнятым,
нам лежалось, как Еве с Адамом в веках.

КВ-2

Загл.

АПРЕЛЬ

Эти жалкие молнии! Встреча
мне вручила святую скрижаль.
О приблизься, желанная сеча,
засверкай, овященная сталь!

О, апрель золотых паутинок,
побежавших ко мне по лучу!
О, скорей зазвучи поединок
чистым лязгом меча по мечу!

С легким сердцем влезаю в землянку,
и не в гости, а в душу к войне.
Документ проверяющий ангел
видит отблеск Эдема на мне.

15

КВ-1

Загл.

МАЙ

Вм. ст. 7—10

Я радуюсь, я узнаю —
ты пишешь мне на адрес Ада,
что дорожает жизнь в Раю,
что ограничиваться надо.

Все буквы вдоль и поперек
меня целуют, просят очень,
чтоб я себя в Аду берег,
чтоб не был слишком озабочен.

Вм. ст. 15—18

Ад продолжается. В огне
кладут безногих на носилки.
А я прочел, что Ева мне
прислала яблоко в посылке.

Л-62

ПРЕДИСЛОВИЕ

Строфа 2

Свою любовь не ставь себе в вину,
из общих мест не сотвори кумира
и не жалей, что ощущал войну
как боль огнем охваченного мира.

Загл.
9—11

АВГУСТ

Август — я поверил, что бывает Ад,
над смолой и серой — крыльев перепонки...
Духом отрицанья возникал снаряд,

Строфа 7

А друзья теснее вокруг меня сошлись,
может быть, я вправду от любви везучий?
И, ты знаешь, мимо отклонялся свист
пули и осколка от твоих созвучий!

Загл.

ОКТЯБРЬ

Строфа 7

И нам перепало еще трое суток из вечности!
Любимая! Слушай, я месяц живу без ночлега.
Тревога гудит. Уже сдвинулось всё человечество.
На пасмурной Волге качается чрево ковчега.

Загл.

НОЯБРЬ

Вм.
строф 4—5

От танков разбитых еще отделяется дым,
судьбою в них брошены многопудовые гири.
Лежат, оглушенные голосом пороховым
Урала, пронзенные пихтовой пикой Сибири.

Зачем я оставил тебя, не понес, не обвил
руками полета, а отдал ташкентскому зною?
Законы войны повторивший губами любви,
зачем я позволил тебе разлучиться со мною?

Скорей, телеграф, хоть на миг протяни свою нить
в три тысячи верст — к печальному взгляду беглянки.
Позволь наши перья дрожащие соединить,
как кончики пальцев — бумажные буквы на бланке!

Загл.

ФЕВРАЛЬ

2—4

И ползу опять навстречу бою.
Я готов расстаться — всё стерпя —
с бытием, но только не с тобою.

14—16

В твой престол небесный я не верю.
Я не верю в многоцветный рай
за реальною, земною дверью.

нас уродуют зенитки, нас глушат радиogramмы,
как стада гиппопотамов, к нам вошли аэроостаты.

КАПЛЯ

В безветренном ночном тумане, где я стояла на весу,
в сырой болотной глухомани, в подвальном запахе гриба,
я ночевала, я узнала бойца, лежавшего в лесу,
я — часть испарины усталой его израненного лба.

253

ВСТУПЛЕНИЕ

ИМ. 1956. № 9 Хоть отложить свой праздник
Вм. 15—32 мне пришлось бы.

Мне нужен каждый
и мне дорог каждый
мечтатель,
изнывающий от жажды.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Между 47 и 48 наконец —
открытого
разговора всюду,
без шептанья скрытного:
«Не случиться б худу...»

254

Авт. маш. ЛА
Загл. У ТЕБЯ ТАКИЕ ГЛАЗА

Ст. 13 Изабелла,

После гл. КАК ЗОЛОТЫЕ КАРТЫ
«У тебя такие

глаза»

Как золотые карты,
она тасует
испуг и смех.
И вдруг
при всех
рассыпает золотую колоду волос,
где да и нет,
и ночь и день,
и мрак и свет,
и жизнь и смерть,
и смех!

ОТКУДА-ТО

Между ст. 3 и 4 И запела.

Ст. 9 «Изабелла».

БУКВЫ

Ст. 1—6 И — и,
и эс,
и а,
и бэ,
и эль.
И лес, и даль, и блеск песка, и мель.

Ст. 11—15 и — и,
и эс,
и а,
и бэ,
и эль во сне.

Ст. 28—33 и — и,
и эс,
и а,
и бэ,
и эль —

ТВОИ РИСУНКИ

Ст. 2 Изабелла,

Загл. ГРАНИЦЫ
ГРАНИЦЫ, ВЫ

Ст. 16 Стой, Изабелла,

Ст. 24—26 любви,
моей, своей, твоей —
как визе с государственным гербом,
который держат львы?

Загл. НО, ИСЧЕЗАЯ
НО, ИЗАБЕЛЛА

Ст. 2 Изабелла,

После гл.
«Но, исчезаю» Наклонилась,
мне говоря
шопотом:
«Dit à moi...»
У меня ж только горсточка слов,
две-три песчинки слов у меня,
а нужен весь пляж

песков словаря —
ответить
на шопотом:
«Dit à moi...»

256

КЛИМ СМЕТАННИКОВ

*МГВ. 1939. № 8
Загл.*

12. МОСКВЫ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

25—26

Я видел ангелов, почивших в бозе,
милиционера в лебединой позе.

ХРИСАНФ СЕМЕНОВ

*ДП-1956
Между ст-ниями
9 и 10*

«ВОСВОЯСИ»

«Что такое "Свосяси?"» — спрашивал я, сидя за партой в подготовительном классе. И есть ли на свете такая «Свосясь», где речка Своя — смеется, струясь?.. И как оно ново — кукольное японо-русское слово! Но около речки Своя — где-то куда-то впадает Моя, и вместе текут во Твоя. Ты и Я. Вопрос, по-моему, ясен. Есть «Свосяси» — значит есть и «Мояси». Веди ж меня во твосяси! Это будут наши свосяси.

ПРИМЕЧАНИЯ

Эта книга — первое научно подготовленное и подробно прокомментированное издание выдающегося поэта своего времени Семена Кирсанова. Цель издания, включившего избранные стихотворения и поэмы, — дать свод наиболее ярких, характерных для Кирсанова произведений, показать его своеобразие на протяжении всего творческого пути, представить поэта в присущей ему в эмоционально-содержательном и формальном плане широте творческих устремлений.

Поэтическое наследие Кирсанова велико по объему. Итог полувековой работы поэта — 64 книги (включая переиздания)¹. Но этим не исчерпывается сделанное им: многое рассеяно по газетам, журналам, коллективным сборникам (всего зафиксировано более тысячи прижизненных публикаций); сотни стихотворений остались в рукописях; помимо оригинальных произведений, ему принадлежит значительное число переводов со многих языков².

Писать стихи Кирсанов начал в девять лет. Рукописные тетради, хранящиеся в Одесском литературном музее, содержат 268 стихотворений за 1915—1922 гг.³ Печататься он стал в 16-летнем возрасте, в 1923 г., в Одессе⁴, а с 1925-го, со все возраставшей активностью, — в Москве.

Для него, как и для других лефовцев, прежде всего Маяковского и Асеева, важным участком деятельности сделалась повседневная работа для газеты — оперативные стихи-отклики на горячие события дня. По многу лет он сотрудничал в «Комсомольской правде», «Известиях», «Труде», «Гудке», «Вечерней Москве», «Рабочей Москве», «Красной газете», «Литературной газете», «Красной звезде» и, эпизодически, в десятках других газет. Многие «газетные» стихи, утратив свою актуальность, больше не перепечатывались. Сотни стихотворений, стихотворные циклы, а также большинство поэм впервые увидели свет в журналах и альманахах.

Первый сборник Кирсанова «Прицел. Рассказы в рифму» вышел в 1926 г. Из последовавших за ним к числу наиболее значительных можно отнести «Опыты» (М.; Л., 1927), «Слово предоставляется Кир-

¹ См.: Русские советские писатели. Поэты: Биобиблиографич. указатель. М., 1987. Т. 10. С. 407—410.

² Часть их собрана в кн.: Вечерняя жатва: Стихи зарубежных поэтов в переводе Семена Кирсанова. М., 1977 (Мастера поэтического перевода. Вып. 22).

³ Сообщено одесским литературоведом Иваном Михайловичем Задою.

⁴ Поэт сообщал, что первое его стихотворение было напечатано в 1917 г. в «одесской детской газете» (Как это у вас было?: Ответ на анкету // Юность. 1971. № 1. С. 106). В библиотеках Москвы и Петербурга это издание не обнаружено.

санову» (М., 1930), «Три поэмы» (М., 1937), «Дорога по радуге» (М., 1938), «Избранные стихотворения» и «Поэмы» (обе — М., 1956), «Этот мир» (М., 1958), «Избранные произведения» в 2-х т. (М., 1961), «Лирика» (М., 1962), «Книга лирики» (М., 1966), «Искания» (М., 1967), «Зеркала» (М. 1970; 2-е, расшир. изд. — М., 1972).

Итоговым изданием явилось вышедшее посмертно «Собрание сочинений» в 4-х томах (М., 1974—1976). Затем положение резко изменилось: за последние три десятилетия появилась лишь одна книга Кирсанова — «Циркач стиха» (М., 2000), а также исследование его творчества — «Поэзия. Поэтика. Поэт» Ю. Минералова (М., 1984). «Я хорошо знал его, — писал поэт и литературовед Л. А. Озеров. — <...> Кирсанов не показан, полузабыт, оболган»¹. Полузабывание поэта, в течение полувека интенсивно публиковавшегося, вызывавшего большой интерес читателей и пристальное внимание критики, оказавшего влияние на целый ряд поэтов послевоенного поколения, несомненно, обедняет представление об отечественной поэзии минувшего века. Настоящим изданием «Библиотека поэта» стремится заполнить этот пробел.

Несколько слов о структуре книги. Оригинальна композиция «Собрания сочинений»: здесь поэтом, как сам он об этом писал, было осуществлено «такое построение, чтобы объединить в каждом томе жанровое единство и хронологическую последовательность»². Материал скомпонован по томам следующим образом: т. 1 — «Лирические произведения», т. 2 — «Фантастические поэмы и сказки», т. 3 — «Гражданская лирика и поэмы», т. 4 — «Поэтические поиски и произведения последних лет». Однако эта композиция, задуманная автором специально для четырехтомника, в нашем издании неприемлема. Тем более что в своих сборниках Кирсанов располагал произведения самыми разными способами: то объединяя их по тематическому принципу, то в хронологической последовательности; поэмы давались либо вместе со стихами, либо выделялись в особый раздел. Причем разделы — свойственный Кирсанову дух неуспокоенности проявлялся и в этом — никогда не застывали в незабываемом виде — при переизданиях многое в них менялось: состав, названия разделов, а нередко — заглавия стихотворений и сами тексты. То же в равной степени относится к циклам. С учетом этого в основу настоящего издания положен хронологический принцип.

В книге два основных раздела — «Стихотворения» и «Поэмы». Первый состоит из двух подразделов: «Стихотворения, опубликованные при жизни» и «Стихотворения, не публиковавшиеся при жизни». В первый подраздел вошли отдельные стихотворения и циклы (полностью или частично). Из стихотворений, вошедших во второй подраздел, 22 (№ 216—228, 231—235, 237—239, 241) публикуются впервые. В раздел «Поэмы», помимо собственно поэм, включены жанровые образования, в строгом смысле поэмами не являющиеся, находящиеся, что вообще у Кирсанова нередко, на границе жанров — стихотворного цикла и поэмы. Это представленный здесь отдельными

¹ Письмо Л. А. Озерова Э. М. Шнейдерману от 2 декабря 1987 г.

² Крюков Н. Четырехтомник Семена Кирсанова // Кн. обозрение. 1976, 15 октября.

частями цикл листовок «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата» и своеобразный «цикл циклов» «Поэма поэтов».

Работа над произведением у Кирсанова редко завершалась с его публикацией — при переизданиях в текст вносились исправления, порой существенные. При подготовке книги были просмотрены все публикации отобранных нами произведений, а также доступные рукописи. Произведения печатаются в последней авторской редакции. В связи с этим большое значение приобретает «Собрание сочинений», которое хоть и вышло посмертно, однако работу по его подготовке, начатую в 1968 г., Кирсанов успел в основном завершить. По свидетельству редактора четырехтомника Н. Крюкова, «сам поэт увлеченно работал над своим собранием сочинений: он просматривал и выверял тексты, тщательно продумывал композицию каждого тома, уточнял датировки произведений. Видимо, серьезная болезнь торопила поэта, заставляла его уделять максимум внимания этому изданию»¹. Таким образом, в текстологическом отношении «Собрание сочинений» выражает «последнюю волю автора», с той оговоркой, что, поскольку поэт не держал корректуру, здесь имеются явные искажения текста и целый ряд опечаток.

В примечаниях даны сведения о первой публикации произведения, затем через точку и двойной дефис перечисляются публикации, в которых текст подвергался изменениям, вплоть до указания источника, где текст окончательно установился и по которому произведение печатается. Если изменения были несущественны, их наличие специально не оговаривается; в противном случае используется формула «с вар.» или «др. ред.». Указание лишь одного источника означает, что в дальнейшем текст изменениям не подвергался либо вообще не перепечатывался. Для циклов сначала приводятся данные об изменениях в составе всего цикла, затем — в тексте каждого из публикуемых стихотворений. Формула «Печ. по...» вводится в тех случаях, когда автор вернулся к раннему варианту текста или когда в текст вносятся исправления по другим источникам. Изменения заглавий и подзаголовков учитываются как варианты текста. Графические изменения и явные опечатки в расчет не принимаются и в примечаниях не оговариваются. Далее приводятся варианты датировки, сведения об имеющихся рукописях произведения, о его музыкальных переложениях и записях на грампластинки. После сведений библиографического и текстологического характера следует историко-литературный комментарий.

Особенностью настоящего издания является широкое привлечение биографических и критических материалов — воспоминаний «Что помню», хранящихся в личном архиве Кирсанова, неопубликованных автобиографий, печатных отзывов, стенограмм обсуждений, внутренних издательских рецензий и т. д., дающих представление об истории создания произведений, их восприятии при появлении в печати, о дальнейшем их существовании.

Внимание критики к творчеству Кирсанова всегда было чрезвычайно велико. О некоторых его книгах и отдельных произведениях насчитываются десятки отзывов (к примеру, о поэме «Небо над Родиной» — более 30-ти), нередко крайне разноречивых. Одни критики с

¹ Крюков Н. Четырехтомник Семена Кирсанова // Кн. обозрение. 1976, 15 октября.

пониманием оценивали его стихи, другие резко осуждали за «слишком» экспериментальный характер, за несоответствие нормам социалистического реализма. Яростную полемику вызывали также его статьи и выступления. Тон критики начал меняться лишь в самые последние годы жизни поэта. Подобные отзывы (к ним надо прибавить внутренние рецензии) зачастую затрудняли или надолго делали невозможным печатание многих ярких вещей. Приводя, хотя бы частично, эти материалы, мы стремились дать представление о той сложной атмосфере, в которой работал Кирсанов (разумеется, не он один) и показать, каких усилий стоило ему, несмотря на постоянные упреки в формализме, зачастую перераставшие в политические обвинения, отстаивать свой творческий метод, сохранить свой голос, остаться самим собой. Для более точного воспроизведения реакции критики на произведения Кирсанова отзывы даются по первопечатному тексту.

В разделе «Другие редакции и варианты» приведены лишь некоторые, наиболее интересные варианты текста в печатных изданиях и рукописях. Наличие в этом разделе материалов к произведению отмечается звездочкой перед номером примечания.

Приносим благодарность сотрудникам Одесского литературного музея за предоставление для настоящего издания ряда уникальных фотографий.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

- Абрамов — Абрамов А. Лирика и эпос Великой Отечественной войны: Проблематика. Стиль. Поэтика. 2-е изд. М., 1975.
- Автобиография РГБ — Кирсанов С. Автобиография. <1949>. Неавториз. маш. // РГБ. Н.С. Ф. 198. 14.4.
- Автобиография РГАЛИ — Кирсанов С. [Справка о себе]. Автобиография. <1933> Авториз. маш. // РГАЛИ. Ф. 1819 (архив Кирсанова С. И.). Оп. 1. Д. 4.
- АДК — Авторское дело Кирсанова С.И. // РГАЛИ. Ф. 613 (Гос. изд-во «Художественная литература»). Оп. 7. Д. 354.
- АРСП — Антология русской советской поэзии: В 4-х т. М., 1957. Т. 1. б. д. — без даты.
- ВЛ — журнал «Вопросы литературы».
- ВМ — газета «Вечерняя Москва».
- ВнВ — газета «Вперед на врага».
- ГММ — Государственный музей В. В. Маяковского (Москва).
- Гранки СИП-36 — гранки с редакторской правкой неизданной кн.: Кирсанов С. Стихи и поэмы: Сборник. 1936 // РГАЛИ. Ф. 613 (Гос. изд-во «Художественная литература»). Оп. 1. Д. 6635.
- Гринберг — Гринберг И. Поэзия Семена Кирсанова // СС-1.
- ДН — журнал «Дружба народов».
- ДП — сборники «День поэзии» (М.).
- ДпР — Кирсанов С. Дорога по радуге: Стихи и поэмы. 1925—1935. М.: Гослитиздат, 1938 (сдано в набор 29.12.1937).
- Зв — журнал «Звезда».
- Зерк-70 — Кирсанов С. Зеркала: 1965—1968. М.: Сов. писатель, 1970 (сдано в набор 3.6.1969).
- Зерк-72 — Кирсанов С. Зеркала. Новое, доп. изд. М.: Сов. писатель, 1972.

- Зн — журнал «Знамя».
- ЗСФС-42 — [без указ. авт.]. Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата. [Б.м.]: Воен. изд-во Нар. комиссариата обороны, 1942.
- ЗСФС-43 — [Без указ. авт.]. Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата. [Б.м.] : Воен. изд-во Нар. комиссариата обороны, 1943.
- И-49 — Кирсанов С. Избранное. М.: Сов. писатель, 1949 (Б-ка избр. произведений сов. лит., 1917—1947).
- Изв — газета «Известия».
- ИК — Кирсанов С. Из книг. М.: Сов. литература, 1934 (сдано в про-изв. 5.9.1933).
- ИП-61 — Кирсанов С. Избранные произведения: В 2-х т. М.: Гослит-издат, 1961.
- Иск — Кирсанов С. Искания: Стихотворения и поэмы. 1923—1965. М.: Худож. литература, 1967 (сдано в набор 1.11.1966).
- ИСт-56 — Кирсанов С. Избранные стихотворения. М.: Сов. писатель, 1956.
- Катанян — Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. 5-е изд. М., 1985.
- КВ-1 — Кирсанов С. Книга войны. 1941—1943 (неизданный сб. ст-ний и поэм). Авт. маш. с карандаш. правкой. // ЛА.
- КВ-2 — Кирсанов С. Книга войны. 1943 (неизданный сб., вар. предыду-щего). Авт. маш. с карандаш. правкой // ЛА.
- КГ — «Красная газета».
- КиПР — журнал «Книга и пролетарская революция».
- КЛ-66 — Кирсанов С. Книга лирики: 1925—1965. М.: Сов. писатель, 1966.
- КН — журнал «Красная новь».
- КПр — газета «Комсомольская правда».
- КС — газета «Красное слово» (Харьков).
- Л-62 — Кирсанов С. Лирика: 1925—1962. М.: Сов. писатель, 1962.
- ЛА — Личный архив С. И. Кирсанова.
- ЛГ — «Литературная газета».
- ЛиЖ — газета «Литература и жизнь».
- ЛН — «Литературное наследство».
- ЛР — газета «Литературная Россия».
- ЛС — журнал «Литературный современник».
- М — журнал «Москва».
- маш. — машинопись.
- МвВС — В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963.
- МГв — журнал «Молодая гвардия».
- МЖ — Кирсанов С. Мыс желания: Стихи и поэмы. М.: Гослитиздат, 1938 (сдано в набор 4.10.1937).
- Минералов — Минералов Ю. Поэзия. Поэтика. Поэт. М., 1984.
- Н — Кирсанов С. Новое: Желания. Походная сумка. Новая скорость. М.: Сов. писатель, 1935.
- НиЖ — журнал «Наука и жизнь».
- НМ — журнал «Новый мир».
- НС — журнал «Наш современник».
- Ог — журнал «Огонек».

- ОЗ-64 — Кирсанов С. Однажды завтра: Стихи и поэмы. М.: Сов. писатель, 1964.
- Окт — журнал «Октябрь».
- Оп — Кирсанов С. Опыты: Книга стихов предварительная. 1925—1926. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927.
- П — Кирсанов С. Прицел: Рассказы в рифму. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926 (Худож. б-ка рабочей и крестьянской молодежи).
- ПвБ — Поэзия в бою: Стихи о Великой Отечественной войне. М., 1959.
- Петров — Петров Д. Поэзия и наука: (Заметки и размышления). М., 1974.
- Пласт 1 — грампластинка «Поэты читают свои стихи. Вып. 1. Семен Кирсанов». Мелодия, [1962]. Д—0008075—6.
- Пласт 2 — грампластинка «Только одно стихотворение: Читают авторы». Сост. Л. Озеров и Л. Шилов. Мелодия, 1980. М40—40943—4.
- Пласт 3 — грампластинка «Семен Кирсанов. Стихи разных лет. Читает автор». Записи 1949—1967 гг. Мелодия, 1982. М40—44085—86.
- Пласт 4 — грампластинка «Семен Кирсанов. Стихи последних лет. Читает автор». Мелодия, [1980-е]. Д33083—84.
- Поэмы-56 — Кирсанов С. Поэмы. М.: Гослитиздат, 1956.
- Пр — газета «Правда».
- Р — журнал «Резец».
- РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства. (Москва).
- РГБ — Рукописный отдел Российской государственной библиотеки (Москва).
- РДФ — Кирсанов С. Разговор с Дмитрием Фурмановым. Тифлис: Зак-книга, 1928.
- РП — Русские поэты: В 4-х т. М., 1968. Т. 4.
- Рук ЗНС — наборная рукопись (маш. с пометами тех. редактора) неизданной кн.: Кирсанов С. Знамя на сердце: Стихи и поэмы. 1935—1938. (Штамп: «Сдано в набор 9 февр. 1939 г.» // РГАЛИ. Ф. 613 (ГИХЛ). Оп. 1. Д. 6632.
- Рук МЖ — наборная рукопись (маш. с авт. правкой и пометами тех. редактора) кн.: Кирсанов С. Мыс Желания: Стихи и поэмы. М., 1938 (в рук.: 1937) // РГАЛИ. Ф. 613 (ГИХЛ). Оп. 1. Д. 6633.
- С-31 — Кирсанов С. Стихи. М.: Огонек, 1931 (Б-ка «Огонек». № 598).
- С-59 — Кирсанов С. Стихи. М.: Гослитиздат, 1959 (Б-ка сов. поэзии).
- СВ — Кирсанов С. Стихи войны: Из произведений 1941—1945 гг. М.: Сов. писатель, 1945.
- Сип-48 — Кирсанов С. Стихотворения и поэмы: Избранное. М.: Гослитиздат, 1948.
- Сип-51 — Кирсанов С. Стихотворения и поэмы. М.: Гослитиздат, 1951.
- Соч-54 — Кирсанов С. Сочинения: В 2-х т. М.: Гослитиздат, 1954.
- СПК — [Кирсанов] Слово предоставляется Кирсанову. М.: Гос. изд-во, 1930.
- СРЛ — Кирсанов С. Стихи разных лет. М.: Правда, 1948 (Б-ка «Огонек». № 10).
- СС (СС-1, СС-2, СС-3, СС-4) — Кирсанов С. Собрание сочинений: В 4-х т. М.: Худож. лит., 1974—1976.

- Ст-67 — Кирсанов С. Стихотворения. М.: Худож. лит., 1967 («Россия — Родина моя». Б-чка рус. сов. поэзии в 50-ти кн.).
- СЭиЦ — журнал «Советская эстрада и цирк». 1966. № 11.
- Т-1932 — Кирсанов С. Тетрадь 1932. М.: Сов. лит., 1933.
- ТП — Кирсанов С. Три поэмы. М.: Сов. писатель, 1937.
- ТС — Кирсанов С. Товарищи стихи: (1948—1953). М.; Мол. гвардия, 1953.
- ХЛ — журнал «Художественная литература».
- ЧиП — газета «Читатель и писатель».
- ЧН — Кирсанов С. Чувство нового: Поэмы и стихи. 1940—1947. [М.]: Сов. писатель 1948.
- ЧП — Кирсанов С. Что помню. [Воспоминания]. 1930. Авториз. маш. // ЛА.
- ЧР — газета «Челябинский рабочий».
- ЧТ — Кирсанов С. Четыре тетради. М.: Сов. писатель, 1940.
- ЭМ-58 — Кирсанов С. Этот мир: Новые стихотворения. М.: Сов. писатель, 1958.
- ЭМ-62 — Кирсанов С. Этот мир: Стихи. М.: Правда, 1962 (Б-ка «Огонек». № 33).

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ

1. ЛГ. 1935, 24 марта, в подборке «Из книги "Новое"», вместе с № 70, 72, под загл. «Основной тезис». -- Н. Датируется по СИП-48; та же дата: СИП-51; Соч-54. Т. 1; ИСт-56; С-59. ДпР — с датой: 1935. Гранки СИП-36; Рук МЖ.

2. НМ. 1926. № 10, с вар. -- Оп. -- С-31. -- ДпР (возврат к ред. Оп), дата: 1926. -- СИП-48. -- СИП-51. -- Соч-54. Т. 1. Датируется по СИП-48; та же дата: СИП-51; Соч-54. Т. 1; ИСт-56. Маш. с авт. правкой — РГАЛИ., архив А. Е. Крученых, «Альбом, составленный Крученых. 1918—1927»; там же — рис. к ст-нию с подп.: «Рисунок М. Синяковой. Лето 1925. Московия. Об Малороссии». Гранки СИП-36, с датой: 1926. *Сарацины* — здесь: кочевое племя.

*3. Окт. 1925. № 1, с подзаг.: «Из поэмы о гражданской войне», с вар. -- ЛЕФ. 1925. № 3, вместе с №. 6. -- Красная нива. 1926. № 36 (5 сент.). -- П, с вар. -- Оп, с вар., дата: 1924. -- ДпР, дата: 1924. -- СИП-48. Гранки СИП-36, с датой: 1924. Вместе с № 4, 16, 65 и др. исключено из Соч-54 по следующим мотивам: «...Не могут быть помещены в сборнике избранного как не удовлетворяющие предъявляемым требованиям» (внутр. рец. А. Яковлева от 26 февр. 1953 г. — АДК); «Думается, прежде всего, автор недостаточно взыскательно подошел к своему раннему творчеству. В таких стихотворениях как "Красноармейская разговорная", "Красноармейская с письмецом", "Из 'Моей именинной'", "Стихи на сон" <...> и некоторых других весьма сильно ощущается тот формалистический налет, от которого поэт постепенно освобождается в последующие годы. Стихи эти трудно признать удачными в идейном плане» (внутр. рец. И. Карабутенко от 22 апр. 1953 г.

— АДК). Ю. Злыгостеву принадлежит сценический вар. ст-ния: «Сенька-разведчик. Разговорный лубок по Кирсанову» (Затейник. 1929. № 1). Текст здесь предваряют «Указания»: «Этот лубок состоит из декламации стихотворения С. Кирсанова, разыгрываемого действием. Участники поясняют движениями и жестами то, что сами читают. Лубок можно ставить на сцене, эстраде, возвышении, на полу, в кругу зрителей. Он может ставиться с бутафорией и без нее, с группой и в одиночку. Если его показывает один, то он попеременно изображает и красноармейцев, и комбрига, и белогвардейца, оставаясь в основе Сенькой-разведчиком, повествующим о своих похождениях. Задача лубка — встряхнуть однообразие декламаций при помощи действия...»; далее страница разделена по вертикали на три графы: «Кто и как говорит», «Что говорит» (здесь дан текст), «Что делают». Рецензенты сб. Оп были разноречивы в оценке ст-ния. Инн. Аксенов: «Кирсанов все же почти ни одной темы не дает в новом, *своем* преломлении, и его порою блестящая техника скрывает за собою лишь скольжение по периферии. Этим объясняются такие идеологические срывы, как "Красноармейская разговорная", где увлекшийся ритмико-фонетическими "опытами" автор незаметно попал в объятия славного казака Кузьмы Крючкова» (Зв. 1927. № 6. С. 159); М. С<еребрянский>: «Лучшие стихи в книге — это "Красноармейская разговорная", "Допровская отпускная" и "В черноморской кофейне". На несколько десятков стихов это не мало. Тем более, что в этих лучших стихах обнаруживает Кирсанов способность крепко и свежо передать интересную тему сочным языком и уметь метко и верно схватить окружающее» (На подъеме (Ростов н/Д). 1927. № 7. С. 42). *Винт* — винтовка. *Шлях* — наезженная дорога, путь. *Биттэ, гэрр... биттэ* (нем.) — пожалуйста, господин... пожалуйста. *Петлюра* Симон Васильевич (1879—1926), *Махно* Нестор Иванович (1889—1934) — организаторы контрреволюционного движения на Украине в период гражданской войны. *Шкура* — Шкуро Андрей Григорьевич (1887—1947) — генерал-лейтенант, командир конного корпуса в армии Деникина. *Тютюнник* (Тютюнник) — атаман («батяка») одной из петлюровских банд. *Тютюн* — низкосортный табак.

*4. Шквал (Одесса). 1924. № 7 (1—15 дек.), под загл. «Красноармейская — с письмецом!», с 5 фотографиями (обучение красноармейцев грамоте), с вар. -- Юго-ЛЕФ. 1924. № 4 (дек.), в содержании загл.: «О ликбезе», в тексте загл. — двустиише: «Жили когда-то грамоты без, / теперь, ребята, даешь ликбез!» -- Красный журнал. 1925. № 4, под загл. «Ликбез», с ред. примеч.: «ЛЕФ — левая художественная группировка, к которой принадлежит автор...» -- ПП, под загл. «Красноармейская с письмецом», с вар. -- ИК, под загл. «Красноармейская с письмецом». -- ДпР, под загл. «Красноармейская — с письмецом». -- СС-4. Датируется по ИК. Гранки СиП-36, под загл. «Красноармейская с письмецом». Вл. Немцов в своей кн. «Параллели сходятся» (М., 1969) вспоминает об авторском чтении этого ст-ния в дни проведения в Москве I Всесоюзной конференции пролетарских писателей (6—11 янв. 1925 г.), делегатами которой были они оба: «...В общезитии делегатов я пробуждался по ночам от звонкого голоса Кирсанова: "А, В, Б, Г, Д, Е, Ж, всех врагов возьмем за Ж..." (вар. журн. «Шквал». — Э. Ш.). В его стихах сочетался фольклор озорных

чапушек с поэтикой Маяковского» (С. 80). О том же периоде пишет И. Овчинников: «Сменив Одессу на Москву, в комнату «четвертой полосы» (речь идет о сатирическом отделе газ. «Гудок». — Э. Ш.) любил заглянуть Семен Кирсанов. Помню его стихи о ликбезе. Женщина, одолев грамоту, пишет письмо своему «ненаглядному Тимохвею». Тема, казалось бы, малопозитивная. Однако получилось очень тепло, очень человечно, а это и есть признак настоящей поэзии» (Воспоминания о Юрии Олеше. М., 1975. С. 50). Ст-ние, включенное автором в рукопись Соч-54, было подвергнуто суровой критике во внутр. рецензиях: «...Поэт, — писал И. Карабутенко, — стремится раскрыть очень важную проблему — рост классового сознания воинов молодой Советской армии, их культурный рост. Но нельзя не протестовать, когда глубокое раскрытие столь важной темы подменяется жонглированием буквами, при котором попросту оплошались святые для советского человека понятия» (22 июня 1953 г.); В. Тельпугов усмотрел в ст-нии «много формалистических, ничего не говорящих сердцу читателя строк...» (б. д.); в результате ст-ние было исключено из кн. (АДК), *He дрефозь* (от «дрейфить», прост.) — не трусь. Деникин Антон Иванович (1872—1947) — генерал-лейтенант, главнокомандующий контрреволюционными вооруженными силами на юге России; в апреле 1918 г. возглавил Добровольческую армию.

5. Юго-ЛЕФ. 1924. № 1, вместе со ст-нием «Строй С.Т.О.» («На торговле рулем стой, СТО...»), с вар., под загл. «Две Турции». -- Оп, под загл. «Две Турции». -- СС-4. Датируется по «Юго-ЛЕФ». Гранки СИП-36, Оп, ДпР — с датой: 1924. *Бурнус* (араб.) — плащ из плотной шерстяной материи с капюшоном. *Бедуин* — араб-кочевник. *Журна* (перс.) — музыкальный духовой инструмент, род свирели; в ст-нии ошибочно — струнный. *Гафиз* (Хафиз, ок. 1325—1389 или 1390) — персидский поэт. *Минарет* — башня при мечети, с которой муэдзин сзывает мусульман на молитву. *С огнем восстанья и ракет подкрался рослый младотурок* Младотурки — члены турецкой организации «Единение и прогресс», возглавившей борьбу против феодального абсолютизма; в результате Младотурецкой революции 1908 г. пришли к власти. *Кемаль-паша* — Мустафа Кемаль (Ататюрк; 1881—1938) — основатель и первый президент Турецкой республики, провозглашенной в 1923 г.

6. ЛЕФ. 1925. № 3, вместе с № 3, с подзаг.: «(Распевная)», без деления слов, с вар. -- П, с подзаг.: «Песня». -- Оп. -- ДпР. Гранки СИП-36. Датируется по Оп. «Я те в зём-би дам, вшисци зёмби на зёмь» — «Я тебе в зубы дам, все зубы наземь». Земби (*zemy*, польск.) — зубы; вшисци (*wszyscy*, польск.) — все. *Будёнцы-бойцы* — буденовцы, бойцы Первой Конной армии под командованием Семена Михайловича Буденного, в 1919—1920 гг. сражавшейся на Украине против польских и петлюровских войск.

7. Оп, с подзаг.: «(В пространство)». -- ДпР. -- СС-1. Датируется по Гранкам СИП-36 и ДпР. «Кирсанов воскрешает прием старых забытых поэтов — Мятлева и Ивана Долгорукого: смешение русской речи с иностранной» (Розанов И. Русские лирики: Очерки. М., 1929. С. 148). *Клеенчатый горб* — ученический ранец. «Иже», «аще», «по-неже» (церк.-сл.) — который, если, потому что. *Lauro cinge* и т. д. — заключительная строка оды Квинта Горация Флакка (кн. 3, ода 30),

известной под названием «Памятник». Мельпомена (греч. миф.) — муза, покровительница трагедии.

8. 30 дней. 1926. № 6, под загл. «Автобиография "мелкобуржуазного" поэта», с ред. предисл.: «Стихотворение — автобиография поэта характеризует лирическую сторону творчества одного из наиболее интересных представителей поэтической молодежи — С. Кирсанова. Восемнадцатилетний Кирсанов появился на московском литературном горизонте совсем недавно, ранее примыкая к группе "Юго-ЛЕФ"», с рис. Е. Мандельберга, с вар. -- Оп, под загл. «Краткая автобиография. (Род. в 1906 г., еще не умер)». -- ИК, дата: 1926. -- ДПР, под загл. «Краткая автобиография», без ст. 45—46. -- СС-1. Печ. по СС-1, где автор вернулся к ред. текста ИК. Датируется по ДПР. Гранк СиП-36, под загл. «Краткая автобиография», с датой: 1925. Кирсанов читал это ст-ние 27 и 28 июля 1927 г. в Луганске, во время поездки с Маяковским по городам Украины (см.: Катанян. С. 398). Об одном из этих вечеров вспоминает М. Матусовский: «...Маяковский обратился к слушателям: "А сейчас я хочу познакомить вас с талантливым молодым поэтом Семеном Кирсановым". И затем не вышел, а вырвался на сцену молодой Кирсанов. Когда он читал свои стихи, впечатление было такое, что вокруг него сыпались искры, что-то вспыхивало и взрывалось, и, кажется, даже пахло порохом. Он читал "Бой быков" и "Мою автобиографию". Все это было звонко, стремительно, молодо. И надо было видеть, как смотрел Маяковский из угла сцены, любясь и радуясь, — так, наверное, старинные мастера-художники или скульпторы гордились своими выучениками и подмастерьями» (Это в жизни, это в песне... // От. 1966. № 39. С. 23). 15 апр. 1928 г. ст-ние читалось автором на «творческом утреннике» в Тифлисе (см. прим. 35).

9. Красная нива. 1926. № 44 (31 окт.), под загл. «Осенняя песня», без эпиграфа. -- Оп. -- Иск. Датируется по Гранкам СиП-36 и ДиП. Перевод ст-ния П. Верлена «Chanson d'automne». Положено на музыку Л. Новоселовой. «Богатство инструментовки, послушность звука поэту, — писал критик о сб. Оп, — отличали стихи Кирсанова, начиная с этой "предварительной книги". Это ставило его вольный перевод верленовской "Осени" выше всех многочисленных русских переводов ее, самым музыкальным, наиболее точно передающим звуковой образ подлинника» (Никонов В. От словесной игры к реалистической поэзии // ХЛ. 1935. № 9. С. 11). О чтении автором этого ст-ния по радио в 1956 г. во время Международного фестиваля драматического искусства рассказывает Э. Триоле: «В зале Театра Сары Бернар зазвучали голоса поэтов Бельгии, Швеции, Бразилии, Германии и Советского Союза. Прочитав в газетах, что из Москвы будет говорить Семен Кирсанов, мы пошли "на Семена Кирсанова". <...> Когда объявили Москву, публика заинтересованно затихла. <...> Когда он прочел свой перевод из Верлена, в зале заулыбались и радостно захлопали, так это было по звукам и ритму похоже на французский текст» (Триоле Э. «Ночь поэзии»: Письмо из Парижа // ЛГ. 1956, 21 июля).

10. Оп, под загл. «Сентябрьский пустык». — Иск. Датируется по Гранкам СиП-36. «У Кирсанова, — писал критик, приведя ст-ние целиком, — есть целые стихотворения, основанные на ассоциациях слов по звуковой близости, в духе русской шуточной народной речи» (Ро-

занов И. Русские лирики: Очерки. М., 1929. С. 149). *Маросейка, Никольская* — улицы в центре Москвы. *У Горшанова* — пивная в Москве, названная по имени владельца.

11. Новый ЛЕФ. 1927. № 1, под загл. «Плач быка», без посвящения, с вар. — Оп. — ИК, без посвящения. — ДпР. — СС-4. Датируется по ИК. Гранки СИП-36 и ДпР — с датой: 1926. Кирсанов записал свой разговор с Маяковским (вероятно, в 1925 г.): «Владимир Владимирович! Я хочу прочесть вам “Бой быков”. — Нужно написать 300 строк о 1-м мае. Вот вам книжки, за неделю сделаете? А потом буду слушать бой бычков. Пишите о первом мае, товарищ подмастерье» (ЧП. Л. 2). Это ст-ние Кирсанов многократно читал в 1920-е гг. на своих выступлениях, в частности, на большом литературном вечере в Колонном зале Дома союзов, где выступал вместе с В. Маяковским, А. Безыменским, И. Сельвинским (см.: Шаламов В. Двадцатые годы: Заметки студента // Юность. 1987. № 11. С. 39). См. также прим. 8 и 13. *Торре-ро* (исп.) — тореадор. «*Тореодор, веги смелее в бой!*» и т. д. — строки из популярной арии тореадора Эскамильо из оперы Ж. Визе «Кармен». *Охейло!* (от исп. *охеар*) — гони! *Оррейя* (от исп. *орте*) — кучей. *Бандерилья* — копьцо, украшенное флажками и лентами, которое втыкают во время корриды в быка, чтобы разъярить его.

12. СПК, с вар.; загл., ст. 22—23 (здесь — в одну строку) и 34 напеч. красной краской. — СС-4. Датируется по СПК. Перекликается со ст-нием В. Каменского «Жонглер» («Згара-амба...», <1922>); ср., напр.:

Поэтом будь — зайли-зайл,
Будь истинным жонглером.
Бросай — лови.
Дороже струй
Блеск вскинутого слова.

(Каменский В. Стихотворения и поэмы.
Л., 1966. С. 122 (Б-ка поэта, БС).

Рецензент СПК предостерегал: «Вот это циркачество, исключительная напряженность ради спорта, ради парада, антрэ — по-прежнему представляют собой основную опасность для творчества Кирсанова» (КС. 1930. № 7—8. С. 151, подпись: А. Р.). З. Кедрина отметила ст-ние как «являющееся “потолком” формалистического трюкачества и полного непонимания творческих принципов Маяковского (далее текст ст-ния, названного критиком «Цирк», приводится целиком. — Э. Ш.). Всякому, даже не посвященному в литературную жизнь, человеку ясно, что цирковое отношение к жизни и поэзии, высказанное здесь Кирсановым, не имеет ничего общего с отношением Маяковского к искусству и действительности, что весь этот мрачный и холодный экзерсис резко отличен от поэзии Маяковского» (Об учебе у Маяковского // Окт. 1938. № 1. С. 233). Н. Крюков справедливо характеризует ст-ние как «фигурные стихи, в которых поэт пытался при помощи необычайной строфики передать определенный рисунок: <...> циркача, идущего с шестом по канату...» (Четырехтомник Семена Кирсанова // Кн. обозрение. 1976, 15 окт. С. 9). О своей приверженности цирковой теме Кирсанов последствием писал: «У каждого поэта свои двери в поэзию. <...> О себе я знаю, что ни поэмы классиков, ни стихи современников не повлияли на меня так впечат-

ляюще, как полеты гимнастов, танцы цирковых лошадей и щелканье бича укротителя. В поэзию я вошел через цирковые ворота и, глядя на волшебные руки фокусника, мысленно писал свои первые стихи. В те годы, когда я начал выступать, а потом печататься, некоторые критики обзывали мои стихи "циркачеством". Меня это нисколько не обижало. Я завидовал цирку, и моим идеалом было добиться такого же магического влияния на слушателей и читателей. Я жаждал создать такую поэзию, которая могла бы соревноваться с точностью походки канатоходца, с отвагой гимнаста, летящего с трапеции на трапецию, с композицией рискованных живых пирамид на уходящей под купол лестнице, которую держит только один, и этот один был для меня воплощением поэта, способного создать и удержать рискованную поэтическую композицию» (СЭиЦ. С. 12).

*13. Альм. «Красная новь». № 2. М.; Л., 1925, под загл. «Мери наездница». (Отрывок из поэмы). Случай в цирке», с вар. -- Оп, с вар. -- Иск, с вар. -- СС-4. Датируется по Оп. Гранки СиП-36. О существовании поэмы, вероятно, не сохранившейся, свидетельствует ст-ние «Больничное» (см. № 220и прим. к нему). В поэме «Последний современник» (гл. 3. Июль 1928) упоминается о том, что ст-ние в авт. исполнении было записано на грампластинку (см.: Кирсанов С. Последний современник. М.: Федерация 1930. С. 23—24). «На одной из встреч в Гендриковом переулке, — писала Н. А. Луначарская-Розенель, — Маяковский за весь вечер ничего не прочел, предоставив "трибуну" молодым. Среди молодых выступил Семен Кирсанов. Анатолий Васильевич <Луначарский> слушал его в первый раз. В Кирсанове было столько юношеской живости, блеска, темперамента! Читал он очень эффектно, умело "подавая" текст, "Бой быков", "Мери-наездница", "Полонез" и другие стихи. Маяковский с высоты своего роста смотрел на маленького подвижного Кирсанова с очень хорошей, ласковой, поощряющей улыбкой. И все аплодисменты, которые тогда достались Кирсанову, Маяковский встречал с какой-то отцовской удовлетворенностью...» (Луначарский и Маяковский // МВВС С. 475—476). «С "Боем быков" и "Мери-наездницей" я как-то выступал в одесском цирке, — вспоминал поэт. — Признаюсь, я испытал тщеславное чувство победителя, когда на мою долю выпали аплодисменты не менее шумные, чем на долю укротительницы львов. <...> Как ни странно, эти стихи с рефреном "Зумбай-квиль-миль-толь-миль-надзе" были напечатаны А. Воронским в сборнике "Красной нови" в 1925 году. Человек, гораздо более близкий к традиционной литературной тенденции, чем к эксцентризму, он, видимо, приметил нечто перспективное и обещающее в моих первых опытах. Эти опыты были встречены критикой недоброжелательно. Наиболее мягкий отзыв был озаглавлен — "Опасности на путях поэта" (рец. А. Тарасенкова: Книга и революция. 1930. № 19. С. 10—11. — Э. Ш.). Но как мне понравилось слово "опасности"! Да я ведь именно того и хотел, чтобы поэзия была так же опасна для поэта, как полет под куполом цирка без сетки и лонжи» (СЭиЦ. С. 12).

Во время поездки с группой поэтов за границу в 1935—1936 гг. (см. прим. 72) Кирсанов «самовольно» читал это ст-ние, о чем руководитель поездки А. Безыменский сообщил в своем отчете в Союз писателей: «В Праге Кирсанов, обманув нас, прочел никем не предусмотренную "Мери-наездницу", хотя я шепнул ему, чтобы он отказал-

ся от этого намерения... Семе почти безразлично стало после первого стихотворения, ЗА ЧТО ему будут хлопать, лишь бы хлопали, и вот "Мери"... Кирсанов всюду (и на вечере публичном тоже!) требует, чтобы Сельвинский читал "Цыганскую рапсодию" и "Цыганский вальс", <...> толкая его на читку того, что в данных условиях ВРЕДНО НАМ» (Фрезинский Б. За кулисами триумфа: К истории парижского турне четырех советских поэтов // Русская мысль. 1997, 23—29 окт.). Критики единодушно осудили ст-ние: «Особенно неприятное впечатление оставляет отрывок из поэмы С. Кирсанова с его разухабистым припевом "Ца-ца", "топ-топ" и футуристическим вывертом в конце» (Н. П-ая. Альманах «Красная новь» № 2, 1925 // Пр. 1926, 31 янв.); «Семен Кирсанов в своих "Опытах" придумал целую новеллу о гибели цирковой наездницы только для того, чтобы посмаковать заумные звуки» (Яковлев Б. Поэт для эстетов: (Заметки о Велимире Хлебникове и формализме в поэзии) // НМ. 1948. № 5. С. 216). *Рыжий* — коверный клоун; назывался так из-за парика рыжего цвета. *Гоп, ап* — условные сигналы, которые один из исполнителей номера подает своему партнеру для уточнения момента вступления в трюк.

14. Оп, с посвящ.: «С. Бондарину». -- ДпР. -- СС-4. Датируется по ДпР. Той же теме, отсутствию у него жилья, посвящено и вошедшее в Оп ст-ние «Воззвание» («У собаки — лежанка, у таракана — дырка...»), в примеч. к которому, впрочем, сообщается: «Можете не беспокоиться, комната найдена». Об этом периоде Кирсанов вспоминал неоднократно: «Переезжаю в 1925 году в Москву. В Москве тепло принят левовцами. Начиная печататься в прессе. Живу плохо, голодаю, сплю под Кремлевской стеной на скамье. Приезжает из Америки Маяковский. Дела улучшаются. Пишем вместе рекламные стихи и агитки» (Автобиография РГБ). О поддержке, оказанной ему тогда Маяковским, поэт писал:

«Весна 1926.

— Кирсанчик! Что с Вами? Отчего штаны драные? Отчего грустный?

— Да вот, Владим Владимч, ночую на бульваре, одеваюсь в Кино-Печати, в "Новом мире", ем лук, никто не печатает.

— Идемте к нам жить. Лилечка уехала, будете спать в ее комнате. Не разводите грязь.

— Вот ваши покои. Нате десять бумаги. Нужно написать для Гиза частушки о деревенских книжках. Пишите.

— Неплохо: "Книжки есть о саранче и о долгоносике!"

— Ваши частушки проданы. Вот 110 рублей. Идите покупать штаны.

— Прекрасные штаны! <...> Идите обедать.

— Кирсанчик! Нужно написать на эту заметку стихи. Вот мое начало, допишите.

— Ничего. Перепишите начисто. Подпись: ВОСПЕЛИ — Маяковский-Кирсанов. Вот вам 5 червонцев» (ЧП. Л. 3). См. также: Кратко о себе // С-59. С. 6; Лавинская Е. А. Воспоминания о встречах с Маяковским // Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 360—361.

15. МГв. 1926. № 10 -- Оп. -- СС-3. «*Лаккарды*» — автомобили производства американской фирмы. *От вала Крымского до Земляного <...>, до Коровьего*. Крымский вал, Земляной, Коровий — улицы на Садовом кольце.

*16. Оп, с вар., помета: «Черное море. Яхта "Сокол"», дата: 1926. -- ДпР, дата: 1926. — И-49, с вар., дата: 1925. -- СиП-51, в разделе «Стихи

о Маяковском. 1925—1950», без загл., дата: 1925. -- ИСт-56, без загл., с посвящ.: «Маяковскому», дата: 1925. -- СС-1. Печ. по СС-1, где повторен текст ИСт-56. Гранки СиП-36, с датой: 1926. Ранняя ред. — ЛА, черновой автограф, б. д. (на полях против ст. 22 — пять вопросов, знаков, в ст. 30 слово «чудесным» подчеркнуто волнистой чертой и зачеркнуто). Датируется на основании следующих обстоятельств: 1. Дату «1926» имеют все довоенные, т. е. более близкие ко времени написания публикации; «1925» — лишь начиная с 1949 г. 2. Кирсанов дважды встречался с Маяковским в Одессе — в февр. 1924 г. и в июне 1926-го. Вероятнее всего, их совместное катание на яхте (а его вряд ли можно счесть за поэтическую фантазию автора, — не случайно о нем говорится в обеих редакциях ст-ния) имело место не зимой, в первый приезд Маяковского, но — летом, во второй, когда они часто общались, вместе выступили. Маяковский высоко ценил это ст-ние. Так, выступая 23 марта 1927 г. в Москве, он говорил, доказывая верность молодого поэта Лефу: «Все его стихотворения с первой строчки посвящены в "Опытах" Маяковскому, но также и Асееву и Пастернаку, ибо эти стихотворения посвящены и им...», и затем процитировал 7-ю строку ст-ния (Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 337). «Я выступаю в Колонном зале, — рассказывал Кирсанов о вечере, происходившем, вероятно, в 1927 г. — Выхожу на эстраду. Свистки. Не дают читать. Растерялся. Маяковский из-за колонн выносит на сцену стул и жестом приглашает сесть. (Мол, ждите, пока не успокоятся). Зал умолкает. Читаю стихи "Маяковскому". Грохот невероятный. Ухожу со сцены. Маяковский мне: "Ничего больше не читайте. Пусть неистовствуют"» (ЧП. Л. 5). В «Воспоминаниях о В. В. Маяковском» В. В. Полонская писала, что когда Кирсанов прочел это ст-ние (вероятно, во 2-й пол. 1929 г.) «на квартире у Бриков» в присутствии Маяковского, тот «очень шумно хвалил стихи, целовал Кирсанова, потом вдруг страшно смутился и сказал: "Сеня, вы не подумайте, что я так доволен, так как вы про меня написали. Нет, это действительно очень здорово!"» (ВЛ. 1987. № 5. С. 187). По-иному восприняла ст-ние рапповская критика: «Но как мыслил Кирсанов учебу у Маяковского? Только как достижение уменья "Бросаться с утеса метафор на дно / За жемчугом слов водолазом". Его мечта — "стать, как и он, капитаном". Здесь нет ни слова о социальном назначении поэзии» (Мейлах Б. Поэт Кирсанов // КН. 1931. № 8. С. 162); «Кроме богатства метафор и жемчуга слов, С. Кирсанов у своего учителя не увидел ничего больше. Революционная сущность поэзии В. В. Маяковского проходит мимо его ученика, воспринявшего лишь одну формальную сторону работы учителя. Лефовщиной, формальными трюками, циркачеством (сам поэт называет себя "циркачом стиха") заполнены первые книги поэта» (Александров Г. Трудности перестройки. (О творчестве С. Кирсанова) // Книга молодежи. 1932. № 3. С. 28). Во внутр. ред. на рукопись Соч-54 А. Яковлев указывал: «Слово "шаландаться" не подходит, как жаргонное, в стихе о Маяковском» (АДК); ст-ние было из книги исключено. *Бушприт* — выступающий с носа парусных судов брус, который служит для вынесения вперед носовых парусов. *Шаландаться* — от «шаланда», плоскодонная парусная рыболовная лодка на Черном море.

17. Проектор. 1926. № 21 (15 нояб.), с рис. К. Ротова. -- Оп. -- ИК, под загл. «О черноморской кофейне» (текст Оп). -- ДпР (ред.

Оп). -- ИП-61. Т.1, под загл. «Черноморская кофейня» (текст Оп). -- СС-1. Печ. по СС-1, где автор вернулся к ред. Оп. Датируется по ДПР. Гранки СИП-36. Инн. Аксенов в ред. на Оп, цитируя ст-ние, отмечал: «Лучшее у Кирсанова — это его лирический пафос...» (Зв. 1927. № 6. С. 159). Позднейший исследователь писал: «...Вся эта атмосфера великого в малом, незримо-святого в ничтожном, призрачно-философского в бытовом, — в общем, точно, естественно отвечает настрою дум, души одинокого в этом шуме, романтически размышляющего героя. То, что в дневных, обычных гостях кофейни он "зрит" великих древних, ассоциативно должно убеждать, что и в нем самом живут особые, важные, главные вопросы жизни, судьбы. <...> Ясно, что перед нами в косвенной, в *образной* форме дан кризисный момент души человека — лирического героя; ясно также, что тени великих недаром присутствуют в этой кофейне: они — не выдумка, они — не тени, они — открытая проекция встревоженных дум поэта в окружающий вещный мир. Иногда символика слишком "нежна" и прозрачна <...>, иногда прием уж чрезмерно довлеет, но все это компенсируется совершенно точно найденной музыкой, тоном стиха — задумчивым, плавным и чуть вопросительным тоном легкой внешней усталости и скрытого, но искреннего размышления; компенсируется этими лирически-патетичными и одновременно ненавязчивыми, негнущими апелляциями к детству, к милой памяти старых лет в "родимом городе"..."» (Гусев В. На стыках поэтических поколений: (Художественный опыт Маяковского и молодая поэзия 20-х годов) // ВЛ. 1969. № 6. С. 60—61). *Приморская улица* — Приморский бульвар в Одессе. *Очка* — азартная карточная игра. *Аристотель* (384—322 до н. э.) — греческий философ. *Демосфен* (384—322 до н. э.) — греческий философ и оратор. *Архимед* (ок. 287—212 до н. э.) — греческий математик и механик. *Земля перевернута? Что? Найгена точка опоры?* — подразумевается имеющая легендарное происхождение фраза Архимеда: «Дайте мне место, на которое я мог бы встать (или: дайте мне точку опоры), и я сдвину землю». *Анданте* — музыкальная пьеса или часть музыкального произведения в медленном темпе. *Старухой, крючкостой, горбатаю, в дверях появляется Данте*. Имеются в виду изображения Данте Алигьери (1265—1321) в конце жизни на старинных гравюрах. *Друг дома Вергилий увез Беатриче* — вольная интерпретация на тему из «Божественной комедии» Данте, где римский поэт Вергилий (70—19 до н. э.) ведет Данте через Ад и Чистилище к Земному Раю; Беатриче, рано умершая возлюбленная Данте, сопровождает его в Раю.

*18. Новый ЛЕФ. 1927. № 3, с вар., б. д. -- СПК, с вар., б. д. -- ДПР, с ошибочной датой: 1928. -- Иск, б. д. Гранки СИП-36, с датой: 1928. Датируется на основании следующего фрагмента воспоминаний Кирсанова:

«Весна 1926. <...>

— Владимир Владимирович, я еду в Одессу.

— Значит, увидимся. Летом я приеду. Будем вместе выступать.

Огесса 1926.

— Кирсанчик! Я уже наводил справки, посылая за вами. Идите покупать принадлежности для рисования. <...> Написал самое лучшее свое стихотворение: "Гляжу вот эти тропики..."

— Да, замечательное стихотворение.

— Ну а вы много написали, Сема? Читайте! (Читаю "Девушка и манекен", "Гулящую" и др.). Очень хорошо, но слишком лиричный вы стали. Но, конечно, вы молодой, веселый, красивый — вас на лирику тянет» (ЧП. Л. 3—4).

Эту встречу можно датировать первым днем пребывания Маяковского в Одессе, 23-м июня (см.: Катанян. С. 345). В тот же день Кирсанов принял участие в выступлении Маяковского в саду им. Луначарского: «Имел шумный успех и наш местный поэт — Кирсанов, читавший свои стихи» (Изв (Одесса). 1926, 24 июня, веч. вып.). Следовательно, ст-ние было написано в Одессе во 2-й четв. 1926 г. Образец разгромной критики представляет собой рец. Шнейдера на СПК: «Поэт <...> умудрился выпустить книгу стихов — итог двухлетней работы, в которой не только нет следа революционности, но совершенно не отражается наша современность. <...> Само собой разумеется, мы не можем требовать от поэта-попутчика (каковым является Кирсанов) стопроцентной идеологической выдержанности, но мы можем и должны требовать, чтобы он был прежде всего современником. <...> Остановившаяся на таком явлении как проституция, в стихотворении "Гулящая", автор подходит к шустрой гулящей девчонке с тоном тихого сожаления (вместо резкого осуждения) об ее бесславной судьбе. И по сути получился типичный цыганский романсик на излюбленные мотивы Плевицкой. Стихотворение явно бьет мимо цели» (Р. 1930. № 24 (авг.). 2-я с. обл.). В том же ключе отозвался о ст-нии Г. Александров в статье «Трудности перестройки. (О творчестве С. Кирсанова)»: «За словесно изощренными трюками, звукописью ясно проглядывает мелкобуржуазная сущность автора. <...> Беря острые темы, как, например, проституцию, поэт удивительно легко "расправляется" с этой темой сентиментально-жалостливо, с нотками эстетизации и романтизации. В "Разговоре с бывшей", "Гулящая" <...> говорит поэт о проституции. Ни путей борьбы, ни значимости этого социального зла он не видит» (Книга молодежи. 1932. № 3. С. 29). *Киноварь* — красная краска; здесь — помада. *Трубная* — площадь в Москве. *У Горшанова* — см. прим. 10. *Кралечка*. *Краля* — королева, красавица. *Желтый билет* — паспорт на бланке желтого цвета, выдававшийся в дореволюционное время проституткам. *Туфельки лядащие* (ледащие) — здесь: изношенные, хилые.

19. КГ. 1927, 27 авг., веч. вып. -- СПК. -- КЛ-66. Гранки СИП-36, ДПР — с ошибочной датой: 1928. Датируется как № 18.

20. Оп. -- СС-4. Датируется по Гранкам СИП-36. *Коханый* (польск.) — любимый. *Цо?* (польск.) — что? *Жупан* — у поляков: старинный полукафтан. *Кралечка*, *краля* — см. прим. 18.

21. Оп. -- СС-4. Датируется по Гранкам СИП-36. Восходит к трагедии И. В. Гете «Фауст», ч. 1, сцена «В тюрьме», с той разницей, что там герой, Фауст, с помощью Мефистофеля проникает в тюрьму и безуспешно пытается уговорить безумную Маргариту бежать. *Король Готура* — персонаж немецких сказок.

22. КН. 1926. № 6, под загл. «Россия тогда», с вар. -- С-31, под загл. «Россия тогда». -- ДПР. -- СС-4. Датируется по С-31. Гранки СИП-36. *Кнес* (книса) — перекладина, балка под гребнем крыши. *Грозный* — Иван IV Васильевич Грозный (1530—1584), царь. *Малюта Скуратов*

(Вельский Григорий Лукьянович, ум. в 1573) — предводитель опричников при Иване Грозном, прославившийся исключительной жестокостью. *Бирюк* — волк-одиночка. *Потылица* (обл.) — затылок.

23. Оп. -- ИК, дата: 1925. -- ДпР (возврат к ред. Оп) — всюду с последней строфой в виде примеч. к ст. 38. -- ИСт-56. Датируется по ДпР. Гранки СиП-36. «И вещам, позволяющим угадывать будущее лицо поэта <...>, — отмечал рецензент Оп Инн. Аксенов, — принадлежит "Легенда", сюжет которой теряется в пересказе. "Легендарный" материал здесь оформлен с подкупающей свежестью» (Зв. 1927. № 6. С. 159). *Згло*, *Селебцы* — вероятно, вымышленные названия.

24. КГ. 1927, 8 февр., веч. вып. -- Оп. -- ДпР. -- СС-4. Датируется по Гранкам СиП-36 и ДпР. *Александр III* (1845—1894) — российский император. *Августейший городовой*. Александр III получил кличку «будочник на престоле». *Перед вокзалом лошадь на цоколь встала*. Конный памятник Александру III работы П. П. Трубецкого был установлен на Знаменской пл. (ныне пл. Восстания) у Николаевского (ныне Московского) вокзала в 1909 г. Одежда, в которой скульптор вылепил всадника, напоминает форму конных городовых. В 1937 г. как «не представляющий исторической ценности» был снят; в настоящее время находится перед порталом Мраморного дворца. *Новое прозвище Ленинград*. Петроград был переименован в Ленинград постановлением II съезда Советов СССР 26 января 1924 г.

*25. НМ. 1927. № 3, под загл. «Германия», с эпиграфом: «Volker hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale! Er kämpft das Menschenrecht!» (Это будет последний / И решительный бой. / С Интернационалом / Воспрянет род людской!) — припев «Интернационала», пер. А. Я. Коца), с вар. -- Оп, с вар. -- С-31, с вар. -- ДпР. - - И-49. -- ИСт-56. Датируется по С-31. Гранки СиП-36. «Читаю "Германию" — вспоминал Кирсанов. — Маяковскому очень понравилось. Заставил читать 3 раза. Ходит и поет ее. Я сияю» (ЧП. Л. 6); в другой раз Маяковский попросил: «Прочтите мне "Германию". Очень люблю "Германию"» (там же. Л. 8). Л. Ю. Брик рассказывает, что Маяковский «в хорошем настроении <...> бодро пел кирсановское "Фридрих Великий, подводная лодка"..."» (МвВС. С. 348). К числу лучших в Оп отнесли ст-ние Р. Роман (МГв. 1927. № 6. С. 188) и В. Никонов (ХЛ. 1935. № 9. С. 11). *Фридрих Великий* — Фридрих II (1712—1786), король Пруссии; вел много захватнических войн. *Дум-дум* — разрывные пули, применявшиеся в Первую мировую войну; причиняли тяжелые ранения. *Цеппелин* — дирижабль жесткого типа, названный по имени конструктора, графа Фердинанда Цепелина (1838—1917); использовался в военных целях. *Унтер-ген-Линген* («Под Липами») — одна из центральных улиц Берлина. *Горчичный газ* — стойкое отравляющее вещество нарывного действия; впервые применен в войне немцами в июле 1917 г. «*Die Wacht, die Wacht am Rhein*» («Стража, стража на Рейне...»; нем.) — военная песня, популярная в немецкой армии в годы Первой мировой войны и позже, во времена гитлеризма. *Верден* — французский город и крепость, известный полугодичной осадой немецких войск в 1916 г. *Гретхен* — уменьшительное от «Маргарита»; здесь — немецкая женщина. *Кайзер Вильгельм* — Вильгельм II (1859—1941), германский император. *Людендорф: «Испепелим!»* Людендорф Эрих (1865—1937) — немецкий генерал. В 1916—

1918 г. фактически глава верховного командования; один из идеологов германского империализма, сторонник доктрины «тотальной войны» (ему и принадлежит этот термин). *Тормоз Вестингауз* — автоматический воздушный тормоз, с 1880-х гг. широко применявшийся на железнодорожном транспорте. *Конец — Версаль!*.. Версальский договор, заключенный между странами Антанты и Германией 28 июня 1919 г. в Версале (Франция), официально завершил Первую мировую войну. *Зигес-аллея* — Аллея Побед в Берлине со статуями полководцев на ней. *Шибер* (нем.) — спекулянт. *Этуаль* — модная артистка в театре развлекательного жанра. *Красные сотни идут*. 9 ноября 1918 г., в результате восстания в Берлине, кайзеровская монархия была свергнута и Германия провозглашена республикой. *Карла и Розы кровь!* Карл Либкнехт (1871—1919) и Роза Люксембург (1871—1919), вожди германского пролетариата и основатели КПГ, были убиты контрреволюционерами 15 янв. 1919 г.

26. Веч. Москва. 1927, 20 авг., под загл. «Рубеж». -- СПК. -- ДПР, без ст. 15—23. -- СС-3. Печ. по СС-3, где автор вернулся к вар. СПК. Гранки СИП-36 и ДПР — с ошибочной датой: 1928. *Отходная* — молитва, читаемая умирающему. *Сирин* — сказочная птица-дева, убивающая людей своим взглядом. *Гамаюн* — сказочная птица-вещунья с человеческим лицом. *Гюлистан* (гулистан, араб.) — цветник, розовый сад, символ цветущей страны. *Василиск* (греч. миф.) — чудовище с головой петуха, туловищем жабы и хвостом змеи, убивающее взглядом. *Император всероссийский Кирилл* — великий князь Кирилл Владимирович; в эмиграции создал организацию «Корпус офицеров императорской армии и флота»; монархические крути выдвигали его на роль наследника русского престола. *Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1866—1941), *Гиппиус Зинаида Николаевна* (1869—1945), *Бальмонт Константин Дмитриевич* (1867—1942) — русские писатели; эмигрировали в 1920 г.

27. КН. 1927. № 6, без загл., с вар. -- СПК, с вар. -- ИСт-56; Гранки СИП-36, ДПР, ИСт-56 — с ошибочной датой: 1928. «В стихотворении "Морская песня", — писал рецензент СПК Шнейдер, — до сусальности прикрашена действительность. На море живется не легко, особенно юнге. Но труд выпадает из поля зрения автора. Он пишет о "Черного моря никчемных девчонках", о том, как "мы их, немилых, целуем", как "судачим у дачных цирюлен". Получается искажение действительности в сторону ее романтического прикрашивания» (Р. 1930. № 24, авг. 2-я с. обл.). Об обсуждении ст-ния сельскими читателями 16 марта 1928 г. см.: Топоров А. Лигературные вечера в коммуне «Майское утро» // Земля советская. 1929. № 10. С. 64. *Кукан* — бечевка, на которую надевают пойманную рыбу, пуская ее в воду на привязи. *Смарагд* — изумруд.

28. Новый ЛЕФ. 1927. № 11/12, вместе со ст-нием «Автомобильный роман» («Сегодня сказкой стала быль...»), под загл. «-'§:№», с вар. -- СПК, под загл. «-'§:№». -- ДПР, под загл. «Ундервудный мадригал». -- СС-4. Гранки СИП-36 и ДПР — с ошибочной датой: 1928. *Ундервудное*. «Ундервуд» — пишущая машинка производства американской фирмы. *Чернил рембрандтовской черникой*. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский художник. Здесь имеется в виду колорит, характерный для его произведений зрелого периода.

ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (Москва). *Автогор* — Добровольное общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог в СССР; существовало в 1927—1935 гг.

29. СПК, б. д. -- Иск.

30. МГВ. 1927. № 12, под загл. «Разговор с Петром I. (Из поэмы "Диалоги")», с вар. -- СПК, с употреблением в речи Петра букв старого алфавита: і, ъ (ер), ѣ (ятъ), ү (ижица). -- ИК. — СС-3. Датируется по ИК. Гранки СИП-36 — с ошибочной датой: 1928. *Петр I* (1672—1725). *Кастальския струи* (греч. миф.). Кастальский родник на горе Парнас; почитался как священный ключ Апполона и муз, дарующий вдохновение поэтам. *Вас Фальконет на коня посади* и т. д. Конный памятник Петру I («Медный всадник») работы Этьена Мориса Фальконе (1716—1791) был установлен в 1782 г. на Сенатской пл. (ныне пл. Декабристов). *Не Нами ль реями овить Балтъ, Волга и Азовъ?* Имеется в виду построенный Петром I морской флот и победы, одержанные им на Балтике, Нижней Волге и Каспии и при Азове. *Не Мы ль сменили альфа-битъ отъ ижиць до азовъ?* Имеется в виду введение в России гражданской азбуки в изданиях гражданской печати (реформа 1708 г.). Альфа-битъ («альфа», «бета», греч.) — алфавит. Ижица — последняя, азъ — первая буквы старого русского алфавита. *Календаремъ Мы стали жить*. 1 янв. 1700 г. в России было введено новое летосчисление. *Юфть* — сорт мягкой кожи. *Фортификация* — оборонные сооружения. *Герольд* — глашатай. *Реакция, верно, Петр Второй, Елизавета, Бирон*. Имеется в виду отход от петровской политики преобразований во время правления Петра II (1715—1730), Елизаветы Петровны (1709—1761), а также Анны Иоанновны, когда фактически правил ее фаворит граф Эрнст Иоганн Бирон (1690—1772). *Смергъ* — «человек из черни, подлый (родом), мужик, особый разряд или сословие рабов холопов; позже крепостной» (В. Даль). *Шкетъ* (прост.) — хулиганистый подросток. *Фебруаръ* (Februar, нем.) — февраль; здесь — Февральская революция 1917 г. *Октобрь* (Oktober, нем.) — Октябрьская революция. *То академик, то герой* — цитата из ст-ния А. С. Пушкина «Стансы» («В надежде славы и добра...»). *От хладных финских скал* — неточная цитата из ст-ния А. С. Пушкина «Клеветникам России» («О чем шумите вы, народные витии...»).

31. Шквал (Одесса). 1927. № 30 (12), с вар. -- СПК, под загл. «Железнодорожник». -- ДпР. -- Соч-54. Т. 1. -- СС-3. Гранки СИП-36. Датируется по ИК. *Буденовцы* — см. прим. 6.

*32. Бузотер. 1927. № 33 (сент.), с рис. А. Радакова, под загл. «Ярморощная песня», без деления на части, с вар. -- СПК, без общего загл, с загл. частей: 1-й — «ЯрМорошная», 2-й — «Ярмарочная», с вар. -- ИК, 1-я ч., под загл. «Ярмарощная», с вар., с ошибочной датой: 1929. -- ДпР, с вар. -- СИП-48. -- Соч-54. Т. 1. -- ИСт-56. -- ИП-61. Т. 1. Датируется по ДпР. Гранки СИП-36. О появлении ст. 1, 13—16, в первой публ. отсутствовавших, Кирсанов рассказывал: «Напеваает (Маяковский. — Э. Ш.):

Ехали купцы, да из Астрахани,
думали сесть да позавтракать они.

— Володичка, подарите эти строчки!

— Еще бы, я буду дарить вам строчки! Они мне нужны. Впрочем,

придумайте мне две строчки для плаката, срифмовав руки. Тема: мойте руки. Поменяемся.

- Молодые и старухи,
до обеда мойте руки.
- Плохо.
- Выньте руки из брюк
для мытья под краном рук.
- Ужасно.
- Скорей воде под струйки
подставляйте руки.

— Беру. Даю Астраханские строчки и еще приплачиваю рубль» (ЧП. Л. 7). «Ехал на ярмарку ухарь-купец...» и т. д. — начальные строки русской народной песни на несколько измененный текст ст-ния И. С. Никитина «Ехал из ярмарки ухарь-купец...» *Кобза* — старинный украинский щипковый музыкальный инструмент. *Фатит* — хвтит. *Гармозы яровчатые* — гармоника жаркие. *Водка Ерофеича* — сорт водки, настоянной на травах. *Александр Третий* — см. прим. 24. *Мосторг* — Московское акционерное общество торговли, а также большой универмаг в Москве. *Морозовы* — крупные московские промышленники и купцы С. Т. Морозов, братья А. И. и В. И. Морозовы; здесь — вообще купцы и заводчики. *Продасиликат* — существовавший в 1920-е гг. в Москве Всесоюзный синдикат силикатной промышленности, в который входили стекольные, фарфоровые и др. заводы. *Хлебпродукт* — Акционерное общество торговли хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами.

*33. Труд. 1927, 4 окт. -- только 2-я ч., под загл. «Маневровая песня», др. ред. -- Красная звезда. 1927, 11 дек., без нумерации частей, с вар. -- КН. 1927. № 12, с вар. -- СПК, без общего загл., с загл. частей: 1-й — «Тамбовь», 2-й — «Тамбов», с вар. -- ДпР. -- СС-4. Датируется по ДпР. Гранки СИП-36. *Въезжают уланы в какой-нибудь Тамбов* и т. д. — аллюзия на поэму М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша» (ср.: «Пришло известье: полк уланский / В Тамбове будет ночевать»). *Письмовник* — в старину: сборник образцов для составления писем. *Сонник* — книга для толкования снов. *Рандевой* (искаж. «рандеву», фр.) — любовное свидание. *Променаг* (фр.) — прогулка. *Визави* (фр.) — друг против друга. *Первая Конная* — см. прим. 6.

*34. Окт. 1928. №2, с подзаг.: «(Из поэмы "Диалоги")», с вар. -- РДФ, с вар., помета: «20 февр. 1928. Москва». -- СПК, с вар. -- Поэзия революции: Сб. стихов. М., [1930], вместе с № 23 (ред. Окт.). -- С-31 (ред. РДФ), помета: «20 февр. 1928. Москва». -- ИК, помета: «20 февр. 1928. Москва». -- ДпР, с вар., дата: 1926. -- СС-3. Датируется по РДФ. В пользу этой даты, повторенной затем в нескольких публ., говорит как ее точность, так и то обстоятельство, что РДФ вышел (или, по крайней мере, был отдан в изд-во) в Тифлисе во время пребывания там поэта приблизительно с марта по июнь 1928 г. (см. прим. 35). Мало вероятно, что уже тогда он мог ошибиться в датировке на два года. К 1926 г. (году смерти Фурманова), возможно, относятся первые наброски ст-ния. Гранки СИП-36, с пометой: «20 февр. 1928. Москва». Этим ст-нием Кирсанов включился в острую дискуссию о творчестве Бабеля, завязавшуюся в 1924 г., после появления в периодике первых новелл, вошедших затем в кн. «Конармия» (1-е отд. изд. —

1926). В дискуссии приняли участие Г. Лелевич, В. Шкловский, А. Воронский, Я. Шафир, В. Полонский, М. Горький и др.; чрезвычайно грубым был отзыв С. М. Буденного «Бабизм Бабеля из "Красной нови"» (Окт. 1924. № 3). К творчеству Бабеля внимательно присматривался Фурманов, о чем свидетельствуют его дневниковые записи, заметки (см.: Собр. соч.: В 4-х т. М., 1961. Т. 4). 29 нояб. 1924 г. он выступил на посвященном Бабелю диспуте, устроенном журн. Окт.; в декабре состоялось их знакомство, которое вскоре переросло в дружбу (см.: Фурманов и Бабель: Сообщение Л. К. Кувановой // ЛН. 1975. Т. 74). Установить время посещения Фурманова Кирсановым позволяет само ст-ние в ред. Окт, где содержится следующее уточнение: «...Я <...> примчал <...> на Всесоюзный съезд пролетов в обетованную Москву!» Речь здесь идет о происходившей 6—11 янв. 1925 г. Первой Всесоюзной конференции пролетарских писателей (см. прим. 4), где присутствовал и Фурманов, — там они, вероятно, и познакомились; затем состоялась встреча, описанная в ст-нии. *Фурманов* Дмитрий Андреевич (1891—1926) — советский писатель, участник революционного движения и гражданской войны. *ВАПП* — Всероссийская ассоциация пролетарских писателей. *Юголеф* — литературная группа, существовавшая в Одессе с апреля 1924 до нач. 1925 г. В группу входили: Л. Недоля (псевд. Л. Гончаренко), С. Кирсанов, С. Бондарин и др. В 1924 г. было выпущено 4 номера журн. «Юго-Леф». *Лозунг «На посту!»* Имеется в виду литературная группа и журн. «На посту» (1923—1925) рапповской ориентации. Напостовцы, в частности, резко нападали на А. К. Воронского и руководимый им журн. КН, где появился ряд новелл Бабеля, вошедших затем в кн. «Конармия». *Леф* (Левый фронт искусств) — лит.-худож. объединение, созданное в Москве в конце 1922 г.; во главе стоял Маяковский. *Бабель* Исаак Эммануилович (1894—1941). *«Мятеж»* — роман Фурманова (1925). *Берлинская лазурь* — ярко-голубая краска. *Вы защищали жизнь мою... Вы шли... чапаевским ловцом.* В 1919—1921 гг. Фурманов воевал на фронтах гражданской войны; в 1919 г. был комиссаром 25-й стрелковой дивизии, которой командовал В. И. Чапаев. *А он у армии в хвосте припаивал словцо.* Бабель попал в 1-ю Конную армию (см. прим. 6) как корреспондент Югороста и работал в армейской газ. «Красный кавалерист». Новеллы датированы автором 1920 г., однако это означало не время их написания, как ошибочно полагал Кирсанов, но время действия в них; создавались они позже, начиная с 1923 г. (см.: Лившиц Л. Я. Материалы к творческой биографии И. Бабеля // ВЛ. 1964. № 4). *Крон* — желтая краска, *киноварь* — красная. *С него Воронский написал критический портрет.* Критик Александр Константинович Воронский (1884—1943) в статье «И. Бабель» высоко оценил творчество писателя: «Бабель — очень большая надежда русской современной, советской литературы и уже большое достижение. Дарование его чрезвычайно» (КН. 1924. № 5, авг.-сент. С. 291). *Ввинчен орден до костей.* Фурманов, будучи комиссаром на Кубани, участвовал в проведении операции десанта по разгрому врангелевцев, за что в 1921 г. получил орден Красного Знамени.

35. *Заря Востока* (Тифлис). 1928, 22 мая, под загл. «До свиданья!», др. ред. -- ЧиП.1928, 23 июня, с вар. -- СПК. -- ИСт-56. -- СС-3. Датируется по ЧиП. ДпР, И-49 — с ошибочной датой: 1929. Гранки СиП-36, под загл. «К пятилетке». «Еду в Тифлис, — сообщает поэт в

Автобиографии РГБ, — живу там четыре месяца, выступаю, знакомлюсь с грузинской поэзией». В «Заре Востока» опубликовано объявление: «Русская секция АППГ (Ассоциация пролетарских писателей Грузии. — Э. Ш.). Сегодня на очередном творческом утреннике русской секции АППГ во Дворце искусств (ул. Мачабели, 13) выступают Василий Каменский и Семен Кирсанов. С. Кирсанов скажет вступительное слово о Лефе и затем прочтет свои произведения...»; далее перечисляются ст-ния № 8, 11, 20, 30 (1928, 15 апр.). *Фуникулер* в Тбилиси соединяет центр города с горой Мтацминда.

36. Лит.-худож. сб. «Красной панорамы». Л., 1929, февр., с вар. -- СПК. -- С-31, с вар. -- ИК, с ошибочной датой: 1929. -- ДПР, с вар., дата: 1929. -- Ст-67. Гранки СИП-36, с датой: 1928. *Спасские* — Кремлевские куранты, смонтированные в 1625 г. на Спасской башне — главной башне Московского Кремля, выходящей на Красную площадь. До революции отбивали молитвенный гимн «Коль славен...» Были разбиты 2 нояб. 1917 г. в результате артиллерийского обстрела огневых позиций Кремля. *Коллоквиум* — род экзамена, научное собрание с обсуждением докладов. *Мозер, Лонжин, «Омега»* — марки часов. *Район Баумана* — Бауманский район в Москве. *Иоанн* — колокольня Ивана Великого на территории Кремля. *На казнях Лобного*. Лобное место — каменный помост на Красной площади, построенный в XVI в. для объявления царских указов и совершения казней. *Кнес* — см. примеч. 22. *Било* — колокольный язык. *Башня... пробует вызвонить «Интернационал»*. Художник и любитель музыки М. М. Черемных взялся восстановить куранты и к июлю 1918 г. перестроил их на «Интернационал» (музыка. П. Дегейтера, текст Э. Потье), в 1918—1943 гг. — гимн советского государства.

37. СПК, под загл. «К балладе о неизвестном солдате» St. R. Stande», с вар. -- ДПР, под загл. «К балладе о неизвестном солдате», с вар. -- СС-3 (текст СПК). Датируется по Гранкам СИП-36 и ДПР. Кирсанов использовал некоторые мотивы ст-ния польского поэта Станислава Ришарда Станде (1897—1938). Активный деятель нелегальной компартии Польши, в 1931 г. он вынужден был эмигрировать в СССР. Здесь вышел его сб. «Стихи» (М., 1935), куда включено четыре ст-ния в переводе Кирсанова; «Баллада о неизвестном солдате» («Был на Марне, Изонцо, под Березиною. Не свижут...») дана в переводе Л. Пеньковского. В 1938 г. был репрессирован. *Гарматы* (armaty, польск.) — пушки. *На серебряных сурмах*. Сурьма — металл серебристого цвета; здесь — оттенок утреннего неба. *Матерь божья, галицийская краля* — Мария, мать Христа, особо почитаемая в Польше. *Хорувь* — полотнище с изображением святых, укрепленное на древке. *По-наг Марною, Березиною, по-наг Изонцо*. Во время Первой мировой войны кровопролитные сражения происходили, в частности, на реках Марна (сев. Франция), Березина (приток Днепра), Изонцо (сев. Италия). *Изволок* — пологий, некрутой склон. *На Перемышль конница, по Карпаты пехота*. В 1915 г. русские войска взяли австрийскую крепость Перемышль (польск. — Пшемысль) и вышли к предгорьям Карпат. *Жолнеж* (польск.) — солдат. *Монополька* — здесь: водка. *Трясовица* — лихорадка. *Медный «Георгий»* — орден св. великомученика и победоносца Георгия. Помимо офицерского, золотого и серебряного, был учрежден знак отличия для награждения нижних чинов, имевший 4

степени, в т. ч. медный. *Рушницы* — вероятно, здесь: знамена. *Инфантерия* — пехота.

38. СПК. Датируется по ДпР. Гранки СиП-36. Автограф РГАЛИ. Ф. 28 (Асеев Н. Н.). Оп. 2. Д. 21 — в альбоме Асеева, авториз. маш., с вар., с датой. Кирсанов познакомился и поэтом Николаем Николаевичем Асеевым (1889—1963) в январе 1925 г.; «Первая поездка в Москву — на съезд ВАППа. Пришел к лефам — обласкали, требовали читать по два раза. Взялся на девятый этаж к Асееву на Мясницкой — Асеев весело слушал. <...> По два часа шатался с Асеевым по Москве, разговоры о поэзии. Разговоров было масса — от них бросался к бумаге» (Автобиография РГАЛИ). «Очень люблю Асеева, — признавался он в статье «О стихах — о себе», написанной в том же году, что и ст-ние. — Асеев, пожалуй, единственный из поэтов, не затормозивший себя. Его последние вещи более “юношеские” (что значит для меня наиболее совершенные), чем предыдущие. <...> Эти два поэта (Маяковский и Асеев. — Э. Ш.) моя школа» (Смена. 1929. № 18 (сент.). С. 5). *Я грут, проведенный за локошь и вкованный в песню навек*. Имеется в виду ст-ние Асеева «Шум Унтергрундена» (1928) о берлинском метро, с посвящ.: «Всем молодым в лице Семы Кирсанова» («Огромная буква U — / Гуденье железной поземки... / Таковую бы — к нам, в Москву, / На радость Кирсанову Сёмке...»). *Как слушало ухо Лимана*. Один из одесских лиманов, Сухой лиман, своими очертаниями напоминает человеческое ухо. *Речная швоя Обоянь*. Обоянь — город в Курской обл. на р. Псёл; Асеев родился в г. Льгове Курской губ. *Оксаны твоей оксамиты*. Оксана — Ксения Михайловна Асеева (урожд. Синякова, 1902—1985), жена Асеева. Оксамит — рытый бархат; здесь: оттенок глаз. *Как избрань защелканных песнями птиц!* «Избрань» (М.; Пг., 1923) — книга стихов Асеева; многие ее стихи «заселены» птицами.

39. СПК. -- ДпР. -- КЛ-66. Датируется по Гранкам СиП-36 и ДпР. Критик, признав большую часть ст-ний СПК «нужными, близкими пролетарскому читателю», писал о данном ст-нии: «Он (Кирсанов. — Э. Ш.) не только внимательно относится к языку, но смакует лингвистические особенности различных диалектов, увлекаясь их неожиданно эффектным звучанием» (А. Р. [Рец.] // КС. 1930. № 7/8. С. 152). *Грузинское ЦХ и молдавское ШТИ* и т. д. — характерные для перечисленных языков звуко сочетания.

40. 30 дней. 1929. № 1, под загл. «Песня о шубе», с вар. -- СПК. -- ДпР, под загл. «Насчет шубы». -- Л-62, под загл. «Насчет шубы». -- КЛ-66. Датируется по ДпР. Гранки СиП-36. По-разному восприняла ст-ние тогдашняя критика: «Общеизвестно то огромное значение, — отмечал рецензент СПК, — которое представляют для поэзии сочетания свежести и силы языка с динамической и постоянно варьируемой ритмикой, с полноценной рифмовкой. В этой области у Кирсанова есть попросту шедевры. <...> Я приведу лишь один отрывок из стихотворения “Насчет шубы”, который даст довольно правильное представление о ритмико-лексическом мастерстве Кирсанова, нередко переходящем <...> в виртуозность...»; далее цитируются ст. 15—38 (КС. 1930. № 7/8. С. 152—153; подпись: А. Р.); «...Характерные черты мелкобуржуазной идеологии, — обвинял поэта Б. Мейлах, — утверждение вещей как властителей вселенной, среди которых человек

ничтожен, незаметен, пассивизм, созерцательство — крепко засели в сознании Кирсанова. <...> Разве не буржуазная идеология двигала пером Кирсанова, когда он специальным стихотворением агитировал женщин сменить "худоватенькое пальтецо" на "шерсть кенгуров и зебр". Этот пламенный призыв может умилить буржуазных дам или развить мечтательность у "неимущих" обывательниц, нафталиновых старушек» (Мейлах Б. Поэт Кирсанов // КН. 1931. № 6. С. 162, 164). *Джерси* (англ.) — шерстяная или шелковая вязаная материя. *Самоед* — дореволюционное название ненцев.

41. Московский комсомолец. 1929, 5 сент.; Смена. 1929. № 18 (сент.), вместе с № 42, под загл. «Жатва», с вар. -- СПК. -- СС-4. Датируется по Гранкам СИП-36 и ДпР. *Робинзон* — герой романа английского писателя Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

*42. Смена. 1929. № 18 (см. прим. 41), под загл. «Буква ЭР», с вар. -- СПК, с вар. -- Иск. Гранки СИП-36. Датируется по ДпР. Десятилетия спустя Н. Ушаков вспоминал: «Недавно мы встретились с С. И. Кирсановым в Ереване — оба седые. Он читал свою старую шутку "Буква Р" <...>, читал молодо и задорно, как сорок лет назад в Гендриковом переулке в присутствии Маяковского и Асеева — "Мою именинную", и я поздравил его с успехом» (Ушаков Н. Седьмое поле: Работая над стихом // Радуга. 1971. № 12. С. 123).

43. СПК, с загл. в перечне ст-ний на 4-й с. обл.: «Ей, жене», с вар. -- ДпР. -- КЛ-66. Печ. по КЛ-66, где автор вернулся к ред. СПК. Датируется по ДпР. Гранки СИП-36, с датой: 1928. Посвящено жене, Клавдии Карповне Кирсановой (урожд. Бесплебных, 1 июня 1908 — 4 апр. 1937), происходившей из с. Репьевка Острогожского уезда Воронежской губ. *Тростенка Русская* — село близ Репьевки. *Гай* (обл.) — роща.

44. СПК, под загл. «З!И!М!Н!Я!Я! восторженная», с вар. -- СС-1.

45. СПК. *Именник*, именослов — список имен. *Календарный чтит* обычай. Имеется в виду имя, даваемое при крещении в соответствии с перечнем имен святых, помещаемым в календаре, в святцах.

46. СПК. -- КЛ-66. *Петровка* — улица в центре Москвы.

47. СПК. -- Иск. *ТБЦ* — туберкулез. «*Чайка*» («Вот вспыхнуло утро, румянятся воды...») — романс, написанный после постановки на сцене «Чайки» А. П. Чехова, известный в исполнении Надежды Плевицкой. *Палочка Коха* — микроб, вызывающий туберкулез; назван по имени немецкого бактериолога Роберта Коха (1843—1910), открывшего его в 1882 г.

48. СПК, с подзаг.: «Тоже в пространство» (помещено здесь после ст-ния 47). -- Иск.

49. СПК. -- СС-1. Один из руководителей РАПП А. Селивановский, резко осудив кн. СПК: «Она наглядно демонстрирует силу буржуазных влияний на советскую поэзию...», в особенности обрушился на данное ст-ние: «В стихотворении "Поезд в Белоруссию" дана квинтэссенция барского любования экзотикой *вчерашней*, придавленной, нищей, сермяжной, деревянной и болотной Белоруссии. <...> Какая Белорусь привлекла к себе просвещенное внимание революционного поэта Кирсанова? Белорусь рядна, лаптей, паненок (!), т. е. та самая, уходящая в прошлое Белорусь, черты отсталости которой идеализировали всяческие Пупчи и Дубовки. <...> Белорусь, ликвидимуемая

социалистическим наступлением, колхозами, Осинстройами. Эта Беларусь. Не сигнализирует ли кирсановский "Поезд в Белоруссию" о еще сильных великодержавных тенденциях, проникающих порою в творчество даже бесспорно-революционных писателей, союзников рабочего класса, и играющих на руку национал-демократизма?» (Паненка в лаптях // ЛГ. 1931, 4 янв.). Кирсанов незамедлительно ответил: «Это стихотворение представляет собой обрывки впечатлений из окна вагона, ряд поэтических сравнений, и, как мне кажется, не претендовало на полноценное описание советской Белоруссии. Однако тов. Селивановский "в связи с декадой белорусской культуры" ухватился за эти стихи с целью просигнализировать на моей спине о "сильных великодержавных тенденциях", проникших в мое творчество, к тому же "играющих на руку национал-демократизма"» (Кирсанов С. Стрельба по своим // ЛГ. 1931, 9 янв.). *На квитень нанижуться бжолы* — на цветы нанижуются пчелы. Квитень — вероятно, от бел. «кветка» (цветок). *На сурмах играет зарю Беларусь*. Оттенок утреннего неба сравнивается с сурьмой, металлом серебристого оттенка. Сурма (бел.) — сурьма. *Паненка* (бел.) — девушка. *Акай и дзекай*. Имеется в виду характерное для белорусского языка «аканье» и сочетание звуков «дз».

*50. ЛГ. 1933, 11 февр., под загл. «Дорога на Ялту», с вар., помета: «Лето 1932. Ялта». -- Т-1932, под загл. «Крымшоссе», с вар. -- ДпР. -- ИСт-56, дата: 1929. -- Иск. Гранки-СиП-36. Датируется на основании более точной даты в ЛГ, а также включения ст-ния в Т-1932, где собраны стихи, написанные в 1932 г. Пласт 3. *Чаир* — парк в окрестностях Ялты. *Аир*. Такого географич. названия в Крыму не обнаружено; неясно, имеется ли в виду селение Аирчи, расположенное севернее Евпатории. *Ай-Петри* — гора вблизи Алупки, вершина Главной гряды Крымских гор.

51. Т-1932. -- МЖ, без ст. 21—28. -- ДпР. Гранки СиП-36. Датируется по Т-1932 (см. № 50).

52. КН. 1934. № 2, в цикле «Иней», вместе с № 61 и ст-ниями «Утро» («Между первой и второй...»), «Вчера» («Когда мы были дети...»), «Поездка» («Солнце за стеклами...»), «Возможности» («У меня есть семь Кавказов...»), «Возвращение» («Стоп-тормоз. Камень и снег...»), под загл. «Недовольство». -- Н, с датой: 1933. -- ДпР, под загл. «Зависть» -- ИСт-56. Печ. по ИСт-56, где автор вернулся к ред. Н. Гранки СиП-36; Рук МЖ. Датируется по ДпР. ИСт-56, С-59 — с ошибочной датой: 1935. Критика стихотворения прозвучала три десятилетия спустя после его появления: «Нельзя, казалось бы, представить советского человека, пишущего стихи и заявляющего в них, что он не хочет быть человеком. Однако такие казусы в истории советской поэзии имели место. Четверть века назад один поэт написал: <...> (ст-ние приводится целиком. — Э. Ш.). Давность написания этого полушутливого стихотворения делает его иллюстрацией к преодоленным ошибкам...» (Коваленков А. Чувство меры // Писатель и жизнь. Сб. М., 1961. С. 64—65). *Линкольн* — легковой автомобиль американского производства. *Шлях* (обл.) — дорога.

53. Т-1932. -- МЖ. -- ДпР. -- И-49. -- ИСт-56. -- С-59. -- ИП-61. Т. 1. Гранки СиП-36; Рук МЖ, с авт. правкой. Датируется по ДпР. *Клухор* — Клухорский перевал через Главный хребет Большого Кавказа.

54. ЛГ. 1932, 23 авг., вместе со ст-нием «Станции» («Уже летят зари мечи...»). -- ИК, под загл. «Кратко о лучах», с вар. -- МЖ (в ред. ЛГ). -- ДпР, под загл. «Кратко о лучах» -- И-49. Гранки СиП-36. Датируется по ИК.

55. Т-1932, др. ред. -- Брехт Б. Стихи. Роман. Новеллы. Публицистика. М., 1956. -- Брехт Б. Избранная лирика. М., 1971. -- Брехт Б. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. М., 1972 (Б-ка всемирной лит-ры). В последнем изд. опублик. еще четыре ст-ния в переводе Кирсанова. Перевод ст-ния немецкого драматурга, прозаика и поэта Бертольда Брехта (1898—1956) «Legende vom toten Soldaten» (1918). Брехт написал его во время службы санитаром в госпитале, положил на музыку и исполнял раненым под гитару; в 1930-е гг. послужило гитлеровцам основанием для лишения его германского гражданства. *Kaiser* — германский император Вильгельм II (см. прим. 25), один из виновников развязывания Первой мировой войны; был свергнут революцией 9 нояб. 1918 г., бежал в Нидерланды и отрекся от престола. *Shnanc* (нем.) — водка. *Черно-бело-красный стяг* — государственный флаг Германии.

56. Ог. 1972. № 24 (июнь), в подборке: «С. Кирсанов. От самых ранних до самых поздних» — вместе со ст-ниями «Сеча» («Говорят, вы...»), «Весна» («Вот погода мартовкая...»), «Орел» («Летел орел. Угол крыл рассекал пыль капель...»), № 81, 85, 87, «Слова, которые...», «Предчувствие» («Перед зимой не знают...»), № 95, «Частушка» («В тех местах, где слушал Пушкин...»), 98, «В дни Хиросимы» («Алхимик чистил старый тигель...»), № 103, 142, 214, 215.

57. КПр. 1933, 4 окт., под загл. «Новая скорость», др. ред. -- Окт. 1934. № 6, под загл. «Новая скорость», с вар. -- Н, с вар. -- СиП-48. -- И-49, с вар. -- ИСт-56. Датируется по Н с уточнением по дате описываемого события. ДпР, СиП-48, И-49, ИСт-56 — с ошибочной датой: 1934. Гранки СиП-36. Ст-ние явилось незамедлительным откликом на следующее событие: «30 сентября в 8 час. 41 мин. с аэродрома им. М. Фрунзе взял старт первый советский стратостат «СССР» под командованием Георгия Прокофьева, пилота Эрнста Бирнбаума и инженера-конструктора Константина Годунова. К 12 час. 45 мин. достиг рекордной высоты (мировой рекорд) в 19 000 м. В 17 час. приземлился у Коломны, пробыв в воздухе 8 час. 19 мин.» (КПр. 1933, 1 окт.). *Сорвался, как яблоко, как ньютоновка*. По существующей легенде, Ньютон открыл закон всемирного тяготения, когда отдыхал в своем саду и яблоко упало ему на голову. *Воздушная академия* — Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского (основана в 1920 г.). *Сокольничий парк* — Парк культуры и отдыха «Сокольники». *Пикар* (Пиккар) Огюст (1884—1962) — швейцарский физик; в полетах на стратостатах собственной конструкции достиг в 1932 г. высоты 16 370 м. *Финиш машин, перешедших черту*. «Советские стандартные автомашины, только что сошедшие с конвейера, выдерживают переход в 10 000 км без единой поломки, опережают многие заграничные машины» (КПр. 1933, 1 окт.).

*58. Н, с вар. -- СиП-48, с вар. -- И-49. Датируется по Н. Рук ЗНС. Эмоциональный оттенок неологизма «холеньш» анализирует М. А. Бакина в статье «Поэтические новообразования» (Русская речь. 1973. № 4. С. 74).

59. Н. -- Иск. Датируется по Н. В рец. на сб. «Новое» В. Никонов отмечал: «Сегодня самое характерное в его творчестве, новое в "Но-

вом" — подлинно смелое сочетание злободневнейшей политической или индустриально-технической темы с мягким лиризмом в разрешении ее. "Как долго раздробляют атом! <...>" — нетерпеливо восклицает Кирсанов». Далее критик цитирует № 52, 57 и ст-ние «Моя волна» («Нет, я совсем не из рода раковин...») и заключает: «Это еще, может быть, не "научная поэзия", о которой вслед за французскими сциенцистами мечтал Брюсов, но, во всяком случае, современному читателю-радиолобителю и автодоровцу, парашютисту и снайперу — близок этот политехнизм, и любая деталь вызывает не меньше ассоциаций, чем исторгали у старого читателя "журчащий ручей" или упоминание мифологических имен. Но самое главное — эта техника не бездушна, в строках Кирсанова она оживает» (КиПР. 1936. № 1. С. 45). «Одним из первых советских поэтов, — писал впоследствии Д. Петров, — сейсмографически чутко уловившим движение подземных вод научно-технической революции, был Семен Кирсанов. <...> Пожалуй, самой главной чертой его поэтического характера была неутомимая жажда знаний. <...> В "Осаде атома" слышится нетерпение провидца <...> (ст-ние приводится целиком. — Э. Ш.). Пушкинское отождествление Поэта и Пророка оказалось верным и для атомной эпохи. Каким горьким подтверждением одной из вероятностей использования энергии атомного распада ("Как динамит! Как взрыв!") явилась для Кирсанова трагедия Хиросимы. <...> В 1933 году Кирсанов, конечно, не мог знать о том, что через 12 лет расщепленный атом развернется над миром апокалипсисом конца, но Кирсанов-поэт такую возможность предвидел» (Петров. С. 18—19).

60. ЛГ. 1933, 11 дек., под загл. «Ответ на упрек», с вар. -- Н. -- ДПР. Гранки СиП-36. Датируется по Н. Блюминг — прокатный стан для получения стальных слитков заготовок квадратного сечения (блюмов). Крекинг — переработка нефти для получения топлива и сырья для химической промышленности.

61. КН. 1934. № 2, в цикле «Иней» (см. прим. 52), под загл. «Одна из многих», с вар. -- Н. -- МЖ. Рук МЖ с авт. правкой. Датируется по Н и Гранкам СиП-36. ДПР — с датой: 1934; Ист-56: 1935. Ср. с песней об Утопии из поэмы «Золотой век» (Т-1932. С. 73):

Полна плодами ветвь
и ловок ланей бег,
где Попокатепеть,
где Тегуантепек.

Тегуантепек — перешеек в Мексике между Атлантическим и Тихим океанами. *Попокатепеть* — вулкан вблизи Мехико. *Тлатекутли* (Тлальтекутли) в мифологии ацтеков: олицетворение земли — чудовище с обликом полужабы-полуаллигатора. *Скалы Сиерры* — Сиерра-Мадре, мексиканская часть Кордильер. *Чикита* (исп.) — здесь: девушка.

*62. Изв. 1934, 24 сент., вместе с № 63, под загл. «Воздухошутка», с вар. -- Н. -- МЖ. -- Иск. Печ. по Иск, где автор вернулся к ред. Н. Рук МЖ. Датируется по Н. Неологизмы, употребленные в ст-нии, вызвали у критиков протесты: «...У Кирсанова мы находим столь чуждое Маяковскому зрелого периода увлечение чисто формальной словесной и звуковой игрой. <...> (Целиком приведено ст-ние. — Э. Ш.) Стихотворение это превращено в откровенную игру со словом дири-

жабль» (Виноградов И. Реализм в поэзии // ЛС. 1936. № 4. С. 176—177); «...Стихи, построенные на том, чтобы обыграть неожиданные словосочетания "моягода", "мояблоко", "счастливое дерево" (см. ст-ние 70. — Э. Ш.), "диризяблик", "дирижаворонок", "дирижяблоко", "пролежабль", "держабль", "дирижабры" и т. п., не художественны, ибо им не хватает той содержательности, которая делает форму художественно функционирующей» (Тимофеев Л. Книги о Маяковском // НМ. 1941. № 1. С. 213).

63. Изв. 1934, 24 сент. (см. прим. 62), с вар. -- Н, с вар. -- ДпР, с вар. -- ИСт-56. Гранки СиП-36. Датируется по Н. Силанс! (фр.) — молчать!

64. ИСт-56. -- Л-62. -- СС-1. Печ. по СС-1, где автор вернулся к ред. ИСт-56. Датируется по ИСт-56. О чтении ст-ния автором в Центральном Доме литераторов «году в 1945-м» см.: Евтушенко Евг. Под куполом и на земле: Заметки к книге Семена Кирсанова «Зеркала» и не только о ней // ЛГ. 1970, 15 июля. С. 5.

*65. Изв. 1934, 14 окт., др. ред. -- Н, дата: 1934. -- МЖ. -- ДпР, дата: 1934. -- СиП-48. Печ. по СиП-48, где автор вернулся к ред. МЖ. СиП-48, ИСт-56 — с датой: 1930. Датируется по Н, с учетом авт. предисловия к сб.: «В эту книгу вошла часть написанного мною за 1933—1934 годы и начало 1935 года». Гранки СиП-36; Рук МЖ. «Радуют теплота и нежность, ранее почти несвойственные Кирсанову <...>, — писал В. Никонов в рец. на Н, — конец стихотворения "Мелкие огорчения", напутственные — самолетам («Над нами») и ледоколам («Ледяная песня»), а особенно подкупающие "Стихи на сон", где образ любимой сливается с образом родины <...>. Лирика самая неподдельная врывается в стихи...» (КиПР. 1936. № 1. С. 45). В 50-е годы отношение критики к ст-нию в корне изменилось: дважды оно исключалось из сборников Кирсанова: из СиП-51 — после отрицательных отзывов Л. Скорино и Е. Книпович; из Соч-54 — в результате следующих оценок во внутр. рецензиях: «К кому обращены "Стихи на сон"? В основном здесь речь идет о каких-то семейных делах, абстрактных просьбах-пожеланиях, оторванных от конкретной исторической обстановки. <...> В одном месте есть намек на международную обстановку, но это только намек, не расшифрованный, не раскрытый...», и далее приводится 4-я строфа (И. Карабутенко, 22 июня 1953 г. — АДК); по мнению другого рецензента, ст-ние это — «сплошная абстракция вне всякой связи с жизнью» (В. Тельпугов, б. д. — АДК).

66. КПр. 1935, 21 апр., с вар. -- Н, с вар., дата: 1935. -- ДпР, с вар. -- СиП-48. -- СРЛ, с вар. -- И-49, с вар. -- СиП-51 -- ИСт-56. Печ. по ИСт-56, где автор вернулся к ред. СиП-48. Датируется по ДпР. Гранки СиП-36, с датой: 1935. «Новые его стихи начинают волновать читателя по-настоящему, — писал Вс. Азаров в рец. на Н. — <...> Удача "Золушки", "Мамки", "Баллады о мертвом комиссаре" объясняется тем, что Кирсанов обратился к русским сказкам, песням, еще раз, глазами советского поэта, прочел их и этим вооружил свой стих. Разве не чувствуешь сдерживаемого, подступающего к горлу волнения, когда читаешь почти былинные строки "Баллады о мертвом комиссаре"...» (Р. 1936. № 6. С. 24). А. Макаров, анализируя ст-ние, названное им «одним из лучших, на наш взгляд, стихотворений» Кирсанова, в ряду с «Песней о гибели комиссара» А. Прокофьева (1932) и «Песней об убитом комиссаре» И. Уткина (1935), писал: «Комиссар в балладе

Кирсанова еще более, чем в песне Прокофьева, лишен каких-либо индивидуальных черт. <...> Это герой-символ. Фантазия поэта уводит нас в "потусторонний мир": мертвый комиссар продолжает думать о судьбах дела, за которое отдал жизнь. <...> Подобный образ был бы немислим в прозе. Иное дело — поэзия, которая ей одной присущими средствами схватывает суть жизненных явлений. Условность образа и трагический колорит баллады позволяют поэту с наибольшей силой выразить мысль о бессмертии дела, за которое погиб комиссар» (Идущим вослед, М., 1969. С. 208—209). *Рядина* — грубый холст, идущий на мешки и подстилку.

67. КПр. 1934, 12 окт., с вар. -- Н, с вар. -- МЖ, с вар. -- ДпР, с вар. -- И-49, с ошибочной датой: 1936. -- СИП-51, дата: 1936 — всюду под загл. «Желание». -- СС-3. Печ. по СС-3 (текст СИП-51). Датируется по Н. ИСт-56 — с датой: 1936. Гранки СИП-36, под загл. «Желание», с датой: 1934; Рук МЖ, под загл. «Желание». Гражданской войне в Испании Кирсанов посвятил также ст-ния «Гул из Испании» («Мадрид подымался, знаменами рыж...», 1931), «Вооруженным подругам» («Мурсия! Валенсия! Мадрид!..», 1936) и др. стихи. *Велика и обильна страна моя, / и порядок в ней должный есть* — перифраз эпитафия и рефрена ст-ния А. К. Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева». *Астурийцы* — жители Астурии, области на севере Испании. *Кармен* — героиня новеллы П. Мериме. *Ворошиловцы*. Звание «Ворошиловский стрелок» было учреждено Центральным советом Осоавиахима для выполнивших установленные нормативы в стрельбе из винтовки; существовало в 1932—1941 гг.

68. Кр. 1934. № 35/36 (дек.), с рис. К. Ротова, без ст.: ч. 8, 1—4, с вар. -- Н. -- ДпР, с вар. — СС-3. Датируется по Н. Гранки СИП-36, с ошибочной датой: 1936. Со ст-нием переключается комедия М. Булгакова «Иван Васильевич» (1935—1936); ср., в частности, линию Иоанна Грозного, перенесенного, в результате действия «машины времени», в Москву 1930-х годов. *Анабиоз* — приостановка жизнедеятельности организма, происходящая как приспособление к неблагоприятным условиям существования, в частности, к низкой температуре. *Летаргия* — особое болезненное состояние, похожее на глубокий сон. *Лизаты* — продукты растворения различных органов, тканей и клеток, полученные под действием ферментов, кислот, щелочей. Так наз. лизатотерапия — «универсальный метод» борьбы со старением организма, — предложенная доктором И. Н. Казаковым, в 1930 гг. была очень популярна у советской политической верхушки. *Гравиган* — разработанный в 20-е годы советским ученым А. А. Замковым препарат для лечения урологических больных; в 1932 г. в Москве был основан Институт урогравиданотерапии (закрыт в 1938 г.). *Буркалы* (жарг.) — глаза. *Мя* (др.-р.) — меня. *Закусон* (жарг.) — закуска. *Коопхудмузлит* — вероятно, расшифровывается как Кооператив художников, музыкантов, литераторов; здесь пародируется бюрократическая страсть к применению в названиях учреждений длинных верениц сокращений. *Мосье* (фр.) — господин. *Телеграф* — здание Центрального телеграфа на ул. Горького. *Мосторг* — здесь: универмаг в Москве. *Лобное место* — см. прим. 36. *Домик боярина Федорова* — музей «Дом боярина XVII века», существовавший в Москве в 1920—1930-е гг. (позднее назывался «Боярский быт XVII века»). *Клычков* Сергей Антонович (1889—1937), *Клюев* Николай Алексеевич (1884—1938) — поэты, принадле-

жавшие к «ново-крестьянскому» направлению. *Вертинский Александр Николаевич* (1889—1957) — русский артист эстрады, автор и исполнитель собственных песен. *Без рапповских фраз*. РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей (1925—1932); для многих деятелей РАППа были характерны «комчванские» высказывания, нетерпимость к писателям непролетарского происхождения. «*Вечерка*» — газ. «Вечерняя Москва». *Троица* — летний христианский праздник, приходящийся на 50-й день после Пасхи. *Царь Годунов*. Здесь имеется в виду опера М. П. Мусоргского «Борис Годунов». «*Паркер*» — авторучка английской фирмы.

69. ВМ. 1935, 14 марта, с рис. А. Щербакова, др. ред. -- Н. -- ДпР. -- ИСт-56. Гранки СИП-36. *Пожарский, Минин, Пушкин, Гоголь, Федоров* — памятники К. Минину и Д. М. Пожарскому на Красной пл. (1818, скульптор И. П. Мартос), А. С. Пушкину на Пушкинской пл. (1880, скульптор А. М. Опекушин), Н. В. Гоголю на Суворовском бульваре (1909, скульптор Н. А. Андреев), первопечатнику Ивану Федорову на пр. Маркса (1909, скульптор С. М. Волнухин). *Попросим — слезут, скажем — потеснятся* и т. д. Речь идет о перемещении в 30-е годы вышеперечисленных памятников в связи с реконструкцией столицы. *Вы с Мининым — Пожарским, верно, выгелись?* и т. д. Памятник Минину и Пожарскому, располагавшийся в центре Красной пл., в 1930 г. был передвинут к собору Василия Блаженного (см. прим. 136). *Островский влез на креслице свое*. Памятник А. Н. Островскому работы Н. А. Андреева установлен возле Малого театра в 1929 г. *Метро под боком* и т. д. Памятник первопечатнику Ивану Федорову был перенесен на более высокое место по соседству со станцией метро «Глошадь Дзержинского». *Прописана им ижица*. Прописать ижицу — прочесть, жестоко наказывать кого-то; ижица — последняя буква церковного алфавита.

70. ЛГ. 1935, 24 марта (см. прим. 1), с вар. -- Н. -- АРСП. -- ИП-61. Печ. по ИП-61. Т. 1, где автор вернулся и ред. Н. Датируется по АРСП. ИСт-56 — с датой: 1932. Ст-ние «выросло» из ст-ния «Мне изредка чудится — я целый век...», <1926> (Оп. С. 37); ср., в особенности:

Мне чудится, будто садовником я
садов языка, где растут для коллекции
на жадной земле — бурьяны, спорынья,
на клумбах цветочных — суффиксы и флексии.

Со ст-нием перекликается след. фрагмент речи Кирсанова на Парижском фестивале поэзии, произнесенной 4 янв. 1936 г. (см. прим. 72): «Поэт — не раб, а создатель речи. Кропотливое выращивание в поэзии новых слов, новых видов синтаксиса приводит часто к тому, что и русский мой слушатель в недоумении останавливается перед каким-нибудь словесным гибридом, ну, скажем, «вишняблоком»... Но у нас гибридизация растений — любимое занятие колхозных крестьян, и наш читатель гораздо более склонен разобраться в незнакомом, нежели отшвырнуть как несъедобное. Изобретение нового в поэзии я связываю с возникновением в советском человеке элементов нового, социалистического сознания, нового отношения к труду, к природе, технике, культуре, человеку» (ЛГ. 1936, 20 янв.). Ст-ние, как и № 62, породило критическую разноголосицу при обсуждении

вопроса о плодотворности употребления неологизмов, «Как и в "Золушке", — писал В Никонов в рец. на Н, — интересна работа поэта над гибридизацией слов: "Дичок привит, и вот — гибрид! Моягода, мояблоня" <...> "Я, в сущности, мичуринец!" — говорит о себе Кирсанов. И действительно, ему удалось вырастить любландыш, люблютик (см. № 60. — Э. Ш.), счастливое дерево! <...> Конечно, обогащение разговорного языка пойдет не по этой искусственной линии, но для расширения словаря поэтического эти опыты могут кое-что дать и прежде всего повысить вкус к слову, обострить восприятие его» (КиПР. 1936. № 1. С. 44). «Эта "мичуринская" работа Кирсанова со словарем не плодотворна, — утверждал Л. Кацнельсон в рец. на МЖ, названной «Непривившиеся гибриды». — Созданные в его саду гибриды не прививаются в народной речи. В отличие от подлинного новаторства Маяковского в области языка, Кирсанов, ложно поняв традиции Маяковского, занимается пустым формализмом, выращивает слова-пустоцветы, засоряющие его стихи, мешающие ему идти к массовому читателю» (ЛГ. 1938, 15 мая). Мичуринец — последователь советского биолога Ивана Владимировича Мичурина (1855—1935) в работе по селекции растений.

71. Кр. 1935. № 11 (апр.). -- Н. ДпР — с ошибочной датой: 1934. Гранки СиП-36. Первая очередь московского метро вступила в эксплуатацию 15 мая 1935 г. Ранее проводились экскурсионные поездки, в одной из которых, устроенной 4 марта для делегатов пленума правления ССП, принял участие Кирсанов. «Вот, спускаясь в метро, — рассказал он корреспонденту, — мы вошли в будущую Москву. Такой она будет — светлой, глянцевиной и чистой <...>. По эскалатору я поднимался и опускался раз десять, чем навлек подозрительные взгляды контролеров. Но не хотелось расставаться с бегущей волнистой лестницей. Вот и всё. Остальное в стихах» (ЛГ. 1935, 6 марта). На пуск Московского метро Кирсанов откликнулся еще тремя ст-ниями, напечатанными в февр.-апр. 1935 г.: «Метро» («Я читал, что под гулким асфальтом Парижа...»), «М» («Литера "М" высоко зажжена...») и «Подземный день» («Путь от Сокольников...»). Но если эти стихи, имеющие публицистическую направленность, не привлекли внимания критики, то данное ст-ние, откровенно юмористическое, тем не менее часто использовалось критикой для серьезных обвинений поэта в формализме. Так, В. П. Ставский, выступая 10 марта 1936 г. на общемосковском собрании писателей «О формализме и натурализме в литературе», говорил: «Не знаю, надо ли цитировать его стихотворение на букву "М" в книге "Новое". Наверно, вы его знаете. (Смех).

Голоса. Да!

Ставский. И как это звучит в свете ленинских указаний об искусстве?

Адуев. Это юмористическое стихотворение.

Ставский. Я могу привести не одно подобное стихотворение, и они вам известны, тов. Адуев, и вы мне в этом должны помочь, чтобы разъяснить Кирсанову и усвоить всем нам, что бессмысленное жонглирование словами, формалистическое оригинальничанье Кирсанова никак не согласуется с представлением о советском поэте, который пишет для миллионов. Это — озорство, которое отнюдь не украшает советского поэта» (ЛГ. 1936, 15 марта). См. также отзывы В. Шкловского

(там же), В.с. Азарова (Р. 1936. № 6), А. Марголиной (ЛС. 1939. № 9/10). *Моховая* — улица в центре Москвы. *Мостиница Моссовета* (гостиница Моссовета) — «Москва», *Моздвиженка* — Воздвиженка, московская улица. *Моголевский мульвар* — Гоголевский бульвар.

72. ЛГ. 1935, 24 марта, в подборке «Из книги "Новое"» (см. прим. 1), под загл. «Приемы убеждения», с вар. -- Н, под загл. «Способы убеждения», с вар. -- ДпР. -- РП, под загл. «Аладдин у сокровища» (вероятно, опечатка), с ошибочной датой: 1934—1936. -- СС-1. Датируется по Н. Гранки СиП-36, под загл. «Методы убеждения». 4 янв. 1936 г. Кирсанов читал ст-ние на Фестивале поэзии в Париже (зал консерватории), где также приняли участие А. Безыменский, В. Луговской, И. Сельвинский и семнадцать французских поэтов. После Ш. Вильдрака выступал Кирсанов. «Арагон читает перевод на французский язык его декларации. Публика неоднократно прерывает речь аплодисментами.<...> Жан Ришар Блок читает стихотворение Кирсанова "Птица Башни" — о кремлевских звездах. Арагон читает перевод "Сезам, откройся", после чего это стихотворение по-русски читает Кирсанов» ([Б.п]. Фестиваль поэзии в Париже // ЛГ. 1936, 20 янв.). См. также прим. 244. *Алагин* — герой сказки «Аладин и волшебная лампа» из арабских сказок «Тысяча и одна ночь». *Откройся, Сезам!* — заклинание, открывающее в той же сказке вход в пещеру сокровищ.

73. Н, под загл. «Световые эффекты в Теберде». -- И-49, под тем же загл. -- ИСт-56. Датируется по Н. Рук ЗНС, с вар. *Теберга* — река и горно-климатический курорт на ней в Карачаево-Черкессии; Кирсанов побывал там также в 1935 г.

74. Зн. 1935. № 10, вместе с № 75. -- Н. -- СиП-48. -- И-49 — оба с цензурной правкой ст. 20: «кинжальный чекан!». Печ. по ИСт-56 с восстановлением ст. 20 по довоенным изданиям. Гранки СиП-36. Датируется по Н. СиП-48, И-49, ИСт-56 — с датой: 1934. «Образ Эльбруса взят поэтом не в традиционном плане — "двугорбый Эльбрус", а вызвал ассоциации с двугорбым верблюдом. Этот образ повлек за собой новые: "Кавказ — караван", "горбы эльбружат". Звуковые ассоциации углубляют смысл выражения "снежейшина гор" (снежейшина — старейшина)» (Егорова Л. П. Дороги дружбы. Черкесск, 1969. С. 80).

75. Зн. 1935. № 10 (см. прим. 74). -- Н. Рук. МЖ. Датируется по Н. Гранкам СиП-36, ДпР, СиП-48, И-49, СиП-51, АРСП. ИСт-56, Ст-67 — с датой: 1934.

76. Н.

77. Окт. 1937. № 9, в подборке «Последние ночи. Из книги», вместе с № 80, без загл., с вар. -- МЖ. Рук. МЖ; Рук ЗНС.

78. Ог. 1938. № 1, 10 янв. (сдано в набор 15.12.1937), с 2-мя фотографиями Я. Халипа, с вар. -- ЧН, с вар. -- ИСт-56. ЧТ, ИСт-56 — с ошибочной датой: 1940. *Башня Спасская* — см. прим. 36.

79. ЧТ, в составе раздела «Тетрадь вторая. Стон во сне», вместе с № 82—84, 88—91, 248 и ст-ниями «Встреча любивших» («Еще говорят: войны не будет...»), «Один год» («Я стою на улице...»). Датируется с учетом конечной даты раздела «Начало» (1923—1937) в СС-1. Некоторых рецензентов смутил «слишком личный» характер стихов цикла: «...Стихи на тему о личном горе <...> это даже не стихи, а скорее дневник, угнетающий своей полной безысходностью. <...> Тема

личного горя, записанная в кирсановском дневнике с такими подробностями, от которых разрывается сердце, не стала от этого поэтической темой. И более того: возникает вопрос о праве автора публиковать свой личный дневник в книге стихов...» (Перцов В. О веселом эпосе и грустной лирике // ЛГ. 1940, 31 дек.); «В лирических стихах Кирсанова весь мир становится носителем его боли. <...> В самом его открещивании от "литературщины", в подчеркнута дневниковом, личном характере стиля этих лирических стихов таится опасность превращения "интимности" в литературную манеру» (Степанов Н. [Рец.] // Зв. 1941. № 5. С. 173, 174). С подобными оценками полемизировал Н. Бакинский: «"Стон во сне" и "Последнее мая" — как бы продолжение "Твоей поэмы". Это стихи о личной трагедии, постигшей поэта. Сильные, потрясающие тоскою, выраженной в них, стихи. <...> Если в этих стихах — трагедия любви, то в них в то же время памятник любви. Этим определяется их ценность. Они возвышают в сознании читателя идею верности, цельность человеческой природы, постоянство в любви, серьезное отношение к жизни» (Простота и простоватость // ЛС. 1941. № 4. С. 133).

80. Окт. 1937. № 9, в подборке «Последние ночи. Из книги», вместе с № 77, без загл. -- МЖ. Рук МЖ; Рук ЗНС.

81. Ог. 1972. № 24, в подборке: «С. Кирсанов. От самых ранних до самых поздних» (см. прим. 56). Перевод стиха Г. Гейне «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...» *Лорелея* — нимфа, обитающая на Рейне, которая своим пением увлекает корабли на скалы.

82. 30 дней. 1939. № 1 (сдано в произв. 28.12.1938). -- ЧТ, в составе раздела «Тетрадь вторая. Стон во сне» (см. прим. 79). -- Л-62 — все под загл. «Стон во сне». -- СС-1. Рук ЗНС.

83. КН. 1938. № 6. -- ЧТ, в составе раздела «Тетрадь вторая. Стон во сне» (см. прим. 79). -- КЛ-66.

84. НМ. 1938. № 6. -- ЧТ, в составе раздела «Тетрадь вторая. Стон во сне» (см. прим. 79). Рук ЗНС. «"Четыре сонета" — органическое продолжение того нового, что было в "Твоей поэме", дальнейшее закрепление Кирсанова на позициях реализма. <...> Эти маленькие лирические стихи стоят едва ли не больше эпических поэм. <...> Сонеты написаны искренно. И самая их идея и содержание продиктовали поэту форму, в которой эта тема получила свое законченное воплощение. <...> Не уход, а возвращение к жизни после перенесенного потрясения — таков лейтмотив кирсановских сонетов. Это — одна из тем жизнеутверждающего, активного, т. е. социалистического реализма» (Евгеньев А. Прощание с любимой: О «Четырех сонетах» С. Кирсанова // ЛГ. 1938, 15 окт.).

85. Ог. 1972. № 24, в подборке: «С. Кирсанов. От самых ранних до самых поздних» (см. прим. 56).

86. КПр. 1938, 16 сент., с вар. -- ЧТ, с вар. -- СРЛ, с ошибочной датой: 1940. -- СИП-48, в вар., с ошибочной датой: 1939. -- И-49. Датируется с учетом времени описываемого события и первой публикации. *Новый радиус* второй очереди московского метро «Площадь Свердлова» — «Сокол», куда относится и станция «Маяковская», вступил в эксплуатацию 11 сент. 1938 г. Ст-ние явилось оперативным откликом на это событие. «...Последняя книга Кирсанова, — писал Я. Хелемский в рец. на ЧТ, — примечательна не только совершенством отделки

стихов. В ней радует и идейное возмужание его поэзии. <...> В стихотворении "Станция "Маяковская" Кирсанов сравнивает величие прекрасного сооружения с величавым обликом поэта. Он находит неожиданные сравнения, полные глубокого смысла..." (КПр. 1940, 29 дек.)

87. Ог. 1972. № 24, в подборке: «С. Кирсанов. От самых ранних до самых поздних» (см. прим. 56). Ст-ние написано после ареста и расстрела (о котором Кирсанов тогда, вероятно, еще не знал) поэта Павла Николаевича *Васильева* (1910—1937). *Мокредь* (мокрядь, разг.) — сырая, дождливая погода.

88. ЧТ, в составе раздела «Тетрадь вторая. Стон во сне» (см. прим. 79). -- Иск.

89. ЧТ, в составе раздела «Тетрадь вторая. Стон во сне» (см. прим. 79). -- СС-1. *Золушка*. Здесь имеется в виду сказка французского писателя Шарля *Перро* (1628—1703) и поэма Кирсанова (№ 245). *Ангерсен* Ханс Кристиан (1805—1875) — датский сказочник. Братья *Гримм*, Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859) — немецкие филологи, собиратели и издатели народных сказок. *Хрустальная гора* — см.: поэма «Золушка», гл. 10.

90. ЧТ, в составе раздела «Тетрадь вторая. Стон во сне» (см. прим. 79).

91. ЧТ, в составе раздела «Тетрадь вторая. Стон во сне» (см. прим. 79). Перевод ст-ния американского поэта Эдгара По (1809—1849) «Annabel Lee» («It was many and many a year ago...»).

92. 30 дней. 1939. № 5/6, под загл. «Прииски новизны», др. ред. -- ЧН. -- Соч-54. Т. 1. Датируется по ЧН. «...Группа старателей или поисковая группа работников — искателей золота является символом "жил желанья и жажды", "мечтаний", "заглядывания в души", а золото скрыто "во взгляде комсомольца", читающего стихи. Золото и его поиск являются здесь символом потому, что поэт мыслит этот свой основной образ не стабильно, не в виде неподвижной метафоры, но в виде уходящей вдаль перспективы» (Лосев А. Ф. Символ и его социально-историческое значение // Проблемы русской филологии: Сб. трудов. (Памяти проф. Ф. М. Головенченко). М., 1976. С. 18). *Дукаты* — золотые монеты, чеканились в Венеции в XIII в.

93. КЛ-66, б. д. Авт. маш. КВ-1; КВ-2 — оба под загл. «Начало», с вар., с датой и указанием места. *К Земле подходит Марс*. Ср. у Н. Асеева: «Марс подходил к земле» в ст-нии «Поэма» (1924), где говорится о «великом противостоянии» Марса в 1924 г.

94. В бой за Родину. Ежедневная красноарм. газ. Карельского фронта. 1941, 20 сент., с подзаг.: «(Рассказ бойца)», др. ред. -- Правда Севера (Архангельск). 1941, 23 сент., с пометой: «Действующая армия», др. ред. -- Мы защищаем Север: Сб. ст-ний. Архангельск, 1941, вместе со ст-ниями «Палачи» («Как попал боец советский...»), «"Огонь по мне"» («Бывает, ворон смерти кружится...»), «Врач» («В разрывах — поле боя...»), «На передовой» («В петлях болотных тропок...»), «Северный сказ» («Гей, ты, Север-край, Север сумрачный...»), «Не видать орде германской стен советского Мурманска» («Немец воет, немец злится...»); возврат к ред. «В бой за Родину». -- СВ, с пометой: «Под Гомелем», с вар. — СИП-51. Авт. маш. КВ-1, КВ-2 — обе под загл. «Земля», с вар., с датой и указанием места. О своей работе в этот период Кирсанов писал: «В июне 1941 года уехал в Ригу и там меня застала война. В первые дни войны по моей инициативе были организованы "Окна

ТАСС". Я руководил литбригадой "Окон" в первые недели войны. Затем в конце июня добровольно вступаю в армию. Сначала служу в "Красной звезде". Еду на Северо-Западный фронт, в район Новгорода, где уже происходили бои. Дальше — меня переводят во фронтовую газету Центрального фронта (район Гомеля). Там написаны "Горсть земли", "Фронтовая песня" и др. Отступление нашей армии. Вместе с редакцией лесами и кружными дорогами в течение трех недель выбираемся из полукольца. В августе редакция прибывает в Москву. Нас направляют на Карельский фронт (район Кандалакши, Кестеньги и т. д.). Пишу "Северный сказ" и др.» (Автобиография РГБ).

95. Ог. 1972. № 24, в подборке: «С. Кирсанов. От самых ранних до самых поздних» (см. прим. 56).

96. Красный флот. 1942, 4 сент., вместе со ст-ниями «Севастополь» («Севастополь! Огневая буря!..») и «Город Н.» («Здравствуй, за дорогами кавказскими...»), др. ред. — ИСт-56. Ст-ние написано в период героической обороны советскими войсками Одессы (5 авг. — 16 окт. 1941 г.). *Где встречался с Теодором Нетте Маяковский.* Именем советского дипкурьера Теодора Ивановича Нетте (1896—1925), погибшего в Латвии при защите дипломатической почты, был назван один из пароходов Черноморского флота; здесь имеется в виду ст-ние Маяковского «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» (1926). Там, где свиток держит Ришелье. Речь идет о памятнике герцогу Ришелье работы И. Мартоса, установленном на Приморском бульваре в Одессе в 1827 г. Ришелье Арман Эмманюэль де Плесси (1766—1822) — в 1805—1814 гг. генерал-губернатор Новороссии, содействовал развитию Одессы. У старинной пушки на бульваре. Корабельная пушка, снятая с погибшего в 1854 г. у берегов Одессы английского фрегата «Тигр», была установлена на Приморском бульваре.

97. ВнВ. 1943, 24 нояб., с вар. — Сердечный рассказ; Сб. материалов для худож. самодеятельности. Ставрополь, 1944. -- СВ, с пометой: «Прибалтийский фронт», дата: 1943. -- ЧН. -- СиП-51. Датируется по ЧН. Целью многих военных ст-ний Кирсанова, пишет исследователь, является «поучение, пример, который должен прямо и наглядно показать силу того идейного цемента, который скрепляет бойцов Красной Армии <...>. Из подобной трактовки не выпадала у Кирсанова и тема любви. Стихотворение «Боец», рассказывающее о девушке-бойце по имени Любовь и об отношении к ней солдат, товарищей по подразделению, — тоже лубок и тоже притча с повествованием не только подчеркнуто забавным, но и как бы игровым, требующим разгадки. <...> Подобные каламбуры («любовь» — «Любовь». — Э. Ш.) — черта стиля Кирсанова, хотя необходимо сказать, что в связи с резким поворотом поэта к простоте и ясности речи проще стала и его словесная игра» (Абрамов. С. 188—189).

98. ДН. 1958. № 2, в цикле «Из стихов последних лет», вместе со ст-ниями «Раненый» («Больной лежит, в наркозе замирая...») и № 101, под загл. «Две страницы: Первая, Вторая», др. ред., с датой: 1943. -- Ог. 1972. № 24, в подборке: «С. Кирсанов. От самых ранних до самых поздних» (см. ст-ние 56). Авт. маш.: 1-я ч. — КВ-1, под загл. «Память», др. ред.; 2-я ч. — КВ-2, под загл. «Нам», др. ред.

*99. ВнВ. 1943, 3 дек., с вар. -- СВ. -- И-49. -- ИСт-56. -- ПвБ (ред. И-49). -- С-59. Печ. по С-59, где автор вернулся к ред. ИСт-56. И-49,

Соч-54. Т. 1, ИСт-56, С-59 — с ошибочной датой: 1944. *Дзоты стоят в воде, как Ноевы корабли*. Дзоты (деревяно-земляные огневые точки) сопоставлены здесь с новым ковчегом, в котором, по Библии, спасся во время всемирного потопа Ной со своим семейством и взятыми им животными. *Свещец* — подставка для лучины. *Пропойск* — поселок в Могилевской обл.; с 1945 г. — Славгород. *Кенигсберг* — с 1946 г. Калининград. *Ржев, Белый* — города в Калининской обл. *Велиж* — город в Смоленской обл.

100. СВ. -- СС-1. Датируется по СиП-51. Тематически ст-нию предшествует проникнутое предчувствием будущей войны ст-ние «Оркестр войны» («В 12 часов над уснувшей Москвой...» — ВМ. 1935, 23 апр.). «"Волна войны" рождена обычной минутой около полевого радиоприемника, включенного автором "в селе за Западной Двиной, в углу страны" <...>. "Волна войны" — образ тех чувств, мыслей, которые, охватывая всю контуженную сражениями землю, живут в сердце советского человека» (Абрамов. С. 192). *Гастелло огненный полет*. Гастелло Николай Францевич (1907—1941) — летчик, Герой Советского Союза. 26 июня 1941 г. вместе со своим экипажем, состоявшим из трех человек, направил горящий самолет на скопление немецкой техники и бензоцистерн, взорвавшихся вместе с самолетом. *Матросов Александр Матвеевич* (1924—1943) — рядовой, Герой Советского Союза. 23 февр. 1943 г. на Калининском фронте закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем обеспечил успех наступления; герой поэмы Кирсанова «Александр Матросов» (1944 —1949). *Зоя* — Космодемьянская Зоя Анатольевна (1923—1941) — партизанка, Герой Советского Союза. *Майданек* — фашистский лагерь уничтожения в предместье г. Люблина (Польша).

101. ДН. 1958. № 2, в цикле «Из стихов последних лет» (см. прим. 98). Положено на музыку А. Журбиным. *Юнкеры* — немецкие бомбардировщики.

102. Окт. 1945. № 8, под загл. «Сердце», с вар. -- ЧН, дата: 1944. - - Соч-54. Т. 1. -- Русская советская поэзия: Сб. стихов. 1917—1952. М., 1954. -- ИСт-56. -- Песня мужества. Стихи о Советской армии. М., 1958. -- С-59. Печ. по С-59, где автор вернулся к ред. ИСт-56. Датируется по Ст-67. СРЛ; Во весь голос. М., 1965 — с датой: 1944. Пласт 3. Тематически этому ст-нию предшествует ст-ние «Врач» («В разрывах — поле боя...», 1941). «Показательно, — писал А. Коваленков в статье «Чувство меры. (Практика современного стихосложения)», — что, владея всеми видами и способами современной рифмовки, С. Кирсанов написал одно из своих лучших программных стихотворений "Творчество" с весьма ординарными, казалось бы, не свойственными его манере рифмами. <...> Примени он здесь хотя бы одно нарочитое, бьющее на эффект словосочетание, и цельность, гармоничность стихов была бы нарушена» (Писатель и жизнь. Сб. М., 1961. С. 18). «Каждая строчка, — замечает другой исследователь, — несет большое человеческое чувство. Судьба солдата, судьба врача-гуманиста и героя и судьба самого поэта сливаются в стихотворении воедино. <...> "Волна войны" и "Творчество" — в числе тех его произведений, в которых поэт обретает подлинную глубину лирического изъяснения. Он не отказывается ни от чего, чем живет его душа, и вместе с тем ему близко все то, что происходит в мире и в душах других

людей» (Абрамов. С. 193, 195). «Кудесник врач — тоже смертный человек из плоти и крови, — пишет И. Фоняков. — Из стали только скальпель. Стихи об этом есть у многих поэтов. Есть — замечательные — у Н. Заболоцкого («Смерть врача», 1957. — Э. Ш.), С. Кирсанова. Там суровый, героический пафос: герои стихотворений погибают, исполнив свой долг, потому что в момент наивысшего напряжения никого не оказывается рядом, "чтоб вернуть сердцебиенье и второму сердцу"» (Во все глаза // НМ. 1986. № 10. С. 252).

103. Ог. 1972. № 24, в подборке: «С. Кирсанов. От самых ранних до самых поздних» (см. прим. 56).

104. Кр. 1947. № 19, 10 июля, с вар. -- СРЛ, под загл. «Дождь 1947 года», с вар. -- Кирсанов С. Советская жизнь: Новые стихотворения. М., 1948, под загл. «Дождь этого года». — И-49, с вар. -- ТС. — Соч-54. Т.2. Датируется по СРЛ.

105. НМ. 1947. № 2. -- ЧН, с датой: 1946. -- СРЛ. -- СиП-48. Печ. по СиП-48, где автор вернулся к ред. ЧН. Ст-ние было подвергнуто разгромной критике во внутр. рецензиях И. Карабутенно и В. Тельпугова на рукопись Соч-54. Так, последний писал: «Поэт увидел на эскалаторе метро плачущего мужчину и решил пофилософствовать на тему о лирике. Лирика, дескать, особенно нужна таким вот несчастным людям, чтоб они могли с ее помощью "подняться в жизнь лестничками строк". Получилась довольно мелкая философия на не менее мелких местах» (АДК). Двадцать лет спустя резкое осуждение К. Ваншенкина вызвало употребление в ст-нии так наз. «лесенки», широко применяемой для усиления интонационной выразительности не одним Кирсановым, но, начиная с А. Белого и Маяковского, многими поэтами (в т. ч., хоть и изредка, самим К. Ваншенкиным): «Даже там, где его занимает настоящая боль, он не забывает о правилах игры — своей игры. <...> Что же важнее все-таки: встреченное человеческое горе или желание графически имитировать внешний рисунок эскалатора?» (Из книги «Поиски себя» // ВЛ. 1983. № 11. С. 172—173). «Горе прохожего — источник острого переживания, — писал И. Гринберг, — повод для раздумий поэта о своей работе, о высоком назначении стихового слова. <...> Стихотворение это остается поэтическим обобщением, иносказанием. Речь идет не только о том, что лирика «скорой помощью, в минуту, подоспеть должна», но и о том прежде всего, что она обладает замечательной способностью нравственного воздействия» (Гринберг. С. 17—18).

106—108. Ц и к л, из которого здесь публикуются только три ст-ния, печатался в различном составе: ТС — 9 ст-ний, без публикуемых. -- Соч-54. Т. 1 — 9 ст-ний (состав как в ТС). -- ИСт-56 — 18 ст-ний, в т. ч. 1—3. -- Л-62 — 16 ст-ний, в т. ч. 1—3. -- Л-66 — 16 ст-ний, в т. ч. 1—3.

1. ИСт-56. *Гипсометрические тучи*. Гипсометрия — способ изображения на географических картах рельефа земной поверхности с помощью горизонталей.

2. ИСт-56. *Молодцеватый кедр Ливанов* и т. д. — игра слов: ливанский кедр и — актер МХАТа, н. а. СССР Борис Николаевич Ливанов (1904—1972).

3. ИСт-56.

109. ТС, с вар. -- СС-1. Датируется по ИСт-56. Соч-54. Т.2 — с датой: 1953. 14 нояб. 1952 г. автор прочел ст-ние на вечере в Москов-

ском Доме ученых. М. Исаковский распенил стихи как продолжение дискуссии о традициях Маяковского, начатой Кирсановым статьей «Учиться ли у Маяковского?» (ЛГ. 1949, 3 сент.) (см.: Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 6 т. М., 1983. Т. 6. С. 353, 613).

110. ДП-1957, вместе с № 120 и 127, дата: 1957. -- ЭМ-58. -- Л-62. Датируется по Ст-67.

111. ТС, без ст. 17—24. — ИСт-56. Датируется по Соч-54. Т.2. Ст-67 — с ошибочной датой: 1958.

112. ТС. -- Соч-54. Т. 2. -- СС-1. Печ. по СС-1, где автор вернулся к вар. ТС. Датируется по Соч-54. Т. 2. Во внутр. ред. на рукопись Соч-54 Е. Крюковский писал: «Стихотворение "Месяцы года" автор поместил, очевидно, только ради рифмы <...> Это стихотворение, как надуманное, должно быть изъято» (26 февр. 1953 г. — АДК).

113. ТС. Датируется по Соч-54. Т. 2.

114. ТС. -- Соч-54. Т. 2. -- Л-62. Печ. по Л-62, где автор вернулся к ред. ТС. Датируется по Соч-54. Т. 2. Павлова *решительные руки, брошенные яростно на стол!* Павлов Иван Петрович (1849—1936) — ученый-физиолог; эти строки восходят к живописному портрету ученого работы М. В. Нестерова (1935).

115. ТС. -- Соч-54. Т. 2. -- Иск (ред. ТС). -- Ст-67 (ред. Соч-54. Т. 2). -- СС-1. Печ. по СС-1, где автор вернулся к ред. ТС. Датируется по Соч-54. Т. 2. Своей полемичностью ст-ние переключается с речью Кирсанова на III съезде писателей СССР, посвященной главным образом критике «серых книг». Препятствием «для подъема художественности и мастерства», говорил поэт, является «систематическая пропаганда плохих и особенно средних произведений, безудержное расхваливание однотипных и безликих романов, повестей, поэм и стихов. Теряется критерий качества. <...> Средний уровень, поднятый на щит, увенчанный лаврами, становится эталоном. Это большое зло — пропаганда среднего уровня. Это — пропаганда серости» (Третий съезд писателей СССР. 18—23 мая 1959 г.: Стенографический отчет. М., 1959. С. 97—98).

116. Лит. Москва. Лит.-худ. сб. московских писателей. Сб. 2. М., 1936, вместе со ст-нием «Людам будущего» («Над самолетом — солнце близко...»). Авториз. маш. РГАЛИ, Фонд сб. «Лит. Москва». Сборник подвергся резкой критике в печати. Так, Дм. Еремин в «Заметках о сборнике "Литературная Москва"» писал: «Через всю книгу так и тянется эта грустная, эглическая нота, порою превращаясь то в плач, то в горький сарказм. <...> Пеимущественное внимание именно к этому кругу настроений, своеобразный букет из них, преподнесенный читателю на страницах сборника, — настораживает. А когда вслед за стихами Н. Заболоцкого читаешь "Черновик" С. Кирсанова <...> и другие (стихи. — Э. Ш.), — это чувство не только не рассеивается, но крепнет» (ЛГ. 1957, 5 марта). Выступление Кирсанова на пленуме правления Московского отд. СП СССР, где разговор шел об этом сб., содержит косвенную полемику с «Заметками» Дм. Еремина: «Минувший литературный год, — замечает Семен Кирсанов, — как в поэзии, так и в прозе представляется мне очень значительным. Это был год вступления нашей литературы в какой-то новый период своего развития, период, не отрицающий ее прошлого, но и восполняющий то, что в прошлом нам не всегда удавалось делать. В чем я вижу односто-

ронность ряда литературных произведений минувших лет, которую называли бесконфликтностью, или, в более "густом" ее варианте, — лакировкой. Вначале брался определенный нужный пример, к нему подверстывался человек. <...> Революционное развитие, состоящее в борьбе противоречий, понималось односторонне, выдвигалась лишь позитивная сторона его» (ЛГ. 1957, 19 марта).

117. ДН. 1956. № 6, в подборке: «С. Кирсанов. Новые стихи», вместе со ст-ниями «Помню дни» («Помню дни, помню дни дорогие...»), «Пациент» («Врач пациенту держит речь...»), № 118 и циклом «Из дорожной тетради»; под загл. «Этот мир». -- ЭМ-58. -- Голос мира: Сб. стихов. М., 1962, под загл. «Этот мир». -- Л-62. Печ. по Л-62, где восстановлено загл.

118. ДН. 1956. № 6, в подборке: «С. Кирсанов. Новые стихи» (см. прим. 117). -- ЭМ-58. *Духаты* — см. прим. 92.

119. ЭМ-58. Датируется с учетом конечной даты раздела «Этот мир» (1945—1956) в СС-1.

120. ДП-1957, вместе с № 110 и 127, под загл. «Ты». -- ЭМ-58. Датируется по ДП-1957.

121—124. Ц и к л: Окт. 1956. № 5, под загл. «Альпы — Венеция» — 12 ст-ний, в т. ч. 1, 2, 4. -- ДН. 1956. № 6, под загл. «Из дорожной тетради» — 8 ст-ний, в т. ч. 3 --- ЭМ-58 — 26 ст-ний, в т. ч. 1—4, с общей датой цикла: 1956. -- ИП-61 — 20 ст-ний, в т. ч. 1—4. -- СС-1 — 27 ст-ний, в т. ч. 1—4.

1. Окт. 1956. № 5. -- Иск, под загл. «Вечер в Альпах». -- СС-1. *Доббиакко* — курортный городок в Доломитовых Альпах (Доломитовом Тироле) в Италии.

2. Окт. 1956. № 5. *Румба* — бальный танец мексиканского происхождения. *Тироль* — альпийская область в Италии и Австрии. *Давос* — горный курорт в Швейцарии.

3. ДН. 1956. № 6, под загл. «В Кортина». -- СС-1. *Кортина д'Ампеццо* — высокогорный курорт в Италии, центр зимних видов спорта; там, в частности, проводились зимние Олимпийские игры 1956 г.

4. Окт. 1956. № 5. -- ИСт-56. -- ЭМ-58 (возврат к ред. Окт). -- С-59, под загл. «Большой канал в Венеции». -- ИП-61. Т. 1. *Палаццо дожей* — выдающийся памятник итальянской архитектуры; служил резиденцией правителей Венеции. *Гоцци Карло* (1720—1806), *Гольдони Карло* (1707—1793) — итальянские драматурги. *Нобили* — здесь: лица высших сословий в Венецианской республике.

125—126. Ц и к л: Зн. 1957. № 11: ч. 1 — 9 ст-ний, в т. ч. 1—2; 1959. № 6; продолжение — 5 ст-ний; 1960. № 3: окончание — 6 ст-ний. -- ЭМ-58 — 10 ст-ний. -- Кирсанов С. Ленинградская тетрадь. М., 1960 — 22 ст-ния. -- ИП-61. Т. 2 — 18 ст-ний. -- СС-1 — 20 ст-ний; всюду — с 1—2.

1—2. Зн. 1957. № 11, с вар. -- ЭМ-58. Автографы РГАЛИ: 1—2, в составе цикла — маш. с авт. правкой (как в Зн), с общей датой: апрель-сентябрь 1957 — фонд ред. Зн; 2 — два наброска (фрагменты), маш. — архив С. И. Кирсанова. «С темпераментной журналистской хваткой, при помощи надежной отборной рифмовки начал свою "Ленинградскую тетрадь" С. Кирсанов. Рассматривая предметы и явления в их революционном развитии, С. Кирсанов, как никогда ранее, проявил хороший историзм в своей новой работе» (Васильев С. Надо

сметь! // ЛГ. 1958, 15 июля); «...Нужно отметить, что творчество Семена Кирсанова с годами эволюционирует в сторону простоты и глубины. Я имею здесь в виду прежде всего его стихи из "Ленинградской тетради"» (Солоухин В. Поэзия и время // ЛГ. 1958, 17 июля).

1. *Исаакиевский купол* — купол Исаакиевского собора (скульптор О. Р. Монферран). *Золотая игла* — шпиль, венчающий главное здание Адмиралтейства (архитектор А. Д. Захаров). *Троицкий мост* — один из невских мостов. *Балтийский завод* — судостроительный завод в Ленинграде-Петербурге. *Четыре исполина* и т. д. — фигуры атлантов, высеченные из гранита, украшающие портал здания Нового Эрмитажа (ул. Миллионная, д. 35; скульптор А. Н. Терехов). *О белой женщине... под Ростральную колонну*. У подножия двух ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова расположены по две скульптуры, олицетворяющие русские реки — Неву, Волгу, Волхов и Днепр (архитектор Т. де Томон, скульпторы Камберлен, Ж. Тибо и, предположит., Ф. Ф. Щедрин). *Дорога Лебяжья* («Дорога Жизни») была проложена в ноябре 1941 г. через Ладожское озеро; по ней в годы блокады осуществлялась связь Ленинграда с «Большой землей». *А не болят ли в ночь* и т. д. Осенью 1941 г. на фасадах многих ленинградских зданий появилась сделанная по трафарету предупредительная надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Эта надпись воссоздана теперь на фасаде дома № 14 по Невскому пр., где сохранились следы осколков. Рядом, в доме № 12, находилось ателье мод, существовавшее с довоенных времен. *Три раза бьют часы на каланче старинной* — часы с боем на многоярусной башне, примыкающей к зданию бывшей Городской думы (Невский пр., д. 31; построено в 1799—1804 гг., архитектор Д. Феррари; впоследствии перестроено).

2. *Модерн* (новейший, фр.) — стиль в архитектуре конца XIX — нач. XX вв., характеризующийся духом новаторства: свободной планировкой, индивидуальностью зданий, использованием новых технико-конструктивных средств. *Ампир* (империя, фр.) — стиль в архитектуре нач. XIX в., отличающийся строгостью, торжественной монументальностью. *Лепной акант* — стилизованное изображение листьев и стеблей на капителях колонн и в различных видах орнамента.

127. ДП-1957, вместе с № 110 и 127, без загл. — ЭМ-58. — Л-62, под загл. «Аргис nous...» (текст ЭМ-58). — КЛ-66 (как ЭМ-58). Датируется по ДП-1957. В статье «Позиция поэта» Кирсанов писал: «Угроза, объединяющая человечество тревогой за свое существование, не может оставить поэта равнодушным. Имеет ли он право повторить выражение — "после нас хоть потоп!"? Нет, он перестанет быть поэтом. Вот почему особенность нового поэта я вижу в его активном отрицании равнодушия. Вспомним слова Генриха Гейне о том, что трещина в мире проходит через сердце поэта. <...> Трещина в сердце поэта взывает о помощи, и если поэту не под силу быть врачом, зато он тревожит человечество срочной телеграммой своего стиха» (Пр. 1968, 10 авг.).

128. ЭМ-58. — ЭМ-62, под загл. «Счастье жить». — Л-62. Печ. по Л-62, где автор вернулся к ред. ЭМ-58. Ст-67 — с ошибочной датой: 1960. *Улит лилкие ижицы*. Имеется в виду визуальное сходство улитки с ижицей (см. прим. 30). *Нет, не быть Раю* — Потерянным — аллюзия на поэму Д. Мильтона «Потерянный рай». Имеется в виду изгнание Адама и Евы из рая.

129—132. ЭМ-58.

133. ЭМ-58. *Новогевицье кладбище* — кладбище в Москве, где похоронена К. К. Кирсанова. *Твоей поэмы рукопись* — «Твоя поэма» (см. № 246).

134—135. ЭМ-58, с вар. Печ. по авт. маш. (ЛА). Перевод ст-ний Г. Гейне «Jüngling liebt ein Mädchen...», «Es war ein alter Knig...»

136. ЛиЖ. 1960, 9 окт., без загл., др. ред. -- ЭМ-62. -- Л-62, под загл. «Сон», др. ред. -- СС-1. Печ. по СС-1, где автор вернулся к ред. ЭМ-62. *Шелом* (др.-р.) — шлем. *Буян-остров* — аллюзия на «Сказку о царе Салтане» А. С. Пушкина (остров Буян). *Шербет* — восточный фруктовый прохладительный напиток. *Дремль* (новообразование, от «дремать»); ср. у Н. Асеева: «Гремль» (т. е. Кремль) в одноим. ст-нии («Пламенный пляс скакуна...», 1914). *Калита* — Иван I Калита (ум. в 1340), московский князь; проводил политику объединения русских земель вокруг Москвы. *Ярослав-царь* — Ярослав Мудрый (ок. 978—1054), великий князь киевский. *Царь Иван* — Иван Грозный (см. прим. 22). *Петр* — Петр I. *Епанча фряжская* — старинная верхняя одежда, длинный широкий плащ иностранного производства; фряжская — иноземная. *Царь-Колокол* — колокол, установленный в Кремле (отлит в 1735 г.). *Собор кажется пирогом сказочным* и т. д. — собор Василия Блаженного (Покровский собор), памятник победы над Казанским и Астраханским ханствами (1555—1560).

137—141. Цикл: Окт. 1960. № 12, с подзаг.: «Из новой книги». -- ЭМ-62.

В составе разделов: Л-62 — в разд. «Этот мир»; Л-66 — в разд. «Этот мир»; СС-1 — в разд. «Под одним небом». Датируются на основании датировки разд. в СС-1: 1960—1962 и года первой публикации. А. Дубровин в посвященной циклу статье «Фантазия служит реальности», в частности, пишет: «Здесь — совсем другой Кирсанов. Трагический лирик, остающийся наедине с собой и верный своему внутреннему чувству <...>. О чем этот цикл? О разрушенном счастье любви? О семье, потерпевшей крушение? Пожалуй, так, но смысл произведения глубже и шире: у поэта за *восприятием* события всплывает *мировосприятие*, за *ощущением* факта — *мироощущение*, за *пониманием* случившегося — *миропонимание*. <...> И то, что многообразие мира преломляется у Кирсанова <...> через сугубо индивидуальную трагедию любви, не есть уход от общественной проблематики. Да и в самих интонациях стихотворений этого цикла можно ли отчленить личное от народного! В индивидуальном кирсановском стиле здесь можно уловить черты народных причитаний и плачей, он неотделим от исторического начала, как неотделима от истории жизнь человека» (Дубровин А. Цель художника. М., 1972. С. 257, 266).

1. Окт. 1960. № 12, без загл. -- ЭМ-62, под загл. «На одном свете». -- Л-62. Пласт 1, Пласт 3.

2. Окт. 1960. № 12. РП — с ошибочной датой: 1961. Пласт 1, Пласт 3. В двуязычную антологию «La poésie russe» (Paris, 1965), сост. Э. Триоле, включено три перевода ст-ния — Э. Триоле, Л. Робеля и Э. Гильвика (кроме того, в кн. вошли № 84, 137, 156). Отзываясь на эту публикацию, В. Перцов признавал: «Стихотворение действительно замечательное, его можно поставить по силе выражения в нем горькой необратимости жизни в один ряд с иными верленовскими. Но глав-

ное в том, что, представляя поэта французскому читателю, составительница антологии открывает его и нам с необычной стороны» (Путь поэта к себе // ЛР. 1966, 7 янв. С. 9). О переводе ст-ния на венгерский яз. см.: Ульрих М. Поэтические узы дружбы // Зн. 1968. № 6. С. 251.

3. Окт. 1960. № 12. РП — с ошибочной датой: 1961. Пласт 1, Пласт 3. *Пруды Чистые* — Чистые пруды, бульвар в Москве. *Гербовая гривна* — здесь: серебряное или золотое украшение на шее лошади.

4. Окт. 1960. № 12. -- ЭМ-62. -- Л-62. Положено на музыку А. Томчиным. *Эдем* — библейский земной рай, местопребывание человека до грехопадения.

5. Окт. 1960. № 12, без ст. 37—42. -- Л-62.

142. Ог. 1972. № 24 (см. прим. 56).

*143. ДН. 1962. № 5, в подборке «Этот мир. (Из новой книги)», вместе с № 145—150. -- ЭМ-62. -- Л-62, с вар. -- СС-1. Печ. по СС-1, где автор вернулся к ред. ЭМ-62. *Снова с греха познания зла и добра... Огненный меч у захлопнутых врат*. Познание тайны атомного ядра ассоциируется здесь с библейским эпизодом, повествующим о том, как Ева по наущению дьявола отведала запретный плод, яблоко с древа познания; за это Адам и Ева были изгнаны из рая, Господь же «поставил <...> у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. III, 24).

144. ЛГ. 1961, 13 апр., под загл. «Это — наш первенец». -- ЭМ-62. -- ОЗ-64. Датируется днем полета Ю. А. Гагарина в космос на космическом корабле-спутнике «Восток»: 12 апр. ст-ние было прочитано по Центральному радио.

145. Пр. 1962, 1 янв., под загл. «Этот мир...» -- ДН. 1962. № 5, в подборке «Этот мир. (Из новой книги)» (см. прим. 143), под загл. «Чудо». -- Дороже золота. М., 1962, под загл. «Этот мир...» -- Л-62, под загл. «Чудо». -- Три века русской поэзии. М., 1968, под загл. «Этот мир». -- СС-1. Датируется по Ст-67.

146. ДН. 1962. № 5, в подборке «Этот мир. (Из новой книги)» (см. прим. 143).

147. ДН. 1962. № 5, в подборке «Этот мир. (Из новой книги)» (см. прим. 143).

148. ДН. 1962. № 5, в подборке «Этот мир. (Из новой книги)» (см. прим. 143). -- ЭМ-62. -- СС-1.

149. ДН. 1962. № 5, в подборке «Этот мир. (Из новой книги)» (см. прим. 143). Положено на музыку А. Томчиным.

150. ДН. 1962. № 5, в подборке «Этот мир. (Из новой книги)» (см. прим. 143), под загл. «Этот мир», с вар. -- ЭМ-62. -- Л-62, под загл. «Этот мир». -- СС-1. Печ. по СС-1, где автор вернулся к загл. ЭМ-62. *Пальмиры* — здесь: богатые процветающие города, по назв. древнего г. Пальмира в оазисе Сирийской пустыни, достигшего необычайного расцвета в III в. н. э.

151. Л-62. -- СС-1.

152. ЭМ-62. -- Л-62. *Клин* — город в Московской обл.

153. Л-62. По свидетельству сына поэта В. С. Кирсанова первая ред. ст-ния под загл. «Пасьянс» была написана между 1938 и 1940 гг.

154. Окт. 1962. № 12, вместе с № 154—156, ст-ниями «Удивление» («На это я готов и сам...»), «Хоть умирай от жажды...», «Конец» («Сна-

чала мы письма писали...»), «Горный вид» («Неутомимость водопада...»), «Просьба» («Освободи меня от мысли...»), «Кольцо» («Браслеты — остатки цепей...»). -- Зерк-72.

155. Окт. 1962. № 12 (см. прим. 154). *О, вкушая, вкусих мало меду, и се аз умираю* — сокращенная цитата из Библии (1 Царств, XIV, 43); в церк.-слав. переводе: «Вкушая вкусих мало меду, омочив конец жезла, иже в руку моею, и се аз умираю», в русском переводе: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду; и вот я должен умереть». Именно в таком сокращенном виде была использована в качестве эпиграфа к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

156. Окт. 1962. № 12 (см. прим. 154), под загл. «Жизнь моя...» -- Зерк-72.

157. ДН. 1964. № 1 (подп. к печ. 27.12.63), в подборке «Однажды завтра: Из новой книги», вместе со ст-ниями «Вертолет» («В море тихо. Август. Ветра нет...»), «Воспоминанье» («Ребенку мать про самолет...»), «Несмотря» («И несмотря на все тревоги...»), «Урожай» («Что значит урожай? Он значит...»). -- Иск, без загл. -- СС-4 (восстановлено загл.).

158. НС. 1964. № 5, вместе со ст-ниями «Мир» («И воздух может умереть...»), «Тучи» («Тучи идут, как гуляющие...»), № 159 (1—2), под загл. «Желание». -- СС-4. «Эти серьезные и хорошо взвешенные строки, — писал П. Антокольский, приведя ст-ние, — звучат сегодня достаточно скромно и достаточно гордо в устах поэта. Они более чем уместны как свидетельство искренней и оправданной всей жизнью и всей работой самооценки» (Искатель // ЛГ. 1966, 20 сент). *Дервиш* — нищенствующий мусульманский монах. *Вретище* (др.-р.) — убогая одежда, рубище. *Вервище* (от др.-р. «вервь», «вервие») — веревка.

159. НС. 1964. № 5 (см. прим. 158), под загл. «Две вариации» (в составе ч. 1—2). -- ОЗ-64. *Трение о тернии... римское копье... губы уксусом печет*. Имеются в виду следующие эпизоды Евангелия: когда Иисус был «предан на распятие», римские воины, «сплетши венец из терна, возложили ему на голову» (Мф. XXVII, 29); уже распятому на кресте, «напоив уксусом губку, <...> поднесли к устам его» (Ин. XIX, 30), а когда он скончался, «один из воинов пронзил ему ребра» (Там же, 34).

160. НС. 1965. № 1. -- ОЗ-64. *Головка Греза*. Грез Жан-Батист (1725—1805) — французский живописец; имеется в виду сентиментальность, присущая многим его женским и детским портретам. *Муар* — плотная шелковая ткань с волнообразным отливом.

161. Изв. 1966, 18 сент., вместе с № 162 и 199, с послесл. Б. Слуцкого, под загл. «Желанье». -- Зерк-70. Пласт 4. «В этом упорном до жестокости отрицании даже тени надежды на бессмертие, в этом упорном до самозабвения утверждении творчества как символа жизни заключено органически присущее С. Кирсанову уважение к человеческой личности, вера в ее почти неограниченные способности овладения миром природы» (Лубе С. В поисках прозрачности // Окт. 1971. № 6. С. 220).

162. Изв. 1966, 18 сент., вместе с № 161 и 199. -- Зерк-70. Критик охарактеризовал чувство, выраженное в ст-нии как «боль от сердечной недостаточности и недостаточной сердечности» (Кирзов В. В зеркале судьбы // Юность. 1971. № 6. С. 69). *Пироговская* — Большая

Пироговская ул. в Москве. Данко — герой рассказа А. М. Горького «Старуха Изергиль».

163. ЛГ. 1966, 19 марта, в подборке «Новые стихи», вместе с № 164, 165, 200 и ст-нием «Волшебная комната» («У меня в волшебной комнате...»), под загл. «Сначала!», с вар. -- Зерк-70.

164. ЛГ. 1966, 19 марта, в подборке «Новые стихи» (см. прим. 163), с вар. -- СЭиЦ, без загл. -- Зерк-70. Пласт 4.

165. ЛГ. 1966, 19 марта, в подборке «Новые стихи» (см. прим. 163). -- Ниж. 1966. № 7, в статье: Кирсанов С. Поэзия и палиндром, вместе со ст-ниями «Цирк "Риц". Анонс! — Нона!..» и «Кулинар Лео ел ранний лук...» -- Зерк-70, в ред. ЛГ. *Перевертень* (или палиндром) — особая поэтическая форма, игровое словесное искусство, восходящее к древности; основан на отборе слова, поэтической строки, фразы, одинаково звучащих слева направо и справа налево. В Ниж автор, в частности, писал: «Поэт обязан обладать высоким чувством слова, умением видеть его в глубину, чувствовать его происхождение, знать его родственников, знать его способности выражать множество оттенков смысла и сочетаться с другими словами. <...> Мне хотелось написать перевертень с лирическим оттенком и добиться поэтической естественности в этой труднейшей форме. Только один раз мне удалось приблизиться к выполнению этой задачи. Это "Лесной перевертень"» (С. 75, 77).

166. ДП-1966, вместе с № 167 и ст-нием «Вечность» («Недолговечна вечность...»). «Это та "неслыханная простота", к которой пришли Пастернак и Заболоцкий после долгих блужданий. По-своему подобный путь проделал С. Кирсанов, чье творчество — подлинная энциклопедия поэтического эксперимента. Для Кирсанова в стихе не существует никаких трудностей. Но все чаще пишет он стихи сдержанные и прозрачные. Одно из них я приведу целиком <...>. Вот опять — в который раз — поэзия прикоснулась к "вечной" теме и опять не оставила читателя равнодушным» (Самойлов Д. День русской поэзии // ЛГ. 1966, 15 дек.). Положено на музыку М. Минковым. Пласт 4.

167. ДП-1966, вместе с № 166 и ст-нием «Вечность». *Глаз павлиний осыпается* и т. д. Образ основан на следующем сходстве. Крылья ночных бабочек павлиноглазок украшены крупными глазчатыми пятнами; похожие глазки — на перьях надхвостья павлинов. Подобные «глазки» изображены на крыльях демона, напоминающих павлиньи, на картине М. А. Врубеля «Демон поверженный».

168—170. Ц и к л: СС-З — 7 ст-ний, в т. ч. 1—3, с ошибочной датировкой: 1962—1970.

*1. М. 1961. № 11, с подзаг.: «(Из книги "Московская тетрадь")», с вар. -- ЭМ-62. *Калужское шоссе* — в старину Калужская дорога, ныне — улица в Москве. *Матушка* — императрица Екатерина II (1729—1796). *Граф Воронцов соседит*. Вероятно, имеется в виду один из двух братьев Воронцовых — Александр Романович (1741—1805) или Семен Романович (1744—1832). *Баженовских ворот два кружева кирпичных* — «Фигурные ворота» и ворота «Хлебного дома», построенные по проекту архитектора В. И. Баженова в Царицыно, подмосковной усадьбе Екатерины II. *Венецианские дожи* — правители Венецианской республики (ср. века — конец XVIII в.). *Петергоф* — летняя резиденция русских императоров вблизи Петербурга. *Коньково* — в

старину подмосковная деревня, ныне — местность на Юго-Западе Москвы. *Ей самозванец мнитсся... Третий Петр, исчезнувший куда-то.* Петр III (1728—1762), российский император в 1761—1762 гг.; женился на будущей императрице Екатерине II; был убит в результате организованного ею дворцового переворота. В 1773 г. Емельян Пугачев под именем Петра III поднял восстание яицких казаков. *Теплый Стан* — деревня по соседству с Коньково; в настоящее время — местность на Юго-Западе Москвы. *В фарфоре богдыхана* — т. е. в китайском фарфоре. *Зело* (др.-р.) — весьма. *Зане* (др.-р.) — так как, потому что. *Вольтера бы сюда.* Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694—1778) — французский философ, писатель, историк. Состоял с Екатериной II в переписке. *Десна* — река в Подмосковье.

2. Ог. 1962. № 41, 7 окт., с вар. — ОЗ-64. РП — с ошибочной датой: 1964. *Наполеон I Бонапарт* (1769—1821) — император Франции. *Багратиона флешы.* Генерал, князь Петр Иванович Багратион (1765—1812) в Бородинском сражении командовал левым крылом русской армии. Багратионовы флешы у деревни Семеновской сыграли важную роль в отражении наступления французов. Флешы — полевое укрепление в форме тупого угла, оснащенное пушками. *Раевского видны редуты.* Генерал Николай Николаевич Раевский (старший) (1771—1829) успешно руководил защитой центральной части бородинской позиции, Курганной батареи. Редут — пятиугольное земляное укрепление с валом, рвом и гнездами для орудий. *Кирасиры* — тяжелая кавалерия. *Давыдов Денис Васильевич* (1784—1839) — русский поэт; в годы Отечественной войны руководил партизанским отрядом. *Позументы* — галуны, тесьма, шитая золотом и серебром. *Кутузов Михаил Илларионович* (1745—1813). *Красных петухов он видит под Москвою* — московский пожар 1812 г., уничтоживший две трети зданий города. *Березинский снег.* При переправе через приток Днепра Березину отступавшей французской армии был нанесен сильный удар; сам Наполеон едва не попал в плен. *Цейс* — бинокль производства фирмы оптических приборов, основанной К.-Ф. Цейсом в г. Йена (Германия) в 1846 г. *Вильгельм* — см. прим. 25. *Спутник-шпион* — искусственный спутник Земли с аппаратурой для сбора разведывательных данных.

3. Пр. 1967, 29 марта, без ст. 31—36 и 43—54, с вар. -- Зерк-70, под загл. «Двадцатые годы». -- Зерк-72, с восстановленным загл. «В сентябре дважды показывалась передача о поэзии Семена Кирсанова. Мы слышали голос поэта, читавшего стихотворение "Утренние годы", и одновременно видели репортаж с выставки "Москва-Париж", передававший колорит начала века, творческий порыв двадцатых годов. И казалось, что показывают синхронный репортаж, который ведет известный ученик Маяковского, неутомимый экспериментатор стихосложения. И обнажились истоки его поэзии» (Карпейский Ю. Истоки стиха: Об одной телепередаче из цикла «Поэзия» // Сов. культура. 1981, 3 нояб.). *На гарьяльскую щель Мясницкой* и т. д. В 1922 г., приехав с Дальнего Востока, Асеев (см. прим. 38) поселился во Вхутемасе, на узкой, застроенной высокими домами Мясницкой (д. 21). Ср. в поэме Асеева «Автобиография Москвы»: «Зажатый в провалах Мясницкой, / в ущелье у Красных ворот...» *Был на двери фанерный лист* и т. д. «Дверь в нашу комнату была из фанеры, окрашена мелом. Когда кто-нибудь из друзей и знакомых приходил к нам и не заста-

вал дома, то оставлял свою подпись на белой странице двери. Так постепенно с течением времени почти вся дверь заполнялась автографами. Хорошо сказано об этом в стихах Семена Кирсанова, описавшего в них то далекое время» (Асеева К. М. Из воспоминаний // Воспоминания о Николае Асееве. М., 1980. С. 25; далее полностью приводится ст-ние). *Каменский* Василий Васильевич (1884—1961) — поэт-футурист, товарищ Кирсанова по Лefу. *Творец «Лейтенанта Шмидта»* — Б. Л. Пастернак, автор поэмы «Лейтенант Шмидт» (1929). *Коляга* — так друзья звали Николая Асеева. «*Советский паспорт*» — «Стихи о советском паспорте» (1929) Маяковского. *Всходил на помет Чернышевский*. Имеется в виду ст-ние Асеева «Чернышевский» (1929), в частности, фрагмент, посвященный гражданской казни Чернышевского. *Мчались сани синих гусар*. Имеется в виду ст-ние Асеева «Синие гусары» (1925). *Мейерхольдовские конструкции* — конструктивистские декорации театральных постановок режиссера Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874—1940). *Моссельпромовские ларьки* в первые послереволюционные годы часто оформлялись художниками-кубистами. Моссельпром — Московское объединение предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности. *Тень «Потемкина» на экране* — кинофильм режиссера С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»» (1925). *Башня Татлина* — в чертеже. Татлин Владимир Евграфович (1885—1953) — художник-конструктивист, автор памятника-башни III Интернационала (1919—1920), осуществленного не только в чертеже, но и в виде модели. *Бугеновской песни повист и т. д.* — «Марш Бугенного» («С неба, полуденного...») из поэмы Н. Асеева «Буденный» (1923).

171. Окт. 1967. № 12. -- Зерк-70. -- Зерк-72. -- СС-4. Пласт 4. *Шестая заповедь* — одна из десяти заповедей пророка Моисея (Библия, Второзаконие). *Беатриче* — см. прим. 17. *Лаура* — героиня любовной лирики Ф. Петрарки. *Лючия* — христианская святая; покровительствовала путешествию Данте по аду и чистилищу в «Божественной комедии» Данте Алигьери. *Дуэль среди снегов* — дуэль Пушкина с Дантесом. *Наталия Пушкина* — Пушкина (урожд. Гончарова) Наталья Николаевна (1812—1863), жена А. С. Пушкина. *Аще* (др.-р.) — если, хотя. *День седьмой*. По Библии, после того как Бог за шесть дней сотворил землю и все живущее на ней, седьмой был днем отдохновения. *Тя* (др.-р.) — тебя. *Терзавшие Спасителя тернии* — см. прим. 159). *Персть* (церк.-сл.) — пыль, прах. *Вий* (веко, укр.) — персонаж одноименной повести Н. В. Гоголя, предводитель нечистой силы, старик с веками до земли.

172. М. 1967. № 5, вместе с № 173 и ст-нием «Птицы» («Над Калужским шоссе провода...»). -- Зерк-70. «Стихотворение центральное <в Зерк-70>, потому что служит одним из центров, откуда целесообразно начинать отсчет в оценке этого сборника. Стихотворение центральное, потому что в нем, как в зеркале, отразилась многоплановость книги и разноплановость поэзии Кирсанова. Потому что в нем Кирсанов един во всех планах. <...> Однако дело не в технологии, которую так принято выделять у Кирсанова в особый план. В этом стихотворении ключ к пониманию другого, не столь явного, хотя и тематического плана книги: о чем бы ни были его стихи <...> — это всегда стихи о себе, стихи о художнике, снявшем для своих "картин

странного письма" метафорический чердак, как вся его книга "Зеркала" — его отражение в зеркале своей судьбы» (Кирзов В. В зеркале судьбы // Юность. 1971. № 6. С. 69).

173. М. 1967. № 5, вместе с № 172. *Харон* (греч. миф.) — перевозчик, переправлявший души умерших через реки подземного царства до врат Ада. *Лорелея* — см. прим. 81.

174. Зн. 1969. № 1, в подборке «Из книги "Зеркала"», вместе с № 175—177, «Мой предок» («Мой предок пещерный! Ты — я...»), «Сумчатость» («Среди рисунчатых зверей и змей...»), «Любезность» («Любезность — не любовь...»). -- Зерк-70. Пласт 3.

175. Зн. 1969. № 1, в подборке «Из книги "Зеркала"», вместе с № 174, 176, 177.

176. Зн. 1969. № 1, в подборке «Из книги "Зеркала"», вместе с № 174, 175, 177. -- Зерк-70.

177. Зн. 1969. № 1, в подборке «Из книги "Зеркала"», вместе с № 174—176, с вар. -- Зерк-70.

178. Зн. 1968. № 12, вместе с циклами «На былинных холмах» и «Больничная тетрадь», в цикле «Две песни», с № 179. Положено на музыку Д. Тухмановым. Пласт 4.

179. Зн. 1968. № 12 (см. прим. 178). -- Зерк-70.

180—186. Ц и к л: Ниж. 1964. № 12, под назв. «Год спокойного Солнца», с ред. предисл.: «В течение этого года Кирсанов побывал в некоторых научных институтах, в частности, в Крымской астрофизической обсерватории. Там и были написаны стихи, которые журнал «Наука и жизнь» предлагает читателю» — 4 ст-ния, в т. ч. 2, 3. -- Зн. 1968. № 12 — 6 ст-ний, в т. ч. 2, 5. -- Зерк-70 — 14 ст-ний, в т. ч. 1—3, 5—7. -- Зерк-72 — 15 ст-ний, в т. ч. 1—7. -- СС-4 — 15 ст-ний, в т. ч. 1—7, с ошибочной датировкой: 1966—1970. Цикл посвящен Крымской астрофизической обсерватории (основана в 1908 г.). Важнейшие направления исследований связаны с изучением физических процессов в атмосферах звезд и Солнца, а также туманностей и звездных систем. В рец. на Зерк-70 И. Озерова писала: «В разделе «На былинных холмах» столько же науки и фантастики, сколько вошло ее в сегодняшнюю жизнь, столько же незаметной повседневности, сколько ее в жизни любого ученого или поэта. В этом разделе есть космический размах и дотошное внимание к земным мелочам» (С делами на сто лет вперед // ЛР. 1970, 25 дек. С. 16).

1. ЛГ. 1964, 15 сент. -- Иск. -- Зерк-70. *Херсонес* — мыс западнее Севастополя. *Бахчисарай* — столица Крымского ханства до присоединения Крыма к России (1783). *Коронграф* — астрономический инструмент для фотографирования солнечной короны. *Хромосфера* — один из слоев солнечной атмосферы, имеющий окраску алого цвета; состоит из большого числа мелких протуберанцев. *Звезда сверхновая* — звезда, испытавшая катастрофический взрыв, за которым обычно следует гигантское увеличение ее блеска; через 2—3 недели блеск начинает ослабевать. *Крабоподобная туманность* — галактическая туманность, возникшая в результате вспышки в 1054 г. сверхновой звезды в созвездии Тельца. *Опалесцентное пятно*. Опалесценция — явление рассеяния света в мутной среде.

2. Ниж. 1964. № 12, с вар. -- Зн. 1968. № 12, под загл. «В обсерватории». -- Зерк-70. *Весы и Стрелец* — созвездия. *Спиральные галак-*

тики — один из основных типов галактик; имеют ядро (сверхплотное тело), вокруг которого вращаются звезды и межзвездное вещество. *Черномор*, *Людмила* — персонажи поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». *Голубые гиганты и желтые карлики* — звезды больших размеров и высоких светимостей и, напротив, малых размеров и невысоких светимостей.

3. НиЖ. № 12. -- Зерк-70. *Соляные столбы* (столпы). Имеется в виду библейский эпизод, повествующий о том, что когда праведник Лот с женой и детьми покидал обреченный на гибель город Содом, жена его, нарушив запрет ангелов, оглянулась и была превращена в соляной столп. *Убивали Лумумбу*. Лумумба Патрис Эмери (1925—1961) — первый премьер-министр независимой Республики Конго (ныне — Республика Заир); в 1960 г. был отстранен от власти и затем злодейски убит.

4. Зерк-72.

5. Зн. 1968. № 12. -- Зерк-70. Звезды, писал критик, «напоминают о судьбе человека <...> Смерть звезды воспринимается такую же болью, как могла бы быть воспринята смерть дерева под окном. А блистательные Весы и Стрелец включены в тот мир, который влечет человека. Мертвые луны-шары — не только метафора, но и образ знания того, что происходит в звездном небе. И с какой силой и грустью напоминает почти бесконечная жизнь все же погибшей звезды о коротком человеческом веке, о необходимости придать ему доброе и значительное направление.<...> Отстранение Кирсанова от быта есть приспособленность к жизни в ее обобщающем значении, к ее почти невыносимому разрыву, в котором страшно затеряться. Но, зная эти масштабы, Кирсанов уже не может отвернуться от них, укрыться в малой природе, в переживании частного чувства.<...> Он хочет стоять перед лицом всего, о чем мы можем мыслить и догадываться, перед всей бездной жизни и небытия, которую способно объять наше воображение» (Урбан А. Называя имена // Зв. 1971. № 5. С. 187).

6. Иск. Пласт 4.

7. Зерк-70. «*Возьми свой огр!*» Имеется в виду эпизод из Евангелия, рассказывающий об исцелении Иисусом прикованного к постели больного и его слова: «Тебе говорю: встань, возьми постель свою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми...» (Мк. II, 11—12). *Огр* — постель. *Чатырдаг* — горный массив центральной части Главной гряды Крымских гор. *Собор Петра* — собор св. Петра в Риме. *Хохлома* — село в Нижегородской обл., центр народного художественного промысла — изготовления деревянной расписной посуды. *Вифлеемская звезда*. Вифлеем — город в Палестине, по преданию, место рождения Христа. Увидев на востоке движущуюся звезду, волхвы (восточные мудрецы) пошли за нею, пришли к месту, где находился новорожденный, и поклонились ему.

187—200. Ц и к л : Зн. 1968. № 12 (см. прим, 178) — 3 ст-ния: 1, 5, 11. -- ДП-1969 — 8 ст-ний, в т. ч. 4, 6, 7, 9, 10, 12, а также № 201, 202. -- Зерк-70 (сдано в набор 3.6.1969) — 1—14. -- Зерк-72 — 16 ст-ний, в т. ч. 1—14, а также № 202 и «Осторожно» («Осторожно входит весна...»). -- СС-1 — 1—14, с ошибочной общей датой: 1964—1972. Цикл вызвал разноречивые отзывы критики. С. Соложенкина в рец. на ДП-1969 писала: «Не может не тревожить и *апология боли*, звучащая

в "Больничной тетради" С. Кирсанова. Когда-то боль нужна была поэту для преодоления ее <...> (далее приводится последняя строфа ст-ния «Творчество», № 102. — Э. Ш.). Теперь высокая боль творчества уступила место боли как таковой, боли-"богу", которому он и "болится" (в смысле — "молится") Что ж... Можно — и даже талантливо — писать о смерти во всей ее физиологической безысходности <...>. Грустно не то, что пишут о грусти, а то, что грусть эта лишена пространственных измерений: в ней нет ни глубины, ни высоты» («Поэзия — мед великанов...» // ЛР. 1970, 1 янв.С.11). «Раздел "Больничная тетрадь", — писал А. Урбан, — весь построен на изломах ритма, переносных рифмах, на болезненных ассоциациях, оправданных, впрочем, темой: "Боль — божество божеству, ему, качаясь, болишься, держась за болову, шепча болитвы". Но правда то, что это не главное. Просто это признаки установившегося стиля, выучки, свойственной поэту, уровень и лад мастерства» (Жизненные основания поэзии // ВЛ. 1971. № 4. С. 29). В ст-нии «Боль болей», считает В. Ильин, «поэт дошел до крайности в своем пренебрежении смысловым содержанием слова и поэтического языка <...>. Тот же поэт посвятил свою музу им же изобретенным "никудамикам". <...> Что это такое? Определенного характера комедийность? Упражнения в версификации?» (Луч слова: Его изобразительность и выразительность. М., 1973. С. 27—28). А. Вознесенский отвечал на подобные упреки: «Когда серебряный, легкий, как перышко, уже почти бестелесный Семен Кирсанов пел: "Время тянется и тянется, / люди смерти не хотят, / с тихим смехом: "Навсегданыца!" — / никудамики летят", — эти "никудамики" воспринимались снобами как игра в слова, "штучки-дрючки". Но за этим стояло иное — судьба и личность поэта» (Структура гармонии: Ответ критику Адольфу Урбану // ВЛ. 1973. № 4. С. 79). «Его больничные стихи, — отмечал впоследствии К. Ваншенкин, — грустны — а как же иначе? И в то же время в них, прощальных, есть что-то свободное, раскрепощенное, чистое. Слово взгляд в будущее» (Ваншенкин К. Из книги «Поиски себя» // ВЛ. 1983. № 11. С. 178).

1. Зн. 1968. № 12, под загл. «Сон в палате». -- Зерк-70. *Пантопон* — болеутоляющее и снотворное средство.

2. Зерк-70.

3. Зерк-70. -- СС-1.

4. ДП-1969.

5. Зн. 1968. № 12. -- Зерк-70. -- Зерк-72.

6. ДП-1969, под загл. «Бог боли». — Зерк-70. *Или или лама савахфани?* (др.-евр.) — «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» — последние слова, произнесенные распятым Христом перед смертью (Мф. XXVII, 46). *Мя* (др.-р.) — меня.

7. ДП-1969, с вар. -- Зерк-70. -- Зерк-72. -- СС-1 (возврат к вар. Зерк-70). Пласт 4.

8. Зерк-70.

9. ДП-1969. -- Зерк-70.

10. ДП-1969, под загл. «Зима». -- Зерк-70.

*11. Зн. 1968. № 12, с вар. -- Зерк-70. Положено на музыку Д. Тухмановым. Первой строкой ст-ния — «Жил-был я» — назвал свою пьесу драматург А. Штейн.

12. ДП-1969, под загл. «Осень». -- Зерк-70.

13. Изв. 1966, 18 сент., вместе с № 161 и 162. -- Зерк-70.

14. ЛГ. 1966, 19 марта, в подборке «Новые стихи» (см. прим. 163), с др. порядком строк. -- Ст-67, без 6-й строфы. -- Зерк-70. Датируется по Ст-67. Пласт 4. *Краесловия* — здесь: рифмы. *Песнь Песней* — сборник вошедших в Библию любовно-свадебных песен, приписываемых древнееврейскому царю Соломону (X в. до н. э.)

201. ДП-1969, в цикле «Больничная тетрадь» (см. прим. 187—200). Пласт 4.

202. ДП-1969, в цикле «Больничная тетрадь» (см. прим. 187—200). Загл. заимствовано у Э. По — ст-ние «Сон во сне» («Вот — я в лоб целую вас...»).

203. Зерк-70. Пласт 4. «Как иллюзионист в футлярах с двойными стенками прячет свой эффектный трюк, так в словесном фейерверке Кирсанов часто скрывает главный вопрос всей книги. Лишь иногда этот вопрос звучит в откровенном обнажении: "Братцы, что ж нам делать? Как прожить без смерти?"» (Дардыкина Н. Поэзия, ремесло мое... // МК. 1970, 31 июля).

204. Зерк-70. Пласт 4. «...Неуловимо легкой импровизацией на тему солнечного летнего дня он утверждает *само бессмертие*. Такова его "Июньская баллада" — цепь радостных видений, из которых самая яркая метафорична — "как кувшин из белой глины, свет стоит в саду". И в этот свет «сыплется сирень», а еще есть здесь лира Орфея — куст сирени, Эвридика тень, комариная Терпсихора, а всё вместе — радость вечного обновления жизни» (Дардыкина Н. Поэзия, ремесло мое... // МК. 1970, 31 июля). «...Автору удалось самое трудное — запечатлеть свет одного дня...» (Малярова И. [Рец.] // Зв. 1971. № 11. С. 220). *Сирены* (греч. миф.) — полуптицы-полуженщины, своим пением завлекавшие моряков в опасные места, где они погибали. *Орфей в аду* и т. д. В поэме Овидия «Метаморфозы» рассказывается, в частности, о том, что когда нимфа Эвридика, жена великого певца Орфея, умерла, тот спустился в царство мертвых Аид и пением своим сумел очаровать его обитателей и самого бога Аида, который согласился отпустить Эвридику. *Терпсихора* (греч. миф.) — муза танцев.

205. ЛР. 1969, 14 нояб., в подборке «Из книги "Зеркала"», вместе с № 206, 207. -- Зерк-70. Пласт 4. Датируются с учетом времени первой публ. и датировки раздела «Признания» в СС-4: 1969—1972, куда вошли все три ст-ния. *Робинзон* — см. прим. 41.

206. ЛР. 1969, 14 нояб., в подборке «Из книги "Зеркала"», вместе с № 205, 207. *Вальпараисо* — портовый город в Чили.

207. ЛР. 1969, 14 нояб., в подборке «Из книги "Зеркала"», вместе с № 205, 206. -- Зерк-70. -- Зерк-72.

208. Зерк-70.

209. ДП-1972, с вар. — Зерк-72. Датируется по авториз. маш. ЛА. Ст-ние восходит к «Божественной комедии» Данте, ч. 1. «Ад», песнь 1-я. Относится к «фигурным стихам» и графически связано с изображением ада в «Божественной комедии» в виде подземной воронкообразной пропасти, которая, сужаясь, достигает центра земного шара, склоны же ее опоясаны концентрическими кругами. «А его трагический "Ад", последняя вещь поэта, безысходно вписанная в форму ромба? Сколько отчаяния, такой тоски было в этой откосной ворон-

ке! Изон? Хохма? Штукарство? <...> Как хотелось бы, чтобы исчезла предвзятость к восприятию художника, подозрительность к его методу» (Вознесенский А. Структура гармонии: Ответ критику Адольфу Урбану // ВЛ. 1973. № 4. С. 79). *Терцины* — трехстрочные ямбические строфы с перекрестной рифмовкой, завершающиеся отдельно стоящей строкой, которая рифмуется со средней строкой последнего трехстишия; терцинами написана «Божественная комедия». *Франческа? Она? Да Римини?* и т. д. Франческа, выданная замуж за хромого уродливого сына вождя риминийских гвельфов, вступила в любовную связь с его младшим братом Паоло; супруг убил их обоих. Вместе с Паоло «помещена» Данте во второй круг Ада, где томятся сладострастники («Ад», песнь 5-я). *Оставьте у входа надежду!* — надпись на вратах Ада («Ад», песнь 3-я).

210. Окт. 1971. № 10, в подборке «Из новой книги», вместе с № 211, 212, ст-нием «Осторожно...» («Осторожно входит весна...»); под загл. «Рифма», с общей датой -- Зерк-72. -- СС-4. Перекликается со ст-нием А. С. Пушкина «Рифма, звучная подруга...»

211. Окт. 1971. № 10, в подборке «Из новой книги» (см. прим. 210). *И чтобы сатана... пел арию Шаляпина* — т. е. арию Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст», исполнявшуюся Ф. И. Шаляпиным; опера создана на основе 1-й части трагедии И. В. Гете. *Гретхен* (уменьшит. от «Маргарита») — героиня «Фауста» Гете и Гуно.

212. Окт. 1971. № 10, в подборке «Из новой книги» (см. прим. 210). -- Зерк-72.

213. Зерк-72. Автограф, без загл., с вар. — в письме к Л. М. Кирсановой из больницы от 14 авг. 1971 г. «Но если окажется что-нибудь реальное, — писал Кирсанов, — выпишусь, тем более, что осточертело блуждать по коридору <...>. Изредка что-то пишу. Вот одно маленькое (следует текст ст-ния. — Э. Ш.). Вот так я провожу время. К счастью, оно приходит к концу» (ЛА). *Святой Себастьян* — христианский мученик III в., расстрелянный из луков.

214. Ог. 1972. № 24 (см. прим. 56). Автограф ЛА. Вариация на тему черного наброска (начала) ст-ния А. С. Пушкина «В голубом небесном поле...»; ср. у Пушкина: «Старый дож плывет в гондоле / С догарессой молодой». *Догаресса* — супруга дождя (см. прим. 124). *Доп* (долговременная огневая точка) — оборонительное сооружение, снабженное пулеметами или артиллерией. *Дожд* — автомобиль американской марки. *Пулковские высоты* — возвышенность под Ленинградом, место ожесточенных боев в период Великой Отечественной войны. *Мост Вздох* — мост в Венеции, связывает *Палаццо Дожей* (см. прим. 124) со зданием тюрьмы.

215. Ог. 1972. № 24 (см. прим. 56), под загл. «Реквием». -- Зерк-72. Пласт 4. «Жизнь <...> завершилась страшной смертельной болезнью, — писала М. Алигер в некрологе Кирсанова. — И он все знал, все понимал и продолжал жить, продолжал спорить, продолжал побеждать. И разве же не победно звучал живой голос Семена Кирсанова над гробом, в котором лежал мертвый Семен Кирсанов <...> (приводится 4-я строфа ст-ния. — Э. Ш.). Эти прелестные стихи писал тяжело больной, обреченный человек, проживший нелегкую большую жизнь» (Алигер М. Прощание с другом // ЛГ. 1972, 20 дек.).

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ

216. Авт. маш. ЛА. Датировано, как и № 217—219, 240 в 1970—1971 гг., кр. карандаш. *Гекзаметр* — стихотворный размер в античном стихосложении, шестистопный дактиль; им написаны «Илиада» и «Одиссея» Гомера.

217. Авт. маш. ЛА (см. прим. 216). *Осень, как ты солога!* Солодкий (обл.) — сладкий. *Озор* (обл.) — горизонт.

218. Авт. маш. ЛА (см. прим. 216). *Ржут коняги у Руенца* — перифраз строки из «Слова о полку Игореве»: «Кони ржут за Сулой». Руенц (ныне Руиена) — старинный городок в Лифляндской губ. (соврем. Латвия).

219. Авт. маш. ЛА (см. прим. 216). *Северский фарфор* — фарфор производства Севрской мануфактуры (Франция), основанной в середине XVIII в. *Киноварь, умбра, лазурь* — красная, защитного цвета и светло-синяя краски. *Зурна* — см. прим. 5. *Тинторетто* Якопо (1518—1594) — итальянский живописец.

220. Автограф ЛА, б. д. 1-й вар. загл.: «Больничные развлечения» (2-е слово зачеркнуто). Тематическая связь с № 13 и цифра «8» (зачеркн.: «9») перед загл. дают основание предполагать, что ст-ние являлось 8-й главкой поэмы (вероятно, неоконченной) «Мери-наездница». *Рыжий* — см. прим. 13.

221. Неавториз. маш. ЛА, б. д. Перекликается с № 17 и ст-нием «Разговор в кофейне. (Баллада шуточная)» («Вечер — это пароход...», <1926>).

222. Неавториз. маш. ЛА, б. д. *Свислочь* — приток Березины, в свою очередь являющейся притоком Днепра. *Вий* — см. прим. 171. *Если Несыть взорвут*. Речь идет о предстоящем строительстве Днепрогэса, начатом в 1927 г. Несыть — один из днепровских порогов.

223. Авт. маш. ЛА. *Витрина «Коммунара»*. В Москве в то время существовала многопрофильная система магазинов Рабочего общества потребителей «Коммунар».

224. Автограф ЛА, б. д. *Северские амфоры* — см. прим. 119. Амфора — древнегреческий сосуд яйцеобразной формы с ручками.

225. Авт. маш. ЛА. *Так надо было — за полярный круг меня швырнуть*. В августе 1941 г. в составе редакции фронтовой газеты Кирсанов был направлен на Карельский фронт, в район Кандалакши, Кестеньги.

226. Авт. маш. ЛА. *На дне глинобитной пустынной реки... угут Ермаки*. Ермак Тимофеевич (между 1532 и 1542—1585) — казачий атаман, положил начало освоению Сибири; утонул во время боя с ханом Кучумом. *И сомы серебристые читают «На дне»*. «На дне» — пьеса А. М. Горького; речь идет о разбросанных во время наступления гитлеровцев книгах. *Казнены, словно Разины*. Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) — донской атаман, предводитель Крестьянской войны 1670—1671 гг.; был выдан царскому правительству и казнен.

227. Авт. маш. ЛА. *«Ауга»* — опера Д. Верди; *Рагамес* — герой оперы, начальник стражи фараона, возлюбленный Аиды (тенор).

228. Авт. маш. ЛА. Ст-ние перекликается с послесловием поэмы «Эдем» (№ 250). *Петя Незнамов* — Незнамов (наст. фамилия — Лежанкин) Петр Васильевич (1889—1941) — поэт, активный участник Лефа;

погиб на фронте. *Фома Смыслов* — герой листовок Кирсанова «Заветное слово Фомы Смылова, русского бывалого солдата». *Раек* — русский фольклорный стих со свободным количеством слогов и расположением ударений; широко применялся в качестве текстов для народного кукольного театра. Раешным стихом написаны «Заветное слово...», «Сказание про царя Макса-Емельяна...» и «Высокий раек» (см. № 249, 255 и 256).

229. ДП-1973, вместе с № 236, 240, 242 и ст-нием «Шмель» («Из безлиственного края...»), публ. Л. Кирсановой. Авт. маш. РГАЛИ, фонд ред. Окт, с вар. — в составе поэмы «Выше жизни» (1-я ред. поэмы «Небо над Родиной» — см. прим. 252), где входит в явл. 4-е как монолог Молодого облака, с вар. Датируется как «Выше жизни» (см. прим. 252). О Пушкин золотого леса и т. д. Имеются в виду отдельные стихи, а также характерные для творчества упоминаемых поэтов темы: ст. «В багрец и золото одетые леса...» («Осень. (Отрывок)» и вообще тема осени в лирике А. С. Пушкина; «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая...») и др. стихи о грозе Ф. И. Тютчева; «На севере диком стоит одиноко...» (перевод ст-ния Г. Гейне) М. Ю. Лермонтова; сельская тема у Н. А. Некрасова; символистские мотивы лирики А. А. Блока; современность тематики стихов Б. Л. Пастернака; математические расчеты В. В. Хлебникова, на основе которых он составил таблицу с датами великих потрясений (в частности, в 1912 г. предсказал русскую революцию 1917 г.), а также его словотворчество; частые у В. В. Маяковского обращения в стихах непосредственно к человеку и его поэма «Человек» (1917).

230. ИСт-56, под загл. «Музыка», др. ред., с ошибочной датой: 1943. Печ. по ДП-1974 — значительно переработанный вар., вместе со ст-нием «Медаль» («Боец лежал в траве примятой...»). набросок (маш. с авт. правкой), под загл. «7-я Симфония» — РГАЛИ, арх. А. Е. Крученых, альбом «Встречи» (1 янв. — 1 мая 1944); там же — экспромт Кирсанова (автограф):

Композитор Шостакович
зал в волнение погрузил,
даже критик-бестолкович
ничего не возразил.

Далее в том же альбоме — др. посвященный Шостаковичу экспромт — «На мансарде» (1949) и 2 рис. Кирсанова: Шостакович за роялем. Ст-ние посвящено прорыву ленинградской блокады, начавшемуся на рассвете 14 янв. 1944 г. небывало мощной артиллерийской канонадой. Не случайно эта победа ассоциировалась у поэта с Седьмой («Ленинградской») симфонией Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906—1975), законченной в осажденном Ленинграде 27 дек. 1941 г. и, как писал композитор, посвященной «нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу — Ленинграду...» С Шостаковичем Кирсанов был знаком с 1920-х гг.; на его стихи композитор написал свою Третью симфонию — «Первомайскую» (1929). *Казанский собор* на Невском пр. построен по проекту архитектора А. Н. Воронихина. *Ораниенбаум* (ныне г. Ломоносов), *Пулково*, *Кронштадт* (расположен на о. Котлин в вост. части Финского залива) — пригороды Ленинграда.

231. Авт. маш. ЛА.

232. Авт. маш. ЛА. Сообщая время создания этого ст-ния и № 233—235, Людмила Михайловна Кирсанова (жена Кирсанова с 1960 г.) писала: «...Они присылались мне в письмах в Заилийскую ледниковую экспедицию (Тянь-Шань), где я была в 1957—1958 гг.» (письмо Э. М. Шнейдерману от 25 апр. 1989 г.).

233. Авториз. маш. ЛА, в письме к Л. М. Кирсановой от 10 июля 1958 г. (см. прим. 232). Написано в ответ на ее просьбу прислать ст-ние «из тех, что ты еще не написал и не знаешь сам, о чем они... Только совсем сразу, пусть даже о воробьях или крапиве» (письмо из Алма-Аты от 3 июля 1958 г.).

234. Неавториз. маш. ЛА (см. прим. 232).

235. Неавториз. маш. ЛА (см. прим. 232).

236. ДП-1973 (см. прим. 229). *Хвостовы*. Хвостов Дмитрий Иванович (1757—1835) — поэт-графоман, эпигон классицизма; отличался чрезвычайной плодовитостью и необычайной активностью в распространении собственных стихов.

237—238. Авт. маш. ЛА.

239. Авт. маш., б. д., ЛА. *Слепой, как протей*. Протей — животное из отряда хвостатых амфибий, имеющее наружные жабры, покрытые кожей глаза и живущее в пещерах.

240. ДП-1973 (см. прим. 229). Авт. маш. ЛА., под загл. «Достоевский», др. ред., с датой «28», кр. каранда.

В основу ст-ния положена ситуация, в которой очутился Ф. М. Достоевский в 1865 г., когда он, живя в Висбадене, начинал работу над романом «Преступление и наказание». Ст-ние переключается со след. фрагментом кн. Л. Гроссмана «Достоевский» (М., 1962. ЖЗЛ): «За пять дней в Висбадене он проигрывает на рулетке все, что имеет, вплоть до карманных часов. Если в Петербурге осаждали кредиторы и непрерывно томила угроза описи имущества и долговой тюрьмы, теперь наступает настоящая нужда с самым реальным голодом» (С. 337). Достоевский отправил план будущего романа редактору журнала «Русский вестник» Михаилу Никифоровичу Каткову (1818—1887) и тот немедленно выслал ему аванс в триста рублей. «В этих условиях Достоевский приступал к работе над своим величайшим созданием <...>. Все действие романа обусловлено в своих истоках проблемой денег» (Там же. С. 337, 338). *Сонник* — см. прим. 33. *Соня*, *Сонька Мармеладова* — одна из героинь романа, дочь титулярного советника. *Драдегамовый платок*. «Большой драдегамовый зеленый платок», общий на всю семью Мармеладовых, неоднократно упоминается в романе. Драдедам (фр.) — полусукно. *Деревянная скамейка... деньги в свертке* и т. д. — детали, фигурирующие в главе, повествующей об убийстве главным героем романа Раскольниковым старухи-процентщицы. *Циммермановский цилиндр* — цилиндр производства известной в XIX в. петербургской шляпной фирмы Циммермана.

241. Авт. маш., б. д., ЛА; там же ранний вар. — авт. маш., с датой: 1938. По свидетельству Л. М. Кирсановой (письмо Э. М. Шнейдерману от 25 апр. 1989 г.), ст-ние дорабатывалось в 1970—1971 гг.

242. ДП-1973 (см. прим. 229). «“Икар снов...”», — рассказывает Л. М. Кирсанова, — написано в 1971 г. Кирсанов шуточно сказал как-то вечером (в один из последних светлых вечеров): “Хочешь, напишу стихи из слова ‘Кирсанов’?..”» (письмо Л. М. Кирсановой Э. М. Шнейдерману от 25 апр. 1989 г.). В основе ст-ния, демонстрирующего содержательность

формы, лежит игровой элемент, детская игра в слова. Используя минимальные средства, всего лишь 8 букв собственной фамилии, поэт, путем их перестановки, образует целый ряд слов, составивших в сумме смысловое единство. Это ст-ние, которое может быть названо «поэтическим автографом», имеет аналогию в музыке (где каждая буква соответствует определенной ноте), когда композитор из букв фамилии (часто — собственной) или инициалов создает «музыкальный автограф» или «музыкальную монограмму» — музыкальную тему, разрабатываемую затем (напр., у И.-С. Баха в полифоническом цикле «Искусство фуги» одна из тем неоконченной тройной фуги построена на звуках, соответствующих буквам фамилии композитора: В-а-с-h; Шостакович в 10 симфонии одну из тем 3-й и 4-й частей строит на звуках, составляющих в немецком написании инициалы автора: d-es-c-h = D. Sch).

ПОЭМЫ

*243. Полностью: Новый ЛЕФ. 1927. № 8/9, с вар. -- Кирсанов С. Моя именинная: Поэма. М.; Л.: ЗИФ, 1928. -- Иск.

Отдельные главы: С-31: гл. 11, под загл. «Из поэмы "Моя именинная"»; ИК: гл. 5; ДПР: гл. 4, под загл. «Глава сладостная», гл. 5, под загл. «Глава сказочная», гл. 11 с присоединенным к ней ст-нием «Как ребята-октябрюта, лишних слов не говоря, полетели за моря» («Октябрюта — белокуры...», 1926), под загл. «Глава утренняя», с вар.; Соч-54. Т. 1: гл. 5, под загл. «Из "Моей именинной поэмы"».

Впервые Кирсанов публично прочел поэму на редакционном собрании журнала «Новый ЛЕФ» 4 окт. 1927 г. Как он вспоминал, Маяковский «после прочтения "Моей именинной" <...> сказал:

— Все вещи — проба, а это настоящий голос. К десятилетию подарил республике хорошего поэта.

Тут же попросили прочесть поэму второй раз. Сидел я за столиком у телефона. В. В. взял салфетку, обмахнул сиденье стула, что стоит со стороны входа в кабинет, и сказал:

— Вот вам трон.

Поставил бокал и добавил:

— Вот вам фиал» (1939. ГММ. Цит. по: Катаян. С. 577).

Маяковский, вспоминала Л. Ю. Брик, «Кирсанова встречал словами: "Поцелуй бойца Семена в моложавый хвост" (вместо: "моложавый ус") (гл. 11. — Э. Ш.) <...> Часто читали вслух "Именинную" Кирсанова. За утренняя завтрак Маяковский садился, напевая: "и яичницы ромашка на сковороде" (гл. 11. — Э. Ш.)» (Брик Л. Ю. Чужие стихи: Глава из «Воспоминаний» // МвВС. С. 347—348). О том же писала В. В. Полонская: «...Кирсанов читал на квартире у Бриков свои произведения (в частности, гл. 11-ю поэмы. — Э. Ш.) <...> Владимир Владимирович в этот раз очень шумно хвалил стихи, целовал Кирсанова <...>. На другой день Владимир Владимирович все пел одну строчку из кирсановского стихотворения: "Сердце Рикки-Тикки-Тави словно бы во сне. / И яичница-ромашка на сковороде" (цитируется неточно. — Э. Ш.). Пел он это на мотив популярной песенки 19—20 года "В Петербурге дом высокий". Пел он это непрерывно, и я наконец взмолилась, стала просить пощады. Владимир Владимирович засмеялся и сказал:

— Простите, не буду больше, но уж очень хорошо: яичница-ромашка. А ведь она действительно как ромашка, знаете, Норочка, такая — глазунья...

Но через несколько минут он опять затянул про свою ромашку» (Полонская В. В. Воспоминания о Маяковском // ВЛ. 1987. № 5. С. 187—188).

Многие рецензенты, отмечая формальную изощренность стиха поэмы, критиковали ее за отсутствие общественной значимости, а также, весьма неубедительно, за подражание Маяковскому, Асееву и Сельвинскому. «Вся так называемая поэма есть не что иное, как хождение канатного плясуна по строкам. Есть местами интересные, местами совершенно беззубые пародии на старых и современных поэтов, есть местами интересные рифмы и остроты, но отсутствие настоящего идейного содержания, отсутствие серьезности в отношении к материалу делает всю книгу необычайно легкой и расплывчатой» (Фиш Г. Два поэта // Смена. 1928, 14 нояб.). «Кирсанов — молодой и способный поэт лефовской школы. <...> Но при всей одаренности он пока не вышел за пределы технических опытов (в которых показывает необычайную виртуозность) и в его формально блестящей поэзии нет еще своего содержания. Лучшей характеристикой ее служат покамест собственные кирсановские стихи (из рецензируемой книги): "И канатным плясуном / по строке прошел Семен". В поэме такой строкой является строка Маяковского. <...> Новая поэма Кирсанова отличается всеми достоинствами его поэтической техники и, как всегда у этого автора, содержание является лишь своеобразным трамплином, отталкиваясь от которого, можно показать весь блеск канатной виртуозности» (Лежнев А. [Рец.] // Пр. 1928, 11 нояб.). «...Уже в "Опытах" С. Кирсанов явился образцовым версификатором, интересным техником стиха, умеющим опережать своих многочисленных учителей. В "Моей именной" есть движение вперед. <...> В поэме встречаем сложную ритмику, ловкое графическое деление, нередко изощренную рифму, моменты монтажа, всегда остроумные, а порою и злые пародии, полемику и т. д. <...> Большею частью страницы книги радуют неподдельным юмором, не переходящим в поэме данного типа в несерьезность, свежими образами ("яичницы ромашка на сковороде") или интересными ритмами <...>. Сколько-нибудь крупного общественного значения "Моя именная" не имеет» (Поступальский И. [Рец.] // НМ. 1928. № 12. С. 293). «Все это весело, остроумно, интересно, талантливо... Но главы механически собраны. Вся поэма бесцельна» (Селивановский А. О чем пишут поэты: Обзор стихов // МГв. 1929. № 5. С. 92). Наиболее резкий отзыв принадлежал критику-рапповцу: «Для психики уличного празднующегося, не ходящего, а шляющегося по миру, такое мирогазение вместо мировоззрения является основной чертой. Живая, организующая человеческая коллективная психология мирогазющему обломку мещанства недоступна. Благодаря этому человеческий коллектив воспринимается им почти бессмысленно, почти заумно. В условиях падающего капиталистического общества такое мирогазение создает футуризм.<...> И так как Кирсанов все-таки настолько талантлив, что заслуживает сожалений и пожеланий, советуем ему серьезно заняться пересмотром своего метода, своих учителей...» (Ма-

кедонов А. [Рец.] // На литературном посту. 1927. № 7 (апр.). С. 68—69). В своем исследовании русской рифмы Д. Самойлов писал: «Пожалуй, не найдешь другого поэта, который столько отдал бы “поэтическому озорству” и “чистому эксперименту”. <...> В области поэтических форм, ритмов, размеров и рифм Кирсанов поистине энциклопедичен. Его можно было бы назвать одним из основоположников современной рифмы <...>. В числе произведений, которыми можно, по словам самого Кирсанова, объяснить особенности его “шага по поэзии”, поэма “Моя именинная” (1927 г.). То расширенное понимание функции рифмы, которое предлагают Маяковский и Асеев, — рифмы начальные, внутренние, осуществляет Кирсанов в ткани своей поэмы. <...> Среди неточных самым заметным типом являются рифмы с конечным усечением (треть), что характерно для поэзии того времени. Но существенно то, что широко представлены все известные русской поэзии виды рифм и что заметна доля “сложных” или “смешанных” неточных (22 % от всех неточных рифм), весьма перспективных и в последующие годы <...>. Само устройство таких рифм предполагает переход от “заударного” рифменного сознания к мышлению на уровне слова как единицы созвучия. Кирсанов близок к этому открытию» (Самойлов Д. Книга о русской рифме. 2-е, дополн. изд. М., 1982. С. 295—297).

Гл. 1. «Месяц выплыл, юн и тонок» и т. д. «Воинственная» колыбельная Кирсанова пародирует «Казачью колыбельную песню» М. Ю. Лермонтова, отчасти цитируя ее («Но отец твой старый воин, / Закален в бою: / Спи, малютка, будь спокоен, / Баюшки-баю»); ср. также с «Песней Селима» из поэмы Лермонтова «Измаил-бей» («Месяц плывет / И тих и спокоен, / А юноша-воин / На битву идет») и частично повторяющей ее песней Гаруна из поэмы «Беглец».

Гл. 2. Сонник — см. прим. 33. Ку-клукс-клан — тайная расистская организация в США, созданная в 1865 г. для терроризирования негров и прогрессивных деятелей страны.

Гл. 3. *Огесская 2-я гимназия*. Кирсанов учился в ней в 1914—1921 гг. «*Dantebe, mater Rossia, iscus*» и т. д. Кирсанов здесь «передабривает» латынь, используя ряд слов латинского происхождения (мать, эссенция, оратор, трибуна и др.). *Cicero, corpus* (лат.), *petit* (фр.) — цидеро, корпус, петит — типографские шрифты. *Urbi et orbi* (лат.) — «Граду и миру» — ко всеобщему сведению. *Гарнец, четверик* — старые русские меры объема сыпучих тел: первый — 3,28 литра, второй — 26,2 литра.

Гл. 4. Коган Петр Семенович (1872—1932) — историк литературы и критик-марксист. В *обертках, как шейхи, раковые шейки*. Образ основан на сопоставлении конфетных оберток с чалмами на головах у шейхов. Шейх — глава рода, религиозной общины у мусульман.

Гл. 5. Чуковский Корней Иванович (1882—1969) — детский поэт, литературовед и переводчик. *Андерсен* — см. прим. 89. *Гофман Эрнст Теодор Амадей* (1776—1822) — немецкий писатель-романтик. *Куплинг Джузеф Редьярд* (1865—1936) — английский поэт и писатель. *Кот Мурлыка* — «Сказки Кота-Мурлыки» (1872) ученого-зоолога и писателя Николая Петровича Вагнера (1829—1907). *Буш Вильгельм* (1832—1908) — немецкий поэт и художник-юморист, создатель серии сатирических книжек, иллюстрированных им же, «Макс и Мориц». *Гримм* — см. прим. 89. *Тут мальчик взял и выбросил через окно Волчка*

и т. д. — импровизации на тему сказки Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». **Афанасьев Александр Николаевич** (1826—1871) — литературовед и фольклорист, составитель сб. «Народные русские сказки». Далее Кирсанов пародирует стиль сказок Афанасьева. *В тысяча восемьсот (звездочки) году* и т. д. Здесь пародируется сказочная манера Гофмана. *В Городке Aachenwinde*. Вымышленное название (от Aachen (Ахен), города на западе Германии). *Choriambofax* — словесный гибрид: *Choriamb* (хориямб, греч.) — четырехсложная стопа, образованная сочетанием хорей и ямба; *fax* (лат.) — пламя, сверкание. *Рабселькор* — газетный корреспондент из рабочих и сельских жителей. *Семссуга* — посевное зерно, предоставленное государством крестьянским хозяйствам, колхозам. *Камены* (греч. миф.) — музы. *Брик!* *Брик!* Брик Осип Максимович (1888—1945), теоретик литературы, идеолог Лефа.

Гл. 6. **Диккенс Чарльз** (1812—1870) — английский писатель. *Пирингль Мери* — героиня повести Диккенса «Сверчок на печи». *Копперфи-и-и...* — Дэвид Копперфилд, герой одноименного романа Диккенса.

Гл. 7. *Петровка* — улица в центре Москвы. *Чесуча* — плотная шелковая ткань. *Бостон* — шерстяная костюмная ткань. *Мосторг* — см. прим. 68. *Шиншиля* — шубы из меха шиншиллы (ю.-америк. животное с ценным мехом). *Жерсе* (прав. — джерсе, джерси) — см. прим. 40. *Неглиже, гезабилье* (фр.) — утреннее домашнее платье. *Егерское белье* — нижнее белье производства фирмы «Егер». *Файдешиновый самовяз*. *Файдешин* (фр.) — шелковая ткань, употребляемая на женское платье.

Гл. 8. «*N'est pas...*» и т. д. — набор приблизительных выражений, реплики игроков. *Железка* — азартная карточная игра, близкая баккара; *экарте* — карточная игра. *Ма-жанг* (мажонг, ма-джонг) — китайская азартная игра в кости. Лефовцы, наряду с картами, увлекались ею, о чем упоминает Кирсанов в поэме «Последний современник» (отд. изд. — М.: Федерация, 1930), описывая вечер у Маяковского в Гендриковом переулке: «Вошел Асеев / <...>. / С мажонгом, Родченкой, бодрясь, / в сенях стоит Варвара» (гл. 3. Июнь 1928. С. 21). *Бамбук, гракон, ветер* — разновидности костей. *Объявлено чжоу*. *Чжоу* — слово, которое произносит игрок, забирающий с кона кость, выложенную предыдущим играющим. *Систр* — определенная комбинация костей. *Конг* — слово, произносимое игроком, имеющим на руках три одинаковые кости, когда он берет с кона такую же четвертую. *Крулье* (фр.) — банкومت в казино. *Шахматная партия*. Здесь «разыграна» простейшая партия в четыре хода, так наз. «киндер-мат». + и *Ч* — шах и мат.

Гл. 9. *Кастальский ключ* — родник на горе Парнас; почитался в Др. Греции как священный ключ, дарующий вдохновение поэтам. *Постой, останься, Сеня* и т. д. — пародия на стихи Иосифа Уткина. «*Трагический свинец*», «*А, кроме права жизни, есть право умереть*» — цит. из ст-ния Уткина «Сергею Есенину» («Красивым, синеглазым...», 1926); *Он не придет к низине* и т. д. — перифраз первой строфы ст-ния Уткина «Курган» (1926) «Ты не мучь напрасно взора, / Не придет он / Так же вот, / Как на зимние озера / Легкий лебедь не придет». *Качалов* (наст. фамилия — Шверубович) Василий Иванович (1875—1948) — актер МХАТа, выступал также с чтением стихов. «*Эх, кали-*

на, эх, рябина» и т. д. — пародия на стихи Ивана Доронина, неустанно воспевавшего любовь сельских комсомольцев и комсомолок, напр.: «Ты, рабина-красногрудка, / Рябинушка горькая, / Полюбила не на шутку / Комсомольца Кольку я» («В советских степях», <1926>). Плеваханов Георгий Валентинович (1856—1918) — теоретик и пропагандист марксизма в России; собр. соч. в 24-х томах было выпущено в 1923—1927 гг. «Отлетай, пропащее детство, Алкоголь осыпает года, Пусть умрет, как собака, отец твой, Не умру я, мой друг, никогда!» — пародия на стихи С. Есенина. Ст. 2 — перифраз ст. «Осыпает мозги алкоголь» из поэмы «Черный человек» (1925); ст. 4 — цитата из ст-ния «Пой же, пой. На проклятой гитаре...» (<1923>) из цикла «Москва кабацкая». *Рождественка* — уллица в Москве «Год от года расти нашей бодрости» — цит. из поэмы В. Маяковского «Хорошо» (1927).

Гл. 10. *Бутылхлоралгидрат* — успокоительное и снотворное средство (в наст. время не употребляется). *Бюсты гипсовых богов, старых эскулапов*. Эскулап (греч. миф.) — бог врачевания и, иронич., врач. *Шлейфы старых фрейлин тянутся сигнатурами*. Сигнатура — выдаваемая провизором копия врачебного рецепта, прикрепляемая к лекарству. *Шкода* (прост.) — озорство, причиняющее вред. *Герольд* (лат.) — глашатай. *Антисепты* (прав. — антисептики) — дезинфицирующее средство. *Госсиниум фератум* (то же — госсипол, лат.) — порошок, оказывающий токсическое действие. *Вазогенум йогатум*, вазогин (лат.) — препарат, употреблявшийся в прошлом как антисклеротическое средство. *Йоду и рицини* — йодистый препарат, ныне вышедший из употребления. *Тинкти никотини* (лат.) — никотиновая настойка. *H₂O* — вода; *H₂S* — сероводородная кислота. *Корпий* (прав. — корпия, лат.) — нитки, нащипанные руками; применялись прежде как перевязочный материал. *Коллогий* (греч.) — специальный раствор, употребляемый для дезинфицирующего покрытия ран и ссадин.

Гл. 11. *Рикки-Тикки-Тави* — имя мангуста из одноименной сказки Р. Киплинга. *Стукнул мой красноармейский Двадцать Первый Год*. В 1927 г., в 21 год, Кирсанов был призван на год в Красную Армию.

*244. Альманах с Маяковским. М., 1934 (сдано в произв. 13.08.1933), с вар. -- Кирсанов С. Поэма о Роботе. М.: Сов. писатель, 1935. -- ТП. -- Иск. -- СС-2. Гранки СИП-36, б. д. Датируется по «Альманahu с Маяковским». ТП, Иск, СС-2 — с датой: 1934. Отрывки из еще не опубликованной поэмы автор прочел на вечеру московских поэтов в Ленинграде, где участвовали также Н. Асеев и О. Брикс, в нач. октября 1933 г. (см.: Александров В. В погоне за лирикой // Лит. Ленинград. 1933, 5 окт.). Во время заграничной поездки (см. прим. 72) он читал отрывок из поэмы в ноябре 1935 г. в Праге перед 4-тысячной аудиторией (см.: Г. Г. Шесть границ // ЛГ. 1936, 10 февр.) и затем — 4 января 1936 г. на Фестивале поэзии в Париже. «После слов "прошу приготовиться к слушанию стихов на незнакомом языке" Кирсанов читает две главы о Роботе. Слушают с напряженным вниманием. "Робот" встречен бурными, продолжительными аплодисментами» ([Б. п]. Фестиваль поэзии в Париже // ЛГ. 1936, 20 янв.). Очевидец вспоминал: «Затем выступил Семен Кирсанов. И сразу рванулся в зал фейерверк стихотворных строчек, поданных просто шикарно. <...> Кир-

санов прочел главу из поэмы о Роботе (вступление к поэме. — Э. Ш.). В этой главе Робот танцует. И Кирсанов запел. Музыкальный ритм фокстрота полностью слился с топочущим стихотворным ритмом поэмы, подчеркивая содержание главы, давая характеристику и Роботу и всему, что его окружало. Семен Исаакович заслужил длительные бурные аплодисменты...» (Безыменский А. Триумф советской поэзии: Страницы воспоминаний // Нева. 1971. № 11. С. 207). Острая полемика развернулась вокруг поэмы после ее опубликования. Е. Усиевич признала поэму «безусловной удачей Кирсанова и ценным вкладом в нашу поэзию...» (Усиевич Е. Советская поэзия перед новым подъемом // Лит. критик. 1934. № 6. С. 95.). В. Инбер в своей речи на Первом съезде советских писателей 29 авг. 1934 г. говорила: «Асеев, выступая на поэтическом совещании, справедливо сказал, что эта вещь <...> одна из лучших его (Кирсанова. — Э. Ш.) вещей, если не самая лучшая. Но даже такой высококвалифицированный спец радости, как Кирсанов, и тот лучше описал грусть. Первая часть, где Робот умирает, где он трагичен, написана великолепно. Смерть Робота — одна из сильнейших мест в поэме. А как жиденько описана "домороботиha", моющая пол! <...> Товарищи, замечаете ли вы, что случилось с Роботом? Он превратился в положительного героя и от этого сейчас же сделался хуже...» (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934: Стенографический отчет. М., 1934. С. 547—548). В сентябре 1934 г. состоялось обсуждение поэмы в редакции журнала «Смена». Молодые поэты-сменовцы высказывались о ней:

Борис Лебедев: «У нас ощущается недостаток фантастической литературы. "Поэма о Роботе" — ценный вклад в этом смысле. Кроме того, нам, молодым, надо учиться у Кирсанова сюжетному построению вещи».

Евг. Абрисимов: «Поражает у Кирсанова необычайная точность эпитетов».

Яков Белинский: «За Роботом я вижу живых штурмовиков. За Роботом я вижу всю структуру капитализма. Поэма оперирует синтетическим методом — этим она и хороша».

С. Кирсанов: «Основным недостатком поэмы, по-моему, является то, что Робот основательно показан в капиталистическом мире и слишком мало у нас».

Анисим Кронгауз (зам. редактора «Смены»): «Поэма "Робот" ставит Кирсанова в первые ряды мастеров советской поэзии. <...> И за пламенными его словами о машине чувствуется настоящая любовь к человеку» ([Б.п.] Семен Кирсанов в «Смене» // Смена. 1931. № 10. С. 17). Резко осудил поэму Ан. Тарасенков: «Поэма плохая, неудачная, надуманная и ошибочная. <...> Реальный уровень технической мощи Красной Армии не уступает лучшим армиям Европы и Америки. Но по поэме Кирсанова выходит, что нашим красноармейцам и командирам остается только вспомнить — по истинно русской привычке — "мать" (речь идет об одной строке: «— Гóспода мать!» — гл. 7, между ст. 64 и 65, исключенной уже в изд. 1935 г. — Э. Ш.) и удивляться, что механизированный гигант остался цел после винтовочного выстрела. <...> Ничего не может поделывать Красная Армия с этими "роботами" — они пускают люизит, строчат пулеметами и продолжают наступать».

пать. <...> Единственное, на что оказывается способным вооруженный пролетариат Страны Советов — это схватить цапфами с аэроплана одно из механических чудовищ <...>. Но это не останавливает механическую рать, — она продолжает победоносно сокрушать технически беспомощную, в представлении Кирсанова, рассеяски матерящуюся Красную армию. Тут бы и пришла гибель Советскому Союзу, если бы не помощь западноевропейских рабочих, которые, восстав, врываются на радиостанцию и прекращают радиоуправление "роботов". <...> Все это насквозь политически ложная концепция» (Тарасенков Ан. Техника фантастики // Зн. 1934. № 7. С. 214—216). С этой оценкой полемизировал Г. Ленобль: «Сущность, пафос "Поэмы о Роботе" не в изображении <...> технической мощи капиталистического Запада и не в описании техники и стратегии будущей войны с СССР, как показалось критике "Знамени" <...>, — пафос поэмы именно в *утверждении социалистического человека* через разоблачение и осмеяние *обесчеловеченного человека* капитализма. Кирсанов свежо, оригинально, содержательно подошел к основной теме нашей поэзии, и поэтому последнее его произведение — достижение не только самого поэта, но и всей советской поэзии. <...> Для сатирического изображения человекоподобных машин и машиноподобных людей как нельзя более приспособленными оказались и кирсановский гиперболизм, и кирсановская ирония...» (Ленобль Г. Машина и человек: О новой поэме С. Кирсанова // Коммунистическая молодежь. 1934. № 20 (окт.). С. 47—48). «Может ли эта сенсационная тема, — писал А. Лейтес, — пустить корни на почве нашей социалистической литературы? Разумеется, нет. И не может она потому, что основная тема социалистического искусства — это тема о живом человеке, овладевшем техникой <...>. Главное для нас, как указывал т. Сталин, — в людях, овладевших техникой. Вот почему для каждого серьезного советского художника, <...> инженера человеческих душ, тема робота может быть только боковой, только поводом для того, чтобы еще и еще раз рассказать о живом человеке. <...> К сожалению, эта сенсация не разоблачена <...> в "Поэме о Роботе" С. Кирсанова. <...> Это тем более жалко, что поэма <...> сделана на высоком формальном уровне» (Лейтес А. Непродуманная сенсация // Зн. 1935. № 7. С. 214). С этим мнением, также опираясь на высказывание Сталина, спорил В. Никонов: «...Годы реализации лозунга т. Сталина «Техника в период реконструкции решает все» не могли не отразиться в поэзии. Наиболее характерна "Поэма о Роботе" С. Кирсанова. В основе ее — фантазия, опирающаяся на технику, и техника, обгоняющая фантазию <...>. Пафос техники, свойственный лефам и сближавший их с конструктивистами, увлекает Кирсанова. Разве не апофеоз техники этот механический человек? <...> "Ванадий", "кобальт", "радиоскоп", "ферросплав", "синхронность" впервые здесь входят в поэтический обиход — словарь лирики расширяется со смелостью Маяковского. Ритмическое мастерство передает и шаг автоматов, и отрывистость приказов, и все энергично пульсирующее действие» (Никонов В. Советская литература за четыре года // Литература в школе. 1936. № 1. С. 52—53). Преобладание отрицательных оценок явилось причиной непечатания поэмы после публикации в ДПР в течение тридцати лет. Кирсанов настойчиво, но безуспешно пытался

включить ее в Поэмы-56. Об этом свидетельствует докладная записка зав. редакцией русской советской литературы «Гослитиздата» А. Трегубова гл. редактору издательства (нач. 1956): «В ноябре 1955 С. Кирсанов представил в редакцию рукопись сб. "Поэмы", в состав которой автором была включена поэма "Робот". После просмотра рукописи эта поэма из состава сборника была исключена. Рукопись сдана в набор 2.12.55 г. В начале января автор вновь представил поэму "Робот" в редакцию и настаивал на ее включении в книгу. После обсуждения содержания поэмы в главной редакции <...> она была возвращена автору на доработку. Но редакция считает, что и в переработанном виде включение поэмы "Робот" в состав сборника "Поэмы" Кирсанова в настоящее время нецелесообразно» (АДК). Позже исследователь писал о поэме: «Поэт видит прямую связь между замедленной духовной жизни на механический поп-арт и переходом от буржуазной демократии к фашистской диктатуре. Как была злободневна поэма в те годы, когда Гитлер, спровоцировав поджог рейхстага, захватил власть в Германии. <...> Поэт как бы предупреждал советских людей: коричневая чума не остановится! Нужно быть бдительным!» (Петров. С. 23). Сам автор писал о поэме: «В 1935 г. участвую в поездке советских поэтов за границу. <...> На обратном пути проезжаю Берлин. Ощущение близкой схватки. Это выражено в поэме "О Роботе" и в поэме "Война — чуме"» (Автобиография РГБ); «...Я стал искать свое место в теме будущего. Так возникла "Осада атома" и "Поэма о Роботе", задолго до того, как расщепленное ядро и кибернетика превратились в реальность и литературную тему многих авторов» (Иск. С. 5—6).

Робот (чеш.) — автоматический программно-управляемый манипулятор, выполняющий рабочие операции со сложным пространственным перемещением. Термин вошел в употребление после появления пьесы К. Чапека «RUR» (Россумские универсальные роботы) (1920). По пьесе Робот, в отличие от поэмы Кирсанова, был изобретен на основе воссоздания живой материи путем химического синтеза.

Вступление. Ванагий — твердый металл; применяется для изготовления ценных сортов стали. *Куманика* — один из видов ежевики. *Вертинский* — см. прим. 68. «*His Masters Voice*» — марка граммофонов. *Шевалье Морис* (1888—1972) — французский шансонье и актер. *Меллер Ракель* — французская эстрадная певица, по происхождению испанка. Вертинский посвятил ей песню «Из глухих притонов Барселоны» (1928). «*В антенном мембранном перегуде, гуде...*» и т. д. Переделка песни Вертинского «В бананово-лимонном Сингапуре...»; полностью соответствует ей ритмически в первых двух изд-ях поэмы: «В антенновом мембранном перегуде, гуде...» *Меццо-тинто* — вид гравюры на металле. *Апланаты-глаза*. Апланат — объектив, в котором устранен ряд оптических aberrаций; здесь: зоркие «глаза» Робота.

Гл. 1. Билль (англ.) — законопроект, внесенный на рассмотрение парламента. «*Сегодня гурной день...*» и т. д. — первая строфа стихотворения О. Мандельштама (1911). *Чаплин* Чарльз Спенсер (1889—1977) — американский киноактер, режиссер, сценарист и композитор. *Петух Пате*. Петух — фирменный знак старейшей французской кинофирмы «Пате фрер» (с 1920-х гг. — «Пате консорциум»), организованной в 1896 г. Ш. Пате.

Гл. 2. Лещенко Петр Константинович (1898—1954) — эстрадный певец. *Энцефалит* — воспаление головного мозга, вызванное болезнетворными микроорганизмами.

Гл. 3. *Шнейдер-Крезо* — сталелитейный концерн, производивший, в частности, артиллерийские орудия; основан в 1836 г. С. А. Шнейдером во французском г. Ле-Крёзо. *Потсдаммерплац* — площадь в Берлине. *Линкольны и форды* — автомобили американских марок. *Робот-люксус* — роскошный робот. «*Цейсы*» — оптические стекла (см. прим. 169); здесь — «глаза» робота. *Иприт* — отравляющее вещество, горчичный газ. *Нитроглицерин* — взрывчатое вещество. *Пианиссимо* (муз.) — очень тихо. *Губы синеватым аргоном*. Аргон — газ, применяемый в рекламных лампах, дающий синеватый свет. *Фрейлейн* (нем.) — барышня.

Гл. 4. *Стальной картель* — объединение предприятий стальной отрасли. *Микрофарада* — единица электрической емкости. *Герленовы духи* — духи производства французской фирмы «Герлен» (основана в 1828 г. ученым-химиком Пьером Франсуа Герленом). *Леди Чаттерлей* — героиня скандально известного романа английского писателя Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли» (1928), который был запрещен после выхода в свет «из этических соображений», а тираж его уничтожен. *Лесник* — любовник героини романа, егеря Меллорс, служивший у ее мужа. *Сила: E, геленное на P, т. е. E/R = I* — закон Ома для участка электрической цепи. *Свет* — — *тиратронов*. Тиратрон — газоразрядный прибор, по своему действию аналогичный реле; заключен в стеклянную оболочку, наполненную разреженным газом. *Радиоскопы* — приборы, просвечивающие тела рентгеновскими лучами. *Ферросплавные плечи*. Ферросплав — сплав железа с др. элементами; здесь, вероятно, плечи роботов, изготовленные из легированной стали. «*Хайль! Гох!*» (нем.) — «Да здравствует! Ура!» *Завитковый соленоид*. Соленоид — проволочная спираль, по которой пропущен электрический ток; электромагнит. *Тумблер* — переключатель в электро- и радиоприборах. «*Бюссинг*» — грузовой автомобиль немецкой фирмы.

Гл. 5. *Рейхстаг* сжечь. Придя к власти, руководство нацистов 27 февр. 1933 г. инсценировало поджог германского парламента — рейхстага, используя это для развязывания террора против антифашистских сил. *В Спортпаласе* *черный Гитлер держит речь*. 20 янв. 1933 г. Адольф Гитлер (1889—1945) выступил с речью на грандиозном митинге, устроенном фашистами в берлинском «Спортпаласе». *Гутенберг*. Возможно, имеется в виду Альфред Гутенберг, крупный промышленник, лидер немецкой национальной народной партии, активный пособник Гитлера.

Гл. 7. *Комрот* — командир роты. *Люизит* — отравляющее вещество, бесцветная жидкость. *Как при Калке!* Калка (ныне — Калик) — река в Донецкой обл. (Украина), где 31 мая 1223 г. произошло сражение русских и половецких войск с монголо-татарами, одержавшими победу. *Как при Куликовом!* Битва русских полков во главе с Дмитрием Донским с монголо-татарским войском под началом Мамаю 8 сент. 1389 г. завершилась разгромом монголо-татар.

Гл. 9. *Маяковский проезд* — переулок Маяковского, бывш. Гендрик, где В. Маяковский жил в 1920-е гг.; переименован в 1935 г. *Берендей* — царь сказочной страны берендеев из пьесы А. Н. Остро-

вского «Снегурочка». «Ехал на ярмарку Робот...» — перифраз строки народной песни (см. прим. 32).

*245. П о л н о с т ь ю: КН. 1934. № 11, с подзаг.: «Поэма всех сказок. В двенадцати главах и трех загадках с ключом», с вар. -- Кирсанов С. Золушка. М.: Гослитиздат 1935, с тем же подзаг., с посвящ.: «Клаве», с вар. -- ДПР, с тем же подзаг. -- СИП-48, с тем же подзаг., с вар. -- СИП-51, с вар. -- Соч-54. Т. 1. -- Поэмы-56. -- ИП-61. Т. 1. -- СС-2. Датируется по СИП-48. ТП — с датой: 1935.

О т д е л ь н ы е г л а в ы, о т р ы в к и: Рабочая Москва. 1934, 18 мая: гл. 1—2, под загл. «Золушка. Отрывок из поэмы», с ред. примеч.: «С. Кирсанов работает в настоящее время над поэмой "Золушка". Поэма пишется на канве народных сказок. Печатаемый отрывок — вступление к поэме», с рис. К. Гольдштейна, др. ред.; ЛГ. 1934, 26 нояб.: гл. 5—6, под загл. «Золушка в городе. Третья глава поэмы», др. ред.; ВМ. 1935, 25 янв.: гл. 12, с вар.; ВМ. 1935, 1 мая: «Сандрильона в мае. Вступление к поэме «Золушка» («Сегодня кончим с апрелем преодоленным...») — в окончательный текст поэмы не вошло; Н: «Исполнение желаний» («С плеч упала тяжесть-глыба...») — отрывок из гл. 12, как отд. ст-ние; АРСП: гл. 6; С-59: гл. 6, с ошибочной датой: 1935.

Поэма вызвала появление множества откликов в печати, поначалу восторженных, содержащих оценку ее как значительного достижения советской поэзии, отмечавших ее современность, а также органическую связь формальной новизны со сказочным содержанием. Однако начиная со 2-й пол. 30-х годов на смену подобным отзывам надолго пришли резко отрицательные, где поэт критиковался за «формалистическое трюкачество». Приведем лишь некоторые, наиболее характерные. «Ближайший соратник и единомышленник Асеева, Кирсанов — один из героев минувшего поэтического года. Его "Золушка", напечатанная в № 11 "Красной нови", лучшее из всего, им до сих пор написанного, и одна из лучших вещей года.<...> Основное в его поэзии — ее "детскость" <...>. Кирсанов не поэт для детей, он поэт того детского, что продолжает жить во взрослом человеке и без чего наступает собачья старость. Поэтому словесные игры Кирсанова так не похожи на тяжелую заумь Крученых и Зданевича. Они не формалистичны потому, что это естественный раздел особого рода жизненной силы, которая сосредоточилась в Кирсанове, так сказать, от имени всех его читателей. <...> Отмечу <...> тот вкус и художественный такт, с которым она написана. В ней нет никакой фальши, никакого сюсюканья (в этом несомненный след благотельной школы Маяковского), никакого фальцета. А такт Кирсанова сказался в том, как он, модернизируя, "осовременивая" сказку, умеет ни на минуту не выйти из воздуха сказки...» (Мирский Д. Стихи 1934 года // ЛГ. 1935, 15 апр.). «У Кирсанова нет пересказа, варианта "Золушки". Народные образцы цикла сказок о Золушке Кирсанов расплавил в горниле новой идейности и тем придал совершенно другой — социальный, классовый — смысл этому трогательному образу <...>. Кирсанов впервые взял классический образ народных сказок, известной от Германии до Египта, и осмыслил его логически закономерно и социально заостренно» (Болотников А. Реализм и фантастика: (О «Золушке» С. Кирсанова) // ЛГ. 1935, 30 апр.). «"Поэма всех сказок" о бедной Золушке

остроумно современна. Ее основной идеологический мотив — борьба угнетенных и угнетателей, бедных против богатых — не прорывает художественной ткани произведения, сквозь фантастические образы которого проступает их живой и вполне современный смысл. В этом реализм поэмы. История Золушки рассказана в стихах с такой лирической теплотой и так живо, что внимание читателя не ослабевает до последней строчки этого произведения, проникнутого подлинной поэзией. Мотивы сказки и современности, вымысел и реальность сочетаются в “Золушке” естественно и органически, поэма в хорошем смысле слова проста, доступна <...>. Эмоциональная насыщенность “Золушки” убедительно выражена в изобразительном строе, ее словаре, в технических приемах, освобожденных от установки на формалистское экспериментаторство. <...> Звук и смысл в ней слиты органически, отсюда свежесть и легкость поэмы в целом и образа Золушки в частности» (Серебрянский М. Заметки о поэзии // Зн. 1935. № 6. С. 229). «“Золушка” — вся в мире вымысла, вся соткана из сказок <...> Иной многословный поэт, напади он на такую руду, из материала каждой кирсановской строфы вытянул бы по поэме — такова емкость ее. <...> Старые сказки по-новому прочтены Кирсановым. Он смело и своеобразно интерпретирует их <...>. И вся поэма раскрывается ведь как освобождение Золушки-труда от Кощея-капитала. <...> Но только скучные дяди из породы тех, кто слал Маршаку и Чуковскому гневные письма, уличая в идеологической невыдержанности книжек для малышей, могут искать в “Золушке” пересказ политграмоты в лицах. Дескать, если скворец — это подпольщик, то что хотел сказать автор словами заговора? <...> Золушка — не отвлеченный символ трудящихся вообще, а прежде всего живая, “эта” Зойка, с индивидуальными чертами, с чувствами и поступками данного человека. <...> Формальная оснащенность поэмы хороша не просто блеском отделки, а соответствием содержанию, той атмосфере фантастики, которой поэма насыщена. <...> Мастерство Кирсанова заключается в такте, с которым он строит всю труднейшую поэму. Она прозрачна, не тяжеловесна, при всей своей изощренности. <...> Вся тонкость поэмы в этом “чуть-чуть”, к которому нет иных рецептов кроме поэтического вкуса» (Никонов В. От словесной игры к реалистической поэзии // ХЛ. 1935. № 9. С. 13—15). «...Большая удача последней прекрасной поэмы С. Кирсанова “Золушка” заключается в том, что здесь и замысел поэмы, и своеобразная, хорошо продуманная инструментовка стиха, и новаторские приемы версификатора оказались в полном равновесии и соответствии. И вот “Золушка” приобрела поистине философское звучание, которого лишены у С. Кирсанова его предыдущие поэмы» (Лейтес А. Философия применительно к рифмам // Зн. 1935. № 12. С. 220). «Поэма <...>, по-видимому, претендует даже на социальную обобщенность и политическую “мораль”. Сама Золушка чуть ли не символизирует положение пролетариата в капиталистическом мире. <...> Противопоставление “доброй” Золушки ее “злым”, богатым родственникам искажает объективный характер классовых противоречий и конфликтов капиталистического мира. <...> Хотя поэма написана и не для детей, но в основу ее положена искусственная “детскость”, инфантильность мировосприятия, определяющая всю поэтическую систему и даже язык ее. <...> Самоцельно эс-

тетическое любование словом и вещами сказывается во всей поэме» (Степанов Н. Семен Кирсанов. Золушка // ЛС. 1936. № 12. С. 194). «Характерные примеры нарочитого обесмысливания фольклорных мотивов путем формалистски-трюкаческих экспериментов дает <...> "Золушка" <...> Она в целом ряде мест отмечена таким яростным версификаторством и такой изощренной словесной эквилибристикой, что реалистический дух фольклора оказывается полностью растворенным в этом бурном потоке лексических трюков...» (Дымшиц А. Политическая поэзия и фольклор // ЛС. 1937. № 5. С. 211). «Взять, например, С. Кирсанова. Не надо ему делать вид, что он самый правоверный ученик Маяковского, — потому что это неправда. Кирсанов умеет писать ясно, просто, но, к сожалению, он нередко уродует поэтическую речь. В 1934 году он написал, а в 1948 году переиздал поэму "Золушка", являющуюся грубой подделкой под народность. <...> В сознании некоторых литераторов еще живуче стремление и нарочитому оригинальничанию, ничего общего не имеющему с законами естественного развития русского языка» (Тарасенков А. За богатство и чистоту русского литературного языка! // НМ. 1951. № 2. С. 210). «С. Кирсанов лишил сказку социально-исторического смысла и национальной почвы. В образах нет даже намека на русский характер. <...> "Сказка" стала выглядеть лоскутным одеялом, скроенным разными людьми и в разные эпохи. Все это напоминает "поэму-сказку" М. Цветаевой "Царь-девица" (1922), написанную по тому же принципу, что и "Золушка"» (Выходцев П. Русская советская поэзия и народное творчество. М.: Л., 1963. С. 324). «Кирсанов был оригинальнейшим фольклористом, хотя и не занимался собственно филологией. Стоит перечитать кирсановскую "Золушку", как на тебя посыплются серпантины созвучий, казалось бы, взятых поэтом из жаркой, точной, задиристой народной речи, насыщенной аллитерациями и ассонансами, корневыми рифмами и метафорами» (Петров, С. 19). «... "Золушка" Кирсанова осталась по преимуществу произведением историко-философского характера, обобщающим "определенный этап общественной жизни и мысли". В нем на первом плане вопрос о рядовом человеке как новой исторической личности. В то же время Кирсанов обращается к тем жизненным сферам бытия — будничные заботы, семейные взаимоотношения, текущие радости и огорчения, которые меньше всего характерны для поэмы. Такой мир является настолько естественным, насколько и трудным для проявления в герое "истинно человеческого" содержания. Однако автор сознательно усложнял свою задачу, так как видел в этом перспективу историко-художественного процесса» (Кедровский А. Е. Поэма-сказка Кирсанова С. «Золушка» // Писатель и литературный процесс. Курск, 1976. С. 25). «С. Кирсанов сюжет "Золушки" связал с современностью, вернее, как бы продлил его от старинно-сказочного времени до наших дней. Сказка получает выход в современность, реализуя заложенную в сказке мечту о будущем, превращая социальную утопию в действительность...» (Червяченко Г. А. Советская поэма 40—70-х годов. Ростов н/Д, 1979. С. 59).

Гл. 1. *Цурюк!* (нем.) — назад! *Ланолинчик*. Ланолин — основа для косметических кремов. *Фиксатуар* — помада для приглаживания волос.

Гл. 2. *Бурмитское звезд зерно*. Бурмитское зерно (старин.) — крупная жемчужина.

Гл. 3. *Шахзага-рассказчица* — сказочная жена персидского царя Шахриара, рассказывающая ему сказки «Тысячи и одной ночи».

Гл. 6. Анкер — вилка в часах, периодически прерывающая вращение спускового колеса. *Часики Мозера* — марка часов. *Сангрильона* (фр.) *Попелюшка* (польск.), *Чинерентола* (ит.), *Ашенбрегель* (нем.), *Чиндрелл* (англ.) — Золушка.

Гл. 7. *Был орел на гроше* и т. д. — герб Российской империи. «*Отче наш*» — начало основной христианской молитвы «Отче наш, иже еси на небесех...»

Гл. 8. *Страдиварий-скрипка* — скрипка работы итальянского мастера Антонио Страдивариуса (1644—1737). *Мурлыччио* — «словогибрид» от «мурлыкать» и «каприччио» (быстрая музыкальная пьеса, изобилующая оригинальными эффектами). *Арапник* — охотничья плеть.

Гл. 10. *Откройся, Сезам* — см. прим. 73.

Гл. 11. *Заповедный кладенец* — стальной, булатный меч. *Що ж це таке?* (укр.) — что ж это такое?

Гл. 12. *Хустка* (обл.) — здесь: платок. *Весной под Егорья* — в весенний православный праздник, приходящийся на 23 апреля по ст. ст.

*246. П о л н о с т ь ю: Зн. 1937. № 7, с вар. -- Кирсанов С. Твоя поэма. М.: Гослитиздат, 1937, с вар. -- МЖ. -- СиП-48. -- И-49. -- Соч-54. Т. 1, с вар. -- Поэмы-56, с вар. -- КЛ-66. -- СС-1. Датируется по Зн. 1937. № 7.

О т р ы в к и: Сборник стихов. М., 1943; АРСП; С-59.

Рукописи РГАЛИ: гранки с авт. правкой (фонд ред. Зн); Рук МЖ; Рук ЗНС. Пласт 1, Пласт 3 (обе — отрывки). Неожиданно многочисленные изменения в тексте поэмы в Соч-54 (десятки вар. строк и более 10 сокращений), частично затем восстановленные в Поэмах-56, в большой мере можно объяснить следующей оценкой ее во внутр. рец. И. Карабутенко: «На все лады смакуются сцены с маузером. <...> Нотки истеричности следовало бы снять, развеять впечатление такого беспросветного одиночества героя после смерти жены. Что, в сущности, связывало его с действительностью, с миром? <...> Ребенок, случайный крик ("мой сын агукнул за стеной") которого остановил героя в самую последнюю секунду от рокового шага <...>. Хотелось бы видеть больше *корчагинского* мужества и меньше всего — "интеллигентской" истерии, при которой есть и "цепкий ад", и "Моисей сияющим железом", и волшебные сны и другие вещи, а "социализм", "Москва", "Мадрид" перечисляются лишь в скороговорке» (АДК). О предстоящем 6 окт. 1937 г. чтении поэмы автором на вечере в Политехническом музее сообщали «Веч. Москва» (1937, 4 окт.) и ЛГ (1937, 5 окт.) Первый по времени зафиксированный отзыв о поэме — дневниковая запись А. Афиногенова от 26 сент. 1937 г., сделанная, вероятно, сразу после прочтения поэмы в Зн: «Поэма Кирсанова об умершей жене. Есть очень хорошие, подлинно поэтические места, когда по-настоящему сжимается горло от слез, — но, например, вся сцена с маузером, по-моему, надуманна, и странно, почему так показалось, знаю, что Кирсанов беспартийный, и откуда при нашей строгости — у него маузер? (Револьвер у Кирсанова, как и у Маяковского, действительно, был, о чем поэт дважды упоминает в ЧП — Э. Ш.). А если есть — нелепо разобранный бросать в воду, лучше уж сдать кому надо.

<...> Любовь к Клаве, — эту Клаву я знал и видел несколько раз — невысокая блондинка, мило щебетала разные слова, — но теперь, в поэме, она вырастает, ее образ делается строгим, поэтическим; он совсем не вяжется с той, которую я знал как жену Кирсанова, но это образ впечатляющий, и предметно видишь, как поэзия может облагораживать самое простое, подымать его и расцвечивать...» (Афиногенов А. Дневники и записные книжки. М., 1960. С. 416—417). Критики единодушно оценили поэму как большое достижение Кирсанова. «Поэзия Семена Кирсанова была безлюдна. Холодные ее пространства лежали ненаселенные, необжитые, не согретые человеческим дыханием. <...> Людей Кирсанов писать не умел. <...> И вот он пришел, этот человек. Он ворвался в поэтический мир Кирсанова, разметав его стихотворное хозяйство, сломав привычные ритмы, чтоб заговорить о себе, сбиваясь и торопясь, почти бессвязно, но взволнованно, до конца искренне и правдиво, голосом не воображаемых и мыслимых, но действительно пережитых чувств. Этим первым человеком кирсановского творчества стал сам поэт. Большое, глубокое личное переживание, смерть любимой, горе, захлестнувшее поэта, его просветленный и страстный выход к жизни, к радости, к действию открыли родники новой для него, прозрачной и трепетной лирики. <...> В "Твоей поэме" Кирсанов впервые не изображает, а непосредственно передает человеческие чувства. Только такой и может быть лирика. <...> Кирсанов создал большую, значительную вещь» (Бачелис И. «Твоя поэма» // КПр; 1937, 29 сент.). «"Твоя поэма" — вещь спорная. Некоторые товарищи говорят, что не нужно было Кирсанову браться за столь узкую индивидуалистическую тему. Мне думается, что наряду с той большой полезной работой, которую Кирсанов ведет в области оперативной газетной поэзии, вполне законно и обращение к лирической теме, которая положена в основу "Твоей поэмы". Разрешение трагического конфликта, лежащего в основе сюжета этой вещи, безусловно оптимистично. Оптимизм этот естественный, искренний, ненавязнутый. Обращение Кирсанова к классическому лермонтовскому строю стиха в этой поэме — тоже, на мой взгляд, явление для него, Кирсанова, положительное, говорящее об отходе его от формалистических увлечений и изысков» (Тарасенков А. На поэтическом фронте // Зн. 1938. №1. С. 262). «"Твоя поэма" Кирсанова — произведение глубоко лиричное. Эмоциональная от первого до последнего своего слова, она является по существу большим лирическим стихотворением. <...> Ясность и глубина содержания сказались и на изобразительных средствах "Твоей поэмы". В ней нет и тени трюкачества; инверсию, ритм, сложную рифму, неологизмы Кирсанов употребляет с большим тактом...» (Кедрина З. Об учебе у Маяковского // Окт. 1938. № 1. С. 234). «Большая радость, когда вдруг открываешь для себя нового поэта. Еще радостнее, когда ты давно знал поэта, давно и упорно его не любил и не воспринимал и вдруг, открыв журнал, видишь его вещь, непохожую на всё предыдущее, вещь, глубоко волнующую тебя и перевертывающую все твои привычные представления об этом поэте. <...> "Твоя поэма" оказалась в целом проникнутой большой человечностью и берущей за сердце взволнованностью. Поэма, повествующая о смерти любимого человека, глубоко личная и проникнутая большим горем, она оказалась вещью отнюдь не узкой и не камерной. <...> Поэма построена как развернутый

лирический монолог, как напряженная, страстная, местами захлебывающаяся речь человека, у которого большое горе. <...> Построив поэму исключительно на мужских рифмах, Кирсанов намеренно ускорил ритм поэмы. Постоянная внутренняя рифмовка, рифмы, зачастую перенесенные из конца вглубь строки, так цепко связывают строки одну с другой, так переплетают их, что вся поэма кажется одним напряженным периодом. <...> "Твоя поэма" везде вызывает оживленные споры и самые разноречивые оценки. Больше того, даже людям, принявшим и полюбившим поэму в целом, многое в ней мешает <...>; но несомненно одно: это сила и глубина чувства, заложенного в поэме. Кирсанов показал своей поэмой, что он поэт большой страсти» (Симонов К. Настоящее начало // ЛГ. 1938, 15 марта). «И когда уже больше десяти лет назад появилось первое произведение Кирсанова, принятое безоговорочно, — "Твоя поэма", когда оно ударило по сердцам своей неприкрытой и ничем не прикрашенной правдой, своей личной болью, — уже тогда было ясно, на что способен поэт. На что способен и чего он должен достигнуть» (Антокольский П. На подступах к трагедии // ЛГ. 1947, 13 дек.).

Поэма посвящена К. И. Кирсановой (см. о ней прим. 43). 6 апреля 1937 г. в ЛГ был напечатан некролог:

«Редакция "Литературной газеты" с глубокой скорбью извещает о смерти

КЛАВЫ КИРСАНОВОЙ,

последовавшей после тяжелой и продолжительной болезни 4 апреля, и выражает искреннее соболезнование поэту Семену Кирсанову, потерявшему любимого друга».

Давос — горноклиматический курорт в Швейцарии. *Финзенские дуги* — электрические дуги, генерирующие ультрафиолетовые лучи; применяются для лечения туберкулеза. Название — по имени изобретателя, датского ученого Н. Р. Финзена (1860—1904). *Еще Володька есть* — Владимир Семенович Кирсанов (р. 26 дек. 1936), сын поэта. *Тышлер Александр Григорьевич* (1898—1980) — живописец, график и театральный художник, автор иллюстраций в кн. Кирсанова «Золушка» (М., 1936). *«Метрополь»* — ресторан в Москве. *Трубниковский* — переулок в центре Москвы. *Большая Ордынка* — московская улица. *От Гоголя до буквы «М»* — т. е. от памятника Гоголю (см. прим. 69) до станции метро. *«День белого цветка»*. Подобные Дни проводились с благотворительной целью — для сбора средств туберкулезным больным. *Тверская* — центральная московская улица. *Теберда* — см. прим. 73. *Ленинградское шоссе* — улица в Москве. *Донская* — улица неподалеку от Большой Ордынки. *Нас Ной не взял в ковчегный дом*. Ноев ковчег — см. прим. 99. *Каюту в чреве не дал кит*. За непослушание богу библейский пророк Иона был проглочен китом; пробыв во чреве его три дня и три ночи, пел благодарственные гимны во славу Господа, за что был прощен. *Моисей сияющим жезлом морской воды не раздвоит*. Моисей — библейский пророк, предводитель евреев, призванный вывести свой народ из фараонова рабства; чтобы избежать преследования египетского войска, простер руку с жезлом над Черным (Красным) морем, «и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше» (Исход. XIV, 21—22). Кирсанов говорит здесь о невозможности чуда. *Арбат* — московская улица. *Тверской бульвар, где стынет мой по ямбу*

бронзовый *собрат*. Памятник Пушкину (см. прим. 69) располагался прежде на Тверском бульваре. *Желанье отстоять Мадрид*. Имеется в виду гражданская война в Испании. Летом 1937 г. фронт находился в пяти километрах от Мадрида.

* 247. ЧТ, как раздел (цикл) «Тетрадь третья», с дополнит. гл. «Невозможное» после гл. «Сын со мной». -- ИСт-56. -- Л-62 — обе с подзаг.: «Лирическая тетрадь» и нумерацией гл. -- СС-1. Датируется по ЧТ. СС-1 — с датой: 1939. Впервые читалось на собрании поэтической секции Союза писателей. «...С. Кирсанов прочел цикл лирических стихотворений "Последнее мая". Стихи этого цикла написаны на тему "Твоей поэмы" — утраты близкого, любимого человека. Написан цикл давно, но поэт только теперь нашел возможность ознакомиться с ним товарищей. Стихи этого цикла произвели сильное впечатление. Показалось, что тема цикла делает невозможным его обсуждение. Но постепенно разговор начался и вылился в спор на другую тему — о поисках новых форм для лирических стихотворений. Цикл "Последнее мая" написан С. Кирсановым в новой манере. Это стихи без привычных ритмов, без обычных рифм. Они, оставаясь стихами, приближаются к прозе. В них много неожиданных поворотов, смелых поэтических ходов. По мнению И. Сельвинского, поэт сделал своей задачей — найти небывалую форму для выражения небывалого горя, испытанного им. И острота боли, выраженной в этих стихах, ощущается через острую форму, избранную поэтом. Здесь чувство не пережгло форму, и поэтому стихи цикла оказывают сильное впечатление.

С. Васильев не согласился с Сельвинским. Стихи это или проза? — недоумевает он. И категорически утверждает, что это не стихи, вызвав у Сельвинского остроумную реплику: "Васильев уподобляется человеку, получившему телеграмму по беспроволочному телеграфу и недоумевающему: телеграмма есть, а проволоки не видно!" С. Галкин, А. Сурков, Л. Пеньковский по-разному оценили стихи Кирсанова. Но никто, разумеется, не отрицал их права называться стихами. Возник спор, поставлен вопрос о поисках новых форм вообще, для лирики в частности» (Ал. Р-ч. Сатира и лирика: На поэтическом собрании // ЛГ. 1938, 1 марта). Др. отзывы см.: прим. 79.

Посвящено памяти жены, К. К. Кирсановой (см. прим. 43, 246). Сын — В. С. Кирсанов (см. прим. 246). *Она смотрела на карту* и т. д. Имеется в виду гражданская война в Испании. *Университетский городок*, в сражениях республиканцев с фашистами неоднократно переходивший из рук в руки, был разрушен, библиотека фашистами сожжена.

248. КН. 1939. № 8/9, с подзаг.: «Сказка», с вар. -- ЧТ, без разбивки на главки. -- СС-2. Сюжет поэмы восходит к рассказу Н. С. Лескова «Неразменный рубль. Рождественская история» (цикл «Святочные рассказы»). «Есть поверье, — начинается рассказ, — будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, т. е. такой рубль, который, сколько его ни выдавай, он все-таки опять является целым в кармане» (Лесков Н. С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 7. М., 1959. С. 17).

Гл. 3. *Дома на улице Горького переместились*. В связи с реконструкцией Москвы, в марте 1938 г. был передвинут на катках трехэтажный дом № 24 по ул. Горького.

Гл. 5. «Паркер» — марка авторучки.

249. ЗСФС-42: 3 листовки, без публикуемых; ЗСФС-43, с предисловием: «"Заветное слово Фомы Смыслова" печатается листовками для бойцов Красной Армии. <...> В настоящее издание <...> включены листовки, выпущенные в течение года...», с обл. и рис. Н. Жукова: вступление и 18 листовок, в т. ч. 1—3; СВ, с прим.: «"Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата" выпускалось массовыми листовками для Красной Армии»: 2 листовки, в т. ч. 3-я; СиП-48: вступление и 1 листовка; Соч-54. Т. 1, с авт. прим.: «Из серии солдатских листовок, издававшихся в годы Великой Отечественной войны»: вступление и 3 листовки, в т. ч. 1-я; СС-3, в числе поэм, с прим. как в Соч-54. Т. 1: вступление и 17 листовок, в т. ч. 1—3.

<Вступление>. ЗСФС-43, под загл. в Содержании: «Вступление», с вар. -- СиП-48, с разбивкой на стихотворные строки. -- Соч-54. Т. 1. -- СС-3.

1. Листовка: «Смотри в оба!» [Б.м.]: Гл. полит. упр. Кр. Армии (без указ. авт., б. г.). -- ЗСФС-43, -- Соч-54. Т. 1, с вар. -- СС-3. Датируется по ЗСФС-43.

2. ЗСФС-43, с вар. -- СС-3. Датируется по ЗСФС-43.

3. Листовка: «В бою». [Б.м.]: Гл. полит. упр. Кр. Армии (без указ. авт., б. г.). -- СВ. -- СС-3. Датируется по ЗСФС-43.

«В середине 1942 года, — сообщает Кирсанов, — добиваясь возможности более широкой работы. Вызван в Москву. Начинаю работать над "Заветным словом Фомы Смыслова". Эта работа получает в армии огромный резонанс, издается миллионами экземпляров, печатается во всей фронтовой прессе. Часто выезжаю на фронты. В конце 1943 года возвращаюсь на Калининский <фронт>. Там пишу "Фому Смыслова" и другие вещи» (Автобиография РГБ). Первая листовка — «О чести воинской» — была выпущена в сентябре 1942 г. (тогда же были напечатаны первые три главы «Василия Теркина» Твардовского), последние — в конце 1944 г. «Листовки печатались миллионными тиражами, перепечатывались почти всеми дивизионными, армейскими и фронтовыми газетами», — свидетельствует Л. Крупеников, сообщая о большой популярности листовок: «Спросите у любого бойца на фронте — кто такой Фома Смыслов, и вы услышите обстоятельный рассказ о жизни этого бывалого русского солдата, о его боевых делах и, главное, о метких речах и поговорках, многие из которых вошли во фронтовую быт. Фома Смыслов для этих людей не просто реально существующий где-то человек, — он воюет на соседнем участке фронта, все знают о том, что он был ранен, многие пишут ему письма и даже ожидают ответа. <...> Фронт верит и в Фому Смыслова и Фоме Смыслову. Его любят и уважают. <...> Какими средствами достигнуты эти любовь и уважение? Прежде всего, честным показом трудного солдатского дела» (Боевые друзья Фомы Смыслова // Зн. 1945. № 4. С. 150, 152). «Результаты воздействия "Заветного слова" огромны, — отмечал О. Леонидов в рец. на ЗСФС-43. — Фому Смыслова знает вся Красная Армия. На его имя поступают тысячи писем, в которых бойцы выражают благодарность бывалому солдату за его поучения. <...> Многие из листовок Фомы Смыслова живут в Красной Армии в виде поговорок и пословиц, отдельные меткие выражения используются фронтовой печатью как лозунги или в качестве подписей под плакатами. "Заветное слово" вызвало ряд подражаний.

<...> "Заветное слово Фомы Смыслова" уже бытует в народе как фольклор» (Изв. 1944, 12 янв.). Последнему обстоятельству способствовала анонимность всех публикаций «Заветного слова» в годы войны, благодаря чему фронтовой читатель считал Фому Смыслова автором, реально существующим лицом. «Мне показывали в ПУРе, — вспоминал И. Сельвинский, — целые мешки писем фронтовиков к Смыслову: народ считал его живым человеком» (Живое слово поэта // КПр. 1966, 18 сент.). Исследователь упоминает о «сорока тысячах писем-откликов» (Гринберг. С. 16). Кирсанов считал «Заветное слово» основной своей работой в годы войны. Выступая 8 февр. 1944 г. на IX пленуме правления ССП, он говорил: «Что такое "Фома Смыслов"? Раешник, ухудшенный вид литературы для простых людей? Тысячу раз нет. Я утверждаю, что ни на одну свою вещь я не потратил столько труда. Я утверждаю, что вложил в нее все свое мастерство. Я обратился к русскому старинному лубку, взял и усовершенствовал построение фразы, добился афористичности, добился строгости композиции в этом мало изученном жанре. Я изучил народные заговоры от меча, пули, дурного глаза... Я добился успеха только потому, что возродил в "Фоме Смыслов" исчезнувший русский стих, сохранившийся только в пословицах. Фома Смыслов — это мой эпос. <...> Немцы имитируют Фому Смыслова, шпигуют его антисоветскими и антисемитскими вставками и бросают из самолетов. Они знают, что солдаты Красной Армии будут читать Фому Смыслова, что эта вещь имеет влияние, и они копируют его. Копирование врагом — свидетельствует о силе оружия» (Стенограмма РГАЛИ. Цит. по кн.: Самойленко Г. Стихотворная сатира и юмор периода Великой Отечественной войны. Киев, 1977. С. 126, 129—130). Первые критические отклики на «Заветное слово» появились еще в разгар войны. «Своеобразие листовок о Смыслов в том, что Кирсанов использовал здесь старинную форму русского стиха — раешник. <...> Он у него гибок, выразителен, афористичен...» (Тимофеев Л. Фронтовые листовки // Литература и искусство. 1943, 16 янв.). Ю. Нагибин в большой статье «Заветное слово Фомы Смыслова», упомянув популярных тогда героев фельетонов фронтовых газет Танкина и Зениткина, продолжает: «Но, пожалуй, кто сумел больше других затронуть душу бойца, так это Фома Смыслов, бывалый солдат, с его меткими речениями-поговорками. <...> Фома Смыслов — это образ русского солдата, каким он стал теперь, после многих испытаний, выпавших на долю Красной Армии. Это кадровый солдат, вместивший в себя большой опыт войны, солдат, познавший и горечь временных неудач, и радость могучего наступления. Он до конца свыкся с фронтовой "житухой"; крепко, как семью, полюбил солдатское товарищество, где все за одного и один за всех. Потому-то и стал образ Фомы Смыслова близок бойцам нашей армии. Учит Фома Смыслов не каким-либо особым уловкам, а простым и вместе с тем главным вещам, без которых солдат не есть солдат: дисциплине, бесстрашию, красноармейской чести, бдительности, ненависти к врагу. Для этого Фома находит точные слова, подкрепляя их примерами из собственной долгой боевой жизни и жизни своих друзей» (Красная звезда. 1943, 19 авг.). «Фома Смыслов просто и душевно говорит суровую правду о войне» — признает Л. Крупеников, критикуя однако поэта за нетворческое

отношение к «несколько устаревшей форме лубка», «упрощение, огрубление языка». «Покорное следование окостеневшей форме и псевдонародной лексике, — заключает он, — помешало Кирсанову создать полноценный, многогранный образ передового человека нашей эпохи, бойца Красной Армии, воина-освободителя» (Зн. 1945. № 4. С. 152, 154, 155). В дальнейшем мнения критиков о произведении резко разделились. Так, в одном номере ЛГ под рубрикой «Литературные дискуссии» помещены две противоположные оценки «Заветного слова»: «...“Фома Смыслов” явился своего рода подвигом для поэта: обращенный буквально к миллионам армейских читателей, он полностью дошел до них, возбудив уверенность в реальном существовании героя, вызвав бесчисленные отклики, которые уже сами по себе являются солдатским фольклором» (Антокольский П. На подступах к трагедии // ЛГ. 1947, 13 дек.); «С. Кирсанов работал одновременно в нескольких планах, жанрах и стилях: с одной стороны, — “Смыслов” и другие произведения, предназначенные специально для “массового читателя”; с другой, — для себя самого и особых поэтических ценителей; “раешник” — и “лира”. Если бы С. Кирсанову были действительно дороги те люди, которым адресован “Смыслов”, он вряд ли придерживался бы такой системы; он принимал бы “массовых читателей” за тем же столом, за которым сидит он сам и его литературные друзья» (Александров В. Новаторство или эпигонством // Там же). И. Л. Андроников, который в годы войны вместе с Кирсановым был на Калининском фронте, говорил, выступая 1 ноября 1956 г. на вечере, посвященном 50-летию со дня рождения Кирсанова: «Фома Смыслов был сделан настолько реально и настолько конкретно, что его многие читатели принимали за живого человека <...>. Но тем не менее, он признан недостаточно. Я всегда жалею, что эта работа не получила достаточного признания. Это одна из самых великолепных работ — тонкая, точная, нужная, оперативная. И это, конечно, поэзия, как она есть и какой она должна быть» (РГАЛИ, фонд Центрального дома литераторов им. А. А. Фадеева). Нередко «Фома Смыслов» рассматривается в сопоставлении с «Василием Теркиным» Твардовского. «Этот бывалый солдат, как он отрекомендовался лихим и ладным раешным стихом, ныне забыт, — писал Б. Слуцкий. — Но было время, когда его читали не менее, чем Теркина. Теркин учил чувствовать и мыслить. Смыслов учил солдатским ухваткам и навыкам, вплоть до методы чистки винтовки. Миллионы листовок с наставлениями Фомы Смылова были обращены к самым неподготовленным в поэтическом отношении бойцам. Продолжая раешник ярмарочных балаганов, разудалый стих лубков, Кирсанов, скрывшийся под этим псевдонимом, учил солдат и воевать и жить на войне» (Благородная ярость // НМ, 1971. № 5. С. 268). Отвечая на анкету ВЛ, Д. Самойлов писал: «Фома Смыслов войны не пережил. Работа эта блестящая, как почти все, что делал Кирсанов. Но задача была сугубо утилитарная, листовочная, и герой Кирсанова над этим не вырос, не поднялся, как вырос, расширился, возвысился герой Твардовского...» (ВЛ. 1985. № 5. С. 72).

*250. ДП-1962, с подзаг.: «(Из лирического дневника начала войны)», без гл. 5, 8, 12, 16, с вар. -- Л-62; главы, вместо цифрового

обозначения, под загл.: вместо 1 — «Июнь» и т. д. в порядке месяцев; гл. 12 и 13 — «Апрель I» и «Апрель II»; без гл. 4, с вар. -- КЛ-66, с подзаг.: «Дневник начала войны». -- СС-1. В поэму вошли два ст-ния (оба — с вар.): «Большак» («О, большак наступления, долгий и пыльный!..», 1944) — гл. 16 и «Долг» («Война не вмещается в оду...», 1942) в качестве «Послесловия». Библейской образностью с поэмой связано ст-ние «Поле» («Трава не растет на воронке снаряда...», 1943).

Эдем — см. прим. 140.

Гл. 1. *Семь дней от Начала еще не прошли* — см. прим. 171. *Трубный Глас*. По Библии, труба архангела должна возвестить начало Страшного суда, ожидающего всех, живых и мертвых. *Еще мы остри-пом о библейском Уже*. Уж — здесь: змей-искуситель, дьявол (см. прим. 143). Автор имеет в виду недооценку у нас накануне войны опасности нападения со стороны Германии. *Нас уже огненным гонят мечом* и т. д. Отступление первых месяцев войны ассоциировано здесь с изгнанием Адама и Евы из рая. Огненный меч — см. прим. 143. *Человеческий Враг* — в Библии: дьявол, сатана; здесь: оккупанты.

Гл. 2. *Фугасный головастик* — фугасная авиабомба или снаряд. *Протуберанцы* — светящиеся выступы над поверхностью Солнца, представляющие собой массы раскаленных газов; здесь — заградительные азростаты. *Крыша бьет багром термических тритонов* — зажигательные (начиненные термитом) бомбы, которые тушились дежурившими на крышах домов бойцами ПВО. *Сына в одеяле понесла Магонна* и т. д. Московское метро использовалось в качестве бомбоубежища. *Первый Дантов круг* — первый из девяти кругов Ада, описанных в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь 4-я), где пребывают некрещенные младенцы и добродетельные нехристиане.

Гл. 3. *Этот страшный август* и т. д. — август 1941 г. Здесь, как и вообще в поэме, явственны автобиографич. мотивы (ср. прим. 94). *Геенна* — ад.

Гл. 4. *Столбами соляными стоят заплаканные вдовы*. Соляные столбы — см. прим. 180. *Моря спасительные Черные* — см. прим. 246. *Сын Человеческий* — в Библии: Христос; здесь — человек. *Стигматы* — раны от гвоздей на руках и ногах Христа, снятого с распятия. *Бегут Иосифы с Марьями*. Бегство мирного населения от захватчиков отождествляется здесь с описанным в Библии бегством из Вифлеема в Египет Иосифа и Марии с младенцем Иисусом от намеревавшегося погубить его царя Ирода. «Тогда Ирод <...> весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его...» (Мф. II, 16). *Петры уходят в партизаны*. Петр, один из апостолов, часто изображался пожилым бородатым мужчиной; на этих сходных чертах и основан данный образ. *Я встал за северным сияньем* и т. д. В конце лета — начале осени 1941 г. поэт находился на Карельском фронте (см. прим. 94). *Агасфер* — легендарный Вечный Жид, осужденный вечно скитаться по земле. *Таврица* — Крым. *К источникам огнепоклонников, к запасам адского огня*. Речь идет о стремлении немецкой армии прорваться на Кавказ, к нефтяным промыслам.

Гл. 5. *Драконы и единороги* и т. д. Немецкая военная техника (тяжелые орудия, бомбардировщики, танки, самоходные орудия) ассоциирована здесь с апокалиптическими чудовищами. *Он видел врага, что явился из Дантова цикла*. Имеются в виду силы ада, описанные в 1-й

кн. («Ад») «Божественной комедии» Данте. *Ассурбанипал*, или *нет*, *возрожденный Аттила*. Ассурбанипал (Ашшурбанипал, 669 — ок. 633 до н. э.) — ассирийский царь, воевавший с Египтом и многими другими государствами и народами. Аттила (ум. 453) — вождь гуннов, опустошитель Европы, прозванный «бичом божьим»; «помещен» Данте в 7-й круг Ада, где томятся насильники над ближним и его достоинством.

Гл. 6. Второй Потоп. Фашистское нашествие сравнивается здесь с описанным в Библии всемирным потопом. *Бронтозавры*, *бронированный ящер* — здесь: немецкие танки, бронетранспортеры. *Ковчег* *резервные Ноевы* и т. д. Ноев ковчег — см. прим. 99.

Гл. 7. Стучит телеграф и т. д. В гл. 7—8 речь идет о контрнаступлении советских войск под Москвой, начавшемся 6 дек. 1941 г. и закончившемся разгромом немецко-фашистской группировки. *Птеродактили* — здесь: самолеты.

Гл. 8. Реторты Крупна. Концерн «пушечного короля» Крупна во время Второй мировой войны — крупнейший поставщик оружия гитлеровской Германии. *Гомункул* — по представлениям средневековых алхимиков, искусственное существо, полученное в колбе.

Гл. 9. Елисейские поля (Элизий) — в «Одиссее» Гомера: блаженная страна счастья, где вечной и безмятежной жизнью живут любимцы Зевса. *Машины молнии и грома* — советские реактивные минометы «катюша». *Архангеловы трубы* — см. прим. к гл. 1.

Гл. 10. Титло — в средневек. письменности: знак над сокращенно написанным словом.

Гл. 11. Легионы выстраивал Архистратиг. Архистратиг — Михаил-архангел, предводитель небесного воинства; здесь — главный военачальник.

Гл. 12. Книга Бытия — Бытие, 1-я кн. Библии. «*В начале слово бе*» («В начале было Слово») — 1-я строка Евангелия от Иоанна. *Без потоп* *мир о радуге б не знал*. Радуга, появившаяся в небе после окончания всемирного потоп

а, знаменовала, «что не будет более истреблена всякая плоть водами потоп

а и не будет уже потоп

а на уничтожение земли» (Бытие. IX, 11).

Гл. 14. Дивизия Авелей бьется с дивизией Каинов. Авель и Каин — в Библии: сыновья Адама; Каин убил Авеля, за что был проклят богом. *Бризантные брызги* — здесь: осколки. *Битва Алфы с Омегой*. Альфа и омега — первая и последняя буквы греческого алфавита; здесь: начало и конец.

Гл. 16. Аттила — см. прим. к гл. 5.

Гл. 17. Эдисон Томас Алва (1847—1931) — американский изобретатель в области электротехники; здесь: талантливый изобретатель. *Вертер* — герой романа И.-В. Гете «Страдания юного Вертера» здесь: влюбленный юноша. *Лиза*. По-видимому, имеется в виду героиня повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» или «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина; здесь: влюбленная девушка. *Кампанелла* Томмазо (1568—1639) — итальянский философ и поэт, автор коммунистической утопии «Город Солнца»; здесь: мечтатель.

251. День русской поэзии. М., 1958, с предисл. «От автора»: «Первые образы этой вещи возникли во мне в самые первые дни мира после войны, когда наряду с радостным ощущением наступившей тишины еще висело в памяти ужасающее своей жестокой бессмыслен-

ностью видение атомного взрыва в Хиросиме, стоны упавших в тот миг, когда уже всюду звучало слово "мир". В этой вещи я хотел выразить тогда еще смутную тревогу за будущее, а будущее показало, что эта тревога была небезосновательной. Поэтому я вернулся к черновикам "Вести о мире"..." -- ИП-61. Т. 1 (без предисл., текст тот же). -- СС-2. Журналом «Знамя», куда Кирсанов предложил поэму (очевидно, в конце 1945 — нач. 1946 г.), она была отклонена. Причину этого раскрывает сохранившийся черновик письма гл. редактора Зн. В. В. Вишневского Кирсанову (б. д.; вероятно, май 1946 г.): «У Вас раздумья над современностью исключительно пессимистические... Вы как-то удивительно странно "снимаете" смысл происходящих событий, отказываетесь от качественных, социальных, философских определений... — Это полный отход от высоких традиций нашей поэзии. <...> Задумайтесь и глубоко... — Да, предстоит борьба... к ней надо идти с душой ясной и смелой...» (РГАЛИ, арх. В. В. Вишневского). В письме от 23 мая 1946 г. Кирсанов отвечал: «Поэма "Весть о мире" (венок сонетов), как Вы это сами знаете, не есть упражнение в сонетной форме. Это сложная цепь реакций человека на первый день мира, который оказывается первым днем новой войны. То, что это *так*, никто не может опровергнуть. Это откровенный рефлекс тревоги. В одном из сонетов есть серьезная описка, оговорка, которую Вы мне помогли заметить. Это то место, где жертва и убийца встречаются и обмениваются репликами. <...> Это будет мною исправлено, ибо никакого посмертного всепрощения я не хотел выразить. Но, независимо от этой частности, смысл моего венка именно в неоконченности поединка и в чувстве тревоги. <...> Я мучительно не хочу отфильтрованных и отжатых стихов, где всё в порядке, где поэт всё самодовольно "знает", и бровью не поводит. <...> Я хочу быть опубликованным в разрезе, а не с поверхности. К сожалению, гегемония крестьянско-народнического стилюка в нашей поэзии, простоватость гармошечных четверостиший еще мешает нам увидеть действительно прогрессивные тенденции. Я убежден, что советская поэзия имеет право быть тоньше и сложнее любой западной <...>. "Отказываюсь от социальных определений?" Нет и тысячу раз нет. Вы слишком хорошо знаете, что я всю жизнь только и занимался что социальными определениями в поэзии» (там же). «Ключом бьет мысль и чувство в небольшой, но чрезвычайно острой поэме Семена Кирсанова "Весть о мире". Опасения и жгучая тревога за наступивший мир пронизывают поэму...» — отмечал Ю. Шилов в рец. на «День русской поэзии» (Что читать. 1959. № 5. С. 21)..

5. *Каролинские острова* — архипелаг островов в западной части Тихого океана; многие из них окружены коралловыми рифами.

8. *Истина в вине* — латинская крылатая фраза.

9. *Припоминаю гетевские трели* и т. д. Речь идет о Мефистофеле из трагедии Гете «Фауст».

10. *Мониторы* — класс бронированных кораблей, предназначенных, в частности, для борьбы с береговой артиллерией. *Рожденный в тишине лабораторий, встает вулкан* и т. д. Речь идет о первой атомной бомбе, сброшенной США на Хиросиму 6 авг. 1945 г.

14. *Орион и Лира* — созвездия. *Мирр* (мирра) — ароматическая смола из коры некоторых тропических деревьев; употребляется, в частности, в парфюмерии.

*252. Полностью: Окт. 1947. № 8, с вар., дата: 1944—1947. -- ЧН, с вар., дата: 1947. -- СИП-48, дата: 1944—1947. -- Соч-54. Т. 1, дата: 1944—1947. — всюду с подзаг.: «(Драматическая поэма)» и посвящ.: «Р. Д. Кирсановой». -- Поэмы-56, дата: 1944—1947. -- ИП-61. Т. 1, с подзаг.: «(Драматическая поэма)», дата: 1945—1947. -- СС-2.

Отрывки: Сокол Родины. 1944, 9 июня: «Песня людей на земле. (Отрывок из поэмы "Война и небо")» («Смелый летчик жил на свете...») — из явл. 4-го, др. ред.; Ленингр. правда. 1945, 28 окт.: «Песня о летчике (из поэмы "Война и небо")» («Смелый летчик жил на свете...»), др. ред.; Сталинский сокол. 1946, 25 мая: «Война и небо. Глава из поэмы» — явл. 3-е, с ред. предисловием: «В поэме "Война и небо" Семен Кирсанов стремится найти новые формы, которые соответствовали бы темпу и скоростям, характерным для жизни и борьбы его героя — летчика. Поэт наделяет живым голосом все, что окружает летчика в полете и в бою...», др. ред.; С-59: «Небо над Родиной. (Из поэмы)» — явл. 2-е, дата: 1946.

Автографы ЛА: КВ-1, под загл. «Глазами неба», др. ред., дата: 1941—1943; КВ-2, под загл. «Война и небо», др. ред., дата: 1942—1943; авт. маш. РГАЛИ, фонд ред. Окт, др. ред., под загл. «Выше жизни», дата: 1943—1944. О работе над поэмой Кирсанов упоминает в Автобиографии РГБ: «В конце 1943 года <...> начал работу над "Войной и небом" <...>. В 1945 году заканчиваю поэму "Война и небо"..." Таким образом, помимо окончательной, существовали еще несколько предварительных редакций поэмы: наиболее ранняя — «Глазами неба», следующая — «Война и небо». В 1945—1946 гг. поэма была снова переработана, о чем автор сообщил В. Вишневскому в письме от 23 мая 1946 г.: «...За год я очистил ее от примесей и многое в ней долепил и еще надеюсь и Вас завоевать ею» (РГАЛИ, арх. В. В. Вишневского). Эта редакция, названная «Выше жизни», и была отдана автором в Окт. Однако работа над текстом продолжалась, и в Окт. поэма была опубликована уже в новой ред. История публикации поэмы сложилась чрезвычайно непросто. В начале 1945 г. Кирсанов предложил ее в НМ. В протоколе заседания редколлегии журнала от 2 апр. говорится: «Присутствовали тт. К. А. Федин, В. Р. Щербина, М. М. Розенталь, А. М. Дроздов, Н. И. Замошкин. Слушали: С. Кирсанов прочел свою новую поэму «Война и небо». Общая оценка поэмы — положительная. <...>. Постановили: поэму принять к печатанию в "Новом мире". Обсуждение частностей отложено до времени, когда редакция ознакомится с поэмой в рукописи» (РГАЛИ, фонд ред. НМ). В результате поэма была отклонена, и автор передал ее в Зн. Члены редколлегии отозвались о ней по-разному: «"Война и небо" — это попытка новой формы стихотворной драмы, где вместо людей действуют явления природы: облака, небо, ветер, земля и т. д. Но еще Пушкин писал о равнодушной природе. С каким бы интересом мы ни следили за оригинальными героями этой драмы, мы не можем найти человеческого тепла у таких действующих лиц, как мотор, зенитные орудия, пули, а условные персонажи, такие как мать, любимая, Сталинград, действуют только как аллегории. Попытка несомненно оригинальная, но я боюсь, что в ней очень много от чисто эстетического любования возможностями звукоподражательного стиха...» (Н. Тихонов, 11 июля 1945 г.); «Дай бог побольше таких поэм. Вещь не только

примечательная, но во многом и замечательная. Она светлая, добрая, оптимистичная и даже, я бы сказал, трогательная. <...> Кстати сказать, идейно — вещь правильна и своевременна. В любви к автору меня заподозрить трудно, и однако думаю о<б> этой его вещи с большой теплотой. Спорного, по-моему, в ней мало. Люди, любящие поэзию — перешагнут через непривычность и трудность (кстати, не бог весть какую) поэмы — а не любящие поэзии все равно стихов в журнале не читают <...>. Поэму надо безусловно принять и напечатать» (К. Симонов, 15 июля 1945 г.); «Вещь условная, головная... — До души моей такое изображение войны не доходит... — На редколлегии буду против поэмы С. Кирсанова. Она не в курсе, не в традиции "Знамени"» (Вс. Вишневский, 23 июля 1945 г.) (РГАЛИ, фонд ред. Зн). 23 июля поэма обсуждалась на заседании редколлегии журнала и была отклонена большинством голосов. «Никакой пессимистической линии у меня нет, — писал Кирсанов В. Вишневскому в ответ на упреки последнего (см. прим. 251), — и я вам напомню в связи с этим свою поэму "Война и небо", в которой из гибели человека, из пожара, дыма и крови выкристаллизован такой оптимизм, какого мне может быть второй раз не удастся пережить и выразить. И никакого противоречия здесь нет. <...> Что я сделал в ней? Я одушевил весь неживой мир вокруг одинокого летчика в небе. Я заставил всю стихию участвовать на его стороне в его схватке с врагами. Я поэтически доказал объективное добро и правоту нашей войны, отождествив ее с самой природой, и необходимость подвига, жертвы — с неизбежными законами самой жизни» (РГАЛИ, арх. В. В. Вишневского). Трудности в связи с публикацией поэмы возникли и в дальнейшем. Категорически против ее включения в сборники Кирсанова высказывались: в 1953 г. — И. Карабутенко (внутр. рец. на рук. Соч-54 — АДК), в 1955 г. — редактор кн. Поэмы-56 И. Израильская (докладная записка на имя зав. редакцией русской сов. лит. «Гослитиздата» А. Л. Трегубова. — Там же). 20 нояб. 1946 г. Кирсанов читал поэму на собрании секции поэтов в Московском клубе писателей. «В кратком вступительном слове С. Кирсанов рассказал о большой работе над первоначальным вариантом поэмы, которую он проделал за два истекших года. <...> В обсуждении приняли участие Л. Ошанин, З. Кедрина, С. Галкин, В. Бугаевский, С. Михалков, О. Колычев, В. Инбер и др. Большинство выступавших охарактеризовало "Войну и небо" С. Кирсанова как творческую удачу поэта» (ЛГ. 1946, 23 окт.). В печати вокруг поэмы развернулась широкая дискуссия. Первый отзыв напечатан в том же номере Окт, что и сама поэма: «Хочется здесь отметить, — писала В. Инбер, — чрезвычайно интересную новую поэму Кирсанова. Поэму, куда вихревым образом включены персонажи не совсем обычные: Летчик, Облака, Капля, Земля, Ветер, Вихрь, Мотор и т. д. И где формальное мастерство Кирсанова органически совпадает с темой» (с. 187). Абсолютное неприятие поэмы демонстрирует статья В. Сидорова и Ю. Зубкова «Формалистические выкрутасы поэта С. Кирсанова»: «Летчик подан в отрыве от людей, от товарищей по оружию. О нем, о его подвиге думают не страна, не народ, на выручку ему спешат не его однополчане — о нем разглазывают Обрывки низких облаков и Капли, его закрывают от врагов и выручают Тучи. <...> К серьезной, ответственной и трудной

теме — к описанию подвигов наших славных сталинских соколов — Семен Кирсанов отнесся несерьезно, безответственно, с непрости-тельным легкомыслием. Поэма написана холодно и бездушно. Ее идей-ное убожество, задрапированное в лохмотья "красивых" слов, не может не вызвать справедливого возмущения читателей» (Сталинский со-кол. 1947, 5 окт.). Противоположные друг другу точки зрения выра-жены в двух статьях, появившихся в ЛГ под рубрикой «Литератур-ные дискуссии». П. Антокольский: «Перечитывая уже в который раз замечательную поэму С. Кирсанова "Небо над Родиной", я с очень большой ясностью (прибавлю еще: с радостью) убеждаюсь, что тако оно и есть. Не в сложности или простоте дело, а совсем в другом. В чем же? В новизне находки, которая может и должна быть противо-поставлена традиционной обычности. <...> В данном случае речь идет об удачном испытании пробной машины, то есть о новизне смелой и уверенной. <...> Новизна метода <...> сказывается в каждом образе поэмы, в каждой строке. <...> Герой поэмы, летчик, "решен" автором в четырехстопном хорее. <...> Кирсановский хорей звучит по-ново-му: как волевая сила. Маленькая жилплощадь в семь-восемь слогов переполнена действием, сменой действий. Это стенографическая за-пись мыслительной работы человека, находящегося в предельном на-пряжении. Тут нет ничего условно поэтического, нет условных кра-сот стила. Только дело, только жизнь <...>. Поэма "Небо над Роди-ной" является одним из лучших достижений послевоенной советской поэзии» (На подступах к трагедии // ЛГ. 1947, 13 дек.). В. Александров: «Нужна мотивировка "содружества природы" именно с социа-листическим человеком. В поэме С. Кирсанова эта мотивировка на-мечена, но не развернута. Для такого развертывания нужно было бы найти средства, которые позволили бы поэтически выразить разли-чие социалистического и капиталистического хозяйствования в их отношениях к природе, богатствам ее и возможностям. Поэма С. Кир-санова, в которой на первом плане — один человек, окруженный стихиями, этой задачи не решает. <...> И когда Ветры и Облака появ-ляются перед нами не в сказке, а в "драматической поэме", такое появление нам кажется придуманным, нарочито-литературным и странным. <...> Определение "формализм" уже неоднократно при-менялось по отношению к некоторым произведениям С. Кирсанова. Говоря о поэме "Небо над Родиной", я добавил бы еще одно опреде-ление: "эпигонство"» (Новаторство или эпигонство // Там же). В споре о поэме приняли участие А. Тарасенков, Л. Скорино, В. Костелянец, А. Фадеев, Б. Соловьев и др. Д. Данин писал: «"Небо над Родиной", как грозвыми разрядами, насыщено совершенно своеобразным дра-матизмом. Но это не поэма, а философическая мистерия, нечто та-кое, что стоит особняком в современной советской поэзии. Много важных и интересных вопросов уже возникло и еще возникнет в нашей критике в связи с полемическим обсуждением этого, на мой взгляд, самого содержательного, но вместе с тем и самого спорного произведения Семена Кирсанова» (...Страсть, борьба, действие // НМ. 1948. № 10. С. 267). С критикой поэмы выступил А. Фадеев: «Приведу <...> пример, что происходит с поэтом, если он, наслушавшись фор-малистов, из полемического задора использует неподходящую фор-му для новой, социалистической темы. Это случилось с С. Кирсано-

вым в его поэме "Небо над Родиной". Некоторые критики считают поэму "новаторской". Но форма этого произведения не новая. Нет, она заимствована у абстрактных романтических поэтов прошлого, с характерным для такой поэзии отсутствием человека. Автор хотел показать глубину советского патриотизма, величие и бессмертие подвига советского человека. Но в поэме действуют и разговаривают облака, земля, дождь, даже мотор, и нет человека. Тема советского патриотизма подменилась абстрактной темой "жизни и смерти"» (За высокое качество художественной литературы и принципиальную критику // ЛГ. 1949, 10 авг.). Позже П. Антокольский писал: «Так же, как двадцать лет назад, я убежден в музыкальной мощи этой своеобразной оратории, и, право же, она еще дождется своего композитора, который одолеет, захочет одолеть ее внешнюю сложность ради глубокого душевного строя вещи!» (Искатель // ЛГ. 1966, 20 сент.). «Здесь он вернулся, — писал исследователь творчества Кирсанова, — к мистериальной драматической форме, опробованной некогда в "Герани — миндале — фиалке". <...> Функция одушевленных Облаков в поэме сродни функции хора в античной драматургии» (Минералов. С. 133—134). В основе сюжета поэмы — подвиг летчика капитана Н. Ф. Гастелло (см. прим. 100).

Явл. 1-е. *Акрополя колонны*. Имеется в виду Афинский акрополь. *Орудия Крупна* — см. прим. 250.

Явл. 2-е. *Пентаграмма* — в ср. века — магический знак; здесь — красная звезда на борту советского самолета.

Явл. 3-е. *Нелюдимо небо-море* — перифраз ст. 1 ст-ния Н. М. Языкова «Гловец» («Нелюдимо наше море...»). *Спасская башня* — см. прим. 36. *Мы видели Дворец Советов* и т. д. Имеется в виду оставшийся неосуществленным проект здания Дворца Советов в Москве (архитекторы В. Иофан, Б. Щуко, В. Гельфрейх), увенчанного гигантской статуей Ленина с протянутой рукой. Дворец должен был стоять на месте снесенного в 1931 г. храма Христа Спасителя, но строительство, начатое в 1937 г., было прекращено с началом войны. В 1960 г. на основании фундамента Дворца Советов был построен плавательный бассейн «Москва»; в 1990-е гг. храм был выстроен заново.

*253. НМ. 1956. № 9, с вар. -- Л-62, с вар. -- Л-66. Печ. по Л-66 с восстановлением пропущенной ст.: День третий, ст. 53. Публикация поэмы вызвала появление в печати протестующих отзывов (за 1957—1960 гг. их зафиксировано 13). Причем чаще всего поэма разбиралась в «обойме» с другими произведениями, опубликованными после XX съезда КПСС (февраль 1956) и содержащими критику различных сторон советской действительности, — вместе с романом В. Дудинцева «Не хлебом единым», рассказом А. Яшина «Рычаги», а также публикациями М. Алигер, А. Гранина, Л. Зорина, А. Крона, А. Тендрякова и др., статьями и выступлениями О. Берггольд и К. Симонова. При этом критика не касалась художественной стороны произведений, но сводилась к политическим обвинениям, высказанным с разной степенью резкости. «Это верно, что бюрократическое, бездушное, чиновничье начало есть, то, что стоит поперек дороги к коммунизму и в корне противоречит духу нашего времени. <...> Но кто же из читателей согласится со словами С. Кирсанова из его поэмы про-

тив бюрократизма <...>, что его другу от бюрократизма "так душно, трудно дышится, как мне сегодня пишется". <...> Маяковский, бичуя бюрократизм в "Стихах о советском паспорте", сумел в то же время с необыкновенной силой выразить свою патриотическую гордость гражданина страны Советов. В поэме же Кирсанова утрачена эта главная политическая музыка, и поэт, увлекшись, нарисовал такую картину, что у нас все и вся задушено бюрократизмом» (Зелинский К. Поэзия и чувство современности: По поводу сборника «День поэзии» // ЛГ. 1957, 5 янв.). «— Возьмем поэму С. Кирсанова "Семь дней недели", — говорит критик А. Ключья. — Хотел или не хотел этого Кирсанов, но, мне думается, эта поэма полна глубокого пессимизма. Очень жаль, что журнал "Новый мир" занимает, мягко выражаясь, не всегда последовательную позицию в борьбе за партийность советской литературы» ([Б. п.] Говорят писатели Украины / Пленум правления СП Украины, 10—12 янв. // ЛГ. 1957, 15 янв.). «На первый взгляд поэма кажется очень далекой от времени и пространства, философической и фантастической, написанной почти эзоповским языком. <...> Можно было бы махнуть рукой на стихотворца: мели, Емеля, твоя неделя. Рассказывай сказки о механическом сердце! Изображай себя единственным защитником человечности <...>. Но от поэмы "Семь дней недели" не так легко отмахнуться. <...> Поэма в кривом зеркале представляет советских людей, искажает действительность, клеветает на наше общество» (Рябов И. Неделя поэта Кирсанова // КПр. 1957, 5 февр.). «...Серьезные возражения вызывает идейная направленность поэмы С. Кирсанова "Семь дней недели". В ней присутствует нигилизм в отношении к нашей советской жизни» (Сыгин В., секретарь парткома Московской писательской организации. Быть в первых рядах // Московская правда. 1957, 2 марта). «В последние полтора года некоторые советские писатели, изменив правде жизни, опубликовали фальшивые антихудожественные произведения. Борьбу партии за преодоление культа личности они поняли обывательски. <...> (Упоминается десять писателей. — Э. Ш.) Опытный поэт С. Кирсанов в поэме "Семь дней недели" благородную идею борьбы против бюрократизма и приспособленчества подменяет однобоким, неверным изображением нашей действительности» (Минасян А. Правда жизни и позиция писателя // Дальний Восток. 1957. № 6, ноябрь-дек. С. 164, 167). «Партия и советский народ отвергли произведения, подобные "Не хлебом единым" В. Дудинцева или "Семи дням недели" С. Кирсанова не потому, что там содержится критика наших недостатков. <...> Дудинцев и Кирсанов не видят прекрасного, олицетворенного в советском общественном строе, в труде, созидающем коммунизм <...>. Поэтому их произведения объективно превращаются в клевету на наш общественный строй, на советских людей» (Коган Л. Труд, творчество, красота: К вопросу о социалистическом идеале прекрасного // Урал. 1958. № 5. С. 176). «С сатирической язвительностью С. Кирсанов рисует образ регивого администратора бюрократа Вторникова <...>. Однако образ Вторникова в поэме предстает — и это ее существенный идейный порок — как своеобразная аллегория, как олицетворение деятелей государственного аппарата вообще» (Храпченко М. Мироззрение и творчество // Проблемы теории литературы. М., 1959. С. 28). «Писатели В. Дудинцев, А. Яшин, С. Кирсанов в таких извращающих

правду жизни и художественно слабых произведениях, как "Не хлебом единым", "Рычаги", "Семь дней недели", грубо нарушили законы жизни, законы искусства и в силу этого "нарисовали искаженную, утрированную картину", привлекая "к себе внимание наших врагов, а не друзей", и за это понесли самое тяжкое для художника наказание — всенародное осуждение их идейно-порочных произведений" (Устинов В. Марксистская диалектика и искусство социалистического реализма // Искусство принадлежит народу: Сб. статей. Л., 1960. С. 275. Автор цитирует здесь высказывания В. Г. Белинского). Противоположная приведенным оценка появилась лишь через два десятилетия после опубликования поэмы: "...Движение времени по дням недели реализуется в расширительном смысле как движение истории, трудовых будней страны, которое захватывает в свой поток героя, формируя его как личность. <...> XX съезд партии осмыслиется поэтом как важная веха в жизни народа. Происходит как бы новое "сотворение мира" (семь дней недели), старинный миф повторяется, переосмысливается, но на новой исторической основе <...>. Кирсановым была намечена и впервые в советской поэзии послевоенного периода так широко выражена тема пути и обновления в ее сугубо лирическом варианте, без описательных картин и объективных образов. "Лирический дневник" недели, в который автор вкладывает осмысление истории страны за последние годы, — вот что такое поэма Кирсанова" (Долгополов Л. К. Традиции Блока в поэзии 50—60-х годов // Русская советская поэзия: Традиции и новаторство. 1946—1975. Л., 1978. С. 203—204).

Семь дней недели. Идея поэмы и ее загл. восходят к библейскому рассказу о сотворении мира (Бытие, гл. 1).

Вступление. *Хоть все «Дела» пересмотреть пришлось бы и т. д.* Речь идет о пересмотре дел незаконно осужденных в период сталинских репрессий. *Пусть пьедестал без статуи побудет.* После XX съезда начался демонтаж многочисленных памятников Сталину.

День первый. *Берия* Лаврентий Павлович (1899—1953) — с 1938 г. нарком, затем министр внутренних дел, один из главных организаторов политических репрессий в стране.

День шестой. *Суббота — День шестой... Все создано: Земля и Свет, но Человека только нет.* По Библии, в день первый творения был сотворен свет, в третий — земля, в шестой — человек (Бытие. I, 1—31). *Не poznano Добро и Зло.* Аллюзия на фрагмент Библии, повествующий о райском «дереве познания добра и зла» (Бытие. I, 16—17; 3, 1—5).

День седьмой. *Ведь надо ж «дурнуться»!* «Надо бы дурнуться» — слова из предсмертной записки В. Маяковского.

*254. Полностью: ДП-1960. -- Л-62. -- СС-1. Печ. по СС-1, где впервые опубл. с жанровым обознач.: «Поэма» (текст как в Л-62).

Отдельная глава. РП: «В начале».

Автографы ЛА: полностью — маш. с авт. правкой, др. ред., дата: 1959; черновые вар. отд. главок — авт. маш., автограф. Датируется по ЛА и РП. СС-1 — с ошибочной датой: 1962. Положено на музыку М. Таривердиевым — «У тебя такие глаза» (из кинофильма «Человек идет за солнцем»), цикл: «Твои рисунки», «И за белой скатертью», «Приезжай»; А. Томчиным — цикл: «Приезжай», «Буквы», «Я бел, любимая». Первоначально поэма была посвящена молодой бельгийской художнице и поэтессе Изабель Баэс, с которой Кирсанов позна-

комился в 1959 г. в г. Кнокке ле Зут (Бельгия), где участвовал в Международной встрече поэтов. Имя Изабель первоначально неоднократно встречалось в тексте и зашифровано в ст. «И за белой скатертью». В 1960 г. автор переработал поэму, сняв упоминания о ее адресате. Поэма (тогда — цикл) была воспринята неоднозначно. На обсуждении ДП-1960 в Союзе писателей ее критиковали А. Николаев и С. Смирнов (автор нескольких пародий на Кирсанова). «Следует сказать, что в стихах С. Кирсанова есть теплые лирические строки, но они тонут в потоке вычурных, надуманных» (Богданов П. Разговор надо продолжить // Московский литератор. 1961, 13 апр.). В. Огнев полемизировал с этим мнением: «Если многообразии форм поэзии реально существует, то, нравится оно кому-то или не нравится, в сборнике оно должно быть представлено» (Верить в талант // Там же. 1961, 31 мая). В ряде статей поэма осуждалась за формализм: «...В "Дне поэзии" автор пошел по линии уже давно известных и не оправдавших себя словесных экспериментов» (Соловьев Г. Ответственность перед временем. М., 1963. С. 31). Наибольшее внимание при этом привлекло ст-ние «Буквы»: «С. Кирсанов, вспомнив зачем-то юношеские опыты, нанизывает: "И эль, / и Ю, / и Бэ, / и эль, / и Ю..." <...> (ст-ние приводится целиком. — Э. Ш.). Здесь принцип построения стиха обнажен по-футуристически: поменьше смысла, побольше звуковой экспрессии, то есть звукового трюкачества» (Друзин В. О современной молодой поэзии // Нева. 1961. № 5. С. 184). «Смысл стиха, — признавал А. Урбан, — зависит не только от значения слов, но и от звукового лада. Звучание слова участвует в создании поэтического образа. <...> Кирсанов пытается построить стих так, как влюбленные думают обычно о предмете своей любви, — бесконечно на разные лады повторяя слово "люблю". Он растягивает его, переиначивает, разлагая на буквы. Окрашивая этим словом все слышимое и видимое» (Урбан А. Стихи-собеседники. М., 1978. С. 116). «Вновь и вновь, — писал Ал. Михайлов, — я возвращаюсь к лирической поэме Кирсанова "Следы на песке", пытаюсь понять, почему же в этой вещи сквозит холодок рассудочности, хотя поэма — о любви, она отнюдь не описательна, не дидактична, а по форме усложнена и изощрена... Ведь в главе "У тебя такие глаза" прорвались сильные чувства. Изысканность тропов здесь не мешает восприятию. Чувство находит, наконец, выход к форме, адекватной содержанию. Воображение смело преодолевает привычные понятия, вырываясь из сферы обыденности, но мысль работает четко, она не фальшивит, не прячется в тумане красиво-пустых ассоциаций. Поэт, глядя в глаза любимой, сосредоточен на постижении ее души» (Михайлов Ал. Факел любви. М., 1968. С. 161).

255. ОЗ-64. -- Иск. -- СС-2. Печ. по СС-2 с испр. искажений по предыдущим изд. Поставлено на сцене в эстрадной студии МГУ «Наш дом» (реж. М. Розовский, 1968), с подзаг.: «Эстрадно-музыкальный балаган в 2-х отделениях», 7 сказов. Положено на музыку А. Томчиным — концертная опера в 1 д. «Недавно я написал "Сказание о царе Максе-Емельяне", — сообщил Кирсанов, — в котором попытался возродить русский народный лубок с раешником и каруселью» (СЭиЦ. С. 13). Поэма получила единодушное признание критики. «Перед нами озорная, полная фантастичнейшего вымысла сатирическая сказка. Об-

личению и осмеянию подвергается один из древнейших и цепких пережитков прошлого — "вирус" властолюбия, жажды господствовать над другим человеком, повелевать, ухватывая себе преимущества — моральные и материальные. Сказочник как бы окидывает единым взглядом длинные вереницы царей, королей, цезарей, императоров, тысячелетие за тысячелетием властвовавших в различнейших концах света. <...> Бесчисленные страны и эпохи как бы "спрессовываются" в воображении сказочника в одно фантастическое государство» (Назаренко В. Оружием гротеска // ЛГ. 1965, 3 июня). «Что сделал Кирсанов в своем "Сказании"? Он героически пыгается породить русский веселый скомороший стих, но не путем подражания или стилизации, а средствами современной нам поэзии и современной лексики, с применением удивительных по комическому эффекту анахронизмов. Озорной разговорный стих Кирсанова льется с непринужденной легкостью, он играет скоморошьям стихом как мастер-жонглер, смеясь и радуясь своему искусству» (Квятковский А. // ДП-1965. С. 176). «С ярким и своеобразным произведением выступил недавно Семен Кирсанов. Его "Сказание про царя Макса-Емельяна" может явиться наглядным примером плодотворного обращения к народному творчеству для создания острой и злободневной сатиры, эта поэма-сказка радует меткостью языка, остротой неожиданных ситуаций, богатством поэтической фантазии. <...> Эту творческую удачу поэта тем отраднее отметить, что литературная критика относится порой к Кирсанову с обидной предвзятостью» (Наровчатов С. Гражданственность советской поэзии // Избр. произв.: В 2-х т. М., 1972. Т. 1. С. 177). «Русским народным раешником (свободным рифмованным стихом) написано "Сказание про царя Макса-Емельяна". И здесь лингвист Кирсанов протягивает руку Кирсанову-поэту. Что ни абзац — пригоршни цветастой народной речи, которую впитал поэтический организм ученика Хлебникова и Маяковского» (Петров. С. 20).

Царь Макс-Емельян. Источником «Сказания...», тем зерном, из которого оно выросло, является народная драма «Царь Максимилиан» (упоминается с серед. XIX в., впервые опубли. в конце XIX в.), широко бытовавшая в народной среде, известная в десятках вариантов. «В основе драмы лежит конфликт царевича-христианина Адольфа с отцом, царем-язычником Максимилианом, принуждающим его изменить веру. Адольф отказывается подчиниться отцу <...>, и царь приказывает казнить его. Этот конфликт был характерен для житийной литературы конца XVII—начала XVIII в.» (Савушкина Н. И. Русский народный театр. М., 1976. С. 83). Более поздние версии отражали изменения, происходившие в русской действительности. Во многих вариантах, относящихся к началу XX в., главным становится конфликт между отцом-тираном и его сыном, сделавшимся разбойником на Волге. Кирсанов значительно переработал сюжет, наполнил его проблематикой, созвучной современности. В «Сказании...» основное содержание народной драмы укладывается в 9 строк (Сказ 1-й, ст. 19—27). Использованы и другие ее эпизоды и персонажи, в частности, Аника-воин и Смерть с косой (Сказ 11-й). Явственно также знакомство поэта с изданными текстами райка, балаганных монологов, прибауток, присказок, с лубочными картинками. «Сказание...» насыщено множеством приемов, характерных для этих видов фольклора.

Сказ 1-й. *Держава* — здесь: золотой шар с крестом наверху, символ власти российских царей. *Бурбон* — здесь: грубый, невежественный человек. *Карлушенька*. *Карл* — имя королей в ряде европейских стран. *Принц Кириллушко* — от имени великого князя Кирилла Владимировича (см. прим. 26). *Аттилушка*. *Аттила* — см. прим. 250. *Фридрих Барбаросынька* — Фридрих I Барбаросса (ок. 1125—1190), германский король, император Священной Римской империи. *Грозный Иоанчик* — Иван Грозный (см. прим. 22). *Николака* — от имени русских царей, Николая I (1796—1855) и Николая II (1868—1918). *Вертелные куклы*. *Вертеп* — ящик с марионетками, место для устройства кукольных представлений. *Штукарь* — ловкий выдумщик, фокусник, скomorох. *Невантажно царись* — царись без выгоды (вантаж — искаж. от фр. «авантаж...»). *Абиссинская... негусыня* — здесь: дочь негуса, императора Абиссинии (Эфиопии).

Сказ 2-й. *Топтун* — филер. *Вратарь* — здесь: привратник. *Скапывается* — умрет. *Гляс* (нем.) — стекло; стакан, рюмка. *Баланга* — несъедобная пища. *Суфле Сан-Суси* — по назв. королевского дворца близ Потсдама (Германия). *Фрикандо соус рюсс* — начиненная шпиком телятина с соусом по-русски. *Жюс* (фр.) — сок. «*Помар*» — сорт вина. *Гришки*, *Стеньки пойдут*, *Пугачи* — т. е. бунтовщики, повстанцы. *Гришка* — Лжедмитрий I (предположит. — Отрепьев Григорий, ум. 1606), самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного); *Стенька* — Степан Разин (см. прим. 226); *Пугач* — Емельян Пугачев (см. прим. 168). *Тарель* (старин.) — тарелка. *Натиорель* (фр.) — натуральное. *Гроссмейстер* — здесь: глава духовно-рыцарского ордена. *Высочайший вердикт*. *Вердикт* — приговор присяжных в суде; здесь, вероятно, имеется в виду рескрипт — письменное выражение воли монарха. *Карловы Вары* — известный курорт в Чехии. *Агье* (фр.) — прощай. *Далекий Верхотуй* — место далекой ссылки.

Сказ 3-й. *Сужеребая*, *суягня* — беременные кобыла, овца.

Сказ 4-й. *Сборить* — прошивать сборки, складки. *Каплун* — кастрированный петух, откармливаемый на мясо. «*Отче наш*» — см. прим. 245. *Булгарины*. *Булгарин Фаддей Венедиктович* (1789—1859) — русский журналист и писатель; связь с Третьим отделением сделала его имя нарицательным, как доносчика. *Меттернихи*. *Меттерних Клеменс* (1773—1859) — князь, канцлер Австрии. *Приставили к плечам страдивариусы*, т. е. скрипки; см. прим. 245.

Сказ 5-й. *Деньги вниз с колоколен тренькались* и т. д. Колокольный звон сравнивается здесь со звоном различных монет. *Шиллинги* — монеты многих европейских стран; *стерлинги* (фунты стерлингов) — денежная единица Великобритании; *пфенниги* — немецкая разменная монета, первонач. из серебра; *алтын* — старинная русская трехкопечная монета; *центы* — мелкая монета США, Голландии и др. стран; *пенсы* (мн. ч. от «пенни») — английские разменные монеты; *сантими* — разменные монеты Франции и др. стран; *форинты* — венгерские монеты, *крейцеры* — австрийские; *гульдены* — золотые и серебряные монеты Германии и Голландии; *флорины* — старинные золотые монеты, чеканившиеся во Флоренции; *гублон* — средневековая испанская золотая монета, *кроны* — денежная единица в ряде европейских стран.

Сказ 7-й. *Письмовник* — см. прим. 33. *Том борщей и щец госпожи Молоховец*. *Молоховец* Елена Ивановна (1831—?) — автор широко

популярных в дореволюционной России книг «Настольная поваренная книга. Полное руководство для правильного ведения домашнего хозяйства» и «Подарок молодым хозяйкам. Настольная поваренная книга», выдержавших в сумме до сорока изданий. «*Что делает супруга, когда мужа дома нет*» — ср. в очерке Аф. Милькина «Москва книжная»: «"Только за пяточок. Две недели смеха. Что делает жена, когда мужа дома нет. 120 веселых анекдотов Николая Клюева!" — так рекламируют свой товар бродячие книжные торговцы» (ЧиП. 1928, 11 авг.); ср. также реплику продавца книг в комедии Маяковского «Клоп» (д. 1-е): «Что делает жена, когда мужа нету дома. 105 веселых анекдотов бывшего графа Льва Николаевича Толстого». *Миротворец — царь Мамай* (ум. 1380) — воинственный хан Золотой Орды. *Титул «Царь Освободитель»*. Так именовали Александра II, подписавшего указ об отмене крепостного права. *Малюта Скуратов* — см. прим. 22. *Фамилия* — здесь: семья. *Кравец* — портной. *Тшлы* — см. прим. 250. *Ферт, Рыц* — названия букв «ф» и «р» в старой русской азбуке. *Сказки... о Францыле с Ренцивеной, о Дружневе, о любви королевича Бовы* — лубочные издания: «Известия о храбром рыцаре Францыле Венциане и о прекрасной королеве Ренцивене», «История о Бове-королевиче». *Василиски, Сирины* — см. прим. 26.

Сказ 9-й. *Свинья, что была супороса* — беременная свинья. *Сонник* — см. прим. 33.

Сказ 10-й. *Раек* — здесь: ящик с передвижными картинками, разглядываемыми через увеличительное стекло. *Троицын день* (Троица) — см. прим. 39. *Сбитенщик* — продавец сбитня, горячего напитка из меда с пряностями. *Погмастерье Левши* и т. д. Имеется в виду повесть Н. Лескова «Левша. Сказ о туйльском косом Левше и о стальной блохе»; подмастерье Иван сочинен Кирсановым. *Андерманир-штук* (нем.) — на другой манер. *Бонтон* (фр.) — хороший тон, светская учтивость. *Тельное* — рыбное кушанье (котлеты или колбаски). *Шуйца, десница* — левая, правая рука. *Милена, Пленира* — героини пасторальных романов. *Не потрафим коли Николаю-то Пальчу* и т. д. Речь идет о Николае I, персонаже лесковского «Левши». *Пог спицручную палочку* — т. е. под спицрутены. *Чиркуль* — циркуль. *Вогерпас* — ватерпас. *Погборы* — каблуки. *Петровка* — торговая улица в Москве. *Гранд-Опера* — оперный театр в Париже. *Булеварды* (фр., искаж.) — бульвары. *Шапокляки* (фр.) — складные шляпы-цилиндры на пружинах.

Сказ 11-й. *Плануга* — здесь: планета, земля. *Остеомит* — остеомиелит, воспаление костного мозга. *Уж давала, гогувала* — год давала пожить. *Сказано в Писани* и т. д. Здесь приводится не фраза из Священного писания (Библии), а старинная поговорка; Сим, Хам, Яфет — сыновья библейского патриарха Ноя. *Гайморова полость* — придаточная полость носа в верхней челюсти.

Сказ 12-й. *Бастилия* — тюрьма в Париже, была разрушена восставшими во время революции 1789 г.; здесь: тюрьма. *Мессалинка*. Мессалина Валерия (I в. н. э.) — третья жена римского императора Клавдия, распутная женщина; имя ее стало нарицательным. *Пластрон* (фр.) — туго накрахмаленная грудь мужской верхней сорочки. *Армуар* (фр.) — шкаф. *Мастарды*. *Мастард* (англ.) — горчица; здесь: кирсановское слово-гибрид, образованное соединением слов «бастард» (внебрачный царский сын) и «мастер». *Внести презумпцию* и

т. д. Презумпция — предположение, основанное на вероятности; здесь: нарочито неточное употребление юридического термина. *Вервие* — веревка.

Сказ 13-й. Их встречает бывалый солдат Фома и т. д. Здесь упоминаются герои поэм Кирсанова: Фома из «Заветного слова Фомы Смыслова» (см. № 249); Золушка из одноименной поэмы (см. № 245); *сталевар Макар*, герой поэмы «Макар Мазай» (1947—1950); *школьник Сеня из «Именинной», из поэмы не знаменитой* — герой «Моей именинной» (см. № 243), не переиздававшейся ко времени завершения работы над «Сказанием...» 36 лет, с 1928 г.; *ребята голубоглазые* и т. д. — геологи из поэмы «Вершина» (1952—1954); *Сметанников, Варвара Хохлова, Богдан Гринберг* — «авторы» «Поэмы поэтов» (см. № 256); *Ваня с Машей* — герои «Войны — чуме!» (1937); *летчик, с облаком разговаривающий* — герой поэмы «Небо над Родиной» (см. № 252).

*256. Полностью ю: КЛ-66, с указ. места (вымышл.): Козловск, б. д. -- СС-4.

В составе нескольких циклов: МГв: 1939. № 8; 10/11; 1940. № 7 — 3 «автора»: Клим Сметанников, Андрей Приходько, Варвара Хохлова. -- ЭМ-58 — 5 «авторов» (без Глеба Насущного). -- ИП-61. Т. 1 — 5 «авторов» (без Глеба Насущного).

В интервью, данном в связи с награждением орденом Трудового Красного Знамени, Кирсанов сообщал: «Пишу сейчас "Поэму поэтов". Она будет написана прозой и стихами. Это лирическая поэма о современной молодежи» (ЛГ. 1939, 10 февр.). Отзывы начали появляться уже после публикации первых частей поэмы; критики восприняли ее настороженно либо с осуждением. «С. Кирсанов, прекрасный, талантливый литератор, маг и кудесник слова, обращающийся с ним как опытный укротитель зверей со своими подопечными, предпринял интереснейший опыт, еще не законченный, но первыми результатами которого он уже делится с читателем. <...> С. Кирсанов не хочет более (нужно думать — временно) быть собой. С. Кирсанов хочет быть "другими". Он хочет быть "шестью поэтами" <...>. Забавная игра, увлекательная игра. И в то же время — опасная, предательская, разоблачительная игра!» (Левидов М. Отклики и впечатления // Зн. 1940. № 4/5. С. 317). «Эти десять стихотворений, — сказано в рец. на публикацию «Стихов Варвары Хохловой» в МГв, — облечены С. Кирсановым в форму альбома советской девушки Вари. Что ж, поэт имеет право на такую условность. Но вот сами стихи, записанные в этом "альбоме" С. Кирсановым, вызывают, по меньшей мере, досаду. <...> О "Поэме поэтов" не стоило бы говорить, если бы она не отражала именно неуважения к советскому читателю, потери чувства ответственности перед читателем, свойственных, к сожалению, не одному С. Кирсанову» ([Б. п.] «Девичьи безделки» Семена Кирсанова // Пр. 1940, 5 окт.). В дальнейшем внимание критиков привлек цикл «Высокий раек»; в частности, анализировалась природа кирсановского раешного стиха. «Так что же такое "высокий раек" Хрисанфа Семенова (Семена Кирсанова)? Стихи или проза? Попробуем разобраться в этом непростом вопросе», — пишет исследователь и, на основе анализа текста, приходит к выводу: «"Высокий раек" С. Кирсанова близок раешнику пушкинского "Балды", но отличается от него

большим разнообразием рифмовки, большим размахом колебаний в словесном составе "стихов" и — самое главное — графическим решением, скрывающим или не предусматривающим стиховую сегментацию как единственный абсолютный признак стиховности произведения. "Высокий раек" С. Кирсанова — одна из переходных форм от стиха к прозе, своеобразный синтез структурных элементов обеих систем» (Федотов О. И. Рифма и звуковой повтор // *Метод и стиль писателя*. Владимир, 1976. С. 125—126). См. также: Догалакова В. И. «Высокий раек» С. Кирсанова: (к проблеме стиховой организации) // *Жанр и стиль художественного произведения*. Алма-Ата, 1982. И. Гринберг так характеризовал поэму в целом: «Должно быть, добиваясь многоголосия, обогащения нравственных красок своего стиха, Кирсанов и написал "Поэму поэтов", предоставив в ней поочередно слово шестью молодым поэтам, воспроизведя "шесть почерков различных" <...>. Кирсанов как бы роздал своим героям-стихотворцам собственные склонности и увлечения...» (Завоевание новизны // *ЛГ*. 1967, 15 нояб.). «Когда Кирсанову показалось, что молодых поэтов мало, он их выдумывал, — писал Б. Слуцкий. — Так была создана, а сказать точнее, изобретена "Поэма поэтов" — редкостная в литературе вещь, где были созданы и представлены большими циклами полдюжины молодых людей — юноши и девушки, эпика и лирики, новаторы и сторонники традиций, певцы полей и поклонники городского асфальта. Каждого из них Кирсанов заставил писать замечательные, ни на кого не похожие стихи» (Пласт 4, конверт).

Предисловие. ЭМ-58, без загл. -- КЛ-66. *Шесть тетрадей контокоррентных*. Контокоррент — активный счет, открываемый банками своим клиентам для взаимного расчета по совершаемым между ними сделкам; здесь подразумевается некий договор между автором и его героями — «авторами». *Козловск*. Кирсанов, называвший свою работу над словом «мичуринской» («Я, в сущности, мичуринец» — № 70), не случайно сделал родиной всех шести «авторов» этот вымышленный город, намекая тем самым на г. Козлов (ныне Мичуринск), где жил и работал селекционер, создатель новых сортов растений И. В. Мичурин.

Клим Сметанников. Явления природы

Ц и к л : ЧР. 1939, 14 авг., под общим загл. «Стихи Клим Сметанникова», с ред. предисловием: «Поэт-орденоносец С. Кирсанов работает сейчас над "Поэмой поэтов". Это — несколько циклов стихов, написанных от имени ряда советских людей различных возрастов и профессий. Поэма полностью печатается в московском журнале "Молодая гвардия". Помещаемые ниже стихи вводят в цикл "поэта" Клим Сметанникова, студента Московского сельскохозяйственного института» — ст-ния 12, 14. -- МГВ. 1939. № 8, с общим загл. «Стихи Клим Сметанникова. (Из "Поэмы поэтов")», с предисловием «От автора»: «С поэтом Сметанниковым я познакомился в дни, когда его выдумал. Этот рыжий высокий юноша, студент сельскохозяйственного института в волжском городе, ежевечерне заставлял меня перевоплощаться в него. Потом из ребра одного сметанниковского стихотворения я создал его Еву — девушку-поэта Варвару Хохлову. Вскоре я забыл о себе и стал

шестью поэтами, и бывали вечера, когда в одном углу моей комнаты шептал александрийские строфы слепой Андрей Приходько, а в другом углу поэт Богдан Гринберг приносил русский синтаксис в жертву богу необыкновенного. Кружок моих друзей разросся. Они удобно устроились в воображении автора, и среди них уже начались обычные для реального быта отношения — роман Сметанникова с Варей, поездки, встречи и приключения. Не все стихи этих поэтов написаны, не все встречи произошли. Когда я закончу писать от имени других, я приглашу тебя, читатель, в мир моих друзей, которому в день его сотворения я дал имя: "Поэма поэтов". Семен Кирсанов — 14 ст-ний (без ст-ния 7). -- ЭМ-58 — 12 ст-ний (без ст-ний 4, 9, 14). -- ИП-61. Т. 1 — 13 ст-ний (без ст-ний 4, 14). -- КЛ-66. -- СС-4.

1. МГв. 1939. № 8, с вар. -- ЭМ-58. *Сам-семьдесят* — урожай в 70 раз больше того, что было посеяно.

2. МГв. 1939. № 8. -- ЭМ-58.

3. МГв. 1939. № 8, под загл. «Отец поэта». -- ЭМ-58. -- ИП-61. Т. 1. *Нагсон* Семен Яковлевич (1865—1887) — русский поэт. *Бербанк* Лютер (1849—1926) — американский селекционер, создал множество сортов плодовых, овощных и полевых культур.

4. МГв. 1939, № 8.

5. МГв. 1939. № 8, др. ред. -- ЭМ-58.

6. МГв. 1939. № 8.

7. ЭМ-58.

8. МГв. 1939, N 8, под загл. «Дипломная работа», др. ред. -- ЭМ-58.

9. МГв. 1939, N 8. *Энтомология* — раздел зоологии, наука о насекомых. *Варя* — Варвара Хохлова, «автор» след. цикла.

10. МГв. 1939, N 8. -- ЭМ-58. *Копты* — египетские арабы-христиане, живущие главным образом в Верх. Египте. *Феллах* — крестьянин-земледелец в арабских странах. *Изида* (Исида, егип. миф.) — богиня плодородия, воды и ветра. *Ра* (егип. миф.) — бог солнца.

11. МГв. 1939. № 8. -- ЭМ-58. *Фармакоотека* — перечень (картотека) лекарственных средств со сведениями о них. *Фармаколея* — руководство для фармацевтов.

12. 30 дней. 1939. № 7, как «собственное» ст-ние Кирсанова, под загл. «Москвы достопримечательности», др. ред. -- ЭМ-58. -- КЛ-66. *Василия Блаженного собор* — см. прим. 136. *Мичурин* — см. прим. 70. *Гибрид ампира с блеском Корбюзье*. Амфир — стиль в архитектуре I четв. XIX в.; характеризуется строгой монументальностью формы. Корбюзье (наст. фамилия — Жаннере) Шарль Эдуар (1887—1965) — архитектор-новатор, один из создателей современных течений архитектуры — рационализма, функционализма. *Друза* — группа кристаллов, сросшихся в основании; здесь — подруга.

13. МГв. 1939. № 8, с вар. -- ЭМ-58, под загл. «Ода ананасу». -- КЛ-66 (текст ЭМ-58). *Инки* — древний народ, живший на территории Перу. *Загорский рынок* — рынок в Москве. *Монтесума* (Монтесума) — имя двух правителей Мексики в XV—XVI вв. *Ацтек* — представитель крупнейшей индейской народности Мексики. *Совхоз Абрау* — винодельческий совхоз в Краснодарском крае.

14. ЧР. 1939, 14 авг. и МГв. 1939. № 8. -- КЛ-66. *Негрути помнят о наших Косьмах!* Косьма — Кузьма Минич Минин (ум. 1616) — организатор освободительной борьбы против польской интервенции. *Не-*

давно сражались они на Хасане. Около озера Хасан (Приморский край) 29 июля — 11 авг. 1938 г. Красная Армия разгромила вторгшиеся на территорию СССР японские войска. *Наш Яблочков выдумал лампу впервые.* Павел Николаевич Яблочков (1847—1894), российский электротехник; изобрел дуговую лампу (патент 1876 г.). *Радиозвук родился на Руси.* В 1895 г. российский физик Александр Степанович Попов (1859—1905) создал радиоприемник. *Дехкан* — здесь: крестьянин, земледелец в Ср. Азии. *Муша* (грузин.) — грузик.

15. 30 дней. 1939. № 4, как «собственное» ст-ние Кирсанова, под загл. «Что надо поэту?», др. ред. -- МГв. 1939. № 8, др. ред. -- ЭМ-58.

Барвара Хохлова. Школьный дневник

Ц и к л : МГв. 1940. № 7, под общим загл. «Стихи Барвары Хохловой. (Из "Поэмы поэтов")», с авт. предисловием: «Альбом *Вари Хохловой*. Эту толстую тетрадь в клеенчатой обложке показал мне Клим Сметанников. Переводная картинка — букет роз — над наивными стихами <...>. Только на последних страницах тетради почерк круглеет и появляется заголовок "Мои стихи". Клим объяснил мне: это первые пробы пера начинающей поэтессы. Вскоре ее голос окрепнет, выявится характер, сложится почерк, и Барвара Хохлова выступит в "Поэме поэтов" как зрелый, определившийся мастер, произведения которого имеют самостоятельное художественное значение. *Семен Кирсанов*» — 10 ст-ний (без ст-ний 3, 12—14). -- ЭМ-58. -- ИП-61. Т. 1 — 12 ст-ний (без ст-ний 12, 14). -- КЛ-66 — 11 ст-ний (без ст-ний 12—14). -- СС-4.

1. МГв. 1940. № 7, под загл. «Себе и всем», с вар. -- ЭМ-58.

2. МГв. 1940. № 7. — ЭМ-58. *Три над тайгой пролетевшие летчицы.* 24—25 сент. 1938 г. В. С. Гризодубова, П. Д. Осипенко, М. М. Раскова на самолете АНТ-37 совершили беспосадочный перелет Москва—Дальний Восток. *Погруги хасановцев.* Хасан — см.: Клим Сметанников, ст-ние 14. *Каталонская пулеметчица.* Имеется в виду гражданская война в Испании. Каталония — область на с.-в. Испании.

3. ЭМ-58. *Парле* (parler, фр.) — говорить.

4. МГв. 1940. № 7. -- ЭМ-58.

5. МГв. 1940. № 7, под загл. «В выходной день». -- ЭМ-58.

6. МГв. 1940. № 7, под загл. «Незнакомому», с вар. -- ЭМ-58.

7. МГв. 1940. № 7, под загл. «Неизвестному». -- ЭМ-58.

8. МГв. 1940. № 7, под загл. «Общие приметы», с вар. -- ЭМ-58. -- ИП-61. Т. 1.

9. МГв. 1940. № 7. -- ЭМ-58. Обращено «автором» к автору «Твоей поэмы» (см. № 246).

10. МГв. 1940. № 7, под загл. «На дорогу», с вар. -- ЭМ-58.

11. Крокодил. 1939. № 21 (июль), под загл. «Мысли Вари Хохловой», др. ред. -- МГв. 1940. № 7, под загл. «Мысли о профессии», с вар. -- ЭМ-58. *Вербицкая* Анастасия Алексеевна (1861—1928) — беллетристка, популярная в нач. ХХ в. *Жорж Занг* (Санд; наст. имя — Аврора Дюдеван), 1804—1876) — французская писательница. *Усевич* Елена Феликсовна (1893—1968) — советский литературный критик и публицист, участница революционного движения. *Инбер* Вера Михайловна (1890—1972) — советская поэтесса.

12. ЭМ-58.

13. ЭМ-58. *Злость... точит из Золингена нож*. Золинген — город в Германии с развитой сталелитейной промышленностью; издавна славились золингенские клинки. Здесь подразумевается немецкий фашизм.

14. ЭМ-58. *Не жди меня* — аллюзия на ст-ние К. Симонова «Жди меня» (1941). «*Мессершмитт*» — немецкий истребитель.

В «Поэме фронта» (1941—1942) Кирсанов сообщает о дальнейшей судьбе Варвары Хохловой, о ее героической гибели на войне:

Где нашей молодежи цвет —
пять смельчаков, пять комсомольцев,
Варя Хохлова, Митя Гольцев,
Кульчицкий, Панин, Пересвет?
К пяти столбам — пять мертвых петель
привязаны. Не обойти!
И день и ночь качает ветер
тела повешенных пяти.
Над серой каской часового
два месяца они висят.
Но люди помнят, как Хохлова
катам в лицо швырнула слово:
«Мы не умрем! Нас воскресят!»

(Кирсанов С. Поэма фронта. [Б.м.]: Изд. красноарм. газ. «Вперед на врага», 1942. С. 24—25).

Андрей Приходько. Свет во тьме

Ц и к л : МГВ. 1939. № 10/11, под общим загл. «Стихи Андрея Приходько. (Из "Поэмы поэтов")», с предисловием «От автора»: «Читательницы журнала "Молодая гвардия", студентки Нина Орлова и Галина Фролова, прочитавшие в восьмом номере "Стихи Клина Сметанникова", прислали мне письмо, в котором спрашивают: где живет Сметанников, сколько ему лет, когда выйдет его книжка? Довожу до сведения моих читателей и читательниц, что Сметанников — поэт, выдуманный мной, и поэтому все биографические данные автора относятся и к нему. То же самое можно сказать и об Андрее Приходько. Он — слепой с рождения. Впервые увидел я Андрея Степановича в саду приволжского городка, где живут и Сметанников, и Варвара Хохлова, и Богдан Гринберг, и другие участники "Поэмы поэтов". Он сидел на скамейке рядом с участливой большеглазой девушкой. Глаза его были закрыты, он медленно диктовал. Никогда больше не приходилось мне видеть его. Коротко подстриженные русые волосы, неподвижное, неулыбающееся лицо, кизиловая палка в очень осторожных, умных руках... *Семен Кирсанов* — ст-ния 1, 2, 4—7, 9, «В Москве» («Что я в Москве запомнил прошлым летом?...»), С. Кирсанов. Сказка о слепом («В сказках — все разрешается...»), 10. -- ЭМ-58, без ст-ний 3, 8. -- ИП-61. Т. 1 — без ст-ния 4. -- КЛ-66. -- СС-4.

1. МГВ. 1939. № 10/11, под загл. «Свет в детстве», др. ред. -- ЭМ-58.

2. МГВ. 1939. № 10/11, под загл. «Товарищу», др. ред. -- ЭМ-58.

3. ЭМ-58.

4. МГВ. 1939. № 10/11, под загл. «Вечерние чтения», с вар. -- КЛ-66.

Прочти из Брэма о слепом протее и т. д. Популярная книга немецкого зоолога Альфреда Эдмунда Брэма (1829—1884) «Жизнь животных» содержит, в частности, рассказ о протее (см. прим. 239).

5. МГВ. 1939. № 10/11. -- ЭМ-58.

6. МГВ. 1939. № 10/11, без ст. 21—24. -- ЭМ-58.

7. МГВ. 1939. № 10/11. -- ЭМ-58.

8. ЭМ-58.

9. МГВ. 1939. № 10/11, под загл. «На войне». -- ЭМ-58.

10. МГВ. 1939. № 10/11, под загл. «Ответ на сказку» (как ответ на предшествующее ему ст-ние: С. Кирсанов. Сказка о слепом — «В сказках — все разрешается...»), со ст. 1: «Я вещь Кирсанова прочел в газете...» и др. вар. -- ЭМ-58.

Богдан Гринберг. Экстракты

Ц и к л : ИСт-56, под загл. «Взгляд на вещи. Лирическая тетрадь», как «собственный» цикл Кирсанова — ст-ния 1, 9—13, с общей датой: 1940. --ЭМ-58, под загл. «Взгляд на вещи» — ст-ния 1, 8, 9, 12, 13. -- ИП-61. Т. 1 — ст-ния 1, 8—13. -- КЛ-66 — ст-ния 1—9, 12, 13. -- СС-4.

1. ИСт-56, под загл. «Аки обры». -- СС-4. *Обры* — древнерусское назв. аваров, тюркского племени; в VI в. н. э. они проникли в Европу, в VIII в. были истреблены.

2. КЛ-66. *Черная сотня* — монархическая организация погромщиков в царской России.

3. КЛ-66. *Арбат* — улица в Москве.

4. КЛ-66.

5. КЛ-66. *Дюма Александр (1803—1870)* — французский писатель.

6. КЛ-66.

7. КЛ-66. *Мост Грибоедова* — имеется в виду мост через канал Грибоедова. «Гознак» — фабрика Главного управления производства государственных знаков, монет и орденов.

8. ИСт-56, под загл. «Взгляд на вещи», с вар. -- ЭМ-58. -- ИП-61. Т. 1.

9. ИСт-56, с вар. -- ЭМ-58, с вар. -- ИП-61. Т. 1. -- КЛ-66.

10. ИСт-56. *Война во Франции*. 10 мая 1940 г. немецкая армия вступила на территорию Франции; 22 июня Франция капитулировала. *Бизерта*. Осенью 1940 г. происходили военные действия англичан против немецких войск в Сев. Африке, в т. ч. в районе тунисского порта Бизерты.

11—13. ИСт-56.

Глеб Насущный. Из себя.

Ц и к л : КЛ-66, со знаками препинания. -- СС-4.

1. КЛ-66. ...если же сердце встретится немедленно жечь глаголом — перифраз заключительной строки ст-ния А. С. Пушкина «Пророк»: «Глаголом жги сердца людей».

2. ЭМ-58, как «собственное» ст-ние Кирсанова, с вар. --КЛ-66.

3—7. КЛ-66.

8. КЛ-66. *Я бедный медный* и т. д. «Автор» иронизирует над вторым, «стоячим» памятником Н. В. Гоголю, установленным на Гоголевском бульв. в Москве в 1952 г., к столетней годовщине со дня смерти писателя; первый, «сидячий» памятник (см. ст-ние 69) находился неподалеку от него.

9—14. КЛ-66.

15. КЛ-66. *Иоканан (Иоанн Креститель)* — евангельский пророк. Осуждал царя Иудеи Ирода, женившегося на жене своего брата Иро-

диаде. Дочь ее Саломея, угодившая Ироду своей пляской, по наущению матери потребовала в награду голову Иоанна. «И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей» (Мф. XIV, 3—4). *Олоферн*. Согласно Библии, красавица Юдифь пришла к ассирийскому военачальнику Олоферну, чьи войска осадили еврейскую крепость Ветулию, обольстила его и, когда он после пиршества уснул, отрубила ему голову, после чего ассирийцы бежали. *Пыла Антуанетты голова*. Мария Антуанетта (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI, была гильотинирована во время Французской революции. *Забрызганные букли Робеспьера*. Робеспьер Максимилиен (1758—1794) — один из ведущих деятелей Французской революции; был схвачен контрреволюционерами и гильотинирован. *Кочубей Василий Леонтьевич* (1640—1708) — генеральный судья Левобережной Украины. Сообщил Петру I об измене гетмана Мазепы, которым был за это казнен. *Разин* — см. прим. 226.

16. КЛ-66. *Георгий медный* — см. прим. 37.

17. КЛ-66.

18. КЛ-66. *Киви-киви* — новозеландская нелетающая птица.

19. КЛ-66. *Перро* — см. прим. 89. *Заключение Сезама* — см. прим. 72.

Хрисанф Семенов. Высокий раек

Ц и к л : ДП-1956, как «собственный» цикл Кирсанова, с дополнит. ст-нием «Восвояси» («Что такое «Свояси»? — спрашивал я...»). -- ЭМ-58. -- ИП-61. Т. 1. -- ОЗ-64, как «собственный» цикл Кирсанова, без ст-ний 9, 11. -- КЛ-66. -- СС-4.

Высокий раек. Раек — см. прим. 228.

1. ДП-1956. *Попокателеть* — см. прим. 61. *Как в Помпее в день извержения*. Помпеи — город в Италии, погибший при извержении Везувия в 79 г. н. э.

2. ДП-1956. *Фет* Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — русский поэт.

3. ДП-1956.

4. ДП-1956. — Молодость Сибири (Новосибирск). 1965, 15 авг. -- КЛ-66.

5. ДП-1956. -- ЭМ-58. -- ОЗ-64 (как в ДП-1956). -- КЛ-66. *Капитан Немо* — герой романа Ж. Верна «Двадцать тысяч лье под водой», исследователь морских глубин.

6. ДП-1956, с вар. -- ЭМ-58. *Тальянистый*. Тальянка — однорядная гармонь. *Сонет* — итальянская форма ст-ния в 14 строк. *Стансы* — первоначально жанр провансальской лирики; ст-ние, каждая строфа которого заключает в себе законченную мысль.

7. ДП-1956, под загл. «На потолке». -- ЭМ-58.

8. ДП-1956. -- КЛ-66.

9. ДП-1956.

10. ДП-1956. -- КЛ-66.

11—12. ДП-1956.

257. Зн. 1967 № 3, с подзаг.: «Повесть в двух планах», с вар. -- Зерк-70, с подзаг.: «Повесть в двух планах». -- Зерк-72. -- СС-4. Датировается по маш. с авт. и ред. правкой РГАЛИ (фонд ред. Зн.) с подзаг.: «Повесть в двух сценах». СС-4 — с ошибочной датой: 1969. Пласт 3 (отрывок). Поэма была высоко оценена всеми писавшими о ней кри-

тиками. «Все сохраняет память: малое и большое, совершенное явно или тайно, гуманное и бесчеловечное. Не зачеркнешь и не изменишь. Отсюда Кирсанов переходит к ответственности своей личной, каждого человека, целого общества за то, что произошло, происходит и произойдет. Мысль эта не нова, так же как и не стара. Но здесь она ставится во главу угла, вплотную, как насущная потребность. И в этом поэма Семена Кирсанова предельно современна» (Проталин В. Все помнят зеркала // ЛР. 1967, 19 мая. С. 17). «Поэма Кирсанова превосходна. Удивительный полет воображения, накал чувства и свойственное Кирсанову филигранное мастерство на этот раз образовали нерасторжимое единство, и, на мой взгляд, по своей поэтической заразительности эта "повесть в двух сценах" не уступает даже такой его вещи, как "Твоя поэма", будучи явлением более сложного, философского плана. Лирическое здесь так трогательно, так человечно, то же, что можно назвать философским началом в поэме, носит глубоко нравственный и мобилизующе-боевой характер. Этический пафос поэмы, вобравшей в себя конкретные памятные всем и волнующие каждого большие явления действительности, — этот пафос как нельзя лучше выражает и соответствует общественным настроениям, настрою души современника» (Макаров А. Семен Кирсанов. «Зеркала» // ДП-1968. С. 213). «Фантастический сюжет служит в "Повести" Кирсанова для глубокого лирического раскрытия закономерностей времени и утверждения личной ответственности человека за все совершенное им. <...> В мире ничто не исчезает бесследно. История необратима, и бесполезно замалчивать и искажать ее, ибо "помнят всё зеркала". Поэма Кирсанова в неожиданном "ракурсе" раскрывает тему "человек и время"..." (Зайцев В. Жанровые поиски в современной поэме // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1968. № 4. С. 27, 29).

Как у Гоголя в «Портрете», из рамы взглянет ростовщик — портрет старика-ростовщика «со сверхъестественной живостью глаз» из повести Н. В. Гоголя «Портрет». Каренина — героиня романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Дориан Грей — герой романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». Живущий в вечном эдисонстве — человек, постоянно находящийся в творческом состоянии. Эдисон — см. прим. 250. Просто, как в формуле и т. д. «Формула» Кирсанова отчасти напоминает формулу для определения показателя преломления света в плотном веществе, в частности, в металле: n — показатель преломления, k — константа, N — число зарядов в единице объема пластины, e — заряд электрона. «Отворись, Сезам!» — см. прим. 72. Дом на Матросской Тишине. На ул. Матросская Тишина в Москве расположены тюрьма и психиатрическая больница. На острове Святой Елены как умирал Наполеон? Наполеон после второго отречения от престола в 1815 г. был сослан на о. Св. Елены, где провел последние шесть лет жизни и умер в 1821 г. В крепости Петра и Павла — в Петропавловской крепости в Петербурге, в которой до 1917 г. находилась тюрьма. «Искры» ленинской страница. «Искра», первая общерусская политическая марксистская нелегальная газета, основанная в 1900 г. в Мюнхене. В редакцию входили П. В. Аксельрод, В. И. Засулич, В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов и др. Дворец Растрелли — Зимний дворец в Петербурге, царская резиденция; построен архитектором Франческо Бартоломео Растрелли (1700—1771).

Январским утром при расстреле. Имеется в виду расстрел рабочей демонстрации 9 января 1905 г. на Дворцовой площади, перед окнами Зимнего дворца. *Сцены битв вокруг Траяновой колонны.* Колонна Траяна в Риме была воздвигнута в честь победы императора Марка Ульпия Траяна (53—117) над даками; вся поверхность колонны покрыта барельефами, повествующими о военных походах императора и одержанных им победах. *На стеклах гачи подмосковной* и т. д. Имеется в виду «ближняя» дача И. В. Сталина в поселке Кунцево под Москвой, где он и умер. *«Мертвых душ» не сожгут* и т. д. Летом 1845 г. Н. В. Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». *Аушвиц* — немецкое название лагеря смерти Освенцим в Польше, близ Кракова.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- Ад («Иду / в аду...») 293
«Аки обре...» (Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 1) 614
Аладин у сокровищницы («Стоят ворота, глухие к молящим глазам и слезам...») 137
Александр III («Шлагбаум. / Пост...») 65
Андрей Приходько. Свет во тьме (Поэма поэтов) 610
Анти-Я («Меня и мной и мне и я...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 5) 624
Апрель («Наконец-то апрель...») 224
Асееву («Какая прекрасная легкость...») 90
«Асфальтируют старую улицу...» (Новые ощущения; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 10) 626
Атака («Браточек, браточек, приказ — подыматься...») 163
«Ах, каких нелепостей...» (Происшествие) 181
- Баллада о мертвом комиссаре («Снарядами белых рвало и кромсало...») 125
Баллада о неизвестном солдате («Огремлите, гарматы...») 88
Баллада с аккомпанементом («Черной тучей вечер крыт...») 62
Без адреса («Эти стихи — не знаю, кому...»; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 6) 604
«Беспокойное было Солнце...» (Солнце перед спокойствием; Из цикла «На былинных холмах», 3) 269
«Бессмертья нет...» (Бесстрашие) 237
Бесстрашие («Бессмертья нет...») 237
Богдан Гринберг. Экстракты (Поэма поэтов) 614
Боец («Жил да был боец один...») 166
«Боец умрет без некролога...» («Мы») 167
Бой быков («Бой быков!..») 43
«Бой быков!..» (Бой быков) 43
Бой Спасских («Колокола. Коллоквиум...») 87
Болезнь («Вот я и болен!..»; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 8) 634
Болотные рубежи («Болотные рубежи, холодные рубежи...») 168
«Болотные рубежи, холодные рубежи...» (Болотные рубежи) 168
Боль («Умоляют, просят...») 143
Боль болей («Боль больше, чем бог...»; Больничная тетрадь, 6) 277
«Боль больше, чем бог...» (Боль болей; Больничная тетрадь, 6) 277
Больничная тетрадь (1—14) 274
Больничное («Мери! Мери! На странице...») 303
Больничный сон («Спи-/чка...»; Больничная тетрадь, 1) 274
Большой канал («И вот / к гондолам нас ведут...»; Из цикла «Стихи о границе», 4) 197
«Браточек, браточек, приказ — подыматься...» (Атака) 163

- Буква М («Малиновое М...») 136
 Буква Р («Если / были...») 95
 «Был / такой рубль...» (Неразменный рубль) 455
 «Был в детстве ранний свет. Как рано он утрачен...» (Воспоминанье; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 1) 610
 «Были ива да Иван...» 63
 «Быстроходная яхта продрала бока...» (Маяковскому) 52
- В бою («То не тучами небо кроется...»; Из цикла «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата», 3) 467
 «В воздухе шарь, шар!..» (Стратостат «СССР») 114
 В воскресенье («С ничегонеделанья...»; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 5) 603
 «В детстве я обожал калейдоскоп...» (Перемены; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 11) 635
 «В доме электричество горит...» (Обида) 307
 В Кортине д'Ампеццо («Маленькая американка...»; Из цикла «Стихи о загранице», 3) 195
 «В начале не было...» (Следы на песке) 538
 В небе («Мне приснились аэростаты...»; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 3) 632
 «В некоторой роте...» (<Вступление>; Из цикла «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата») 462
 «В ночь, / бессонницей обезглавленную...» (Шестая заповедь) 254
 «В обыкновенный августовский день...» (Предисловие; Поэма поэтов) 590
 «В осень пригоршней брошенные...» (Расстрел) 302
 «В подземных пластах под новой Москвой...» (Легенда о музейной древности) 129
 «В поисках рифмы на "небо" ...» (Новее «нео»; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 5) 633
 В поэзию («Всё, что увидено мной...»; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 1) 601
 В разрезе («Разрез по животу — живой разрез...»; Больничная тетрадь, 3) 275
 В самолете («Никаких описаний...») 290
 В черноморской кофейне («О, город родимый!..») 53
 «В Южной астрофизической обсерватории...» (На былинных холмах; Из цикла «На былинных холмах», 2) 268
 Вальпараисо («Початок золота и майса...») 289
 Варвара Хохлова. Школьный дневник (Поэма поэтов) 601
 Вдогонку («Слышала — он уехал...»; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 10) 606
 «Вдруг стукнуло, вдруг капнуло...» (Теберда) 138
 «Вёсел — двое, нас — один...» (Свислочь — Березина — Днепр) 304
 Весть о мире («Еще нет вести о начале мира...») 482
 «Весь день по Крыму валит пар...» (Туман в обсерватории; Из цикла «На былинных холмах», 1) 266
 Ветер («Скорый поезд, скорый поезд, скорый поезд!..») 117
 Вечер в Доббиако («Холодный, зимний воздух...»; Из цикла «Стихи о загранице», 1) 195
 «Включаю на волне войны...» (Волна войны) 170
 Водопад («Водопад, / ты бесконечное вниз головой!...»; Из цикла «Месяц отдыха. (Лирическая тетрадь)», 3) 180

- «Водопад, / ты бесконечное вниз головой!..» (Водопад; Из цикла «Месяц отдыха. (Лирическая тетрадь)», 3) 180
- «Водопадствуя, / водопад...» (Над Кордильерами) 288
- Возвращение («Я год простоял в грозе...»; Больничная тетрадь, 14) 283
- Возвращенье («Серебром крыл...»; Под одним небом, 5) 216
- «Возьми свой одр!» («Шел дождик после четверга...»; Из цикла «На былинных холмах», 7) 273
- «Война во Франции приносит...» (Забывтое слово; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 10) 620
- «Войну замешавши на оде...» (Нельзя) 308
- Волна войны («Включаю на волне войны...») 170
- Волшебник («Остыл мой детский пыл...») 295
- «Вооруженный ландышем...» (Приказ № 7; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 1) 622
- Воспоминание («Тихое облако в комнате ожило...») 158
- Воспоминанье («Был в детстве ранний свет. Как рано он утрачен...»; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 1) 610
- «Вот, например, метафора...» (Отдельно; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 4) 632
- «Вот я и болен!..» (Болезнь; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 8) 634
- Враги («У меня есть враги...») 313
- Временный дом («Это временный день, это временный дом...») 314
- «Время тянется...» (Никударики; Больничная тетрадь, 7) 278
- Всё в прошлом («Жила в усадьбе помещица...»; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 2) 632
- «Все вещи в комнате со мною дружат...» (Пространство; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 6) 612
- «Все двери настезь...» (Семь дней недели) 515
- «Все исчезает, гложет, тонет...» (На стадионе) 218
- «Всё, что увидено мной...» (В поэзию; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 1) 601
- Встреча с прозой («Проза становится в позу...»; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 1) 631
- <Вступление> («В некоторой роте...»; Из цикла «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата») 462
- «Вторая половина жизни...» (К вечеру) 209
- Второе зоосадное («Где веток ивы низкий ливень...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 18) 630
- «Вчера в шапке-невидимке...» (Сказка; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 3) 610
- «Вы пишете пьесы...» (Соседям; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 12) 627
- Гаданье («Шестерки, семерки, восьмерки, девятки, десятки...») 228
- «Где веток ивы низкий ливень...» (Второе зоосадное; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 18) 630
- Германия (1914—1919) («Улыл четырнадцатый год...») 66
- «Глаза мои узкие-узкие...» (Школьное; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 3) 602
- Глеб Насущный. Из себя (Поэма поэтов) 622
- Глядя в небо («Серый жесткий дирижабль...») 121
- «Гнездо разворовано...» (Про белого ворона) 284
- «Горе одинокому...» (Циклоп) 229
- Горсть земли («Наши части отошли...») 163

«Грифельные доски...» (Моя автобиография) 40
Гулящая («Завладела / киноварь...») 55

Два Востока («Для песен смуглой у шатра...») 37

Два сна («Отчего чудится...») 212

Двойное эхо («Между льдами ледяными...») 231

Девичий именник («Ты искал...») 99

«Девочка из сверхуральных редкостей...» (Увлечение; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 4) 616

Девушка и манекен («С папироскою / «Дюшес»...») 57

«День еще не самый длинный...» (Июньская баллада) 287

«Дети, / дети...» (Моя именинная) 321

Дипломная («Я понял: студенчество — это станица...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 8) 594

«Для песен смуглой у шатра...» (Два Востока) 37

«Дни стоят и шатаются толпою топчущей...» (Сумерки) 307

«До сих пор» («Мы обязательно будем...»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 9) 619

«Добрый день, паренек!..» (Советы Фомы, полезные для зимы; Из цикла «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата», 2) 465

Дождь («Зашумел сад, и грибной дождь застучал в лист...»; Под одним небом, 4) 216

«Дождь идет, дождь идет...» (Долгий дождь) 297

Долгий дождь («Дождь идет, дождь идет...») 297

«Долго не спит фронтовое село...» (Фронтовой вальс) 172

Дорога по радуге («По шоссе / мимо скал...») 104

Достопримечательности («Я был в Москве. Она — добротный город...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 12) 597

Другая любовь («Если были у меня увлечения...»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 7) 617

Дума об ананасе («О, плод головастый из племени инков...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 13) 598

Ей («Я покинул знамена...») 97

Елочный стих («Оделась в блеска...») 141

Ему же («Не верь никаким сплетницам...»; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 7) 604

«Если / были...» (Буква Р) 95

«Если б я был...» (Закавказье) 85

«Если были у меня увлечения...» (Другая любовь; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 7) 617

«Если слово врет в глаза...» (Не по пословице; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 2) 623

«Есть статуи...» (Кариатиды; Из цикла «Ленинградская тетрадь», 2) 203

Еще больше («О, телефонные монтеры!..»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 6) 616

«Еще не опален...» (Труба Наполеона; Из цикла «Московская тетрадь», 2) 247

«Еще нет вести о начале мира...» (Весть о мире) 482

Желание («У аппарата чутких и ушастых...»; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 9) 613

- Желанье («Наутро после ночи...»; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 13) 608
- «Желанье есть...» (О простоте) 180
- Живопись («Художник пришел писать закат...»; Из цикла «Месяц отдыха. (Лирическая тетрадь)», 1) 178
- «Жизнь моя, ты прошла, ты прошла...» 231
- «Жил да был...» (Случай с телефоном) 156
- «Жил да был боец один...» (Боец) 166
- «Жил старый король на свете...» (Из Генриха Гейне, 2) 212
- «Жила в усадьбе помещица...» (Всё в прошлом; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 2) 632
- «Жил-был — я...» (Строки в скобках; Больничная тетрадь, 11) 280
- «За разговорами...» (Разговор с Дмитрием Фурмановым) 81
- За чтением Достоевского («Не заглядывала в сонник...») 315
- «Забывается всё...» (Соседняя койка; Больничная тетрадь, 4) 276
- Забывтое слово («Война во Франции приносит...»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 10) 620
- Заветное слово Фомы Смылова, русского бывалого солдата 462
- Зависть («Я завижду вам — трем...»; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 2) 602
- «Завладела / киноварь...» (Гулящая) 55
- Закавказье («Если б я был...») 85
- «Занесена по грудь...» (Калужское шоссе; Из цикла «Московская тетрадь», 1) 243
- «Зашумел сад, и грибной дождь застучал в лист...» (Дождь; Под одним небом, 4) 216
- Звезда («Звезда зажглась...»; Из цикла «На былинных холмах», 4) 271
- «Звезда зажглась...» (Звезда; Из цикла «На былинных холмах», 4) 271
- «Здравствуй, Робот...» (Поэма о Роботе) 352
- Земля («О, ветка-спутница, о, палка-поводырка...»; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 7) 612
- «Земля вращается. Земля...» (Три вариации) 233
- Зеркала («Зеркала — / на стене...») 636
- «Зеркала — / на стене...» (Зеркала) 636
- Зимняя восторженная («Снега! Снега!...») 97
- Золотые берега... («Золотые берега...») 296
- Золушка («Золушка была бедна...») 381
- «Золушка была бедна...» (Золушка) 381
- Зоосадное («Я тучный зверь я носорог...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 17) 630
- «И вот / к гондолам нас ведут...» (Большой канал; Из цикла «Стихи о заграниче», 4) 197
- И последнее («И так воображенья чудо...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 19) 631
- «И так воображенья чудо...» (И последнее; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 19) 631
- «Иду / в аду...» (Аду) 293
- «Из ботаников я — Клим Никитич Сметанников...» (Родословное древо; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 1) 591
- Из Брэма («Мне хорошо, я тосковать не смею...»; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 4) 611

- Из Генриха Гейне (1—2) 211
 «Из музыки, из всех ее сокровищ...» (Симфония) 309
 «Из-за улиц, бросив яркость...» (Кратно о прожекторе) 109
 «Икар снов...» 318
 Иллюзии («Увлеченный похожестью слов...») 230
 «— Именительный — / это ты...» (Склонения) 123
 «Ингалятор, / синий спирт...» (Последние ночи) 144
 «Индустриальный поэт!..» (Люботаника) 118
 Испания («Я не очень-то рвусь...») 127
 Июньская баллада («День еще не самый длинный...») 287
- К вечеру («Вторая половина жизни...») 209
 «К Земле подходит Марс...» (Предчувствие) 162
 «К морю Белому, к морю бурному...» (Морская-северная) 106
 «Казачок в бешметике...» (Концерт) 296
 Как быть («Стихи стихами а в сущности...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 14) 628
 «Как горячо прикосновение солнца!..» (Капля; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 8) 613
 «Как долго раздробляют атом!..» (Осада атома) 118
 «Как из клетки горлица...» (Русская песня) 264
 «Как раб галерный, к кораблю...» 312
 «Какая прекрасная легкость...» (Асееву) 90
 «Какая я? Не такая...» (Приметы; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 8) 605
 Калужское шоссе («Занесена по грудь...»; Из цикла «Московская тетрадь», 1) 243
 Капля («Как горячо прикосновение солнца!..»; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 8) 613
 Кариатиды («Есть статуи...»; Из цикла «Ленинградская тетрадь», 2) 203
 Карусель («На коне крашеном я скачу бешено — карусель вертится...»; Под одним небом, 3) 216
 Кино окнá («У каждого есть в доме отдыха...»; Из цикла «Месяц отдыха. *Лирическая тетрадь*», 2) 179
 Клетка («Щеглы попали в клетку...») 263
 Клим Сметанников. Явления природы (Поэма поэтов) 591
 Клужор («Что ни глыба, что ни камень...») 109
 «Ко мне зовет...» (Переводческое) 258
 «Коврик игрушек у белой стены...» (Последнее мая) 447
 Когда («Когда я делюсь желаньем...»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 8) 618
 «Когда / перед звездой...» (Ночные улицы; Из цикла «Ленинградская тетрадь», 1) 200
 «Когда на мартовских полях...» (Птичий клин) 227
 «Когда птицы летели...» (Начало войны; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 11) 620
 «Когда я делюсь желаньем...» (Когда; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 8) 618
 «Колокола. Коллоквиум...» (Бой Спасских) 87
 Колумбов плод («Лукошко я трясусь, как бубен...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 7) 594
 Комментарий к закату («Сегодня был закат особенно багров...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 15) 629

- Концерт («Казачок в бешметике...») 296
 «Копенгагенский плавный фарфор...» (Фарфор) 305 *
 «Красавица касается витрины "Коммунара"..." (Недовольство
 возрастом) 305
 Красноармейская разговорная («Шли мы полем...») 32
 Кратно о прожекторе («Из-за улиц, бросив яркость...») 109
 Крестьянская — буденовцам («Проси-дел в х^а-лодной Архип-
 коммунар...») 39
 «Кричал я всю ночь...» (Сон во сне) 285
 «Кто не видал...» (Неподвижные граждане) 134
 «Куда мне хватать избранным?...» 72
- Легенда («После битвы на Згло...») 64
 Легенда о мертвом солдате <Из Б. Брехта> («Четыре года длился
 бой...») 110
 Легенда о музейной древности («В подземных пластах под новой
 Москвой...») 129
 Ленинградская тетрадь (1—2) 200
 «Лес окрылен...» (Осень) 42
 Лесной перевертень («Летя, дятел...») 242
 «Летя, дятел...» (Лесной перевертень) 242
 Лирика («Человек / стоял и плакал...») 177
 Лорелей <Из Г. Гейне> («Что бы это такое?...») 145
 «Лукошко я трясусь, как бубен...» (Колумбов плод; Поэма поэтов;
 Клим Сметаников, 7) 594
 «Любовь бывает дудочкой...» (О любви; Поэма поэтов; Глеб
 Насущный, 7) 625
 Любовь лингвиста («Я надел в сентябре ученический герб...») 39
 Любовь математика («Расчлененные в скобках подробно...») 102
 Люботаника («Индустриальный поэт!...») 118
- «Маленькая американка...» (В Кортине д'Ампеццо; Из цикла «Стихи
 о загранице», 3) 195
 «Маленькую повесть о большом...» 311
 «Малиновое М...» (Буква М) 136
 «Мальчишка любил девчонку...» (Из Генриха Гейне, 1) 211
 Маяковскому («Быстроходная яхта продрала бока...») 52
 «Медленная, едва поворачивающаяся...» (Новая скорость) 113
 «Между льдами ледяными...» (Двойное эхо) 231
 Мексиканская песня («Тегуантепек, Тегуантепек...») 120
 Мелкие огорчения («Почему / я не "Линкольн"?...») 107
 «Меня и мной и мне и я...» (Анти-Я; Поэма поэтов; Глеб Насущный,
 5) 624
 «Меня насильно выдают за ложку...» (Протест; Поэма поэтов; Глеб
 Насущный, 3) 623
 «Меня оледенила жалость!...» (Сожаление; Из цикла «На былинных
 холмах», 5) 271
 «Мери! Мери! На странице...» (Больничное) 303
 «Мери-красавица...» (Мери-наездница) 48
 Мери-наездница («Мери-красавица...») 48
 Месяц отдыха. (Лирическая тетрадь) (1—3) 178
 Месяцы года («Ты любишь...») 183
 Мир («Мой родной, мой земной...») 221

- «Мне приснились аэростаты...» (В небе; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 3) 632
- «Мне снилось...» (Отец; Больничная тетрадь, 9) 279
- «Мне хорошо, я тосковать не смею...» (Из Брэма; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 4) 611
- Мой номер («Номер / стиха...») 47
- «Мой родной, мой земной...» (Мир) 221
- «Молодой головой...» (Утренние годы; Из цикла «Московская тетрадь», 3) 250
- Морковь («Морковь — в земле увязший палец...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 4) 593
- «Морковь — в земле увязший палец...» (Морковь; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 4) 593
- «Моросит на Моросейке...» (Сентябрьское) 43
- Морская песня («Мы — юнги...») 70
- Морская-северная («К морю Белому, к морю бурному...») 106
- Московская тетрадь (1—3) 243
- Моя автобиография («Грифельные доски...») 40
- Моя жизнь («Я молод был, я голод был...») 153
- Моя именинная («Дети, / дети...») 321
- «Мы» («Боец умрет без некролога...») 167
- «Мы — / в окопах...» (С письмецом!) 34
- «Мы обязательно будем...» («До сих пор»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 9) 619
- «Мы работаем в краю...» (Сельская гравюра) 93
- «Мы — юнги...» (Морская песня) 70
- На былинных холмах (1—7) 266
- На былинных холмах («В Южной астрофизической обсерватории...»; Из цикла «На былинных холмах», 2) 268
- На Волге («Рыба отдана солнцу в засолку...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 10) 595
- «На коне крашеном я скачу бешено — карусель вертится...» (Карусель; Под одним небом, 3) 216
- На кругозоре («На снег-перевал...») 139
- «На крылышках бабочки...» (Несовершенство; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 9) 634
- «На Новодевичьем кладбище...» (Ушедшее) 211
- «На новом / радиусе...» (Станция «Маяковская») 153
- «На паре крыл...» (Над нами) 139
- На случай опасности («О, уберечься трусости, если удар опустится...») 140
- «На снег-перевал...» (На кругозоре) 139
- На стадионе («Все исчезает, глохнет, тонет...») 218
- «На яблоне / сердце повисло мое...» (Сердце) 262
- Набросок («Под кирпичной стеною...») 49
- «Наварил нам повар окопных щей...» (Смотри в оба!; Из цикла «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывшего солдата», 1) 462
- Над Кордильерами («Водопадствуя, / водопад...») 288
- Над нами («На паре крыл...») 139
- Надежда («Угадай: как он выглядит — коммунизм?...»; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 12) 635
- Надежда («Этот мир! Не хочу...») 225

- «Наконец-то апрель...» (Апрель) 224
 «Наутро после ночи...» (Желанье; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 13) 608
 Начало войны («Когда птицы летели...»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 11) 620
 «Начинался снегопад...» (Холод) 223
 «Начинаю сей сказ...» (Сказание про царя Макса-Емельяна...) 546
 «Наши части отошли...» (Горсть земли) 163
 Нащёт шубы («У тебя / пальтецо...») 92
 «Не верь никаким сплетницам...» (Ему же; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 7) 604
 «— Не деньга ли у тебя...» (Разговор с бывшей) 101
 Не жди меня («Не жди меня, я говорю...»; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 14) 609
 «Не жди меня, я говорю...» (Не жди меня; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 14) 609
 «Не заглядывала в сонник...» (За чтением Достоевского) 315
 Не по пословице («Если слово врет в глаза...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 2) 623
 «Не спится мне...» (Сон с продолжением) 140
 Небо над Родиной («Я с вами, Небо и Земля...») 489
 Недовольство возрастом («Красавица касается витрины "Коммунара"...») 305
 Неизмена («Я пою...»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 12) 621
 Нельзя («Войну замешавши на оде...») 308
 «Нельзя иметь имущества...» 310
 Неподвижные граждане («Кто не видал...») 134
 «Неразгибаемые кожаные руки...» (Руки; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 9) 626
 Неразменный рубль («Был / такой рубль...») 455
 Несовершенство («На крылышках бабочки...»; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 9) 634
 Нет Золушки («Я дома не был год...») 157
 «Нет, не то золото...» (Частушка) 265
 «Нет проще рева львов...» (Просто) 194
 «Ни в одном из еврейских погромов...» (Русь; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 2) 615
 «Никаких описаний...» (В самолете) 290
 Никита Флорыч («Я приезжаю, берусь за поручень...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 3) 592
 Никударики («Время тянется...»; Больничная тетрадь, 7) 278
 Новая скорость («Медленная, едва поворачивающаяся...») 113
 Новее «нео» («В поисках рифмы на "небо"...»; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 5) 633
 Новые ощущения («Асфальтируют старую улицу...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 10) 626
 «Номер / стиха...» (Мой номер) 47
 Ночные улицы («Когда / перед звездой...»; Из цикла «Ленинградская тетрадь», 1) 200
 «О бьющихся на окнах бабочках...» (Цветок) 243
 «О, ветка-спутница, о, палка-поводырка...» (Земля; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 7) 612

- «О, город родимый!..» (В черноморской кофейне) 53
 О любви («Любовь бывает дудочкой...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 7) 625
 О наших книгах («По-моему, / пора кончать скучать...») 186
 «О, плод головастый из племени инков...» (Дума об ананасе; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 13) 598
 О простоте («Желанье есть...») 180
 «О, пустой дом...» (Пустой дом; Под одним небом, 2) 215
 «О, Пушкин золотого леса, о, Тютчев грозового неба...» 308
 «О, Рифма, / бедное дитя...» 294
 «О, телефонные монтеры!..» (Еще больше; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 6) 616
 «О, уберечься трусости, если удар опустится...» (На случай опасности) 140
 «О, чувство...» (Ревность) 189
 Обида («В доме электричество горит...») 307
 «Обидное слово "раёшник"...» (Райский стих; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 6) 633
 Облако («Сегодня есть на небе облако...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 4) 624
 «Обогрели / акварели...» (Осенний рисунок) 210
 Овес («Овсянку мы едим в молочной...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 5) 593
 «Овсянку мы едим в молочной...» (Овес; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 5) 593
 «Огремлите, гарматы...» (Балада о неизвестном солдате) 88
 Ода русской земле («Стихи о России — стихи не простые...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 14) 599
 «Оделась в блеска...» (Елочный стих) 141
 Одесса («Я взглянул...») 165
 Одна встреча («Я утром проснулся...») 190
 Окно («Окно. / Оно мое единственное око...»; Больничная тетрадь, 5) 276
 «Окно. / Оно мое единственное око...» (Окно; Больничная тетрадь, 5) 276
 «Они боятся темноты. Не помню...» (Тишина; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 5) 611
 «Опять, опять задышало...» (Оттепель; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 3) 615
 «Опять пуста скамья...» (Больничная тетрадь, 8) 279
 Осада атома («Как долго раздробляют атом!...») 118
 Осенний рисунок («Обогрели / акварели...») 210
 Осень («Лес открылен...») 42
 Осень («Эту люстру винограду...») 301
 «Остыл мой детский пыл...» (Волшебник) 295
 Ответ («Хотя финал...»; Больничная тетрадь, 13) 282
 Отдельно («Вот, например, метафора...»; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 4) 632
 Отец («Мне снилось...»; Больничная тетрадь, 9) 279
 Отношение к погоде («Солнце / шло по небосводу...») 175
 Отражение («после дождя...») 317
 Оттепель («Опять, опять задышало...»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 3) 615

- Отходная («Птица Сириин...») 69
«Отчего чудится...» (Два сна) 212
Очки («Сновиденье явилось извне...») 259
- Павлу Васильеву («Я вчера пришла к хорошему...») 155
Памятник («Я бедный...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 8) 625
«Панна Юля...» (Полонез (*Музыкальный ящик с марионетками*)) 58
«Паучок — ног пучок...» (Потолочная шутка; Поэма поэтов;
Хрисанф Семенов, 7) 633
Переводческое («Ко мне зовет...») 258
Перед вузом («Я буду учительницей...»; Поэма поэтов; Варвара
Хохлова, 11) 606
Перед затмением («Уже я вижу...»; Из цикла «На былинных
холмах», 6) 272
«Передо мной ребро вопроса...» (Увеличение увлечения; Поэма
поэтов; Богдан Гринберг, 5) 616
Перемена («Переходя на белый цвет...») 208
Перемены («В детстве я обожал калейдоскоп...»; Поэма поэтов;
Хрисанф Семенов, 11) 635
«Переходя на белый цвет...» (Перемена) 208
Песня о железнодорожнике («Расцвела снежная...») 75
«Пинаемый всеми и вся...» 314
Письмо («Твои стихи по сердцу мне...»; Поэма поэтов; Варвара
Хохлова, 9) 605
Письмо без адреса («Я всю ночь...») 148
«Плюется на все стороны...» (Разговор по душам) 121
«По своей к насекомым таинственной страсти...» (Энтомология
любви; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 9) 595
«По шоссе / мимо скал...» (Дорога по радуге) 104
Погудка о погодке («Теплотой меня пой...») 31
«Под кирпичную стеною...» (Набросок) 49
Под одним небом (1—5) 214
Под одним небом («Под одним небом, на Земном Шаре мы с тобой
жили...»; Под одним небом, 1) 214
«Под одним небом, на Земном Шаре мы с тобой жили...» (Под
одним небом; Под одним небом, 1) 214
«Под снегом вся горная твердь...» (Эдельвейсы) 312
«Подуло серым севером...» (Северный ветер) 291
Поезд в Белоруссию («Предутренний воздух и сумрак...») 103
«Позволь мне подарить тебе...» (Цветок) 184
Поиск («Я, в сущности...») 161
Полонез (*Музыкальный ящик с марионетками*) («Панна Юля...») 58
«По-моему, / пора кончать скучать...» (О наших книгах) 186
«Пораженный / пулей...» (Смерть лося) 286
«После битвы на Згло...» (Легенда) 64
«после дождя...» (Отражение) 317
После школы («Этот вечер кончится...»; Поэма поэтов; Варвара
Хохлова, 4) 603
Последнее мая («Коврик игрушек у белой стены...») 447
Последние ночи («Ингалятор, / синий спирт...») 144
Потолочная шутка («Паучок — ног пучок...»; Поэма поэтов;
Хрисанф Семенов, 7) 633
«Початок золота и майса...» (Вальпараисо) 289

- «Почему / я не “Линкольн”?...» (Мелкие огорчения) 107
 «Пошел спускаться с неба снег...» (Снег на окнах) 310
 Поэма о Роботе («Здравствуй, Робот...») 352
 Поэма поэтов 590
 Поэтесса («Поэтессой назвали, обрадовали!...»; Поэма поэтов;
 Варвара Хохлова, 12) 608
 «Поэтессой назвали, обрадовали!...» (Поэтесса; Поэма поэтов;
 Варвара Хохлова, 12) 608
 Прагматическая степь («Я — поэт и ботаник, хожу по степи...»;
 Поэма поэтов; Клим Сметанников, 11) 596
 Предисловие («В обыкновенный августовский день...»; Поэма
 поэтов) 590
 «Предутренний воздух и сумрак...» (Поезд в Белоруссию) 103
 Предчувствие («К Земле подходит Марс...») 162
 «Прибежал. Цветок на синем лацкане...» (Случившееся при
 переезде) 300
 «Привет!» («Человек / ест чебурек...»; Больничная тетрадь, 2) 275
 «Приемник радио — товарищ аккуратный...» (Слепой товарищ;
 Поэма поэтов; Андрей Приходько, 2) 610
 Приказ № 7 («Вооруженный ландышем...»; Поэма поэтов; Глеб
 Насущный, 1) 622
 Приметы («Какая я? Не такая...»; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 8)
 605
 «Принесли к врачу солдата...» (Творчество) 173
 «Пришел / осторожный апрель...» (Уверенность) 188
 Про белого ворона («Гнездо разворовано...») 284
 «Проза становится в позу...» (Встреча с прозой; Поэма поэтов;
 Хрисанф Семенов, 1) 631
 Прозрение («Я не хочу...») 233
 Прозренье («Твои стихи я прочитал в газете...»; Поэма поэтов;
 Андрей Приходько, 10) 614
 Происшествие («Ах, каких нелепостей...») 181
 «Проси-дел в х/д-холодной Архип-коммунар...» (Крестьянская —
 буденовцам) 39
 Просто («Нет проще рева львов...») 194
 Пространство («Все вещи в комнате со мною дружат...»; Поэма
 поэтов; Андрей Приходько, 6) 612
 Протест («Меня насильно выдают за ложку...»; Поэма поэтов; Глеб
 Насущный, 3) 623
 «Птица Сирин...» (Отходная) 69
 Птичий клин («Когда на мартовских полях...») 227
 Пустой дом («О, пустой дом...»; Под одним небом, 2) 215
 «Пусть тебе...» (Стихи на сон) 124
- Работа в саду («Речь — зимостойкая семья...») 136
 Разговор по душам («Плюется на все стороны...») 121
 Разговор с бывшей («— Не деньга ли у тебя...») 101
 Разговор с Дмитрием Фурмановым («За разговорами...») 81
 Разговоръ съ Петромъ Великимъ («— Столица стала есть сия...») 73
 «Разрез по животу — живой разрез...» (В разрезе; Больничная
 тетрадь, 3) 275
 Райский стих («Обидное слово “раёшник”...»; Поэма поэтов;
 Хрисанф Семенов, 6) 633

- Расстрел («В осень пригоршней брошенные...») 302
 «Расцвела снежная...» (Песня о железнодорожнике) 75
 «Расчлененные в скобках подробно...» (Любовь математика) 102
 Ревность («О, чувство...») 189
 «Речь — зимостойкая семья...» (Работа в саду) 136
 Родословное древо («Из ботаников я — Клим Никитич
 Сметанников...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 1) 591
 «Роза, сиделка и росы румянца...» (ТБЦ) 102
 Розы («Я начал...») 235
 Роман («Сначала мы письма писали...») 227
 Рост лингвиста («Сегодня окончена...») 90
 Руки («Неразгибаемые кожаные руки...»; Поэма поэтов; Глеб
 Насущный, 9) 626
 Русская песня («Как из клетки горлица...») 264
 Русь («Ни в одном из еврейских погромов...»; Поэма поэтов; Богдан
 Гринберг, 2) 615
 «Рыба отдана солнцу в засолку...» (На Волге; Поэма поэтов; Клим
 Сметанников, 10) 595

 «С ничегонеделанья...» (В воскресенье; Поэма поэтов; Варвара
 Хохлова, 5) 603
 «С папироскою / "Дюшес" ...» (Девушка и манекен) 57
 «С песнею гуляю...» (Ярмарочная) 76
 С письмецом! («Мы — / в окопах...») 34
 «Сад, где б я жил, — я б расцвел тобой...» (Четыре сонета) 151
 «Садился старичок в такси...» (Случай) 238
 Свиданье («Я пришел...») 182
 Свислочь — Березина — Днепр («Вёсел — двое, нас — один...») 304
 Северный ветер («Подуло серым севером...») 291
 «Сегодня был закат особенно багров...» (Комментарий к закату;
 Поэма поэтов; Глеб Насущный, 15) 629
 «Сегодня есть на небе облако...» (Облако; Поэма поэтов; Глеб
 Насущный, 4) 624
 «Сегодня июня первый день...» (Твоя поэма) 420
 «Сегодня окончена...» (Рост лингвиста) 90
 Сельская гравюра («Мы работаем в краю...») 93
 Семь дней недели («Все двери настезь...») 515
 Сентябрьское («Моросит на Моросейке...») 43
 Сердце («На яблоне / сердце повисло мое...») 262
 «Серебром крыл...» (Возвращенье; Под одним небом, 5) 216
 «Серый жесткий дирижабль...» (Глядя в небо) 121
 Симфония («Из музыки, из всех ее сокровищ...») 309
 «Сказали мне, что я стонал...» 146
 Сказание про царя Макса-Емельяна... («Начинаю сей сказ...») 546
 Сказка («Вчера в шапке-невидимке...»; Поэма поэтов; Андрей
 Приходько, 3) 610
 Склонения («— Именительный — / это ты...») 123
 «Скоро в снег побегут струйки...» 31
 «Скорый поезд, скорый поезд, скорый поезд!...» (Ветер) 117
 Следы на песке («В начале не было...») 538
 Слепой товарищ («Приемник радио — товарищ аккуратный...»;
 Поэма поэтов; Андрей Приходько, 2) 610
 Слова («Слова — торжественные...»; Поэма поэтов; Хрисанф
 Семенов, 10) 634

- «Слова — торжественные...» (Слова; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 10) 634
- Случай («Садился старичок в такси...») 238
- Случай с телефоном («Жил да был...») 156
- Случившееся при переезде («Прибежал. Цветок на синем лапкане...») 300
- «Слышала — он уехал...» (Вдогонку; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 10) 606
- «Смерти больше нет...» 298
- Смерть лося («Пораженный / пулей...») 286
- Смотри в оба! («Наварил нам повар окопных щей...»; Из цикла «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата», 1) 462
- Смыслодвойники («Тут люди входят в М стремятся сесть на А...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 6) 624
- «Снарядами белых рвало и кромсало...» (Баллада о мертвом комиссаре) 125
- «Сначала мы письма писали...» (Роман) 227
- Снег на окнах («Пошел спускаться с неба снег...») 310
- «Снега нет, стужи нет...» (Январь) 222
- «Снега! Снега!..» (Зимняя восторженная) 97
- Снова («Снова с дерева познания...») 219
- «Снова с дерева познания...» (Снова) 219
- «Сновиденье / явилось извне...» (Очки) 259
- Советы Фомы, полезные для зимы («Добрый день, паренек!..»; Из цикла «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата», 2) 465
- Сожаление («Меня оледенила жалость!..»; Из цикла «На былинных холмах», 5) 271
- Солнце перед спокойствием («Беспокойное было Солнце...»; Из цикла «На былинных холмах», 3) 269
- «Солнце шло по небосводу...» (Отношение к погоде) 175
- Сон во сне («Кричал я всю ночь...») 285
- Сон с продолжением («Не спится мне...») 140
- Сонет («У мертвой девы талия — амфора...») 302
- Соседняя койка («Забывается всё...»; Больничная тетрадь, 4) 276
- Соседям («Вы пишете пьесы...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 12) 627
- «Спи-/чка...» (Больничный сон; Больничная тетрадь, 1) 274
- Станция «Маяковская» («На новом / радиусе...») 153
- Стихи на сон («Пусть тебе...») 124
- Стихи о границе (1—4) 195
- «Стихи о России — стихи не простые...» (Ода русской земле; Поэма поэтов; Клим Сметаников, 14) 599
- «Стихи стихами а в сущности...» (Как быть; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 14) 628
- Стихотворение («Товарищи, / сердце стареет...») 174
- «— Столица стала есть сия...» (Разговоръ съ Петромъ Великимъ) 73
- «Стоят ворота, глухие к молящим глазам и слезам...» (Аладин у сокровищницы) 137
- Стратостат «СССР» («В воздухе шарь, шар!..») 114
- Строки в скобках («Жил-был — я...»; Больничная тетрадь, 11) 280
- Сумерки («Дни стоят и шатаются толпою топчущей...») 307
- «Счастье — быть...» (Этот мир) 207

- Табакокурение («Табачные изделия...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 11) 626
 «Табачные изделия...» (Табакокурение; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 11) 626
 Так далеко («Так надо было — за Полярный круг...») 306
 «Так надо было — за Полярный круг...» (Так далеко) 306
 Тамбов («Усатые, / мундирные...») 79
 Танцуют лыжники («Танцуют лыжники...»; Из цикла «Стихи о загранице», 2) 195
 «Танцуют лыжники...» (Танцуют лыжники; Из цикла «Стихи о загранице», 2) 195
 ТБЦ («Роза, сиделка и росы румянца...») 102
 «Твои стихи по сердцу мне...» (Письмо; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 9) 605
 «Твои стихи я прочитал в газете...» (Прозрение; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 10) 614
 Творчество («Принесли к врачу солдата...») 173
 Твоя поэма («Сегодня июня первый день...») 420
 Теберда («Вдруг стукнуло, вдруг капнуло...») 138
 Тебетанье («Ты боярышня моярышня...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 13) 628
 «Тегуантепек, Тегуантепек...» (Мексиканская песня) 120
 Тень («Шел я долгие дни...») 225
 «Теплотой меня пой...» (Погудка о погодке) 31
 «Тихое облако в комнате ожило...» (Воспоминание) 158
 Тишина («Они боятся темноты. Не помню...»; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 5) 611
 «То не тучами небо кроется...» (В бою; Из цикла «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата», 3) 467
 «Товарищи, / сердце стареет...» (Стихотворение) 174
 Три вариации («Земля вращается. Земля...») 233
 Труба Наполеона («Еще не опален...»; Из цикла «Московская тетрадь», 2) 247
 Туман в обсерватории («Весь день по Крыму валит пар...»; Из цикла «На былинных холмах», 1) 266
 «Тут люди входят в М стремятся сесть на А...» (Смысловойники; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 6) 624
 «Ты боярышня моярышня...» (Тебетанье; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 13) 628
 «Ты, если болен, ложись на бред...» (Эдем) 469
 «Ты искал...» (Девичий именник) 99
 «Ты любишь...» (Месяцы года) 183
 Тыква («У нас в теплице есть обнова...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 6) 594
 «У аппарата чутких и ушастых...» (Желание; Поэма поэтов; Андрей Приходько, 9) 613
 «У каждого есть в доме отдыха...» (Кино окна́; Из цикла «Месяц отдыха. *Лирическая тетрадь*», 2) 179
 «У меня есть враги...» (Враги) 313
 «У мертвой девы талия — амфора...» (Сонет) 302
 «У нас в теплице есть обнова...» (Тыква; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 6) 594

- «У тебя / пальтецо...» (Нащёт шубы) 92
 Уважаю («Уважаю / боевую старость...») 185
 «Уважаю / боевую старость...» (Уважаю) 185
 Увеличение увлечения («Передо мной ребро вопроса...»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 5) 616
 Уверенность («Пришел / осторожный апрель...») 188
 Увлечение («Девочка из сверхуральских редкостей...»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 4) 616
 «Увлеченный похожестью слов...» (Иллюзии) 230
 «Угадай: как он выглядит — коммунизм?...» (Надежда; Поэма поэтов; Хрисанф Семенов, 12) 635
 «Уже светает поздно...» (Больничная тетрадь, 12) 281
 «Уже я вижу...» (Перед затмением; Из цикла «На былинных холмах», 6) 272
 Улицы («Худые улицы...») 50
 «Умоляют, просят...» (Боль) 143
 Ундервудное («Я слов таких...») 71
 «Уплыл четырнадцатый год...» (Германия (1914—1919)) 66
 Упрек («Упрек: / Ты ни разу мне не сказал...»; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 13) 622
 «Упрек: / Ты ни разу мне не сказал...» (Упрек; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 13) 622
 Уравнение с двумя неизвестными («Я бедный солдат...»; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 16) 629
 «Усатые, / мундирные...» (Тамбов) 79
 Утренние годы («Молодой головой...»; Из цикла «Московская тетрадь», 3) 250
 Ушедшее («На Новодевичьем кладбище...») 211
- Фарфор («Копенгагенский плавный фарфор...») 305
 Фокусник («Я бродячий фокусник...») 240
 Фронтной вальс («Долго не спит фронтное село...») 172
- Холод («Начинался снегопад...») 223
 «Холодный, зимний воздух...» (Вечер в Доббиако; Из цикла «Стихи о загранице», 1) 195
 «Хоть бы эту зиму выжить...» (Больничная тетрадь, 10) 280
 «Хотя финал...» (Ответ; Больничная тетрадь, 13) 282
 Хочу родиться («Хочу родиться дважды...») 240
 «Хочу родиться дважды...» (Хочу родиться) 240
 Хрисанф Семенов. Высокий раек (Поэма поэтов) 631
 Художник («Художник / этакий чудак...») 257
 «Художник / этакий чудак...» (Художник) 257
 «Художник пришел писать закат...» (Живопись; Из цикла «Месяц отдыха. *Лирическая тетрадь*», 1) 178
 «Худые улицы...» (Улицы) 50
- Цвет волос («Я рыж, как лут, пожаром выжженный...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 2) 592
 Цветок («О бьющихся на окнах бабочках...») 243
 Цветок («Позволь мне подарить тебе...») 184
 Циклоп («Горе одинокому...») 229

- Частушка («Нет, не то золото...») 265
 Человек в космосе («Человек в космосе!..») 220
 «Человек в космосе!..» (Человек в космосе) 220
 «Человек / ест чебурек...» («Привет!»; Больничная тетрадь, 2) 275
 «Человек стоял и плакал...» (Лирика) 177
 «Через тысячу лет в новой жизни земной...» 315
 Черновик («Это было написано начерно...») 187
 «Черное море. Зеленый залив...» 304
 «Черной тучей вечер крыт...» (Баллада с аккомпанементом) 62
 «Четыре года длился бой...» (Легенда о мертвом солдате
 <Из Б. Брехта>) 110
 Четыре сонета («Сад, где б я жил, — я б расцвелит тобой...») 151
 «Что бы это такое?...» (Лорелей <Из Г. Гейне>) 145
 Что надо поэту («Что надо поэту? Для полной удачи...»; Поэма
 поэтов; Клим Сметанников, 15) 600
 «Что надо поэту? Для полной удачи...» (Что надо поэту; Поэма
 поэтов; Клим Сметанников, 15) 600
 «Что ни глыба, что ни камень...» (Клухор) 109
- «Шел дождик после четверга...» («Возьми свой одр!»; Из цикла «На
 былинных холмах», 7) 273
 «Шел я долгие дни...» (Тень) 225
 Шестая заповедь («В ночь, / бессонницей обезглавленную...») 254
 «Шестерки, семерки, восьмерки, девятки, десятки...» (Гаданье) 228
 Школьное («Глаза мои узкие-узкие...»; Поэма поэтов; Варвара
 Хохлова, 3) 602
 «Шла по улице девушка. Плакала...» 209
 «Шлагбаум. / Пост...» (Александр III) 65
 «Шли мы полем...» (Красноармейская разговорная) 32
- «Щеглы попали в клетку...» (Клетка) 263
- Эдельвейсы («Под снегом вся горная твердь...») 312
 Эдем («Ты, если болен, положишься на бред...») 469
 Эннабел Ли (Э. Ло) («Это было очень и очень давно...») 159
 Энтомология любви («По своей к насекомым таинственной
 страсти...»; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 9) 595
 «Эти летние дожди...» 242
 «Эти стихи — не знаю, кому...» (Без адреса; Поэма поэтов; Варвара
 Хохлова, 6) 604
 «Это было написано начерно...» (Черновик) 187
 «Это было очень и очень давно...» (Эннабел Ли (Э. Ло)) 159
 «Это временный день, это временный дом...» (Временный дом) 314
 «Этот вечер кончится...» (После школы; Поэма поэтов; Варвара
 Хохлова, 4) 603
 Этот мир («Счастье — быть...») 207
 «Этот мир! Не хочу...» (Надежда) 225
 «Эту люстру винограду...» (Осень) 301
- «Я бедный...» (Памятник; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 8) 625
 «Я бедный солдат...» (Уравнение с двумя неизвестными; Поэма
 поэтов; Глеб Насущный, 16) 629
 «Я бродячий фокусник...» (Фокусник) 240

- «Я буду учительницей...» (Перед вузом; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 11) 606
- «Я был в Москве. Она — добротный город...» (Достопримечательности; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 12) 597
- «Я, в сущности...» (Поиск) 161
- «Я взглянул...» (Одесса) 165
- «Я всю ночь...» (Письмо без адреса) 148
- «Я вчера пришла к хорошему...» (Павлу Васильеву) 155
- «Я год простоял в грозе...» (Возвращение; Больничная тетрадь, 14) 283
- «Я дома не был год...» (Нет Золушки) 157
- «Я завидую вам — трем...» (Зависть; Поэма поэтов; Варвара Хохлова, 2) 602
- «Я ищу прозрачности...» 262
- «Я молод был, я голод был...» (Моя жизнь) 153
- «Я надел в сентябре ученический герб...» (Любовь лингвиста) 39
- «Я начал...» (Розы) 235
- «Я не очень-то рвусь...» (Испания) 127
- «Я не скажу: над нами пусть не каплет...» (Argis nous le deluge) 206
- «Я не хочу...» (Прозрение) 233
- «Я покинул знамена...» (Ей) 97
- «Я понял: студенчество — это станица...» (Дипломная; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 8) 594
- «Я пою...» (Неизмена; Поэма поэтов; Богдан Гринберг, 12) 621
- «Я — поэт и ботаник, хожу по степи...» (Прагматическая степь; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 11) 596
- «Я приезжаю, берусь за поручень...» (Никита Флорыч; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 3) 592
- «Я пришел...» (Свиданье) 182
- «Я рыж, как луг, пожаром выжженный...» (Цвет волос; Поэма поэтов; Клим Сметанников, 2) 592
- «Я с вами, Небо и Земля...» (Небо над Родиной) 489
- «Я слов таких...» (Ундервудное) 71
- «Я тучный зверь я носорог...» (Зоосадное; Поэма поэтов; Глеб Насущный, 17) 630
- «Я утром проснулся...» (Одна встреча) 190
- Январь («Снега нет, стужи нет...») 222
- Ярмарочная («С песнею гуляю...») 76
- Argis nous le deluge («Я не скажу: над нами пусть не каплет...») 206

СОДЕРЖАНИЕ

«Семен Кирсанов, знаменосец советского формализма».	
<i>Вступительная статья М. А. Гаспарова</i>	5

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. «Скоро в снег побегут струйки...»	31
2. Погудка о погодке	31
3. Красноармейская разговорная	32
4. С письмецом!	34
5. Два Востока	37
6. Крестьянская — буденовцам	39
7. Любовь лингвиста	39
8. Моя автобиография	40
9. Осень («Лес окрылен...»)	42
10. Сентябрьское	43
11. Бой быков	43
12. Мой номер	47
13. Мери-наездница	48
14. набросок	49
15. Улицы	50
16. Маяковскому	52
17. В черноморской кофейне	53
18. Гулящая	55
19. Девушка и манекен	57
20. Полонез (<i>Музыкальный ящик с марионетками</i>)	58
21. Баллада с аккомпанементом	62
22. «Были ива да Иван...»	63
23. Легенда	64
24. Александр III	65
25. Германия (1914—1919)	66
26. Отходная	69
27. Морская песня	70
28. Ундервудное	71
29. «Куда мне хвастать избранным?..»	72
30. Разговоръ съ Петромъ Великимъ	73
31. Песня о железнодорожнике	75
32. Ярмарочная	76
33. Тамбов	79
34. Разговор с Дмитрием Фурмановым	81
35. Закавказье	85
36. Бой Спасских	87
37. Баллада о неизвестном солдате	88

38. Асееву	90
39. Рост лингвиста	90
40. Нащёт шубы	92
41. Сельская гравюра	93
42. Буква Р	95
43. Ей	97
44. Зимняя восторженная	97
45. Девичий именник	99
46. Разговор с бывшей	101
47. ТБЦ	102
48. Любовь математика	102
49. Поезд в Белоруссию	103
50. Дорога по радуге	104
51. Морская-северная	106
52. Мелкие огорчения	107
53. Клухор	109
54. Кратно о прожекторе	109
55. Легенда о мертвом солдате <Из Б. Брехта>	110
56. Новая скорость	113
57. Стратостат «СССР»	114
58. Ветер	117
59. Осада атома	118
60. Люботаника	118
61. Мексиканская песня	120
62. Глядя в небо	121
63. Разговор по душам	121
64. Склонения	123
65. Стихи на сон	124
66. Баллада о мертвом комиссаре	125
67. Испания	127
68. Легенда о музейной древности	129
69. Неподвижные граждане	134
70. Работа в саду	136
71. Буква М	136
72. Аладин у сокровищницы	137
73. Теберда	138
74. На кругозоре	139
75. Над нами	139
76. На случай опасности	140
77. Сон с продолжением	140
78. Елочный стих	141
79. Боль	143
80. Последние ночи	144
81. Лорелей <Из Г. Гейне>	145
82. «Сказали мне, что я стонал...»	146
83. Письмо без адреса	148
84. Четыре сонета	151
85. Моя жизнь	153
86. Станция «Маяковская»	153
87. Павлу Васильеву	155
88. Случай с телефоном	156
89. Нет Золушки	157
90. Воспоминание	158

91. Эннабел Ли (Э. По)	159
92. Поиск	161
93. Предчувствие	162
94. Горсть земли	163
95. Атака	163
96. Одесса	165
97. Боец	166
98. «Мы»	167
99. Болотные рубежи	168
100. Волна войны	170
101. Фронтной вальс	172
102. Творчество	173
103. Стихотворение	174
104. Отношение к погоде	175
105. Лирика	177
106—108. <Из цикла «Месяц отдыха. (Лирическая тетрадь)»>	
1. Живопись	178
2. Кино окнá	179
3. Водопад	180
109. О простоте	180
110. Происшествие	181
111. Свиданье	182
112. Месяцы года	183
113. Цветок («Позволь мне подарить тебе...»)	184
114. Уважаю	185
115. О наших книгах	186
116. Черновик	187
117. Уверенность	188
118. Ревность	189
119. Одна встреча	190
120. Просто	194
121—124. <Из цикла «Стихи о загранице»>	
1. Вечер в Доббиано	195
2. Танцуют лыжники	195
3. В Кортина д'Ампеццо	195
4. Большой канал	197
125—126. <Из цикла «Ленинградская тетрадь»>	
1. Ночные улицы	200
2. Кариатиды	203
127. Argis nous le deluge	206
128. Этот мир	207
129. Перемена	208
130. К вечеру	209
131. «Шла по улице девушка. Плакала...»	209
132. Осенний рисунок	210
133. Ушедшее	211
134—135. Из Генриха Гейне	
1. «Мальчишка любил девчонку...»	211
2. «Жил старый король на свете...»	212
136. Два сна	212
137—141. Под одним небом	
1. Под одним небом	214
2. Пустой дом	215

3. Карусель	216
4. Дождь	216
5. Возвращенье	216
142. На стадионе	218
143. Снова	219
144. Человек в космосе	220
145. Мир	221
146. Январь	222
147. Холод	223
148. Апрель	224
149. Тень	225
150. Надежда	225
151. Роман	227
152. Птичий клин	227
153. Гаданье	228
154. Циклоп	229
155. Иллюзии	230
156. «Жизнь моя, ты прошла, ты прошла...»	231
157. Двойное эхо	231
158. Прозрение	233
159. Три вариации	233
160. Розы	235
161. Бесстрашье	237
162. Случай	238
163. Хочу родиться	240
164. Фокусник	240
165. Лесной перевертень	242
166. «Эти летние дожди...»	242
167. Цветок («О бьющихся на окнах бабочках...»)	243
168—170. <Из цикла «Московская тетрадь»>	
1. Калужское шоссе	243
2. Труба Наполеона	247
3. Утренние годы	250
171. Шестая заповедь	254
172. Художник	257
173. Переводческое	258
174. Очки	259
175. «Я ищу прозрачности...»	262
176. Сердце	262
177. Клетка	263
178. Русская песня	264
179. Частушка	265
180—186. <Из цикла «На былинных холмах»>	
1. Туман в обсерватории	266
2. На былинных холмах	268
3. Солнце перед спокойствием	269
4. Звезда	271
5. Сожаление	271
6. Перед затмением	272
7. «Возьми свой одр!»	273
187—200. Больничная тетрадь	
1. Больничный сон	274
2. «Привет!»	275

3. В разрезе	275
4. Соседняя койка	276
5. Окно	276
6. Боль бóлей	277
7. Никударики	278
8. «Опять пуста скамья...»	279
9. Отец	279
10. «Хоть бы эту зиму выжить...»	280
11. Строки в скобках	280
12. «Уже светает поздно...»	281
13. Ответ	282
14. Возвращение	283
201. Про белого ворона	284
202. Сон во сне	285
203. Смерть лося	286
204. Июньская баллада	287
205. Над Кордильерами	288
206. Вальпараисо	289
207. В самолете	290
208. Северный ветер	291
209. Ад	293
210. «О, Рифма, бедное дитя...»	294
211. Волшебник	295
212. Золотые берега	296
213. Концерт	296
214. Долгий дождь	297
215. «Смерти больше нет...»	298

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ

216. Случившееся при переезде	300
217. Осень («Эту люстру винограду...»)	301
218. Расстрел	302
219. Сонет	302
220. Больничное	303
221. «Черное море. Зеленый залив...»	304
222. Свислочь — Березина — Днепр	304
223. Недовольство возрастом	305
224. Фарфор	305
225. Так далеко	306
226. Сумерки	307
227. Обида	307
228. Нельзя	308
229. «О, Пушкин золотого леса, о, Тютчев грозового неба...»	308
230. Симфония	309
231. «Нельзя иметь имущества...»	310
232. Снег на окнах	310
233. «Маленькую повесть о большом...»	311
234. Эдельвейсы	312
235. «Как раб галерный, к кораблю...»	312
236. Враги.	313
237. «Пинаемый всеми и вся...»	314
238. Временный дом	314

239. «Через тысячу лет в новой жизни земной...»	315
240. За чтением Достоевского	315
241. Отражение	317
242. «Икар снов...»	318

ПОЭМЫ

243. Моя именинная	321
244. Поэма о Роботе	352
245. Золушка	381
246. Твоя поэма	420
247. Последнее мая	447
248. Неразменный рубль	455
249. <Из цикла «Заветное слово Фомы Смылова, русского бывалого солдата»> <Вступление>	462
1. Смотри в оба!	462
2. Советы Фомы, полезные для зимы	465
3. В бою	467
250. Эдем	469
251. Весть о мире	482
252. Небо над Родиной	489
253. Семь дней недели	515
254. Следы на песке	538
255. Сказание про царя Макса-Емельяна...	546
256. Поэма поэтов	
Предисловие	590
Клим Сметанников. Явления природы	
1. Родословное древо	591
2. Цвет волос	592
3. Никита Флорыч	592
4. Морковь	593
5. Овес	593
6. Тыква	594
7. Колумбов плод	594
8. Дипломная	594
9. Энтомология любви	595
10. На Волге	595
11. Прагматическая степь	596
12. Достопримечательности	597
13. Дума об ананасе	598
14. Ода русской земле	599
15. Что надо поэту	600
Варвара Хохлова. Школьный дневник	
1. В поэзию	601
2. Зависть	602
3. Школьное	602
4. После школы	603
5. В воскресенье	603
6. Без адреса	604
7. Ему же	604

8. Приметы	605
9. Письмо	605
10. Вдогонку	606
11. Перед вузом	606
12. Поэтесса	608
13. Желанье	608
14. Не жди меня	609
Андрей Приходько. Свет во тьме	
1. Воспоминанье	610
2. Слепой товарищ	610
3. Сказка	610
4. Из Брэма	611
5. Тишина	611
6. Пространство	612
7. Земля	612
8. Капля	613
9. Желание	613
10. Прозрение	614
Богдан Гринберг. Экстракты	
1. «Аки обре...»	614
2. Русь	615
3. Оттепель	615
4. Увлечение	616
5. Увеличение увлечения	616
6. Еще больше	616
7. Другая любовь	617
8. Когда	618
9. «До сих пор»	619
10. Забытое слово	620
11. Начало войны	620
12. Неизмена	621
13. Упрек	622
Глеб Насущный. Из себя	
1. Приказ № 7	622
2. Не по пословице	623
3. Протест	623
4. Облако	624
5. Анти-Я	624
6. Смысловойники	624
7. О любви	625
8. Памятник	625
9. Руки	626
10. Новые ощущения	626
11. Табакокурение	626
12. Соседям	627
13. Тебетанье	628
14. Как быть	628
15. Комментарий к закату	629
16. Уравнение с двумя неизвестными	629
17. Зоосадное	630
18. Второе зоосадное	630
19. И последнее	631

Хрисанф Семенов. Высокий раек	
1. Встреча с прозой	631
2. Всё в прошлом	632
3. В небе	632
4. Отдельно	632
5. Новее «нео»	633
6. Райский стих	633
7. Потолочная шутка	633
8. Болезнь	634
9. Несовершенство	634
10. Слова	634
11. Перемены	635
12. Надежда	635
257. Зеркала	636
Другие редакции и варианты	649
Примечания	677
Алфавитный указатель произведений	774

С. Кирсанов

Стихотворения и поэмы / Вступ. статья М. Л. Гаспарова. Состав, подг. текста и примеч. Э. М. Шнейдермана (Новая Библиотека поэта) — СПб.: Академический проект, Гуманитарная Академия, 2006 — 800 с.

Семен Кирсанов, выдающийся советский поэт, младший друг и соратник Маяковского по ЛЕФу, пронес через все свое творчество особое, новаторское отношение к поэтическому языку, сохраняя и развивая в отнюдь не благоприятствующих этому условиях великие традиции русского авангарда.

В том Библиотеки поэта, призванный заново открыть этого замечательного мастера российскому читателю, вошло лучшее из написанного поэтом: основная часть опубликованных при жизни книг, большинство поэм. Ряд текстов печатается впервые. Стихи подробно прокомментированы. Вступительная статья, написанная крупнейшим современным филологом М. Л. Гаспаровым, — тонкий и глубокий анализ непростой поэтики Кирсанова. Хронологическая канва, составленная В. С. Кирсановым, сыном поэта, дает полное представление обо всех перипетиях жизни всегда находившегося под подозрением в «формализме» поэта.

Редактор *А. Е. Барзах*
Художник *В. В. Еремин*
Художественный редактор *В. Г. Бахтин*
Верстка *И. Е. Сакулин*
Корректор *О. И. Абрамович*

ЛР № 066191 от 27.11.98

Подписано в печать 11.11.2005. Формат 84x108/32
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Балтика.
Усл. п. л. 50. Уч. изд. п. л. 48. Тираж 1000 экз. Заказ № 37

Гуманитарное агентство "Академический проект"
191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 26.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии "Град Петров" ООО ИД "Петрополис"
197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 16,
офис-центр 1, пом. 12.
www.petropolis-ph.spb.ru

